5

Юрий Бондарев

Юрий Бондарев

ЮРИЙ БОНДАРЕВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ЮРИЙ БОНДАРЕВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ШЕСТИ ТОМАХ



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1986

ЮРИЙ БОНДАРЕВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
ТОМ ПЯТЫЙ

ВЫБОР

РОМАН

РАССКАЗЫ

МГНОВЕНИЯ

МИНИАТЮРЫ



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1986

Оформление художника
В. ЛЮБИНА

Б $\frac{4702010200-035}{028(01)-86}$ подписное

ВЫБОР

РОМАН

ГЛАВА ПЕРВАЯ

После ухода гостей было пусто и тихо, еще горели в передней по бокам зеркала бра, еще не были погашены люстры в комнатах, мягко светил нежной полутенью сиреневый купол торшера над тахтой; везде пахло сигаретным дымом, чужими духами; и было немного грустно оттого, что всюду сдвинутые со своих мест кресла, переполненные окурками пепельницы, обгорелые спички на ковре, неприбранные бокалы с торчащими из недопитых коктейлей соломинками и горы тарелок на кухне—все это напоминало хаос незаконченного и обидного разгрома в квартире.

Васильев, обессиленный бесконечными разговорами об искусстве, лестью и приятными улыбками, проводив до лифта последних гостей жены, с облегчением подвязал ее кухонный передник и принялся старательно убирать посуду из столовой. Однако Мария умоляющими глазами остановила его («не надо сейчас...») и села на диван, обнимая себя за плечи, задумчиво отвернулась к окну, за которым густо синела февральская ночь.

— Слава богу, наконец-то,— сказала она.— Меня ноги уже не держат.

— Ты знаешь, сколько времени? — спросил он встревоженно.— Второй час... Ничего себе! Хорошо, что ты не открыла истинную причину торжества. Конца и краю тостам до утра не было бы. Как это, Маша,— с днем ангела? Или с днем именин?

— Я очень устала,— проговорила она, закуривая, и улыбнулась ему вскользь.— Благодарю, милый... и не будем об этом. Это всё несущественные детали, они не стоят того... Иди спать, пожалуйста... Спокойной ночи! Я немного посижу одна...

Он почувствовал неискренность ее слов, и это фамильярно-классическое «не стоят того», и это салонно-светское «благодарю, милый» как будто неприятно загородили ее, отдаляя в чуждую ей манерность, заметную в дни размолвок, прежде нечастых, которые сразу создавали головокружительную зыбкость покачнувшегося моста.

— Да, Володя, иди, пожалуйста, иди же,— повторила Мария с усталой настойчивостью и, прислонив дымящуюся сигарету к краю пепельницы, налила себе красного вина.— Если ты намерен сказать мне что-то серьезное о моих гостях, то сейчас не надо — я не хочу...

— Я мало с кем из них знаком, Маша.

— И может быть, поэтому ты был очень мил. Всех женщин очаровал.

Она отпила глоток; он увидел, как осталась влажная красноватая полоска на ее губах, родственный и нежный вкус которых он так хорошо знал.

— Маша, о чем ты говоришь? Женщин? Очаровал? Вот уж не заметил.

— Прошу тебя — давай помолчим...

Нет, он не помнил, чтобы раньше после ухода гостей она сидела вот так одна на диване, заложив ногу за ногу, рассеянно пила, в задумчивости затягивалась сигаретой, покачивая узким носком туфли,— еще четыре месяца назад он посчитал бы это за некую предложенную ему женой ради развлечения игру, кадры из какого-нибудь пошленького иностранного фильма, переведенного ею для закупочной комиссии, на просмотре в главке, и готов был, как иногда бывало раньше, услышать ее смеющийся протяжный голос: «Ита-ак, мосье, мы проводили гостей. Ушли знаменитости! Какое облегчение! Что же мы будем делать? Ты уедешь в мастерскую? Или останешься со своей женой?» Сейчас он не ждал подобной фразы, а лишь озадаченно глядел, как Мария медлительно пригубливала бокал между затяжками сигаретой, и он только сказал с неуклюжей шутливостью:

— Ты не слишком ли разгулялась, Маша? Ничего не случилось?

— Господи! — Она опустила глаза, точно преодолевая боль, и он увидел ее ресницы, тяжелые от слез.— Неужели ты не понимаешь простых вещей — мне хочется побыть одной. Пойми меня, пожалуйста, я хочу одна отдохнуть от всего на свете...

— Прости, Маша,— сказал он виновато и вышел из комнаты.

Коридор и переднюю все еще праздно озаряли бронзовые свечеобразные бра, легкомысленные и бессонные в тишине ночной квартиры, и возле телефонного столика серебристой пустотой отсвечивало пространство зеркала. Васильев мельком взглянул на свое нахмуренное, утомленное лицо («Лучше всего — уехать мне сейчас в мастерскую...»), потом выключил эту запоздалую электрическую иллюминацию и долго надевал любимый им теплейший полутулуп, в котором зимой ездил «на натуру», долго возился с «молниями» меховых ботинок, раздумывая о позднем времени, когда ехать в мастерскую бессмысленно, но Мария молчала, не останавливала его, не выходила в переднюю, чтобы проводить до двери, подставить щеку для поцелуя, что было заведено между ними.

— Я пошел, Маша,— сказал он, стараясь говорить буднично и внушая себе, что ничего серьезного не произошло.— Я пройдусь по воздуху и подышу. Спокойной ночи!

— До свидания, Володя, я утром позвоню,— отозвалась Мария из гостиной предупредительным, почти ласковым тоном, и он вышел на лестничную площадку, закрыв дверь своим ключом.

Ожидая лифт под желтой лампочкой на восьмом этаже спящего многоквартирного дома, он услышал сдавленный смех вперемежку с шепотом и покосился в сторону окна, где подле батареи (как бывало почасту) стояла парочка, заметил что-то знакомое в девичьей фигуре, и тут же явственно его окликнул удивленно-звучный голос дочери:

— Па-а, куда ты? И зачем ты?

Ему было не очень приятно видеть в этот час рядом с дочерью рослого, не первой молодости актера Светозарова, жгучего красавца, анекдотиста, выпивоху, любителя розыгрышей, дважды женатого и дважды разведенного, с манерами опереточного дамского угодника, и Васильев почувствовал колкий, оскорбительный холодок от наивной неопытности и неразборчивости дочери.

— Тебе, вероятно, пора домой, Вика,— сказал Васильев и оглядел Светозарова с искренним любопытством.— И вам, молодой человек неотразимой наружности, пора бы уже отпустить советскую студентку, которой вставать на лекцию в семь утра.

— Виктория, вы должны подчиниться старшим,— заговорил глубоким баритоном Светозаров, изображая благоразумную покорность.— Владимир Алексеевич,

великодушно извините меня за непредвиденную полночность... Готов и в монастырь замаливать грехи, если бы адрес был хоть одного действующего. Негде покаяться.

— Пожалуйте вместо обители со мной в лифт. Я объясню, как поступить.

— Па-а, перестань! — возразила Виктория со смехом.— Начинаются советы и поучения! Анатолий рассказывает смешные истории, а я хохочу! Ты слышал о репетициях во МХАТе? О Массальском и Ершове? Нет? Как во время пьесы они подпрыгивали на сцене по сигналу «брэк»?

— К сожалению и прискорбию, не слышал,— сказал Васильев, насмешливо обращаясь к Светозарову, вмиг изобразившему послушное внимание домашнего мальчика.— Вы, Анатолий, не устали языком артикулировать? Посмотрите на часы, очаровательный любитель монастырей. Время уже неприличное.

— Артикулировать? Ха-ха! Как, как? — почтительно поразился Светозаров.— Не понял мысль, Владимир Алексеевич, по темноте своей! Что̀ я не устал?

— Ну, попросту болтать без передышки.

— Вы меня обижаете. За что? Незаслуженно! Без вины виноват!

— Я очень сожалею.

«Что это со мной? Почему я раздражаюсь, когда надо сдерживаться?..»

Подошел лифт, освещенный, сиротливо пахнущий морозной одеждой, студеной зимой, с натоптанным снегом на полу, и Васильев, опускаясь в этой удобной механической кабине двадцатого века, несущей его вниз мимо затихших до утра чужих, успокоенных сном квартир, поморщился, закрыл глаза и подумал о потерянном времени и полной ненадобности всего того, что делал и говорил целый вечер дома, устав воспитанно возражать гостям, не чуждым самонадеянно утвердить и особые критерии в искусстве и, конечно, в живописи, легко переходившим (ради спокойствия) в суждениях своих премудрые житейские перекрестки,— и вдруг почувствовал, что в последнее время уже не раз испытывал смутно и счастливо умиротворяющее душу желание уехать в некий час из Москвы надолго, на несколько месяцев, на год, на пять лет, уехать однажды из дома или мастерской, ни о чем не жалея, поселиться где-нибудь на синих вологодских озерах, неторопливо созерцать естественное, первородное, жить с рыбаками, есть простую деревенскую пищу, пи-

сать облачные северные пейзажи, неизощренные портреты рыбаков, прожженные солнцем и водкой лица...

Ему не работалось месяца два. Он часами лежал в мастерской на старом, с привычным скрипом пружин диване, читал «Дневники» Толстого последних лет его жизни, напитываясь исповедальной болью великого человека. Но затем, самоказняще и скептически охлаждаясь, Васильев возвращался к самому себе, ощущая обман и парадоксальность современного насильственного опрощения. И далекое от Москвы, шума и суеты убежище, которое порой облюбовывал он в воображении, представлялось после трезвых размышлений успокоительным «пленэром», либо туристским, либо курортным местом, занятым известным в искусстве человеком на определенный срок. Ему ясно было, что им в пятьдесят четыре года уже не управляла никакая честолюбивая идея (как было еще несколько лет назад), кроме двух нерушимых страстей — любви к извечной, грубой и нежной красоте природы и сумасшедшей преданности работе, этой добровольной сладкой каторге, без чего утрачивался для него всякий смысл существования.

В те дни и месяцы, когда не работалось, когда все было притушено в нем и будто дремало, он мог легко поверить, что талант его (если он прежде был) погиб, пропал, и в такие пепельные периоды привычно высокие отзывы, хвалебные статьи казались мелкими и выспренно-ложными, участие в очередной выставке («Там обязательно должны быть и ваши вещи») запоздало ненужным, а поездки за границу, куда его стали приглашать охотно лет пятнадцать назад, занимали уже не столько вернисажем в каком-нибудь университете или частном салоне, набитом ядовитыми критиками и беззастенчивыми журналистами, но теми изощренно-уксусными диалогами о «традиционализме» и «модерне», когда он, слушая, потягивая коктейль, загорался постепенно веселой злостью против «интеллектуальной» болтовни, начинал полусерьезно спорить, опровергать эти надоевшие до черта коллажи, поп-арты, маодадаизмы, намеренно противопоставляя им сюрреализм, а не реализм, после чего с любопытством наблюдал новый поворот спора, где господствовал риторический хаос, подобный хаосу в современной живописи Старого и Нового Света. Это, конечно, были не дискуссии стоической погони за истиной (кто бы осмелился указать ее в век сомнений?), а своего рода игра, развлечение, умственные качели, убийство свободного

времени, доходная профессия взрослых, утомленных цивилизацией людей, ненавидящих художников и влюбленных в них. И общение с ними было небезынтересно Васильеву до тех пор, пока не открылась угнетающая однообразность повторений: и одни и те же разговоры, и одни и те же вопросы, и похожие один на другой отели, и «стандартфрюштюки», и «ленчи», и одинаковые физиономии портье и кельнеров.

И Васильев уже отказывался от приглашений, перестал ездить за границу и однажды, в ресторане клуба, случайно услышав с вожделением сказанную фразу: «А я завтра наконец-то сяду в отдельное купе «эсвэ», лягу на приготовленную постель, высплюсь как следует и послезавтра буду в Париже»,— услышав эту фразу, исполненную томительного желания сбывающейся мечты, вопросительно взглянул на соседний столик, увидел там в компании коллег уважаемого акварелиста, не вполне трезвого, сладостно подкладывающего сложенную ковшиком ладонь под толстую малиновую щеку, выражающего этим неодолимое влечение к вагонному отдыху, и ощутил во фразе и лицедействе акварелиста не мечту об отдыхе в отдельном купе спального вагона, а просто тягу за границу — к пестрой толпе на зеленых, солнечных, аккуратно ухоженных бульварах, к древним островерхим соборам на отполированной брусчатке средневековых площадей, к теплу и мягкому воздуху, к сверканию зеркальных витрин и шумной многолюдности на торговых улицах, к красным огням и рекламам ночных кабаре, к маленьким кинотеатрам, полупустым, уютным, где разрешено курить,— то есть ко всему тому, к чему тянуло и его еще два года назад.

Акварелист, зорко перехватив взгляд Васильева, вскинул неопрятные брови, изготовленный к раздражению и обиде (господи, спаси нас от неврозов двадцатого века!), но Васильев с невозмутимым миролюбием сказал: «Понимаю и сочувствую».— «Чему же такому вы сочувствуете?» — спросил тот, густо багровея, и выше возвел взлохмаченные брови. «Вашим хлопотам»,— ответил Васильев, не считая нужным объяснять, что хлопоты накануне всякой поездки за границу всегда связаны с ожиданием приятного путешествия и, разумеется, необычных, всегда радостных перемен — европейские вокзалы и аэропорты, неизменный кофе в баре, рукопожатия, приподымание шляп, вежливые улыбки: «Что вы будете пить?», «Не пойти ли нам вечером на нашумевший неприличный

фильм?»; и химическая душистость розового мыла в ванной, запах озонатора в туалете, белое сияние кафеля, тщательное бритье перед освещенным зеркалом и свежие прохладные сорочки по утрам, тесными воротниками жмущие шею на вечерних приемах, фальшиво-приветливая игра глаз, простодушное удивление по поводу того, что в России все-таки есть искусство и даже хорошие портные, вездесущие репортеры бойких газет, поджидавшие, по обыкновению, в вестибюлях отелей за столиками с апельсиновым коктейлем, стереотипные «непровокационные» вопросы, десятки раз задаваемые в разных странах мира... «Сочувствую вашим заботам, не более того»,— договорил без выражения Васильев, а его коллега, весь коньячно-багровый, натужно выпустил ненатуральный хохоток, самолюбиво выговорил: «Вы либо сноб, Васильев, либо завистник».— «И то и другое вместе»,— сказал Васильев, но тотчас подумал с грустным сожалением, что пресытился, наелся досыта, до тошноты, «заграницами», устал, удовлетворил лохматое любопытство, и ничто заманивающее не связывало его теперь ни с Парижем, ни с Нью-Йорком, ни со Стокгольмом, городами, такими влекущими, пленительными издали и такими обыденными вблизи. Он не мог там сосредоточиться, они не вызывали легкого пьянящего возбуждения, тщеславной дерзости, что иногда предшествовало желанию взяться за работу. Из-за границы он не привез ни одной добротной работы, лишь эскизы и беглые зарисовки оставались в записной книжке, как отзвук мелодии, как дальний отсвет скользнувшего сна. Исключением он считал Венецию, куда дважды приезжал туристом, а третий раз по приглашению ассоциации итальянских художников был прошлой осенью вместе с Марией, уже хорошо зная колдовство этого города на воде, помня названия улочек, набережных и мостов над каналами, названия приветливых ресторанов близ собора и площади Святого Марка...

Здесь он тоже ничего не писал, опасаясь быть копистом, убежденный в том, что самый плохой художник может «начирикать» пейзаж Венеции, столетиями вбиравший в себя идею света, настроение и переизбыточную красоту.

Здесь, в этот последний приезд в Венецию, Васильев впервые серьезно почувствовал свое тягостное переутомление, свое нездоровье, осложненное какой-то странно молчаливой размолвкой с Марией, ничем не похожей на прежние ссоры, мимолетные, как дождь сквозь солнечные лучи.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Февральская метель обдала его снегом с ног до головы, ожгла жесткой влагой, отрезвляя после вина, сигарет и пахучего тепла.

Была глухая пора ночи, во всем квартале крутило и вьюжило, вверху гудели обледенелые тополя, мутные фонари скрипели, вздрагивали на столбах в ветровых токах улицы.

Снег пахнул глубинным степным холодом, и Васильев, щурясь от снега, вдохнул его метельную свежесть, поглядел на потонувшие в подвижной пелене дома, отыскивая хотя бы единственный свет окна, и подумал, что давно не было такой деревенской метели в Москве, такого первозданного запаха зимней ночи. Этот запах приносил неясное волнение далекого, детского, навеки ушедшего, и ему не захотелось сейчас в мастерскую, а внезапно потянуло куда-то в глубину ненастной дали — во вьюжный сумрак заваленных снегом замоскворецких переулков с шумящими над заборами деревьями, к наполовину разрушенным церковкам, заброшенным, мрачноватым, за ржавыми, но еще сохранившимися оградами, к трехэтажным купеческим домам с каменными арками ворот, за которыми виднелись в снежной заверти маленькие дворики с сарайчиками, старыми голубятнями, врытыми в землю столами под вековыми липами — дворики не менее живописные, чем парижские или итальянские.

До пятьдесят четвертого года Васильев жил в Замоскворечье, любил его улочки и его переулки, они снились ему, хотя много лет после войны он прожил в другом, новом районе, в другом дворе, даже отдаленно не напоминавшем прошлое, родное.

«Ночь, метель и деревенская свежесть воздуха,— подумал Васильев, возбужденный непогодой зимнего ночного часа и студеной влагой снега на бровях.— Из-за одной такой ночи стоит жить на свете. Хочу в Замоскворечье! Сколько лет я там не был! Сейчас разбужу Лопатина, и до утра пойдем бродить по Москве, протопаем пешком до Павелецкого вокзала, взглянем на Шлюзовую набережную, на Озерковскую, на церковь в Вишняковском переулке...»

Друг его художник-график Александр Георгиевич Лопатин жил неподалеку, в двух кварталах ходьбы от Васильева, в одной из тихих, как тупичок, улиц с разросшимися тополями, так буйно цветущими в июне, что не-

сколько дней неуемный пух летал в воздухе, застилал тротуары белыми пластами, скапливался в затишках возле подъездов, подобно первому снегу нежной волной облепливал ветровые стекла машин; зимой же здесь бывало дико и провинциально-вьюжно, тополя утопали стволами в сугробах и, вздрагивая ветвями под напором ветра, скреблись и стучали мерзлыми сучьями в окна верхних этажей.

Лопатин ходил в холостяках (четыре года назад был разведен), отличался внешне безалаберной жизнью, летом постоянно бывал в поездках, ночевал где попало — в деревнях, на вокзалах, у костра, но зимой подолгу задерживался в Москве, «выписывался» за лето и осень, запасался сигаретами, набивал продуктами холодильник, запирался, уединялся в своей квартирке, никуда не выходил, лишь еженедельно выбирался с веничком в Сандуны. Спать он ложился нередко на рассвете, вставал поздно (по заказам издательств работал главным образом ночами), и одно окно его комнаты проступало зеленым пятном во тьме тихой улицы, и порой бывало оно спасительной ракетой для Васильева.

Подходя к дому, он взглянул вверх, на высоту тополя, где обычно светилось знакомое окно, но оно было темным.

«Спит?» — подумал Васильев, озадаченный, однако, поднявшись на четвертый этаж, позвонил решительно, прислушиваясь к сонной тишине на лестнице, к испуганному всплеску звонка в квартире, от которого как бы пошли неспокойные круги в стоячей воде, и минуты через три знакомый голос низко загудел за дверью:

— Кого, хотел бы я знать, ночью лешие принесли? Кто там еще?

За дверью послышалось продолжительное кряхтенье, покашливание курильщика, щелкнул замок — и в проеме хлынувшего из передней света вырос заспанный Лопатин, облаченный в длинную ночную рубаху, босиком, его взлохмаченная борода топорщилась, закрывала половину груди, придавая ему вид дьякона, поднятого с постели нежданным переполохом.

— Это я, Саша, как видишь,— сказал Васильев.— Прости, пожалуйста, разбудил тебя, как по тревоге, но если скажешь сейчас «нет», то уйду, не обижусь...

— Заходи, заходи, малюватель,— густо зарокотал Лопатин, обнимая Васильева, прикладываясь обдавшей теплом бородой к его холодной щеке.— Разбудил, так не

выдумывай извинений, понимаешь ли ты. Махать кулаками после драки — умно, но и глупо, понимаешь ли ты. Ух, как от тебя хорошо уличным морозцем прет! Раздевайся. Давай сюда свою тулупень. Дьявол, кто тебе вешалки пришивает? Мария? Вика? Сам не умеешь? Как вешать прикажешь? За петлю? Придется тебя научить пуговицы и вешалки к одежде пришпандоривать, я, брат, в этом деле непревзойденный мастер! Нет, не мастер, а гений из гениев, ибо суровость бытия научила. Проходи, дьявол, шлендарь, полуночник московский, пока взашей назад не выпроводил. Шагай.

Лопатин, как всегда, внушительно и кругло окая, провел Васильева из передней в свою маленькую мастерскую, всю в книжных стеллажах, от пола до потолка, всю заваленную книгами, папками, кипами старых журналов; хаотический этот беспорядок был и на огромном письменном столе, где среди листов картона, ворохов рукописей, стопок рисунков, разнообразных массивных пепельниц, среди груд потрепанных записных книжек, фотографий, трубок, пачек табака и сигарет «Дукат» оставался под настольной лампой крошечный островок, застеленный наподобие скатерти газетой, на котором лежал лист бумаги, по обыкновению заполненный работой начисто. Газета была испещрена отдельными словами, зачеркнутыми фразами, изрисована квадратами, березками, фигурками людей и птицами. Лопатин объяснял эту странность прошлой бродяжнической жизнью, а именно тем, что рисовать приходилось в разных обстоятельствах на всяких столах — и кухонных, и садовых, и разделочно-рыбацких, разъеденных морем и солью,— и привычка подстилать газету осталась, присоединив к себе другую привычку: особенно сложную иллюстрацию искать сначала словами, штрихами и знаками на газете, затем, продуманную, уточненную, переносить рисунком на бумагу.

— Садись, садись, ежели в подштанниках середь ночи поднял. Устраивайся на диване, кури,— говорил владимирским напевом Лопатин; он сгреб с дивана, освобождая место, кипу книг, которые, видимо, просматривал здесь вечером, и начал закуривать сам.— Крепких хочешь? Русский «Голуаз» желаешь? «Дукат» — штучка. Продирает насквозь рашпилем!..

— Одевайся, Саша,— сказал Васильев, присаживаясь на диван.— Спать — предел глупости. Предлагаю великолепный моцион.

— Куда, мой друг? — Лопатин закурил, швырнул

спичку в пепельницу, закашлялся.— Куда и зачем? Опять философия? Читал старика? Или письма Ван-Гога? Надеюсь, ничего драматического не случилось?

— А если?..

— Еще что? Что значит «если»?

— Метель, ветер, снег... а ты спишь... Пойдем, побродим по улицам. Дойдем до Замоскворечья. До Шлюзовой набережной. До Павелецкого вокзала. Ночь прекрасная, а снег пахнет степью, волками и темнотой...

— Да что такое? Почему Замоскворечье? Впрочем — не возражаю. Да, конечно, согласен,— закивал Лопатин, окутывая дымом бороду.— С наслаждением протопаюсь пешком по ночной метелице! Что? Как ты сказал? Пахнет степью, волками и темнотой? Это в цивилизованной-то Москве? Тебя погубит воображение и философия, Володька! Какой ты реалист?!

Васильев сказал задумчиво, разминая сигарету:

— Представь, в Замоскворечье снег когда-то пахнул арбузом, Саша. Но это было давно, в детстве... У тебя есть водка? Пожалуй, по рюмке на дорогу выпить бы надо. Ты не против?

— Против? Jamais![1] Но ты-то, по-моему, уже по инерции, а? — сказал Лопатин и зашлепал по паркету босыми ногами к шкафчику, достал графин с водкой, желтеющей лимонными корочками, налил в рюмки, глянул вприщур на Васильева легкими умными глазами.— Посошок, что ль? Бедным каликам перехожим. Так, что ли, Володя?

«Нет, такое не может быть по инерции, мне не хочется пить,— подумал Васильев, взяв рюмку, стараясь как через мешающее препятствие понять, когда остроту, прежний интерес его к жизни стало подменять душное беспокойство, подкрадываясь приступами и посасывая в груди нефизической болью.— Что ж, это началось не сегодня... Нет, все началось несколько месяцев назад, в Венеции, в дни той поездки вместе с Марией...»

— На посошок, Саша.

«Если бы... смогло помочь это дьяволово зелье!..» — подумал Васильев, испытывая страх перед неотчетливой болью, похожей на отчаяние, на предупреждение о чем-то смертельном, страшном, могущем произойти с ним и Марией, что впервые так ощутил он прошлой осенью.

— Каково, понимаешь ли ты, пить с тобой накануне

---

[1] Никогда! (*фр.*)

утра, а? — сказал Лопатин и шумно пыхнул сигаретным дымом.— Да еще горькую. Да еще зенки не продравши. А! Давай, давай пригубим!

И, почесывая одной босой ногой щиколотку другой, чокнулся с Васильевым, выпил, громко фыркнул носом и прошел во вторую комнату, спальню, заскрипел там дверцей шифоньера, одеваясь, крикнул оттуда:

— Послушай, Володя, дружище, не исключай и встречный план: на углу схватить такси, домчаться до Ярославского вокзала, взять билеты на любой поезд, сесть в теплое купе с уютной бутылочкой, которую я захвачу, и... на милый север! Куда-нибудь в провинциальный городишко денька на три! К соборам, к сугробам под ставнями, к галкам на розовом закате. А? Чудесно, старина... Ты вспомни, что такое северный русский провинциальный городишко зимой! Утром мы его можем увидеть во всей белой прелести! И без всякой московской философии! Какая грусть и свобода, дружище, поселиться где-нибудь в доисторической паршивой гостинице!..

Васильев, как-то успокаивающе ободренный и рюмкой водки на лимонной корочке с примесью, видимо, неизвестной травки, и добротным окающим гудением грубоватого голоса Лопатина, готового без долгих сомнений поддержать любую идею его, будь она самой неблагоразумной, молчал и думал, что не все еще в жизни потеряно, если есть на свете любящий его Лопатин, много повидавший и понявший.

«Да, да, он любит в моих слабостях свои слабости, свой бродяжнический размах и свою полную раскованность,— соображал Васильев, вытягивая ноги на диване.— Но ведь я не свободен. И даже наоборот: не хочу быть свободным в понимании Лопатина. Я по-прежнему люблю Марию, и это уже не свобода. И этой несвободы я хочу больше всякой свободы. Любовь к ней?.. Может быть, никого я уже не люблю, а осталась только эгоистическая ревность? Но что между нами началось?»

— Скучаю я по русским северным городкам,— загудел Лопатин, входя в комнату и расправляя бороду поверх толстого, грубого, ручной вязки свитера.— Не тот комфорт, не тот кафель, а неповторимое колдовство... не сравнить ни с какими западными красотами. Чего стоит одна стеклянная тишина в малиновом инее утра! Потом — мороз, солнце, белизна. Дымящиеся проруби в толстенном льду реки с сохранившимися кое-где на берегу баньками. И красивейшие русские женщины с ласковыми голубыми

глазами, с ума спятить можно от одной певучей их речи!.. А? А на закатах, брат, покой сказочный, только окошки багровым отсвечивают да целыми стаями галки мельтешат над ветхими колоколенками. Помнишь, как мы отменно посидели с тобой неделю под Новгородом? Там тоже кое-где еще остались островки Руси, слава богу.

— Не хочу, Саша, никуда,— сказал Васильев.

Он вспомнил позапрошлогоднюю поездку в Новгородскую область, поездку внезапную, зимнюю, тоже ночную, мысль о которой родилась в «Арагви», когда обмывали вторую премию Васильева, поездку вынужденную, не совсем трезвую, равную бегству от утомительной московской суеты, праздной нервозности, связанной с телефонными звонками, поздравительными телеграммами, письмами, бесконечными забегами в мастерскую целых компаний художников с несомненной целью и поздравить и выпить. Вот тогда и возникла надежда на спасительный уход в тишину, скрипучий снег, чистый морозный воздух, пахнущий древностью, заиндевелым деревом, сладким покоем и прочностью белого камня, вынужденное бегство от разгульного сумасшествия в милую русскую зиму.

«Бегство, бегство, все время я куда-то бегу. Куда? — подумал Васильев, морщась.— И сейчас бесцеремонно пришел к Александру, зная, что он простит мне все, взбаламутил его и себя...»

— Так взять мне, Володя, на всякий случай чемоданчик? — серьезно спросил Лопатин и выдернул из-за груды книг потертый полусаквояж-полупортфель, показал его Васильеву.— Тот самый, с которым мы ездили. Белье, вино, зубные щетки, бритва... Остальное покупается на месте.

— Никуда не хочу, Саша. Даже в Замоскворечье. Никуда, Саша...— сказал вдруг хриплым голосом Васильев и откинулся на диване с выражением предельной усталости.

И Лопатин ядовито вскричал, вздергивая плечами:

— Вот те раз! Как «никуда»? Совсем никуда? — Он хохотнул раскатисто.— Какого хрена ты заставил меня одеться в походную робу? Семь пятниц на неделе, искуситель ты несуразный!

— Сейчас хочу побыть у тебя немного,— сказал Васильев, закрывая глаза.— Я соскучился по тебе. Мы долго не виделись. А я устал что-то очень.

Лопатин без единого слова отбросил полусаквояж в

угол, после чего сел с неопределенным кряхтеньем на кипу связанных старых газет и сказал наконец:

— Не видел я тебя вроде бы месяца полтора. Так вроде? Как ты, Володенька, поживаешь в последнее время?

— Слава богу, не дай бог,— ответил Васильев, открыл глаза, засмеялся и потянул из пачки на столе сигарету.— «Дукат» я когда-то курил в студенческие годы. Дешево и зло. Не сигареты, а горлодеры.

— Не работал, Володя?

— Нет.

— Что так?

— Не работается, Саша. Уже давно. То есть мазал немного, но все не то...

— В связи с этим восторга не испытываю и в воздух чепчик не бросаю! Не хочется и лень, или искорки нет?

— И то и другое, Саша. И даже третье... Об этом не хочу. Лучше покурим твой студенческий горлодер...

— Ладно, я замолкаю. Давай-ка лучше покурим, если не хочешь выпить. А дома как?

— Слава богу...

— Не дай бог,— договорил тоном усмешки Лопатин и, вроде отрезая необязательный разговор, не требующий никакого умственного усилия обоих, спросил строго: — Можешь, конечно, Володя, послать меня подальше, но ответь на один вопрос: ты не болен? Нет?

— Я не болен,— сказал Васильев и со сморщенным лицом потер лоб.— Хотя никто не знает, кто болен: он сам или тот, кого принимает за больного. Вот, например, с точки зрения вашей лифтерши ты, конечно, псих и анормальный тип: бородища разбойничья, по дому и даже за газетами ходит босиком, курит вонючие сигареты и к тому же бездельник, тунеядец, ибо каждое утро на работу не ездит. Как? Не точно, скажешь? А, расхотелось...

Он не закурил, вложил сигарету обратно в пачку и, готовый, казалось, превесело улыбнуться, не улыбнулся, а, чуть хмурясь, вытянулся поудобнее, скрестил на груди руки и, было похоже, хотел задремать здесь, на этом удобном теплом диване, в зеленом свете настольной лампы, среди уютного книжного хаоса, в квартире-мастерской Лопатина, под гулкие налетающие удары метели за окном.

Лопатин легонько теребил, разлохмачивал бороду, из дебрей ее торчала зажженная сигарета, с тревожной нежностью глядел на Васильева, будто нисколько не осуждая его за непоследовательность, но намеренный понять

до конца, что хочет он, что ждать от него в следующую минуту, и Васильев не без раздражения почувствовал это наблюдающее внимание, и морщинка возле губ передернула его лицо.

— Ответь, Саша,— проговорил медленно Васильев,— тебе знакомо чувство ревности? Не анахронизм оно, а? Правда, глупый вопрос?..

— Названное тобою чувство знакомо всем,— иронически ответил Лопатин и подул сигаретным дымом на зеленый колпак настольной лампы.— Она, то есть ревность, не имеет ни пола, ни возраста, но часто вводит иных людей, охваченных ею, в порывы гневного возмездия и аффекта: смотри «Отелло» и сотни судебных дел об убийстве жен и мужей, а иных — в зубную боль, в депрессию, в состояние нечеловеческой муки, что хуже всякой пытки, ибо конца ей нет. Какова причина вопроса, Володя?

— Я тебя спрашиваю — тебе знакомо? — повторил Васильев и, приподнимаясь на локте, всмотрелся в лицо Лопатина.— Лично тебе? Ты же был женат на красивой женщине, в конце концов.

— Мою бывшую жену я сперва абсолютно не ревновал. До тех пор, пока она не стала ночевать у так называемых подруг... Ну, тут я познал страдания ревнивца, и тут я готов был убить всех этих подруг и себя. Я рычал в бессилии, как стареющий лев, и метался по городу в поисках ее!.. Идиотическое было время! Но она — особ статья. Елена была просто милая пресыщенная потаскушка. Сейчас я свободен, дружище, понимаешь ли ты. Свободен от женщин и любви, а значит, и от ревности. Брак, Володя, мешал мне, как... пудовые кандалы, как гири на ногах. Надо полагать, я не создан для семейных сантиментов. Для меня обязанности супруга были сущей каторгой: капризы, упреки, не то сделал, не то купил, выпил лишнюю рюмку, обкурил, понимаешь ли ты, всю квартиру и так далее и тому подобное.

— Я ревную ее, наверно,— очень тихо сказал Васильев, слушая и в то же время совсем не слушая Лопатина, и, заложив руки за голову, договорил неестественно спокойным голосом: — Это и есть медленная пытка, Саша...

— Не преувеличиваешь ли ты? — Лопатин удивленно не то застонал, не то замычал и, подавляя эти невнятные звуки кашлем, гулко спросил: — И давно?

— Что давно?

— Ну... твоя пытка началась? Когда почувствовал... эти самые симптомы?

— Спрашиваешь, как будто врач.
— Как твой друг.
— Я почувствовал это в Венеции. Почему в Венеции — объяснить не могу. Впрочем, там многое произошло, Саша. Со мной. И с нею. Нет, ничего не случилось. Все как было. Но что-то произошло...
— Можешь не слушать меня, дурака глупого, но понять тебя трудно, Володя.
— А ты думаешь, я сам все понимаю?

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Поезд в Венецию прибыл поздним вечером. Густой туман тек вдоль безлюдных платформ, по которым одна за другой катились к вагонам пневматические тележки носильщиков, то и дело кричавших зычными голосами, а из открытых окон почти пустого поезда редко высовывались с усталым ожиданием лица, глядели на эти тележки, на мокро отблескивающий под огнями перрон, на небольшую толпу пассажиров, потянувшихся из передних вагонов к застекленному, сплошь окутанному серой мглой вокзалу.

В сопровождении проворного носильщика они спустились по скользким ступеням на брусчатник привокзальной площади, и тут сразу горьковато запахло осенью, мокрым камнем, близкой водой, все вокруг тонуло в таком плотном туманном сумраке, что видна была только часть маленькой площади, за которой чуть-чуть брезжили, плавали размытые пятна фонарей, а вверху, в дымящейся пустоте, мутно-красный конус рекламы кока-колы.

— Как сыро! — сказала Мария, закутывая горло воротником плаща.— Где же твоя хваленая Венеция? Кажется, даже любимая Венеция? Ни зги не видно.

— Вечером в это время здесь туманы, Маша,— ответил Васильев.— Но утром будет солнце, ты все увидишь.

Она повернулась к нему боком, несколько сердито глядя в сырую, непроницаемую мглу, скрывшую знаменитый город с его огнями отелей, дворцами и мостиками через каналы, с его вечерней жизнью, как будто бы придушенной набухшей толщей шевелящейся всюду пелены, едва пропускавшей дальние светы.

После того как носильщик поспешно подхватил чемоданы и с ловкой и быстрой предупредительностью помог им сойти в катер, после того как они сели на холодные кожа-

ные диваны в салоне, слабо освещенном матовыми плафонами, и Мария закурила, поглядывая на стекла, по которым ползли, растягивались, дымились мутные водяные пласты, катер заработал двигателем, дрожа, зашумел, разворачиваясь, волной и помчал их в туман, мимо расплывчатых очертаний подымавшихся из воды дворцов, мимо темных бесконечных причалов с проступавшими возле них голыми мачтами яхт, моторными лодками и гондолами.

— Не хочешь, Маша, с палубы посмотреть? — спросил Васильев.— Я хочу взглянуть.

— Нет,— сказала она рассеянно, и он один поднялся по трапу из салона.

Но наверху туман так хлестнул по лицу, забил дыхание осенней влажностью, что стоять здесь, на хлещущем воздухе, против валившей навстречу, текучей, качающейся слева и справа в задушенных огнях зловещей мути, стало неприятно и холодно. И все же, выстояв минут пять, он сошел вниз, в теперь очень теплый после промозглой сырости салончик, уютно пахнущий слабыми духами, синтетической обивкой. Мария сидела на диване, заложив ногу за ногу, улыбаясь, разговаривала с молодым итальянцем Боцарелли, эссеистом, критиком и знатоком живописи, встретившим их на вокзале, и Васильев заметил алые пятна на его скулах, заметил, как он пощипывал чуткими пальцами священника черную аккуратную бородку, косясь сливовыми глазами на круглое, прекрасно вылепленное колено Марии, приоткрытое сползшей полой короткого плаща. Раньше Васильев лишь бегло обращал внимание на то, что Мария в своем возрасте («восемнадцать лет давно миновало», как говорила она сама шутливо) еще могла привлекать интерес мужчин, заставляя их неожиданно впадать в игриво-светский тон, распускать веером хвост и глядеть на нее более длительно, чем требовало расположение давних отношений семейной дружбы, но это сначала только будило в нем легкое чувство мужского тщеславия, подогревая любовь к жене. Почти никогда прежде Васильев не задерживал любопытства на ее прилежном интересе к парфюмерии, к разнообразным средствам самой природы, помогавшим еще и в Древнем Риме сохранить женственность фигуры, опрятность во всем, поэтому прошлым летом на пляже в Крыму он внезапно поразился, увидев облитое полуденным солнцем шоколадное от загара тело жены, еще пленительно-молодое, крепкое, сильное, как у гимнастки, с подтянутым животом, и в тот день особенно изучающе,

хоть и украдкой, разглядывал Марию, вслушивался в тембр ее голоса, пытаясь и вместе не желая найти признаки того, что после сорока пяти лет стал отмечать у себя даже при мимолетном взгляде в зеркало: лучики морщин вокруг глаз, седину висков, тень усталости на лице. Нет, ее темно-серые глаза не теряли теплый тайный блеск, ее губы улыбались очерченно упруго, и не было лишних морщин, этих неумолимых предвестников женского отчаяния,— она, конечно, выглядела намного моложе своих лет. Он отнес это за счет утренней гимнастики, тенниса и лыж, которыми она занималась не из любви к спорту, а из отвращения к телесному безобразию, из необходимости сохранить нужную ей форму молодости. Только седая прядь тонкой белизной слегка выделялась в русых волосах жены, загадочно подчеркивала уже прожитые годы, где не все было покойно и бесстрастно.

Стеснительный Боцарелли разговаривал с Марией, розовея пятнами, то и дело бросал взгляд на ее ноги, прямые, длинные (ноги Софи Лорен?), а Мария, зная их неотразимость, ласково улыбалась, продолжала спрашивать его о поп-арте и коллаже в итальянском искусстве, и Боцарелли жадно всасывал яркими губами дым сигареты, почему-то заикался, лепетал, трудно выдавливая отрывистые фразы. При виде Васильева он вскочил, вежливо уступая место подле Марии, и тот сейчас же подумал, с попыткой настроиться на веселый лад: «Зачем она хочет понравиться незнакомому мальчику? Или это женский инстинкт — проверка оружия самонадеянной неотразимости опытной женщины?»

— Жал оч-чен, — сказал Боцарелли, изучавший самостоятельно русский язык благодаря любви к Достоевскому, Кандинскому и Малевичу, и указал сигаретой на окно в салоне, выражая лицом крайнее огорчение.

— Что жаль, синьор Боцарелли? — спросил Васильев заинтересованно.— Разве вам не нравится туман? Я думаю, осенняя Венеция — тоже неповторима.

— По-го-да,— выговорил по слогам Боцарелли и виновато извинился пожатием плеча.

— По-моему, великолепная погода,— возразил Васильев.— Посмотри, Мария, какие сатанинские космы вытянулись вокруг фонарей, видишь? Таких чудес днем на солнце не бывает.

Он обращался к ней, чтобы попытаться заразить чувством приезда в искренне любимый им город, ему хотелось увидеть мягкий, переливающийся блеск в ее глазах,

напоминавший ему летний солнечный день, ему хотелось возбудить ее любопытство ожиданием новизны, таинственной и радостной неизвестности, и он договорил:

— Знаешь, Мария, мы попали в настоящую осень в Венеции. Где еще можно встретить такой туман?

Мария посмотрела на стекло салона, мимо которого проплывали вблизи лохматые световые пятна, ничего не ответила, и Васильеву показалось, что он увидел в ее ровном взгляде зиму и снег, и томительная зябкая волна окатила его, как бывало порой с ним в часы одиночества.

«Она скрывает, что раздражена против меня? — подумал он.— Что с ней происходит? Она молчит, а я не спрашиваю, и это мучительно...»

И он на миг ощутил душное беспокойство, какое-то опасное охлаждение ко всему, что манило и привлекало его, к чему необъяснимое равнодушие выказывала Мария, умевшая так больно молчать, хотя никаких причин для размолвки между ними не было.

...Минут через десять катер причалил к тускло высветленной в тумане каменной террасе, к ее заплесневелым ступеням, скользко поблескивающим под низкими фонарями, и вверху — за террасой — засветился старинный подъезд отеля, пробивающий толстые пласты тумана белый прямоугольник электрического коридора.

После звука мотора, дрожания пола под ногами и едкой сырости, оседавшей каплями на рукавах плащей, маленький вестибюль маленького отеля был особенно тих, покоен, сух, пропитан теплом старого дерева, запахом сигар; и очень красивый, женственно-стройный портье в черном костюме, с плоско зачесанными глянцевитыми волосами, радужно улыбаясь («боана сера, боана сера!» [1]), взял паспорта, затем, подобно фокуснику, двумя пальцами изящно бросил ключи в подставленную ладонь темноглазого мальчика в шапочке с красной кисточкой, и тот, так же приветливо улыбаясь, артистически плавно подхватил чемоданы и понес их, бесшумно побежал по узкой винтовой лестнице с ажурной чеканкой перил, застеленной алой ковровой дорожкой, растворяющей звуки шагов.

А когда на втором этаже вошли в номер, большой, обставленный под старину, повеявший плесенью от близости воды за окнами, пряной затхлостью, с просторной двухспальной кроватью, туалетным трельяжем, бархат-

[1] «добрый вечер, добрый вечер!» (*ит.*)

ным пуфом и потемневшими гравюрами на стенах, когда мальчик виртуозно разложил на деревянных подставках чемоданы и, весело получив чаевые, исчез в затемненном коридоре, Васильев закрыл за ним дверь и тотчас почувствовал ватную тишину комнаты, оставшись вдвоем с Марией. Она же небрежно повесила плащ, распахнула скрипучую створку шкафа, но почему-то не стала раскладывать вещи из чемодана, молча закурила, повернулась спиной к нему.

Васильев знал, что она будет молчать или сдержанно, равнодушно отвечать на его вопросы (так ему казалось, и что было в их отношениях нестерпимо), и он вдруг испугался холода неловкости, незаметно прокравшейся между ними, и, раздосадованный беспричинностью уже несколько дней продолжающейся муки, подумал с обидой: «Ну зачем же такое наказание нам обоим здесь, в Венеции? В конце концов, легче ссориться дома...»

Он подошел к ней сзади и с видом человека, предлагающего удобное решение, сказал мягко:

— Маша, у нас сегодня свободный вечер. Можно посидеть где-нибудь в ресторанчике около площади Святого Марка. Закажем что-нибудь сверхитальянское. Но можем сходить и в кино. Мне посоветовали в Риме ради любопытства посмотреть новый английский фильм. Какая-то невероятная сенсация. Кажется, «Двое» или «Трое».— Он заметил чуть насмешливое движение ее бровей и в нерешительности добавил: — Может быть, все-таки — ресторан? Как ты?

— Я не хочу,— сказала она.— Мне уже страшно надоели, до ужаса надоели рестораны. И эти пиццы и спагетти. Я сыта надолго. Понимаешь?

Он слабо возразил:

— Но ужинать надо, Маша.

Она загасила сигарету в пепельнице, ответила безразлично:

— Я отлично обойдусь сегодня без ужина.

Она, видимо, понимала, как за последние дни стала трудна обоим эта возникшая между ними холодноватая недоговоренность, а Васильев в разговоре с Марией не хотел ничего усугублять, опасаясь, что не выдержит совершенно лишней сейчас размолвки, и мгновенно пропадет весь интерес их поездки в Венецию, уже наполовину испорченной горечью досады друг на друга.

И он сказал с шутливой покорностью:

— Я согласен на все, Маша.

— Согласен? На все? — переспросила Мария изумленно и посмотрела заблестевшим взглядом, который проник в него непонятной мучительной пронзительностью.— Согласен? И ты сказал — «на все»? Господи боже мой, как дешево в наше время стоят слова!.. «Согласен на все». Да, да, пойдем в кино, если уж так,— сказала она торопливо и присела на пуф к трельяжу, мимолетно взглядывая на свое лицо в зеркале.— Что ж, пойдем в кино, на английскую сенсацию. И если не трудно, позвони синьору Боцарелли, пригласи его. Нам с ним будет лучше. Он хорошо знает город.

— Я тоже немного знаю Венецию. И кинотеатр мы найдем,— сказал Васильев неуверенно.— Это так просто.

— Нет, нет, пригласи, пожалуйста, нашего милого критика.

В крошечном зале кинотеатра, призрачно озаренном экраном, терпко пахнущем синтетическими плащами, уже шел фильм, когда билетерша, посветив фонариком на билеты, поспешно повела их за собой, посадила в середине пятого ряда, перед которым до самого экрана простиралась свободная сумеречность, только впереди справа виднелись две лохматые головы, рдели там двумя точками огоньки сигарет, и слоились оттуда соединенные спирали дыма в голубоватом свечении экрана.

То, что впереди было пустынно, создавало им некоторое удобство, но минут через пять Васильеву показалось, что Мария поглядывает на него непонимающе-вопросительно, ему захотелось найти на подлокотнике ее руку, ласково стиснуть тонкое запястье, сказать покаянно и миролюбиво: «И дернул же нас черт пойти на эту английскую сенсацию. Уходим отсюда, а?» — и, не решаясь сразу подняться, почувствовал ее напряжение рядом с собой и осторожное посапывание сбоку синьора Боцарелли.

Она сидела слева от него, подперев рукой подбородок, и уже не смотрела на экран, а, насмешливо вытягивая нижнюю губу, наблюдала лохматоголовую парочку, которая со всхлипами, с протяжным стоном, с мычанием обнималась в четвертом ряду, жадно закуривая между затяжными поцелуями.

А там, на экране, все было греховно, ядовито-роскошно: влюбленный молодой адвокат, великолепно воспитанный, из аристократической богатой семьи, женившись на кроткой хрупкой блондинке, озадачен, обеспокоен, никак не может взять в толк причину ее постоянной тоски,

супружеского равнодушия, плохо скрытого отвращения к его близости в медовый месяц. Но однажды, придя домой неурочно, он застает молодую жену, счастливую, возбужденную, в обществе ее подруги по колледжу (что так безутешно рыдала в церкви в час венчания), занятых порочной игрой переодевания то в мужские, то в женские костюмы, и после бурного объяснения между ними герой, подавленный, растерянный, соглашается наконец с предложением находчивой подруги попробовать жить втроем, и подробности этой брачной жизни втроем — в городской спальне, на загородной вилле, в номере отеля, на берегу солнечного моря — постепенно становились для молодого адвоката его новой любовью, его страстью, раздираемой постоянной ревностью к обеим...

— Вы, пожалуйста, досматривайте фильм, а я подожду вас на улице,— сказала Мария и встала, пошла к выходу, где над портьерой искоркой светил красный фонарик.

— Синьор Боцарелли, вы как? — спросил Васильев вполголоса, вставая следом.— Терпения моего нет.

— С вами, с вами, с вами,— закивал Боцарелли и тоже поспешно вскочил, выказывая готовность немедленно идти куда угодно за уважаемым синьором Васильевым.

В вечернем городе по-прежнему стоял, клубился туман, обволакивал огни, витрины закрытых магазинов, что горели и проступали неоном, напоминая пустые театральные сцены, мимо которых изредка двигались фигуры прохожих. Узкие улочки, наполненные до краев шевелящейся мглой, глушили шаги; немного светлее было на площадях, где порой возникала размытая громада храма (в его решетчатых окнах багрово теплился над землей отблеск электрических свечей), и снова пронизанные неоном витрин туманные коридоры улиц, опять полукруглые и зыбкие тени мостиков через невидимые каналы, промозгло дующие снизу ветром, запахом обмываемого водой заплесневелого камня.

Долго шли молча.

— Не понимаю,— заговорила вдруг Мария, сунув руки в карманы плаща и ежась.— Весь мир сошел с ума. В отвратительных извращениях ищут правду и хотят внушить людям гадливость к самим себе. Для чего? Зачем? Вы можете объяснить, синьор Боцарелли? Знаете, после этого фильма не хочется смотреть ни на мужчин, ни на женщин.

Синьор Боцарелли предупредительно заулыбался, но по его лицу было видно, что вопрос недостаточно хорошо понят им, поэтому он смущенно попросил:

— Можно по-итальянски, синьора Мария?

— Попробую,— сказала она со вздохом.— Ну, хорошо, по-итальянски.

Она повторила вопрос, и Боцарелли ответил по-русски с некоторой запинкой:

— Я думаю, пансексуализм... появился как самоутверждение интеллектуалов, синьора Мария. Их... то есть интеллектуальных людей, считали абсолютно импотентами. Тогда они разозлились, сделали... как это называется... сексуальную революцию, но... как это сказать лучше?.. Сами по-старому остались импотентами.— И он как бы испуганно потрогал аккуратную бородку.— Так я думаю, синьора Мария.

— Странное объяснение,— сказала она и задумчиво свела брови.— Вы верите в свой иронический миф и вам все ясно? Вы счастливый человек, если так легко соглашаетесь с самим собою.

— По-моему, этот самый сексуализм, синьор Боцарелли, придумал циничный торговец и он же — очень прожженный политик,— проговорил досадливо Васильев.— Своего рода товар, лейкопластырь и громоотвод...

— Почему ты сводишь все к политике? — спросила Мария с раздражением.

«Как я не хочу, чтобы она говорила об этом!..» — подумал Васильев, почему-то сейчас ревнуя ее к тому, что она по роду профессии своей узнавала не однажды и, по-видимому, больше, чем он, из современных итальянских и французских романов, читая их для перевода.

— Совсем нет, Маша.

— Не все в политике, милый Володя. И фашизм, и всякие отклонения сидят в человеке, как палочка Коха,— сказала Мария.— Иначе бы не ходили и не глазели бы на всякую белиберду вроде этой.

— О да, синьора Мария, о да! — вскричал согласно Боцарелли, и сливовые глаза его сверкнули горячим восторгом.— Спрос рождает предложение. Если нет спроса, то-о... нет предложения. Я учил морал и знаю, что русские не очен любят «порно». Но хочу сказать, что оно... это «порно», все равно проявление творческой свободы, которой в абсолюте нет. Здесь начало трагедии...

— Начало? — проговорила Мария удивленно.— Но что общего между искусством и патологией?

— О, синьора Мария! — воскликнул с вежливым упреком Боцарелли.— Разве не патология современная цивилизация? Наркомания? Насилие? Эскалация секса? Движение из ниоткуда в никуда? Посмотрите на улицы Рима, Милана, Парижа! Куда движутся машины? И разные люди в них? Да, я думаю, что из ниоткуда в никуда. Мир очен устал. А этот английский «римейк» — монастыри молчания: английские интеллектуалы уходят в них и молчат месяцами, как немые. А «ретро» — возвращение в прошлое... А магеридж...

— Магеридж?

— Я объясню. Это... групповое стремление к быстрой смерти... это среди хиппи. Что здесь должно делать искусство?

— Как все это грустно, ужасно грустно! — сказала Мария, кутаясь в поднятый воротник плаща.— Что будет с людьми через двадцать лет! Куда они идут? К пропасти?

— Очен грустно,— подтвердил Боцарелли и опять заговорил с доказательным жаром: — Сейчас в мире никому не нужен человек. Говорит о душе человека только кучка интеллектуалов. Они чего-то хотят, и они боятся, поэтому болтают о гуманизме, о гибели цивилизации на отравленной земле. Но, синьора Мария, это боязнь за себя, за мировую культуру, а не за человека, к которому они очен равнодушны.

Они шли в мокрой мгле по узеньким каменным улочкам, иногда всходили по ступеням на узкие мостики, переброшенные арками через каналы, угадывая внизу, в белеющих прорехах, водяную рябь редких фонарей, и здесь, на мостиках, остро пронизывало осенней отсырелостью стен темных домов. Город давно спал, непогода октябрьского вечера разогнала немногочисленных в эту пору туристов, не видно было нигде ни души, и только туман властвовал повсюду, присасывался к райским световым провалам никому не нужных сейчас витрин, вкрадчиво придавливался к красноватым окнам ночных баров.

Два раза Васильев был в Венеции весной, запомнил ее солнечной, многолюдной, а эта осенняя темная Венеция, унылое безлюдье, запах древней плесени, неприятный фильм и неприятный разговор с Боцарелли по дороге в отель — все будто имело привкус неудачи, обмана, и было ему трудно дышать влагой воздуха.

«Что меня тревожит сейчас? — думал Васильев.— Или я действительно не очень здоров?»

— Боже, как я хочу курить! — сказала Мария, вздрагивая, и прижала воротник плаща к подбородку.— Какая все же здесь ужасная сырость...

— Вы сказали?.. Я прошу, синьора Мария,— проговорил Боцарелли и сделал к ней шаг, с поклоном протянул сигареты, но она, улыбаясь, остановила его благодарно:

— Спасибо. Я не курю на улице.

— Я возражу вам, синьор Боцарелли,— выговорил Васильев насколько можно сдержаннее, со стыдом чувствуя, что готов вспылить.— Вы сказали горькие слова об интеллектуалах. А я их люблю, при всех их недостатках. Без них жизнь была бы сплошной скукой и утилитарной механикой. Вы говорили как критик, а в наше время, к сожалению, критика — или беззастенчивая реклама, или публичная казнь таланта. Тем более только боги могут убивать себе подобных, а не падшие ангелы. Простите, совершенно не хочу обидеть, но почти все критики — падшие ангелы. По тому, как вы с нелюбовью говорите об интеллектуалах, я понял, что вы тоже...

Боцарелли, довольный, блеснул молодыми зубами на худом, бледном лице монаха.

— Синьор Васильев, я не писал о вашей римской выставке плохо! Я не убивал вас. Наоборот. Кое-что мне нравится очен. «Снег», «Прощание», «Женщина в красном», «Портрет». Я определил вашу манеру не как социалистический реализм, а как реализм социализма.

— Разве суть в терминах? — поморщился Васильев.— Что в лоб, что по̀ лбу. Слыхали такое русское выражение?

— В лоб, по лбу,— застенчиво покивал бородкой Боцарелли.— Я скажу так. Критик в современном искусстве — это куртизанка, он должен любить всех. А я не люблю многих. Моя трагедия в том, что я ненавижу некоторых художников, а должен любить, то ест изображать, как куртизанка, любовь.

— И это, к сожалению, во всем мире! — резко сказал Васильев.— К сожалению, потому, что человеческая жизнь — лишь повод для искусства, а творчество — это личность, ее выражение! К черту куртизанство в искусстве, синьор Боцарелли!

— Ты не следишь за собой, Володя,— тихо сказала Мария, глядя под ноги.— Ты обижаешь своим тоном...

— Я не обижаюсь! — добродушно воскликнул Боцарелли и взмахом чутких рук изобразил отсутствие обиды.— Конечно, вы, такой самостоятельный талант, не можете серьезно относиться к профессии куртизанки. Я сам

немножко терплю собственную профессию, но другой у меня нет. Я очен понимаю, что всякое творчество — выявленная аномалия, и разбираться в ней должен психиатр... не жалкий критик.

— Зачем преувеличивать?

— Создавать несуществующий мир на холсте красками или словами на бумаге — не аномалия? Даже ваш, синьор Васильев, реализм... как это? Не отражение действительности, а зеркало вашего субъекта... вашего личного «я». И вот такой акт — занятие нормальных людей? Нормален бог, сотворивший наш мир? Иероним Босх жил в пятнадцатом веке, а своим воображением создал страшный современный мир уродства. Его картина «Несение креста» — кто окружает Иисуса? Жестокие, садистские лица, которые представляют, как показала история, большинство человечества. Не инопланетные пришельцы, а жестокие люди распяли любвеобильного чудака. Простите, я очен, очен ушел от разговора, но я всегда думаю: что должен делать талант художника — прощать человечеству кровавые грехи, войны, убийства или сердиться на него? Любить или ненавидеть?

— И прощать, и не прощать. Любить и ненавидеть,— проговорил Васильев, досадуя на свою несдержанность, и договорил спокойнее: — Я уверен, что искусство — самопознание человечества и его самонаказание.

— Что вы сказали, синьор Васильев? Самонаказание? — спросил Боцарелли и восторженно округлил внимательные глаза, точно схватил главную мысль, необходимую ему.— Имеет это какое-нибудь отношение к мазохизму?..

— Какого черта вы все сводите к одному и тому же, извините! Никакого отношения! Самонаказание — это в смысле исторической вины за всю пролитую кровь, за все страдания. Самонаказание необходимо для самосохранения человечества. Вы поняли меня, синьор Боцарелли? Искусство призвано сохранять человеческое в человеке! Без всяких этих надоевших до черта де Садов, Захер-Мазохов и Фрейдов!

— Почему ты так злишься? — сказала Мария, пожимая плечами.— Ты груб, Володя.

— Разве? — проговорил Васильев вполголоса.— Вот уж не хотел.

«Да, мне что-то не по себе,— думал он, не понимая причину колючего, сжатого в груди раздражения и против нелепого фильма, и против душащего влагой тумана

в любимой им Венеции, и против этого неглупого, излишне болтливого критика-итальянца, смахивающего на священника своими чуткими руками, худобой лица, скромной бородкой.— Если я не могу сдерживать себя, то почему я должен показаться этому мальчику, синьору Боцарелли, образцово воспитанным русским, который в светской любезности произносит только два милых слова: «отнюдь» и «весьма»? Ко всем чертям все эти нормы! К черту и к черту! Снова чувства? Дать бы мне бессердечный разум — и все обретет спокойствие. И все в мире станет закономерным, и я буду несказанно доволен, что я в третий раз приехал в Венецию, что скоро наступит утро и я увижу солнце над каналами. Но со мной что-то не так, и мне не по себе, как будто плакать хочется...»

— Все, все прекрасно, в общем,— сказал Васильев бодрым голосом, едва скрыв в интонации фальшивую нотку, и продолжал превесело, сознавая, что говорит пошлость: — К счастью, мы остались живы после глупейшего фильма, и поэтому стоило бы сейчас перекусить и что-нибудь выпить.

— О чем ты говоришь? Двенадцать часов ночи. Я устала невыносимо. Но я тебя не задерживаю. Поступай как хочешь.

Мария искоса посмотрела коротким взглядом, в котором он перехватил мимолетный зимний отсвет, и опять стеснило дыхание, точно бы перебои сердца или непролитые слезы мешали ему. Он овладел собой, сердясь на это ненормальное состояние, унижающее его уже тем, что без особых причин мог сорваться, вспылить каждую минуту.

— Не посетуйте, синьор Боцарелли,— проговорил Васильев.— Я искренне сожалею, что наговорил колкостей, которые, в конце концов, абсолютно бесполезны.

В вестибюле отеля был приглушен свет, и молодой красивый портье, листавший иллюстрированный журнал под настольной лампой, с приветливой улыбкой («боана сера!») подошел к полочкам с ключами и ключ от номера подал Васильеву вместе с конвертом, плотным, длинным, на котором крупным косым почерком было написано по-английски: «М-м Васильевой» и подчеркнуто дважды.

— Тебе, Маша,— сказал Васильев и увидел, как испуганно засветились ее глаза, пробегая по почерку на конверте, как заколебался в руке листок бумаги, когда

она тут же, отойдя немного в сторону, бегло прочитала письмо, должно быть состоящее из нескольких строк.

— Это мне,— проговорила она, небрежно засовывая письмо в сумочку, но голос был чрезмерно натянут, и, наверное, поэтому она постаралась улыбнуться синьору Боцарелли мягкой, обволакивающей улыбкой: — Спокойной ночи. До завтра. Arrivederci! [1]

И даже взяла под руку Васильева по дороге к лестнице.

Но как только вошли в номер и зажгли свет, она, не снимая плаща, быстро повернулась к нему, глядя в его глаза потемневшим, тем же испуганным взглядом, сказала шепотом «Боже мой», бросила сумочку на трельяж и стала ходить по номеру, клоня голову, окуная подбородок в поднятый воротник плаща. Он молча следил за ней, предчувствуя, что в эти секунды должно произойти то, чего он боялся, не хотел и вместе с тем ожидал как неизбежность.

— Я не знаю, как тебе об этом сказать,— заговорила она, торопливо закуривая, продолжая ходить по номеру.— Я не знала и не знаю, как тебе все это сказать...

— О чем? — спросил он и подумал с остротой внезапно настигшей ясности: «Вот оно, сейчас...»

— Не знаю, как сказать о том, с кем я встречалась в Риме,— повторила она с гримасой нетерпения.— Впрочем, сам прочти его письмо. Оно адресовано мне, но предназначено для тебя.

«Вот сейчас... Все случится именно сейчас... И она хочет этого. Она как будто хочет избавиться от чего-то тайного, мучительного...»

— От кого? — спросил он как можно спокойней, взял конверт, вынутый ею из сумочки, и спасительно, неожиданно для себя проговорил, усмехаясь: — А стоит ли, Маша, читать чужие письма? Имею ли я право?..

— Читай же! Читай! — крикнула она приказывающим шепотом, и нетерпеливая гримаса изменила ее лицо, сделала его некрасивым, отрешенным, страдальческим.

Он машинально развернул листок глянцевой бумаги со штампом отеля и прочитал всего несколько фраз, написанных по-русски нервным косым почерком.

«Дорогая и многоуважаемая Маша!

Ради бога, извини меня за то, что я использую сохранившуюся частицу доброго отношения ко мне. Не хочу,

[1] До свидания! *(ит.)*

чтобы моя встреча с Владимиром произошла вдруг. Такая неожиданность будет раздражительна и неприятна, что я предполагаю. Так же, как и встреча с тобой в Риме, напугавшая тебя, бедную, до полуобморока. Передай ему, ради всего святого, что я буду ждать в ресторане вашего отеля — завтра от 8 до 10 ч. утра. Если он не придет до 10-ти — бог ему судья. Я же не пойму его неприход как казнь свою или ненависть ко мне. *Илья*».

— Илья?

Он второй раз прочитал письмо, и что-то смутно повернулось в нем, неуловимо промелькнуло в сознании тревожное ощущение давнего, но даже не это ощущение, а намек на нечто далекое, прошедшее показалось ему невозможностью, обманом собственной памяти об исчезнувшем в небытии времени.

— Илья? Кто этот Илья? — спросил Васильев, уже выбрасывая из сознания эту тень намека, эту слабую догадку без надежды, и проговорил, разделяя слова: — Кажется, среди моих знакомых нет ни одного Ильи. Так кто он? И о чем хочет говорить со мной?

— Это он, он! Понимаешь, он! — крикнула Мария, подходя к окну, и зачем-то отдернула тяжелую штору; туман стоял над каналом, кое-где пробитый белесыми пятнами фонарей.— Это он, Илья, именно Илья! Он жив, он живет в Риме! Он был на твоей выставке, он знает о тебе все! — повторяла она, едва не плача, не оборачиваясь от окна: — Да, мы можем удивляться, не верить, но это он, Илья Рамзин! И он хочет встретиться с тобой, а мне это ужасно не нравится, хотя у меня и был с ним разговор в Риме! Если хочешь знать мое мнение, то не встречайся с ним! Вы разные люди, все это бессмысленно, совершенно бессмысленно!..

— Ну, этого не может быть!— проговорил Васильев отрывисто, все же полностью не веря, и махнул рукой.— Илья Рамзин? Живет в Риме? Чушь какая-то! Мистика! Илья погиб на Украине в сорок третьем году. Мы с ним воевали в одной батарее, командовали взводами. Илья Рамзин? Тот самый? Илья? Встречался с тобой в Риме? Вот уж чего быть не может так не может!

Она сердито перебила его, поворачиваясь от окна:

— Почему ты так настойчиво говоришь, что этого быть не может? Надеюсь, ты не думаешь, что вот это письмо я написала себе сама? Да, я раз встречалась с ним

в Риме, когда ты был на приеме в студии Спинела, и говорила с ним, живым, в течение часа. Никакой подделки, Володя! — добавила она с горькой убедительностью.— Представь — никакого кича, никаких восковых фигур из музея мадам Тюссо. Я разговаривала с живым, живым, настоящим Ильей! И ты в этом завтра можешь убедиться, но я не хочу, чтобы вы встречались, вовсе не хочу! Дай мне спичку, пожалуйста, сигарета погасла...— сказала она, и голос ее споткнулся и дрогнул.— Господи, господи, как я суеверна. Он сейчас думает о нас обоих. Несчастный...

«Илья? Значит, он жив? Но каким образом он здесь? Плен? Он остался в живых? Неужели Илья? Последний раз я видел его в сорок третьем году... Илью разыскивали после войны. Его матери приходили ответы: «в списках живых не значится», «пропал без вести»... Тридцать лет о нем не было ни единой весточки. И до сих пор... Нет, есть вещи, в которые невозможно поверить...»

— Несчастный? — переспросил Васильев и пошарил в карманах спички.— Скажи, как он выглядел? Ты узнала его? Его можно было узнать? В последний раз ты, кажется, видела его в сорок первом?

— Кажется, шестнадцатого или семнадцатого октября, когда были ужасные дни в Москве... Вы тогда вернулись из-под Можайска.

Он стал зажигать спичку, чтобы она прикурила, но сломал ее, и она нетерпеливо взглянула поверх поднятого воротника плаща истемна-серыми глазами, подошла и высвободила из его пальцев спичечный коробок.

— В наш век мы должны бы не удивляться, Володя, хотя все странно...— заговорила Мария поспешно.— Что ж, узнать Илью при некотором усилии можно, если бы не седина... и если бы не что-то чужое в костюме, в глазах... в жестах, что ли...

— Ты сказала «несчастный»?

Она передернула плечами, словно озябла у окна, обложенного туманом.

— Потому что... потому что он надеялся увидеть в нас прошлое. Меня как-то знобит... Если я не приму сейчас горячую ванну, то заболею после венецианской сырости.

Она покусала губы и быстро сбросила плащ, вынула из раскрытого чемодана пижаму и пошла в ванную комнату, а он подумал, что она не договаривает, скрывает что-то, связанное с этой ее немыслимой встречей

с Ильей в Риме, которой нельзя было дать логическое объяснение, ибо погибший или пропавший без вести Илья, лейтенант Рамзин, его одноклассник, друг детства и юности, был жив и почему-то не в Риме, где открылась выставка, а здесь, в Венеции, искал встречи с ним.

За дверью ванной не слышно было движений Марии, отдаленно и ровно шумела из кранов вода, от этого сиротливо-однообразного плеска стало неприютно, пустынно в номере, и Васильев неуспокоенно заходил по комнате, засунув руки в карманы, наконец сказал около двери ванной:

— Маша, я — в бар за сигаретами, скоро приду!

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

В ночном баре, тихом, свободном, Васильев купил две пачки «Сэлем», слабые сигареты с ментолом, которые нравились Марии, затем, как это делал всегда, не зная чужого языка, самоуверенно показал бармену глазами куда-то в джунгли бутылок среди зеркальной неразберихи, сказал на понятном во всех ресторанах мира полуанглийском, полунемецком языке:

— Джин унд тоник, плиз, битте зер [1].

Толстолицый бармен в ярком малиновом жилете, виртуозно поигрывая бутылками, льдом и бокалами, ослепляя эмалью снежных зубов, сицилийской чернотой глаз, сверканием крупной булавки в галстуке, радостно поприветствовал Васильева, как старого почтенного знакомого, хотя видел впервые, и ответил охотно, принимая его за немца:

— Ein Moment. Danke, vielen Dank [2].

Справа за стойкой сидела молодая пара вполне современной наружности, двое одинаково длинноволосых, в одинаково грубых свитерах, она держала сигарету в тоненьких пальцах, сонно потягивала из бокала, смотрела перед собой застывшим стеклянным взором, загибая улыбкой края пухлого, детского рта, а он, обняв ее за плечи, шептал что-то на ухо ей, целовал в щеку, в шею, в губы, она же бесчувственно продолжала изгибать углы младенческого рта улыбкой, пребывая в неподвижном, мнилось, наркотическом забвении. Рядом с ними пили коктейль пожилые американцы, видимо супруги; он,

[1] Джин с тоником, пожалуйста.

[2] Одну минуту. Благодарю вас, премного благодарен *(нем.)*.

худой, до блеска кожи выбритый, заметно молодящийся, в спортивном клетчатом костюме, не по-стариковски острыми глазами оглядывал бар, молодую пару, Васильева, стоявшего у стойки, и одновременно негромко говорил что-то своей спутнице, будто перекатывая во рту целлулоидные шарики, а она, тоже молодящаяся, подрумяненная, крупная телом, в довольно-таки кокетливой шляпке (наверняка купленной во время очередного приезда в Париж, 8 часов на «боинге», аэродром Кеннеди, Нью-Йорк — аэродром Орли), посасывала через соломинку фиолетовую жидкость, посмеивалась басом, выказывая прекрасные выпуклые фарфоровые зубы. И, как подумалось Васильеву, их любопытство, их незастенчивая жизнерадостность были хорошо обоснованы беспечальным странствием по Западной Европе, где не менее приятно, чем в Америке, тратить деньги, наслаждаться комфортом, сервисом, переменой мест, хорошим аппетитом и европейскими музеями.

Слева от Васильева, в угрюмой сосредоточенности, уставясь на кофейный автомат, распространявший теплый, тропический запах, одиноко сутулился над стаканом виски нелюдимого вида толстяк, тяжко сопящий; его багровая шея складкой наплывала на воротник пиджака, спина была круглой, подобная подушке; и был он похож на бывшего борца или тяжелоатлета, заработавшего деньги и теперь бесцельно путешествующего по миру; на волосатых руках переливались голубым огнем перстни, и пальцы его наводили на мысль о пристрастии к картам, крупной игре и азарту.

Это была привычка Васильева — наблюдать за людьми подробно, подчас вовсе уж открыто, делая нужные отметки в памяти, но сейчас его интересовало другое. Ему представилось, что Илья, следуя за ними из Рима, остановился здесь, в этом же отеле, и, вероятнее всего, можно было его встретить либо в ресторане, либо в баре. Ресторан, мимо которого он прошел, был совершенно пуст, пригашенный свет бра дремотно горел по бокам стеклянных дверей, только бар в вестибюле был весь в красноватом дымном озарении, тихонько шелестела музыка, успокоительно плыла из этого зарева, и Васильев сел к стойке, осматриваясь. Нет, человека, которого он мог бы мгновенно узнать и назвать Ильей, облик которого с детства врезался в сознание, не было в баре.

Между затяжками сигаретой он выпил джин с тоником, освежающий льдистым холодом (кусочек гладко-

го льда коснулся его зубов), заказал «дубль» и снова осмотрел немногочисленных посетителей в баре, уже не понимая, почему так хотел сию минуту увидеть Илью, подталкиваемый подсознательным чувством. Но это чувство услужливо предупредило его об опасности, и разум начал тихо подсказывать сдержанную позицию умудренного опытом человека.

«Значит, боюсь встречи с ним? — подумал Васильев с презрением к самому себе.— Чего я боюсь? Последствий разговора с ним? Нет, я обязан увидеть его в живых, своего бывшего друга, с которым в школе и на войне три пуда соли съели... Неужели действительно жив Илья? Не могу представить, что я его увижу!..»

— Noch einmahl? [1]

Он услышал общительный голос бармена, произнесшего эти приятные для международного общения слова, и увидел, что тот, взбалтывая коктейль, весело косится в сторону американской пожилой пары, которая деловито наклоняла головы над разложенной на стойке свежей газетой «Коррьере делла сера», после чего заинтересованно взглядывала в направлении тучного человека с нелюдимой наружностью бывшего борца.

— Грацие, нох айнмаль, битте [2].— ответил Васильев на изобретенной им итальяно-немецкой смеси, стараясь разгадать причину веселой оживленности бармена, и тут же убедился, что внимание американской супружеской пары направлено не на тучного человека, а на него, и бармен участвует в этой игре, являясь посредником между американцами и Васильевым.

С ослепительной и вместе извиняющейся улыбкой проворный бармен («Exuse me very sorry») [3] осторожно потянул газету у американцев, осторожно пододвинул ее к Васильеву, выражая счастливое изумление на подвижном толстом лице, произнес, исполненный уважительного восторга: «О, вери гуд! Бон! Ка-ра-шо!» И вверху газетной полосы Васильев увидел фотографию, на которой он вполоборота стоял около своих картин, выставленных в Римском салоне, вспомнил, что вчера утром в отеле давал с помощью Марии интервью рыжеволосой девице донкихотского роста, голоногой, не в меру накрашенной, быстро чиркающей таинственные стенографические загогулины в блокноте, подумал, что «Коррьере делла сера»

[1] Еще? *(нем.)*
[2] Спасибо, еще, пожалуйста.
[3] Прошу прощения, очень извиняюсь *(англ.)*.

опубликовала вчерашнее интервью и либо бармен, либо американцы узнали его, хотя, конечно, маловероятно было встретить русского художника в этом отеле, да еще сидящим в ночном баре.

— Синьор Вас-силь-ефф? — сказал по слогам бармен вкрадчивым голосом и затем произнес длинную фразу, смысл которой, очевидно, заключался в приятной благодарности, потому что понятно было единственное слово «грацие».

Васильев с тоской представил, какой утомительный разговор без знания языка могли надолго завести с ним, и, заметив любопытные взгляды, кивки, означавшие готовность к знакомству молодящихся американских супругов, казалось намеренных незамедлительно подсесть вплотную, он забормотал «грацие, грацие» и поторопился расплатиться, сделав вид, что и бармен и американцы ошиблись.

Подымаясь в номер на второй этаж, Васильев остановился на повороте лестницы и, стиснув зубы, подумал: «Я не прощу себе никогда, если не увижу его! Никогда не прощу!..»

В номере красновато брезжил ночник, но, как только Васильев вошел, у изголовья разобранной постели вспыхнул узкий луч в лимонном колпачке, освещая на подушке лицо Марии, почудившееся утонченно-восточным, совсем девическим, бледным под цветным мохнатым полотенцем, наподобие чалмы обматывающим ее еще не просохшие волосы.

— Не могу уснуть,— пожаловалась она.— И снотворное не помогает.

— Сигареты,— сказал он, бросив на стол «Сэлем», и подошел к постели, встречаясь со взглядом Марии, вдруг испытывая к ней безудержную нежность — к болезненной бледности, к тонкости ее лица, готовый просить прощения неизвестно за что, чувствуя сжигающую муку: она влекла, тянула его, эта единственная женщина, не раскрытая им до конца в течение всей их общей жизни, и неутоленная жажда не проходила много лет, не отпускала его.

Он наклонился и слабым нажатием губ коснулся уголка ее рта.

— Маша...

— Я очень устала,— сказала она жалобным голосом, а он, погружаясь в ее глаза, уловил переливчатый блеск какой-то тихой боли.— Не трогай меня сейчас, Володя.

И, зажмурясь, она повернула голову к стене.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Ночью кто-то пьяно запел на канале, потом неподалеку глухо заработал мотор, плеснула запоздалая волна, и все затихло.

А он, лежа на спине, прислушивался к каждому звуку, к дыханию Марии, заставляя себя не менять положения, чтобы не разбудить ее, и непрерывные человеческие голоса проходили в сознании, точно прокручивалась магнитофонная лента записанных прошедших суток. И гусеницами выползали из тьмы буквы огромной газеты, навязчиво складывающиеся в незнакомые слова, что некой пирамидой должно было обозначать опасность и предупреждение, но какое предупреждение, какая опасность, нельзя было выяснить, прочесть — и это томило его, обливало жарким потом: «Илья! Илья! Он жив?..»

И, уже в состоянии полуяви, он хотел вообразить, как наступившим утром сойдет вниз, в ресторан, и здесь от углового столика стремительно поднимется тот прежний Илья с дерзкими, черными глазами, тот Илья, сверх меры самолюбивый, решительный, в сорок третьем году бесследно исчезнувший на Украине после ночного боя... Что они скажут друг другу? Что почувствуют?

Под утро ему приснилось, будто он один в пустой даче, пронизанной мертвенным лунным светом, пробудился глубокой ночью от захлебывающегося лая собаки под стеной комнаты, где спал, и ужасом сжалось сердце, когда лай собаки оборвался, точно ее задушили,— и наступила такая тишина, какая бывает перед убийством. В этой лунной тоске, опутавшей всю дачу мутной паутиной, он услышал, как хрястнули, зазвенели стекла, затрещала под чудовищной силой рама и кто-то квадратный начал приближаться свинцовыми шагами к двери его мастерской. А тишина сдавила весь мир, и была такая тягость в этой всемирной безнадежности, что он задохнулся в одиночестве, прощаясь со своей неудавшейся жизнью, которую его друзья считали безоблачной, удачливой, счастливой... Потом кто-то в лунном сумраке голосом Марии сказал, чтобы он в последний раз пожалел себя, ее и семью, но ему стыдно было вслух просить прощения, а сердце разрывалось ужасом, и, задыхаясь, он вдруг прорвался куда-то сознанием, понял, что лай убитой собаки, безмолвие, страх ожидания — это лишь сновидение, что он не на даче под Москвой, а очень далеко от нее, в чужом отеле и что надо окончательно проснуться...

«Да, я в Венеции»,— вспомнил он, очнувшись, и осторожно, чтобы не разбудить Марию, потянулся к часам на тумбочке, но в потемках не разобрал стрелок, опять лег, закрыл глаза, и опять за окном, пронизанным луной, встревоженно залаяла собака и оборванно смолкла, придушенная кем-то, и он тихо застонал, вновь окунаясь в круговое движение повторного сна,— он знал, что в периоды нервного переутомления эти изнурительные повторы сновидений — его нездоровье.

Утром он принял душ, побрился, выкурил натощак сигарету и в восемь часов утра спустился в ресторан, чувствуя во всем теле непрошедшее утомление.

Ресторан был по-раннему просторен, занавески везде раздернуты, низкое утреннее солнце, разгоняя за окнами туман, косым потоком сверкало на тугих скатертях, на белых башенках накрахмаленных салфеток, на красном ковре в проходах, и за открытой стеклянной дверью большая терраса была веселой, солнечной, впуская свет с трех сторон.

«Неужели там он?»

И Васильев сначала даже не увидел отчетливо, а скорее представил себе Илью ожидающим его, еще издали заметив на террасе единственного посетителя за крайним столиком, откуда удобно было наблюдать входящих в ресторан. Нет, он сидел не за угловым столиком недалеко от входа, как воображалось ночью, а возле стеклянной высокой стены террасы и, повернув голову, смотрел через все пространство ресторана на Васильева, а тот шел к нему, уже плохо слыша возникшего сбоку толстенького румяного итальянца-метрдотеля, спрашивающего о чем-то с солидной и дружеской любезностью.

— Ja, ja, danke schön [1],— машинально пробормотал Васильев, не слыша своих слов, не вкладывая в них никакого разумного смысла, потому что человек, в котором он подсознанием угадывал Илью, медленно подымался из-за стола, задавливая сигарету в пепельнице, и был не Ильей, не лейтенантом Ильей Рамзиным, а неким совсем другим, высоким, седым, заботливо выбритым человеком в сером узкого покроя костюме, модно застегнутом на одну пуговицу, незнакомым чистоплотным иностранцем, с которым Васильев никогда в жизни не встречался. Но вместе с тем этот иностранец был Илья, с той прежней опасной и пристальной чернотой при-

[1] Да, да, благодарю *(нем.)*.

щуренных глаз на коричневом, должно быть загорелом, лице, но Илья не свой, не близкий с детства, а вторичный, подмененный, проживший в неизвестной дали целую непонятную жизнь, как на другой планете.

— Здравствуй,— выговорил Васильев и напряженно протянул руку, не отрывая взгляда от впившихся в его лицо испанских глаз Ильи, а в голове мелькнула мысль о противоестественной сдержанности этой их встречи, счастливо или гибельно решающей их судьбу первыми действиями и первыми словами.

— Здравствуй, Владимир,— ответил низким голосом Илья и стиснул его руку порывисто крепким, длительным пожатием, как бы выражая этим важность встречи для себя, и добавил с подчеркнутой чеканной вежливостью: — Спасибо. Наверно, встретиться со мной для тебя не так просто... Спасибо.

Васильев хорошо помнил, но почти не узнавал его голос, утративший былую естественность насмешливых или командных интонаций, произносивший сейчас фразы твердо, выпукло, правильно, как многие русские, очень долго прожившие за границей,— и не внешний переменившийся облик Ильи, этого седого изысканного иностранца в безукоризненно сшитом костюме, не его полукруглые, ухоженные ногти, не его холеные пальцы, а чеканка каждого слова, под которым скрывалось тайное опасение за верность произношения,— именно это резко задело Васильева, и стало вдруг страшно подумать о прошедших годах, разъединивших их.

«Каким же кажусь ему я?» — подумал Васильев, содрогаясь от ощущения времени, от жестокой его превратности, не щадящей ничего, и сказал вполголоса:

— Что ж, давай сядем. Стоять, пожалуй, неудобно. Завтракать, наверно, пока не будем. Подождем Марию.

— Я не должен спрашивать, удивлен ли ты,— заговорил своим чеканным, выпуклым голосом Илья, когда оба сели и он пододвинул Васильеву сигареты.— Встретить меня ты, конечно, никак не ожидал. Не правда ли? Моя великая Родина меня давно похоронила. По солдатскому разряду. Или, вернее,— по офицерскому... а я оказался жив. Фантастика, нонсенс, не так ли?

Он принужденно улыбнулся, показывая плотные ровные зубы, то ли свои, то ли вставные, и Васильев не успел ясно вспомнить, как много лет назад улыбался молодой Илья, но вроде бы что-то знакомое, прежнее мелькнуло в белизне его зубов.

— Скажи, Илья,— проговорил Васильев, насильно спокойно вглядываясь в гладко выбритое коричневое лицо, поражавшее вот этой чужой холеностью педантично следящего за своей внешностью человека.— Скажи, Илья,— повторил он решительней, подчиненный необоримому нетерпению.— Скажи, Илья, как все случилось? Да, ты прав, встреча с тобой для меня полная неожиданность. В общем, до конца я не верил. Нет... До тех пор, пока не увидел тебя, не верил...

— Теперь поверил? — спросил Илья, и опять в белизне его зубов словно бы промелькнуло отражение прежней дерзкой улыбки.— Не двойник ли Ильи Рамзина сидит перед тобой? Сидит и под личиной подлинного Ильи заманивает бывшего однокашника, советского художника... коварно заманивает в паучьи сети? Заманивает и предлагает фунты-франки и жемчуга стакан. Должно быть, ты не слышал эту пошленькую песню?

— Нет.

— А я имел удовольствие слышать от одного шансонье, выходца из России,— сказал Илья, чеканя слова, вновь подчеркивая избыточную правильность незабытого им ударения в произношении.— Так вот: эти сети и всякое политическое дерьмо нужны мне, прости великодушно, как овчарке люксембургской противозачаточные таблетки. Хочу, Владимир, чтобы ты сразу знал, ненавижу политику, поэтому — я ничей... Помнишь, в войну — ничейная земля была? Помнишь — нейтральная полоса?.. Так вот, никакими пряниками меня теперь никуда не заманишь — ни вправо, ни влево. Я — колобок вне политики. Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел. Бога нет ни там и ни там...— И он грубо выругался, но чужеродно прозвучавшую непристойную фразу свою смягчил усмешкой.— О чем иногда сердечно жалею,— добавил он,— здесь, на гнилом Западе, как о нем в России пишут, не звучит русский мат, который мы отлично использовали на войне. Никто не поймет... Но я о другом. Бог вот здесь...— продолжал Илья и постучал пальцем в грудь.— И сюда, если говорить по-немецки, «штренг ферботен!». А по-русски: вход строго запрещен. Могу догадаться, что̀ ты думаешь обо мне. Но парадокс в том, что я не забыл и помню Москву, двор и войну... И тебя лет с двенадцати. Так вот, Владимир, в моей жизни я прошел через все обманы, поэтому скажи сначала правду: моя мать жива?

Илья спросил это и выпытывающе глянул на Васильева, не сразу, должно быть, настроенный поверить ему, но было видно, как хотел он задать этот вопрос, который, вероятно, уже задавал Марии в Риме, и как откровенно жадно ждал сейчас ответа, значившего для него много.

— Раису Михайловну я встретил год назад,— ответил ровно Васильев.— Она не работает в библиотеке, ушла на пенсию. Почти все из нашего дома разъехались в новые районы, остались она и старики Цыганковы. Ты помнишь это семейство сапожников?

— Помню, но плохо. Как она... родная моя мученица? Ей уже за семьдесят... Она была младше отца на пять лет,— проговорил Илья хрипловатым голосом и сильно чиркнул зажигалкой, поднес огонек к сигарете, металлическая точка вспыхнула в его зрачках.— Если перед кем я виноват и грешен, так это перед святой моей матерью! Таких, как она, на свете единицы,— заговорил он, внезапно ожесточаясь против самого себя.— Больше всего она любила книги. Если бы я мог, Владимир, показать ей библиотеку, которую собрал за последние годы! Без книг я давно погиб бы... На какую пенсию она живет? Рубликов пятьдесят? Сколько ей подаяния жалуют на старость, бедной моей маме?

— Как я помню, Раиса Михайловна получает восемьдесят рублей,— сказал Васильев, начиная испытывать досаду против колющих вопросов Ильи.— Знаешь, в конце концов от тебя... от твоей... послевоенной судьбы зависело благополучие Раисы Михайловны. Ты был единственным сыном, как известно, и...

— И? И едва не лишил мать крупного советского пенсиона в восемьдесят рубликов?

— То есть? Не понял иронии, Илья.

— Я был убит или пропал без вести. Ясно, что так числился в донесениях о потерях. Но никто не знал, что в это время я жрал сырую брюкву в плену. Даже ты, хотя мы с тобой до последнего боя вместе были. «Лейтенант Рамзин, командир огневого взвода, не вернулся из боя». Так писали в донесениях?

— Так.

— А я в это время сдался в плен немцам.

— Сдался? Ты хочешь сказать: тебя взяли в плен?

— Володя, солнышко! Я всегда преклонялся перед твоей чистотой и совестью... с детства!..

— Прошу тебя, Илья, без этого театрального тона. На кой черт!..

— Володя, дорогой мой бывший друг детства!..
— Ну, что, Илья, дорогой мой бывший друг детства?
— Какая разница: «взяли», «попал», «захватили»... Пленным не был тот, кто до плена стрелялся, а в плену вспарывал вены ржавым гвоздем, бросался на проволоку с током, разбивал голову о камень... Те умирали. А тот, кто хотел жить, независимо от того, сдался сам или его взяли,— все равно был пленным.
— Так ты сдался? Или немцы тебя взяли? Я хорошо помню ту ночь на опушке, когда мы вернулись за орудиями... Помню, как начался и кончился бой. Помню, как немцы с фонариками подошли к обрыву, где были вы...
— А ты не запамятовал старшину Лазарева, командира отделения разведки? Мордатый такой был, здоровый, как медведь, из бывших уголовников.
— Помню. У него была наколка орла на груди. Он прорывался вместе с тобой к орудиям. И тоже не вернулся, пропал без вести...
— Убит. Его убило двумя пулями возле меня. Мы вместе прыгнули с ним под обрыв, к ручью. Отличнейшим образом помню эту медведеобразную мокрицу. А фамилия у него была прекрасная — Лазарев, от имени евангельского Лазаря. Старшина Лазарев. Была знатная фигура в батарее. И наушник к тому же. Отличнейшим образом запомнил его навсегда. Навеки. После войны ставил ему свечки в православных храмах и записывал «за упокой»...
— Но как все-таки ты попал в плен?
— Взяли. Разумеется, взяли. Окружили целыми полчищами автоматчиков и «хенде хох!» [1]. В бессознательном состоянии, тяжелораненого, контуженого, без рук, без ног. Тебя это удивляет? Так в России писали о попавших в плен?
— Такие шуточки я не принимаю, Илья. Думаю, что ты помнишь, чего стоила нам война.
— Кому — народу? Тебе или мне?
— Хотя бы тебе твой плен, если уж на то пошло.
— Я прошел, Володя, все круги ада и чистилище, притом у меня не было такого гениального гида, как Вергилий. В рай не попаду, не заслужил. Много пролил человеческой крови. Прискорбно, но руки-то у меня по локоть в крови. Каяться, молиться надо денно и нощно, если по Христу. А полного смирения, блага любви во

[1] «Руки вверх!» *(нем.)*

спасение и увеличения любви в душе нет. Но чужую кровь проливал и ты...

— О какой пролитой крови идет речь?

— Ежели и ты и я командовали огневыми взводами, то посчитай, сколько наших снарядных осколков достигли цели в каждом бою. И ты и я пролили цистерны крови. Крови фашистской сволочи, как мы говорили на войне. Не говорю о морях русской крови, которую они из нас выпустили. А убивать гомо сапиенсу гомо сапиенса — самый неискупимый грех. И... в монастырь, в монастырь давно пора! Каждому воевавшему — русскому и немцу! На коленях, до спасения души выстаивать. А спасения нет. Кто мне прощение даст? Бог? Слишком далеко. Люди? Самим, подлецам и грешникам, перед ближними искупать вину надо. Так кто меня сейчас может судить, как я попал в плен: сдался или взяли? Ты? Вряд ли, Владимир. От орудий мы отходили вместе. Возвращались вместе. И прорывались вместе. Командир полка майор Воротюк? Таких в любое время вешать мало. Народ? Понятие великое, но общее, и используют его частенько демагоги — говорят от имени народа.

— Понятно, Илья. Можешь не продолжать. Значит, никто?

— Значит, никто. Нет сейчас в мире праведного суда, Владимир.

— Ну а погибшие, в конце концов! Или все забыто? Мы-то с тобой не имеем права...

«Кто позволил мне говорить с ним таким судейским тоном? Что за допрос? Я не верю ему?»

— Не хочешь ли ты обвинить меня в том, что двадцать миллионов русских полегло потому, что я в плен попал? Да какое там двадцать? Преуменьшено, конечно. Думаешь, в этом моя вина?

Черные узкие глаза Ильи, горячо вспыхивавшие когда-то в юности огнем гнева, теперь изучающе всматривались в Васильева, а тот с несогласием и надеждой старался найти в его облике то, что было неизменной сутью всех его поступков и сутью бесповоротной решимости лейтенанта Рамзина. Но этого прежнего не хватало сейчас в опасных глазах Ильи, сквозь прищур которых проникали лишь искры лихорадочного жара.

— Нет, Владимир, пленные здесь ни при чем. Я-то знаю, кого судить за погибших,— сказал Илья четко.— Майоров Воротюков надо судить, которые и карту-двухверстку толком читать не научились. Помнишь, как

он ходил, бесподобный наш командир полка: зимой хромовые, летом брезентовые сапоги в гармошку, сплошь в портупеях, летом фуражечка козырьком надвинута на глаза, затылок бугорком, зимой — папаха... первый парень на деревне. И красивая девка из санинструкторов всегда при нем, всегда под боком вместе с пройдохой ординарцем. А каков голос — с вибрацией, с любовью к распеву: смир-рня-а-а! Не знаю, как ты, а я его помню так, будто война вчера кончилась. По телефону он кричал два слова: «Вперед!» и «Давай!». И после боя оставалось в ротах человек по шесть. Ты хорошо помнишь майора Воротюка?

— Я помню его.

— А старшину Лазарева?

— Помню.

— Тогда keine Probleme...[1]

— Илья, мне кажется, что ты почему-то уходишь от моих вопросов?

— Ухожу? От вопросов? Нет, Владимир, ни бога, ни черта я не боюсь. Я прожил любопытную жизнь и кое-что видел. Попробовал вина всех марок мира и все сигареты. И спал с женщинами всех мастей — даже с чернокожими цирцеями. Так скажи на милость: кого и чего мне бояться? Смерти? Просто ты, Владимир, как почти все русские за границей, осторожен и хочешь... знать: как я выжил... не службой ли у генерала Власова?

— Я хотел спросить другое, Илья,— проговорил Васильев, замечая усмешку в черноте его глаз и чувствуя царапающую горечь, как будто их обоих засасывала и не выпускала липкая тайна жизни Ильи, неподвластная прошлому.— Я хотел сказать другое... Ты был русский офицер, а, как известно, в плену...

— Не все подыхали,— фальшиво-ласково перебил его Илья.— Я зубами и ногтями держался за жизнь. Больше тебе скажу. Только там я понял, что такое жизнь и что такое превратиться в падаль...

«Откуда у него этот шрам на виске?» — подумал, ненавидя себя, Васильев и сейчас же представил: это пулевое ранение в левый висок, ранение, полученное той дикой, роковой ночью, когда им приказано было вытащить орудия, оставленные в окружении. И он спросил, спасительно хватаясь за это предположение:

— В висок тебя тогда ночью ранило?

---

[1] Никаких проблем... (*нем.*)

Илья, очевидно, понял, о чем хотел сказать Васильев, приподнял брови, выразив снисходительное добродушие, и, приглаживая холеными пальцами ровно зачесанные седые волосы на виске, сказал:

— Нет, тут другое. Следы драки в одном сомнительном заведении. В сорок восьмом году. А тогда ночью,— он с нажимом произнес «тогда»,— был абсолютно целехонек. И в полном сознании. Я тебе сказал — тогда я зубами и ногтями держался за жизнь. Тогда...

— А сейчас?

— Сейчас я ценю свою жизнь не дороже ломаного гроша.

Илья выказал в быстрой улыбке очень белые зубы, и Васильев вспомнил маленькую золотую «фиксу» — надетую Ильей в восьмом классе на боковой зуб коронку, поразившую всех порочным блатным блеском, подумал, как давным-давно это было и так далеко, что возникло желание сбросить вязкое наваждение памяти.

— В конце концов,— проговорил Васильев,— в конце концов,— повторил он, не без омерзения слыша, что говорит не то, что должен был сказать,— в конце концов я не очень понимаю двусмысленность в нашем разговоре...

Илья вертел, разминал незажженную сигарету, и его выбритое лицо, желтое, суховатое, и безукоризненно завязанный галстук, и эти островки седины в зачесанных назад волосах — все было солидно, все говорило о годах нелегко прожитой жизни, об усталости когда-то сильного, деятельного человека, отошедшего от дел и теперь занятого своей внешностью, костюмом, поддержанием еще сохранившейся бодрости.

— Не знаю, нужно ли об этом с тобой говорить?..— сказал Илья, не прекращая мять сигарету.— Я не хотел встречаться с тобой в Риме, где тебя окружало много всяких и разных господ.

— Всяких?

— Не сомневайся, известный художник! — Илья прикусил фильтр сигареты и сунул ее, так и не закуренную, в пепельницу.— Разумеется, там не было Джеймса Бонда. Но кувшинные рыла торчали непременно. В Венеции посвободней. И я решился. Я хочу узнать... и именно у тебя...— Он снова вынул сигарету из пепельницы и снова принялся тискать и крутить ее в пальцах.— Именно у тебя...

— Что узнать?

— Я хотел узнать... Именно у тебя. Узнать вот что, Владимир. Как ты думаешь: пустят меня на время в Россию, чтобы повидаться с матерью? Вернее — дадут ли мне визу? Только скажи по-мужски: ты можешь узнать?

— Визу? — медленно проговорил Васильев и положил перед Ильей коробок спичек.— У тебя что — огня в зажигалке нет?

— Благодарю. Есть.

Илья сломал измятую сигарету, швырнул ее в пепельницу, после чего взял со стола зажигалку, высек огонь, задул его и не то покривился, не то улыбнулся.

— Не обращай внимания. Мне разрешено курить три сигареты в день. Одну я выкурил, ожидая тебя. Так ты не можешь ответить на мой вопрос, Владимир?

— Нет.

— Жаль.— Илья, опустив глаза, стал неспокойно поигрывать зажигалкой и, занятый этим, все так же не глядя на Васильева, проговорил отрывисто: — Даже если бы меня расстреляли, я все равно хотел бы увидеть мать. Даже если бы расстреляли...

«Да, вот он, вот он!» — подумал Васильев, до предельной ясности вспомнив эту давнюю его привычку давать работу рукам в моменты раздумья перед тем, как окончательно принять решение, и зажигалка мелькала на его ладони напоминанием той старой особенности Ильи.

— Я многое знаю о России по советским газетам,— заговорил Илья упрямым голосом.— Мне стало известно, что в годы Никиты Хрущева посмертно реабилитирован мой отец. Я хотел бы приехать на несколько дней... увидеть мать.

— Даже если тебя и расстреляют? Почему ты это сказал, Илья?

— Я мало кому верю. А иногда и бессрочно надо платить по счетам.

— За что платить?

— За то, что не вернулся, а теперь возвращаться поздно. За то, что не подох в плену, не захлебнулся в дерьме, как сотни других русских за границей, а даже благопристойно разбогател в пределах, конечно, скромных. Вот вышеупомянутое «за то». Мало разве? Но у Власова не служил. Хотя вербовали в Заксенхаузене. В Иностранном легионе не воевал. В военных преступникак и карателях не числюсь... Все было. Кроме перечисленного.

Он остановил испытующий, пристальный взгляд на лице Васильева и тут же, смягчая это упорное выражение, проговорил:

— Я постарел, поэтому, наверное, мне снится наш двор на Лужниковской, деревянные ворота и липы под окнами. И еще — почему-то весеннее утро в голубятне, и, знаешь, пахнет перьями, коноплей... Я хочу... я хочу увидеть мать. Помоги, если ты мне хоть немного веришь. Если нет, то скажи прямо: нет!..

Васильев отвернулся к окну террасы, освещенному рассеянным солнцем, которое серебристым диском стояло над большим каналом, а туман уходил по намокшей набережной, колыхаясь паром над утренней водой, и уже ярко засинело совсем летнее небо и стали видны вершины храмов за каналом, купола музейных дворцов. Но это тихое солнечное утро осенней Венеции, ее погожая синева, радостно затеплившиеся купола вдали — все вдруг показалось ему неверным по сравнению с тем прекрасным и печальным, ушедшим в невозвратимые годы, в лучшую пору голубятен и весенних утр их жизни, когда он и Илья безоглядно верили неписаным законам замоскворецкого товарищества. И было тем горше, что прошлое окрашивалось сладостной дымкой их детства, их юности, куда не раз оглядывался Васильев в последние годы, думая о собственной судьбе. Что ж, он был признан, обласкан, известен, не стеснен в деньгах, поэтому привык не лицемерить и не оправдывать ложью свои поступки. И, мучась двусмысленностью положения от этих слов Ильи: «Помоги, если ты мне веришь», он с отвращением к себе подумал, что вот здесь оба они подошли к бездне и в ней через минуту сгинет юное, неприкосновенное, святое, их общее, которое так необходимо было им в прошлом, в навсегда минувшем времени.

— У тебя семья? — спросил Васильев после долгого молчания.— Жена? Дети?

— Я вдовец. Был женат на немке. У меня взрослый сын Рудольф. Он работает в Мюнхене. После смерти жены я девять лет живу под Римом. Здесь спокойнее, и меньше русских.

— Что я могу? Чем я могу тебе помочь? — выговорил Васильев с тем же ощущением дохнувшего бездонного провала.— Чем?

— Я хочу обратиться в советское посольство в Риме,— сказал Илья холодно.— Я прошу тебя лишь об одном: при встрече с послом рассказать, что знаешь обо

мне. Больше ничего. За меня поручиться абсолютно ты не можешь.— Он стукнул зажигалкой о стол, провел черту по скатерти.— Что было когда-то между нами, то прошло... быльем поросло! Жаль, но нич-чего не поделаешь!..

Он начертил зажигалкой на скатерти вторую границу, и эти две проведенные рядом черты вроде бы отсекли, окончательно отрезали их друг от друга,— и Васильев сказал внешне спокойно:

— Вероятно, я увижу посла перед отъездом. Только вот что я хотел спросить...

Он не договорил, потому что Илья, быстро выпрямляясь, вставал из-за стола с напряжением, застегивая пуговицу на пиджаке, и Васильев сейчас же увидел сквозь широкую арку двери Марию, которая шла по безлюдному ресторану на террасу в почтительном сопровождении метрдотеля, изображающего наклоном головы приятную покорность. А Илья, подтянутый, выпрямленный, стоял, не отпуская с матово-смуглого сухощавого лица ласкового внимания, стоял до тех пор, пока Мария, слегка улыбаясь, не подошла к столу, и только тогда он подчеркнуто предупредительно отодвинул свободный стул, пригласил ее сесть; она кивнула обоим, села со словами:

— Доброе утро, я вижу, вы еще не завтракали?

— Я не знаю ваших привычек: что вы едите на завтрак? Мне достаточно овсяной каши, двух яиц и стакана молока. Диета по-английски,— сказал Илья и в первый раз засмеялся отрывистым, жестяным и незнакомым смехом.— Но было время, когда я начинал утро не с молока. Поэтому не считаю лишним спросить: не угодно ли, Мария, хорошего вина? Ты как, Владимир?

— Очень сомневаюсь.

— Начинать день с вина — безумие, по-моему. Я присоединяюсь к английской диете,— ответила Мария, доставая накрашенными ногтями сигарету из пачки, пламя зажигалки, поднесенной Ильей, промелькнуло по ее темно-серым глазам тревожной вопросительной искоркой и растаяло в потоке солнечного света. Она, аккуратно причесанная, тронула волосы на затылке, лицо ее казалось молодо, свежо, ни тени вчерашней усталости, и Васильев подумал, что утренняя ванна, некое колдовство известного ей лицевого массажа, который она делала втайне, удивительно молодили ее по утрам.— Вчера был туман, а какое прелестное сегодня утро,— сказала она, глядя на канал, где, равномерно

постукивая мотором, разворачивалась от причала снежной белизны моторная лодка и ветровое стекло сияло на солнце брызжущим веером.— Так что — решили по-английски?

— Мне стакан горячего молока,— сказал Васильев, ему не хотелось есть.— И достаточно.

— Отлично. Херр обер! — Илья сделал неуловимое движение к метрдотелю, и это был жест человека, привыкшего к ресторанам, а метрдотель, тщательно поправлявший занавеску на слепящем окне, шагах в пяти от столика, мгновенно подошел, весь излучая удовольствие хорошим настроением гостей и прекрасным утром, положил перед каждым меню, большие, золоченые, как дарственные папки почтенному юбиляру.

Не проявив ни малейшего интереса к меню, Илья вскользь сказал метрдотелю несколько слов по немецки, и тот, щелкнув каблуками, таинственно-намекающим тоном проговорил: «Jawohl, ein Moment» [1],— и деловито удалился на коротких упругих ножках бывшего военного человека.

— Он, конечно, принял тебя за немца,— сказала Мария и, полистав ради любопытства меню, прочитала вслух по-французски названия блюд.— Ого, прелестно, утренние мясные блюда обрадовали бы Ламме Гудзака! — Она закрыла золоченую папку и взяла сигарету, прислоненную к краю пепельницы.— Илья, ответь мне на один вопрос,— проговорила она со вздохом,— кому в этом западном мире удобнее жить,— американцу, немцу, итальянцу или, наконец, русскому? Ты это замечал?

Илья сказал жестко:

— Никому! Надежды и уверенность в себе давно умерли, как и боги. Семидесятые годы — критические, восьмидесятые будут роковыми. Поэтому — либо, либо...

— Что «либо»?

— Либо все удовольствия цивилизации, превращение земли в мусорную свалку и самоуничтожение к концу века, либо здравый смысл плюс новый Иисус Христос...

— Ты веришь, Илья, в здравый смысл? — спросил Васильев, думая о жестокости его утверждения, соглашаясь с ним и не соглашаясь.— Мне кажется, ты прав, что в последние годы люди потеряли веру в самих себя. И это всех разъединило.

— Разъединила жадность, страх, невежество и тупоголовость политиков,— проговорил Илья, поигрывая за-

[1] Так точно, сейчас *(нем.)*.

жигалкой.— Я давно расстался бы со своей поношенной оболочкой, только... Только одно держит еще на земле — праздное любопытство: а что дальше будет? Стоило, к примеру, мучиться жизнью, чтобы вас увидеть...

И он повел ласково усмехнувшимися глазами по задумчивому лицу Марии, а она не ответила ему,— закинув ногу за ногу, чуть морща переносицу, рассеянно следила за разворотами отдаленно потрескивающих белых моторок на сплошь уже залитом солнцем канале, и тогда в сознании Васильева туманно проскользнуло: «Не может быть, чтобы у нее что-то осталось к Илье от того, школьного, от той осени сорок первого года... Что такое? Неужто я ревную?»

— Еще просьба, Владимир,— сказал будто между прочим Илья, взглядывая в окно, куда смотрела Мария.— Я решил купить у тебя картину с выставки. Она называется «Псковское утро». Если ты не против, то я...

— Не могу тебе ответить положительно,— не дал ему договорить Васильев.— Мне лучше подарить тебе, чем продать. Я подумаю.

«Как я хотел много лет назад встречи с ним,— думал Васильев час спустя, когда они расстались с Ильей.— Мы были совершенно разные в чем-то, я во многом чувствовал его превосходство, но был ли потом у меня лучший друг, чем он? Нет. И невыносимо то, что мы понимаем противоестественность этой встречи, да, противоестественность...»

На площади Святого Марка пахло дымным холодком осени, площадь, овлажненная недавним туманом, светло отблескивала на солнце, и здесь веселой метелью, оглушительно треща крыльями, взвихривались огромные стаи голубей, низко носились над зелеными крышами Дворца дожей, над набережными и, снова обдавая настигающим шумом, садились на площадь, на головы и плечи трех старух американок, с возбужденным смехом рассыпавших крошки хлеба вокруг себя. Уже не работали летние кафе: тенты и цветные зонтики были по-осеннему свернуты, стулья и столики сдвинуты. А пахнущий морем ветер с Большого канала, мерцающего густо-синей тяжелой водой, шевелил, гнал у пристаней обрывки газет, смятые сигаретные пачки, пустые целлофановые пакетики, закручивал весь этот туристский мусор в шуршащие карусели возле витрин опустевших до весны магазинчиков.

— Маша, давай постоим здесь,— сказал наконец Васильев, молчавший от самого отеля после разговора с Ильей.— Ты знаешь, где мы сейчас находимся?..— добавил он, пытаясь вернуть ощущение душевной ясности в этом необычном городе, который вдруг потускнел, темно заслонился тревожным, незаконченным, и свежее октябрьское утро, дуновение по набережной сыроватого воздуха, зеркальные вспышки ветровых стекол на бороздящих канал катерах воспринимались им как нетвердая временная реальность.

— Бывает, Маша, площадь Святого Марка в бурные весны затапливается водой, и каменные плиты храма...— проговорил Васильев и запнулся, заметив тоненькую морщинку досады между бровей Марии.

— Не надо туристских пояснений. Давай немного помолчим. Я пойму,— сказала она, наблюдая умиленных старух американок, все кормивших раскрошенным хлебом голубей на площади.— Не знаю, рассказал ли он тебе, что его спасло,— заговорила Мария минуту погодя, мельком оглядывая канал, пристань, свободные гондолы, качающиеся у высоких столбов, и нежную синеву неба над вырастающими из воды дворцами.— Получилось так, что в сорок четвертом году пленных привезли из лагеря на расчистку какого-то немецкого городка после американской бомбежки. Там Илья работал на завалах разрушенного завода и однажды каким-то невероятным образом познакомился с одной немкой. Некоей Мартой Зайглер. Она была не очень молодой, представь — немного горбунья, но... с глазами Гретхен, несомненно...— Мария с насмешливым безразличием пожала плечами.— Как ты понимаешь, все это похоже на Илью. Он заговорил с ней по-немецки, а она попросила коменданта лагеря присылать его к ней на работу. В сорок пятом, после освобождения, он остался у нее. Забавная история, не правда ли? И, как я поняла, он любил богатую немецкую горбунью... несомненно, с глазами Гретхен.— Она опять пожала плечами, покусала губы.— Десять лет назад его жена умерла и оставила ему, как он сказал, маленький, но хороший заводик швейных иголок, который он недавно продал и приобрел какие-то акции. Ну, чем мы будем сейчас заниматься в очаровательной Венеции?

— Ничего не могу с собой поделать. Илья не выходит у меня из головы,— сказал Васильев.— Пойдем по набережной, Маша. Я тебе покажу мансарду, где я жил два года назад,— добавил он, и вновь ему захотелось и не

удалось вернуть легкое, молодое настроение своего прошлого приезда в Венецию.

...А так тогда хорошо было пройтись весенним утром по теплой, еще влажной набережной, где уже завтракали туристы в открытых кафе, с удовольствием шагать по брусчатнику, несколько устав от работы в снятой под мастерскую мансарде, и охватывало волнением надежды, любви и веры в бесконечность апреля.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

За последние десять лет в московской мастерской Васильева побывало много художников, и он охотно показывал каждую свою новую работу. Но все принятые в таких случаях слова, все эти: «талантище», «удивил», «ну, знаешь ли», все эти восторженные или ревнивые восклицания, возведение взора к потолку, закладывание рук за спину, неопределенное мычание и глубокомысленное покашливанье, продолжительное хмыканье со значительным видом и все жесты не то ошеломления, не то вежливого неудовольствия давно утратили первородную свежесть вместе с искренностью, он сам почасту воспринимал это как необходимые издержки общения с собратьями по профессии, без которых, однако, жить в затворничестве невозможно.

Воскресные утра обычно начинались с того, что заходил кто-то из «картинщиков», особей физически сильных, выносливых, нередко бородатых, обладающих мускулистыми руками молотобойцев, у которых было невозможно отмыть въевшуюся под крепкими ногтями краску. В воскресенье непроспанный голос «картинщика» иногда бывал чрезмерно густ, сниженно гудел, заплывшие глазки на плутоватом лице подозрительно красны, речь то и дело переходила на бытовую тему — на опустошенный нашествием друзей холодильник, где неплохо бы про запас иметь бутылку ледяного пива после проклятой субботы,— и, покрякав, похохотав, покосившись на мольберт с начатой работой, на стеллажи, задернутые по стенам занавесью, гость наконец спохватывался, просил минеральной, на худой конец соку какого-нибудь, «можно и томатного, какой в холодильнике имеется», и, с наслаждением опорожнив бутылку холодной минеральной, безобидно уходил, к облегчению Васильева, освобожденного от утренних страданий коллеги. Затем перед обедом заглядывал сосед по мастерской (вторая дверь в кори-

доре налево) пейзажист Ахапкин, приятный, с тихим голосом и томными глазами человек, зимой одетый в желтую, всю в «молниях» курточку, летом — в шоколадного цвета шорты, чудовищно широкие на его худых волосатых ногах. Он тихонько стучал, тихонько открывал дверь и, бесшумно входя в мастерскую, делал осторожный шаг вперед, затем шаг назад, как бы втихомолку изображая для себя изящное па, затем переступал порог, стеснительно произносил поющим голосом одну и ту же фразу: «Добрый день, можно к вам? Простите, Владимир Алексеевич, вы на меня не обижаетесь?»

Этот изящный танец возле порога был давно замечен Васильевым, и он отнес его к суеверной странности милого, талантливого, одинокого художника, который нравился ему застенчивой немногословностью суждений и тонкой простотой. По обыкновению Ахапкин извинительно озирал мастерскую, в задумчивости кончиком пальца касаясь подбородка, сконфуженно взглядывал на палитру, на холст и, замерев, бормотал в потрясении: «Какой сияющий колорит, Владимир Алексеевич!.. Вам позавидовал бы и Эдуард Мане». Он был влюблен в манеру и стиль Васильева, не пропускал ни одной его выставки, являясь преданным поклонником, готовый смотреть его работы часами. А когда Васильев однажды возразил в полушутку, что Эдуарда Мане, несмотря на звучные тона его знаменитой «Олимпии», надо считать скорее салонным художником, чем отцом современной западной живописи, Ахапкин глянул на него взором ужаса, не произнес ни слова и неслышно, боком заскользил, заспешил к двери, испуганно оглядываясь, как если бы здесь его хотели побить. После этого Васильев в присутствии Ахапкина перестал высказывать свое отношение к прославленному французу, ибо вступать в спор по поводу кумиров и учителей по меньшей мере неблагодарно. Тем более ему приятен был безобидный Ахапкин, не приспособленный ни к спорам, ни к злой зависти, с его ненадоедливыми визитами в мастерскую, с его восторженным, бескорыстным поклонением светонасыщенным краскам и живописи вообще, которую он ставил выше самой действительности и выше собственной жизни.

Вечером под предводительством художника Колицына приезжало скопом человек шесть, знакомых и незнакомых; знакомые вваливались беззастенчиво и шумно (актеры, писатели, редакторы), вносили терпкое ресторанное возбуждение, а незнакомые, жаждущие

«посмотреть Васильева», стесненно топтались на пороге. Но Колицын, щеголеватый, с львиной гривой серебряных волос, облобызав Васильева, кричал полносочным баритоном, не соответствующим его сохраненной юношеской стройности, что придется, несмотря ни на что, некоторые вещи приоткрыть интересующемуся народу, который должен знать отечественные таланты,— и тогда надо было демократично показывать картины, снимать с полок, ставить на мольберт, потом к стене, потом одну на другую, в конце концов загромождая всю мастерскую. И гости, загораясь лицами от доступности художника, просили и требовали самых ранних его работ, послевоенных, которыми он еще в Суриковском, еще донашивая артиллерийскую шинельку, заявил о себе,— замоскворецкие переулки, затянутые лиловыми морозными сумерками; тупички с сугробами около заборов; метель, пивной ларек вблизи трамвайной остановки, черная очередь, залепленная снегом; вечерние огоньки в тихих двориках, заросших липами; заледенелые полукруглые мосты через Канаву, мотающиеся на ветру фонари ночной набережной.

Ранние работы, напоенные и переполненные настроением, но, как мнилось самому Васильеву, лишенные глубокой мысли и дерзости, цветовой емкости, так или иначе вызывали неподдельный интерес Колицына. Он подолгу стоял перед ними, скрестив руки на груди, отходил от картины и подходил к ней, вздымал брови, его одутловатые щеки розовели горячечным румянцем, в треугольных, как у старого льва, глазах появлялся стоячий влажный блеск, однако ни похвального, ни хулительного слова он не молвил, только наконец заключал неопределенно: «Н-да, молодость любопытна». Фразу эту можно было воспринимать неоднозначно, по желанию, но Васильев предполагал, что ранние его работы неким образом снимали чувство неудовлетворения у Колицына, сближали обоих и переносили в ту обещающую пору молодости, когда все в общем-то были равны перед будущим и никто всерьез не думал ни о выставках, ни о славе, ни о продаже картин музеям. Удостоенный высоких званий, занимая высокое положение и должности, Колицын был жаден на похвалу, хотя в его искусствоведческой книге о послевоенном поколении художников Васильев не без любопытства прочитал о себе, что он заметный представитель «жесткого стиля», возникшего в конце пятидесятых годов, что опыт живописцев этого сурового направления хочет видеть жизнь такой, какая она есть, ничего

не смягчая, не приукрашивая, и именно здесь его достоинства и недостатки. Тогда Васильев еще не утратил тщеславный интерес к тому, что писали о нем, и броское определение фронтового поколения — представители «жесткого стиля» — показалось довольно метким, ибо надоевший зализанный «академизм» и умиление в искусстве претили ему.

Они вместе учились в Суриковском, и это сделало их близко знакомыми, что позволяло Колицыну, живописцу, профессору, доктору искусствоведческих наук, председателю иностранной комиссии, часто заезжать в мастерскую не только по делам личным, но и по делам зарубежным. Иногда по работе своей комиссии он просил Васильева принять иностранцев, и показ картин заканчивался русским гостеприимством; иностранцы, хмельные, возбужденные, расходились глубокой ночью и со смехом, восклицаниями, лобызанием прощались возле лифта, роняя шляпы, извинялись, а Васильев потом прибирал в мастерской, испытывая опустошенность, угрызения совести после столь щедрого расхода нервных клеток и драгоценных, растраченных бесполезно часов.

В связи с последними событиями в его жизни — выставки, юбилей, лауреатство, избрание в Академию художеств — двери его мастерской уже вовсе не закрывались, особенно в субботу и воскресенье, к нему бесцеремонно стали заходить и в рабочие дни подчас совсем незнакомые люди, приносили и преждевременные и запоздалые поздравления, иные заискивали, высказывали до стыда непотребный восторг, оставались к обеду — и целый день опрокидывался в бестолковую пустоту безвозвратно.

Но однажды он понял, что это лукавила и приближалась его творческая гибель. Он понял, что надо немедленно отъединиться, запереться от всего мира, «уйти грешному в дальний монастырь», перестать дразнить судьбу, ибо обильные праздники слишком затянулись, отрывали его от ежедневной работы, одержимость которой он считал единственной оправданной формой существования. И Васильев разом решил оборвать все демократические нити, сжечь наведенные мосты перед порогом в мастерскую и погрузиться в монастырское одиночество работы, которая только и способна окупить собственное предназначение на земле.

Он пригласил лифтершу вымыть полы в тщательно проветренной им мастерской, дабы отмыть, отчистить ее от духа праздности, пустопорожней болтовни, тщеславия

и успеха, расставил по местам и повернул лицом к стене картины, чтобы создать простор, отсутствие плоти, свободу, заготовил холсты — и, в течение трех дней приведя мастерскую в состояние чистой кельи отшельника, вновь вернулся с еще не приходившим душевным облегчением к незаконченной работе — это был портрет режиссера Щеглова.

Ночуя в мастерской или приезжая очень рано, он запирался, не отзываясь на стук и звонки общительных и несколько обескураженных коллег, не подходил к телефону, за исключением условленного сигнала жены и дочери. Он относил себя к рабочим лошадям, и праздные человеческие голоса в коридоре вызывали в нем тоскливое бешенство, он ужасался напрасно потерянному времени и проклинал безмерное честолюбие «искусителя и завоевателя душ красотой», как сказал его друг Лопатин, шутя, предупреждая его от жажды удач, благосклонного везения и неискренней любви коллег.

И телефон, накрытый пледом, трещал понапрасну, шаги в коридоре приближались, топотали и удалялись, стук в дверь раздавался с требовательным напором и вкрадчивым поскребыванием. Васильев не отвечал, и в этих звуках чудилась ему взорвавшаяся ярость против него и ревность — ему, пожалуй, не прощали уход в одиночество и работу, эту ссылку в себя, он вроде бы обманул многих, кто хотел видеть его постоянно доступным.

Но раз ночью (всю неделю он не выходил из мастерской) его разбудил телефонный звонок. Васильев вскочил, спросонок ничего не соображая, зажег ночник над диваном, взглянул на часы: шел первый час ночи. Он боялся поздних, неурочных звонков, порой ошибочных, чаще недобрых, связанных с несчастьем, не сразу снял трубку и услышал полнозвучный голос, по-видимому, не очень трезвого Колицына, говорившего с ерническим весельем:

— Что, разбудил тебя, бессмертный Гомер современной живописи? Нашел тебя, прости уж меня за настырность, наконец, ночью! Ну, знаешь!.. Тебя достичь сейчас потруднее, чем министра или схимника в пещерах. Как прикажешь понять: ушел в подполье, постригся в монахи? Или заела гордыня?

— Послушай, Олег,— проговорил Васильев рассерженно.— Ты на часы посмотрел? В это время спят все люди добрые, уважаемый товарищ секретарь...

— Называй меня хоть дубиной стоеросовой! — перебил Колицын.— Но уж если я тебя поймал, то я должен

тебя немедленно увидеть. Ты слушаешь или нет? Я должен увидеть тебя немедленно. Я подымусь к тебе сейчас. Я звоню из автомата внизу. Через пять минут открой дверь. Я мерзну в автомате у твоего дома.

— Это на самом деле идиотизм несусветный! Какой может быть поздней ночью разговор?

Но там, в автоматной будке вблизи подъезда дома, в пустынной тишине зимней ночи, повесили трубку, и Васильев, раздраженный, подумал, что Колицын, по обыкновению, возвращался откуда-то из ресторана гостиницы после встречи на аэродроме и ужина с иностранцами и навеселе, от полноты чувств, решил заглянуть в его мастерскую.

Но как только Колицын вошел, разгоряченный и, против ожидания, мрачный, в пыжиковой шапке, в расстегнутой меховой шубе, как только переступил порог мастерской, Васильев понял, что приехал он не по причине полноты чувств и не по дороге из ресторана. Был Колицын совершенно трезв, непривычно бледен, его треугольные глаза мудрого стареющего льва, усталые, желтозеленые, обежали с ощупывающей подозрительностью мастерскую, повернутые к стене картины, задержались на мольберте, где начатый холст накрыт был куском материи, и он спросил с недоверием:

— Кто-то мне сказал, что ты работаешь по ночам?

— По ночам я хотел бы спать, чего желаю и тебе.

— Великий Микеланджело работал при свете свечей. И почти все мастера Ренессанса. И русские гении тоже,— заговорил торопливо Колицын.— Они работали как каторжники, прикованные цепью к мастерской, они работали на бессмертие. Они были обречены на бессмертие. На что обречены мы?

— В первую очередь не выпрыгивать из собственного костюма. Без брюк неприлично, знаешь ли.

— Неприлична всегда бездарность. В любом костюме, Володя.

Голос Колицына, обычно сочный, порой с солидными, порой с добродушно-снисходительными оттенками, был сейчас низок и тускл, сдавленный возбуждением:

— Знаю, Володя, что слава художника — тень дыма, прихоть судьбы. А вот ты все же пишешь и уповаешь, что твой личный след в живописи останется, потому что умеешь думать красками. Надеешься ведь? Каждый талант надеется, иначе бы он не творил. Так, Володя? Или не так? А что делать тем, у кого хрупкий талантик?

Жить в муках и бессилии? Что делать и думать травинке около куста шиповника?

— Расти рядом. Ты об этом хотел со мной поговорить? — сердито спросил Васильев и, чтобы подавить раздражение, притворно зевнул, закуривая.— Не думаешь ли ты, что наша дискуссия бессмысленна? Лучше скажи: кого встречал или кого провожал? Садись вот сюда в кресло. Оно хорошо тем, что девятнадцатого века. Шик прошлого.

Однако Колицын не сел в кресло, бархатное, потертое, продавленное, заманчиво притягивающее мягкой глубиной. Он обеими руками откинул назад густую серебряную гриву, спадавшую на воротник, и, не отнимая гибких, почти женских рук от висков, с тоской впился замутненными глазами в одну из повернутых к стене картин.

— Работал сегодня с утра, устал, вымотался, как дьявол,— заговорил Колицын подавленно.— И ничего не поймал: белый снег, белые деревья, белые дома и синее февральское небо, уже с ощущением весны. Белое и синее. И какая-то фиолетовость. Не нашел, не поймал, не схватил! Измучился. Но не схватил февральскую прозрачность и белизну инея на солнце. А было вдохновение — полет творческой свободы!..

— Да ты не так громко,— уже откровенно зевнул Васильев.— Куда полет? Ходи по земле — так удобней. А то взлетишь, темечком в потолок мастерской врежешься. А ремонт нонеча дорог.

— Хочу серьезно спросить тебя, уважаемый мэтр,— проговорил Колицын, зло дергая головой.— У тебя бывают минуты полного бессилия? Когда ничего нет. Бывают минуты, когда ты чувствуешь, что бессилен передать себя... в цвете... на холст? Или ты счастливец, у тебя нет такого? Да, у тебя! Легко жить с верой в свою гениальность.

Васильев поморщился, махнул сигаретой.

— Я никогда ни секунды не сомневался в том, что гениален. Тем более что бывали минуты, когда полагал себя даже не ослом в искусстве, а тенью осла. Что тебе еще ответить, Олег, в первом часу ночи? Могу еще добавить, что в живописи невозможно выразить, что делает чувство, когда дремлет разум. Как поступает чувство в таком случае — предмет литературы.

— Намек в мой адрес, Володя?

— В свой, твой и всей живописи. В живописи — две трети бессилие.

— Помолчи, помолчи, Васильев! Я вспомнил сегодня один твой пейзаж,— встрепенулся Колицын, по привычке все откидывая обеими руками назад волосы, и заходил около стены, где стояли повернутые картины.— Твой пейзаж, весенний — поля, фиолетовый снег в овраге, солнце в лужах на дороге... Где он у тебя? Он был здесь, вот здесь. Разреши посмотреть? Я вспомнил его сегодня, и я хотел увидеть... Ты считаешь его удачей? Как ты к нему сам относишься? Как ты?..

И, казалось, не выбирая в ряду картин, он перевернул одну из них в самом углу — весенний пейзаж, написанный Васильевым прошлым годом,— и попятился, отошел на несколько шагов, как-то пьяно покачиваясь с каблуков на носки, вымученно улыбаясь, а его гибкие женские пальцы сбежались и сплелись за спиной в тесный замочек.

— В общем-то неудача, а какой простенький мотив,— сказал с досадой Васильев.— Непойманное мгновение, мое бессилие перед светом, если хочешь...

— Я не ошибся,— забормотал Колицын бредовой скороговоркой.— Угол в твоей весне выпал. Пустота в углу. А тут, где тени, перехолодил, надо теплее, теплее... Не-ет, ты густо замесил, но здесь ты не попал, не схватил... Я чувствую лопатками — ты промахнулся. Только небо. Вот здесь ты попал — чудесный источник света, источник весны. А все остальное — неудача, мертвечина, непопадание. И ты, и ты, мастер Васильев, бываешь бессилен, хотя в сто раз талантливее меня, и ты бываешь слабым! Смешно и пошло, а я сегодня думал о твоей неудачной весне, об этом пейзаже! — продолжал он свинцовым голосом презирающего свою искренность человека.— Вообрази, что сегодня я весь день думал о тебе!.. В конце концов, у тебя счастливая судьба в искусстве, но ты не Энгр! Не Щедрин! И я не очень люблю твои вещи!..

— С какой же стати такой пафос? Для монографии, что ли?

— Не гений! Я сегодня подумал, что я наказан, безнадежен, потерял все, стал чиновником, и — от моего таланта нет уже ни крупицы! Спасибо за твой пейзаж — нет, не я один, безумец, кусаю локти! Не я один, не я один!..

Его лицо, дрожащее улыбкой, было страдающим, измятым, мутные, воспаленные глаза выражали недуг

близкого отчаянию нервного срыва, такого знакомого Васильеву, такого терзающего и, оказывается, мучившего сейчас недобро открывшегося Колицына.

В то утро ему позировал режиссер Щеглов, родной дядя Марии, сухощавый, живой, подвижный, несмотря на почтенный возраст, и в позе раскованной вольности он то и дело закладывал ногу за ногу, отчего узкие зеленые брюки подтягивались на тонкой щиколотке, выказывая полосатые носки и модные ботинки на толстой подошве. Он не мог позировать спокойно, беспрестанно курил, говорил, острил, трескуче кашлял, и сухое лицо преображалось ежеминутно, становилось то загадочно-игривым, то сатанински-лукавым, то мудрым ликом усталого сатира: создавались эти перемены выпуклыми глазами за стеклами очков, ядовито-выразительными складками энергичного рта. И ироническая терпкость его речи, нацеленная на все сущее, в том числе и на самого себя, мнилось, не способна была иссякнуть, остановиться на чем-либо одном, освобождая Васильева от всякой необходимости занимать вопросами «натуру».

— Это, конечно, грандиозно, однако не понимаю, голубчик Владимир Алексеевич,— говорил Щеглов, немного картавя с томной аристократичностью, стряхивая пепел в жестяную пепельницу на подлокотнике кресла.— С ума сойти! Уже уйму времени вы возитесь со старым мухомором, шутом гороховым, который и для портрета собственную рожу умно сочинить не может! Плохо держу позу. Увольте — не способен! Не уразумею, зачем вам заплесневелый лицедей, совсем уж не павлин-птица, а старый дикобраз в модных парижских брюках? Впрочем, в нашем мире всё — милая, расчудесная, знаете ли, игра в лицедейство. Что? Нет? Балаган, сцена, одна и та же пьеса — и поразительная драматургия! Согласитесь, что человек всю жизнь играет и редко бывает самим собой — бог ему простит. Положим, родное искусство — развлекательная игра ума и чувств. А любовь? Самая грандиозная игра полов. Правда — лукавая игра в прятки с ложью. А ложь — игра в правду. Далее заседания, совещания и прочая, и прочая — не игра ли это взрослых людей, старательно делающих серьезный вид? Теперь, скажем, слава и властолюбивые потуги — игра самых сильных и самых алчных. Лишь смерть прекращает всякую игру, но... потом начинается

игра других — панихида, похороны. Согласитесь, жизнь и смерть — это грандиозный театр! А сам театр — жалкая миниатюрка жизни и смерти...

Он не смеялся в голос, только въедливо покряхтывал, постанывал смехом, взглядывая сквозь стекла очков проникающими глазами, потом вкусно подносил сигарету к змеисто-узким губам, вкусно выдыхал дым длинной струей и то и дело принимал позу человека, вынужденного в безделии нескучно провести время. Торопясь, почти ударяя кистью по холсту, Васильев хорошо слышал звук его голоса, однообразное кряхтенье, изображающее смех, но слова и смех Щеглова проходили стороной, понять их смысл мешал морозный снежный свет, веселый, уже февральский, в утренних окнах, снизу сплошь заросших ослепительными папоротниками, сверху пронизанных незимней голубизной неба, и солнечное инистое утро, и скользящее неутомимое лукавство за стеклами щегловских очков, и привычная обстановка мастерской, и эта добровольная ссылка в себя, в одиночество, как говорил Васильев иногда, без чего нельзя сосредоточиться, найти счастливое положение равновесия,— все было так, как бывало всякий раз, когда он весь уходил в работу, и вместе с тем не было полного растворения в этом состоянии, точно след давней тревоги тлел в его душе.

«Нет, это не после Венеции со мной что-то произошло. Нет, два года назад началось какое-то смутное беспокойство после той опасной болезни дочери. Или это раньше началось?..»

— У вас странное лицо, голубчик Владимир Алексеевич, вы меня не слушаете?

— Я слушаю, Эдуард Аркадьевич. Вот... посмотрите сюда, чуть-чуть правее холста,— сказал, встрепенувшись, Васильев и показал кистью, куда следует смотреть.— Вот так. Спасибо.

— Вижу гениальную, грандиозную пьесу о жизни негероического мужчины. Но кто автор? Где Свифт? Где Сухово-Кобылин? Увы! Среди драматургов унылое засилье базарных талантов, друг другу на ноги тщеславно наступающих.

Щеглов говорил и поглаживал, ласкал изысканно-тонкой, плавной рукой подлокотник кресла, прицелив вспыхивающий мелкими колючими искорками взгляд чуть правее холста:

— Так вот она, жизнь мужчины: до двадцати молодому индивиду воображается, что он бессмертен, а впереди все радужно, сплошные фанфары, любвеобильный почет, лавровые венки от сослуживцев, мировое признание открытий, восторженное рыдание поклонниц, и, уж несомненно, Перикл, Сократ и Лев Толстой перед его гением жалкие голопопые щенки. Далее вступает в дело реальность: до тридцати пяти лет — женщины. Тут он познает разные прелестные вкусовые качества — от карамели и меда до уксуса и горчицы. Но, разумеется, главным образом — дистиллированную воду. И, не утолив жажды, он после сорока лет испытывает зверский голод. То есть потребность хорошо поесть, и, что называется, приняв с исключительным аппетитом рюмку водки, как пролог к священнодействию, муж познает чревоугодие. Итак, что дальше? Дальше — после пятидесяти — воскресное лежание с газеткой на диване, телевизор и сон, продолжающий удовольствие сытной трапезы. Но иногда вопрос как стук молоточка по темечку: неужели скоро конец? После шестидесяти: у одних особей — наслаждение воспоминаниями удалой молодости, у других — паническая боязнь болезни и страстная любовь к парковым скамейкам и домоуправлениям, а по ночам у всех одно — бессонница и страх одиночества перед одиночеством вечным. Как вам нравится такая грандиозная картинка?

Взгляд Щеглова адски посверкал и, остро веселея, сорвался с точки в пространстве, побродил в папоротниковых зарослях солнечного инея на окне, как бы играючи заготовив там следующую мысль, и Васильев силился проникнуть, сняв подогнанную одежду его формул, к чему-то невысказанному, главному, чего никогда не касался он, как не касался и своей скрытой от всех, далеко не монашеской и не аскетической холостяцкой жизни. Он был родным дядей Марии, и, давно зная Эдуарда Аркадьевича, вездесущего, нещадно энергичного человека без возраста, Васильев ни часу, однако, не видел его ни серьезным, ни задумчивым, ни самоуглубленным, только изредка возникало на секунду в донной глубине его сарказмом искрящихся глаз нечто осеннее, печальное, связанное, казалось, с шорохом листопада, с постукиванием капель ноябрьского дождя в уже оголенном саду... Но это ощущение осени могло быть одним воображением Васильева, и, вероятно, поэто-

му, выбрав Щеглова, натуру трудную, не умеющую держать позу для портрета, он так долго, с перерывами работал, исправлял, переделывал, не находя того, что хотел найти в естестве его.

«Но что я хочу найти в нем? Угадать, какие мысли приходят ему в длинные стариковские ночи? Каков он на самом деле?»

— Кстати, Владимир Алексеевич, позволю заметить,— продолжал между тем Щеглов.— Личности крупные сомневались и искали, таким образом, мало имели радостей на этой земле, потому что во имя истины дарили себя роду человеческому, который вовсе уж не сразу благодарно принимал их. Напротив, легион милых завистников, армия посредственностей травили, осмеивали, даже сжигали и распинали непохожих на себя особей, именно так! Таким образом: смеет ли человек усомниться в сомнительном? Смеет? Нет? Как писать — гегемот или гигимот? Как, позвольте, «ге» или «ги»?.. Кто прав — гении или посредственности?

Указательный палец Щеглова взметнулся в воздух, выписал в полете стремительные вензеля вопросительных знаков, и заблистала солидная золотая запонка на жесткой манжете, и внушительно колыхнул крыльями черный галстук-бабочка под зеркально-бледным острым подбородком.

— В чем же истина? В чем? Однозначна ли она? Нет ли в ней прямой и обратной стороны? Классическая ясность «да» или «нет» появится тогда, когда мы твердо определим, что есть счастье. М-м? Так что же оно? Дважды два? Прелестная падающая звезда в августовском небе? Или сумма плотских наслаждений? Или каждодневный мир с прошлым и настоящим? Или одержимость, так сказать, вдохновение, как бывает у вас, Владимир Алексеевич? Или счастье — мечта жить в раю голубых снов? Или любовь к человеку? М-м? Но гуманизм ли, если врач при родах спасает ребенка-урода и тем самым на всю жизнь возлагает тяжелейший крест на плечи матери? Однако есть единственно возможный абсолют: человек может быть счастлив только в детстве: когда пребывает в состоянии этакой душевной неразвращенности. А этот период так в нашей жизни быстротечен! Так как же правильно писать: гегемот или гигимот? А? Кха, кха... мм? Тем более что сами слова — лишь тени мыслей, вернее — ветхая одежда мыслей. Так «ге» или «ги»? Или все-таки — бегемот?

— Одержимость и вдохновение в искусстве тоже не абсолют счастья,— проговорил Васильев, стараясь поймать на холсте весело-змеистую особенность живых и тонких губ Щеглова.— Одержимость не может быть счастлива в погоне за совершенством, а неудовлетворенности конца нет...

— Несом-нен-но! — артистично порхнул в воздухе плавной рукой Щеглов, не дослушав, и заговорил со скользящей легкостью: — Заметьте новый и грандиозный парадокс! Чем больше люди разрушают вековое, тем примитивнее становятся их чувства, увы! Крупные купюры добродетели разменялись на медяки кухонных склок и служебных подсиживаний. Заметьте, что гипертрофированно усовершенствуется рациональный разум и практицизм, в то время как сердце всеми забыто. И что же? Что же? Шекспировским страстям в век пластмассы не бывать уже. Любовишка какая-то бытовая. Ненависть — рыночное недоразумение в очереди за ташкентским луком. Скромность стали считать глупостью и недотепством, хамскую грубость — силой характера. Сплошное опупение и пнизм от слова «пень»! Эт-то, конечно, грандиозно! Пощечина подлецу, как в добрые времена мужской чести,— о, какая неблагоразумность и бессмыслица, какое архаичное донкихотство! И только зависть, жесточайше душу гложущая, расцвела волшебным розарием в новом мещанстве А?.. Мм?.. Завидуют страстно, как сумасшедшие, и по всем габаритам: деньгам, модной юбчишке, новой квартире, здоровью, даже миниатюрному, маломальскому успеху. А? Кха... И вследствие этого тайно, но сладострастно радуются чужому неуспеху, протекающему потолку у соседа, ячменю на глазу, безденежью, болезни и — не содрогайтесь! — даже смерти бывшего удачника: он уже там, а я еще тут. Или как хорошо и справедливо, что его погребли на Востряковском, а не на Новодевичьем. Завидуют повально — и дворник, и актер, и замминистра. Что? Министр? О, я уточняю: он — нет, ни в коем случае, он, несомненно, лишен некрасивого, порочного чувства. Итак, зависть — всесильная царица проституток мира. Вожделенная и обольстительная девица. Вот куда уходят нервные клетки страстишек: поклонению ей, куртизанке, в пропахшей чужим одеколоном чужой постели! Очаровательно и мило, не правда ли?

— Ну, а вам кто-нибудь завидует? — спросил Васильев, чтобы передохнуть от едкой разрушительности, от потока пропитанных иронией и желчью фраз, утомивших его беспощадной игрой насмешливого ума Щеглова.— Вам кто завидует?

— Мне? Рок миловал. Я вполне современный человек. Завидую сам. И — страстно!

— Кому?

— Каждому мужчине на улице, который идет с красивой женщиной...

— Сколько вам лет, Эдуард Аркадьевич?

— Благодарю за комплимент. Шашнадцать с половиной. Одначе, дорогой Владимир Алексеевич, мне пора сматываться на репетицию. Впрочем, актеры чудесно могли бы обойтись и без моего режиссерского присутствия. Лицезреть им меня наверняка осточертело!

— Я вас задержу еще пять минут.

— Наше заблуждение в том, что мы ползаем вокруг истины, как слепые щенки, а думаем, что мы взрослые, солидные собаки.

— Мне кажется, вы смеетесь над жизнью, Эдуард Аркадьевич,— сказал Васильев.— Изливаете на нее яд, смеясь. Но почему именно вы? Вас жизнь, по-моему, никогда не обижала.

Щеглов откинулся в кресле и маршеобразно забарабанил пальцами по деревянному подлокотнику.

— Почти все обижены на земле, мой золотой и талантливый Владимир Алексеевич. Я добрая старая собака и знаю, что жизнь требует, чтобы ей давали пощечины любя, иначе она будет вкатывать их вам ненавидя. Вижу, голубчик, что вы против этакой превентивной стратегии.

— Это безумие, мы захлебнемся в море слов, в острословии, в ехидстве над жизнью и погибнем,— сказал Васильев, уже несколько минут не работая, стоя у мольберта, и нахмурился, опустив руку с кистью.— Кому предназначены цветы из вашего риторического сада? Актерам? Мне? Я не люблю запаха жженой серы, представьте, и всякую чертовщину.

— Никому. Я рассыпаю их по дороге и наслаждаюсь чужим наслаждением,— засмеялся Щеглов с вежливой холодностью.

«Да, я устал немного,— подумал Васильев.— Но почему он вызывает у меня какое-то беспокойство, как

будто случилось несчастье? «Мы ползаем вокруг истины, как слепые щенки». Помнит ли он октябрь сорок первого года, себя в те дни, Машу, меня, Илью? Мы были тогда прекрасными, глупыми, отчаянными щенками, а он был еще молодым...»

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Да, был октябрь тысяча девятьсот сорок первого года.

В то время, как немецкие танки продвигались к окраинам Москвы, размалывали, расплющивали скованную утренними заморозками проселочную грязь, стряхивая железным лязгом гусениц, ревом моторов последнюю ржавую листву с придорожных берез, еще местами уцелевшую от острых ночных ветров, дующих предзимним холодом с севера по осенним лесам, через которые еще продолжали вырываться из окружения остатки державших передовую оборону полков, в то время как перекрестки на Варшавском и Можайском шоссе были забиты колоннами немецких грузовиков, бронетранспортеров, обозами конных фур, а деревни заняты пехотой и подтягивающимися к фронту разными тыловыми службами, заранее знавшими районы, улицы и дома своего будущего расположения в русской столице, по ночам охваченной близкими заревами, куда с булькающим гулом в поднебесных этажах проходили «юнкерсы», в то время, как была взята Калуга, шли бои под Серпуховом и Можайском и немцы, после тяжелых смоленских боев завершив окружение трех армий Брянского фронта, определяли точный срок захвата Тулы и день падения Москвы,— в это же время вместе с тысячами других школьников и студентов, рывших противотанковые рвы на Можайском направлении и отрезанных прорвавшимися немецкими танками, Владимир и Илья, присоединившись к группе солдат, удачно выбрались по лесам к Москве и, голодные, грязные, возбужденные, на рассвете, пройдя весь город, ступили на родные тротуары Замоскворечья. Дважды на улице Горького их останавливали патрули, потом третий раз, вблизи кинотеатра «Ударник», опять проверили документы (кроме комсомольских билетов, других удостоверений у них не было), и, от ног до головы осветив карманным фонариком, лейтенант с новенькими рубиновыми кубиками в петлицах подозри-

тельно стал разглядывать их комсомольские билеты, спрашивая суровым баском, откуда двигаются, куда и с какой целью. И тут Илья вспылил, выговорил сквозь зубы, что лучше бы немецких диверсантов ловили, чем идиотские вопросы задавать, и тогда старший патруль, удивленный его натиском, вернул документы, скомандовал: «Проходите!»

Нигде в городе не светилось ни одного огня. Мешки с песком баррикадами лежали под окнами первых этажей. Едва узнаваемые, погруженные в холодную темноту улицы, насквозь продутые октябрьским ветром, пахли инеем, недалеким снегом, и везде над головой туго свистело в антеннах на крышах, за которыми в черном небе, загораживая звезды, тенями плавали в ледяных высотах рыбообразные тела аэростатов воздушного заграждения.

В этом гуле проводов, свисте ветреной ночи выделялись другие звуки какого-то спешного движения на мостовой, похожего и вместе непохожего на обычное перемещение войск. Грузовики без солдат, заваленные ящиками и мешками, легковые машины, хозяйственные повозки то и дело проезжали мимо, чернеющей массой скапливались на площадях, откуда доносились приглушенные команды регулировщиков, фырканье лошадей, ругань шоферов и повозочных. Постепенно сгущенная масса колонны рассасывалась, поворачивала, вытягивалась на Садовую, и вновь проносились, встревоженно сигналили начальственные «эмки», синея маскировочными подфарниками, объезжая лошадей и повозки, которые, как ломовые, гремели колесами по асфальту, по трамвайным рельсам.

Здесь же, на соединении улиц, перед площадями, оставив лишь узкий разрыв для движения, торчали ребрами «ежи», наклонно висели врытые в землю толстые пики рельсов, эти противотанковые сооружения, воинственно и уродливо преобразившие город, и в этом изменении было что-то новое, жуткое, как и в запахе гари, которую они впервые почувствовали там, под Можайском, когда ветер приносил пепел горящих деревень. Но тут, в Москве, не было видно тлеющих пепелищ пожаров, а запах пепла в крепкой свежести воздуха накатывал волнами, и иногда чудилось, что в глубине дворов всюду жгли бумагу.

После того как их несколько раз задерживали патрули, Владимир предложил по дороге к Зацепе нигде не

останавливаться, мигом вбегать под арки ворот, заходить в подъезды, чуть только впереди завиднеются люди, потому что издали не разберешь, патрули это или нет. Однако в знакомых переулках вокруг Зацепы не встретили ни единого прохожего, не проблеснуло ни огонька в окнах, ни одной машины не проехало по мостовой. Все подъезды были закрыты, ворота заперты на засовы; ветер шумел в дворовых липах, темные тени качались, скреблись о заборы, вороха листьев с жестяным корябаньем волокло по асфальту, сухим шорохом несло по ногам, собирало у подворотен шевелящимися кучами. Здесь, в переулках, обдавало первым октябрьским морозцем, винным подвальным запахом, а меж качающихся деревьев в неоглядной пустыне неба красным и белым лихорадочным огнем горели две крупные звезды.

— Марс и Юпитер,— сказал тогда бегло Илья.— Вот сверкают, а?

— Марс — бог войны, кажется,— ответил Владимир.— Помнишь?

— А, к черту, помнить всякую чепуху из истории Древнего Рима! Кому это нужно? А может, это не Марс и не Юпитер.

Но они еще хорошо помнили недавнюю Лужниковскую, веселую, солнечную, зеленую, и на углу оба не выдержали и рванулись к воротам своего двора, а когда, запыхавшись, остановились около калитки, откуда был виден их двухэтажный дом, загороженный липами, в эту минуту у пожарного гаража на другой стороне улицы, где обычно стояла будка дежурного, грозно всполошился сиплый оклик: «Кто там? Стой! Стрелять буду!» — и враждебно заскрежетал затвор винтовки.

— Свои, свои, если не шутишь! — отозвался услышанной на окопных работах солдатской фразой Владимир, подхваченный бешеной радостью оттого, что были они дома наконец.

— Хрен с маслом в базарный день! — захохотал Илья.— Стрелять-то умеешь? Чего тюленем голосишь?

И они кинулись в калитку, хохоча, толкая друг друга, но уже во дворе, по-осеннему заполненном текучим шумом лип, плотная тьма, расчерченная бумажными крестами окон, окружила их, и они замолкли, осматриваясь по дороге к крыльцу, угольно-черная крыша которого заслоняла свет двух звезд над двором.

Тамбур был заперт. Никто не открывал им, когда прозвонили двойными, тройными звонками, никто не открыл и после того, как минут десять упрямо колотили кулаками, упорно дергали шатавшуюся дверь. Во всем доме, вероятно, никого не было. Тогда, выругавшись, Илья спрыгнул с крыльца, на ощупь подошел к липе, росшей вплотную к стене дома, подтянулся на оголенной ветви, точно на турнике, и начал забираться вверх, что не раз делал в детстве, к окнам своей комнаты на втором этаже. Владимир стоял внизу, видел, как он долез до второго этажа и там, повиснув на ветках, постучал в стекло так решительно и громко, что эхо выстрелами толкнулось в глубине двора. Затем послышался сверху его голос: «Ма-ама, да что ж ты? Оглохли все?» — и он скатился по стволу дерева на землю, раздосадованно говоря:

— Сейчас мать откроет. Чего они все, как мыши в норы, попрятались?

Дверь открыла Раиса Михайловна, в наспех наброшенном халате, выговорила слабым вскриком: «Илюша, Ильюша!..» — и отступила на шаг, нетвердо держа керосиновую лампу перед грудью, и на ее лице, еще красивом, чернобровом, выражение страха сменилось выражением страдальческой радости: «Как хорошо, что это вы, мальчики, как хорошо!..» А Илья, снисходительно чмокнув мать в щеку, взял у нее лампу, быстро пошел вверх по лестнице, крикнул на ходу:

— Покеда, Володька! Завтра с утра заходи!

— Володя, подожди минуточку,— задержала Раиса Михайловна заторопившимся голосом.— Подожди, пожалуйста, подожди. Я тебе должна сказать... Твои уехали в Свердловск. Здесь была эвакуация. Всех с детьми эвакуировали. Кого на Урал, кого в Среднюю Азию. Они уехали месяц назад. Вместе с заводом. У меня письмо, и записка для тебя, и ключ... Но ты у нас пока... у нас побудь...

— Тем лучше! — воскликнул Илья обрадованно.— Пошли к нам, веселее будет! А пожрать чего-нибудь найдем. Верно, мать?

— Дайте мне ключ и письма тоже,— попросил Владимир.— Я сначала к себе...

То, что мать и отец вместе с четырехлетним братом месяц назад уехали в Свердловск, эвакуировались с заводом (где отец работал инженером), не дождавшись его, и то, что оставленный ключ словно бы доказывал

их равнодушное спокойствие, было сейчас обидно ему.

Он открыл дверь, нащупал в первой комнате выключатель, и свет загорелся немощно, обессиленным накалом.

В смежной комнате такой же хилый оранжевый свет абажура повис в тесной полутьме, тускло проявляя знакомую мебель, завешенные маскировочной бумагой окна; книжный шкаф отливал возле письменного стола лиловыми бликами стекол; скрипнули половицы, запахло маминой пудрой, к этому родственному запаху примешивался невнятный ветерок холодноватой пыли, какие-то мышиные шорохи в опустелом доме — и Владимиру стало не по себе.

Там, под Можайском, когда присоединились к красноармейской группе, бродили по лесам, отрезанные от Москвы, он не так воображал возвращение домой, представляя вечер в уютный час ужина, эти комнаты в теплом электрическом сиянии, родные, любящие его лица за столом и себя, рассказывающего о первой бомбежке, о немецких листовках, разбросанных ночью, об окружении... Но дома его никто не ждал — и сохранившийся запах маминой одежды в шкафу, охлаждаемый мертвенным ветерком заброшенности, ознобно пронзил его сквознячком. Может быть, все это было начало новой, давно ожидаемой жизни, что манила опасностью куда-то в неизвестное?

Он попытался прочитать письмо и записку и не разобрал ни строчки, с беспечностью решил прочитать утром, сунул конверты в карман, потом умылся под краном ледяной водой и, не защелкнув дверь на замок, пошел по коридору к Рамзиным.

Большая комната Рамзиных была озарена керосиновой лампой, особенно яркой, с начисто протертым стеклом. Илья стоял у комода, не без замедленного удовольствия причесывая перед зеркалом влажные волосы. Белый спортивный свитер, который он любил надевать на школьные вечера, плотно обтягивал его плечи, и в этом свитере, в мокрых волосах, блестевших празднично, в горячем взгляде, брошенном на Владимира, была веселая уверенность сильного, довольного собой и своей судьбой человека, наконец-то имеющего возможность насладиться домашним благом после долгого путешествия по дальним странам.

— Вообще, мать, нам полагалось бы с Володькой чего-нибудь дербалызнуть! У тебя в буфете когда-то порт-

вейн стоял на всякий случай! — говорил он, не оборачиваясь к Раисе Михайловне, собиравшей на стол, и подмигнул в зеркале Владимиру.— Мы, мать, удачно вышли из окружения, две бомбежки на переправе проскочили, раз под минометный огонь попали, но ни черта с нами не сделалось! Домой пришли, и все в порядке. Садись, Володька, сейчас рубанем картошки и тяпнем портвейна на смерть немецким сволочам!

— Как ты грубо говоришь, Ильюша, какими-то не своими словами,— сказала Раиса Михайловна и пригласила Владимира к столу.— Неужели вы пить научились на оборонных работах? Как же так?

— Ладно, мать, приходилось пить не только молоко и воду,— ответил Илья и ловко взял бутылку портвейна, поставленную на стол Раисой Михайловной, очистил от сургуча пробку, ввинтил штопор и вырвал пробку звонким хлопком.— Ну, теперь «хенде хох», теперь мы отпразднуем как полагается. Ты будешь с нами, мать?

— Перестань дурачиться со своим портвейном! — остановил Владимир, покоробленный тоном Ильи и тем, что Раису Михайловну он как-то непривычно называл «мать».

А Раиса Михайловна разложила в тарелки ароматно дымящуюся картошку, кусочки пахучей разваренной рыбы, дольки сливочного масла, и запах домашней еды, запах горячего заваренного чая, чистая скатерть — этот милый дух родного московского дома возвращал их на четыре месяца назад, в еще довоенное школьное время, летнее, радостное, беззаботное. Все уже было другим, угарно тронутым войной, но обоим, возбужденным возвращением в Москву и рюмкой сладкого портвейна, недавние голодные скитания по ветреным можайским лесам, где на шоссе гудели моторы и слышалась немецкая речь, теперь казались малоопасным, приятно щекочущим нервы военным приключением. В эти минуты одно лишь беспокоило Владимира — эвакуация семьи в Свердловск,— и ему захотелось немедленно прочитать письмо и записку матери, которые шуршали в его кармане. Он перестал слушать рассказ Ильи о веселой и суматошной августовской ночи на окопных работах, когда, вооруженные лопатами, до рассвета ловили во ржи (но, к сожалению, не поймали) немецких парашютистов, осторожно вынул из кармана конверты и сначала прочитал записку, написанную на тетрадном листке ровным почерком матери:

«Дорогой сын Володя! Прости нас, что получилось так, что мы не дождались тебя и уезжаем в Свердловск, куда эвакуируют завод отца. Уезжаем с последним поездом, всё ждали и ждали тебя со дня на день, так как в райкоме комсомола говорили мне и отцу, что ребята из вашей школы должны вот-вот вернуться с оборонных работ. Мы всё тянули с отъездом, а потом отцу приказали. Ты нас пойми. Завтра мы решили ехать. Я надеюсь, я верю, сыночек, что с тобой все благополучно. Адрес новый сообщу сразу, как приедем на место. Целую тебя, дорогой Володя. *Твоя мама. 19 сентября 1941 г.»*.

Потом он спрятал записку и прочитал письмо, что было послано с дороги, опущено в Казани; мать писала, что очень беспокоится, потому что он, Володя, вернувшись домой «с окопов», сразу должен взять железнодорожный билет и ехать следом за ними в Свердловск, где найдет их завод, а деньги на билет, на дорогу и на еду оставлены под его бельем в шифоньере.

— ...Я, мать, до сих пор жалею, что мы ни одного диверсанта не поймали,— между тем продолжал рассказывать Илья, энергично намазывая картофелины маслом.— Нам сказали: «юнкерсы» сбросили их ночью на парашютах, а они укрылись во ржи. Понимаешь, мать? Засели неподалеку, на околице деревни, где мы в сараях спали. А у нас ни одной винтовки, никакого оружия, кроме копательного инструмента. Ну, что ж, подняли нас по тревоге, приказ — вооружиться лопатами, оцепить поле, поймать диверсантов. Представляешь, мать, лазали мы по этой ржи до утра — никого и ничего. Вероятно, успели, гады, удрать в лес, а парашюты где-нибудь в землю закопали. Досадно, что ни одного не встретили... Верно, Володька? Я мечтал хоть одного...

— Я тоже,— сказал Владимир, вспомнив звездную августовскую ночь, сиренево посветлевшую к рассветному часу, вокруг мокрую от обильной росы рожь, намокшую одежду, шорох скользких стеблей, изредка настороженно перекликающиеся голоса, сполохи зарниц на западе и бледное, азартно-нацеленное лицо Ильи, шагавшего рядом с изготовленной к борьбе лопатой.

— Как же вы могли их поймать? У них оружие, а у вас... Это невозможно! — подавленно выговорила Раиса

Михайловна.— Как хорошо, что вы их не встретили! Они убили бы вас...

— Слышал? — Илья подмигнул Владимиру.— Нет, мать. Лопаты тоже оружие. Еще неизвестно, кто кого укокошил бы!

— Ильюша-а, о чем ты говоришь? Твои слова просто меня пугают! Неужели ты считаешь немцев такими немыслимыми дураками! — сказала тоном беспокойства Раиса Михайловна.— Разве взрослый обученный диверсант стал бы ждать, пока ты его ударишь лопатой? Какие вы еще наивные, доверчивые мальчики!.. Что только с вами будет?..

— Абсолютно ничего! — И Илья опять улыбкой пригласил Владимира удивиться этой безобидной неопытности матери, долил портвейна в рюмки, сказал с ласковой пасмешливостью: — Ты только нас, маменция, за ребятенков грудных не считай, а то, знаешь, как-то смешно получается и ни в какие ворота... Будь здорова, мать! — Он выпил, засмеялся, положил не вилкой, а пальцами целую картофелину в рот, аппетитно зажевал.— Ну а как в Москве тут? Бомбят? Нам под Можайском иногда ночью слышно было, как они сюда ползли. И как вы? Объявляют тревогу — и вы в бомбоубежище? Страшновато, мать, а?

— В подвал я не хожу, Ильюша, бессмысленно, а станция метро не очень близко,— ответила Раиса Михайловна.— Страшновато, когда начинают стрелять зенитки. Но я закладываю уши ватой и, чтобы успокоиться, начинаю читать подшивку «Нивы». Так, Ильюша, быстрее проходит время. И почти не замечаешь, что они кружат над нашим районом. Они, наверно, целят в Могэс и в Краснохолмский комбинат. Летом сгорел от бомб Зацепский рынок и снесло почти целый квартал около Овчинниковских бань...

— Ты всегда была молодец, мать. Я за это тебя люблю! — сказал не без грубоватой нежности Илья.— Трусихой ты никогда не была. А от судьбы никуда не уйдешь, это тоже ясно. Помнишь, у Лермонтова «Фаталиста»? Я иногда вспоминал его там, на окопах, и когда в окружение попали. Все, в общем, будет как надо. Как на небесах написано.

Он взглянул на мать с шутливым превосходством, а она, точно не замечая его веселости, сняла с чайника тряпичную грелку, пододвинула стаканы, начала разливать чай, потом задумалась, глядя на Владимира близо-

рукими глазами, обезоруживающими ее строгое, когда-то красивое, но уже увядающее лицо.

— Что ты молчишь, Володя? Что пишет мама?

— Они ждут меня в Свердловске, Раиса Михайловна. Но я никуда не поеду. Глупо ехать куда-то в тыл. Что там делать?

— Глупо?

— Надо завтра идти в военкомат, чтобы послали на фронт, а не удирать куда-то за Урал. Я так решил...

Он запнулся. Она переспросила негромким вскриком:

— Решил? Так ты решил? И ты, Илья, так решил? Завтра?..

Раиса Михайловна уронила руки, растерянно повернула в сторону Ильи свою маленькую, молодо причесанную голову с тяжелым пучком на затылке, а он, с показным удовольствием отхлебывая чай, так грубо надавил на ногу Владимира под столом, что тот вмиг понял допущенную оплошность и пробормотал в замешательстве:

— Это я так решил, Раиса Михайловна, а не Ильюшка. Он пусть сам...

— И что ты решил? — спросила Раиса Михайловна тихим голосом.

Илья допил чай, отдуваясь, и звонко стукнул стаканом о блюдечко, сказал убежденно:

— Я еще ничего не придумал, мать. Видно будет. Поживем — увидим, как сказал ночной сторож и проснулся днем.

И он закинул руки за голову, потянулся в сладкой истоме, преувеличенно показывая благодушную сытость, довольство, беспечное наслаждение домашней обстановкой, он явно не хотел, чтобы мать знала все, и ничем не выдавал себя, улыбаясь узковатыми, черно блестящими глазами.

Илья жил вдвоем с матерью, без отца, фотографию которого однажды показал Владимиру, старую, тронутую по углам паленой желтизной фотографию в альбоме, где бравый светлоглазый командир Красной Армии, исполненный юной отваги, во френче, украшенном пышным бантом, при шашке, стоял близ чугунной ограды. Илья объяснил, что отец после гражданской войны работал в Генеральном штабе, потом служил на Дальнем Востоке, умер же в тридцать восьмом где-то на северном строительстве военного значения — и, сказав «умер», зло дернул ртом. Так или иначе, была здесь очевидная семейная тайна, ибо Владимир видел иногда, как фамильярно-гру-

бовато обходился на людях с матерью Илья, однако нередко заставал его вечером возле примуса за чисткой картошки перед приходом ее из библиотеки. И бледнело, и загоралось его смуглое лицо, когда наведывался в их квартиру назойливый управдом Козин, чтобы напомнить Раисе Михайловне о своевременной уплате по жировке. Неизвестно почему управдом самолично подымался на второй этаж к Рамзиным, принося в постоянно беременном портфеле грозное письменное уведомление о квартплате, закрепленное собственноручной подписью. Но раз (уже учились в девятом классе) Илья встретил бдительного Козина на лестнице, преградил ему дорогу и, прищурясь, поднес к его яблочно-крепкому носу натренированный боксом кулак, предупредил с внушительной неохотой: «Если еще увижу, что пристаете к матери, так без свидетелей разукрашу будку фонарями — в зеркале себя не узнаете!» Козин в онемении отпрянул мгновенно овлажнившимся лицом, кеглей скатился по лестнице, оглянулся снизу озлобленными глазами, но с того дня навещать Рамзиных перестал.

— Поживем — увидим,— повторил Илья и, еще раз толкнув под столом ногу Владимира, спросил Раису Михайловну: — Во дворе кто-нибудь остался? Или все смылись в эвакуацию? Борька Окунев здесь? Он, знаешь, мать, на окопах заболел, не то понос, не то запор, его в Москву отправили еще месяц назад. Слаба кишка оказалась. Да он и всегда сморчком был.

— Как ты о нем, Ильюша, говоришь! — сказала укоризненно Раиса Михайловна.— Боря вежливый, воспитанный мальчик. Окуневы эвакуировались в Ташкент... Они уехали в начале октября, когда участились воздушные налеты. Ведь с начала октября почти каждую ночь объявляют тревогу. Только сегодня, к счастью, спокойно.

— Мать, не пугай, мы и так с Володькой из-за мешка углом напуганы, хотя и бомбежки видели, и знаем, що цэ такэ! — Илья захохотал, взял бутылку со стола, повертел ею перед огнем керосиновой лампы, будто любуясь цветом стекла.— А Маша Сергеева где? Тоже наверняка в Ташкенте? Или загорает где-нибудь на Уралах?

Он спросил это небрежно и мимоходом, но Владимир почувствовал, как сразу стало жарко лицу, потому что все, что связывалось в школе с Машей, с ее ошеломлявшими многих поступками, было настолько подчас необъяснимым, пленительным, таинственным, что вызывало у него мучительное головокружение при одном звуке ее

имени, при виде ее прямой спины и коротко подстриженных волос.

— Нет, она здесь,— ответила Раиса Михайловна.— Я встретила Машу вчера. У нее заболела мать, и они не уехали с театром, остались в Москве.

Когда Раиса Михайловна сказала: «Нет, она здесь», Илья протяжно зевнул во весь рот и встал, громко отодвинув стул, подошел к изразцовой голландке, с притворным молодецким кряканьем придавил руки к плитам печи.

— Мать, да у тебя тепла еле-еле. Дрова-то есть в сарае? Чем топишь?

— Всяким бумажным хламом, Ильюша,— отозвалась Раиса Михайловна.— Знаешь, получилась какая-то фантастическая нелепость. Просто совсем по-гоголевски. Кто-то украл у нас березовые дрова, все до последней щепочки. Неделю назад пошла вечером в сарай, чтобы на ночь печь истопить, и... что же? Вообрази мое удивление и досаду. Замок в исправности, висит на дверях, а дров нет. Смешно и дико, понять не могу!

— Болванизм крепчал! — фыркнул Илья и присел на корточки против дверцы голландки.— Кому еще понадобилось дрова лямзить, хотел бы я знать!

— Вы бы наши дрова взяли, Раиса Михайловна,— сказал Владимир.— Вот и все.

— Сарай пуст, Володя,— возразила Раиса Михайловна.— Ни наших, ни ваших дров. Просто комедия: странные воры — только колун один оставили. Подождите, мальчики, я сейчас растоплю. Газет старых уйма, и старые журналы...

Половина комнаты была заставлена книжными шкафами, где помещалась целая библиотека мировой литературы, которую любовно собирала Раиса Михайловна долгие годы, тратя в букинистических магазинах бо́льшую часть своей зарплаты. Из этих шкафов Илья щедро давал читать книги всему классу и всему двору, и прочитанные книги, как это ни странно, без промедления возвращались, но, видимо, только потому, что связываться с Ильей было небезопасно. Владимир любил эту комнату Рамзиных, стук дверок рассохшихся шкафов, терпковатый запах сухой, старой пыльцы от дореволюционных энциклопедий, вязеобразные тиснения на корешках русских и западных классиков и потрепанные томики романов о гражданской войне, зачитанных до ветхости страниц, и обложки приключенческих журналов, открывающих пле-

нительную голубизну мировых далей, лазурные берега райских стран, душистый воздух коралловых островов, тропическую духоту диких джунглей, свежий шум и прохладный плеск утренней волны розового моря и пылающие на солнце павлиньими хвостами крутые буруны под бортом накренившейся яхты... И во всем этом было обещание мужества, полноты жизни, верного товарищества и любви.

— Я сейчас растоплю, мальчики. В комнате будет тепло,— заторопилась Раиса Михайловна и вытащила снизу из шкафа ворох перевязанных шпагатом газет, толстую пачку журналов, которые вдруг скользко разъехались в ее руках, посыпались на пол.

Владимир вскочил, принялся помогать Раисе Михайловне, поднял журнал, бросившийся в глаза такой знакомой, такой удивительной обложкой — «Вокруг света» — и знакомой иллюстрацией: неимоверно огромный омар, вытянув из многослойного океанского мрака гигантскую клешню, подобно плоскогубцам, перекусывает ею железный трос опускающейся круглой батисферы, бессильной лучом прожектора пробить пучину водяной толщи. Это была иллюстрация к роману Конан Дойла «Маракотова бездна», с продолжениями печатавшемуся в журнале, которым они зачитывались еще недавно.

— Раиса Михайловна,— сказал Владимир просительно.— Не надо жечь...

Илья, заталкивая в раскрытую дверцу печки сжатые вороха газет, прервал его:

— На черта сейчас тебе они? Давай, давай сюда, мать, эту художественную литературу для детских яслей! — И он подхватил у Раисы Михайловны разъезжавшуюся кипу журналов, бросил ее на пол возле голландки, добавил с веселой яростью: — Даю голову на отсечение, Володенька, больше ни ты, ни я эту детскую наивную ерунду читать не будем!

— Ильюша, почему ты так уверенно говоришь?!

— Я дело говорю, мать. Давай спички.

Огонек лизнул в голландке край смятой газеты, перебросился выше, к бумажному вороху, вспыхнул ярче, шире, охватил его быстрым пламенем, загудевшим внутри, и тогда Илья безжалостно начал разрывать журналы, запихивать в печь скомканные страницы, поддерживая и увеличивая огонь, и по тому, как рвал он заляпанные чернилами обложки «Всемирного следопыта» и «Вокруг света», по тому, как дерзко улыбались, отражая

пламя, его глаза, чувствовалось в его действии какое-то мстительное удовлетворение, словно он сжигал бесполезные теперь мосты в школьное прошлое, переставшее быть интересным и нужным ему. Неужели от них уходили надолго, а может быть — навсегда, раннее солнечное утро, шевелящиеся от легкого ветра занавески, пронизанные янтарным светом, звон будильника на краю стола, где под дуновением майского воздуха в открытое окно всю ночь нежно шуршали, перелистывались страницы?..

— Раиса Михайловна,— сказал Владимир,— дайте мне ключ от сарая. Я сейчас приду.

— Ты куда? — вскинул прищуренные глаза Илья и захлопнул дверцу пылавшей бумагой голландки, догадываясь о намерении Владимира.— А, ясно. Пошли.

В сарае белела щепа на земляном полу, огонек спички осветил дощатые стены, валявшийся в углу бесполезный колун, и Илья покрутил его, повертел, как палицу, отбросил к порогу с глухим стуком.

— Хотел бы я знать, не по указанию ли управдома Козина уперли у нас дрова? А, Володька?

— Козин, конечно, жулик, но топить надо,— сказал Владимир, подхватил колун и вышел из сарая.— Что-нибудь сообразить следует.

Предрассветный октябрьский час стоял во дворе, черные верхушки лип в пропасти неба гнулись, качались между звезд, и обдувало холодом близкого снега (так пахло всегда полной осенней ночью); весь заросший дворик утопал в сгущенном шуме деревьев и, весь пустынный, тревожно вздрагивал под порывами ветра, который со стороны Зацепы доносил волнами гул, разорванные автомобильные сигналы,— и несло их из тьмы улиц не печным дымом.

— В Москве что-то хреновое происходит, Володька,— сказал Илья, глядя в небо над двориком.— Непонятно. Неужели удирать будем? Но из Москвы — не может быть. Так что же, зайдем завтра к Маше, а? — спросил Илья и, всерьез начав курить под Можайском, слепил цигарку из собранной по карманам табачной пыли: в студеном воздухе потек горьковато-кислый запах махорки.

— Завтра в военкомате...— проговорил Владимир, будто не слушая его, и с силой поддел колуном, выворотил в палисаднике затрещавшую доску вместе с гвоздями.— Завтра в военкомате все узнаем!

Он отодрал доску и выпрямился, улавливая в гудящих навалах ветра, в скрипе ветвей отдаленные звуки движения на ночных улицах, потом ощутил в сумрачной глубине двора острую сырость земли и асфальта, прелую горечь опавших листьев, и впервые за эти часы в Москве стало закрадываться и расти в нем давящее, беспокойное чувство. Нет, он не знал, что будет с ними завтра, и не знал, почему Илья опять сказал ему о Маше, хотя еще весной едва замечал ее в школе, пренебрежительно говоря, что только по выходным может терпеть эту комнатную розочку, эту длинноногую фею со вздернутым носиком, а она в ответ смеялась над ним, заявляя. что более грубого животного даже в зоопарке не встречала. Нет, то была не ненависть...

— Ты хочешь зайти к Маше, Илья?

Он поднял голову и увидел за плечом Ильи над самым угольным козырьком крыльца две крупные звезды: одна воспаленно-красная, другая пронзительно-белая как два до предела раскаленных зрака вселенной, глядящих из беспредельных пространств мрака на Землю, впоследствии, через много лет, вспоминавшиеся ему роковым предзнаменованием, тем более что две огненные звезды рядом, сближение их, по древнему календарю, о котором он узнал позднее, обозначались двумя смыслами: смерть Цезаря и гибель великой державы

— Чего ж не зайти? Зайдем,— сказал Илья развязным тоном и нарочито, по-мужицки сплюнул на цигарку, щелчком отшвырнул ее в кусты палисадника.— А ты что — против? По-моему, ты был к ней неравнодушен, а?

— Чу-ушь! — ответил Владимир презрительно.

Когда с охапками нарубленных досок они вернулись в квартиру, пламя керосиновой лампы было экономно пригашено, Раиса Михайловна сидела на низенькой табуретке перед раскрытой дверцей голландки и задумчиво подкладывала в огонь смятые комья старых газет, по ее печальному лицу, по стенам, по корешкам книг в шкафах ходили красные отсветы. Илья заговорил весело:

— Сейчас раскочегарим дровишками, и как в Сандунах будет. Назло кочерыжке управдому! Верно, Володька? За что страдали на окопах? А? То-то!

Он шумно свалил «дровишки» к голландке, сел прямо на пол, бросая расщепленные доски в печь, и видно было, что, обуянный желанием деятельности, он готов к неукротимому бодрствованию, но Владимир сказал:

— Спасибо, Раиса Михайловна. Спокойной ночи. Я к себе.

Раиса Михайловна задержала его:

— Володя, может быть, я тебе на диване постелю? Оставайся у нас сегодня. Скучно будет одному в пустых комнатах и холодно.

— Мать, мы на земле, подложив кулак под голову, спали,— захохотал Илья,— а ты со всякими пустяками. Ладно, до завтра, Вольдемар!

Владимир поморщился: он не любил, когда Илья называл его так, на этот шутливый книжный лад, в котором вроде бы звучало не вполне серьезное обращение старшего к младшему.

Электричество сочилось ослабевшим накалом, наполняя комнаты красноватым туманцем, из него неуклюжим боком выступал квадрат старинного буфета, в углу отсвечивал кафель холодной голландки, и пятнами выделялись на окнах опущенные светомаскировочные шторы в необогретых комнатах, так скороспешно оставленных матерью и отцом. Но мысль о свободе, о полной независимости завтрашних действий, мысль о том, что ему просто повезло (нет, хорошо, что он совсем один дома!), облегчающе возбудила и успокоила его. Он нашел в потемках пахнувшего нафталином шифоньера свое зимнее пальто, лег на диван, подбил под голову диванную думку, накрылся пальто до подбородка — и тишина поползла по комнатам, заполнила весь дом, дворик под звездами, улицы, переулки, тупички Замоскворечья, и уже не слышно было со стороны Зацепы разорванных сигналов автомашин, лишь порой дребезжали стекла от какого-то неощутимого сотрясения в городе.

«Маша»,— подумал он и закрыл глаза, съеживаясь, словно окутанный зябкой паутиной, испытывая томительную неясность радости, любви и стыда, что всегда чувствовал, даже увидев Машу издали, ее гибкую поступь, волнистое колебание ее узкого, с пелериной пальто, какого никто, кроме нее, в школе не носил...

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Его разбудил рев грузовиков, и он, продрогший, вскочил с дивана в темноте застуженной комнаты, увидел щелочки утреннего света по краям маскировочной бумаги и с шуршаньем задрал ее на раме окна.

Было серое октябрьское утро. Первый иней солью лежал на распластанных листьях, примерзших к мостовой, по которой в направлении Валовой улицы медленно двигалась колонна грузовиков, дымивших в мглистом воздухе. Сквозь завывание моторов прорывались взбудораженные голоса людей, люди шли у бортов машин хаотичной, растянутой толпой, резко выделялись драповые пальто, ватники, теплые ушанки, будто ночью разом наступила жестоким морозом зима. И эти возбужденные, мрачно-озабоченные лица людей, и это свинцовое утро, побеленное инеем, слитный рев, рокот грузовиков, грубые крики, чемоданы, узлы в толпе, низкое пасмурное небо над крышами — все это впилось тревогой в сонное сознание Владимира, и он подумал, что на улицах началось что-то неудержимое, угрожающее, что уже приходилось видеть ему, когда прорывались из окружения под Можайском. Он бросился к молчавшей тарелке репродуктора, забыто не включенного вчера, воткнул вилку в розетку. Звонкие удары военного марша, бодрые звуки духового оркестра празднично ворвались в комнату, как еще недавно бывало в первомайские утра или ноябрьские дни. Но этот вид бегущей по улице толпы, эти звуки торжественного марша вызвали у него такое внезапное чувство ничем не отвратимой придвинувшейся опасности, что озноб иголочками заколол, стянул кожу на щеках. Он как наяву увидел немецкие танки, вползавшие на опустевшие окраинные улицы Москвы, и от этого невозможного ви́дения и от тусклого отсвета хмурого набухшего неба на мокрых крышах, от звуков марша за спиной, топота, криков под окном он замерз и, сжав зубы, стал торопливо одеваться, но тут послышался стук в дверь и голос Ильи из коридора:

— Вольдемар, подъем! Выходи строиться! Взять лопаты! Пошли завтракать, жареная картошка уже на столе! Быс-тро!..

— Заткнись со своим дурацким Вольдемаром! — сердито огрызнулся Владимир, распахнув дверь.— Видел, что на улице творится?

— Видел, видел! — небрежно сказал Илья, стоя на пороге, выспавшийся, причесанный после умывания, одетый в шерстяной лыжный свитер, по-спортивному обтягивающий его мускулистую грудь.— Ну и что? Радиоламповый завод, видать, эвакуируется. Идем, позавтракаем и потопаем в военкомат.

На улицах их обволокло выхлопными газами — колонна грузовиков, вхолостую работая моторами, остановилась длинной вереницей на Лужниковской, задержанная невидимым затором впереди, а люди с выражением мрачной подавленности всё скапливались, шли и бежали в направлении Зацепы, и Илья, не выдержав, наугад крикнул кому-то:

— Куда вы?

Но ему не ответил никто.

На Большой Татарской возле настежь раскрытых заводских ворот сходилась, сгущалась, гудела толпа, запруживая мостовую и тротуары, и здесь Владимир с подмывающим нетерпением обратился к сутулому морщинистому человеку в драповом пальто, истово закуривающему под фонарем самокрутку из обрывка газеты:

— Что, эвакуация? Опять?

— Аль не видишь своими зенками? — ощетинил редкие усики человек в драповом пальто.— Бегут, аж у всех глаза как автомобильные фары! Видел?

— Да куда они?

— Как — куда? Ты что — Ванек с Пресни? Не знаешь, что немцы фронт прорвали, на Москву прут? Правительство слыхал где? В Куйбышеве, говорят, вот где!.. Понял?

— Слухи паникерские, дядя! — вмешался в разговор Илья.— Кто сказал, что правительство в Куйбышеве? Детских сказочек Корнея Чуковского начитались?

Человек в драповом пальто сплюнул, морщинистое лицо его озлобленно напряглось.

— Ах ты, сукин сын, щенок поросячий, учить меня вздумал? Сказки я тебе говорю? Слухи распускаю? А ты кто такой, что учить рабочий народ хочешь? Я тебе за паникера, сосунок безмозглый, все уши пооборву!..

— Напрасно ругаетесь, дядя,— сказал Илья с невозмутимостью и, опасно смеясь прищуренными глазами, молниеносно перехватил руку морщинистого человека, в несдержанном порыве гнева потянувшуюся к его уху, сдавил ее так сильно, что тот охнул, обнажив прокуренные зубы.— А это уж совсем дореволюционные привычки, давно устарело,— договорил разочарованно Илья.— Уши драли в девятнадцатом веке, как известно, и то в купеческих семьях.

— Ах ты, молокосос, молокосос! Да ты что ж хулиганствуешь! Патрулей позвать? Патрулей?..

— Прощайте, дядя, будьте здоровы! Зовите патрулей.

Невозможно было объяснить безудержный гнев этого человека с редкими усиками, по возрасту своему, вероятно, годившегося им в отцы, необъяснима была и его попопытка «пооборвать уши». Однако они скоро забыли о случайном столкновении, подхваченные ринувшейся к проходной завода толпой, которая тесно, душно собралась и жала со всех сторон напротив раскрытых ворот, как в ожидании каких-то новых сообщений, и вокруг накалялся шум голосов, лица нервно и жадно выискивали, вытягивались туда, где стояли у проходной одетые в ватники рабочие с красными повязками на рукавах. А за воротами был виден пустынный двор, кирпичные здания цехов, легковая «эмка» на асфальтовом пространстве меж корпусов, группка людей около низенького толстого человека в кожаном пальто. Человек этот как-то зло повернулся, мотнув кожаными полами, торопясь, пошел к проходной в сопровождении группы людей, у ворот остановился, вскинул кулак и, багровея начальственно-суровым круглым лицом, крикнул властным тоном привыкшего распоряжаться человека: «А-арищи рабочие!» — и мгновенно по толпе пробежал зыбью стихающий шепоток: «Директор, директор...» — и люди зашевелились, плотнее придвигаясь к воротам, ища взглядом с возникшей надеждой кожаное пальто и этот возбужденно взлетавший для удара по воздуху маленький кулачок.

— Товарищи рабочие! Всем вам ясно, что немецко-фашистские орды подошли к стенам столицы, положение чрезвычайно серьезное! Дело идет о жизни и смерти Советской власти, о нашей с вами жизни и смерти! Враг под Можайском и Малоярославцем! Поэтому я призываю вас к железной дисциплине, к бдительности, к решительной борьбе против паникеров, дезертиров и шептунов, которые изнутри подрывают нашу стойкость, сеют неуверенность, малодушие в наших рядах!

— Надо было бы, между прочим, того субчика с усиками за шкирку взять,— сказал раздумчиво Илья, протискиваясь в толпе перед воротами, и было ясно, что он действительно жалеет о не доведенном до конца деле.— Очень уж подозрительная морда. Тебе не показалось, что витрина у него шпионская? И усики вроде наклеенные. Вернемся, проверим?

— Ну, хватит ерунду!..— одернул Владимир, не слушая Илью и видя над плечами и спинами сгрудившихся людей твердый кулачок, разрубающий воздух вместе с обрывистыми словами:

— ...должны приступить к формированию коммунистических и рабочих рот и батальонов!.. Наступила пора... тяжелых испытаний для всех нас!..

Его последние слова дошли до них издали — они наконец продрались через скопление людей у заводских ворот, толпа и гул и ее дыхание остались позади, и теперь улица до перекрестка странно опустела, липы повсюду стояли черные, и листья, впаянные в стеклянный ледок, темнели на мостовой. Но безлюдье этой улицы с ее тихими домами и деревянными заборами затихших замоскворецких двориков и только что физически ощущаемое напряжение толпы почему-то возбудили у обоих острое чувство решенной перемены в их жизни, и они переглянулись. Илья толкнул Владимира локтем.

— Понял?

— Понял.

Во дворе райвоенкомата было людно, шумно, везде толпились под тополями парни в новеньких ватниках, осенних городских пальтишках, везде курили, негромко переговаривались, иные сидели на ступеньках грязного, обшарпанного крыльца, иные притопывали по асфальту замерзшими в летних ботинках ногами, иные хмуро читали приказы и распоряжения коменданта города Москвы, наклеенные на доске рядом с газетой «Правда», где резко бросался в глаза крупный заголовок: «Враг продолжает наступать!» Почти все, кто был в этом дворике, прибыли сюда согласно полученным мобилизационным повесткам, и все ждали вызова своей очереди в комнату двадцать шестую, на втором этаже, к майору Хмельницкому, как выяснил Илья, а выяснив, предложил план действия в обход «дуриковской толкучки», которую до вечера не перестоишь, план простой, верный, исполненный дерзости: подняться на второй этаж к комнате двадцать шестой, здесь сказать стоящим у двери, что добровольцев записывают вне очереди, и таким образом пройти в таинственную комнату к майору Хмельницкому.

Задуманный план удался невероятно легко, но, когда вошли и заявили без подготовки, что оба хотят записаться добровольцами в армию, грузный лысый майор, прочно разместившийся за столом рядом с юным остроносеньким лейтенантом, медленно возвел пустынные от бессонницы глаза, посмотрел слепо поверх их голов, а лейтенант, рывшийся ловкими девичьими пальцами в куче папок, пре-

кратил бумажную работу и радостно показал чистые смеющиеся зубы, как бы встретив давних сообщников.

— Вот, товарищ майор,— сказал он школьным мальчишеским голосом.— Слышали?

— Ясно,— ворчливо ответил майор и, не меняя выражения глаз, спросил Илью: — Сколько?

— Что, товарищ майор?

— Сколько годков от роду, спрашиваю? И какого месяца? Только не врать, по документам проверю. Отвечай. Точно, коротко и без загибона. Ясно?

— Семнадцать. Родился десятого мая.

— Ясно. Не соврал,— с одобрительным равнодушием проговорил майор и сонно посмотрел поверх лба Владимира.— Ну а тебе? Тоже семнадцать? Или шестнадцать?

— Нет, семнадцать,— сказал обиженно Владимир.— Родился в августе. А почему вы подумали, что шестнадцать?

— Идите-ка по домам, ребятишки. А лучше — уезжайте, пацаны, из Москвы. Подальше. Вот вам мой совет.

Лысый майор утомленно пощупал свой седеющий, тщательно подстриженный висок и насупился (наверное, болела голова), а остроносый лейтенант, уже без ободряющей улыбки, силился за спиной майора украдкой что-то объяснить мимикой юного розового лица и все возводил глаза к потолку до того момента, пока майор не оборвал эти тайные знаки:

— Лейтенант Гулькин, не жестикулируйте глазами и не дышите мне в затылок, зовите следующего, с повестками!

— Подождите! — заторопился Владимир, охваченный горячим сопротивлением против равнодушия лысого майора.— Мы были в окопах под Можайском, товарищ майор, и... вернулись, чтобы пойти в армию. Мы не хотим эвакуироваться.

— Аха-ха, ребятушки, братцы солдатушки! — Майор прикрыл ладонью рот и так судорожно зевнул, что выступили слезы на красных веках, затем проговорил с коротким выдохом: — Ох и дурь у вас молодецкая в пустых головках, всё песенки поете, соловьи вы бесхвостые! Сводку Совинформбюро сегодняшнюю слышали? Знаете, что немцы под самой Москвой? Соображаете, что положение на Западном фронте серьезно ухудшилось? Что вы мне голову морочите? Куда я вас возьму до сроку, скажите вы мне на милость, пацаны замоскворецкие? В добровольцы

разрешено зачислять людей в возрасте от восемнадцати до пятидесяти. Вам-то восемнадцать через целый годочек будет! Годо-очек! Его прожить надо. Чапаев небось из башки у вас не выходит? Тачанки, сабли и всякие такие игрушки-побрякушки?

— Нет, товарищ майор,— самолюбиво вмешался Илья.— Это уж мы знаем: против танка в трусиках не попрешь...

Остроносый лейтенант прыснул смехом, но тут же достал носовой платок, с серьезным видом высморкался, сказал звонким голосом:

— Товарищ майор, у нас есть разнарядка в артиллерийское училище. Конечно, туда тоже с восемнадцати лет...

— Подпевала и хода-атай ты у меня, орел, летать тебе негде,— прервал майор раздраженно.— Небось сам рвануть куда повеселее задумал? Дети вы дети, в чердаках ветер гуляет, хоть вы и дубины на вид здоровые, одной минутой живете. Ну, ладно, совет и слова вас не научат, жизнь вас научит. И не враз, а всю задницу исклюет, тогда и поймете, почем нюх табаку! В артучилище, значит? Раньше призывного сроку? Вместо эвакуации? — спросил со скучной злостью майор, тяжелые морщины набрякли, обвисли мешочками под его непроспанными, все понимающими глазами, и, увидев радостное просветление на лицах Владимира и Ильи, насупил брови, скомандовал веско: — Лейтенант Гулькин, запишите адреса! Через пару деньков вызовем, если все на своих местах останется и если не передумаете!

Они вышли из военкомата, испытывая счастливое возбуждение людей, которым могло не повезти и неслыханно повезло, и в этом везении была не случайность, а благосклонная судьба, завершение их прежней жизни и начало новой, серьезной, веселой, ожидаемой...

— Если бы не лейтенант, все пропало бы! — воскликнул взволнованно Владимир.— Этот сударь майор и разговаривать бы не стал! Эвакуироваться, и все!

— А дятел — парень ничего,— поддержал Илья, не без удовольствия закуривая на улице.— По мордашке-то слабак, манная кашка, маменькин сынок, а на деле — все как надо соображает. Слушай, Вольдемар, есть предложение,— с добродушной развязностью заговорил он, удовлетворенно оглядываясь на двухэтажное облупленное здание райвоенкомата за сквозными тополями во дворике.— Дома делать нечего. Пошатаемся по Москве, поглядим,

авось кое-что прояснится. Подзаправимся где-нибудь в забегаловке.

— Кажется, я тебе давно сказал: катись ты со своим идиотским Вольдемаром. Где ты и когда его вычитал?

— Ладно брыкаться! Любя я, Володька, любя.

Это сплошное движение, отчетливо набухавшее, соединенное колоннами грузовых и легковых машин, заполняло Зацепу и Валовую улицу, без конца накатывалось и накатывалось по Садовой, через Серпуховскую площадь в сторону Курского и Казанского вокзалов; и шестирядный поток завывающих моторами машин, нагруженных заводским оборудованием, архивами; шагающие цепочкой люди в заношенных пальтишках; запах северного холода и остывшего пепла, что мелкими хлопьями, угольной пылью оседал на утренний иней подоконников; дощатые щиты в витринах закрытых магазинов, «ежи» на перекрестках, зияющие проходы уличных баррикад, сооруженных из мешков, набитых песком; подозрительно снующие фигуры с ведрами и картонными коробками в переулках вблизи шоколадной фабрики, группки нетрезвых и небритых мужчин, толкущихся неподалеку от мясокомбината, угрожающие милицейские окрики в глубине проходных дворов, хлесткие выстрелы, полновесно отраженные между заборами эхом октябрьского воздуха; вооруженные военные патрули и проверка документов на углах; молчаливые, прижатые к стенам очереди около столовых, где по талонам выдавали скудные, пропахшие подгорелым маргарином обеды; опять рокочущее, нескончаемое движение машин по Садовой; наглухо закрытые подъезды опустелых учреждений; утробный рев, мычание коров посреди Калужской площади — хаотичное скопище голодных животных, пригнанных из подмосковных деревень, занятых немцами или уже обстреливаемых орудиями, злые крики пастухов, щелканье кнута поблизости окон и арок домов, грохот по асфальту колхозных тракторов, тянущих прицепы с косилками и веялками вслед за стадами; не вполне объяснимый внезапный пожар в керосиновой лавке на Самотеке, звон и гудки проносившихся красных машин, тревожное мелькание золотых касок, жиденькая толпа поодаль пожара и оцепление из гражданских вперемежку с милицией, осторожные разговоры в толпе о ракетчиках и диверсантах в городе («Вчера одного на чердаке с ракетницей и револьвером поймали!», «А когда ночью налет

был, дежурный смотрит — на крыше против Могэса фонарик мигает, сигналы самолетам подает, где, значит, бомбить», «Теперь они мосты взрывать начнут, диверсанты-то...»); шоссе Энтузиастов, донельзя забитое машинами, слитое месиво рокота, крика, лиц, глаз, одержимых лихорадочной торопливостью, растерянные люди с наспех собранными ночью вещичками, устремленные из Москвы к загородному шоссе, к железным дорогам на восток — в направлении Волги, Куйбышева, Горького, Казани, куда срочно эвакуировались в тот день некоторые заводы и учреждения; и вымершие западные окраины — только колонны рабочих батальонов на булыжных мостовых, гулкий звук шагов, военные команды, хруст палой подмороженной листвы, грузный стук артиллерийских колес по булыжнику, изредка дробное перекатное погромыхивание обозных повозок; последние деревянные домишки, сараи, осеннее поле, покатое к оврагу, покрыто инеем, кристаллы блестят в жесткой стерне; военные сутулые «эмки» на шоссе, правее поля, и низкое небо, неприютно набухшее студеной зимой, снегом на западе, как бы ограниченном черной полосой дальних лесов, откуда надвигалось на Москву смертельное, страшное, чужое, о чем никто не мог даже подумать еще неделю назад, надеясь на какую-то особую, вдруг вступившую в действие силу, способную задержать, разбить немецкую мощь.

И весь этот пасмурный день и все увиденное ими было бесконечным и кратким, подобно времени между отчаянием и надеждой, и все это было Москвой, взбудораженной, прифронтовой, новой для них, возбуждающей приближенной вплотную опасностью, ожиданием главных событий, до конца неясных, как бывает в истории в моменты поворота многих судеб, перед угрозой неизвестности.

Кто-то сказал им, что в районе Арбата работают продуктовые магазины, и они дважды прошли через арбатские переулки в поисках открытой булочной или гастронома. Но везде висели на дверях замки, витрины были заложены деревянными щитами, в одном месте разбитое стекло валялось грудой осколков на тротуаре под вывеской ювелирного магазина, из пролома тянуло мрачной пустотой и манило, влекло заглянуть туда, в нежилой каменный холод, где, видимо, прошлой ночью совершилось преступление. Арбатские переулки были тихи, мертвы, их продувало осенью, клочки газет, обрывки афиш несло мимо заборов, волокло по асфальту, собирало бумажным мусором вокруг фонарей, подле закрытых парад-

ных старых особнячков, украшенных выгнутыми мускулистыми торсами атлантов, так же неустанно подпиравших плечами балконы, как и сто лет назад... И тут, за углом переулка, в малозаметном подвале без вывески, они, уже потеряв уверенность найти магазин, обнаружили по запаху пережаренного мяса чудом работающую шашлычную; обрадованные, спустились в шумный, душный, задымленный табаком зал, до отказа переполненный военными и гражданскими. Здесь маленькие окошки под сводчатым потолком запотели от спертого воздуха, сюда едва просачивался серый октябрьский день, в табачном чаду лампочки светили туманно, пьяные голоса скопленно ворочались в каменных стенах подвала,— и над всем этим плыл запах подгорелого шашлыка, так головокружительно ударивший в ноздри, что оба сглотнули слюну, предвкушая, как аппетитно вопьются зубами в кусок сочного мяса.

С трудом нашли место в закутке зальчика вблизи дверей на кухню, откуда шел луковый дух и то и дело выбегали, распространяя с железных блюд луковые ароматы, два немолодых официанта с озабоченными лицами, в грязных передниках, надетых поверх ватных брюк. Илья панибратским указательным жестом остановил в проходе и подозвал официанта, быстро заказал две двойные порции, к ним по стакану красного вина («какого-нибудь портвейна или сухого»), и в предвкушении шашлыка, голодные, они закурили, разглядывая подвал и соседей за столом. Молоденький распаренный паренек, беловолосый, конопатый, как сорочье яйцо, распахнув на груди просторную, не по росту, телогрейку, доедал с нескрываемым наслаждением соус в железном блюде, макал корочку черного хлеба и при этом зажмуривался, обсасывая хлеб маслеными губами. Рядом с ним тяжело работал бульдожьими челюстями глыбообразный человек, его запухшие, угрюмые глазки были неотрывно прикованы к одной точке на столе, под локтем была крепко придавлена потертая меховая шапка.

— Обрати внимание на этого шпендрика — сказал Илья, бровью показывая на белобрысого паренька.— Видишь, как наворачивает? Чавкает наверняка лучше, чем музыку сочиняет. Мне нравится его завидная энергия.

— А что? Я тебе мешаю разве? — Чутко услышав слова Ильи, белобрысый паренек глянул снизу светлым, детским взором, стал смачно облизывать край тарелки. — А если я голодный! А если я жрать хочу! —задиристо

выговорил он, принимаясь поочередно обсасывать пальцы.— Я два дня как следовает не ел, а я тоже человек. Без талона никуда не сунешься, а я не московский, а родных здеся никого!

— Ты что — приехал в Москву? — спросил Владимир, удивляясь этому задиристому «а».

— А я из Калуги. Рванул в столицу, когда немцы подошли. Бабка осталась одна, старенькая, ветхая. Не пошла со мной: «Некуда, говорит, мне идти, окромя земли сырой». А я дал ходу, когда фашистские танки в центре города стреляли. А на шоссе меня стариканистый красноармеец в полуторку посадил, а потом я пешком сам чапал и чапал до самой Москвы. Четыре дня я тут...

— Молодец! Ты хорошо букву «а» знаешь! — одобрил Илья и со снисходительным дружелюбием протянул раскрытую пачку роскошных папирос «Пушки», по баснословной цене купленных сегодня с рук около метро.— Прошу, маэстро из Калуги! Куришь?

— Не-а,— отмахнулся паренек, махнув светлыми волосами на лбу.— Глупостью не занимаюсь. И тебе не советую.

— Ох ты! — воскликнул Илья.— Ну и дурак, если советы даешь.

— А ты сроду так! — неожиданно взъерошился паренек, и его ясные глаза, приготовленные к обороне, заморгали.— Чего ругаешься как старый козел? Я тебя не трогаю и ты меня не трогай!

— Молодец! — опять одобрил Илья.— Вроде злиться умеешь. У вас все такие калужские? Четыре дня в Москве, а культурка у тебя слабенькая, руку вон по локоть в рот засунул и чавкаешь просто музыкально. Прелесть! Как звать-то тебя?

— Сам прелесть! Ну, если Ваня, тогда что? Небось две ночи проспал бы на полке в вашем нивермаге, то враз узнал бы, что музыкально, а что бабально! Подумаешь, учитель какой! — заговорил паренек обиженно и вытер облизанные пальцы о колени под столом.— На вокзале ночевал под лавкой, так чего ж — к утру убег: холодом пробирает и документы без конца проверяют, гонют на улицу — и все! А какие у меня документы, ежели я беженец? А два раза в комендатуру забирали. То ись сам я просил, чтобы меня взяли — и к начальнику. Чтоб объяснить: в армию, мол, направьте, туда хочу. А они: какая армия, когда шестнадцать годков, двух лет не хватает, и — шасть меня в эшелон к эвакуированным, в Казах-

стан куда-то... Ну, я дёру, больно мне надо эвакуироваться еще, детей у меня навроде нет, а бабка в Калуге осталась, двигаться ей некуда. Иду вчерась по Москве, жрать хочется, и настроение хуже губернаторского, соображаю, чего-то делать надо, иначе все одно эвакуируют. А смотрю: по улице бойцы с винтовками поют. «Украина золотая, Белоруссия родная», а усатый старшина сбоку петухом чапает, а сам лицом строгий, а ножки в хромовых сапожках, тоненькие, ровно спички. Я думаю: пристроюсь сзади, может, никто не заметит, в ватниках тоже кое-кто в строю есть. Пристроился, песню стал горланить со всеми, дошел аж до самой казармы. А там во дворе проверять и выкликать по списку начали. Ну, старшина на спичках таращился, таращился в мою сторону, потом ко мне подчапал, усы растараканил: «Кто такой? Откуда? Не наш? Прошу посторонних покинуть строй!» И — от ворот поворот. Иду и думаю: неужто на вокзале опять под лавкой ночевать? А тут около театра вашего, самого большого, какие-то парнишки через дорогу зашмыгали и почему-то мне крикнули: «Айда!» — вроде за своего приняли. Я — за ними. В нивермаге вашем центральном двери открыты, никаких замков, а продавцов нет и народу никого. Мы с ребятами на какой-то этаж тихо забрались, где материалу всякого — уйма, вагон и маленькая тележка! Один парнишка, из Можайска беженец он оказался, и говорит: «Мы не воры, мы спим тута. Ты, грит, рулон с шерстью или велюром раскатай, завернись в него и дрыхуна заводи, в рулоне тепло будет!» Две ночи так проночевал, как кум королю. А вчерась всех нас — взашей!..

— Положеньице,— хриплым голосом сказал глыбообразный человек с большим лицом, не отводя сумрачных щелочек-глаз от одной точки на столе, а челюсти его продолжали по-бульдожьи двигаться с заведенной однообразностью.

Все трое посмотрели в его сторону, но тот не обратил на них никакого внимания, механически бросил в рот кусочек черного хлеба и, тупо пережевывая, выдавил тем же охриплым голосом:

— Положеньице...

— Это верно,— вздохнув, согласился белобрысый паренек.— Положение мое хуже телячьего. А что делать?

— Ночной горшок купить,— насмешливо сказал Илья.— А что еще? Эвакуироваться тебе надо с каким-нибудь детским садом. В армию? Не-ет, не возьмут, друг

мой Ваня. Два годика ждать придется. Два годика на горшочке посиди.

— Опять? Опять дразнишься? — встрепенулся Ваня и возмущенно заморгал белыми ресницами.— Ты меня за что же так не уважаешь? Морда моя не по нутру тебе?

— Ну, перестань, Илья, подначивать! С какой стати? — сказал Владимир, невольно защищая Ваню, но при его словах «морда моя не по нутру тебе» не сдержал смеха, и этот смех, заразивший Илью и следом самого паренька, произвел странное действие на глыбообразного человека с застывшим взглядом.

Он прекратил наконец работу сильных челюстей, осмысленно поглядел вокруг, и его большое, с красными жилками лицо перекосилось.

— Чего ржете, жеребцы? Чему такому радуетесь? — выговорил он злобно.— В башках свистит? Подумали бы своими балбешками! — Человек постучал прокуренным заскорузлым пальцем себя по лбу.— Подумали бы: что с вами-то будет, если немец Москву возьмет? Чего хохотаете без толку, когда плакать надо! О матерях бы своих подумали!..

Нет, они не думали ни о матерях, ни о чрезвычайном положении на фронте, ни о крайних обстоятельствах в Москве, не верили в то, что угроза велика и смертельна, не представляли, что немцы могут войти в город, стать хозяевами всех этих знакомых с детства улиц, трамвайных перекрестков, Садовой, Красной площади, Арбата, улицы Горького, Нескучного сада, замоскворецких переулков, знаменитых летом цветущими липами, прохладными задними двориками с сараями и голубятнями... Они не только не могли представить все это в подчинении враждебной чужой силе, но, еще не испытавшие до конца гибельного страха, защищенные неутраченной верой юности, не терпели сомнения в других, презирая и отвергая слабость как трусливое малодушие.

— А вы неужели думаете, что немцы Москву возьмут? — спросил Владимир и переглянулся с Ильей, который не спеша курил, выражая всей своей позой ленивое хладнокровие.

— Много паникеров развелось,— проговорил Илья, ни к кому не обращаясь.— И все ноют и ноют. Несмотря на приказ коменданта Москвы генерала Синилова — нытиков, шептунов и дезертиров расстреливать на месте.

— Значит, так — издеваетесь, сопляки, герои лопоухие?

Глыбообразный человек, лилово багровея, засопел, сомкнутые бульдожьи челюсти перекатывали жесткие бугры желваков — нечто угрожающее, темное проступало во всем его громоздком облике, и оробевший Ваня вскрикнул тенорком, предупреждая неблагоразумное столкновение:

— Чего вы, дяденька хороший, закраснелись, ровно рак вареный? Вас никто не трогает, и вы сидите, ежели одни слова говорят! Интерес есть — с нами побеседуйте, умное дело скажите, а мы послушаем человека взрослого!

— Ух вы, зелень садовая, ух вы, ухари ученые, спасу от вас нету! — заухал, задвигался на стуле глыбообразный человек, охлажденный, однако, уважительным вступлением Вани, и заговорил трубным голосом: — Да вы что — от сиськи, грудные? В Москве разные шкуры сломя головы на вокзалы табунами бегут, а вы не кумекаете? Во где паникеры! Во кого расстреливать надо! В шесть рядов на Садовой пробку из машин устроили, все в Горький, в Куйбышев рванули!

— Эвакуация! — вставил Илья с наигранной бесстрастностью.— Что поделаешь...

— Ох ты, умница чертова! Кому эвакуация, а кому и навар жирный под большой шумок! Наш-то бухгалтер с кассиром за зарплатой в банк поехали, да только их собачий дух и видел, и нетути обоих с мешком денег, вот тебе и... Завод второй день без материалу стоит, зарплата панихиду господу богу заказала, дураков уму поучила, а бухгалтер наш, Семен Борисыч, небось уже в Горьком чаи с водочкой на казенные рабочие денежки распивает. И нету ему дела, дает завод противотанковые гранаты или не дает. Во тебе — что делает твоя эвакуация! Понять — хрена с два поймешь!..

Глыбообразный споткнулся на слове, выкатив кровяные глаза на дверь кухни, распахнувшуюся с треском, откуда из-за толстой засаленной портьеры выскочил пожилой испуганный официант в грязном переднике, задохнувшимся криком напрягая жилы на шее:

— Граждане! Воздушная тревога! Граждане! Воздушная тревога!

— Чего, чего? Зачем так кричишь несуразно? — послышались вокруг голоса.— По радио передавали? Или причудилось?

Шум говора начал постепенно стихать в подвальчике, головы поворачивались к пожилому официанту, затем

произошло быстрое движение у входной двери, несколько человек один за другим выскользнуло наружу, суматошно затопали вверх по каменным ступеням бегущие ноги, промелькнули по тротуару мимо окон, и кто-то за соседним столом с опаской сказал:

— Вот дурье! Куда от смерти бежать-то?

— В метро «Арбатская» кинулись ребятки.

— Как они часто налетать стали. Впрочем — от Можайска «юнкерсам» несколько минут лёту! С Можайского аэродрома и летают!

— А здесь не хуже твоего метро! Глянь, потолок бетонный, как в бомбоубежище! Нич-чего! Вы-ыдержит!

— Какую? Пятикилограммовую или тонную? Остряк, спина в ракушках

— А на кой, скажи, убегать? Можно и компанией культурно пересидеть. Хуже смерти ничего не будет!

— Эх, бегать по тревогам остохренело!

— Что ж делать будем? Сидеть?

— Ты чего стоишь, как стеклянный? — озверело закричали из угла подвала на официанта, который с худым, обросшим щетиной лицом растерянно озирался на столы.— А ну, неси свой шашлык, жареную подметку, пока всех нас не разбомбило! Давай бегом!

И официант попятился к кухонной двери, для чего-то вытирая пляшущие руки о несвежий передник, спиной запутался в портьере, стал снующими локтями отбиваться от нее, прорываясь на кухню под нервный и подстегивающий хохоток за столами. Илья снисходительно сказал:

— Трусишка зайка серенький... — И крикнул вслед официанту с негодованием: — Послушайте, товарищ, мы подыхаем с голоду! Сколько можно ждать?

— На каких таких основаниях разоряешься? Зачем голос подымаешь, вроде как взрослый? — в сердцах одернул его глыбообразный.— Это он трусишка? Да у него, может, детей мал-мала меньше? Все герои, когда на морде пол-уса выросло. Легко грудь выставлять, когда за спиной пустенько — ни жены, ни детей! Ну, мальцы, мальцы! Нюхали вы, что такое семью прокормить? Геройство у вас в башках? Война вам игрушки! Вот как игрушечки делать противотанковые по тринадцать часов! — Он показал Илье большую, покрытую буграми коричневых мозолей правую ладонь, договорил: — Вот этой бы кувалдой бухгалтеру всю шею пообломал! Так что,

герои, здесь подвиги совершать будете? Или в метро, по-умному?

— Умираем с голоду,— сказал Владимир, преодолевая молчание Ильи.

— А что? Я поел, пузо трещит,— деловито заявил белобрысый Ваня.— Мне ваша кумпания не очень подходит. В метре хоть погреюсь. А в подвале закоченеешь, не топят...

— Айда, сопляк!

Глыбообразный сорвал со стола примятую меховую шапку, а когда двинулся к выходу, оказался не очень великого роста, но неимоверно широким в плечах и шее, растоптанные кирзовые сапоги остервенело забухали по цементному полу рядом с цапельными шажками худенького Вани. Дверь захлопнулась за ними, после чего кирзовые сапоги твердо прошагали мимо окон, позади порхнули тонкие парнишкины ноги, и тотчас (Владимир еще не успел оторвать взгляд от окна) пожилой официант с необузданной дикостью выскочил из рванувшейся вбок портьеры и, опахивая духом пережаренного лука, подгорелого мяса, со звоном раскидал металлические тарелки на их столике, поставил два стакана красного вина. Илья засмеялся от восторга, воскликнул: «О! Рубанем!» — и предвкушенно понюхал воздух, изображая пришедшее наконец блаженство, подхватил оловянной раскоряченной вилкой кусок облепленного луком мяса, впился в него зубами.

«Значит, воздушная тревога?» — подумал Владимир, злясь на себя за то, что, очевидно, больше, чем Илья, был встревожен застылой тишиной на улице и понемногу затихшим галдежом в подвале, но при появлении тарелок на столе он (с видом лихого завсегдатая) взял скользкий холодный стакан и, хотя всякое вино было тогда ему противно, отхлебнул храбро глоток красной жидкости, имеющий мерзкий вкус морозного железа, сказал: «Здóрово!» — и принялся за шашлык, захрустевший на зубах пахучей подгорелой корочкой.

В следующую минуту стаканы на столе подпрыгнули, расплескивая вино, задребезжали тарелки: под окнами и, казалось, метрах в двух за дверью бешено зачастили, зазвенели, оглушающе захлопали удары зенитных орудий, металлически отрывисто, торопливо забили пулеметные установки. Потом обвальным громовым раскатом толкнуло, закачало землю, электрический свет в подвале сник и погас. С отпотелого потолка дождевой дробью

посыпались крупные капли, зашлепала по столам штукатурка, кто-то сдавленно сказал: «На Кремль... сейчас еще бросят...» — и все замерли. А над головами маятниками качались на шнурах погасшие лампы, и лица, ставшие известковыми, недвижно застыли, поднятые к потолку в ожидании внезапного разверженпя его бетонной плоти, пробитой упавшим с неба железным и смертельным бревном многотонной бомбы.

Владимир почувствовал мерзкое потягивание в животе, уже испытанное во время бомбежки на переправе под Можайском, но это было еще и алчное любопытство к самому себе, к выражению чужих глаз, к смертному ожиданию в многолюдности подвала («Нет, нет, ничего опасного не произойдет сейчас, не должно произойти»), и, угнетаемый неприязнью к кислому запаху нечистой одежды скученных людей, к жирному поту на их лицах, он взглянул на Илью и прокричал ему, отчаянно веселея от собственной решимости:

— Пойдем на улицу! Посмотрим!

Илья, вытаскивая вилкой из стакана с вином кусочек штукатурки, ответил готовым к действию взглядом, незамедлительно отсчитал трешками деньги, поискал глазами пожилого официанта, однако не нашел его, сунул деньги под край дребезжащей тарелки с недоеденным шашлыком и, поднимаясь, сказал притворным голосом балаганного шутовства:

— Граждане уважаемые, по теории вероятностей, бомба сюда не попадет! Доедайте свои шашлыки спокойно!

Несколько испуганных окликов рванулось им вслед от крайних столов: «Эй, пацаны! Назад!» А когда открыли тяжелую подвальную дверь и перешагнули порог, оглушенные грохотом зенитного огня, беглой стрельбой близких орудий, захлебывающимся стуком крупнокалиберных пулеметов, тугими хлопками воздушных разрывов, они сразу же натолкнулись здесь, за порогом, на человека в пальто, с красной повязкой дежурного, который выглядывал из-под железного навеса, задирая голову, прижмуриваясь, как при ослепительном свете.

— Эй!.. Нельзя! Куда-а? — закричал человек, оскаливая зубы, и оттолкнул их к дверям.— А ну, здесь стойте! Туда нельзя, нельзя! Не видите — центр бомбит! Пропустили его, заразу!

Отсюда, из-под навеса, они видели часть улицы, голые тополя за каменной оградой, видели часть неба над кры-

шами, повсюду изрытого черными и снежно-белыми пробоинами в тучах, частым звездообразным сверканием, и везде как будто сыпалась в высотах ледяная изморозь, лопаясь дымами, разбрызгиваясь рваным огнем, и все, что отсюда было видно вверху, было прошито в разных направлениях трассами зенитных пулеметов, которые сходились, рассыпались веером, сталкивались, скрещивались, шагали к небу, щупая где-то посреди распадающихся звезд и комет невидимую цель. Бесконечные пунктиры трасс стремительно уносились с земли, пронзали первые этажи туч и дальше уплывали такими медленными рубиновыми огоньками в небесных высотах, что невозможно было оторваться от запредельных подвижных огненных конусов, от этой зловещей и неестественной иллюминации над городом. И, заглушенный треском, звоном, грохотом неистового фейерверка, чужой булькающий звук едва пробивался оттуда, нес в поднебесье тугую железную тяжесть, выделяясь угрожающим присутствием среди этого обезумелого оглушительного ликования звездного дождя, вспышек, уплывающего за пределы пунктирного света. И хотя слева распространялось меж дальних крыш бледно-лиловое зарево, хотя там горело небо и снизу все сильнее набухало сочной багровостью, Владимир не испытывал выворачивающего душу страха, точно бы веря в свое бессмертие и бессмертие людей, и чувствовал, что вся эта зловещая красота, разыгравшаяся скачками, параболами, пульсированием светового хаоса, странно завораживала его.

Было удивительно и то, что позднее, на фронте, сполна познав утраты, случайность и липкий страх, он порой ночным затишьем, поверяя часовых, вставал лицом к зареву, заливавшему горизонт, подолгу смотрел на него, как смотрят на закат, и в том зареве был мир, тихие сумерки, запах акации...

Тогда, в Москве, Владимир не знал и не задумывался, откуда шла эта невидимая власть над ним — из глубин инстинктов или из бездны биологической защиты, не позволяющей до срока осмыслить возможность собственной беды и собственной гибели в беде и смерти другого, но его переполняло ощущение победного и вместе с тем веселого буйства зенитного огня, и он возбужденно сказал Илье:

— Смотри, вот красотища-то!

— Ага,— неопределенно сказал Илья, глядя вверх на железный навес, по которому дробно стучало, скребло и

корябало.— Осенний карнавал в парке культуры и отдыха. Только смотри, какие красивые штуки с неба сыпятся! — И он подхватил со ступеньки длинный осколок зенитного снаряда, зазубренный кусочек серого металла, упавший сюда с покатого навеса.— А знаешь, Володька, угодит такая штука с верхотуры на голову — укокошить может дуриком.

Владимир потрогал и пощупал осколочек, еще не потерявший тепло, заостренными краями колющий пальцы, осмотрел его с интересом человека, нашедшего крупицу космического тела, сказал не без сожаления:

— Зениток много, но почему не собьют ни одного?

— А тебе, парень приятной наружности, никак невдомек, что значит сбить «юнкерс»...

Дежурный, не досказав фразу, вскинул глаза к небу, точно молитвенно вслушиваясь взглядом в неутихающее над головой безумие, а там, откуда-то из невидимых воздушных туннелей, из закоулков высот сорвался и на всей скорости отвесно помчался к земле трамвай, стал падать все вниз и вниз по сумасшедше визжащим рельсам, так пронзительно впиваясь в воздух этим визгом, скрежетом, воющим звуком гигантского металлического тела, что острая жаркая боль всверлилась в уши...

Отвесные рельсы оборвались над крышами — трамвай, уже кувыркаясь, несся к земле без скрежета колес по рельсам, железный визг достиг предельного неистовства. Потом огромное, тяжкое глухо ударило в землю, затрясло ощутимым колебанием цементный пол под навесом подвала, и ураганный грохот позади домов землетрясением качнул улицу. Разрыв ослепил огненным смерчем, поблизости зазвенели, разбиваясь, стекла. Ветер поднял в воздух жестяные листья, клочки афиш, обрывки газет с мостовой,— дохнуло железистым нутряным теплом, как будто земля разверзлась вокруг Арбата.

И Владимир, отброшенный ныряющим сотрясением пола к ступеням, увидел пустынный ужас в обмершем взгляде дежурного, бледное, злое лицо Ильи, обращенное на стену соседнего дома, что наискось расползалась, разрезалась зигзагом трещины, обнажившей за штукатуркой фасада красную утробу кирпича, откуда струйками посыпалась пыль.

— Ну-у, лупанул! — сказал громко Илья и глянул на Владимира несмеющимися глазами.— Сюда б угодила — пыль от нас осталась бы...

— Не угодил,— насильно выговорил Владимир, намереваясь ответить Илье невозмутимым тоном, но вмиг исчезло возбуждение, вызванное нашим зенитным огнем, не помешавшим немецкому самолету сбросить на центр города что-то гигантски чудовищное, прокатившееся землетрясением по всем окрестным улицам.

— Собьют гада или нет? — сказал Илья и выругался.— Куда они стреляют, дундуки?

— Тонную... кинул. В Кремль метил, а левее попал... в жилой...— шепотом сообщил дежурный, и подбородок его прыгал, и во взгляде не вытаивало окостенение ужаса, и зарево за крышами расширялось, разрасталось, огрузшие тучи багрово кипели, зажженные снизу огнем большого пожара.

— Неужели не собьют? — сказал мстительно Владимир.— Да что же?..

А небо по-прежнему гремело, грозно сверкало осколками, пронзалось трассами, прошивалось пулями, все изорванное гремящим металлом, сквозь который невозможно было прорваться. Но еле угадываемый булькающий гул бомбардировщика освобожденно удалялся, тихонько отползал в этом небесном раскаленном железном мешке. И явственное представление небесного мешка, забитого от земли до зенита пулеметными очередями, осколками снарядов, в горячей гуще которых отдалялось бульканье неуязвимого самолета, потом долго преследовало Владимира.

...В сумерки они зашли к Маше Сергеевой.

Еще из передней было видно, что в комнате царил полнейший беспорядок, как если бы здесь целый день собирались и никак не могли собраться в дорогу. Может быть, поэтому Илья счел нужным сказать на пороге, что вот «вперлись без приглашения», однако, засмеявшись, Маша свела ладони лодочкой перед подбородком, будто бога благодарила за счастливую неожиданную встречу, и воскликнула: «Ой, мальчики, как я рада вам, вы просто не представляете!» — и поочередно чмокнула их в щеки пахнущими чем-то сладким губами, ввела в неприбранную комнату, говоря обрадованно:

— Слушайте, как получилось здорово! Познакомьтесь, пожалуйста, это — Илья и Владимир, мои друзья, прошу их любить, дядя Эдуард, и ты, Всеволод! Мама, посмотри, кто к нам пришел, они ведь были на окопах!

— Очень рад! Весьма! Во всех отношениях! Сверх меры приятно во всех смыслах! — иронически отозвался

сухощавый капитан средних лет в новой суконной гимнастерке, по-домашнему без ремня, и вновь наклонил голову с зачесанными на плешинку волосами к раскрытому на стуле чемодану, занятый укладкой вещей и продуктов, разбросанных повсюду в комнате.— Так ты должна сейчас подумать, Тамара, потому что завтра будет поздно,— заговорил он убедительно, вероятно, продолжая прерванный разговор и не обращая никакого внимания на Илью и Владимира.— Да, подумать и решить, дорогая моя! Ты пребываешь в состоянии какой-то сомнамбулической неопределенности!..

Мать Маши, Тамара Аркадьевна, актриса, лежала на диване, накрытая поверх пледа белой меховой шубкой, и, подперев подбородок, читала толстый том Куприна, ее горло было обмотано пуховым оренбургским платком, как при ангине (на тумбочке в изголовье виднелись порошки, пузырек с аптечной этикеткой), ее точеное лицо со светлыми русалочьими глазами, в которые при встречах на улице Владимиру боязно было смотреть, поблекло, похудело, синеватые тени под медлительными ресницами выделялись болезненно-темно. Тамара Аркадьевна улыбнулась им обоим приветливо, посмотрела пытливо на Машу, и опять грустная задумчивость пала на ее глаза, устремленные в книгу. Здесь же, у изножья дивана, сидел, ссутулясь, незнакомый тощий подросток, приметный острыми коленями, унылостью моргающих век, и Владимир подумал: «А это что за прыщ такой — Всеволод?»

— Да, золотая моя, сестричка моя, красавица ненаглядная, послезавтра будет поздно! — продолжал сухощавый капитан, которого Маша назвала «Эдуард Аркадьевич», и принялся укладывать в чемодан на запасы нижнего белья банки кофе, плитки шоколада, какао со сгущенным молоком, целое довоенное богатство, блистающее пленительными ярлыками.— То, что я завтра улетаю в Югославию,— это не бегство, Тамарочка, и не эвакуация. Это счастливое стечение обстоятельств, и я рад тому, что буду снимать действия партизан до энного момента. До энного, понимаешь, сестрица моя?

— Что значит «до энного»? — спросила Тамара Аркадьевна, не отрываясь от книги, и морщинка пролегла меж атласных ее бровей.— Ты действительно считаешь?..

— Я считаю, золотце мое, что сейчас... вот в эти дни каждый решает свою судьбу... В сущности — мы перед трагической дилеммой...

И Маша сказала:

— Не будем слушать эти жуткие споры. Еще вчера в доме началось светопреставление, как будто немцы уже в Москву вошли, а я не верю, не верю, не верю, и даже смешно слушать эти тр-рагические разговоры. Давайте лучше дядин шоколад лопать и, пожалуйста, рассказывайте, как вы и что?..

Она на ходу подхватила со стола початую плитку шоколада, обернутую роскошным тоненьким серебром, провела их к книжной этажерке, к мягкой, покрытой бархатным покрывалом тахте — в свой уголок этой большой, с лепным потолком комнаты, усадила обоих в кресла, сама села напротив на тахту и, весело хмурясь, стала, хрустя серебром, разламывать плитку шоколада на равные доли.

— Дядька у меня — добрый малый, его посылают с кинохроникой в Югославию, а главное, ему дали царский сухой паек,— сказала она шепотом, показывая смеющимися серыми глазами на Эдуарда Аркадьевича, проворно уминавшего вещи в чемодане.— Вот, держите и вовсю ешьте. Имейте в виду — «Золотой ярлык». Помните, каким чудесным веером эти плитки лежали на витринах кондитерских на Серпуховке? А сейчас — фьюить! Черта с два!.. Так когда же вы вернулись? Вчера? Сегодня? Когда? Говорите же!..

— Прошлой ночью,— ответил Илья.— И, как видишь, в полном здравии. И решили нанести тебе визит.

— Милые, как это хорошо — на вас смотреть! И лица у вас стали какие-то грубые, коричневые! Как у красноармейцев!..

Она присвистнула, сунула им в руки по куску разломанной плитки, и Владимир почувствовал теплый запах шоколада, смешанный с вкусным меховым запахом Машиной безрукавки, когда она наклонялась к ним, обдавая заговорщицки-озорным светом улыбки, вспомнил довоенный декабрьский вечер, вьюжный мороз на улице, натопленную голландку, зимнюю тишину этой комнаты, где они лежали в головокружительном дурмане на веявшем и пылью и духами ковре (ковер и теперь застилал комнату), с замиранием вспомнил ощущение ее упругих и нежных губ — и шершавые иголочки озноба затрясли его изнутри. Он ничего не мог забыть из того счастливого вечера, что случилось два года назад, а она будто ничего не помнила, и во взгляде, в голосе, в улыбке не было и малейшего отсвета той, для нее, наверное, еще по-детски

непостижимой близости между ними, после которой она ни разу не приглашала его к себе.

— Я не люблю шоколад,— сказал Владимир и, пересиливая беспричинное сопротивление всему тому, что делала или могла сделать сейчас Маша, подумал: вот отчего были сладкими губы у нее, когда она чмокнула их обоих в щеки, и договорил нарочито грубовато: — Не понимаю, как можно есть эту приторную гадость.

— А я люблю, давай сюда,— проговорил с шутливым превосходством Илья, так же шутливо отобрал у Владимира его долю, сложил куски шоколада вместе и откусил так звучно и аппетитно, что Маша засмеялась и сказала протяжно:

— Ой, ну пожалей общество, не шокируй девиц! Перестань дурачиться! (Илья мгновенно принял вид жеманной девицы, стал жевать с осторожностью, брезгливо, капризно поджимая губы.) Ну, перестань, перестань же, а то мне не смеяться, а плакать хочется! — Она оглянулась на Эдуарда Аркадьевича, на мать, и глаза ее заблестели умоляюще.— Рассказывайте, пожалуйста, что вы там видели? Немца хоть живого видели? Говорят, они уже... Нет, подожди, Ильюша, дай-ка расческу, у тебя есть? Как вы ужасно обросли на окопах! Как папуасы! Смотреть страшно! Немедленно дай расческу!

Илья, покоряясь начатой игре, небрежно пошарил по карманам, подал расческу, предварительно галантно подув на нее и продолжая выражать покорность, а Маша спрыгнула с тахты, подошла вплотную к нему, сидевшему в кресле, и начала медленно зачесывать назад его черные волосы. Весь притворно послушный, неподвижно улыбаясь, Илья смотрел на золотую (у самого лица) пуговицу ее командирской безрукавки, распространявшей вкусный запах нового меха, и в этой необычной свободе Маши, в том, как она стояла, почти касаясь коленями Ильи, и он мог поцеловать под незастегнутой безрукавкой ее свитер, пахнущий ею, была какая-то пьянящая мука, обманчивая порочность, как в блаженном сне, увиденном раз Владимиром предновогодним декабрьским вечером. Илья, по-видимому, не знал этого чувства и был спокойно дурашлив с Машей, не прилагая, как всегда, никаких усилий завоевать ее благосклонность — его не интересовали с некоторых пор «невинные сю-сю, ку-ку на скамеечке школьного парка»,— и, понятно, он не мог знать о том зимнем вечере в этой тихой комнате, когда она, Маша, пыталась играть воображаемую ею ветреную женщину, а он,

Владимир, обмирая от нежности, в горячем обморочном тумане целовал бархатный холодок ее маленькой груди.

— Так все же лучше. Теперь начинаю узнавать тебя,— услышал он голос Маши и увидел, как лучистый свет ее глаз на секунду соединился со снисходительной усмешкой во взгляде Ильи, и она повернулась к Владимиру, тронула пальцем его волосы.— И тебя? Почему ты так на меня смотришь?

— Я? Никак не смотрю.— Он отклонил голову и, чтобы оправдать невольную резкость слов, сказал сердито: — Не люблю, когда меня причесывают, как какую-то кошку.

— Если я похож на кошку, то твоя наблюдательность потрясает.— Илья развалился в кресле, без стеснения оглядывая комнату, он умел быстро осваиваться и обладал завидным качеством преодолевать препятствия и неудобства в любой обстановке.— Маша, мы шатались по Москве с самого утра, зашли, чтобы удостовериться, не уехала ли ты. Весь двор пуст, все смылись в эвакуацию. Ты не уезжаешь?

— Я не знаю. Ничего не знаю. Если мы поедем, то только с мамой, когда она выздоровеет,— проговорила Маша и села на тахту, кутаясь в широкую ей безрукавку.— Не будем об этом. Не хочу, не хочу. Лучше скажите, мальчики, что же такое под Москвой? Неужели вправду все так страшно?

В ожидании ответа она потерлась подбородком о мех телогрейки. Владимир подумал, что у нее замерзли губы, вообразил их прохладную вишневую упругость, с внутренним ознобом ощутил звук ее голоса, близость ее лица, ее коленей, чуть толстоватых сейчас, обтянутых плотными шерстяными чулками, и его пронзительно обдул ветерок радости, перехватывающий дыхание каждый раз, когда он видел ее... Но этот ветерок, похожий на ожидание праздника, и одновременно предчувствие беды были настолько властными, что сразу изменяли в нем что-то, делали его против воли резким, грубым.

Илья полусерьезно стал рассказывать о рытье окопов под Можайском, о том, как однажды ночью, вооружившись лопатами, ловили в поле, но так и не поймали сброшенных с самолета немецких диверсантов, о том, что неделю назад все были подняты по тревоге, уже обойденные справа и слева танками, и по лесам вместе с остатками какого-то разбитого стрелкового полка выходили из окружения к Москве...

— О, Гераклы, Александры Македонские! О, грандиозные герои нашего времени! — выговорил, массажируя вспотевший лоб, Эдуард Аркадьевич и от неуложенного чемодана круто развернулся к столу, налил рюмку коньяка, замученно закатил выпуклые глаза к потолку, выпил, сказал еще раз «грандиозные Гераклы» и опять принялся страдальчески массажировать лоб, утомленно закатывать глаза, ходить по комнате от стола к дивану, где, накрытая пледом и шубкой, задумчиво-грустно читала Тамара Аркадьевна.— Ваш грандиозный рассказ, молодой человек, потрясает до глубины души! — заговорил он, несколько манерно картавя с пасмурной едкостью.— Какая изумительная пора детства и юности! Впереди, конечно, две счастливые жизни, а молодость и здоровье бесконечны! Все друзья красивы, благородны и бессмертны, а враги косолапы, косорылы и бессильны! Как я хотел бы, как мечтал бы хоть день, хоть час, хоть несколько минут пожить в этом милом, совершенно грандиозном состоянии детства! В этом рае голубых и лазурных снов! О, счастливая пора, когда всё на свете — ла-адушки, ладушки, где были — у бабушки! Ты слышишь, Тамарочка, милая? Поистине не хочу пребывания в зрелом, разумном, приктичном благолепии, но хочу детства, господи, прости за мечты тщетные! О, милая пора, очей очарованье! Кажется, так у Пушкина, мои ребятушки-ладушки?

— Вы ошибаетесь,— мрачно сказал Владимир и покраснел.— У Пушкина не так. «Осенняя пора, очей очарованье».— И... какие мы еще вам «ребятушки-ладушки»?

— Особенно вы здорово насчет голубых и лазурных снов,— вставил Илья в поддержку Владимира.— И насчет ладушек и Пушкина.

— Дядя! — крикнула возмущенная Маша.— Почему вы слушаете наш разговор? Даже как-то странно, стыдно. На вас совсем непохоже и... просто... просто зачем вы так?

Эдуард Аркадьевич воздел руки к лепному потолку, потрясая ими, как бы сдаваясь в плен без сопротивления:

— Извини, извини, богоподобная царевна киргиз-кайсацкия орды! Я услышал случайно, я грандиозный осел, да будет тебе известно, ибо уши мои шибко грамотные, родная моя! — Он шустро направился к столу, взял бутылку коньяка, но, прежде чем налить себе, иронически-выжидательно уставил выпуклые свои глаза в сторону Ильи и Владимира.— Не желаете ли, юные люди, чокнуться оч-чень недурным армянским? У меня, простите,

вторые сутки разламывается голова, а коньяк иногда помогает. Хотите? Ан нет, понимаю, рано, рано, придет время, познаете все, испьете горечь познания, печаль великую и будете в большой тоске думать о бытии своем! О, чудо, запах солнца!...— простонал он, маленькими, дегустирующими глотками выцедив рюмочку, и сладостно закусил долькой шоколада, все расхаживая в неподпоясанной гимнастерке по комнате.— Да, кстати, о прошлом и настоящем,— заговорил он, быстрой ощупью гибких пальцев как бы проверяя, ушла ли головная боль наконец.— Да, где же прошлое, милое, довоенное ясное утро? Прошлое — метафора. Настоящее темно, хмуро, трагично в своей непостижимости. Будущее — за семью печатями. О, ч-черт, как трещит башка! Ни пирамидон, ни коньяк не помогают, хотя был сдержан и не пил вчера, как пожарник! Не пил, не пил! Нервное это, абсолютно нервное! Дамское! И — фрейдистское! Не могу, не в силах забыть, Тамара, утреннего разговора с одним своим другом. По дороге со студии я зашел к нему. Представь картину: недавно изысканно одетый, приятный, чистый, а тут небритый, грязный, в валенках, сидит в кресле возле печки и сжигает какие-то бумаги и фотографии. А глаза — воспаленные, безумные. И бормочет только одно слово: «Ложь, ложь!..» Грандиозная нелепица, сцена из Достоевского. Бесы! А его сын — студент авиационного института, хромой с детства после полиомиелита, умненький такой, красивый мальчик, тоже возле голландки рвет бумаги, и вид у обоих, знаешь ли, не то что страшненький, а дикобразный. «Ну, что, Женечка,— спрашиваю,— едешь в Алма-Ату или, миленький, остаешься?» А он и засмеялся как-то по-сумасшедшему, по-бедламски, знаешь ли. «Я сегодня ночью,— говорит,— дежурил в свою очередь и хорошо, очень хорошо видел, как заминировали мост через Москву-реку. Грузовик стоял у ворот, был наполнен ящиками со взрывчаткой, значит — заминировали абсолютно все мосты. И не только мосты. На Лубянке и в центре жгут архивы. Значит, война проиграна, Москва обречена. Что касается меня, то извини,— говорит,— я абсолютно ничему не верю! Нельзя объединить человеческое стадо, каждый рвет кусок себе, своя рубашка ближе к телу. Выкинули беднякам лозунг: «Бей богатых, экспроприируй, отбирай!» Отобрали, экспроприировали, разделили,— лучше стало?» И заявляет мне: «Мы решили с сыном: останемся. Я беспартийный, а Миша комсомолец, ну что ж, другие времена, другие песни!

Миша зароет комсомольский билет, будет спокойно работать». И, знаешь ли, хромой и убогий Мишенька ему кивает: «Да, зарою и буду спокойно работать. Я — калека и никому не нужен...» Грандиозное безумие, апокалипсический кошмар! Не могу, Тамара, из головы выбить этот разговор с Женей, не в силах представить, как он решился! С ума сойти! Хотя...— Эдуард Аркадьевич помассажировал виски, растрепав волосы, начесанные с боков на лысину, и замолчал, выпукло глядя затосковавшими пепельными глазами в пространство над головой сестры, которая оторвалась от книги и смотрела на него беззащитным взором, умоляя не ворошить запретное, что не надо слышать и знать посторонним людям.— Хотя,— продолжал Эдуард Аркадьевич, погружаясь в состояние рассеянной отрешенности,— хотя обстоятельства в высшей степени трагические! — сказал он и повернулся к ней спиной.— Непонятно, немыслимо, уму непостижимо! Шестнадцатого октября сообщили, что немцы прорвали фронт, и началась паника. Немцы рядом — подумать только! Калуга взята, они на подмосковных дачах... В электричках немецкие солдаты сидят и переобуваются — грандиозные картинки! Невозможно ведь, невозмож-но! В Москве так называемая последняя эвакуация, вывозят заводы, народец бежит с узлами на Горьковское шоссе. Грабежи начались, господи упаси, хотя на всех углах развешаны приказы генерала Синилова. Прямо во дворах расстреливают провокаторов и грабителей, а немцы-то наступают. Они завтра могут быть в Москве, завтра!.. Никто ничего не гарантирует! Завтра?.. Или послезавтра?.. Грандиозный кошмар! Что получилось? Как это получилось? Кто даст ответ?! — вскричал срывающимся голосом Эдуард Аркадьевич и внушительно воздел руки к потолку.— Будь готов к труду и обороне. Дальше всех, выше всех, быстрее всех. Сколько было сказано грандиозных слов! Что же получилось? Немцы на канале, на Истринском водохранилище, под Химками. Ты можешь мне ответить, милая Тамара? Можешь объяснить — каким образом? Или вы, юные комсомольцы, можете ответить что-нибудь? Как? Каким образом?

— По-моему, тебе не нужно больше задавать вопросов,— сказала Тамара Аркадьевна низким простуженным голосом, обеспокоенно оправляя на шее пуховый платок.— Но только, пожалуйста, не вмешивай сюда детей. Они не виноваты.

— Ты пойми, пойми! — Он прижал щепотку ко лбу и

выкинул, разжал пальцы в воздухе.— Ни тебе, ни Маше нельзя медлить, нельзя оставаться здесь, эт-то безумие, которому нет оправдания! Твоя ангина и твоя судьба — не смешно ли? Пересиль себя, сестра чу́дная! Оставаться в голоде, в холоде, в неизвестности хотя бы на неделю двум женщинам без серьезных средств... двум почти в пустом доме — это не только риск, но самоубийство, по меньшей мере! Представь худшее — вы не успели уехать, в Москве катастрофа. На какие средства вы будете жить — продадите серьги, кольца, барахло-тряпки? На сколько хватит? А потом? На панель Арбата? Ну, прости, прости! Я раздражен, разумеется, но суть-то так или иначе в одном. Болеть в Москве ангиной сейчас — недопустимая роскошь! Надо ехать в Ташкент, золотце мое, догонять свой театр, ехать немедленно, завтра, завтра! Уезжать!

— Я не понимаю, дядя,— тихонько сказала Маша, зябко кутаясь в меховую безрукавку.— Вы опять говорите так, будто уже завтра... завтра в Москву войдут немцы. Неужели вы так думаете? Они что — войдут?

— Маша, родненькая, драгоценная моя племянница! — воскликнул в изумлении Эдуард Аркадьевич.— Этого не знает и сам господь! И никто не скажет, не сообщит заранее, к большому сожалению, если даже Москву окружат немецкие танки, перережут дороги! Но по всем признакам — положение сверх серьезное, какого на нашей памяти еще не было! Да, Машенька, юное мое, очаровательное существо, твой возраст — несокрушимый оптимист, но в такие дни быть беспечным — смертоподобное легкомыслие!.. Ты понимаешь, Машенька, что значит женщинам оставаться в городе, в котором, возможно, начнутся уличные бои? Пойдете на баррикады, подобно Жанне д'Арк? Актриса и девочка — смелые воины!..

От слов Эдуарда Аркадьевича, от энергичности его пальцев, которыми он то растирал высокий лоб, то нервно и продолжительно хрустел, сводя руки за спиной, от его голоса, чудилось, рассыпающего вокруг себя ядовитые иглы, исходила колючесть тревоги — и неприязнь к нему загоралась у Владимира запальчивым огоньком. Илья, щурясь на Эдуарда Аркадьевича, слушал его чутко, не пропуская ни одного слова, и рот был сжат терпеливо, будто его вызывали на драку, которую надо принимать с неохотой. И Владимир не выдержал:

— Вы просто трусите!..

(О, спустя много лет он не сказал бы этого, но тогда,

в пору октября сорок первого года, была та искренняя чистота, наивная вера юности в справедливость и честность человеческого мира, которая потом четыре года зажигала костры самосожжений.)

— Благодарю вас, юноша, благодарю! Я трус? Чудесно и великолепно! — кротко посмеявшись, поклонился Эдуард Аркадьевич, открывая искусный начес на ранней лысине, и продолжал миролюбиво: — В вашем возрасте, мой друг, всех людей моего нынешнего возраста я считал ничего не понимающими в жизни старыми ишаками. Это слово было модно тогда. Так что я вполне вам сочувствую и вполне разделяю ваше благородное негодование! — Он опять сделал поклон в сторону Владимира, излучая ироническую признательность, после чего приостановился у изголовья Тамары Аркадьевны, заговорил страстным, убеждающим тоном: — Но каким бы трусом я ни представал перед юными героями, я настаиваю, сестрица, на твоем отъезде с Машей утренним поездом! И умоляю вас собраться сегодня. А! Дай-ка, дай-ка, пожалуйста, я сам посмотрю! Ты без конца меришь температуру! — Он стремительно выхватил у нее градусник, дважды взглянул недоверчиво и, встряхивая, проговорил с недоуменным пожиманием плеч: — Милая! Я уже не знаю, что делать! Тридцать семь и девять. Но пересилить себя надобно, взять в руки, заставить решиться, наконец! Пойми, это невозможно будет исправить!..

Тамара Аркадьевна приподнялась на локте, брови ее печально изогнулись.

— Ты тоже меня пойми,— сказала она и вздохнула жалостно.— Я боюсь... я хочу уехать, но не могу. Целую неделю меня мучила высокая температура. Я просто обессилела. Я умру где-нибудь по дороге. Ты хочешь, чтобы меня похоронили где-нибудь на сельском погосте?.. У меня нет сил, Эдуард...

— Грандиозно! Мило!.. А дети? — вскричал Эдуард Аркадьевич, растопыривая подвижные пальцы и потрясая ими.— Эт-то же безумие, сумасшествие! Оставаться с детьми на краю пропасти!.. А как Всеволод? Как Маша? Ты подумала об их судьбе?

Всеволод, подросток с прыщеватым унылым лицом, все время молча сутулившийся в ногах Тамары Аркадьевны, все время робко слушавший пропитанную соленой тревогой непрекращающуюся речь Эдуарда Аркадьевича, вдруг порывисто прижал кулачки к щекам, затрясся судорожно, замычал глухим отроческим баском и, раскачи-

ваясь, начал ниже и ниже склоняться к коленям, словно его сзади пригибали за шею, и повторял шепотом: «А я как? А я куда?» И Владимир увидел, как бледное лицо Маши исказилось гримасой гадливости, и голос ее зазвенел негодованием:

— Перестань, пожалуйста, Всеволод! Стыдно видеть, как ты превращаешься в бабу! И вы, дядя, перестаньте нас мучить! Пока мама не выздоровеет, мы никуда не поедем, никуда! Вы что-то страшное выдумали. Мы пока будем здесь, и Всеволод останется с нами! А теперь молчите, а то я начну визжать и не дам вам говорить! Вот так, слышите?

Она завизжала отчаянно и пронзительно, потом насильно засмеялась, поспешно вскочила, пересела на диван к матери и, защищая, успокаивая ее, обняла за плечи, целуя волосы (Тамара Аркадьевна зажмурилась, всхлипнула, отворачиваясь к стене), и Владимир подумал, что они с Ильей лишние тут, пришедшие не ко времени гости, и, чтобы избавиться от неудобства увиденной чужой ссоры, чтобы больше не слышать отчаянного, еще сверчавшего в ушах визга Маши, он нарочито непринужденно сказал Илье:

— Салют, что ли?

Это была расхожая в школе фраза, обозначавшая вынужденное прощание в особых обстоятельствах, и Илья, поняв, встал, проговорил отсекающим тоном:

— В приказе коменданта города Москвы мы сегодня прочитали: дезертиров и паникеров расстреливать на месте! Вы не из тех?..

Он ожег взглядом Эдуарда Аркадьевича и, направляясь к двери, ребром ладони, точно на перемене показывал прием джиу-джитсу, небрежно ударил по краю стола так, что звякнули бутылки коньяка в окружении банок консервов, и почтительно обратился к Тамаре Аркадьевне, глядевшей на него с недоумением:

— Извините, мы пришли к Маше и не знали, что у вас громкий семейный разговор.

— Что, что? — шепотом спросила Тамара Аркадьевна.— Почему «громкий»? Почему «семейный»? О чем вы, Илья? Вы ведете себя как-то невоспитанно и грубо...

— Ба, какие у тебя грандиозные рыцари, Машенька! Такие могут и побить! Ох, не хотел бы встретиться в темном переулке! — выговорил с шутовским испугом Эдуард Аркадьевич и шутовски усердно перекрестился, отдуваясь, играя полуобморочное состояние.— Уходите, ради бога,

вон, уходите, пока я... пока я не позвал патруль или милицию. Подите, подите прочь, молодые люди, и не лезьте в чужие дела, ум-моляю вас!..

— Дядя, перестаньте, пожалуйста, клоунствовать! — закричала Маша и снова так оглушающе-пронзительно завизжала, что мать отвалилась головой на подушку, страдальчески зажав уши пуховым платком, а Эдуард Аркадьевич упал в кресло, поднятыми руками прося пощады, завел глаза под лоб.— Вот вам! Вот вам за моих друзей! — крикнула Маша, не то смеясь, не то плача.— Я не дам вам сказать больше ни слова. Ни слова! Ни буковки!

— Уходим прочь. Карету нам, карету,— усмехнулся Илья и кивнул молчавшему Владимиру.— Где оскорбленному есть чувству уголок.

Они вышли на улицу, вечернюю, усыпанную примерзшими к тротуарам листьями, и здесь Маша догнала их; студеный ветер отбросил ее волосы, мотнул полами незастегнутого длинного пальто, облепил ноги. И Владимиру даже показалось, что резко подувший холод загнул ее темные мохнатые ресницы, заставил откинуть голову, а она стояла перед ними, всматриваясь в лица обоих, стараясь улыбаться, говорить весело, и здесь стала прежней Машей, от одного взгляда которой сбивалось дыхание.

— На моего дядечку не надо было обращать внимания,— заговорила она торопливо своим гибким голосом.— Он не в себе, конечно. Всеволод его приемный сын от первой жены, и он хочет, чтобы Всеволод уехал с нами, понимаете?

— Понимать нечего,— ответил Илья.— По-моему, твой распрекрасный дядя — фрукт с паникерского дерева.

— И — субчик! — подтвердил Владимир.— Да еще брехун первого сорта.

— Ах, какие вы глу-упые дурачки! — протяжно сказала Маша.— И все-таки я вас люблю. Обоих. Хороших, странных дурачков, которые ничего не понимают.

Она левой рукой ласково погладила двумя пальцами по щеке Илью, правой рукой тронула подбородок Владимира, обдала обоих ласковой лучистостью глаз, вспыхнувших из-под загнутых ресниц, и Владимир почувствовал зыбкость земли и от прикосновения ее теплых пальцев, и от этой лучистой бездны ее непонятного ему взгляда, обещающего что-то блаженное, тайное, порочное, отчего начинался озноб и холодели зубы. Она спросила:

— Что вы будете делать в Москве? Вы остаетесь?

Нам не дали поговорить в этой дурацкой кутерьме. Я хочу знать, что вы будете делать.

— Мы? Мы в армию,— сказал Владимир с незатруднительной искренностью и, сказав, достал пачку папирос «Пушки», предложил Илье.— Мы были сегодня в военкомате.

— Володька не соврал,— поддержал вскользь Илья и охотно взял папиросу, зажег спичку, давая первым прикурить Владимиру.— Мы этот вопрос почти решили.

— Вы курите, мальчики? — удивилась Маша.— Вы там, на оборонных работах, научились? Какие-то вы странные, на самом деле взрослые стали... В армию, я уже догадалась, что в армию,— повторила она и покусала губы.— Ах, как я тоже хотела бы в армию! Но ничего, ничего не выйдет. Я не могу бросить маму.

Илья, прищурясь от дымка папиросы и, казалось, ни о чем трудном не думая, сказал:

— Машенька, ты чересчур красива для армии. Дуэли среди мужчин начнутся. Так что уж сиди с мамой и жди нас. А точнее — Володьку. У меня пять родинок на левом плече — значит, впереди судьба скитальца, как цыганка нагадала. Да если и убьют, беда небольшая: поплачут и перестанут. Верно ведь?

(Зачем он сказал тогда эту роковую фразу?)

Маша в упор посмотрела на Илью, точно угадывая причину непробиваемой его несерьезности, его бездумной насмешки над тем, над чем нельзя было смеяться, но тоже сказала тоном легкомысленной беспечности:

— Как это все невероятно смешно! Пять родинок на левом плече? И как это романтично, какие-то испанские повести Мериме! Не Кармен ли нагадала, Илья?

— Хуже.— Илья притворно вздохнул.— Хотя цыганка была фантастической красоткой. Ресницы два метра и ноги как у богини.

— Хуже? Хуже кого? — взмахнула мохнатыми ресницами Маша.— Как это понимать — «хуже»?

— Хуже в том смысле, что таких, как Кармен, в мире уже нету.— Илья сожалеюще пощелкал ногтем по папиросе.— Красота измельчала, а всякие сантименты давно пора в музей сдать. Устарело, как каменный топор.

Маша напряженно выпрямилась.

— Глупо! И даже не вызывает жалости. Я всегда знала, что ты груб, как камень. Твой бокс и твои мускулы — достаточное тому доказательство. Что же это за музей открылся? Где?

— Откроется. Музей сантиментов. Мы живем в грубый век силы. Впрочем, я не шучу! — Он поперхнулся дымом, смеясь, выказывая отличные, ровные зубы.— Я действительно подумал, что в армии ты можешь устроить переполох. Ведь чокнутых дураков еще много, и каждый считает себя неотразимым красавцем, созданным для сентиментальной чепухи.

— Вот уж глупость, которая потрясает меня до глубины души! — воскликнула Маша, удивленно пожимая плечами.— Может быть, ты... Может быть, ты ревнуешь меня?

— Правильно,— сказал Илья.

— С каких же это пор?

— Не имеет значения.

— Почему же не имеет? Земля полна слухами, что ты не без успеха ухаживал за тренершей в волейбольной секции спортивной школы. Неотразимая белокурая красавица. Не помню, как ее звали... Кажется, Полина?..

Илья докурил папиросу, швырнул ее на решетку водостока, где сумеречно мерцала корка льда и жестяно торчал из него не смытый дождями, вмерзший уличный мусор, притянул Машу за локоть, заговорил с той взрослой фамильярностью, когда трудно было понять, в шутку он говорит или всерьез:

— Ты неплохой малый, и не знаю, как Володьке, а мне немного нравишься. У тебя ресницы гораздо длиннее, чем у той цыганки.

— Это что же такое? Милые шутки? Объяснение в любви, что ли, в стиле Дон-Жуана? — Маша блеснула глазами по невозмутимому лицу Ильи и, озябнув, подняла воротник, засунула руки в карманы пальто.— К чему это ты говоришь? Ах, понимаю! Демонстрация самонадеянности... Не спутал ли ты меня с Полиной или какой-нибудь другой влюбленной в тебя грешницей из спортивной школы?

— Ни с кем не спутал. Никакая не демонстрация,— сказал Илья тем же тоном наигранной опытности.— Просто нам прощаться надо, и давай целоваться...

Маша вскинула голову.

— Как то есть целоваться?

— В лоб целуют маленьких детей. А тебя — в губы, конечно. Показать, как?

— Это забавно. Попробуй, если у тебя получится.

С закинутой головой она стояла, смотрела на него, не вынимая рук из карманов, подставив сомкнутые, вопро-

шающие, округленные улыбкой губы навстречу какому-то близкому ужасу, и он, нисколько не стесненный, как будто привычно делал так каждый день, притянул ее за локти и медленно прижался губами к ее улыбающимся губам таким смелым долгим поцелуем, что она легонько стала отклоняться назад, затем вынула руки из карманов, уперлась ему в грудь, осторожно отжимая его, наконец, задыхаясь, освободила свой испуганный рот, прикрыла его пальцем, выговаривая странным шепотом:

— Зачем ты так грубо? Если ты со мной прощаешься, то неужели ты хочешь, чтобы я запомнила твою грубость? Нет, ты какой-то фавн, питекантроп...

— Разве? Грубость? Питекантроп? — ласково усмехнулся Илья.— Просто у тебя вкусные губы. Можно еще?..

— Нет, не надо! — Она отстранилась, бледнея, и с фальшивой, неумеренной поспешностью подошла к Владимиру, а он сразу упал в глубину ее туманного взгляда и мучительно потонул в ее зрачках.— Мы с тобой тоже должны проститься? Что ж, поцелуй, пожалуйста...

Колючая спазма сдавливала горло, и он не мог произнести ни звука в те минуты, когда Илья говорил с Машей и целовал ее, не стесняясь его, как бы считая это вполне допустимым при их дружбе, и то, что Илья на ее слова о грубости ответил ласковой усмешкой мужской опытности, а она испугалась его шутливой настойчивости и, как за спасением, кинулась прощаться с Владимиром — все было до бессилия открыто и непонятно, хотя все выдавал ее взгляд, дрожание ресниц, растерянное покусыванье губ,— и он повернул голову в сторону, чтобы не видеть ее лица, и молча пошел по улице, боясь не сдержаться и обнаружить то, чего стыдился. Слезы душно заслоняли дыхание, и, наверное, надо было для облегчения освободиться от них, но он не умел...

А ранняя темнота заволакивала улицу, металлически пахло инеем, гарью бумажного пепла, который сыпался и сыпался в воздухе, и красноватое зарево пожара в центре растекалось над заборами, черно выделяя сеть нагих ветвей.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

В дверь позвонили.

Васильев сказал рассеянно: «Пожалуй, на сегодня кончим»,— и положил палитру на стол, отомкнул замок (он запирался во время работы) — и в мастерскую, стуча

каблуками сапожек, вошла Виктория, в монгольской дубленке, отороченной белым мехом, и внятно запахло уличным ветерком, свежестью утреннего морозца. Она холодными губами поцеловала отца в небритую щеку, взглянула темно-серыми, Марииными, глазами на Щеглова, позирующего в кресле, сказала:

— Здравствуй, па, здравствуйте, дя!

Эдуард Аркадьевич чрезвычайно проворно вскочил, выражая восхищение, любовь, рыцарскую преданность, и летящей балетной походкой, мелькая зелеными безупречно узкими брюками, восторженно подбежал к Виктории, принялся растроганно целовать ей руки, приговаривая при этом журчащим голосом:

— Красавица моя, золотце мое, бесподобное сокровище, самая чудесная наша умница в мире! Ну, что сделать для тебя, жар-птица, золотой башмачок отыскать, коня на ходу остановить, в горящую избу войти?

— Перестаньте, дядя,— засмеялась Виктория, высвобождая руки.— Если я попрошу у вас сейчас двести рублей, то вы достанете портмоне, ахнете и скажете: к сожалению, мой кошелек чист, как моя совесть. Правда? Но все равно я вас люблю, дя, за вашу безалаберность!

— Королева моя, жемчужинка моя, радость моя, я всегда виноват и всегда безденежен, аки собака,— смиренно прожурчал Эдуард Аркадьевич и сделал жест горчайшего сожаления.— Сам бы прерадостно занял некоторую сумму, да звание и годы, миленькая, не позволяют. Ну-с! — И он еще более оживился, закряхтел, сладострастно замычал, схватил обеими руками тонкую кисть Виктории, начал нежно клевать ее носом, показывая бледную лысину с щегольским мастерством начесанными от уха до уха волосами.— Я умчался, я исчезаю, я улетучиваюсь, ибо запаздываю на репетицию, где будет крупнейший разговор с одной актрисулей, сущей ведьмочкой, прости господи. Голубушке под шестьдесят, старость давно мельтешит в окошке, а она, старая кочерыжка, все норовит, все рвется, старая перечница, двадцатилетнюю сыграть. Не сыграешь, не сыграешь на балалайке, коли сковородка в руках. Владимир Алексеевич, я вас горячо целую!

Он спешно надел пальто, модное, в крупную светлую клетку, натянул кожаные перчатки и, напоминая энергичного щеголя адвоката, уходящего со сцены, выбежал из мастерской, послав воздушный поцелуй на пороге: «Процветайте, милые!»

В мастерской после его ухода что-то померкло, утратилось, будто пронесся, продул комнату сквозняк, захлопнул дверь, и вновь наступило безмолвие, прежнее состояние покойной обыденности, а недописанный портрет был загадочен, выпукло проблескивали за очками глаза, чуть-чуть змеился край еще крепкого старческого рта, приготовленного к ядовитой или иронической фразе вместе с едва уловимой грустью, проступавшей порой ненадолго, когда задумывался он в середине разговора.

«Почему все-таки мне жалко его? — подумал Васильев.— Мне кажется, что он все время убегает от самого себя».

— По-моему, ничего,— сказала Виктория, постояла у мольберта и, не раздеваясь, опустилась в соломенное кресло-качалку позади Васильева.

Он услышал скрип кресла, шорох расстегиваемой дубленки и обернулся в предчувствии нежданного разговора с дочерью, которую он не каждый день видел у себя в мастерской.

— Можно, па? У тебя, кажется, «Филип Моррис»? — спросила Виктория и, не дождавшись разрешения, полированными матовыми ноготками потянула из пачки сигарету — так доставала сигарету Мария,— а он вдруг почувствовал тоскливое теснение в груди при виде огонька зажигалки в этих несильных пальчиках дочери и при виде дыма сигареты, выпущенного ее юными невинными губами, заметил приоткрытую откинутым воротником дубленки белую, лебединую шею, показавшуюся тоже слабой, незащищенной, подверженной невидимой опасности, и подумал, что не в силах ничего запретить дочери, что она начала курить после той болезни и после того незабытого, загадочного, что случилось с ней два года назад за городом, но о чем ни она, ни Мария не вспоминали позднее.

— Ты, наверное, хотела мне что-то сказать? — спросил Васильев и подошел к Виктории сбоку, поцеловал в легкие волосы, пахнущие родным теплом, чистотой.— Ты не часто бываешь у меня, Вика...

Она, не поднимая глаз, думая о своем, хмурила брови.

— Па, именно об этом я хотела тебе сказать,— проговорила она строго.— Тебя уже четыре дня нет дома. Ты постоянно стал ночевать в мастерской зачем-то. Не знаю, что происходит между тобой и мамой, но все странно. Она молчит, а я вижу, как она мучается. Понимаешь, па? Она ведь не пожалуется никому, хоть ей и очень плохо

будет. Нет, пожалуйста, не думай! — поправилась она с решительностью.— Никакие секреты я знать не хочу! Но с вами что-то произошло после Италии, вы стали оба странные, и я не понимаю, что это с вами? В доме просто затишье мертвое! Знаешь, как раньше в пьесах в ремарках писали: затишье в доме как перед грозой! Откуда гроза, папа?

Он посмотрел вопросительно, а она под его взглядом с сердитым выражением бросила сигарету в пепельницу, и нежный изгиб ее шеи, болезненная бледность тонкого лица, неестественно широкие серые глаза в мрачноватой тени густых ресниц — все было хрупким, родным, Марииным, поразительно повторенным в ней, в его дочери, повторенным его любовью к Марии, тайным колдовством генетического кода, подчиненного двадцать лет назад только им двоим, и полужалость, полунежность прошла в душе Васильева.

И он обратной стороной ладони, не запачканной в краске, погладил щеку дочери, сказал:

— Я не стал другим, Вика.— Он отошел к раковине и принялся мыть кисти в мыльной воде.— Даже больше,— сказал он, с виноватой улыбкой поглядывая на Викторию и в то же время думая о внезапности простого, сейчас осознанного им ощущения: «Неужели вот это сидит в кресле моя дочь, неужели в ней часть Марии и часть меня, наша сущность, наша единственная надежда, наше продолжение в мире? Что же я должен сделать для нее, чтобы она поняла, что они— Мария и она — мне дороже всего, что жить я без них не смог бы...» — Даже больше, Вика. Ты так и скажи маме: он любит нас сильнее, чем раньше. Но я должен побыть немного здесь, в мастерской, поработать, подумать. И вы немного отдохните от меня. Вы должны немного отдохнуть от меня,— повторил он.— Так надо.

— Скажи, па, откровенно: в последнее время между тобой и мамой ничего не произошло?

«Произошло разве?» — подумал он, чувствуя в своем состоянии равными и правду и ложь, потому что не произошло ничего, нарушившего их прежнюю с Марией жизнь, и вместе с тем произошло нечто неприятное для обоих, некоторое время назад незаметно возникшее, что трудно стало преодолевать, когда они оставались вдвоем, и, уезжая из дома, запершись в мастерской, он убеждал себя, что и это надо тоже пережить в работе и одиночестве.

— Все в порядке, дочь, между мной и мамой никаких страшных событий не произошло,— сказал почти шутливо Васильев.— Может быть, мы просто оба чуть-чуть устали...

— Мама стала ужасно много курить. Она даже похудела.

— И ты тоже куришь, дочь. Надо ли?

Она не ответила.

Он разложил кисти на столике, заляпанном краской, и тут заметил ее взгляд, обращенный мимо него в солнечное сверкание окна, огромного, заиндевелого. Она сидела в распахнутой дубленке, облокотясь, подперев согнутым указательным пальцем подбородок, ее глаза, пронизанные ясностью морозного света, смотрели куда-то в февральское утро, были задумчивы, отдалены, грустны,— и знакомая спазма жалости удушливо стиснула горло Васильева, будто он был виноват в ее болезни, случившейся два года назад, в ее бледности, вот в этой пугающей его задумчивости. Он спросил вполголоса:

— Ты здорова, милая?

— Меня нет дома, па.— Она пожала плечом.

— Ты не хочешь мне отвечать?

— Я здорова, как слониха.— Она закрыла глаза, откинулась затылком к спинке кресла, сказала ненатурально бодрым шепотом: — Только душа немного болит, па. Тихонечко так себе ноет и не перестает. Но это — пустяки, пройдет. Понимаешь, па?

— Что значит «тихонечко ноет», Вика?

— Я не знаю, что со мной будет. Вот и все.

— То есть? Я не понял, дочь,— сказал встревоженно Васильев, но тотчас спохватился и заговорил успокоительно-ровно: — Пожалуй, довольно ясно, что может быть с тобой в течение этой пятилетки. Кончишь свой актерский, начнешь сниматься, выйдешь замуж...

— Оставь, папа! — брезгливо проговорила Виктория и скривила брови.— За кого замуж? Зачем? Дикий хохот какой-то! За одного из этих длинноволосых сопляков или этих отутюженных домашних мальчиков в заграничных галстуках, которые мечтают только о карьере? Почему-то большинство из них учится в дипломатическом. Смешно! Пусто вокруг, папа, пустынно, сморчки какие-то, плечики узенькие, ножки тоненькие, глазки сладенькие. Или наоборот — верзилы туполобые... Тоже мне современные гусары, кавалергарды, обеспеченные женихи! Гадость! Кстати, знаешь, па, шалопай Светозаров сделал

мне вчера что-то вроде предложения. И на полном серьезе. Конечно, он болтун, балбес, сквозняк в голове и, кажется, два или четыре раза женат, наплодил целый десяток детей... даже не помнит их имена! — Виктория неожиданно захохотала, качнулась в кресле, блуждающе глядя в потолок.— О, шалопай, шалопай! Но с ним легко, бездумно, он лжет и не скрывает, что лжет! Он как такой вот воздушный шарик в праздничный день. Вернее — легкомысленный авантюрист возле бабьих юбок. Смешение наигранного сю-сю и лирического трепача в компаниях.

— И что же ты ответила? — спросил Васильев.

— Что я ему ответила? Я спросила его, не хочет ли он хорошо пожить на денежки моего папы, известного художника Васильева. И представь — он не обиделся: «А что? Почему бы и нет?» Я сказала ему, что серьезно подумаю, взвешу все «за» и все «против», скрупулезно подсчитаю количество его бывших жен и детей, чтобы знать, на кого же я меняю дорогую свободу...

Сначала она говорила это живо и размеренно качалась в кресле, забавляясь собственным рассказом, потом оживление сошло с ее задумавшегося лица, сменилось гримасой насмешливого презрения, и она умолкла, раскачиваясь все медленнее и медленнее.

— Как это мелко и мерзко, па! — сказала она исполненным глубокого отвращения голосом.— И как все пошло и неинтересно в этой дурацкой любви! Представляешь, сейчас глупые девицы выходят замуж из-за престижа. Боже, спаси меня от дураков-женихов, которых я ненавижу!

Он знал, что никакими словами не сможет помочь своей двадцатилетней дочери смягчить безразличную и холодную ожесточенность, и ее холодок проникал в его душу, и любовь к дочери становилась тем обостреннее, чем больше он чувствовал ее отчужденность от сверстников, которые, как это ни странно, постоянно крутились вокруг нее.

— Ты не преувеличиваешь все эти страсти-мордасти? — проговорил Васильев не очень серьезным тоном, хотя понимал, что повода для шутки не было.— Может, не стоит ничего осложнять? Жизнь сама по себе есть жизнь, и особенно в твоем возрасте — прекрасна...

Равномерно поскрипывая качалкой, Виктория попрежнему смотрела в потолок, а темно-серые, пронизанные солнцем глаза ее были далеко в запредельном про-

странстве, и чуточку была выгнута назад слабая тонкая шея — поза равнодушия, усталости, загадочной отстраненности — и все было в ней знакомое, родственное, взятое у Марии поры довоенной юности, и одновременно хрупкое, жалкое, беззащитное перед всем миром.

— Боже, спаси меня,— повторила Виктория и перевела дыхание, точно на самом деле молилась исступленно.— Па, тебе никогда не бывает не по себе от людей? — спросила она шепотом, не поворачивая к нему головы.— Понятно, тебя спасает твоя профессия, ты должен любить всех. А я не могу. И так бывает тяжело, па. И так иногда невыносимо вставать утром.

По ее лицу ходили смутные тени, и он помолчал, зная, о чем она думает, затем с неловкой легковесностью сказал:

— Есть в твоем возрасте одно прекрасное средство, дочь моя. Это жить, как подсказывает биологический закон...

Она взглянула вопросительно.

— Я не сообразила, па. Что значит биологический закон?

— Суха, мой друг, теория везде, а древо жизни пышно зеленеет.

— Твой любимый Гете, что ли? — Виктория презрительно повела плечом.— Древо? Пышно зеленеет? Он лжет, твой великий поэт,— сказала она непреклонно.— А если и не очень лжет, то пышное дерево цвело когда-то в девятнадцатом веке, а сейчас его срубили на лесозаготовках для выполнения плана.— Она перестала раскачиваться в кресле, брови ее подрагивали, как от смеха.— Ты не заметил, как люди пытаются красиво говорить? Не обратил внимания? А я знаю для чего. Чтобы замаскироваться как следует. И вот ты тоже, так называемый прогрессивный художник, а такую новогоднюю елочную игрушку подарил мне для забавы: «...а древо жизни пышно зеленеет». Ну зачем, добрый па, смысл какой?

— Что бы мы ни говорили с тобой, Вика,— сказал Васильев,— а вся наша жизнь — любопытная штука, и молодость — чудесный подарок, который, к сожалению, быстро отбирает время. У тебя этот подарок пока в руках — и прочь всякое самоедство! Именно так, Ви! Именно здесь смысл биологического закона.

— Да здравствует биозакон в обстановке трудового и идейного подъема, претворяющий в жизнь предначертания,— сказала Виктория и даже шмыгнула носом,

выразив восторг тупого лекторского самодовольства.— Бурные овации — и дальше. Гуси, гуси, га, га, га... Есть хотите? Да, да, да. Ну, летите! Нам нельзя, серый волк под горой... Глупость! Нам не страшен серый волк! — воскликнула Виктория с передразнивающим победоносным восторгом и легко вскочила, остановив качалку, запахивая дубленку, как если бы счастливо, благополучно кончилось все.— Будем воспринимать жизнь смеясь!

И она смеясь приблизилась к зеркалу, старому, пожелтевшему, из которого извергался снежный свет солнечного февральского дня, стала рассматривать свое лицо, капризно морща переносицу, разглаживая мизинцем брови, затем спросила превесело:

— Па, ты не ждешь гостей?

— Нет.

— К тебе никто не должен приехать?

— Никто. Почему ты спрашиваешь?

Она потрогала мочки ушей, где серебристо поблескивали серьги.

— Па, можно тебя ограбить? Ты понимаешь, о чем я говорю, и если у тебя нет, то так и пойму: нет. Я не обижусь и доживу до стипендии... хотя то, что я видела, стоит пять моих стипендий. Баловство, разврат, антипедагогично, порча молодого поколения. А... можно, а?

— Какова причина ограбления? — спросил Васильев, вытер тряпкой руки, открыл дверцу тумбочки и выдвинул ящик, где лежали деньги.— Не секрет, Вика?

— Серьги. С великолепными изумрудиками на висюльках. Впрочем, нет, не надо. Они не очень хорошие. Просто они даже безвкусные, невероятно глупые, и все комодообразные бабы, мещанские каракатицы, будут останавливать меня на улице и спрашивать, где я купила. Отвратительно!..

Она повернулась от зеркала с брезгливым сопротивлением, но заулыбалась навстречу озадаченному взгляду Васильева, не совсем прочно задвинувшего ящик в тумбочке, и быстро приблизилась к нему и не поцеловала, а коснулась кончиком носа его щеки, говоря:

— Па, немножко помни о нас. Мы не такие уж плохие и не такие уж хорошие, но все-таки женщины, а ты у нас один. Пока!

Уже в тот момент, когда Виктория направилась к двери, зазвонил телефон, она оглянулась на отца, с озорной решимостью спрашивая его поднятыми бровями: «Помочь, а?» — и сняла трубку, произнесла не без манерной

протяжности: «Да-а»,— и после минутной паузы, наслаждаясь некой разыгрываемой ролью, заговорила тоном неприступного высокомерия:

— Вы ошиблись: Вики нет дома. Есть Виктория, точнее — Виктория Владимировна. Пожалуйста. Я принимаю ваши извинения и прошу в следующий раз не называть меня так. Насколько мне известно, вика — какая-то трава, как клевер или какой-то горох, известно вам это? Я сказала, что принимаю ваши рыцарские извинения. Нет, его нет в мастерской, он вышел. Когда будет, не знаю. А что ему передать? Кто звонил? Ах, еще позвоните? Всего хорошего.

Она положила трубку, мимолетно сказала:

— Не назвался. Но, по-моему, Колицын. Жирный голос преуспевающего солиста оперного театра. Наверняка ты ему нужен.— Она заулыбалась, прощально помахала пальцами.— Па, не забывай нас! Я пошла.

«Я не хочу никого видеть в этом гадком мире!» — вспомнил он рыдающий вскрик дочери во время болезни два года назад, но вспомнил без прежней остроты, с притупившейся болью, когда стук сапожек Виктории замолк в коридоре, и подумал, что она дерзкой, наигранной легкостью отстраняет, заглушает в себе то, полностью незарубцевавшееся, и что им тоже не забыто потрясшее его тогда отчаяние больной дочери, которую он до той болезни, казалось, почти не знал, считая почти милым ребенком, иногда проявляющим взрослость.

Потом Васильев ходил по мастерской и сбоку смотрел на незаконченный портрет Щеглова, неточный в переходах, чересчур нервных, жестких, торопливых, и, неудовлетворенный, совершенно недовольный сегодняшним утром, вновь возвращался мыслями к Марии, к Виктории, и его, тихо тревожа, словно непреодоленная давняя вина, не покидала душевная расслабленность, что время от времени стало повторяться с ним в последние годы, когда он утомлялся от работы и бывал один.

Телефонный звонок второй раз раздробил безмолвие мастерской, задребезжал неумолимо, и Васильев в нерешительности, с внутренней дрожью усталости, ожидая и почему-то опасаясь услышать голос Марии, снял трубку, сказал невнятно: «Ты, Маша?» Но в трубке прозвучал бархатисто-сочный баритон, приятно вибрируя и перекатывая слова, укутанные в удобные одежды:

— Владимир Алексеевич, дорогой Володя, я прошу у тебя прощения за то, что врываюсь с утра в часы

работы. Олег Колицын говорит («Вика угадала — это он. И звонит уже несколько раз? Что ему?»), Владимир, дорогой, я тогда ночью побеспокоил тебя, был переутомлен, как собака, возбужден, взвинчен до идиотизма, так что не попомни зла, великодушно прости! А если что из ряда вон наерундил, хочешь, на колени стану, прощения всенародно попрошу? — Он засмеялся полнозвучным смехом незлопамятного, широкого, расположенного к самонаказанию человека, и Васильев подумал, что он действительно ничего не хочет помнить о ночном приходе Колицына и разговоре между ними.— Ты в другой раз, Владимир, просто взашей выгоняй надоедливых посетителей, когда спать надо, а не языком работать. А звоню я по делу к тебе, Володя, по убедительной просьбе нашей иностранной комиссии... Не сможешь ли одного иностранца принять, который весьма рвется к тебе? Вернее так: это одиночный турист, итальянец, а точнее — выходец из России, русский по национальности. Не пугайся, не пугайся... Причина посещения: он видел твою выставку в Риме и Венеции и хочет побывать у тебя в мастерской, если, разумеется, дашь согласие. Ради всех святых, Володя, найди время для него, ибо не я прошу...

Васильев не слышал больше ни слова; баритон Колицына вмиг потерял свои многослойные цветовые окраски, насыщенность звуковыми оттенками, слился в серую волнообразную полосу, и сквозь зыбкое колебание его потерявшего плоть и смысл голоса возникало пока еще не очень четкое и не очень определенное понимание того, что свидания с ним, очевидно, ищет приехавший в Москву Илья Рамзин, в чем Васильев уже не мог сомневаться, хотя невероятно было представить всерьез реальную возможность его приезда в качестве туриста, получение визы, наконец, разрешение МИДа на въезд в страну русского, не вернувшегося в сорок пятом году из плена на родину... После прошлогодней венецианской встречи с Ильей Васильев на приеме у советского посла в Риме, говоря о впечатлениях поездки, ни на чем не настаивая, все же передал просьбу о визе бывшего своего друга детства, негаданно обнаруженного в живых на заграничной земле, в туманной осенней Италии, что и тогда и теперь походило на сон, на игру воспаленного воображения. И Васильев, неясно слыша уплывающий в трубке баритон Колицына, переспросил хрипло:

— Кто он, ты сказал — итальянец? Русского происхождения? Его фамилия Рамзин?

И голос невидимого Колицына набрал в трубке полную сочность красок, обрадованный этому вопросу:

— Да, да, да! Синьор Рамзин. Имя и отчество — Илья Петрович. Что, ты с ним знаком разве?

— Какое это имеет значение,— ответил Васильев, весь в испарине волнения, испытывая желание сесть, обессиленно откинуться в кресле с закрытыми глазами, вспомнить прошлогодний разговор во время завтрака в венецианском отеле солнечным октябрьским утром, которое невероятно тоненькой, шаткой, провисшей над провалом жердочкой соединялось с другим утром, летним, жарким, украинским утром сорок третьего года, когда началось все, не предвиденное ни Ильей, ни им...

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

На опушке соснового бора они сели на теплые корневища, расстегнули воротники гимнастерок, с наслаждением вдыхая свежую струю прохлады, овеявшей их снизу, от ручья, который был виден впереди вдоль железнодорожной насыпи. Справа пустынно белела песчаная дорога, подымалась из низины к полуразрушенному деревянному мосту, обрываясь на том берегу, где торчал на переезде полосатый шлагбаум, а слева, под насыпью, накаленной зноем, виднелся конек крыши и густо зеленел, пестрел сетчатыми тенями на траве чей-то разросшийся до самой воды сад.

— А дальше вроде нейтралка начинается,— сказал бодро сержант Шапкин и, прислонясь к сосне, помахал, как веером, пилоткой перед распаренным лицом.— Вчерась в данном районе два пехотинца были. С «максимкой» сидели, а более никого на железной дороге. Ни наших, ни ваших. Да вон она, только наша артиллерия родимая! — сказал он и, развеселившись, мотнул головой вправо: там на опушке бора бугрились свежие навалы песка.— А пехтуру лешие съели! Смехи! Артиллерия стоит заместо пехоты!..

«А что это Шапкин веселится? — подумал Владимир и покосился на Илью.— Что он нашел смешного в отсутствии пехоты?»

Илья сидел на корневищах, сдвинув пилотку назад со смоляных, слипшихся на лбу волос, смотрел на железнодорожную насыпь, на песчаную дорогу возле моста, и

глаза его суживались с выражением интереса от предполагаемого риска, которого можно было ждать здесь.

— Если немцы остались на насыпи,— сказал Илья,— то где-то сидят и снайперы. Значит, ручей, сад, железная дорога — вся эта нейтралка может простреливаться, так я понимаю, Володька? Карта в этом случае ни хрена не объяснит. Пошли к орудию. Проверим. И оттуда посмотрим, что и как.

Он быстро встал, и следом за ним споро поднялся Шапкин, в немецких сапогах, в щегольских немецких галифе с выпуклым кантом, весь ловкий, крепенький, как грибок, своими голубыми глазами, молодеческой походкой создающий впечатление азарта беспроигрышной игры, где нет ни смерти, ни страха, а есть одно: бедовое и жестокое пренебрежение жизнью. Эта игра на виду у всех раздражала Владимира, однако ему нравилась живость Шапкина, его легкоподъемный нрав, бесцеремонное мальчишеское тщеславие. Он заслуженно получал награды после каждого боя и, бедово выпячивая грудь, которая звенела, переливалась, золотилась, говорил, посмеиваясь, что, когда вернется с войны в Осташков, наденет «боевые медяшки», пройдется по улице, все девки с разинутыми ртами из окон на мостовую попадают. Он не скрывал и того, что при случае (если повезет, конечно) заработает Звездочку, и раз в присутствии Владимира спросил Илью, имеет ли право кто из офицеров представить его к Герою по кровью заслуженному делу.

И все-таки Владимир недолюбливал его за шумливость, за громкий голос, за немецкую губную гармошку, отделанную серебром, на которой сержант Шапкин не умел играть (только посвистывал и гудел), но постоянно носил в нагрудном кармане напоказ, и выправкой и походкой изображая ко всему годного парня. И сейчас, когда Шапкин лихим манером поднялся за Ильей и зазвенели ожившим золотом его ордена, Владимир подумал, что здесь, на нейтральной полосе, сержант играет перед офицерами полное бесстрашие, и сказал недовольно:

— Вот лупанет снайпер с насыпи по вашему иконостасу, тогда будете знать. Не понимаю, почему ордена не сняли? Кажется, пока девки из окон не глазеют!

— Да ни бум-бум со мной не будет! — азартно отозвался Шапкин, точно приглашая к очередной забаве.— Не-е, не стреляют тут живые фрицы. Я вчерась вечером кое-что вынюхал. Откуда ж, вы думаете, помидоры приволок я? С базара? Да не-е, вон с тех огородов. Видите,

на том бережку, где сад кончается? Я аж туда ползал — через ручей вброд и достиг туда. А пехота... их там ноль целых ноль десятых, два ручных пулемета на всякий случай...

— Ну, молодец, Шапкин,— сказал Илья с суховатой одобрительностью.— Так веди к своему орудию, Васильев. Что остановились?

Был уже знойный полдень, и обдувал лица жаркий воздух, напитанный млеющей хвоей, разогретой смолой, речным запахом песка, и странно было — на той стороне неугомонно трещали в траве кузнечики, и весь сад, облитый украинским солнцем, объятый полуденной ленью, слепя пыльной листвой тополей у плетня, тоже был переполнен их горячим звоном.

— Кого еще сатана прет? — вполголоса окликнули из окопа на бугре вблизи опушки леса, и нехотя высунулась и исчезла голова из-за бруствера.— Ежели свои, так мотай мимо. Делать у нас нечего. Ежели чужие — по табакерке пальну. Без документу останешься. Ясно, нет?

— Ты, Лазарев? А это я, кореш! С офицерами иду! — крикнул с озорством Шапкин, выскакивая вперед, и заговорил, похохатывая: — Чего ты, Лазарев, палить собрался по своим? Шнапсу опились, никак?

— Ладно болтать-то, ежовая задница. Прыгай в ход сообщения, ежели сюда офицеров ведешь!

Здесь, на бугре, был недавно вырыт мелкий ход сообщения, начинавшийся из леса, и по этому ходу они вошли в прохладный песчаный орудийный окоп, где двое артиллеристов лежали на животах меж станин, возле котелка, набитого доверху свежими медовыми сотами, и, видимо, поздно завтракали или рано обедали. На расстеленной плащ-палатке грудой навалены лоснящиеся на солнце красные помидоры, молоденькие пупырчатые огурцы, лиловые головки мака, рядом стоял плоский котелок с водой.

— Где остальные? — спросил Владимир, удивленный безлюдьем на орудийной площадке.

Командир отделения разведки старшина Лазарев, крупный, щекастый мужчина, обросший светлой щетиной, с крутым вырезом злых ноздрей, окинул взглядом из-за плеча подошедших, но не подумал встать (как положено по уставу приветствовать офицеров), а лежа пробасил по-медвежьи утробно:

— Спят после кавардака вчерашнего. Очухиваются,

русский, немец и поляк танцевали краковяк... Проходи, офицеры, садись с нами пожрать.

— Небось медок в сотах никто из вас в жизни на язык не пробовал? — угодливо спросил замкòвый Калинкин, узкий в кости, жилистый, тоже обросший, с голой худой шеей, всегда вытянутой из пропотелого воротника гимнастерки. Берите соты, огурцами закусывайте. Угощайтесь, товарищи лейтенанты, пока мы богаты. А то одни воспоминания останутся.

И он вытянул из котелка золотисто-желтую пластинку, истекающую медом, откусил половину, принялся с причмокиванием жевать, сосать ее; янтарные капли отрывались от сотов, скатывались по его грязной волосатой кисти в засаленный рукав, а он почему-то не замечал эту вяжущую липкость, эту клейкую щекотку на запястье.

— Откуда продуктовые запасы? — поинтересовался Илья и вместе с Шапкиным нестеснительно выбрал в котелке внушительный кусок и, наклоняясь, чтобы не закапать гимнастерку, начал аппетитно обсасывать медовую вафлю, глядя на Лазарева.— Пасеку раскурочили или немцы на парашютах подбрасывают? — спросил он насмешливо.— Или родная кухня медом снабжает?

— Глянь, лейтенант,— сказал старшина Лазарев лениво.— Мы ребята ежики, в голенищах ножики. Во-он па ту сторону глянь, лейтенант. Видишь крышу под железом? И сад видишь?

— Положим. А дальше?

— А дальше плечи не пускают, лейтенант, голову просунул, а плечи — никак,— едко ответил корявым басом Лазарев.— Вон там, на нейтралке, наша продуктовая база. Раскумекал?

— На той стороне ручья боя не было,— вставил Владимир.— И огонь туда мы не вели.

Только сейчас стали видны за изгородью тополей, среди зелени сада, скат железной крыши, отблескивающей на солнце, побеленная стена дома, испещренная тенями яблонь, увитая около крыльца плющом,— и непознанным чужим уютом, прогретым воздухом потянуло оттуда.

— Кто в доме? — спросил Илья, держа на отлете медовую вафлю.— Немцев, полагаю, там нет, если вы за трофеями туда ползаете? Тогда где немцы? За насыпью?

— А ты у связиста узнай,— вдруг зло округлил ноздри Лазарев и обернулся к Шапкину, который с упоением вонзался зубами в мякоть переспелого помидора.— Он

самолично промышлял на нейтралке. Он и расскажет по уставу.

— По уставу это должен знать командир отделения разведки,— сказал Илья холодно.— Поэтому и задаю вопрос тебе.

— Некому мне на вопросы отвечать! — проговорил Лазарев и передернул крутыми ноздрями.— Нету их, кому я отвечал. Закопали их позавчерась.

— Чего окрысился, старшина? — ухмыльнулся примирительно Шапкин и взял второй помидор.— Тебя как человека спрашивают, чудила, новый год!

Вожделенно впившись в помидор, так что сок брызнул ему на грудь, он, вытирая рукавом звякнувшие ордена, заговорил словоохотливо:

— Немцев там нету. В доме — никого живого, товарищ лейтенант. Когда переполз я туда и первым делом в хату заглянул — все чисто, чин-чинарем, мебель на местах, рушники висят, а ни одной живой души. Видать, убегли куда, когда вокруг стрелять начали. Так предполагаю.

— Так, да не так,— не согласился Лазарев.— В доме баба есть.

— Ишь ты! Не заметил я! — воскликнул Шапкин, намекающе поиграв голубыми глазами.— Молодая?

— А тебе зачем? Чего возрадовался, как телок? — охладил его Лазарев.— Гляжу — не зря мешок орденов и железок нахватал! Ерой ты на баб у нас, сержант, ерой...

— Ты мои ордена не трогай, урка ноздрятый!..— оборвал Шапкин, и лицо его разом подтянулось, а уши прижались, как у хищника перед прыжком.— Охренел, что ль? Ты, разведчик, нас, связистов, не цепляй, а то мне и штрафная не страшна... Понял?

— Я-то все давно понял. Когда ты голым пупком по занозам на полу елозил.

— А вы не очень пьяны, Лазарев? — суровым голосом одернул Владимир старшину и хмуро сказал Илье: — С кухней вчера ночью канистру водки привезли на весь взвод, а потери какие — знаешь...

Лазарев обмакнул огурец в вытекший из сотов мед в котелке, откусил половину огурца, лениво задвигал челюстями, с невозмутимостью самоуверенного человека подмаргивая Илье:

— Во-во! На взвод привезли, а одному орудию досталось. Чем не жизнь — рай и малина! Два месяца насту-

5*

паем, кровью умываемся, «уря», «уря» шумим, потом водку за мертвецов пьем. Калинкин, кому говорю! — крикнул он зычно.— Плесни-ка из канистры офицерам, а то уж больно нервничают, об немцах очень беспокоятся! Где, мол, они? А то скучно без них вроде!

— Плескать нет смысла. Не буду. Ох уж эти ребята ежики,— сказал Илья, вглядываясь в сад на том берегу, и спросил невнимательно: — Вот именно, где они?

— Сейчас их увидишь, лейтенант! Смотри в левый край сада!

— Как это понимать, старшина?

— Смотри, говорю, смотри!

— Еще долго будет продолжаться твоя болтовня, Лазарев? — проговорил Илья, задетый грубоватым самоуверенным тоном командира отделения разведки, и повторил сухо: — Я спрашиваю: еще долго?

— Болтаю не я, дурак болтает. Говорю — перемирие у нас с немцем,— мертвым голосом отрезал Лазарев, искоса глянул на трофейные ручные часы и, не дожевав огурец, кинул огрызок под ноги.— Смотри, говорю, сейчас фрицы выползать будут. Их время.

Он тяжело поднял свое грузное, сильное тело, встал вплотную к Илье, весь неуклюжий, пропахший порохом, крепким потом, и ткнул пальцем в направлении левой окраины сада:

— Вон там, за кустами малины, помидоры, огурцы и бахча кавунов малая есть. Там и пасемся. Мы — до обеда, фрицы — после обеда. Да, вон, пополз один с насыпи... Глянь-ка, лейтенант!

Летний покой — без ракет ночью и дежурных выстрелов днем — нерушимо стоял здесь с позавчерашнего вечера, после того как в сумерках немцы наконец отошли, замолк бой и похоронили убитых. А сейчас сказочная благость июльской жары, треск кузнечиков, запах теплой травы, прохлада песка, зелень яблоневого сада отодвинули войну, немцев, бой, вчерашнюю вонь тола, гибель второго орудия, отодвинули за тридевять земель,— и когда Владимир увидел какое-то неясное шевеление среди густых теней в кустах малины на левом краю сада, куда ткнул пальцем Лазарев, он не только не придал серьезного значения его словам, но подумал, что над ним, командиром взвода, и над назначенным сегодня на должность командира батареи Ильей недобро смеются, и он строго спросил Лазарева:

— Что за перемирие? Что за чушь такая?

— Да-а, у тебя весельчаки собрались, Васильев,— сказал Илья.— От смеха умереть можно. Перемирие, значит, устроили? Они у тебя всегда так? Командира отделения разведки ты специально для смеха в свой взвод пригласил? Почему старшина торчит у твоего орудия?

Владимир молчал, внезапно ударенный болью, темным туманом поднявшейся к глазам, почувствовал тошнотное потягивание, шум в ушах, и все зыбко поплыло перед ним. Он отвалился назад на снарядном ящике, приник спиной и затылком к земляной стене орудийного окопа, надеясь, что прикосновением земли охладит, растворит тошнотную боль, которая мучила его после позавчерашней контузии. В эти приступы головокружения его малярийно трясло, стучали зубы, и он не знал, как согреть холодеющие пальцы с мертвенно посинелыми ногтями.

«Нет, нет, это не контузия, я просто отравился помидорами»,— думал Владимир, морщась при воспоминании, как вчера днем в наступившем затишье всем расчетом до отвращения объедались помидорами, принесенными в вещмешках из-за ручья Лазаревым, как позже он начал немецким штыком разрезать на снарядном ящике два испачканных землей, прокаленных солнцем мелких арбуза и на расстеленный брезент, на сапоги старшины брызнули семечки, скользкие красные куски мякоти. Эта распоротая внутренность арбузов показалась омерзительно липкой, соленой, как кровь, а немецкий штык, затупленный, грязный, тоже ржаво чернел старой, запекшейся в желобке кровью. И тут впервые после контузии Владимира вытошнило надрывно и тяжко, и голова приступами стала раскалываться болью, заставившей его сегодня на рассвете отправиться в ближние тылы на поиск санроты, так им и не найденной. Но вернулся он на передовую уже вместе с Ильей, которого назначили на должность убитого в позавчерашнем бою комбата.

— А, Васильев? Что скажешь? Пока ты в тылы ходил, ребятки развернулись! Так кто перемирие установил? Господь бог, командующий фронтом или же твой взвод? — проговорил Илья с насмешкой и, не заметив в зрачках Владимира узенького лезвия заострявшейся боли, с недоверием пристально следил за покачиванием кустов малины на краю сада, возле ската к ручью, где за яблонями круглились между листьями полосатые тела арбузов.

И Владимир через силу посмотрел туда, испытывая

от припекающего солнца резь в надбровьях, звон в ушах, и арбузы на бахче вдруг ясно представились ему маленькими зебрами, истомленными зноем, устало лежащими у водопоя под деревьями, что нависали наподобие низких пальм с красными плодами. «Нет, мне не по себе». Он чувствовал, как накалило солнцем голову и остро нажгло сквозь гимнастерку спину, не охлажденную землей, как необоримо бил его озноб, соединяясь с колючим жаром, и не было у него воли справиться с дрожью зубов. «Что же со мной такое, я упаду сейчас»,— подумал Владимир и встал с дурманной неустойчивостью, шагнул к брустверу, упал локтями на бровку, пытаясь наблюдать рядом с Ильей. Но зеркальные вспышки облитой солнцем листвы, движение солнечных бликов в траве под яблонями ослепляли его горячей яркостью. Он не очень отчетливо видел то, что возбуждало внимание Ильи, и, потерев заломившие глаза, наконец освободил из футляра бинокль. Неправдоподобно приблизились кусты малины и чье-то молодое, совсем мальчишечье лицо с еле обозначенной полоской усиков, поднятое к этим кустам, наивно и смешно вытянутые губы, измазанные соком, ловко хватающие крупные ягоды, сочные, спелые, упруго налитые сладкой ароматной влагой; и были странно радостными слегка прижмуренные в потоке солнечных лучиков глаза этого мальчика-немца, завиток волос, прилипших к потному лбу. В благостном изнеможении он лежал на земле под кустами, в жаркой недвижной духоте малинника, и зеленый мундир был до ремня расстегнут, его пилотка, с верхом наполненная ягодами, лодочкой стояла в траве, и, наслаждаясь затишьем, золотым днем, безопасностью, он лакомился и ласковым вытягиванием своих улыбающихся губ будто играл с нависшими над его лицом ягодами. И в сознании Владимира на минуту возникла неведомая, пахнущая лавандой Германия, некий островерхий чистый домик в саду с подстриженной травкой, желтый песок на ровных дорожках и здесь же немецкий мальчик, в белых чулочках, в белой панамке... Где он видел это? На фотографиях, найденных в документах убитых?

Все было до отчетливых подробностей различимо в бинокль, и так близко было лицо немца, капельки пота на лбу, незагорелая шея, открытая распахнутым воротником мундира, что почудилось — случайно обнажена была часть чужой жизни и чужое забвение. Но в безобидной его забаве, его мальчишеском удовольствии, его радостной ловле улыбающимся ртом спелых ягод чу-

дилось одновременно и что-то запрещенное, недозволенное, чего не хотелось видеть сейчас.

— Пасется себе, как теленочек! Ах ты, сволочь милая,— жестко сказал Илья, вероятно, хорошо разглядев немца под кустами малины, и, полоснув опасной чернотой глаз по невозмутимой спине Лазарева, приказал негромко: — Шапкин, дайте-ка мне свой карабин! Разрывными заряжен?

— Завсегда разрывными. У пули головка красненьким покрашена,— браво отозвался Шапкин и, качнув округлыми плечами, подскочил к Илье, выкинул в руке новенький немецкий карабин, с которым никогда не расставался и обычно носил его на ремне, стволом вниз.

— Значит, ползаешь там и пасешься? Ах ты, сволочь милая,— повторил Илья и, точно леденея смуглым лицом, взял карабин на изготовку, упер раздвинутые локти в покрытую дерном бровку бруствера, прицелился, вжав выбритую щеку в полированную ложу.

Никто не успел ничего сказать ему, никто не успел остановить его — громом рванул тишину, прокатился выстрел, эхом сорвался по лесам окрест, и в то же время немец испуганно вздернулся, непонимающе озираясь, суматошно застегивая мундир, затем схватил с земли наполненную малиной пилотку, плоский котелок с помидорами, оказавшийся у него под боком, и осторожно на коленях стал отползать назад, исчез на несколько секунд за кустами малины, прыжками стремительно выбежал из-под крайних тополей сада, бросился вверх по крутой солнечной насыпи, загребая, оскальзываясь по песку сапогами, в одной руке держа пилотку, наполненную малиной, в другой — алюминиевый котелок с помидорами. И тут вторично треснул над ухом выстрел, ударил в нос вонью пороха, и немец на насыпи странно подпрыгнул, качнулся назад, вскинул руки, будто в ужасе хватаясь за голову, за растрепанные светлые волосы. Выпущенный котелок покатился вниз по насыпи, рассыпая помидоры, пилотка с малиной шлепнулась в песок, и, зачем-то повернувшись обезображенным страхом лицом в сторону выстрела, немец, спотыкаясь при каждом шаге, побежал обратно, в сад, и там под крайними тополями упал, зарылся лицом в траву, плечи его дергались, похоже от рыданий, и было страшно видеть, как белокурые волосы его и трава вокруг начали отблескивать красными жирными пятнами на палящем солнце.

— Готов фрицевский птенчик!..

Илья отбросил на бруствер карабин, гневно глянул на Шапкина, сказавшего эту фразу, потом наткнулся на растерянный взгляд Владимира, на угрюмо сверлящие стальными буравчиками глаза Лазарева и при всеобщем молчании сел с показным безразличием на снарядный ящик. Тонкая смуглость сходила с его щек.

— Из-за помидорного дерьма устроили перемирие с немцами? — проговорил он тугим голосом.— Забыли, как позавчера половину вашего взвода хоронили? Забыли братскую могилу вот за этим лесом? Хороши у тебя ежики, Васильев! За жратву маму родную продадут! Дерьма такого не видели?..

Он выругался и, выхватив из котелка лоснящийся упругой плотью помидор, неизвестно зачем с размаху влепил его в песчаную стену снарядной ниши. Помидор расплылся по стене красным месивом, стекая мякотью на дощатую крышку ящика, и опять тошнота подкатила к горлу Владимира. Он успел выбежать из орудийного дворика, и на опушке леса рвота и кашель заставили его схватиться за ствол сосны, он долго мучился, едва не плача в бессилии, его душило отвращение перед чем-то густым, красным, жирно поблескивающим там, в саду, под тополями, и здесь, на стене ниши, на досках снарядного ящика.

В тот же миг гулкий вихрь пронесся над головой, обесцвеченные солнцем молнии просверкали возле орудия, пули звонко и сочно защелкали вблизи, сбитая хвоя посыпалась на пилотку Владимира. Вытирая губы, слезы на глазах, он кинулся обратно к огневой позиции, еще не сообразив, откуда дал очередь по орудию немецкий крупнокалиберный пулемет.

Все на огневой позиции смотрели в одном направлении, где слева за железнодорожной насыпью продолжался лес, где издали светились коричневые стволы сосен и ослепительно синело небо меж кронами. Но всюду стояла звенящая кузнечиками тишина. И непонятно было, откуда стрелял пулемет,— не могли же привидеться Владимиру оранжевые трассы, этот гулкий грохот крупнокалиберных очередей в ответ на два выстрела из карабина. «Мне надо выспаться, все смешалось у меня в голове, бред какой-то...»

— Теперь ясно, где немцы окопались! Но мне неясно, почему братание с ними устроили! — опять заговорил Илья непререкаемым тоном.— Впереди нашей пехоты нет, а вы, как вижу, хорошо, ребята, живете!

— Зачем стрелял, лейтенант? — скучно спросил Лазарев, и его щекастое лицо угрожающе закаменело.

— Дальше, старшина,— Илья неторопливо поставил ногу в брезентовом сапожке на снарядный ящик, медленно оглядывая железнодорожную насыпь.— Продолжайте, я слушаю, старшина.

— Зачем ни с того ни с сего ты нашу обстановку нарушил? — раздувая ноздри, повторил Лазарев.— У тебя подчиненный взвод есть, там и фордыбачь. Чуешь? Никто тебя сюда не звал, лейтенант.

Он не повышал голоса, но взгляд его стал свинцовым, остановленный на брезентовом сапожке Ильи, ладно сидящем на ноге (сапожки эти были выменяны на трофейный парабеллум у интендантов в тылах стрелкового полка), и Владимир тоже увидел поставленный на снарядный ящик узкий сапожок, аккуратный на вид, немного облепленный сбоку песком и хвоей. Еще в артучилище и здесь, в полку, Илья по-особому тщательно носил новую форму, полевые погоны, подшивал к гимнастерке непонятно где раздобытый целлулоидный подворотничок (мечта всех молодых офицеров), и форма шла ему, гладко, без складок облегала его плечи и сильную грудь, перетянутую портупеей, продетой под свежевыстиранный или извоженный землей погон, а этот сапожок, уверенно поставленный на снарядный ящик, подчеркивал вроде бы его независимую и легкую силу, так раздражавшую, наверное, Лазарева, взбешенного этими неожиданными выстрелами Ильи, разом нарушившими безмятежный покой около орудия.

— Сапожки нафигарил на ходули и думаешь, лейтенант, все перед тобой в батарее на задних лапках ходить будут? — медленно выговорил Лазарев, и кругло набухли жилы на его толстой широкой шее.— Подмять нас дисциплинкой хочешь, лейтенант? Кишки через нос потянуть, чтобы издали боялись?— продолжал он с задушливым хохотком.— Ты меня плохо знаешь, в разных взводах были, а ты хоть офицер, но я невзначай обидеть шибко могу, ежели меня к земле ногтем!.. Понял?

— Обидеть? Шибко? Меня? За что? Ах ты, глупец, Лазарев! Ну, здравствуй, если ты такой нервный! Давай пять, чего смотришь! — сказал несколько недоуменно Илья, обнажая ровные зубы холодной улыбкой, и, не убрав брезентового сапожка со снарядного ящика, протянул старшине руку.— Здравствуй, уважаемый, здравствуй!..

— Чего?
— Здравствуй, говорю.

Лазарев разъяренно глянул на протянутую ему руку, явно не понимая этого жеста, но сейчас же, видимо, мгновенно решив проучить чужого лейтенанта раз и навсегда, с силой ударил своей огромной бугристой ладонью в ладонь Ильи, так что раздался хлесткий звук, и клещами охватил, сдавил его пальцы.

— Гляди, лейтенант, косточки переломаю, ровно барышне! — пообещал Лазарев с тем же сиплым хохотком и, уже приглашая всех в предложенную игру, подморгнул набрякшими складками век Калинкину и Шапкину, который присел на станину в удивленном ожидании, заломив на затылок пилотку.

— Ломай, Лазарев, не жалей,— разрешил Илья и с опасным жестким спокойствием заглянул в намеренно заскучавшие перед борьбой глазки Лазарева.

Минуты две они стояли друг против друга, соединенные в противоестественном поединке, стискивая поворачивающим один другому кисти рукопожатием, старшина Лазарев все сильнее, все беспощаднее ломал пальцы лейтенанта, пытаясь придать щекастому лицу сонное, скучающее выражение, тупо глядя в бледный лоб Илье, омытый капельками пота.

— Пошли, пошли сюда, Микула Селянинович,—сказал вдруг Илья и потянул Лазарева к нише, где было посвободнее, и здесь они опять стали друг против друга, сцепленные враждебным рукопожатием.

Потом, раскорячив бревнообразные, в кирзовых сапогах ноги, Лазарев не без ленивой уверенности бодающе ударил Илью головой в плечо, предлагая начать борьбу, но тот порывисто и гибко полуотвернулся и, качнувшись вперед, молниеносно перекинув руку Лазарева через свое плечо, рванул ее так резко, что хрустнул сустав, и тотчас, морщась от горлового вскрика старшины, изданного сквозь оскаленные зубы, как-то боком бросил тяжелое тело на бруствер орудийного дворика и, сделав шаг к поверженному Лазареву, выпрямился над ним, глубоко дыша, оправляя на груди портупею, сбившуюся в борьбе. А Лазарев, весь потный, с широкой, надувшейся шеей, жадными глотками хватал воздух, затрудненно подымался, держась за локоть, и повторял с задышкой:

— Ты, значит, хрящ мне хотел сломать, та-ак? Запрещенным приемом, значит, хрящ сломать?..

— Правильно. Хотел. Но не сломал. В другой раз сломаю. И в госпиталь отправлю, дурака чертова.

Одергивая гимнастерку, Илья говорил вполголоса, точно удерживаемый презрительной неохотой объяснять что-либо, а его прищуренные глаза горели неумолимым огоньком.

— Если у тебя в башке есть хоть пара извилин, то слушай, Лазарев, и запоминай,— продолжал Илья с непререкаемой вескостью.— Во-первых, таких, как ты, я встречал еще в школе и в училище и, уверяю тебя, клал на лопатки. Во-вторых, ты будешь мне подчиняться как шелковый. Ясно? Я — командир первого взвода, и меня назначили исполнять обязанности командира батареи. Тоже ясно? Все раскусил, старшина? Или не все?

Лазарев стоял перед Ильей, задыхаясь, щетина разительно выделялась на его озлобленном, посеревшем лице; однако он нашел в себе силы, чтобы выговорить с ласковой ненавистью:

— Может, научишь хитрому приемчику, лейтенант?

— Не научу.

— Смотри не прогадай, еще моей дружбы попросишь. Я ведь парень ежик, в голенище ножик. Сегодня твоя взяла, завтра — моя.

— Се ля ви [1], как говорят французы,— сказал с ответной деланной любезностью Илья и так передразнивающе-нежно похлопал ладонью по крутому плечу Лазарева, что тот лишь каменно сжал челюсти.— Договорились? Или требуются еще аргументы?

В этой внезапной схватке со старшиной Илья не скрывал своего насмешливого превосходства над командиром отделения разведки, человеком старше его лет на десять, избалованным собственной силой, но все же вынужденным подчиниться ему, офицеру,— мальчишке, пришедшему сюда, на огневую, в новом качестве старшего на батарее и мигом нарушившему установленный здесь порядок.

Владимир знал по школе и по военному училищу нетерпимость Ильи к чьей-либо физической силе, знал, как одержимо занимался он с седьмого класса то гимнастикой, то в секции бокса, нагоняя мышцы непрерывными упражнениями, подтягиванием на турнике, постоянным

---

[1] Такова жизнь.

сжиманием в кулаке резинового мяча, и уже к девятому классу приобрел славу самого сильного «из четвертого дома», и никто из соперников в замоскворецких переулках не пытался заносчиво вызвать его «на стычку» один на один. Когда в артиллерийском училище он, похудевший на скромном пайке, забыв, мнилось, былые увлечения, стал вновь обтираться снегом на утренней зарядке и ходить по вечерам на занятия самбо, показалось это лишним, смешным, подобно довоенной тщеславной игре ловкостью натренированного тела в гимнастическом зале на глазах девочек. И Владимир сказал Илье об этом, а тот принял его замечание добродушно и ответил, что отлично развитая мускулатура необходима во многих случаях жизни, дабы не быть униженным силой других.

Унижение Лазарева было явным, и ему едва хватало силы воли, чтобы расчетливо справиться с безнадежным припадком ослепляющей злобы, что еще больше унизило бы его в глазах офицеров; опытный ум Лазарева подсказывал вернуть хотя бы видимость равновесия, смягчить поражение, и елейным безумием прозвучал его охрипший голос:

— Может, на ножичках еще договориться попробуем? По цыганскому обычаю! У вас, вижу, финочка отечественная, у меня трофейная... разница с гулькин хрен, ежели до первой крови!

И вытянул из ножен, словно из тела ненавистной жертвы, тонкую, с кровожелобком, финку, поплевал на ноготь, потрогал стальное лезвие, и Илья, уже теряя самообладание, упруго шагнул к нему, сказал, гневно кривясь:

— Хватит! Кончай блатной цирк, Лазарев! Или я тебе действительно шею сломаю, ясно?

Лазарев не без ритуальной осторожности вытер финку о рукав, и широкощекое лицо его с изобильной сладостью закивало Илье.

— А финочка в деле была. Испробована.

Илья повторил:

— Я спрашиваю — ясно? Или нет?..

И в его голосе было столько властной силы, столько подчиняющей себе уверенности, готовности пойти на все ради душевного порядка и ради порядка формы взаимоотношений, что Лазарев, по-видимому, трезво осознал в тот миг, на что может решиться командир первого взвода, назначенный на должность комбата.

— Ясненько,— ответил Лазарев и втолкнул финку в ножны.— Так и запишем. Ясненько.

— Ну, то-то. Советую заняться целями для батареи и, пока не поздно, оборудовать энпэ, а не братание устраивать! — посоветовал резко Илья и сказал Владимиру: — Надо поговорить, Васильев.

Они шли по лесной дороге, усыпанной хвоей, испещренной солнечными островками, отовсюду наплывало тепло растопленной смолы, накатывало из-за кювета духом нагретой малины, и Владимир не мог забыть, как тянулся губами к спелым ягодам белокурый мальчишка-немец, как второй выстрел настиг его на открытой насыпи, как упал он лицом в траву, выронив пилотку с малиной, и волосы его стали жирно набухать красным.

— Зачем ты?..— сказал Владимир, чувствуя недомогание.— Не надо было...

— А ты, Володенька, сердобольный, как вижу. Или ты что — вместе с Лазаревым перемирие с немцами подписал? Тоже мне — командир отделения разведки называется! Перекочевал в твой взвод, делает вид, что сидит на передовой, жрет, кантуется, а где немецкая передовая — не знает. Твое орудие стоит на прямой наводке, насколько я понимаю, а немцы где?

— Немцы были на насыпи.

— Где — на насыпи? На мои выстрелы один пулемет откуда-то слева ответил — и все. Ну, где перед тобой передний край немцев? Куда стрелять будешь?

«Он разозлился и на меня?» — подумал Владимир, сотрясаемый ознобом, опустошенный, еще не опомнившийся после позавчерашнего боя, когда самоходка разбила его орудие и погибший расчет во время контратаки танков, километрах в двух позади этого соснового леса.

— Ты, пожа-жалуйста... за меня не беспокойся,— возразил Владимир, и его слова, смятые стуком зубов, заставили Илью быстро взглянуть на него.

— Слушай, может, тебе в госпиталь надо с твоей контузией? Ты что дрожишь?

— Н-нет, это так, ничего,— пробормотал Владимир.— Контузия несильная. Пройдет.

Илья расстегнул воротник гимнастерки, задержался возле кустов дикой малины, разросшейся за обочиной дороги, опахнувших горячей листвой, древней духотой леса, и сорвал несколько крупных ягод, кинул их в рот.

— Пакость... теплые какие-то. Как он их ел?..

Он брезгливо сплюнул и полез за портсигаром, немецким, металлическим, с виньетками готического рисунка на крышке, вынул папиросу, в его глазах прошла мрачная тень злого воспоминания, и властно поджались губы, как бывало всегда, когда он не хотел чувствовать себя неправым.

— Вот что, Володя,— заговорил Илья, садясь на поваленную сосну неподалеку от просеки, на которой виднелись замаскированные плащ-палатками два орудия, и солдаты, закрыв лица пилотками, лежали на траве, грелись и дремали на солнышке.— Глупость положения вот в чем. Впереди тебя нет нашей пехоты и нет немцев на насыпи. Мои орудия после боя держат эту дорогу. И, как видишь, солдаты загорают. Приказ стоять, и мы стоим, как слепые. Ты думаешь, танки пойдут на этот лес? Что-то не очень похоже. Позавчера все было ясно. Мы наступали, они драпали. А где сейчас немцы — за насыпью или еще дальше отошли — бог его знает. Таким образом, мои два орудия мы снимем отсюда и поставим метрах в ста от твоего, на опушке. Так будет разумнее. Если и пойдут танки, то они наверняка попрут через железнодорожный переезд, а потом через мост...

Он закурил, пожевал кончик папиросы, бисеринки пота выступали у него над сдвинутыми бровями от духоты парного воздуха. И пахло здесь тяжелой пряностью тлена, сонно жужжали над дорогой зеленые мухи, точками сверкали на солнце, садились на вдавленные колесами в песок разбросанные здесь предметы позавчерашнего боя — расплющенные колесами ребристые цилиндры немецких противогазов, железные лотки из-под мин, смятые коробки сигарет, разбросанные сахарно-белые пластинки искусственного спирта — загадочные иноземные предметы, притягивающие любопытство Владимира заключенной в них иной жизнью, имеющей свой запах и свой смысл.

— Где-то поблизости убитые,— сказал Владимир,— ощущая в парном воздухе липкую струю разлагающейся плоти, как бы приносимую сюда жужжанием зеленых мух.

Илья поморщился, каблуком вдавил в песок пустой магазин немецкого автомата.

— Глупость положения заключается в том, что мы с тобой во многом зависим от Лазарева,— продолжал Илья раздраженно.— А я неопределенности терпеть не могу!

— Ночью Лазарев выберет энпэ на насыпи. И все будет в порядке.

— Нет!

— Что «нет»?

— Нет,— сказал Илья.— Во-первых, до ночи далеко. А во-вторых, что-то я Лазареву не очень верю. По-моему, мордой в землю его придется тыкать не раз. Поэтому думаю Шапкина назначить командиром отделения разведки, а Лазарева на его место, на связь. Так будет надежней. А там — посмотрим.

Илья без колебания принял командование тремя полковыми орудиями и девятнадцатью солдатами, оставшимися после позавчерашнего боя, когда погибли командир батареи старший лейтенант Дробышев и командир взвода управления лейтенант Курочкин, убитые вместе со всем расчетом четвертого орудия. Они были убиты прямым попаданием — две самоходки засекли орудийные выстрелы, незаметно зашли с фланга на поросшие кустарником высотки и ударили с дальности двухсот метров по открытому орудию. Третье орудие стояло на перекрестке полевых дорог, шагах в ста пятидесяти правее четвертого, самоходки, не медля, перенесли огонь на него, а когда Владимир, оглушенный раскаленным грохотом, засыпанный землей, давясь кашлем, очнулся, то увидел, что весь край придорожного кювета был развален, срезан дымящимися воронками, острые края осколков торчали из обугленной почвы, и это было роковое счастье, везение, снисходительность судьбы, сохранившей ему жизнь несколькими сантиметрами уцелевшего пространства. Он был контужен, и временами слитый в сплошной звон стрекот сверчков заполнял уши, как если бы лежал он на крыше сарая звездной ночью в деревне, порой плотная глухота окружала его, было больно, пьяно в голове, и он не слышал своего голоса. А то, что осталось от четвертого расчета, то, что надо было собирать потом по кускам и хоронить возле исковерканного орудия в наскоро выкопанной могиле, было настолько ужасающе безобразно, что невозможно было никого узнать даже по одежде, назвать по фамилии, невозможно было различить старшего лейтенанта Дробышева и лейтенанта Курочкина. Контузия, затмившая сознание Владимира, сместила реальность, его охватило неистовое бешенство, и, отдавая команды единственному теперь орудию из своего взвода, он злобно ругался, плакал и кулаком размазывал слезы по исполосованному пороховой копотью лицу.

Пехота подымалась в атаку несколько раз, залегала и вновь подымалась свистками, криками и ракетами, вскоре поле до самых немецких траншей густо затемнело бугорками убитых, и последняя атака была совершенно обессиленной — редкие фигурки оторвались от земли, двинулись в огненный хаос трассирующих очередей.

В темноте бой кончился, все смолкло. Пехота, потеряв в течение дня половину недавно прибывшего пополнения, наконец захватила траншеи немцев, втянулась в лес и поздним вечером заняла железнодорожную станцию за лесом.

Орудия получили приказ сняться, первому взводу Рамзина занять позицию в районе просеки, вблизи дороги, на танкоопасном направлении, а второму взводу Васильева (одному оставшемуся орудию) стать на прямую наводку напротив железнодорожного переезда. К середине ночи оборудовали огневую позицию, вырыли ровики в полный профиль, и целый следующий день, неподвижный, знойный, прошел в состоянии полусна, когда не хотелось двигаться, есть, говорить, когда у Владимира, не вылезавшего из своего ровика, звенело в голове и всплывали в памяти рваные окровавленные куски одежды с металлическими офицерскими пуговицами, воронки между станин, что-то студенисто-красное, лохматым сгустком прилипшее к щиту скособоченного орудия, и по всему полю бугорки убитых из недавно прибывшего пополнения — новые шинели, нелепо встопорщенные на спинах, еще не заношенные обмотки, толсто накрученные на ногах...

Утром его разбудил командир орудия сержант Демин, позвал к расчету на царский завтрак — мед, огурцы, помидоры, арбузы,— но Владимир наотрез отказался: все возникал перед глазами тот жирный студенистый сгусток на щите разбитого орудия, и разом начинало мутить, выворачивать пустой желудок, вызывая судорожным кашлем обильные, унижающие его слезы, которые он стеснялся показывать солдатам.

Он не хотел вспоминать позавчерашний бой, не хотел, чтобы Илья знал о контузии, завидуя его педантично выбритому смуглому лицу, его несомневающейся силе при утверждении себя в новом положении командира батареи и исполненному решимости голосу, каким он заявил сейчас о недоверии командиру Лазареву.

— Думаю, что лейтенант Курочкин, пусть земля ему будет пухом, до невыносимости избаловал Лазарева, сам

за него все делал, а тот пыль пускал в глаза,— сказал Илья.— Для чего, спрашивается, мне такая артиллерийская разведка? Не знает точно, где немецкая передовая! Но ходит по батарее индюком.

— Ты знаешь, что Лазарев до фронта сидел в тюрьме и вообще — темный тип, с ним не хотят связываться.

— Знаю, но знать не хочу. Мне плевать, кто он был. Мне важно, кто он есть. Гнать Лазарева из разведки надо, немедленно гнать! В шею! Считает, видишь ли, себя пупом земли в батарее. Не хочет никому подчиняться. Дурак! Но я его заставлю выполнять свои обязанности как образцового солдата или сломаю ему хребет, идиоту!

— По-моему, ты его уже приложил достаточно.

— Так нужно было! И впредь — ничего прощать я ему не намерен.

— Тебе видней, Илья. Разведка и связь в твоем подчинении.

— Вот именно. В моем.

«Разве можно согласиться с тем, что решение Ильи в тот июльский день 1943 года сыграло роковую роль в его судьбе, изменило всю его жизнь? И я ничего не мог сделать предугадать? Но можно ли было его остановить?»

Они вернулись к орудию, и Илья объявил о перемещении командиров отделений взвода управления. Выслушав приказ, Лазарев мерцающими нацеленными глазами охватил с ног до головы плотную фигуру Шапкина, затем с ленивой яростью сплюнул через бруствер и присел к котелку с медовыми сотами, внешне несокрушимый в собственной правоте. Это перемещение ничего, по существу, не изменило в жизни Лазарева («что разведка, что связь батареи — один черт!»), но по тому, как Лазарев, расширив ноздри, сидел на станине орудия и жевал соты, с напускным интересом глядя на вьющихся вокруг котелка ос, по тому, как упорно молчал, видно было, какого усилия стоило ему подчиниться полностью жесткой воле нового комбата, оборвавшего его прочное положение независимости от командиров огневых взводов. Калинкин, вытянув голую шею, принялся озабоченно разрезать на брезенте арбуз, остальные лежали в тени брустверов, негромко похрустывая огурцами, никто не решился

посмотреть в лицо Лазарева, который постепенно перестал жевать, широкие его скулы затвердели.

— ...Так вот что. Два орудия из леса передвигаем на опушку, к орудию взвода Васильева,— приказал Илья тоном ни в чем не сомневающегося человека.— Перемирие с немцами кончено. Это вам стоит уяснить, Лазарев. И сачкование кончено. Шапкину немедленно занять и оборудовать энпэ на железнодорожной насыпи. В районе сада и домика. Даю два часа на оборудование. Лазареву даю столько же на связь с пехотой.

Ровно через два часа ему доложили, что наблюдательный пункт на железнодорожной насыпи оборудован, связь проложена к окопанным на опушке трем орудиям, установлена с правофланговым стрелковым батальоном, занимавшим станцию, и Илья перебрался на другую сторону ручья, к насыпи, чтобы обосноваться на наблюдательном пункте батареи.

И снова летний покой солнценосного дня потек из чащи соснового леса, обволакивая орудия жарой, тишиной, однотонным гудом лесных ос, и наползала вязкая пелена дремоты, и после еды слипались у солдат веки. Часовой Калинкин сидел на станине крайнего орудия, изредка протяжно зевал в сладострастной истоме, хлопая побабьи корявой рукой по рту, а сержант Демин, крепкогрудый, русоволосый красавец, устроился под бруствером и, надвинув на лоб пилотку, жмурился на кучевые облака, сияющие краями в синеве неба. Остальные солдаты расползлись с солнцепека, с голого места у орудия — кто в открытые ровики, поближе к земляной прохладе, кто в нишу для снарядов, прикрытую брезентом.

Владимир лежал на плащ-палатке, разостланной на опушке леса, возле огромной сосны (чуть внятный холодок шел здесь от земли), и чувствовал, как отпускает головная боль и весь он будто растворяется в этой мирной лени сытого часа, в пестроте бликов, в этом благолепии щедрого лета, которое настойчиво обещало вечную неизменную жизнь с зелеными, светообильными днями, пропитанную любовью, радостью, как когда-то было, в дачные сумерки Малаховки, затянутой сизыми самоварными дымками, озвученной патефонами из заросших сиренью переулков, поздними гудками и шумом электрички за озаренным луной лесом.

Мучительнее всего было то, что Илья получал письма от Маши, треугольнички, свернутые из разлинованных листков школьной тетради, и, подняв насмешливые брови, читал их, затем говорил несколько удивленно: «А!» — и не без небрежности засовывал письма в полевую сумку. И всякий раз Владимир не мог побороть себя, спросить, что и о чем она пишет из Ташкента, и всякий раз Илья, передавая ему Машин привет из эвакуации, прибавлял с усмешкой: «Представляешь, они еще за партами решают задачки по геометрии. Восторг, умиление, птичий щебет в садах! Ну что ей отвечать? «А мы, знаешь ли, Маша, дорогая, стреляем по танкам»? Лучше ответь ты, хочешь?»

В его отношении к ее письмам была снисходительность взрослого человека к детским словам школьницы, с которой вроде бы вскользь виделся много лет назад, теперь же не хотел утруждать себя регулярной перепиской. А Владимир охотно писал ей, вернее — отвечал за двоих, но письма по-прежнему приходили не ему, и время от времени он испытывал чувство обиды и несправедливости. Надо было, очевидно, не вспоминать ее часто, пора было относиться к тому наивному, школьному так, как относился к прошлому Илья,— с дружеским снисхождением офицера, понявшего на войне гораздо больше, чем Владимир,— за девять месяцев учебы в артиллерийском училище и за двенадцать месяцев фронта, где оба командовали огневыми взводами и разлучались лишь изредка, поддерживая огнем разные батальоны.

К командованию батареей Илья был готов давно по складу своей натуры. Бывшего комбата старшего лейтенанта Дробышева, человека немолодого, тугодумного, неповоротливого, призванного в армию из запаса «гражданского тюфяка», Илья не принимал всерьез, но выполнял его приказания с той искусственной старательностью, какая помогла ему скрыть личное нерасположение.

«Теперь в батарее он заставит всех слушаться себя,— думал Владимир, разморенный дремотой, лежа на плащпалатке под кроной сосны.— Он заставит всех выполнять свои обязанности и не потерпит ослушания».

Вверху, за широкой зеленой вершиной, высоко таяли нежнейшим дымом закруглений насыщенные светом облака, и Владимиру чудилось, что когда-то знойным днем после купания он вот так же лежал в лодке, опустив весла, слыша хлюпанье воды за звучными бортами, все чудесно пахло летней рекой, мокрым полотенцем, а мимо

текли дачные берега Клязьмы, и плыли вдоль зарослей камыша опрокинутые в воду круглые облака.

И сквозь дрему вспомнился конец лета в Москве, когда начинали съезжаться к учебе,— долгие августовские вечера во дворе, в переулках Замоскворечья отдавали тепло асфальта, в школьном саду на закате подымалась розоватая пыль над многолюдной волейбольной площадкой, а когда он принимал мяч, поданный Машей, то видел, как взлетали ее выгоревшие волосы, блестели удовольствием и смехом глаза от ощущения юной гибкости тела и от сознания своей власти над теми, кто чересчур внимательно поглядывал на ее золотисто-загорелые плечи, почти шоколадные в сумерках от морской воды и южного солнца...

Владимир пошевелился и сел, привалившись к стволу сосны, его окатывал, наплывая волнами, смолистый воздух, а вокруг все лежало в прокаленной сонной одури, усыпляемое треском кузнечиков. От орудия, из снарядной ниши, из-под брезента доходил солдатский храп, внушая чувство нерушимое, домашнее, точно позавчера и не был похоронен в братской могиле весь четвертый расчет. Часовой Калинкин с карабином на коленях, задремывая на станине, затяжно зевал, ворочал красными белками и, внезапно разбуженный толчком ноги Демина, отозвался обиженным вскриком:

— Очумел, никак?

Тогда Демин приподнял с земли красивую русоволосую голову, позвал не без юродствующей вкрадчивости:

— Калинкин!

— А?

— Дурака нà!

— Опять свое? Что я тебе сделал? К чему измываешься? Земляк ведь ты мне, Демин. Сколько нас тут, воронежских: раз, два и обчелся,— заговорил голосом тихой укоризны Калинкин, и верхняя, рассеченная осколком губа его, похожая на заячью, съежилась виновато.— Не обижай ты меня, за-ради бога... Двое нас из земляков осталось. Позавчерась Макарова свалило... из Малых Двориков. Осколком так грудь и разворотило. Последние мы с тобой.

А Демин, потягиваясь на земле молодым телом, наслаждаясь ничегонеделаньем, сытой истомой, снова позвал притворно-озабоченно:

— Калинкин! Слышь, Кали-инкин! Или, как глухарь, оглох!

— Ну чего? А?

— Дурака нà. Умный очень. Потому тебя на посту в храп тянет. Башка хитрит. Откель ты хитрый такой?

— Для какой своей нужды пристаешь ты, Демин? — жалобно спросил Калинкин, и подобие улыбки сморщило его изуродованную верхнюю губу.

— Лопу-ух. Как не думаешь, так не думаешь, а как подумаешь, так что ты думаешь? — проговорил Демин, преисполненный напускного ликования, и просторной грудью выдохнул воздух.— Сундукам из вашей деревни завсегда везет. Особенно ежели ухи лопухами,— продолжал с издевательской растяжкой слов Демин, следя за изменением облаков в небе.— А у вас лопухастых за каждым плетнем. И полдеревни Калинкиных. Надо же! Куда ни плюнь — все в какого-нибудь Калинкина попадешь. И все коровы Дуньки, а собаки — Шарики. От, дуроломы несусветные!..

— Чем же мы тебе не по душе-то? — робко забормотал Калинкин.— Деревня наша маленькая, всего пятнадцать дворов: люди хорошие, работящие. В вашем-то Михайловском парни дерутся, бывало, а у нас в Двориках тихо, гармошка играет, девки поют. Мы — тихие, у нас садов и пасек много. Мы никого не забижали.

— Я тебе и говорю — святой ты дворицкий, будешь сто лет после войны на гармошке наяривать, а потом на небеса вознесешься — и прямо в рай,— сказал Демин, колыхнув смехом грудь, и через минуту позвал скучающим голосом: — Калинкин!

— Ну че?

— Оглобля через плечо!

— Опять свое? Что я тебе сделал, Демин?

— А я тебя спрашиваю сурьезным русским языком, Калинкин, на каком основании у вас в колхозе все собаки — Шарики?

Были беззаботно-праздными эти часы июльского дня, который запомнился Владимиру, как жгучий солнечный блеск перед чернотой...

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Когда после заката в темно-розовой, вечереющей воде начали задремывать неподвижные пепельные облака, когда потянуло травянистой сыростью из низины, с наблюдательного пункта позвонил Илья, весело сказал, что

«хватит отсыпаться, приходи чай пить с маком в известный домик под деревьями»,— и Владимир, проверив у орудий часовых, перешел по бревенчатому мостику на другой берег ручья, уже погасшего, на ощупь спустился крутым откосом в сад. Здесь потемки дохнули запахом зреющих яблок, сухостью плетней, еще не остуженных прохладой.

Домик был скрыт яблонями, под звездным светом крыша сумеречно отливала в гуще листвы синей жестью, на побеленной стене застыли слабые лапчатые отпечатки теней дикого винограда, в трех шагах от крылечка ртутно поблескивало отполированное старое ведро на жердине «журавля», окруженного темнотой сада,— все было по-деревенски покойно, уютно, с глухим стуком падали в траву переспелые яблоки. Часовой, одурев в одиночестве, придушенным голосом окликнул подле дома: «Стой, кто идет?» — и вышагнул на тропку меж деревьев, потом трескуче разгрыз яблоко, заговорил, обрадованный взбодриться разговором:

— Благодать-то какая и чуднò как-то... Ни ракет, ни выстрелов. Вроде и немцев нигде нету. Только вон сверчки очереди дают. Осатанели...

Он говорил с полным ртом, посапывая, глотая сок яблочной мякоти,— в этих звуках было тоже что-то древнее, успокаивающее, пришедшее из глубины веков,— и Владимир переступил порог домика, смутно испытывая волнение.

В комнате обдало парным духом кипящего самовара, на столе высокая керосиновая лампа освещала тарелки с нарезанным салом, бутыль зеленого стекла, заткнутую тряпочкой, горку крупных яблок, раскроенный на половинки громадный арбуз, чернеющий семечками, оранжевый мед в блюдцах — целое богатство, пахучее, обильное, что напоминало о непрекращающемся празднике живых, который начался позавчера независимо от воли людей, отодвигая роковой час.

Илья, в расстегнутой гимнастерке с целлулоидным подворотничком, сидел за столом в красном углу, под иконой, украшенной расшитыми рушниками, снисходительно-ласково усмехался женщине лет тридцати, очевидно, хозяйке дома, которая в ответ кротко улыбалась яркими большими губами навстречу его веселому взгляду, и в ее влажной улыбке мерцала виноватая покорность.

Старшина Лазарев вместе со связистом возился у телефонного аппарата, прозванивал линию, проверяя связь

между орудиями, вопрошающе взглядывал через плечо на Илью и женщину, но в разговор не вступал, мудро удерживаясь вмешиваться в дела нового командира батареи.

— Вот и он, лейтенант Васильев! Познакомься, Володя, с прелестной хозяйкой гостеприимного дома! Видишь, какие красавицы есть еще на свете? А ты говорил — кончилось все в девятнадцатом веке!..— живо, как обычно, когда бывал в ударе, заговорил Илья, будто всю жизнь только и занимался разбиванием женских сердец, и обвел черными глазами круглую шею, полную грудь женщины.— Вот убьют к черту, и такого прекрасного экземпляра не увидишь. Что ж, целый вечер будем целовать вам ручки, Наденька.

Он явно преувеличивал насчет неотразимости красоты молодой женщины, но был в отличном расположении духа, каким давно не видел его Владимир, говорил тоном приятной шутки, и этот тон никого не обижал, а, напротив, располагал к его манере разговора.

«Все же хорошо, что мы с ним в одной батарее»,— подумал Владимир и кивнул хозяйке дома в знак состоявшегося знакомства.

— Насмехаетесь надо мной, Илья Петрович,— сказала женщина мягким голосом, ответив стеснительным кивком Владимиру, глядя на заварочный чайник, который она заливала крутым кипятком из самовара; вместе с паром распространялся жар разомлевшего смородинного листа.— Сидайте, будьте добры, вот сюда. Туточки удобненько вам будет.— Она показала Владимиру место на лавке под окнами, занавешенными слоем старых газет, и голос ее нежно обвил его волной певучей обволакивающей ласки.— Вы покушайте...

— А я серьезно говорю, Наденька,— продолжал Илья и взял ее загорелую, грубоватую кисть, галантно встал, поцеловал смело.— Никаких шуток.

— Да что вы, что вы... Не надо так...

Краснея сквозь загар, она сделала слабую попытку освободить кисть, но Илья не выпустил ее, крепче сжал пальцы и, прямо заглядывая в замирающие карие глаза, улыбаясь, поцеловал второй раз. Он не стеснялся открыто ухаживать за этой женщиной, которая, по-видимому, нравилась ему, и Владимир почувствовал в его игре непростые намерения.

— А когда немцы у вас были, неужто ручки бабам целовали? Или как? — спросил с невинной заинтересо-

ванностью Лазарев, не оборачиваясь от телефонного аппарата.— Насчет всякого тити-мити немцы бо-ольшие профессора! Картинки-то недаром с собой возят, вроде инструкции.

— Не уразумел,— тоже невинно сказал Илья.— Что вы конкретно имели в виду, Лазарев? Вы хотели сказать, что вам не нравятся топографические немецкие карты?

— Баб, говорю, они некоторых наших испортили... и заразили,— проговорил елейно Лазарев, не принимая во внимание смягчающую фразу Ильи.— Так стояли у вас немцы, красавушка? Целовали ручечки? — опять спросил он, и в елейном тоне его был разлит подслащенный яд, несомненно приготовленный не для нее, а для Ильи.— Или каким образом?

Женщина завернула кран самовара, накрыла чайник крышечкой, стала пододвигать к самовару чисто вымытые чашки с отколотыми краями, потом робко отвернула лицо в тень, где в простенке, над комодом, покрытом кружевной дорожкой, веерообразно висело несколько фотографий, среди которых в центре смутно виднелось строгое скуластое лицо парня в железнодорожной фуражке с довоенным значком на кармашке тужурки; женщина сказала вполголоса:

— На станции стояли, а у мэнэ не... Моя ж хата в стороне, а воны не любять крайние хаты. Раза четыре на мотоциклах приезжали. «Матка, давай курка, яйка, шпек». Помылись у колодца, натрясли яблок, взяли меду да уехали.

Покатые плечи Лазарева вздернулись.

— И — никаких зверств? И не приставали? Ай, люди?

— На станции учительку замучили и повесили... В сорок першем року прыихала к нам. Из Киева. Така синеглаза была...

— А тебя, красавушка, звери-враги не тронули? Чистенькая, значит, птичка, с белыми лапками. Это хорошо. А то, бывает, ваши бабешки сами к фрицам бросаются, а потом — глядь: фриценок сивенький под столом бегает. Как думаешь, лейтенант, такого птенчика не может быть у красавушки?

Он, Лазарев, видно, не мог простить себе изгрызающего душу унижения, которое пришлось ему перенести сегодня, и мстил Илье косвенно, а тот, удивляя неисчезающей добродушной улыбкой, смотрел на молодую женщину, на то, как она, опустив голову, тупо и бесцельно передвигала чашки под самоварным краном, почему-то не

решаясь разливать чай, а ее живое кареглазое лицо погасло, стало измученным.

— Вы сильный парень, старшина, это я знаю,— вдруг ровно сказал Илья, интонацией подтверждая эту неоспоримую истину.— Но если сейчас еще вякнете что-нибудь вумное, Лазарев, головой в окошко выкину, чтобы и духу вашего здесь не было. Ясно? Поймите, наконец, вумник,— продолжал он с безмятежной сухой вежливостью, отмеренно постукивая ногтем указательного пальца по столу.— Я несколько лет занимался боксом и самбо не для того, чтобы таким, как вы, давать себе на шею садиться. Тоже ясно? Гак вот. Если вашу тончайшую интеллигентную натуру я еще сегодня не научил уму-разуму, то сделаю это завтра в удобное для вас время.

Злые ноздри Лазарева кругло раздувались, его глаза побелели до дымной пустынности, он проговорил хрипло:

— Жми, дави, лейтенант! Только уж гляди! Я тоже медведя завалить могу. Я охоту люблю... и еще как заваливал...

Его крупная рука тяжело, случайно и скользяще тронула ножны финки и мгновенно отпустила их, в белую пустыню его выеденных ненавистью глаз страшно было глядеть, однако Илья, не дослушав угрожающего намека, нехотя встал, проникая любопытным взглядом в его опаляющие зрачки, скомандовал вполголоса:

— Марш на энпэ, старшина. И поменьше торчите у меня на виду, пока не поумнели.

— А что? Мы можем. Это мы враз. На энпэ так на энпэ,— осклабился Лазарев и, притворяясь по-службистски подтянутым, схватил с лавки автомат, враскачку подошел к испуганной хозяйке: — Спасибо, красавушка, за угощенье, до гроба помнить буду и чай, и сало, и самогончик. Сыт от пуза.

— Да я ж... да не кушали ж еще вы, да не выпили...— растерянно проговорила хозяйка в крутую спину выходившего Лазарева.

— Ничего страшного. Такие, как он, Наденька, с голоду не умирают. Ну, да ладно,— сказал Илья беззаботно и вынул тряпочку из горлышка бутылки, разлил самогон в чашки.— По сто грамм можно, думаю, а? Что, Наденька, чокнетесь с нами? — продолжал Илья добродушно и, подняв чашку, вновь обратился к хозяйке: — Разрешите, Наденька, за вас... за милую гостеприимную хозяйку! Как, Володя, ты поддерживаешь мой тост? За Надю, за то, что нам повезло встретиться с такой милой женщиной!

Он хотел понравиться ей и был возбужден этим бездумным ухаживанием, ни к чему не обязывающей легкой болтовней, этим почти городским уютом не тронутого войной чистенького домика, в котором хозяйка жила одинокой загадочной жизнью и теперь отвечала на его веселые слова растерянно дрожащей на полных губах улыбкой, и Владимир неловко спросил, разглядев над комодом фотокарточку строгого парня в фуражке железнодорожника:

— А муж на фронте?

Она ответила ослабленным певучим голосом:

— Ушел, как война началась, и ни слуху ни духу... Верно, убитый он...

Он проснулся оттого, что его трясли за плечо и кто-то повторял шепотом:

— Володька, вставай!

Он вскинулся на лавке, очнувшись от сна, услышал в духоте хаты равномерное посапыванье задремавшего связиста у аппарата, глубокую тишину ночи. На столе немощно горела керосиновая лампа, пахло перегретым закопченным стеклом.

— Вставай же!

Возле стоял Илья в распоясанной гимнастерке и без портупеи, его шепот осекался ласковой хрипотцой, в полутьме лицо светилось мягкой удовлетворенной усталостью.

— Что? — спросил Владимир быстро.— Что ты?

— Иди,— сказал Илья и толкнул его в плечо.— Она тебя ждет.

— Кто ждет? — не понял Владимир.

— Надя. Она на сеновале, во дворе,— ответил Илья и сел рядом на лавку, горячий, потный, коротко засмеялся.— Ну и женщина! — Он потрогал губу и заговорил, возбужденно прищуриваясь: — Если завтра не будет следов от зубок, значит — повезло. Не женщина, а сатана. Но, знаешь, она все разрешает, только боится этого... Слушай, такие роскошные груди, бедра... Иди! Она сказала, что не я, а ты ей нравишься. Так иди, Володька, что смотришь? Она ждет, говорю тебе.

Илья обнял его за плечи, подтолкнул с дружеским поощрением:

— Ступай.

«Сейчас он был на сеновале с той милой молодой женщиной и там целовал ее полные губы... а теперь он хочет,

чтобы пошел я? Пойти к Наде после него? Разве можно целовать женщину после кого-нибудь? Нет, у меня не хватит смелости. Я не могу...»

Но эта незнакомая Надя нравилась и ему, а когда она сидела с ними и угощала обоих за столом, от близости ее полной груди, крепких бедер, ее опрятного сильного молодого тела было порой тесно и томительно жутко и перехватывало дыханье от близости ее карих глаз, иногда нежных, покорных, лишь только он встречался с ней взглядом, принимая из женских ухаживающих рук чашку с заваркой смородинового листа.

— Не проснулся еще? Что пнем сидишь? Иди! И хватит думать. Сеновал в клуне. Выйдешь — увидишь. Проводить тебя, что ли?

— Перестань глупить, Илья. Я сам знаю, что мне делать.

Владимир слегка оттолкнул его, поднялся и через маленькую, напитанную духом хлеба кухню, отблескивающую крохотным оконцем, вышел в темноту сада на росистый воздух. Все было тихо, свежо. На траву, на листву деревьев пал влажный холодок глухой ночи, над ветвями играли, переливались июльские звезды.

Часового не было около дома, не слышно было его шагов, шуршанья по траве — наверное, стоял или сидел где-нибудь в саду, вслушивался в это безмолвие ночного часа.

Сарай проступал черным пятном в конце дворика, и там ждала его на сеновале молодая женщина, которую Илья, не стесняясь, называл Надей, Наденькой, которая так краснела и мягко улыбалась им то робеющими, то расширяющимися глазами на загорелом лице, так прямо держала спину и круглую шею с тонкими, светлыми завитками волос, как будто в одиночестве долго ждала, чтобы тоже понравиться им своей сохраненной девической статью, своей опрятностью, не уничтоженной деревенской работой в доме.

«Это — трусость. Как просто ухаживал за ней Илья и как непросто все у меня! Для чего все это? Я не хочу... Я думаю о Маше и не могу пойти к ней... Но что подумает обо мне Илья?..»

Клуня с сеновалом была в двадцати шагах от дома, надо было только пройти мимо тополей рядом с колодцем посреди дворика, подойти к полураспахнутой двери и здесь позвать тихонько: «Надя»,— и там, в непроглядном мраке, не будет стыдно, и он упадет вместе с ней, с ее крепким телом, куда-то в гибельную жуть сладчайшего

хаоса, что не в полную меру испытал всего один раз до войны, словно бы во сне.

— Наденька,— сказал он, пробуя произносить ее имя шутливо, как произносил Илья, но подражание получилось натужным, насильным, и он проговорил шепотом в пугающий его проем двери: — Надя!.. Надя, послушайте...

— Иди ж сюда, хлопчик. Иди ж...

Он стал шарить рукой по стене, слыша сумасшедшие рывки сердца, потом дверь заскрипела, шатаясь, заелозила на старых петлях, откинутая к стене сарая, а впереди из темени, пропахшей деревенскими запахами, сквозь удары крови в голове доходил до него неразборчивый шепот, певучий, быстрый, в одурманивающем медовом аромате сухого сена, и вдруг он наткнулся на горячие ловкие руки, потянувшие его к себе, на жарко дышащие раскрытые губы, ощутил мучительную близость полных, прохладных грудей, шелковистое тепло ее живота, чистоплотный, свежий огуречный запах ее шеи и плеч, упал вместе с ней на подстеленное одеяло в сено и, чувствуя, как подались ее колени под его коленями, внезапно замерз от влажных ее зубов, от ласкающего, бесстыдного движения ее объятий, от плывущего волнистого шепота, окутавшего его оранжевыми кругами:

— Ох, лышенько мое, хлопчик... Той лейтенант... такий удалый... Он сказав, шо я тоби нравлюсь, так целуй же мэнэ, хлопчик милый...

— Надя,— прошептал он, дрожа в ознобе, не зная, почему не в силах назвать ее Наденькой, как умело мог называть Илья, и повторял в знобящем его тумане стыда: — Надя, Надя... вы красивая, вы прекрасная...

— Хосподи, прости,— услышал он ее сдавленный, молящийся голос.— Муж мой убитый давно, а я одна як перепелка, сама себе муж и хозяюшка. Хосподи!..— произнесла она не то смеющимся, не то рыдающим голосом.— Який же ты гарный, ясный хлопец!.. Тэбэ зовуть Володя? Хосподи, лышенько мое! Володенька, хлопчик!..

Она, не вставая, жалобно вскрикнула, в тот же миг из тьмы озарилось зеленым светом, возникло ее лицо, огромно разъятые глаза со стоящими в них слезами — и странный свет умчался в раскрытую дверь клуни, мелькнул в саду, и все померкло.

Сначала он не понял, что за свет поднялся за садом, пронзив клуню, ее щели, не понял, потому что не расслышал выстрела. Но тут же совсем рядом раздался бутылочный хлопок, нарастающее шипение, и красно-зеленая ко-

мета широко распалась в вышине над железнодорожной насыпью, осыпаясь на макушки тополей угасающей пылью. И вновь возникло, забелело вскинутое лицо полураздетой женщины с непролитыми слезами расширенных глаз, и Владимир, уже почти отстраненно соображая, зачем он здесь, уже предчувствуя что-то внезапное, неотвратимое, вскочил на ноги и, на ходу затягивая ремень, выбежал под огненный дождь опадавшей третьей ракеты. Нестерпимо ярко высветила она весь дворик, колодец-журавль, крупные яблоки на отяжеленных ветвях, железнодорожную насыпь вверху, за пирамидами тополей.

В этот краткий, растянутый на несколько секунд промежуток между светом и тьмой Владимиру почудилось движение фигур на железнодорожной насыпи, затем оттуда донесся нечленораздельный дикий крик, точно вывернутым горлом, и, обрывая, заглушая его, сверху пробили острым громом автоматные очереди. Трассы малиновой иллюминацией махнули по верхушкам сада, разрываясь в ветвях фиолетовыми огоньками. Два переспелых яблока, срезанных пулями, упали вблизи плетня, покатились по тропке, исчезли в траве.

Владимир увидел эти яблоки с необычной четкостью при буйном хаосе встававших впереди ракет, вздымающиеся фейерверки качались, свешивались за железной дорогой, и там перебойно, гулко гудели моторы, отдаваясь в лесу, все накаляясь железной вибрацией, и Владимир поразился: «Откуда появились танки? Ведь двое суток было так тихо...»

Возле двери домика он едва не столкнулся с Ильей. Тот выскочил во двор, полностью одетый, подпоясанный, перекрещенный портупеей, на бегу взглянул в ракетное небо, крича Владимиру:

— Начали? Ночью? Что-то на немцев не похоже! Давай со мной на энпэ! Яснее будет!

Когда выбегали из сада, от крайних тополей, росших вдоль кювета, метнулась суматошно под яблони темная фигура в зашуршавшей по ветвям плащ-палатке и взвился всполошенный оклик:

— Кто такие? Стрелять буду!

— Часовой! — позвал звонко Илья.— Назад! Свои! Куда рванул, спрашивается? Бегом, ко мне!

Часовой подбежал на заплетающихся ногах, голос его прерывисто сипел:

— Товарищ комбат, думал: немцы... за немцев вас принял...

— Ошалел? Откуда немцы в саду?

— Померещилось мне давеча: на насыпи галька вроде хрустела...

— Когда «давеча»?

— Минут десять назад похрустывать вроде начало...

«И мне тоже почудилось какое-то движение на насыпи,— подумал Владимир.— Тоже померещилось?»

— Тогда почему раньше тревогу не поднял, часовой? О чем мечтал, балбес чертов?! — проговорил с презрительной яростью Илья и левой рукой так пхнул солдата в грудь, что тот, путаясь сапогами в траве, упал задом на землю, вскрикнул, защищаясь:

— Не спал я, товарищ комбат!..

— А ну — прочь с глаз, дерьмо! — выругался Илья брезгливо.

Когда они вскарабкались по откосу насыпи к короткому ходу сообщения, когда увидели здесь, в окопе наблюдательного пункта, то, что с неотразимой остротой отбросило все сомнения, в первый момент показалось, что немцы уже отрезали их, зашли с тыла — две ракеты взмыли над опушкой леса, на том берегу ручья, неподалеку от огневых позиций трех орудий, загадочно померцали и погасли в загоревшейся на мгновение воде. Эти ракеты позади НП были так неожиданны, так опасны, что Владимиру явственно послышались крики немецких команд в стороне опушки леса, где стояли орудия, и он еле перевел дыхание:

— Все ясно, Илья! Кажется, немцы обошли! Я — на батарею!

— Погоди! Сейчас разберемся! Не паникуй!..— скомандовал Илья, бегло глянув назад, на опушку леса, и бросился влево к краю окопа: там, навалившись грудью на бруствер, сержант Шапкин короткими очередями стрелял из автомата вдоль железнодорожного полотна.— Слева обходят? — крикнул Илья.— Что? Автоматчики? Окружают энпэ? Где два пулеметчика из пехоты?

Шапкин обернулся, обнажив розовые зубы звериным оскалом, но не смог ничего членораздельно ответить, лишь мотнул головой в пространство, заполненное трассами, ревом моторов, полыхающими дугами ракет, вылетами орудийного огня, ослепляющими чернотой.

В этих промежутках выплесков огня и черноты Владимир увидел за железнодорожной насыпью начинавшееся правее леса поле, покрытое длинными скирдами сена, между которыми шли, выползали из леса танки, вытяну-

тым углом продвигались по полю вправо, вдоль фронта, к окраине станции. А около крайних станционных домов, позади бугорков пехотных траншей обеззвученно хлопали наши сорокапятимиллиметровые пушки, огрызаясь с лихорадочной торопливостью, а танки неуязвимо шли, все приближаясь к окраине, и при свете ракет тени их чудовищно вытягивались, изламывались, бросались толстыми щупальцами выстрелов к домам.

— Давай к орудиям! — приказал Илья Владимиру.— Из сорокапяток только по мухам бить. Выводи орудия на прямую, поставь на насыпи! Отсюда удобно будет! Ну!..

— Лейтенант! Командир батальона у телефона! Пятый! Пехота тебя требует!

Из ответвления окопа неуклюжим силуэтом вырос старшина Лазарев, и Владимир, выбегая из хода сообщения, услышал, как прокричал Илья «пятому» в трубку, что орать на себя никому не позволит, что танки видит, сейчас поддержит пехоту огнем прямой наводки, и затем, услышав приглушенное его ругательство, обращенное к Лазареву, скатился по откосу насыпи в темную низину сада, то и дело озаряемого зарницами ракет.

Он ринулся напрямик, не разбирая тропинок, к мосту через ручей, увидел во дворе колодец-журавль под деревьями, клуню с раскрытой дверью, откуда недавно вылился ему в лицо запах молодого сена, парного молока и где тогда возник в потемках жаркий шепот женщины, ее притягивающие руки, откровенные движения тела, которые ожгли его стыдом,— и сейчас же мелькнуло в сознании, что ей надо немедленно сказать, предупредить о том, что здесь начался бой, находиться опасно, и он на бегу заглянул в плотную медовую темь сарая, крикнул задохнувшимся голосом: «Надя, вы слышите меня?» Никто ему не ответил. В следующую минуту он повернул к знакомому домику, толчком плеча распахнул дверь, снова крикнул в оранжевое зарево керосиновой лампы в углу маленькой кухни: «Надя! Уходите отсюда, немедленно уходите!» — и после того, как охнул жалобный голос и силуэт женщины заслонил ламповый свет, он отпрянул от двери, напрямую бросился к окраине сада, оскальзываясь в траве на подгнивших яблоках, а когда уже перескочил поваленный плетень и, обливаясь потом, достиг бревенчатого моста, дыхания совсем не хватило, удары крови больно отдавались в контуженой голове, ракетный фейерверк прыжками кидался сзади, из-за спины, мчался над садом к верхушкам соснового бора, резал по глазам, рас-

сыпаясь впереди на опушке, где будто выпрыгивали из тьмы на голый свет орудия, горбато выгибались буграми и подпрыгивали и приседали в невиданном танце вокруг них фигуры людей.

На подгибающихся ногах, шатаясь, утопая сапогами в вязком песке, он устремился к орудиям с командным криком:

— Передки на ба-атар-рею-у!..

«Опять я ничего не слышу! Я опять оглох!» — пронеслось у него в голове, скованной пульсирующей болью, но тут вблизи он увидел лиловые пятна лиц, замельтешившие сбоку орудий, нечетко всплывали голоса солдат, повторяемые команды, железный стук сводимых станин и почему-то пресекающийся тенорок замкового Калинкина, вонзенный в уши:

— Что деется, что деется!..

Наверное, разбуженные тревогой, ездовые еще не очнулись полностью, упряжки с передками выехали из укрытия в лесу не очень ладно, задергались вправо и влево на бугре, наконец скатились к орудийным позициям, и здесь ездовые, крича на лошадей, бестолково суетясь в седлах, неловко развернули передки, зигзагообразными рывками подали назад, орудия с грохотом крюков прицепили так, что вскинулись дышла, задрав головы лошадей, и Владимир вспрыгнул на подножку передка выехавшего первого орудия, одновременно на другую подножку вскарабкался сержант Демин.

— Рысью! На дорогу! Через мост! К переезду!

— К переезду, мать вашу! — заревел Демин, наклоняясь вперед, к ездовым.— Быстра-а!..

Ездовые захлестали лошадей, лошади рванули с места, захрустел песок под колесами, увязшими сразу за огневой, затем передок забросало по колдобинам, справа налево, Владимир еле удержался на передке, вцепившись в поручни, затем копыта лошадей крепко застучали по набитой дороге, глухо забили в бревенчатый мост через ручей, спереди стремительно начала приближаться полоса переезда. Там, за железнодорожной насыпью, каскадами извивались стаи ракет, пронизанные встречными потоками трассирующих пуль, а слева, внизу, появлялся и пропадал в прыжках света яблоневый сад, домик среди деревьев, где была женщина с ее бесстыдными руками и полной грудью...

«Сейчас мы проскочим переезд, повернем налево к энпэ...» — скользнуло у Владимира, и он хотел подать

команду ездовым, но не успел, и не понял, что произошло в следующий миг...

Орудийная упряжка выскочила на переезд, на высоту насыпи, как бы взлетев в небо над пожарами в станционном поселке, над ползущими телами танков впереди, вытянутых слева направо к окраинным домам,— упряжка выскочила на переезд, и здесь железным треском ударило в уши, ослепило взорвавшимся под ногами лошадей пламенем. Две выносные на полном скаку грохнулись на передние ноги, коренные с храпом налетели на них, передок подбросило и перекинуло набок, и, заглотнув немецкого тола, наползающего клубами дыма, оглушенный на земле силой страшного толчка, Владимир смутно сообразил, что стреляли по орудию в упор, с невероятно близкого расстояния, потому что не было слышно выстрела, и, пытаясь подняться, он напрягся крикнуть второму орудию, чтобы остановились внизу, не выезжали на переезд, на это открытое место,— и в ту же секунду увидел метрах в шестидесяти справа, прямо на железнодорожной насыпи темную неподвижную громаду танка с низко опущенным, длинным, подрагивающим стволом.

Второй снаряд лег точно в середину второй упряжки, выносные, вздернутые рванувшимся снизу огнем, встали на дыбы, ездовых выкинуло из седел, коренные потащили передок куда-то влево, вслепую поволокли орудие под откос, и оно перевернулось на одно колесо, с металлическим скрежетом отламываясь от крюка передка, покатившегося вместе с коренными лошадьми в низину.

Танк, вышедший к железнодорожному полотну, расстреливал в упор орудия, не приведенные к бою, и предсмертное бессилие дохнуло сырым могильным холодом, и Владимир, подавая какие-то команды, крича, приказывая, видел солдат, ползущих к орудию, и не видел никого в отдельности, ненавидя себя и их за вот это отвратительное муравьиное ползанье по земле перед танком, неумолимо расстреливающим на переезде орудия, еще не сделавшие ни единого выстрела.

«Успеть бы выстрел, только бы один по танку»,— промелькнуло в его голове, и, лежа на переезде, не слыша своего голоса, он повторял команды солдатам, приказывал, умолял привести орудие к бою, заряжать на коленях, и гневно ругался, и чувствовал, что плачет слезами бессилия.

Потом он услышал третий выстрел танка. Танк стрелял по третьему орудию, свернувшему после двух

выстрелов с железнодорожной насыпи в сторону от дороги. Орудийная упряжка неслась по откосу прямо в низину, к плетню сада, и танковый разрыв рванул позади щита, не задел ни орудие, ни расчет, который рассыпался по низине.

«Успеть бы выстрел, только бы...» — думал он и, как в бреду, торопя солдат, наталкиваясь руками на чьи-то потные плечи и спины, помогал расталкивать железо тяжелых станин, обрадованный тем, что танк, выпустив из поля прицела два оставленных им на переезде орудия, стрелял по третьему, уходившему из-под разрывов, и эти секунды передышки, случайно данные ему последней попыткой вырваться из этого смертного дурного сна, колотили его дрожью безумия одной и той же мысли: «Успеть бы выстрел, только бы выстрел».

Он не знал тогда, что от этого выстрела отделяла его целая вечность, сотня возможных случайностей, вся человеческая жизнь и секундный чужой взгляд в цейсовский прицел. Но тогда он очень точно знал, что его орудие, подобно мишени, торчит на переезде в шестидесяти метрах перед танком, выделенное угольно-четкой выпуклостью щита,— и («Господи, помоги!») все пустынно открыто металлическому холоду гибели. Тогда он не был готов к смерти, к этой величайшей несправедливости, и видел муть страха, тупое отчаяние, ожидание крайней секунды в глазах солдат, хищно застывшее лицо сержанта Демина, по-звериному, на четвереньках, подползавшего к прицелу, разъятый зев казенника, раздвинутые станины, упертые сошниками в костыли отполированной рельсы, дрожащий подбородок Калинкина, сутуло наклоненного над расколотым спарядным ящиком, упавшим со станин в тот момент, когда, оглушенные разрывом, коренные лошади натолкнулись на убитых осколками выносных.

«Где Илья? Илья же должен был видеть с энпэ, что произошло с нами на переезде»,— хотел сообразить Владимир, в то время как он выкрикивал одну и ту же команду, имеющую для всех значение общей гибели, и в беспамятном бешенстве, опережая Калинкина, выхватил из ящика снаряд, втолкнул в казенник, елозя на коленях около станин.

Когда кислым воздухом сгоревшего пороха ударило по лицу, он, ослепленный молнией выстрела, не мог определить попадание своего снаряда, только тут же огненный вихрь просвистел над головой, хлестнул по железу, и кто-то охнул возле орудия, вскрикнул: «Что деется, что

деется, с тылу бьют!» — и сержант Демин оглянулся от прицела сумасшедшими глазами. Снизу к переезду подымалось на рыси третье орудие, впереди с автоматом через шею бежал Илья, кричал что-то ездовым, испуганно пригнувшимся к спинам лошадей, а сзади, с опушки соснового бора, где недавно стояли орудия, бил им вслед трассирующими очередями немецкий ручной пулемет. И Владимир понял, что Илья, увидев с НП то, что происходило на переезде, бросился навстречу третьему орудию, чтобы вывести его на огневую позицию против танков, атакующих станционный поселок. Но лишь на мгновение мелькнули бегущий по дороге Илья с автоматом, орудийная упряжка, близкие очереди немецкого пулемета с тыла — и все исчезло в скачках пламени и треске, в грохоте, визге, в удушье немецкого тола. Неистовой силой разрывов орудие подбрасывало на переезде, дым, разрываемый зубьями огня, проносился над щитом, расчет, кашляя, задыхаясь, отползал под насыпь, появлялась и пропадала в этих слепящих сполохах скрюченная спина сержанта Демина, и с заглушенным криком («Демин, Демин!»), отталкиваемый от орудия дикими обвалами раскаленного ветра, забивающего рот и ноздри, Владимир различил в какой-то задымленной проруби света очертания задранных к небу лошадиных голов выскочившей на переезд упряжки третьего орудия, скошенные в страхе на Илью глаза переднего ездового, а Илья с упорством дергал за повод упирающихся выносных, злобно озираясь на залегший под разрывами расчет. «Встать! Встать! К орудию!» Звук человеческого голоса слабо выплескивался из хаоса воющих и скрежещущих звуков — грохот выворачивал шпалы вокруг переезда, разламывал землю справа и впереди орудия, и Владимиру чудилось, что уже несколько танков, отрезая станционный поселок, вышло из-за скирд в поле, поднялось из низины на железнодорожную насыпь, где чадно дымил первый танк («Попал я, попал!..»), и перекрестные снарядные трассы взрывались смерчем с двух сторон на переезде. Он хотел точнее определить, откуда били танки, и, задушенный гарью, с трудом поднял голову, ставшую многопудовой.

Не было упряжки третьего орудия и переднего ездового с искаженным в страхе лицом, повернутым к Илье, не было и самого Ильи, отчаянно дергавшего за повод выносных лошадей,— все это возникшее на переезде минуту назад черным спутанным клубком катилось под откос, туда, в низину, откуда только что по дороге выводил

упряжку Илья. Орудие, не сдерживаемое расчетом («Где они? Убило всех?»), железной силой тяжести волокло за собой перекосившийся поперек дороги передок, четырех лошадей без ездовых, с ржанием боли встающих на дыбы, падающих на колени, ломающих ноги. Вся спутанная, раздерганная, не управляемая ездовыми упряжка скатывалась по насыпи вниз, а с опушки бора и уже из сада прошивали тьму автоматные очереди зашедших с тыла немцев, вонзались в этот огромный клубок, добивали обезумевших под танковыми разрывами лошадей.

«Погибнуть?.. Вот здесь? Сейчас?..» — стучало в висках Владимира, придавленного визгом, раскаленностью осколков к шпалам, а они вздрагивали под ним, толкали его в грудь, и, контуженный, с тошнотными судорогами в животе, он не ждал боли, разрывающей осколками тело, этого прощального ощущения плоти, он ждал впивающегося удара в голову и мгновенного обвала в черноту... И с ненавистью к гадливой скользкости своего страха, прижавшего его к земле, он пытался сообразить, что надо встать к орудию, продолжать огонь, и пытался поднять голову. «Илья! Где Илья? Где Демин? Где Калинкин?..»

— Володька! Жив?..

Кто-то тяжело упал рядом с ним, затряс за плечо со злобной силой, и он вплотную увидел налитые неистовством глаза Ильи, его искривленный рот, его черные волосы, косо прилипшие к потному виску. Он кричал яростно:

— Что лежишь! Подыхать будем?.. Два офицера у орудия — и подыхать? Заряжай! Заряжай! Заряжай, Володька, заряжай!..

И, отталкиваясь от плеча Владимира, стремительно встал на колени, потянулся к прицелу, но его левая рука ползла к маховику неуклюжими толчками, а вся кисть и рукав гимнастерки были почему-то дочерна замазаны землей, и он не сумел охватить маховик подъемного механизма, его пальцы, сплошь замазанные грязью, ткнулись в металл, как мертвые.

— Что? Что? — крикнул Владимир, на коленях вбрасывая снаряд в казенник.— Что, Илья?

— Заряжай! Подыхать потом будем! Пото-ом!..— выхрипнул бешеным шепотом Илья и перекосился всем корпусом, попеременно вращая маховики правой рукой, торопливо вжался лбом в наглазник прицела, оскалил зубы и нажал спуск.

Передние танки входили в станционный поселок, окраинные дома пылали пожарами, по улочкам валы красного дыма катились вместе с каруселью искр, затопляли низину, подступали к железнодорожному полотну возле здания станции, где в огненном месиве сновали серые людские фигуры, сталкивались трассы автоматов и, зачерняя небо крутыми клубами, горела на путях за крышей пакгауза цистерна с нефтью. И там, ближе пакгауза, освещенные пожарами танки подымались на железнодорожное полотно, переваливали насыпь, выходили на другой берег ручья, прорвав оборону нашей пехоты...

...Они успели расстрелять по танкам два ящика снарядов, оглохнув в грохоте выстрелов, не слыша команд друг друга, почти инстинктивно угадывая попадание трасс, матерясь обезумелыми словами ненависти при всплеске багрового пламени на танковой броне, но внезапно снарядный грохот срезала неправдоподобная тишина. И автоматные очереди, пущенные сзади и справа, с отрывистым звоном пробили по телу орудия. Илья, стоя на коленях у прицела, отшатнулся вбок, ослепленный трассой, глянул узкими глазами в том направлении, откуда прилетела она, и с неузнаваемо изуродованным злобой лицом упал животом между станин, вырывая из кобуры пистолет:

— А, сволочи! С тыла обошли!

Он упер в станину вытянутую руку и выпустил несколько пуль подряд по групповому движению людей на бревенчатом мосту, откуда неслись пульсирующие вспышки, и в тот момент Владимир заметил в отблеске пожаров на насыпи цепочку немцев, которые продвигались вдоль рельсов к переезду, рассыпая пучки очередей, а снизу, из сада, подымались по откосу бегущие тени, и насыпь близ переезда, и мост, и дорога прошивались, прожигались насквозь автоматным огнем — дикая метель разрывных пуль сгущающимися огоньками танцевала в траве по откосу, по железнодорожному полотну, опаляя смертельным ураганным жаром,— и невозможно было поднять головы.

— Нас отрезали, Илья! Видишь?

— Всё! — дошел до Владимира его хриплый, задохнувшийся голос.— Окружили, сволочи! Уходим! Все! По ручью! По ручью! К станции!.. За мной!..

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Он не помнил точно, как они прорвались к ручью, скатились по насыпи вниз и здесь, в низине, на несколько секунд задержались, поджидая отставших, кто по команде Ильи поднялся за ними и снова залег на дороге, с трех сторон придавленный огнем к земле. И тут, в низине, в минуту этой передышки, Владимир наконец увидел, что левая кисть Ильи, безжизненно ткнувшаяся перед стрельбой пальцами в маховик орудия, была измазана не грязью, а кровью, и сообразил, что он ранен. Присев на землю, Илья сунул пистолет за ремень, зубами разодрал индивидуальный пакет, стал наспех обматывать кисть бинтом. Лицо его при этом досадливо скривилось, и, кривясь, он кивком приказал Владимиру завязать болтающийся конец бинта, выругался скороговоркой:

— Онемела, сволочь, как деревянная!

И это был последний звук, который разборчиво слышал Владимир вместе со звуками стрельбы. Все поплыло в вязкую звенящую глухоту. Он увидел приказывающий взмах пистолета, зажатого в правой руке Ильи, потом обагренные заревом, напрягшиеся, с выпученными глазами лица Демина и Калинкина, распятый задышкой рот старшины Лазарева, спотыкающимися скачками сбегавшего по откосу, кроваво-красный звериный оскал сержанта Шапкина при вспышках автомата, который тот часто вскидывал к плечу, и после каждой очереди как-то боком пятился, соскальзывая по обрыву к берегу ручья.

А Владимир то окунался в глухой, плывущий колокольный звон, то выныривал в просвет ошеломляющей реальности, тогда жестокая внезапность ночи вставала в его сознании. Но вся неумолимость обстоятельств ощутилась им, как только пробежали километра два по низине ручья, прорвались в лес, и здесь Илья остановил всех, придерживая раненую руку, обметал солдат ненавидящими глазами, проговорил, задохнувшись:

— Значит, бросили орудия? Мы?..

— Неужто, лейтенант, в плен захотели? — сырым голосом крикнул Шапкин, обтирая пилоткой пот с шеи.— Еще б немного — и «хенде хох, битте!». Объегорили нас фрицы...

— Мерзость! — выговорил Илья, и ненависть не угасала в его глазах.— Мерзость, мерзость...

Звуки боя оставались позади, но скоро стрельба, громы разрывов приблизились спереди и слева, а когда мино-

вали полосу леса, открылось в сером рассветном воздухе зеленеющее поле и заросшая соснами высота в межлесье. Там, на дороге, у подножия высоты стояли два запыленных бронетранспортера, невдалеке в глубоком кювете, возле задранных стволов минометов появлялись и отскакивали в момент выстрела солдаты. С жесткой звонкостью мины уносились в зенит, разрывы вздымали землю в конце поля, где перебежками отступала наша пехота и уже окапывалась, закреплялась на скате высоты, вблизи дороги, что уходила через пшеничное поле до самой станции. Станционный поселок, окруженный ночью и взятый немцами к рассвету, горел за этим пшеничным полем, за железнодорожным полотном, затягивая дымами светлеющее небо, а из-под этих дымов широкими квадратами переваливали насыпь танки, ползли куда-то влево от станции к опушке леса, и крупнокалиберные пулеметы били с насыпи по всему полю и высоте.

Около двух бронетранспортеров толпилась группа пехотных офицеров, усталых, обросших в течение бессонной ночи; жадно курили, отдавали команды связным, наблюдали станцию в бинокли, и один из них с грозными круглыми глазами начальственно закричал, выпрастывая руку из-под полы плащ-палатки:

— Что за люди? А-аткуда? — И, тотчас узнав артиллеристов, двинулся навстречу Илье, заговорил с изумлением: — Ах, полковая батарея? А где же пушки? Где пушечки, лейтенант? Куда это ты ведешь людей, интересно? Не на прогулочку ли по окрестностям? Пушечки где?

— Мне надо доложить командиру полка,— проговорил Илья сжатым голосом, каким никогда раньше не унизился бы говорить со старшим по званию офицером, и подбородок его вместе с голосом дрогнул.

Занятые наблюдением офицеры опустили бинокли, подозрительно, недружелюбно покосились на Илью, на сгрудившихся артиллеристов, расхристанных, потных, тяжко дышавших, закопченных толовой гарью, с опрокинутым внутрь рыскающим взглядом, который бывает у людей, еще помнящих кожей дыхание заглянувшей в душу смерти,— растерзанный вид солдат, сбившиеся ремни, провалы щетинистых щек отразились на лицах пехотных офицеров раздраженной неприязнью, и кто-то скрипуче сказал с раздавливающим приговором:

— Бросили пушки и драпанули, трусы? В пехоту их, капитан Гужавин! А после боя — под трибунал!

Владимиру до судороги в горле не хотелось видеть человеческую плоть этого скрипучего голоса, с таким нещадным равнодушием подписавшего им приговор, будто от этой секунды все изменилось, все подчинилось неписаному закону войны, молниеносно обесценив их жизни, вывернув наизнанку перед незнакомыми пехотными офицерами нечто безобразно-позорное, унижающее, и теперь не было ни понимания, ни прощения в мире после постыдно совершенного преступления.

— А ну! В пехоту! Всех! Кроме офицеров! Давай сюда! — скомандовал капитан Гужавин и грозными глазами приказал следовать в направлении высоты, где за дорогой окапывалась пехота.— Бегом!

— Нет! — сказал Илья и шагнул к капитану, побелев лицом.— Никому я своих людей не дам! Пока командиру полка не доложу!..

— Мо-олча-ать! — пронзительно крикнул Гужавин и, круто откинув полу плащ-палатки, уронил правую руку на кобуру.— Силой погоню,— как дезертиров, если пикнешь хоть слово!

— А вы тоже — молча-ать! — взвизгнул Илья в каком-то захлестнувшем его безумии, и по тому, как он взбешенно выхватил из расстегнутой кобуры задрожавший в его пальцах пистолет, по тому, как сузились его посинелые губы, было видно, что он готов к самому крайнему в своем неистовом сопротивлении.

— Что ты сказал, лейтенант? Что-о?

— А то, что слышали, капитан!

Владимир чувствовал, что сейчас случится непоправимое между капитаном Гужавиным и Ильей, но все испытанное ночью — гибель лошадей в упряжках, расстрелянные танками орудия на переезде, прорыв из окружения семи человек, оставшихся в живых от батареи,— все выглядело в глазах пехотных офицеров бегством, непростительным спасением жизни ценой брошенных орудий, и это сопротивление Ильи было в их глазах жалкой попыткой бессмысленной защиты.

И капитан, помедлив, сказал с пренебрежительным согласием издевки:

— Давай-давай, герой, докладывай командиру полка! Он тебя к орденку представит за храбрость! Девять граммов получишь на закуску или рядовым в штрафной батальон, как подарочек. Пошли за мной, доведу! Герои из города Драпова! Храбришься еще! Интеллигентик мармеладовый!

Он зло хохотнул, перескочил кювет и, решительный, непримиримый, зашагал вверх по высоте, крепко и прочно ставя хромовые сапожки.

Вталкивая пистолет в кобуру, Илья пошел за ним, слегка покачиваясь, как в обморочной пустоте, трава мокро зашумела по его голенищам, а предутренний туман курился, стекал прядями по скатам, переваливался в кустах разорванными дымными пластами.

Позади бой не затихал, но здесь, на высоте, было безлюдно, сумрачно, сырой воздух зарождающегося утра прохладно и липко омывал потное лицо Владимира, и все тошнотно потягивало в животе от злого молчания капитана, с мстительной твердостью ступающего вверх по скату, от угрюмой замкнутости Ильи, который, стиснув зубы, ни разу не оглянулся на солдат, оробело приотставших за спинами офицеров. И Владимир вдруг подумал, что их ведут на казнь, что ничего не поможет им и никто из них не сумеет оправдать сложившиеся на железнодорожном переезде обстоятельства и те никем и ничем не рассчитанные минуты, когда батарею отрезали, окружили автоматчики и когда пришлось бросить орудия, с трех сторон расстреливаемые в упор... «Что же это? Что случилось со всеми нами? Почему мы не остались драться в окружении и не погибли там?..»

На вершине высоты, в межлесье, стояли три «виллиса» и зеленая штабная машина с открытой торцевой дверцей, из которой доносились электрические разряды радиостанции. Близ машины четверо солдат в распоясанных гимнастерках копали ровики, по-видимому, для штабных офицеров, сгрудившихся над картой, разложенной на пеньке, возле которого двое связистов устанавливали, заземляли телефонный аппарат. Рядом с ними расположился на плащ-палатке, поджав под себя ногу, худенький, остролицый, с седеющими висками майор Воротюк. Он брезгливо жевал бутерброд — белый сухарь, намазанный маслом, и так же брезгливо запивал его молоком из железной кружки, вскидывая на офицеров глаза, сквозные, коричневые, узко посаженные к крючковатому носу, что придавало ему ястребиное выражение, вызывающее желание уклониться от его зрачков. Поблизости, сдвинув тугие колени, открытые тесно натянутой суконной юбкой, сидела белокурая, вся будто выточенная из белой дорогой кости молоденькая фельдшерица из медсанбата, «фронтовая подруга» командира полка, как говорили иные офицеры, вернее — его жена, которую майор любил

без памяти и возил с собой повсюду, не стесняясь укоров начальства. Майору Воротюку, храбрейшему и исполнительнейшему офицеру в дивизии, чьи батальоны всегда принимали на себя самый нелегкий солдатский крест (взятие высоток, первоначальное форсирование рек, разведка боем), прощалось многое, тем более что язвенная болезнь позволяла ему беспрепятственно лечь на излечение в госпиталь, отвергаемый им и в периоды затишья.

Плоские губы Воротюка были в молоке, он неохотно, как лекарство, цедил его из кружки, белокурая фельдшерица, строго опустив ресницы под вкрадчивыми взглядами копающих ровики молодых солдат, тоже завтракала, негромко грызла сухарики, макая их в тарелку с медом, поставленную озабоченным полковым старшиной на расстеленную посреди поляны скатерть, необычную чистоплотной огромностью на траве и диетической едой — молоко, масло, сухарики,— которой и довольствовался майор Воротюк.

Владимир ни разу не встречал в подобных обстоятельствах командира полка, обыденно занятого завтраком, в то время как они обязаны были доложить ему о неуспешном ночном бое на железнодорожном переезде, о брошенных в безвыходном положении трех орудиях,— и холод надвигающейся опасности прошел по его влажной спине в ту минуту, когда капитан Гужавин остановился перед белым полем скатерти, выпростав из-под плащ-палатки правую руку, и начал с решительной злостью докладывать Воротюку. Майор вскинул сквозные ястребиные глаза на Илью, перевел взгляд на группу артиллеристов, замерших в виноватом ожидании, и в этом хищно нацеленном взгляде стало накаляться металлическое безжалостное острие, навстречу которому тогда самоотрешенно сделал шаг Илья, выговорил глухо:

— Товарищ майор...

— Молчи,— еле внятно произнес Воротюк тонким хриплым голосом и поставил кружку с молоком на скатерть около кучки сухариков.— Отвечать будешь, когда я спрашивать начну. Назначил я тебя командиром батареи, лейтенант Рамзин, и совершил ошибку. Выправка у тебя гусарская, а душонка заячья. Что, драпали так, что ноги в зад влипали? И ты от позора пулю в лоб себе не пустил? — Он потер детскими пальцами живот, где, наверно, грызла его боль, и помолчал, впиваясь остриями зрачков в лицо Ильи.— Ты знаешь, что полагается офицеру за дезертирство с поля боя?

Илья, по-строевому вытянувшись, молча стоял впереди всех, в трех шагах от командира полка, и заметно было, как напрягались лопатки под его пропотевшей до нитки гимнастеркой.

— А вы, вы, боги войны, хорошо знали, что делают с дезертирами? — повторил тонким режущим голосом Воротюк, вонзаясь зрачками во Владимира, потом в группу артиллеристов.— Когда бежали от орудий, знали, что вы уже не воины, а мертвецы? Знали, что вас, как трусов и дезертиров, по приказу двести двадцать семь расхлопают к хренам? Так чья пуля слаще — немецкая или русская? А я-то считал, что вы погибли как герои... Как герои! Расстреляли все снаряды и погибли под гусеницами танков, но не ушли, не драпанули!.. Ах, трусы, трусы!

Он произнес последние слова с брезгливым сожалением, однако в облике его — худенькой фигурке уже седеющего мальчика, сплошь сверкающей золотом и серебром груди, в остром книзу лице — все было непоколебимым, жестким, холодным.

— Дозвольте сказать, всю правду, товарищ майор?

— Это кто еще там? Какую там еще правду?

— Мы бы не ушли, товарищ майор, ежели б не приказали...— послышался прерываемый густым дыханием тяжелый голос, и душное ощущение необратимой беды знойным крылом царапнуло по виску Владимира, отдаваясь ударами в голове: «Что говорит Лазарев? О чем? О каком приказе?» — Ежели б не приказ, стояли б до последнего и танки к станции не допустили. А приказ офицера для солдата закон...

И майор Воротюк перебил его нетерпеливым вскриком:

— Кто именно отдал приказ бросить орудия? Кто именно?

— Не отошли бы мы, товарищ майор. Не в первый раз с танками,— покорно загудел Лазарев.— Лейтенант Рамзин приказал, ежели всю правду...

Внизу гремучим звоном распадались разрывы танковых снарядов, заглушая пулеметные очереди, и по краям поляны парил над травой легчайший туман, и неестественность чисто-снежной скатерти, зачем-то расстеленной на траве, горка пшеничных сухарей, котелок, наполненный синеватым молоком, маленькая, отчетливая фигурка Воротюка, сидевшего с поджатой ногой, неприступно опущенные ресницы белокурой его жены, переставшей грызть сухарики, и этот нагловатый, корявый

бас старшины Лазарева, вроде бы исполненный жажды справедливости и правды, неожиданной силой угрозы вырвали Владимира из состояния оцепенения, и, может быть, потому, что у него заболели глаза, разъеденные пороховой гарью, он не очень ясно различил Лазарева, выступившего вперед. Весь потный, до пояса заляпанный грязью (сначала бежать пришлось по топкому берегу ручья), он в позе послушной готовности застыл в трех шагах от скатерти, округливая злые ноздри.

— Вы о каком приказе говорите? — спросил Владимир с замедленным непониманием.— Я что-то вас не видел возле орудий, когда мы стреляли по танкам...

— Дозвольте уж сказать всю правду товарищу майору! Вы мне рот не затыкайте! — повысил гудение баса Лазарев и одновременно как-то заискивающе попытался поймать щекастым своим лицом внимание Воротюка.— Ежели б товарищ лейтенант Рамзин... я извиняюсь, товарищ майор, не с бабой ночку проамурил, мы бы огневую позицию за насыпью успели занять и прямой наводкой огонь по танкам открыть. Запоздали с огнем.

— Да что еще за баба? О чем балабонишь, старшина? — зло оборвал его Воротюк, обнажая мелкие, сахарные зубы, и искоса глянул на зарозовевшее лицо своей молодой жены, видимо, раздосадованный объяснением Лазарева.— Откуда еще у вас в батарее баба?

И Лазарев, напруживая вдохом могучую грудь, ответил сниженным тоном невинного простодушия:

— Баба молодая в доме была, около энпэ нашего, товарищ майор. С ней у лейтенанта Рамзина амуры начались. Немцы в атаку пошли, а лейтенанта на энпэ нет, с бабой на сеновале балуется...

«Да он клевещет на Илью»,— пронеслось в голове Владимира, удивленного молчанием Ильи, а тот по́-прежнему стоял впереди остальных, намертво соединив каблуки, разведя плечи, окаменев в строевой подчеркнутости образцово вышколенного офицера, виновного перед высшим начальством.

— Какая чепуха...— сказал Владимир бесплотным, потерявшим силу голосом, какой бывает в бреду, когда распирающий крик колотится в горле, но вырывается немощным звуком.— Был с женщиной я, а не лейтенант Рамзин! — вдруг упруго выговорил он, уже беспамятно подымаясь в неуправляемые поднебесные края отчаянного и опаляющего бесстрашия, не разумом, а стыдом сознавая необходимость истины независимо ни от чего, от

одной мысли, что может предать Илью, прошлое, Москву, школу, все между ними, согласный на собственный позор, на самую предельную самокарающую искренность.— Лейтенант Рамзин находился в доме на энпэ, а я был... это я был на сеновале,— продолжал Владимир, ощущая разламывающую боль в висках.— Когда начался бой, лейтенант Рамзин приказал мне поставить орудия на новую позицию против танков. Впереди не было пехоты... Немцы начали атаку, и мы открыли огонь. Дело не в запоздании... Убило лошадей в упряжках. Нас окружили на переезде. При чем здесь женщина?

— Товарищ майор, дозвольте сказать! — с доказывающей правотой человека, убежденного в своей святой неопровержимости, заговорил Лазарев и при этом ступил на шаг ближе к Воротюку.— Товарищ майор, веры мне мало, не офицер я. А лейтенанты дружки школьные. Они и женщину, извиняюсь, на двоих употребили, об чем говорить не хотел... а то ведь вроде все вранье в моих словах, товарищ майор. Как присягу, хочу сказать: нету тут солдатской вины. Приказ лейтенанта Рамзина был — и орудия бросили...

— Значит, приказ выполняли,— жарким шепотом переспросил Воротюк.— Бросить орудия? Драпать? Пропустить танки к станции? Вон, смотрите, где они!.. Ну-ка, сюда смотрите! Все смотрите, сукины сыны, артиллеристы козьи! — выкрикнул он визгливым голосом и вскочил на ноги, малый ростом, в щегольских брезентовых сапожках, завеса орденов всколыхнулась на груди, плоские губы его повело вкось.— Кто их должен был остановить? Христос? Кто?

— Товарищ майор, вас первый... командир дивизии...

— Первый? — Воротюк разгоряченно вырвал у связиста протянутую трубку и, выдохнув: — Четвертый слушает,— начал нервно поглаживать живот, а худое лицо его стало еще больше подрезаться, приобретать желтоватый оттенок, и он повторял с придыханием: — Так точно, товарищ первый, буду контратаковать. Буду контратаковать. Полковая батарея погибла на прямой наводке, танки прорвались на станцию. Мой грех. Мне искупать. Разрешите доложить обстановку через два часа, товарищ первый?

Вся высота, мокрая поляна, деревья и кусты, туман, волнисто плавающий над похолодевшей травой, были уже подробно видны в прозрачном воздухе июльского рассвета, а внизу, в той стороне, куда сбегали по крутому

склону сосны, соединялись дымами обесцвеченные утром пожары на станции, учащенно перекатывались удары разрывов, черно и выпукло проступали меж горящих домов немецкие танки, и вместе с завыванием моторов ввинчивался в уши клейкий голос майора Воротюка, закончившего разговор с командиром дивизии:

— Так кто же должен был танки остановить? Хрен моржовый или морж без хрена? Кто, я тебя спрашиваю, лейтенант? Я? Командир дивизии? Командующий армией? Кто, я тебя спрашиваю? Неужто среди вас не нашлось ни одного стоящего? Гранатами бы обвязались и — под танки, если другого выхода не было! — Его близко посаженные к носу глаза всосали в себя Илью и, распятые гневом, стали обезображенно дикими, неукротимыми.— Эх вы, герои моего полка! Немчишки батарею окружили, а вы ноги в руки и драпать? Жизнь свою драгоценную спасали? Что молчишь, командир батареи? (Илья по-прежнему стоял навытяжку в окостенелой тупой неподвижности.) Так вот мой приказ, лейтенант, слушай сюда внимательно, если жить хочешь! Всем назад — к орудиям! Сумели бросить — сумейте и взять! Что угодно делайте — атакуйте, выкрадывайте свои орудия, выносите по частям из окружения! Что хочешь делай, комбат, но чтоб орудия в полку были! Чтоб были они, как у молодого в субботу! Вот здесь, у высоты, были! Не будет орудий — пойдешь под трибунал! В первую очередь именно ты, комбат! И все с тобой! Ты за все в ответе! Все тебе ясно, лейтенант? Иди и подумай, какая пуля слаще! Наша или немецкая! Иди! Ма-арш отсюда! Уводи людей! Ма-арш!..

Он полоснул рукой по воздуху, отрубая этим жестом иную возможность, и в тот миг Владимир подумал, что Воротюк не остановится ни перед чем в своем гневе, в своем осуждении батареи, не сумевшей задержать танки на подступах к станции, которую два дня назад успешно взял его полк.

— Постой-ка, лейтенант,— сказала белокурая фельдшерица и поднялась, тоненькая, нахмуренная, взяла Илью за локоть, осмотрела перевязку на его кисти.— Потерпи, я свежий бинт наложу. А то столбняк получишь.

Он высвободил локоть, не отвечая ей.

— Ясен приказ, лейтенант? Ясен? — повторил накаленно, поглаживая живот, Воротюк, как бы взвинченный приступом язвенной болезни, но еще и тем, что Илья все

молчал в той же позе вышколенного строевого офицера.— Так вот, запомни, лейтенант! Не будет орудий — отдам как дезертира и труса под короткий суд! Ясно это, спрашиваю?

— Ясно. Но я не хочу доставлять вам этого удовольствия,— с тихой сумасшедшей яростью сказал Илья и не то засмеялся, не то всхлипнул задавленными в горле слезами.— Лично вам, товарищ майор.

Все смотрели на него.

Больше Илья не произнес ни звука, повернулся резким механическим поворотом, будто сработала пружина внутри него, и тут стало видно страшное ледяной застылостью, стянутое на скулах, утратившее обычную смуглость и без кровинки лицо приговорившего себя к мучительной смерти святого, а когда он быстро пошел прочь от Воротюка, голова вздернулась, взгляд цепко нашел фигуру Лазарева и точно физическим толчком ненависти отодвинул его в сторону.

— А этот старшина — гадина,— вполголоса сказала фельдшерица, не без вызова обращаясь к Воротюку.— Вы не видите, товарищ майор, что он врет? Врет как сивый мерин!

— Лучше всем до одного умереть героями, чем гнить в земле падалью! — выговорил Воротюк.— Кто из них врет — не меняет дела!.. Пропустили танки — кровью, кровью пусть вину искупают!..

— За мной,— хрипло сказал Илья, и те, кто ждал и боялся этой команды, двинулись за ним обратно по этой поляне, по заросшему склону вниз, туда, где рев танковых моторов разрывал, дробил, колыхал клочья тумана в низине, и наползающая сырость раздробленного воздуха окунала лица в знобкий холод.

Офицер в плащ-палатке, капитан Гужавин, зло покусывавший травинку во время разговора, пальцем поманил Лазарева, и они, отстав, спускались последними.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

В лесу сначала бежали вдоль фронта, потом шли, не делая ни привалов, ни коротких передышек,— справа непрерывно, колесообразно, катились звуки недалекого боя, иногда обваливались на опушку грохоты разрывов, а слева утренняя тишина отзывалась перекатами эха в туманной чаще.

Илья с рукой на перевязи шагал впереди, как заведенный, не подавал команд, не торопил, не оглядывался на остальных; его гимнастерка на лопатках потемнела разводами пота, к засохшей грязи и пыли, черневшей на вчера еще новых брезентовых сапогах, слоями прилипла хвоя, расстегнутая кобура беспрестанно цеплялась за кусты, болталась на правом бедре, выказывая рукоятку пистолета.

Владимир шел позади него, чувствуя душную тяжесть в этом непробиваемом спокойствии Ильи, в этой молчаливой разъединенности всех, кто безропотно двигался за ними, подчиненный приказу Воротюка, который даровал им несколько часов жизни, чтобы сделать попытку вытащить орудия из окружения. «Как вытащить? Без лошадей? На руках? А немцы?..»

И все назойливее, все настойчивее билась в сознании фраза Воротюка, сказанная там, на высоте, командиру дивизии по телефону о том, что полковая батарея погибла, и непонятно было, защищал ли он этой фразой артиллеристов или ему так легче было оправдаться за отступление стрелковых батальонов и легче оправдать захват немцами станции.

— Илья! — позвал ссохшимся голосом Владимир и, ускорив шаги, догнал его, заговорил через силу: — Нам без орудий возвращаться нельзя. Но не надо быть идиотами: на горбу три орудия не вытащишь из окружения. Что будем делать?

— Умирать,— тоном бесстрастного хладнокровия сказал Илья, и Владимира поразила длинная усмешка, изломавшая его залитую потом щеку.— Какая пуля слаще, а? Немецкая или русская, а? — повторил он слова Воротюка, не выходившие, вероятно, у него из головы.— Нет, живые мы ему не нужны. Он уже доложил начальству, что мы геройски погибли, раздавленные гусеницами, и только поэтому танки заняли станцию. Наша смерть — его оправдание, Володька. Воротюк никогда не отступает. Мы погибли вместе с орудиями. Понял?

— Я тоже об этом думаю.

— Все ясно как дважды два, Володька. Нас уже похоронили.

Илья подтянул на перевязи замотанную грязным бинтом левую кисть, кулаком правой руки резко смахнул пот на щеках, убрал слипшиеся смоляные волосы под козырек недавно аккуратной, но теперь замызганной фуражки и

вдруг круто повернулся назад и посмотрел туда, откуда донесся сиплый крик:

— Лейтенант, лейтенант!

Этот крик остановил всех, и люди, затравленно дыша, охолонутые страхом оттого, что где-то сзади, очевидно, обнаружили немцев, оборачивались, стискивали оружие, изготовленное к последнему действию, вспыхнули суматошные голоса:

— Что там? Кто кричит? Эй, что?..

А позади двое замыкающих отходили влево, к кустам орешника, и плотный, как грибок, сержант Шапкин озверело толкал снизу вверх стволом немецкого автомата в живот Лазарева, угрожающе командуя: «Руки, руки!..» — а тот, похоже было, в наигранном испуге подымал руки и грудным басом говорил с осторожным, полузаискивающим хохотком:

— Да нажми, нажми спусковой крючок, дай очередь, угробь, ежели ты, христосик святой, правду знаешь! А ежели правда твоя вроде штанов — голую задницу прикрывает!

— Сволочь мелкая! — крикнул Шапкин, дрожа от ярости, и сильнее ткнул стволом автомата в живот Лазарева.— Сука предательская! Ты что наговорил майору? Выслуживался? Лейтенанта закладывал, уголовное дерьмо? Всех нас закладывал? А ну-ка, братцы! Идите сюда! — скомандовал Шапкин, опаляюще глянув голубыми глазами на остановившихся артиллеристов.— Лейтенант, поди сюда! Пусть сука всем скажет, зачем нас заложил! Пусть скажет!..

Никто не двигался с места, все стояли настороженно и молча, заглатывали воздух, затравленно озираясь по сторонам, никому не хватало воли тратить оставшиеся силы на эту мстительную ненависть, которой горел Шапкин, внезапно осознав то, что произошло на высоте. Его мальчишеское лицо, всегда веселое, открытое любой шутке, было искажено, крупные капли пота скатывались по лбу, застревали в изогнутых бровях, он выкрикивал в неукротимой злобе:

— Укокошить сволочь мало, лейтенант! Он тебя заложил, он тебя обпакостил, комбат, тебе он мстил знаю за что! На чужом горбу хотел в рай съездить, урка проклятый! Самый храбрый, оказывается, из нас, ему приказ помешал под танк броситься! А ну, вверх руки, вверх! А то всю очередь выпущу в живот, сука подзаборная!

И в этом неистовстве, в упоении ненавистью он, как штык, вдавливал в живот Лазарева ствол автомата, наизготове обхватив пальцем спусковой крючок. («Откуда у него автомат? И где его немецкий карабин?») А Лазарев, притиснутый спиной к сосне, неуклюже воздев руки, не отрывал омертвело прикованного взгляда от его согнутого пальца, все заметнее, чудилось, надавливающего на спусковой крючок, и пытался судорожно натянуть на лицо мерку обычного превосходства, выдыхая смятые слова:

— Твой защитник, комбат. Моргни ему — и убьет... на радость тебе. Руки вверх, как фрица, заставил держать. Таких ценить надо. У тебя-то у самого ручка болит!..

Илья выговорил сухую звонкую команду, вонзенную в лесную затаенность кратким звуком жестяного эха:

— Оставьте эту падаль, Шапкин!

И узкими глазами оглядел Лазарева, его обросшее щекастое лицо, его мускулистую грудь с лиловой татуировкой, видной из-за распахнутого воротника гимнастерки, его кирзовые сапоги на крепких ногах, оглядел неспешно, потом почти вяло сказал Шапкину, не сразу опустившему автомат:

— У меня еще будет время проверить его храбрость.

В этом заторможенном голосе Ильи была какая-то твердая отсрочка расплаты, прикрытая внешним бесстрастием, и здесь почувствовал Владимир, что он все-таки полностью не знает Илью, его злопамятное и самолюбивое упорство.

— Он хотел утопить меня, глупец, перед Воротюком,— сказал Илья жестко, когда они снова двинулись по лесу впереди растянувшейся цепочки артиллеристов.— Ка-акой дурак! Какое опасное ничтожество! — И он рвущим жестом подтолкнул расстегнутую кобуру пистолета поближе к бедру, выговорил с прежней жесткостью: — Молю бога об одном: если что... то успеть бы — две пули ему, одну себе.— Он засмеялся, показывая белые сцепленные зубы.— Чтобы эта б... ходила победителем по земле — не-ет!..

— К черту твоего бога! — выругался Владимир, покоробленный отрывистым, деревянным смехом Ильи.— Вытащить орудия нам с тобой бог не поможет!

— Все может быть,— сказал Илья.

За блестящей чернотой его глаз стояло выражение непреклонности, выражение, которое появилось у него

после оскорбительного объяснения с майором Воротюком на высоте. Это был словно бы незнакомый Илья, раздавленный, обвиненный в трусости, несостоятельности офицера, не оправдавшего своего нового назначения, и вся унижающая несправедливость командира полка, не желающего знать никаких причин, и собственная вина оттого, что не сумели остановить танки на участке железнодорожного переезда, и злость на Воротюка за то, что он оставил этот участок оголенным, не прикрыв батарею ни взводом, ни отделением пехоты, и невыполнимый приказ вытащить орудия из окружения, и вот это возвращение к месту ночного боя подточили и перевернули что-то в Илье. И стоячая пепельная жуть в его глазах, выражение решимости на любое действие, лишь бы доказать свое и восстановить недавнее к себе уважение, передавались Владимиру нервным, морозящим током и объединяли его с Ильей одним выходом в неизмеримую темноту последнего шага, где еще могло быть чудо, везение, некая роковая случайность. Но все стало отчужденным в Илье, и злая, отталкивающая острота исходила от него, когда он резко сказал с неприязненным отрывистым смехом:

— Посмотри назад. Где Лазарев? Я не хочу оглядываться... Как глупо все, Володька, как глупо!..

Он опасался оглядываться, наверное, потому, что не хотел, чтобы видели его лицо, необычное, искривленное дрожью и этим рубленым, рыдающим смехом, со сжатыми до скрежета зубами. Он не мог овладеть собой, и новое, непривычное в облике Ильи, утратившем снисходительную самоуверенность, делало его постаревшим на несколько лет.

— Посмотри назад, я тебе сказал! — повторил Илья громко и раздраженно.— Где Лазарев?

— Он шел за нами. Да на что он тебе, Илья?

— Посмотри, говорят тебе!

Знойкий пот на веках не давал четко видеть поднявшееся за лесом июльское солнце, которое космато сквозило между вершинами деревьев, отчего стволы сосен выступали черными из уходящего туманца, и везде был радужный хаос вспыхивающих капель ранней росы — на траве, на листьях, на матовой зелени орешника. Лес извергал живые шевелящиеся повсюду искры, переливался, мнилось, плыл медный звон по намокшим кустам, и среди этого тягучего звона, уханья дальних разрывов, терпкого запаха овлажненной хвои, облепившей обмытые

росой сапоги, Владимир увидел всех пятерых, оставшихся от батареи, шедших растянутой цепочкой позади, в дымящихся гимнастерках, и последним двигался Лазарев, голодно грыз, выбирая из пилотки сорванные по дороге еще неспелые орехи, выплевывал скорлупу под ноги.

— Идет замыкающим и грызет орехи, индюк,— сказал Владимир, силясь улыбнуться, и добавил: — Вот что! Не обращай на эту гадину внимания!

— Идет замыкающим. Так. Ясно,— отозвался Илья, думая о чем-то, и прищурил веки, словно примериваясь к цели, спросил: — Ты знаешь, что он следит за мной?

— То есть как следит?

— Ох, наивняк ты, неисправимый наивняк! Ты видел, как этот капитан Гужавин шептался с ним? Обратил внимание, что они шли вместе?

— Ну и что?

— Милый наивнячок! Ты никогда не задумывался, где мой отец?

— Это неважно, что я думал. По крайней мере, кое о чем догадывался.

— Счастливый ты человек. У тебя прекрасная биография.

— Перестань глупить, Илья.

— Тогда слушай, Володька, внимательно! — Илья цепко опустил правую руку на плечо Владимира, на его прокопченный пороховой гарью погон.— Так вот. У меня какое-то идиотское чувство... или предчувствие... Если кто-нибудь из нас останется жив после всей этой катавасии, то матерям никаких жалобных подробностей не писать. Ясно?

— Предчувствие? А ты еще про бога вспомни. «Молю бога...»

— Нет! Теперь — все. Не хочу ни о чем... Все противно! И отвратительно! Подумать только — нас считают трусами!..— сказал он отрывисто и втянул ртом воздух.— Но мы еще посмотрим, посмотрим!.. И пусть помогает сам бог, черт, сатана, ангел, дерьмо!.. Ты понял меня, понял? Ну, ладно, хрен с ним, страшнее смерти ничего не будет! — оборвал себя Илья и спросил с резкой усмешкой: — У тебя хоть с Надей получилось что-нибудь?

— С какой Надей? Ах, да... Н-нет, Илья. Бой ведь начался.

— Володька, дружище, мне грустно от твоей невинности и чистоты.

И еще он запомнил Илью в те часы, когда пришли наконец на то знакомое место в лесу, где два дня назад вблизи ведущей к железнодорожному переезду дороги были вырыты на поляне укрытия для орудийных передков: тут до сих пор сохранились отпечатки тяжелых колес в песке, вдавлины подков в настиле хвои. И здесь же услышали со стороны опушки громкие голоса немцев, позваниванье лопат, смех, упали по команде на землю, отползли в чащу и пролежали в кустах под соснами до темноты, до того крайнего мига, прерванного приказом Ильи идти за ним (он шепотом выкрикнул всех по фамилиям, оставив на всякий случай в прикрытии двоих с автоматами — лейтенанта Васильева и заряжающего Калинкина), — и все пятеро канули в бархатную темь вызвездившей ночи, и тогда в последний раз увидел Владимир повернутое к остающимся злое, одержимое лицо Ильи, и в последний раз прошелестела его удаляющаяся команда: «Шапкин и Лазарев — вперед!»

А он вместе с Калинкиным лежал на опушке леса, и оба вслушивались в замолкшую тьму низины, откуда тянуло прохладой ручья, свежестью яблоневого сада. Там уже перестала шуршать трава, волгло шумел под ногами уходивших песок, и померещилось: пятеро бесплотно растаяли в бездонной глубине пространства перед железной дорогой, и все там затопилось накаленным треском сверчков, раскалывающим тишину до звезд.

«Молю бога...» — вспомнил Владимир непривычные слова Ильи, и, притискивая к плечу ложе автомата, упираясь занемевшими локтями в охлажденный песок, он теперь не различал, звенит ли у него в контуженой голове или это предгибельная ночь, звезды, сверчки железным звоном наполняют уши, и повторялась в сознании одна и та же мысль: «Если мы вытащим хоть единственное целое орудие, я поверю в счастливую судьбу. Пусть нам повезет, пусть повезет, пусть повезет...»

Потом впереди раздался осторожный щелчок, из низины вертикально вылетел в звездное небо огненный шарик, послышалось шипение, стремительно разрастаясь, и водопад химического света хлынул с небес на землю и вытолкнул из потемок железнодорожную насыпь, бревенчатый мост через ручей, загоревшийся зеленым стеклом, переезд с обломком опущенного шлагбаума, бугры убитых на путях лошадей, перевернутый передок и конусообразный силуэт орудия, столкнутого с переезда под откос, — водопад света подхватил все это и смыл, унес в

пропасть сгустившегося мрака. И одновременно с окатившей землю световой волной откуда-то снизу пролаял угрожающий окрик:

— Halt! Wer ist da? Halt! [1]

«Заметили? Напоролись на немцев? Или померещилось мне после контузии?»

— Ha-a-alt!..

Нет, он уже не сомневался, что там, внизу, куда повел солдат Илья, случилось непредвиденное, потому что вновь донесся щелчок, стало разрастаться змеиное шипенье ракеты, впереди снова заорал немецкий голос «Ха-альт!», затем поблизости от переезда грохнула на дороге, разорвалась огненными перьями ручная граната, ответно вылетели две автоматные очереди с того берега ручья, резанули по переезду («Они там, на левом берегу, они переправились!»). И при тускнеющем отливе светового наваждения заметил Владимир, как наклоненные фигуры прыжками начали выскакивать из калитки сада, на секунду лунно освещенного фиолетовым сиянием, побежали по насыпи к переезду, отбрасывая на откосе уродливо скошенные тени («Немцы! А Надя — что с ней? У нее — немцы...»).

— Что деется, что деется... напоролись наши-то... Капут нам... Не вытащим мы теперя пушки...— С всхлипывающими выдохами Калинкин елозил локтем по песку, по корневищам сосны, на которых они лежали, и, морща заячью губу, оборачивал к Владимиру длинное лицо, страшное от сознания случившегося.

— Да замолчи ты! — крикнул Владимир задушенным шепотом, ужасаясь непоправимому, свершившемуся сейчас там, в низине, и заговорил в отчаянии: — Жди ракету! Видишь калитку в саду? Бей, как выбегут! Я — по насыпи!

— Что деется, что деется...

— Прекрати свое «деется»! Жди ракету — и огонь!..

Он не помнил, сколько времени продолжался огонь, сколько раз, боясь выпустить весь диск, он останавливал нажатие окостеневшего пальца на спусковом крючке, сколько раз приказывал Калинкину экономить патроны, чтобы в безрассудстве горячки не выйти из боя и не оставить Илью без прикрытия. А в поднебесье одна за другой торопливо разрывались ракеты, переплетались над берегом ручья, крест-накрест сшибались автоматные

[1] Стой! Кто там? Стой! *(нем.)*

трассы, бегло грохали немецкие гранаты, и, чудилось, какие-то голоса, похоже, немецкие и русские, неразборчиво носились в воздухе, распарываемом смерчем очередей. И этот свистящий ветер удушливыми крыльями замахал вокруг головы Владимира, сшибая кору с сосен на плечи и спину. Острый осколочек щепы уколом до крови вонзился ему в руку. Он инстинктивно зубами выдернул его, секундно ощутив смолистый вкус древесины. И тут же, в предчувствии раскаленного удара, понял, что это знак дохнувшей в лоб смерти, понял, что их пристреляли немцы с насыпи и надо немедля менять позицию. Он крикнул Калинкину, что надо менять место, вскочил, метнулся за деревьями влево по опушке, пробежал метров двадцать, с разбега упал грудью на толстые корневища, и рядом тяжким мешком повалился запыхавшийся Калинкин, удушая кислым махорочным перегаром.

— Что деется, что де...

Он поперхнулся концом слова, вцепился в рукав Владимира, вытягивая к нему оцепенелое лицо: в низину упала последняя ракета, и стало тихо везде.

«Конец? Все? Там — все? Где Илья? Где остальные? Почему они не стреляют?»

В ночи плыла тишина — в ее невесомом безмолвии плавала знобкая горькость пороха, и только дальним эхом колебались тоненькие строчки сверчков.

Но потом в той стороне переезда послышались настороженные чужие голоса, зажглись и задвигались карманные фонарики, протянули щупальца лучей по дороге, в сторону моста, и цепочкой остановились, по-видимому, на краю обрыва к ручью. Лучи нацелились вниз, пошарили вправо и влево, и лишь тогда по этому скопленному ищущему движению фонариков понял Владимир, что Илья и его группа отстреливались из-под укрытия берега, где их сверху забросали гранатами.

Немцы стояли на бугре и светили фонариками вниз, вероятно, рассматривали убитых русских, отдаленно переговаривались, перекликались с веселой возбужденностью. И Владимир, представив под обрывом, на берегу ручья, убитого Илью, вдруг пронзенный отчаянием беды, хотел крикнуть Калинкину: «Стреляй же, стреляй!» — и, заглатывая воздух, будто давясь, без слез плача, мстительно обхватил пальцем скользкий спусковой крючок и выпустил оставшуюся очередь по цепочке скопившихся фонариков на краю обрыва. Вскочив, он отбросил автомат с опорожненным диском, отбежал на несколько шагов,

упал меж деревьев и лежа потянул с бедра кобуру пистолета, вслух убеждая себя в беспамятстве: не тратить сейчас все патроны, оставить хоть один...

Немцы разом погасили фонарики и открыли ответный огонь, не прекращая его минут десять.

Целую ночь они пролежали на опушке леса, прислушиваясь, ожидая поймать слухом плеск воды или шелест травы в низине, звук зовущего голоса из темноты, еще надеясь, что кто-нибудь вернется. На рассвете, окутывая мозг, наплыло, подобно туманной завесе, дремотное забытье, и начала сдвигаться в плавном скольжении земля.

Когда оба очнулись, разбуженные сырым дуновением, холодком утра, где-то неподалеку однообразно пиликала губная гармошка. И, вздрогнув, Владимир мгновенно увидел всполошенное, смятое лицо Калинкина, его погибающие глаза, ясно увидел немцев на переезде, крышу домика в саду и верхушки тополей, чуть-чуть алеющие на раннем солнце. Все было спокойно, мирно, буднично, теплело на востоке небо, и два немца в плащ-палатках, с автоматами на груди сидели спиной к ним на опущенном сломанном шлагбауме, один пиликал на губной гармошке (может быть, взята она была у убитого Шапкина?), другой курил, овевая голову дымком сигареты. Немцы ходили и по саду, еще росистому в тени низины, заспанно разговаривали, скрипела жердь колодца, позванивала там бадейка на цепи, подымался из-за яблонь сиреневый дым, и вкусно разносился в утреннем воздухе запах жареного мяса. И от этого запаха и от чужого пиликанья гармоники стала подкатывать горькая мука, забивать дыхание, и, пытаясь освободиться от мерзкого удушья, Владимир царапал грудь, кашлял, стонал, не находя себе места, безвыходная тоска разрывала ему душу.

«Неужели Илья, Илья, Илья?..»

Потом в лесу опять был знойный июльский день, ленивая благость солнечного покоя, теплый дух разомлевшей малины, а они двое шли туда, где погромыхивало дальними обвалами, и порой дрожащая горячая пелена заслоняла лес, солнце, траву, и в этой пелене прыгали, скрещивались лучи фонариков на берегу ручья, направленные под обрыв, откуда уже не раздавалось ни одного выстрела,— и он задыхался, слезы жгли ему щеки, но легче не становилось.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

«Да, сейчас мы увидимся... Но какая несуразность, какая нелепость, что вместе с ним Колицын! В его присутствии не может произойти серьезного разговора между нами!..»

Он привычно вымыл кисти, счистил мастихином краски с палитры, накрыл тряпкой холст на мольберте, после чего протер руки одеколоном и, раздумывая, долго рассматривал в стенном шкафчике бутылки, коробку шоколадных конфет, приготовленную Марией для нежданных гостей, затем взглянул в широкое окно, все серебристо-солнечное, в круглых февральских протаинах, увидел медленно въезжающую во двор меж синеватых сугробов антрацитно-черную «Волгу» («Это он — Илья!») — и жаркий толчок в висках заставил его пройтись несколько раз по мастерской, чтобы унять волнение.

Надо все же сделать лицо спокойным, в меру приветливым («Что это я — неискренен, фальшивлю? Хочу встретить Илью как иностранца, приехавшего поглазеть на советского художника и купить картины?»), и суховато поздороваться с обоими, сказать Колицыну, что располагает сорока минутами, однако с Ильей следует по-настоящему встретиться позже, вместе с Марией.

И Васильев принял это решение, но когда раздались шаги в коридоре, стук в дверь, когда в роскошной меховой шубе, розовый от возбуждения и коньяка, расплываясь одутловатыми щеками, шумно вошел Колицын и за ним проследовал бледный высокий человек в сером пальто, в мягкой шляпе, прямой, изящный, в котором уже нельзя было узнать лейтенанта Рамзина сорок третьего года, как и при встрече прошлой осенью в Венеции, где он удивил совершенно чужими, незнакомыми манерами, одеждой, интонацией голоса, и сейчас Васильев, против воли опережая его, первый протягивая руку, проговорил чересчур уравновешенным, деловым тоном:

— Здравствуй, Илья. Раздевайся. Вешай пальто сюда. Давай я тебе помогу.

— Но, но, но, я сам справлюсь! — запротестовал Илья оживленно и повесил пальто на вешалку в передней, тронул ровно уложенные на косой пробор седые волосы и живо прошел в солнечную мастерскую, прищурясь озирая стены, переводя улыбающиеся, немного воспаленные глаза на Васильева.— Ого! У тебя очень мило

и уютно. Ты здесь творишь, Владимир? Ты здесь создаешь?

Владимир поправил его насколько можно шутливо:

— Творю — это громко. Работаю. Творят боги, и то не каждый день.

— Но отлично у тебя, отлично, много солнца! — продолжал Илья и тщательно растер, помял пальцы, будто согревая их; этого жеста Васильев никогда не замечал раньше.— Я рад, Владимир, видеть тебя, очень рад быть у тебя в мастерской!

— Я тоже рад.

Между тем Колицын возился в передней, слишком тщательно обмахивался щеточкой, вытирал ноги, причем тихонько напевал нечто модное, как бы являя характер беспечного, по-дружески принимаемого здесь человека, всегда настроенного на приятное времяпрепровождение. Васильев же вспомнил, услышав это мелодичное мычание, его нетрезвое возбужденное лицо, его злобную распахнутость в незабытую им ночь, не без досады подумал: «Как он будет сейчас мешать нам!» — и тут же, усадив Илью в кресло («Подожди секунду, я сейчас!»), вышел в переднюю, где Колицын, все еще напевая, щеточкой оглаживал перед зеркалом свой отлично сшитый костюм, сказал ему негромко:

— Послушай, Олег, ты бы оставил нас на часок поговорить. Привез его — и спасибо. Кроме того, знаешь ли, вести общий разговор мне будет сейчас и трудновато и утомительно.

Колицын царственно отвел назад львиную гриву, его треугольные глаза превратились в трапеции, но щеки, раздвигаясь, продолжали выражать не помнящее зла игривое простодушие, и он ответил шепотом:

— Не забывай, Володенька, что иностранцами занимаюсь я. О ля-ля! — И, заполняя пространство своей элегантной фигурой, сочным бархатистым баритоном, излучая легкомысленную радужность и довольство любящего мужское общение джентльмена, Колицын ступил в мастерскую, фокусоподобно вытянув из портфеля бутылку армянского коньяку, наклонился над креслом Ильи.— Думаю, господин Рамзин, что потягивать превосходный ароматный коньяк и смотреть картины лучше, чем смотреть картины и не потягивать превосходный коньяк.

Надо полагать, это была светская острота, которая должна быть произнесена в подобном случае, приглашающая посмеяться в избытке хорошего настроения, и

Илья посмотрел на Колицына дружелюбно, сказал с улыбкой:

— Благодарю, господин Колицын. Я абсолютно не пью. Давно выпил всю отпущенную судьбой норму.— Он улыбнулся Васильеву: — Если господин Васильев, мой старый друг по Венеции, угостит меня стаканом молока, буду премного благодарен. Молоко — мой напиток.

«Господин Васильев... Господин Колицын... Господин Рамзин... Мой старый друг по Венеции». Он не хочет, чтобы Колицын знал, как давно мы знакомы. Но Илья, Илья... Господин Рамзин? Вот он сидит в кресле — не Илья, а совсем другой человек. Это господин Рамзин и вместе Илья, оставшийся после войны в Западной Германии, теперь поселившийся под Римом, проживший целую жизнь за границей. Что в нем осталось от лейтенанта Ильи Рамзина, от той ночи, от того июльского утра, когда мы возвращались к орудиям, брошенным в окружении? Как он все-таки попал в плен, он так и не ответил тогда в Венеции. И все-таки — как?..»

— К сожалению, здесь у меня нет молока! — сказал Васильев и в ту секунду еще не понял, почему мысль об осенней встрече в Венеции была тревожной.— Какая досада, что я не держу молока в мастерской. Я не пью молока.

— Но хоть рюмки-то для гостей ты держишь, Рембрандт? — спросил исполненный добродушного протеста Колицын и откупорил бутылку коньяку, поставил ее артистичным манером на середину стола.— Никогда! Никогда! — уловив вопрошающий взгляд Ильи, вскричал он с театральным возмущением, изображая переливами голоса гостеприимного русского гуляку в приятельском кругу.— Мы договорились, не будем пить, не будем пить — о, нет! Мы лишь наполним рюмки ради этой встречи и, подобно афонскому монаху, не притронемся к ним.

— Афонский монах? Что за афонский монах? — спросил Илья и прищурился, лучики жестких звездообразных морщинок прорезались сбоку глаз, но от этого знакомого прищуривания лицо его не обретало, как прежде, самоуверенного выражения нацеленности к действию, а становилось внимательно-усталым, прислушивающимся.

— Афонский монах, видите ли, каждую ночь ложился между двумя девственницами и не трогал ни одну из них. Ха-ха, представляете муки укрощаемой плоти?

— Н-да, монах,— неопределенно сказал Илья.— Читал где-то я, читал. Не в житии ли святых?

— Затрудняюсь ответить. Запамятовал в суете мирской.

«Эк он хочет понравиться иностранцу, но... зачем? — нахмурился Васильев, доставая из шкафчика бутылки с айвовым соком, взглянул на обаятельно-словоохотливого Колицына и подумал решительно, что в его присутствии никакого разговора с Ильей быть, конечно, не может, что только время будет непростительно потрачено в болтовне, и, неожиданно восставая против своего рабского терпения, сказавшегося и тогда ночью, когда он позволил приехать Колицыну, чтобы выслушивать его, и сейчас, еще больше сердясь на его избыточную фамильярность, Васильев сказал с вежливо сдерживаемой злостью:

— Олег Евгеньевич, твоя притча о монахе очень интересна и в высшей степени поучительна, но в самом деле («Напрасно я ему это говорю. Я не могу удержаться от резкости и наживаю на всю жизнь врага!») у меня нет времени, Олег Евгеньевич. И я прошу тебя дать мне возможность спокойно поговорить с господином Рамзиным хотя бы час.

Колицын между тем ловко разливал коньяк, в ответ на слова Васильева вопросительно полукругом поднял брови, расставил рюмки на три угла столика, пробархатил сочным баритоном:

— Да, но, родной...

— Умоляю тебя, без ненужной фамильярности, сделай одолжение,— попросил Васильев, справляясь с желанием сказать ему, что он чрезмерно навязчив, представляя добрейшую душу мифической русской гостеприимности господину Рамзину, который знает это, ибо сам русский.— Послушай, Олег Евгеньевич,— продолжал Васильев не без упрямства.— Тебе не нужно тратить нервные клетки... занимать гостя приятным разговором. Мы давно знаем друг друга.

— Ваша дружба в Италии уже известна и, представьте, это похвально и великолепно! — воскликнул с изобильной радостью Колицын, пропустив мимо ушей эти задевающие его слова Васильева.— Не так уж часто мы находим поклонников за рубежом! — Он, оттопырив мизинец с полированным ногтем, взял рюмку со стола, взглядом чокнулся с Ильей и Васильевым.— За ваше знакомство в волшебной Венеции, которое свело вас в Москве...

Васильев перебил его раздраженно:

— Мы были знакомы до Венеции.

«А нужно ли это ему знать?..»

— Как «до»? Ах, да, по твоим картинам, которые раньше выставлялись в Италии!

— Совсем нет! Мы знакомы с детства, если тебе ни аллаха не понятно,— сказал Васильев с той вызывающей резкостью, которая сразу избавляла его от ложной двусмысленности и вместе обезоруживала в чем-то Колицына.— Надеюсь, ты понял, Олег Евгеньевич, почему не надо делать дипломатические реверансы.

Колицын в напряжении стянул припухлые веки, его треугольные глаза осмысленно посветлели, обмерли на невидимой границе в воздухе над головой Васильева, и он заговорил ненатурально размягченным голосом:

— Ах, вон что... Никогда бы не мог подумать, в голову бы никогда не пришло. Ах, вон оно что...

— Ну, что удивляться,— сказал Васильев.— Что тут ахать, Олег Евгеньевич! Мы давно знакомы.

— Прошу извинить! — Колицын поставил недопитую рюмку на место, и в его белом, с чуть отвислыми щеками, дородном лице неподкупно проглянула гордая независимость воспитанного человека.— Да, я все понял. Приношу извинения. Я позвоню сюда через час... Вы не против, господин Рамзин?

Илья кивнул с некоторой церемонной благодарностью:

— Хорошо бы через два. И так будет точно, господин Колицын.

— Я позвоню точно через два часа.

Не без солидного достоинства Колицын тряхнул длинными волосами в общем поклоне, гибкими шагами вышел в переднюю и там, энергично надевая шубу, так же превесело замычал некую мелодию, так же энергично, звонко щелкнул замком входной двери, и, чуть выждав, Илья первым нарушил молчание:

— Господин Колицын — босс художников в иностранных делах, а ты вел себя как капризная знаменитость. Так, Владимир, допустимо? Такое не повредит?

— Какая там еще, к черту, «капризная знаменитость»!—отмахнулся Васильев и закурил сигарету, с размаху повалился в старое, зазвеневшее пружинами кресло, заговорил поспешно, почти недовольно: — Не могу тебе сказать, искренне рад я или не рад, что ты

приехал. Прости за откровенность. Но разговаривать нам с тобой нужно без свидетелей. У нас с тобой — свое.

— Ты сказал: у нас «свое»? Имел в виду что?

— Когда-то в детстве мы дня не могли прожить друг без друга. И на войне были в одной батарее. Я был счастлив, что мы вместе. В прошлом году наша встреча в Венеции не то чтобы поразила меня, а как-то... Я много лет жалел, все время жалел, что нет в живых тебя... моего друга, с которым можно было в огонь и в воду. Все так, Илья. Но мы уже не те... В Венеции понял: ничего общего, кроме воспоминаний. К сожалению, Илья. Поэтому не будем фальшивить: ты приехал в Россию не потому, чтобы в сентиментальном настроении купить мои картины. Чем могу помочь?

— Страшная штука жизнь,— сказал Илья и откинулся в кресле, сложил ладони, задумчиво подпер кончиками пальцев подбородок.— Страшная штука... Как говорят французы, никто не знает, зачем людям правда, но все знают, зачем ложь. Не так ли? Люди никогда не узнают друг друга до дна, даже примерные супруги, прожив вместе общую жизнь. Боюсь, Владимир, что ты не знал меня исчерпывающе ни в школе, ни на войне. И я тебя тоже.

Илья засмеялся жестяным коротким смехом, неприятно отдалявшим и старившим его, и поразили Васильева эти его воспаленные, ничему не верящие, сверх меры познавшие житейскую мудрость глаза и что-то совсем незнакомое, немолодое в его еще довольно прочной шее, может быть, в складках кожи над воротничком сорочки, сухость и ровная бледность безукоризненно выбритого лица, серые с отливом в голубизну волосы — какую упорную работу проделало время; он, похоже, еще больше поседел за эти четыре месяца!

«Но кто же истинный Илья? Тот лейтенант, мой друг, которого мне все время не хватало после войны, или этот уставший от жизни, чужой мне человек? И где истинный я: там, в детстве, или в июле сорок третьего, или здесь, вот в этой мастерской, пятидесятичетырехлетний человек, которого ничем не удивишь?»

— Ты сказал, что я не знал тебя,— проговорил Васильев, хмурясь.— Возможно... Просто я верил в чистоту и святость дружбы и верил, что мы никогда друг друга не предадим. А в общем, в этом была прекрасная молодость. На Украине, когда тебя назначили комбатом, я восхищался: как ты великолепно утверждал себя! По-

мнишь: жара, домик под насыпью, тишина, немец в малиннике в саду, перемирие, которое устроил старшина Лазарев? Потом в домике оказалась молодая женщина. Я хорошо помню ее... Твоя решительность была необычайной, Илья.

— Необычайной? — повторил Илья и в раздумье потер, помял руки возле подбородка.— Володя, Володя! Ты многого не знал в то время. Но кое-кто из дотошных в полку отлично знал, чей я был отпрыск. Каким образом меня поставили на батарею, до сих пор додуматься не в силах. Вернее всего, наш храбрый комполка Воротюк решил рискнуть, как всегда рисковал. Уверен, что и расстрелял бы он меня так же красиво, как и назначил. Молодец. Поразительный был майор. Много лет не могу вспоминать о нем без нежности.

— И, конечно, старшину Лазарева? — прибавил Васильев и спросил то, что при первой встрече спросить не успел: — Скажи, как погиб Лазарев?

— Смертью храбрых.— Илья, усмехнувшись, равнодушно взглянул на потолок.— Царство ему небесное, хоть он и не стоит его.

— Почему не стоит, Илья? Смерть на войне уравнивает.

— С ним — нет.— Илья поднес рюмку к подбородку, вдохнул аромат коньяка, но не отпил ни капли, поставил рюмку на место, сказал отчетливо: — Была сильная самолюбивая личность, дьявольское начало, а впрочем — гиньоль. И в конце концов — ничтожество. Я многое о нем забыл, но ты вспомнил именно его...

— В общем, смертью он искупил, как говорится, свои грехи. Искупил гибелью, когда ты попал в плен.

— Auch [1],— ответил сухо Илья.— Я стер его из памяти. Хотя не раз ставил свечки за душу убиенного. Он был убит, а я жил, несмотря ни на что. Но...— Илья с пытливым выжиданием посмотрел на Васильева и неторопливо продолжал: — Нам с тобой нет резона вспоминать войну. Лазарев давно обрел вечный покой, бог с ним. Смерть — искупление... Он избежал самого страшного, чего не избежали мы с тобой,— прожить жизнь. Господь наказывает и смертью и жизнью. Не так ли?

— Ты веришь в бога, Илья?

— В нашем возрасте надо во что-то верить, ибо очень скоро предстоит единственное...

---

[1] Тоже *(нем.)*.

— Что единственное?

— Прощание с земным. Прощание, Владимир. Недолог срок— и у небесных врат придется поклониться апостолу Петру.

«Я хорошо помню, что он сказал, когда мы шли по лесу,— подумал Васильев.— Он хотел сохранить три патрона в пистолете: два для Лазарева, один для себя. Он не застрелился и попал в плен. А как... как погиб Лазарев?»

— Неужели надеешься попасть в рай, Илья? Я, признаться, не рассчитываю на комфорт у господа бога.

— Если успею в тяжких грехах раскаяться, господь не даст исчезнуть в муках навечно. Да, Владимир, я не шучу. Вся жизнь — бесконечный выбор. Каждый день — от выбора утром каши и галстука до выбора целого вечера — с какой женщиной встретиться, куда пойти, каким образом убить проклятое время. Все совершается после выбора: любовь, война, убийство. В последние годы я часто думаю, что́ управляет нашим выбором при жизни? Но кто знает, есть ли выбор после смерти? Ад? Рай? Сон? Что будет там, за краем?

«Как изменила его жизнь! Его? Я подумал о нем и не подумал о себе. Он говорит так, будто хочет не раскрыться в чем-то, не объяснить себя, какого я не знаю, а уйти от главного. Но что я хочу? Понять, кто такой сейчас Илья? Он неискренен и лжет? А смысл какой? Никто не знает, что случилось с ними в ту ночь, когда они пошли к орудиям. Теперь я наконец-то понял, что́ меня раздражает: я подсознательно ищу в нем прежнего Илью, хочу увидеть, вернуть того, молодого Илью, того лейтенанта Илью, а его нет. Тот Илья, которого я любил, несовместим с этим, чужим, в сущности. Да может ли так быть? А я совместим с самим собой, прежним?»

— Что же у тебя за тяжкие грехи, Илья?— спросил Васильев и, досадуя на свои вопросы, которые могли показаться чересчур назойливыми, продолжал полусерьезно: — Я не верю в загробное блаженство и обвиняю себя в страшных грехах: в бездарности, трусости и бессилии. Моя казнь — бессонница, вот уже несколько лет. Это старость, Илья. Нам уже за пятьдесят.

— Разреши не согласиться, Владимир. Все гораздо хуже, чем тебе кажется. Это последний круг перед финалом, а не старость. Я задыхаюсь, но бегу из последних сил, вижу финиш и слышу крики приветствий уже закончивших бег...

— Любишь черный юмор? Очень уж пессимистично... до неправдоподобия!

— Напротив...

Илья потрогал рюмку, поднял ее к заблестевшим чернотой глазам, посмотрел сквозь рюмку на солнечный свет зимнего окна, с длительным наслаждением вторично понюхал коньяк, сказал размеренно:

— А какая прелесть, какое упоение, какая жизнь в этом аромате. Но через год-полтора ты еще сможешь вдыхать прелестный запах так много выпитого мною разного коньяка, а я уже буду там... Как странно и страшно, не правда ли? Ты еще будешь рисовать свои картины, а от меня — ни-че-го... Был ли он? Ходил ли он по земле? Непостижимо. Немыслимо. Представь, я все о себе знаю. Но, как видишь, не бьюсь в истерике, не устраиваю трагедий, и говорить об этом нет смысла.

— Не понял, Илья.

— Знаешь, что такое фрустрация[1] бытия, Владимир? Тщетная надежда. Ожидание крушения. Все мы случайные туристы на белом свете, и каждому назначен свой срок покидать снятый номер в отеле. Кстати, у тебя в гостях я тоже не задержусь... хотя очень и очень хотел увидеть тебя.

Он засмеялся искусственным, жестяным смехом, который так раздражающе несвойствен был Илье, и, может быть, потому, что глаза его не смеялись, а сделались узкими, печально-холодными, как если бы ему вовсе не нужен был этот смех.

— Виноват, что-то я не вполне понимаю. О каком сроке ты вспомнил? — проговорил Васильев и нахмурился.— Что за год — полтора года? Кто тебе нагадал?

— Я слишком много истратил денег на клинику, чтобы верить в гадание,— ответил Илья по-прежнему спокойно.— Благодарю бога, что не завтра последний день. Мне еще дано сделать выдох...

«Последний день?» — с внезапной ясностью понял Васильев, представив Илью не здесь, в Москве, еще внешне крепким, выхоленным, элегантно-седым, сидящим сейчас в его мастерской, а где-то в знойных пригородах Рима, в его пустой вилле, на втором этаже, одиноко лежащим на застеленной простынею кровати со сложенными восковыми руками, и полуденное солнце

---

[1] Обман *(лат.)*.

пробивается сквозь ветви пиний под окнами в покойную тишину дома, где пахнет духотой и смертью.

«Через год-полтора? И он знает это? — И Васильев, всматриваясь в кисти Ильи, сухие, женственно ухоженные, с удлиненными стерильно чистыми ногтями, в прошлом очень сильные маленькие кисти (когда в юности он занимался гимнастикой, боксом и самбо), тотчас вообразил бессонные ночи Ильи наедине с самим собой, с одиночеством, точным знанием своего последнего срока, и, ощутив всю безысходную тоску этих ночей, подумал еще: — Я не смог бы так ждать приближения казни».

— Что за болезнь у тебя, Илья? Сердце?—проговорил Васильев, мучаясь вопросом, которого не смог избежать сейчас, стараясь не называть неизлечимую, роковую болезнь, одно лишь краткое колючее звучание которой рождало мысль о зыбкости всего в этом мире.

— Выбор был сделан не мной... Но иллюзии кончились,— с усмешкой сказал Илья.— Четыре года назад я прошел через операцию, а после нее живут пять лет, от силы шесть. Обжаловать приговор невозможно. Поэтому я знаю то, чего не знал раньше. Впрочем... я хотел увидеть тебя не для этих разговоров. Об этом не стоит.

И он заинтересованно оглядел стены и потолок, струисто-светлый от снега, сугробов во дворе, от предвесеннего солнца, ярко брызжущего сквозь джунглеобразные морозные заросли уже оттаивающих стекол, брызжущего на плакаты выставок, на стеллажи в мастерской, просторной, веселой в празднике погожего февральского дня, и, оглядев, сощурил веки, точно ему любопытно и больно было видеть это изобилие зимнего света, сказал с насмешливой грустью:

— Помнишь зимний день на Воробьевых горах, мороз, иней, а мы идем всем классом на лыжах по берегу замерзшей Москвы-реки. Счастливое время! Так ведь оно и было? Или — вечер, снег сыплется вокруг фонарей, каток в парке культуры и отдыха, и мы с тобой и Машей едва на ногах держимся от катания, зашли прямо на коньках в буфет, пьем горячее какао и грызем баранки с маком, а они после мороза пахли так аппетитно. Ты и Маша тогда были влюблены. Было это?

— Ты не совсем точен, Илья.

Васильев замолчал, не желая говорить о Маше, которая тогда была влюблена не в него, а именно в Илью, а он, Илья, на девочек не обращал серьезного внимания,

занятый таинственными увлечениями в секции гимнастики, носил полосатый тельник под рубашкой, матросский ремень с медной бляхой (так модно было) и терпеть не мог душевных излияний в любом проявлении.

«Только... почему он заговорил о Маше? Не может быть, чтобы я ревновал ее к нему через столько лет. Нет, тут другое. Он как будто хочет оправдаться предо мной. В чем? Странный брак с немкой после плена? Какой-то заводик швейных или патефонных иголок. И невозвращение после войны. Его жадность к жизни, его болезнь, если это так?.. Он вызывает у меня какое-то необузданное любопытство, и я спрашиваю его, а не он меня...»

— Мне кажется, ты еще не виделся с матерью? — спросил Васильев, чувствуя по всему, что Илья не встречался с Раисой Михайловной.— Она знает, что ты в Москве? Ты надолго приехал?

— На неделю. Поверишь ли, Владимир, ехать один к матери я боюсь,— неуверенно проговорил Илья и, облокотясь на кресло, загородил лоб ладонью.— Она, как мне известно, нездорова, и я боюсь пуще смерти, выдержит ли она? Я просил — помнишь, в Венеции? —чтобы вы хотя бы туманно намекнули ей обо мне... что я жив.

— Да, Маша говорила с ней. Была у нее дома.

— И что?

— Ее реакцию можно понять. Раиса Михайловна сказала, что ты убит и она не хочет верить в чудеса,—ответил, помолчав, Васильев и с горечью подумал, что нет у человеческих желаний никаких гарантий, и жизнь вернувшегося из небытия Ильи, если он действительно серьезно болен, через малый срок будет закончена, и теперь чудовищно было это представить. Значит, смерть наготове сидит в каждом из нас, ходит неотступной тенью и ждет своего часа: «И все мигом к черту: солнце, вот этот снег, мои холсты, громкие слова о творчестве, часы работы вот тут в мастерской, моя любовь к Маше и Виктории, двум женщинам в целом мире, и все то, что было... и могло быть. Как все висит на тончайшем волоске!..»

— Что я должен сделать? — спросил Васильев и встал, заходил по мастерской, по заляпанному красками солнечному полу.— Чем я могу тебе помочь? Съездить к Раисе Михайловне? Поговорить? Когда ты готов ехать к ней?

— Завтра,— ответил Илья глухо.— Сегодня не хватит сил. Я прошу тебя, Владимир, поехать со мной... не как

провожатого. А как... как бывшего друга. Так будет легче... мне и ей.— Он натолкнулся глазами на сумрачно-задумчивый взгляд Васильева, попросил вполголоса:— Позвони ей и предупреди, что приедешь завтра не один... Сейчас, при мне позвони, если можно. Скажи и объясни, что я жив и здоров... прибыл в Москву, чтобы ее увидеть...

«Я ей скажу эту фразу и вступлю в обман вместе с Ильей. Но может быть, он приехал для того, чтобы проститься с ней?» — подумал снова Васильев и, нахмуренный, заложив руки в карманы, некоторое время стоял против тумбочки с телефоном, а когда снял трубку и сбивчиво, два раза ошибившись, набрал номер Раисы Михайловны, то ощутил на миг застывшую тишину позади и упершийся в спину взгляд, от которого стало не по-себе: Илья открыто просил его помощи в первом свидании с матерью, сомневаясь, видимо, в чем-то очень важном для себя.

К телефону долго пе подходили.

— Раиса Михайловна, это я, здравствуйте,— заговорил Васильев, услыхав наконец несильный, мягко-растянутый, мнилось, теплого, коричневого цвета голос, и заговорил с невольной заминкой, подыскивая слова, которые не выстраивались в нужный дипломатический ряд: — Да, это я, Раиса Михайловна. Да, это я. Нет, я не забыл вас. Я не звонил, не видел вас целую вечность, простите меня. Но я хотел вам сказать... То есть мне надо заехать к вам завтра, и не одному, а с моим старым другом, которого вы лучше меня знаете... («Глупец! Грошовый дипломат! Просто образцовый глупец, при чем здесь невыносимо жалкий юмор?») Дело в том, что в Москву приехал... Илья, и я встретил его, Раиса Михайловна. Да, приехал из Италии Илья, живой, здоровый («Я повторяю слова Ильи?»), и он рвется к вам сейчас же («Лжец! Лжец!»), а я прошу его отдохнуть у меня после самолета...

Он, запинаясь, выговорил последнюю фразу, проклиная свое неловкое, натужное участие в этой придуманной для правдоподобия игре, и наступившее в трубке молчание Раисы Михайловны после его наивного и неумелого дипломатического хода зябко дохнуло предвиденным осложнением, он испугался, что это молчание взорвется вскриком, заглушенными рыданиями, ее вопросами об Илье, прерывающимися неудержимыми слезами,

и потому не сразу расслышал невнятный, устало смиренный, ускользающий ее голос:

— Я знаю, Володя, что он приехал.

— Откуда вы знаете, Раиса Михайловна? — изумился Васильев и перевел дух, неудобно помялся у тумбочки, стараясь не поворачиваться к Илье.— Вам кто-то сообщил?

— Мне снился нехороший сон, Володя,— слабо проговорила она.— И Маша сказала. Неделю назад она была у меня...

— Когда? Неделю назад? Что она сказала?

— Она сказала, что он должен приехать.

— Он уже в Москве, Раиса Михайловна. Мы завтра приедем к вам... завтра приедем...

«Каким же образом Мария узнала о приезде Ильи? Как она могла узнать?»

Он положил трубку с сердцебиением, сбившим дыхание, убеждая себя, что Раиса Михайловна перепутала, сказав о встрече с Марией неделю назад («Зачем Марии нужно было от меня скрывать это?»), и, чтобы подавить унизительное чувство подозрения, он сказал Илье нарочито обыденно:

— Наверное, суть разговора тебе была понятна. Она знает, что ты приехал. Чем еще могу помочь?

— Не торопи, ради бога.

Илья долго вытирал платком виски, покрывшиеся испариной во время разговора Васильева по телефону («Чего он ждал? Отказа матери? Сомневался в том, что она захочет его увидеть?»), и в изнеможении отвалился на спинку кресла, хрипловато сказал:

— Разреши выкурить сигарету?

— Сделай одолжение.

— Благодарю. И разреши несколько минут помолчать и подумать.

Илья раскрыл на колене серебряный портсигар, отделанный перламутром, достал из глубины его единственную, прижатую шелковой резиночкой сигарету, последнюю из его трехштучной (как помнилось по Венеции) дневной нормы, и Васильев, заметив дрожание бровей, когда он прикуривал от знакомой газовой зажигалки, понял, что встреча с Раисой Михайловной будет для Ильи трудной, дорого ему стоящей, та встреча, которой он ждал и боялся.

— Покажи что-нибудь. Пока я покурю,— попросил тихо Илья, выдыхая дым с задерживаемым и видимым

удовольствием, смакуя вкус и крепость табака.— Покажи хоть одну картину. Ты уже знаешь, что я твой поклонник. И я купил бы, если бы ты...

Он не договорил, с всхлипом затянулся сигаретой.

— Спасибо. Но я что-нибудь подарю тебе лучше,— машинально забормотал Васильев, шагая по мастерской, и остановился у стеллажей за мольбертом, напротив холстов, поставленных на полу лицом к стене, вытащил одну картину, подул на нее, очищая от пыли, прислонил к ножке мольберта и, заложив руки в карманы, отошел к другой стене мастерской, говоря рассеянно:

— Вот такая штука.

Над этой вещью он работал несколько лет, отдаваясь этой счастливой воздушности ясного летнего утра, свежести зелени, спокойной прозрачности воды (речная галька была видна как в увеличительное стекло), возле которой лежала в безмятежной дреме молодая девушка, еще недавняя девочка, одна рука закинута за голову, отчего нагая грудь остро напряглась, и от всего юного, тонкого тела ее исходило прохладное сияние невинной прелести, утренней непорочной чистоты, доверчивости, еще не знающей стыда,— во всех вариантах Васильев убирал и не мог до конца убрать загадку чувственности, добиваясь господства телесной женской тайны, без желания прикоснуться к ней с неосторожным вожделением.

— Однажды в сумерки,— говорил Васильев, искоса глядя на картину издали,— в галерее Уффици я вошел в зал и щекой... понимаешь, щекой почувствовал тепло, как будто жар от печки, как будто теплый ветерок... Посмотрел: слева от меня была «Венера» Тициана. Я чувствовал тепло ее тела. Вот это чудо, это было поистине чудо! А я... я пытался передать совсем другое... Холодок и прелесть чистоты.

Илья сказал, грустно усмехаясь:

— От твоей Венеры веет несовременной девственностью. Мечта о давно забытом. Для мужчин — streng verboten [1].

— Нисколько. Красота — категория вечная, так же как и безобразие. Рафаэлевская «Сикстинская мадонна» не вызывает чувственность. И в то же время это идеал женской красоты.

---

[1] Строго запрещается *(нем.)*.

Илья в расслабленности привалился затылком к спинке кресла, медленно рассматривая картину, вполголоса проговорил с подчеркнутым удовлетворением:

— Ты по-старомодному верен себе... влюблен в одну Марию. Пожалуй, и здесь есть что-то ее...

— Больше меня интересует другое,— попытался шутливо ответить Васильев, в то же время злясь на это фальшивое удовлетворение в словах Ильи.— Как у тебя? Кто она?

— Ее нет в природе,— ответил Илья и договорил не без снисходительной насмешки над самим собой:— Всё в прошлом. Женщины меня уже мало интересуют.

— Что?

— Их было слишком много.

Илья смял докуренную сигарету в пепельнице, оперся на подлокотник, закрыл лоб ладонью.

— Господи, прости меня, грешного,— заговорил он преувеличенно бодро и из-под руки обвел Васильева взглядом непритворного страха, умоляя его о помощи.— Так скажи... как она примет меня?

— По-моему, ты не о том думаешь,— сказал Васильев.

— О том, о том,— возразил Илья.— Больше всего боюсь ее... равнодушия. Да узнает ли она меня?

— Что ты хочешь этим сказать, Илья?

Илья молчал, заслоняя рукою влажный лоб, и очевидно было, что он опасался и не хотел говорить об этом.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

На углу Вишняковского переулка отпустили такси и долго смотрели на церковку, где теплились сквозь решетчатые узоры окон огоньки свечей, темнели фигуры старух на паперти, а вокруг, будто в тихом чужом городе, розовели стекла верхних этажей, розовел снег на карнизах, горели предзакатным солнцем кресты высоких куполов, до войны разрушенных, теперь обновленных, и галки с провинциальным щелканьем носились над колокольней. И Васильеву вдруг вспомнился промозглый ветер, холод, звезды, погромыхиванье железа на вершине колокольни, когда они октябрьской ночью сорок первого года возвращались с окопных работ под Можайском и, пройдя всю Москву, вышли по Новокузнецкой улице вот в этот переулок, чтобы сократить путь к дому.

Только здесь, слева на углу, была раньше маленькая булочная-кондитерская в двухэтажном доме, куда неизменно бегали до войны за батонами и где весенними утрами тепло, сладко пахло свежеиспеченным хлебом, и стояли здесь, в Вишняковском переулке, крепкие купеческие дома с мезонинами, с травянистыми двориками, с дровяными сараями, на их пышущих жаром толевых крышах гуляли голуби, вышедшие из сетчатых нагулов, а надменные коты в майские полдни лениво грелись на солнцепеке подоконников, подергивая ушами от сумасшедшего крика воробьиных свадеб в глубине разросшихся лип. В середине июня тополиная метель бушевала на улицах, в переулках, во всех тупичках Замоскворечья, пух нежной пеленой скользил по мостовым, летел в раскрытые окна, плавал над прилавками полуподвальных овощных магазинчиков, прилипал к афишам на заборах, к стеклам газетных киосков, белыми волнами окружал каменные тумбы около подворотен, цеплялся за столбы чугунных фонарей. Его мягкое прикосновение щекотно чувствовалось на лице, на бровях, на ресницах, и хотелось засмеяться, сдуть его...

Васильев не был здесь несколько лет — не хватало часу приехать сюда или, быть может, подсознание намеренно оберегало его и от прошлого, и от всех этих изменений близ знакомой с детства церковки в Вишняковском переулке. А тут уже не было ни булочной-кондитерской, ни овощных магазинчиков, ни обжитых особнячков с мезонинами, ни каменных тумб подворотен, ни сытых голубей на крышах нагулов. Там, где были эти дворики, старые особнячки, столетние липы, громоздко возвышался, грязно серел многоэтажный дом, нелепо и плоско вреза̀лся панельной стеной в лиловеющее к вечеру небо, торчал вывесками магазина радиотехники, неопрятными балконами, на которых сушилось пестрое белье, стояли ящики и лыжи, а напротив церкви, за ее оградой, высокомерно, неуклюже уходила вверх над переулками четырнадцатиэтажная башня,— и эти чужие пришельцы, эти чужестранные завоеватели враждебно лезли в глаза Васильеву циничной, модной безобразностью,— и он понял, что опоздал приехать сюда, в край своего детства, что свершился обман, подобный необъяснимому насилию.

На углу Лужниковской он взглянул на Илью. Но тот замкнуто молчал, еле угадываемая растерянность смутной судорогой проходила по его лицу. И показалось, что это была незавершенная слабая улыбка, похожая на от-

свет неясного узнавания детского, давнего, что еще осталось в голубоватых проемах осевшего снега на ветвях уличных тополей, в оттепельно-мокрых, обледенелых водосточных трубах, в капающих сосульках, наросших на карнизах, в тюлевых занавесках первых этажей, в уже незимней косматости низкого солнца над дальними крышами, такими белыми, с мучительной синевой на теневых скатах, какими бывали близко к весне и почему-то запомнились навсегда. Все это было не тронуто временем — и лед на желобах, и искры солнца на сосульках, и капель, и тени, и даже февральский воздух, пахнувший чем-то влажно-горьковатым, точно бы печным дымком. И Васильеву внятно послышалось, что Илья шепотом произнес: «Помнится, так было»,— и втянул носом воздух, блуждая глазами по крышам домов.

— Ты что-то сказал? — спросил Васильев.— Ты сказал: так было?

— Я молчал. И думал — все забыл, все...— замедленно ответил Илья, и удивила Васильева сухая беззвучность его голоса.— Сейчас будет пожарная команда... и наш дом. Похоже... номер четыре... Я хорошо помню: на той стороне— гараж.

— Я тоже его помню.

Здесь был знаменитый на целый район гараж пожарной команды, ворота которого до войны были постоянно выкрашены в травяной цвет, и в жаркие летние утра, по обыкновению, не закрывались. А там, внутри, в темноватом, веявшем маслом холодке, упругими струями обмывали из брандспойтов и до того гладко отлакированные водой красные машины с тревожнозвучным золотым колоколом, что начинал воинственно звонить, едва машины по тревоге выезжали из гаража, и звонил до тех пор, пока они не скрывались по направлению Зацепы в густом шалашном сумраке тополей, нависших над улицей. Теперь вместо зеленых ворот гаража шелушилась облезавшей штукатуркой стена, люминесцентным светом бледно синело окно какой-то мастерской...

Нет, это было ошибкой— сопровождать сюда Илью! Это было разрушение в душе радостного уголка детства, молодого времени, довоенного и послевоенного (лучшие годы его жизни). И эта ошибка стала особенно явной, когда он увидел родной двор без забора и ворот, убогий, жалкий, крошечный, наглухо заваленный сугробами, не двор, а остаток двора, стиснутый справа серыми панелями нового пятиэтажного дома, а слева — бетонной стеной

тоже нового, серого, с квадратными стеклами здания, наверное, построенного в последние годы на месте двухэтажных особняков с крылечками под навесом (где прохожие когда-то прятались от дождя), с железными решетками балконов, подпертых мощными плечами атлантов, мускулатуру которых тепло освещало закатное солнце сквозь листву лип.

Двора и всего того, что составляло двор, не было. Однако двухэтажный их дом, закопченный, темный, его покосившийся обветшалый тамбур, деревянные ступени остались целыми, только на первом этаже пыльные окна были всюду завешены изнутри пожелтевшими газетами — никто уже не жил внизу. Но верхние окна с раздернутыми занавесками вроде бы еще сохраняли человеческое дыхание, и мелкая дорожка между сугробами вела к тамбуру. Возле ступеней незнакомая женщина в пуховом платке выбивала на снегу половой коврик, и сердце дрогнуло у Васильева: Раиса Михайловна?.. Но женщина разогнулась, глянула исподлобья на обоих, по-хозяйски расставила толстые ноги в сапожках, плосколицая, короткотелая, никогда раньше не жившая в их дворе, заправила выпроставшиеся волосы под платок и снова гулко заударяла палкой.

Они пошли по тропке, Илья приостановился подле тамбура, угадывающе взглядывая на женщину, пробормотал «здравствуйте» и обернулся к Васильеву с беспокойством вопроса: «Кто она, эта женщина, которую я, наверно, забыл?» — «Тоже не знаю»,— ответил пожатием плеч Васильев.

Раньше в тамбуре на крепкой лестнице пахло добротным давнишним деревом, сухой пылью, по утрам толкущейся в солнечном столбе бокового окошка, обжитым духом кухни, чем-то непередаваемо домашним. А теперь было здесь заброшенно, неприютно, разбитое оконце заколочено досками, пропускавшими в щели дневной свет, и пахло затхлостью, мышами, чердачным холодком.

Лестница на второй этаж оказалась маленькой, тесной, как и унылый коридор наверху, и оказались крошечными обшарпанные двери, и стали по-деревенски низкими подоконники — все вернулось измененным, бедным, когда они поднялись, и Васильев со сладкой болью огляделся на втором этаже.

«Вот здесь было когда-то безоблачно, солнечно, счастливо...»

Они переглянулись.

— Господи, помоги,— покорно сказал Илья и, обреченно сняв шляпу, держа ее в опущенной руке, двинулся к своей двери, первой справа, с давно облупившейся краской, где косо висел тоже облупившийся почтовый ящик с наклеенной на нем полоской бумаги, и вслух прочитал шепотом:

— Раиса Михайловна Рам-зина...

И не то чтобы Васильева поразило неуверенное лицо Ильи, его костяная бледность, а этот его запнувшийся голос, произнесший собственную фамилию как чужую, будто впервые так на слух ощутимую.

— Пожалуй, тебе лучше будет одному. Я подожду здесь,— сказал Васильев, глядя в конец коридора, где яично желтела крайняя дверь, обитая новым дерматином, незнакомая в этой яркой нынешней желтизне, за которой все-таки должны были быть две их комнаты, смежные, с окнами во двор, всегда распахнутые с весны в радостную зелень, в прохладу лип. Кто жил сейчас там, за этой ужасающе желтой дверью?

— Я прошу тебя, хоть на минуту со мной,— выговорил Илья, и такого робкого, беспомощного выражения никогда раньше не видел в его глазах Васильев.— Умоляю, Володя, помоги...

— Постучи ты, Илья.

— Сейчас...

Он постучал несмело, за дверью никто не отозвался. Он постучал еще раз и, прислушиваясь, осторожно надавил пальцами на дверь, она отворилась без скрипа и ржавого визга петель, как нередко бывает в разрушающихся домах, и первое, что ощутил Васильев,—нерушимым стойким покоем пахнуло из комнаты, освещенной в два окна солнцем.

Здесь царствовала тишина, тут было ее владение с теми же книжными створчатыми шкафами вдоль всей левой стены, с тем же старинным трюмо в раме из резного дерева, с тем же комодом, но этому ощущению нетронутого, давнего что-то неспокойно мешало: не было письменного стола Ильи и не было его первобытного, украшенного зеркальной полочкой дивана, на котором иногда валялся он, поигрывая для укрепления бицепсов гантелями.

Что осталось и изменилось в правой половине комнаты, Васильев не успел подробно разглядеть, потому что увидел там отворенную дверцу прогорающей голландки и в кресле напротив обеденного стола (перед

окном, выходившим на занесенную снегом крышу тамбура) худенькую, до сплошной белизны седую женщину в очках с металлической оправой, какие носили до войны старые учительницы. Он не узнал, а скорее догадался, что это Раиса Михайловна, и сейчас же услышал глухой, сдавленный голос Ильи: «Мама!..» Нелепо держа шляпу в одной руке, он шел к ней, а она, выпрямляясь, как-то механически переложила толстую книгу с колен на край стола, сняла очки, слабо проговорила: «Ильюша?..» — и встала, мелкими шажками пошла навстречу ему.

— Мама!..

Он, обняв ее, приник щекой к ее виску и замер так, а она, закинув голову с седым пучком на затылке, стояла оцепенело, только белые губы ее шевелились, произносили неуловимые, еле угадываемые слова:

— Почему ты, Ильюша... так мог... так долго?

— Мама,— бережно выговорил Илья, не выпуская ее из объятий, неловко держа шляпу за спиной, а брови его прыгали, как от задушенных рыданий.— Мама, дорогая моя, вы простите меня за все... Я виноват перед вами, виноват...

— Разве это ты, Ильюша? — прошептала она и чуть отклонилась, вглядываясь в него с вымученной улыбкой.— И ты жив?

— Это я, мама. Я приехал, чтобы вас увидеть.

— И ты такой стал, Ильюша? Морщины, совсем белый? — говорила она, гладя его щеку, и он, зажмурясь, поймал ее руку, прижался ртом.— Когда Маша рассказала, как вы встретились за границей, я не могла представить тебя седым. Ты все время снился мне мальчиком.— И она кивнула стоявшему у дверей Васильеву.— Когда вы с Володей уходили на войну, Ильюша, вы были еще дети... И целая жизнь прошла. Как во сне прошла...

И только тут она заплакала, содрогаясь, силясь сморгнуть мелкие старческие слезы, одновременно приглашая мокрыми глазами Илью в комнату, взяла у него шляпу, положила на стул и попросила Васильева окрепшим голосом:

— Раздевайся, пожалуйста, и ты, Володя, раздевайся... Сколько, сколько прошло лет! Слава богу, ты жив, Ильюша! — проговорила она, все моргая влажными редкими ресницами.— Я помню, как вы вернулись с окопов, как вы сидели за этим столом. Сколько прошло лет...— повторила Раиса Михайловна дрожащим шепотом.— А я

одна всю жизнь прожила... Сколько я передумала о тебе, Ильюша, верила и не верила. Какая пришла страшная бумага: пропал без вести... И как пусто в душе стало!.. Где ты? В плену? Убит? Что с тобой? Сколько я передумала, сколько слез пролила ночами, Ильюшенька! И ни одного письмеца, ни словечка от тебя!.. Как ты мог так долго? Сын, мой единственный родной человек... Я могла умереть... За что же было так жестоко мучить меня столько лет?..

— Мама, если можете, простите меня, простите, ради бога,— говорил Илья, снимая пальто и с умоляющим лицом торопливо оборачиваясь к матери, как бы страшась ее слез, еще не пережитого ею отчаяния потери, непроизвольно вырвавшегося упрека.— Я все вам расскажу, вы должны выслушать меня, мама, я хочу вам все рассказать...

— Вот ты говоришь мне «вы», Ильюша,— сказала Раиса Михайловна.— Почему ты говоришь мне «вы», как чужой?

— Простите мама. Я помнил, я все эти годы помнил вас...

— И ты совсем вернулся? А где же твоя семья?

— Прости, мама,— со стоном выдохнул Илья и, весь будто сникший под ее спрашивающим взглядом, приблизился к ней, потер, сжал и опустил руки в виноватой покорности.— У меня нет семьи. Я приехал один... Я должен был тебя увидеть, мама.

— Один? А где твоя жена, Ильюша?

— Я вдовец, мама.

«Никогда не мог представить Илью таким влюбленным в мать и таким растерянным перед ней,— подумал Васильев, испытывая вязкое неудобство от своего присутствия, стоя у дверей и не раздеваясь.— Но меня мучит, преследует мысль, что Илья приехал, чтобы проститься. Как он ласково смотрит на Раису Михайловну, как хочет улыбнуться ей, трет руки, робеет от ее вопросов... Да, да, вот этот Илья, со вкусом одетый в великолепный костюм, тщательно выбритый, даже красивый, он уже мертв. Через год, через два его не будет на земле. Но этого не знает Раиса Михайловна. Она переживет его. Если я все время думаю об этом, значит, я никак не хочу согласиться с его смертью!»

— Раиса Михайловна, я отлучусь за сигаретами. Забыл, понимаете, пачку в мастерской. Здесь, кажется, на углу киоск? Я сейчас. Досада какая!

И Васильев доказательно похлопал по карманам и вышел в коридор, не ожидая, пока его будут задерживать. Он понимал, что уже не мог помочь ни Илье, ни Раисе Михайловне ненужным участием.

В коридоре Васильев повернул, однако, не к выходу, а направо, в конец коридора, к неудержимо притягивающей его желтого цвета двери, сверкающей по новой дерматиновой обивке металлическими шляпками гвоздей. Он присел на подоконник и, слушая тишину за дверью этих теперь чужих комнат, думал, что хотел бы заглянуть хоть на минуту туда, чтобы увидеть только одну кафельную голландку, напротив которой стоял его диван.

— Вы, гражданин, куда? Кого надо вам? А?..

Короткотелая, в пуховом платке женщина, та, что давеча встретилась им во дворе, со свистящей одышкой, исподлобья уставилась на Васильева воинственным белесым взором, крепко обхватив на животе свернутый коврик.

— Вы... в этой квартире? А я, видите ли, когда-то...— начал Васильев, странно задетый тем, что вот эта некрасивая, неприветливая женщина живет в их комнатах, что ее плоское лицо словно изготовлено к раздирающему крику, к злобной борьбе в защите собственных дверей, и не договорил, оборвал себя иронической улыбкой: — Пардон, мадам. Я не к вам. К сожалению, здесь я вас никогда не видел. Очень сожалею, мадам, что вы не украсили собой этот дом раньше,— сказал он ерническую, неизвестно почему пришедшую на ум фразу, совершенно бессмысленную, и, сказав, щелкнул каблуками, наклонил голову по-кавалергардски, тоскливо думая об этом мальчишестве: «Кажется, я схожу с ума...»

— Ишь ходют, с виду антиллегентные, в шапках, а сами выглядывают,— зашевелился позади скандального оттенка голос, когда Васильев направился к лестнице.— Фулиганы...

«Фулиганы в шапках антиллегентные ходют»,— звучало в нем язвительной напевностью, пока он не спустился в пропахший плесенью тамбур.

Обдало мягкой влагой, оттепельным ветерком, но он не почувствовал полного облегчения и на дворе, где в раннем закате пламенела вся стена соседнего пятиэтажного дома, за которым то вибрирующе ревел во всю мощь, то снижал обороты мотор, скрежетали гусеницы, раздавались тяжкие удары, и что-то сыпалось, шуршало, текло под этими ударами, оглушавшими переулок.

«Фулиганы в шапках антиллегентные ходют»,— мысленно смеялся над собой Васильев, а тропка среди краснеющих сугробов вывела его на то место, где раньше были калитка и ворота.

Здесь он приостановился, оглядываясь, вдыхая запах талого снега, и вдруг ему представилось другое: далекие летние сумерки, тихое закатное тепло в неподвижных верхушках лип, покойный и теплый отблеск чердачных стекол, как маленьких лесных озер на вечерней заре, а внизу пробиваются кое-где сквозь листву свет абажуров, приглушенные голоса, звон посуды из раскрытых окон... Потом жаркая июльская ночь, звезды над деревьями, над темными антеннами; калитка закрыта до утра на задвижку дворником дядей Ахметом, ночной двор вроде бы замкнут, обособлен от затихших переулков и улиц, от мостовой, и объединен внутри почти родственным доверием друг к другу: под каждым окном вынесены старые кровати из сараев, устроены постели на стульях и досках, впотьмах белеют подушки, негромко переговариваются перед сном соседи, иногда раздается прикрытый одеялом детский смех, а вокруг двора беззвучно плывет ночная умиротворенная тишина других дворов, ближних улиц, всего Замоскворечья. И в эти часы хотелось подолгу смотреть из постели на шевелящееся колдовство темно-синей глубины, таинственное смещение, загадочное перестраивание звездных трапеций и треугольников и, засыпая и просыпаясь, чувствовать лицом дуновение похолодевшего ветерка и, поеживаясь от ощущения тайной связи с небом, слышать откуда-то отдаленный шум позднего троллейбуса.

«Что это было такое? Милая патриархальность купеческих дворов? — думал Васильев, так отчетливо представляя детскую радость тихой ночи, звезды, темные верхушки лип во дворе, что ощутил запах утреннего ветерка и прохладной подушки под щекой на свежем воздухе.— Нет, было другое. Несмотря ни на что, была доверчивая близость живущих вместе людей. И была одна надежда. И был у всех почти одинаковый, скромный достаток... Где все это? Кануло в реку времени? Ушло бесследно?»

Мотор сотрясал ревом воздух, гудел за пятиэтажным домом, тупые удары доносились равномерно, и Васильев, не вытерпев, дошел до угла переулка с желанием посмотреть, что строили там.

За дощатой изгородью по навалу битых кирпичей рывками двигалась гусеничная машина, напоминавшая подъемный кран, на ее крюке нацеленно, грозно размахивался, неуклонно ударял в изуродованную грудь стены стальной шар— коричневая пыль висела в воздухе, сыпалась штукатурка, обрушивался, стучал разбитый красный кирпич, обваливались балки толстых перекрытий. Стена пока стояла, чудом сохраняя фронтон особняка, украшенный лепными фигурами, внизу сквозили бреши изломанных окон, проем широкого балкона с витой чугунной решеткой, переплетенной черными лепестками распустившихся лилий, а атланты под решеткой, запыленные, полуразрушенные, из последних сил еще поддерживали напрягшимися плечами балкон, подрагивающий при каждом ударе неумолимого стального шара. Был это остаток фасада двухэтажного особняка, кажется, бывшего владельца кондитерской фабрики, где до войны помещалась детская библиотека. И оттого, что необъяснимо и непонятно было, зачем сносили этот старый особняк, всегда красовавшийся посреди разросшихся вековых лип своими балконами, фигурными бойницами, поющими над башенками флюгерами, своим подъездом в виде высокого портала, и от вибрирующего танкового рева мотора, гибельных размахов и ударов шара у Васильева заболело в висках. Он с отвращением глядел на тупо и грузно раскачивающийся перед исковерканной стеной шар и думал об Илье, о Раисе Михайловне, о несуществующем дворе детства, о тщете человеческих усилий сохранить себя во времени.

«Я готов согласиться, что тоже виноват во всем этом. Но откуда эта разрушительная дьявольщина? Неужели прошлое не останется и никто ничего не будет помнить? И никого из нас? Разрушат прекрасный старый дом, построят новый, панельный, а другие следом за нами разрушат панельные и построят еще более безобразные... И может быть, все наше прошлое рассеется, как пылинки во вселенной. Только память немногих... Только, может быть, искусство что-то немногое сохранит...»

И, раздраженный нелепостью разрушения, он ходил по переулку, сотрясаемому таранным громом, и почему-то вспомнилось, как однажды январским послевоенным вечером вот тут в переулке особенно свирепо крутила вьюга, снежный дым срывало с крыш, с верхушек сугробов, несло, вращало воронками на мостовой, повсюду расска-

чивались, скрипели фонари вместе с мерзлыми липами, по залепленным заборам мотался то вверх, то вниз замутненный свет, и через эту метель едва пробивался дымящимися квадратами на углу освещенный дом с его сторожевыми башенками, по-разбойничьи свистящими флюгерами, а он — еще в шинели — шел с Машей, колюче, весело исхлестанный вьюгой, и не видел ее глаз, загороженных мехом воротника, видел только часть лба, мохнато заснеженные брови. И, улыбаясь, он часто останавливался («Маша, Маша!»), привлекал ее за плечи, отгибая от лица воротник, скользкий, мокрый, и так нетерпеливо целовал влажные, пахнущие зимой, неутолимо сладкие губы, что она зажмуривалась, рукой в варежке упиралась ему в грудь, а он с ненасытной нежностью все не отпускал ее...

«И этого тоже нет,— подумал Васильев.— Осталось только в моей памяти».

Плотный звук стального шара, разбивающего остаток фасада, походил на удары танковых болванок в кирпичную стену (так было раз в Каменец-Подольске, возле крепости, когда пошли в атаку немецкие танки), и равномерный звук врезающегося в кирпич металла сопровождал Васильева до поворота на Лужниковскую, до места бывших ворот его дома, а ломящая боль в висках не стихала. Он сожалел, что, по-воловьи занятый нескончаемой работой, тщеславным самоутверждением, лет десять не приезжал в этот край детства и так бы и не увидел его последних остатков, если бы не Илья. Он не мог простить себе необратимую утрату времени, обманчивое и успокоительное откладывание «на потом», на некую вторую жизнь.

«Что ж, прощай, милый переулок. Я давно должен был приехать сюда с этюдником, но не приехал...»

Ему трудно было возвращаться к Рамзиным, не хотелось видеть свой коридор, победную россыпь серебристых головок обивочных гвоздей на желтом дерматине родной с детства двери, которая, мнилось, отталкивала его неким совершенным предательством, унизительным подобострастием перед той плосколицей угрюмой женщиной.

Часа через полтора он поднялся к Раисе Михайловне, чтобы проститься, а когда постучал, услышав приглушенные голоса, и открыл дверь, в первый момент остановила мысль, что все-таки пришел не вовремя, но уйти было уже невозможно. Обернувшись от стола, Илья взглянул

на Васильева словно бы с подавляемым неудовольствием: «Да входи, входи, не топчись на пороге! Секретов нет!» — и негромко заговорил, обращаясь к Раисе Михайловне, в голосе его звучала растерянность:

— Мама, иначе я не могу уехать! Ты меня должна понять! Я хочу, чтобы твоя старость была спокойной.

Она сидела в кресле, скорбно закрыв лицо сухонькими руками, на столе же близ чашек и розеток с вареньем виднелась пачка новых зеленых купюр, и Илья подвигал их ближе к Раисе Михайловне, продолжая говорить в замешательстве:

— Мама, я не бедный человек, поверь мне. Ты не разоришь меня. Каждый месяц я буду присылать сто пятьдесят долларов на расходы. В Москве отличные магазины «Березка», и ты на валюту сможешь...

Раиса Михайловна отняла руки от лица, снизу вверх посмотрела на него сухими глазами с горьким выражением перегорелой беды, душевной усталости, сказала со слабой улыбкой:

— Как поздно, Ильюша. Вся жизнь прошла. Ты приехал к концу моей жизни.

— Я чувствую, мама, ты не рада, что я приехал,— проговорил Илья, не сумев скрыть обиду.— А я хотел. Ты не можешь представить, как я хотел тебя увидеть. Мы с тобой одни остались. Одни на целом свете.

Раиса Михайловна обморочно качнулась вперед, зажала виски ладонями, отклонилась в кресле, заговорила молитвенным шепотом, пугающим прорвавшимся страданием, внутренними, непролитыми слезами:

— За что мне послано такое наказание! Всю жизнь ты прожил без меня, Ильюша. И ты мог... без меня где-то жить. А теперь вот приехал и говоришь, что любишь, и предлагаешь деньги... Зачем, Ильюша, на старости лет мне заграничные деньги? Я ничего уже не хочу! Не возьму же я их с собой в могилу! — воскликнула Раиса Михайловна, вглядываясь в серую бледность его худых щек; а он все стоял в двух шагах от кресла, уперев пальцы в край стола так, что они гибко выгнулись, побелели, и прикованно смотрел на вазочку с вареньем.— Мне нужна была только твоя любовь, Ильюша. А ты мог всю жизнь без меня,— повторила Раиса Михайловна безучастно.— Прости, я все сказала... чтобы мы не мучили друг друга фальшивыми обязанностями. Ах, как я устала сегодня, сил моих нет...— И она утомленно

закрыла глаза, посидела так немного, потом договорила с дрожью слабости в голосе: — Иди, Ильюша. Володя тебя заждался. Заходи еще... до отъезда. А деньги возьми. Тебе нужны будут деньги...

— Я зайду, мама, с твоего разрешения,— сказал Илья и приблизился к креслу на окостенело-прямых ногах и робко нагнулся, поцеловал мать в висок, где выделялись синие жилки, а она тихонько коснулась щепоткой его плеча.— Мама, мама, прости и до свидания,— проговорил он.— Прости за все...

Васильев хорошо помнил, как Илья слепо заталкивал пачку зеленых банкнот в бумажник, как Раиса Михайловна, не вставая с кресла, кивала им утомленно-печально, как спускались они по шаткой лестнице в тамбур и вышли в переулок, оглушенные ревом бульдозера, объединенные и разъединенные молчанием. Только на углу Вишняковского Илья пробормотал: «Стоп»,— и задержался, глядя в меркнущий закатом пролет улицы, где над голыми сучьями лип висел по-раннему прозрачный в светло-зеленом небе предвесенний месяц, и потянул носом насыщенный влажностью талого снега воздух, говоря с сумрачной едкостью:

— Блудному сыну надо ли возвращаться в святые места? В наше время дорого стоит романтизм! «Где стол был яств, там гроб стоит»!

Он говорил это, бледнея и смеясь над собой, но лицо его стало откровенно злым, жестким, напоминавшим чем-то того, другого Илью, из сорок третьего года, в утро возвращения к окруженным немцами орудиям на железнодорожном переезде.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Сначала его удивил свет в окнах своей квартиры, полосой горевших на восьмом этаже, а когда Мария открыла дверь, поразили траурные тени под ее глазами, и он бегло поцеловал ее, уже не сомневаясь, что дома случилось неладное, спросил, встревоженный:

— Маша? Что с тобой?

— Спасибо, что ты приехал. Я позвонила тебе в мастерскую, потому что не могла...

Она прошла в комнату, опустилась на подлокотник кресла под торшером, поправила халат на ногах, взяла с края пепельницы дымящуюся сигарету. Ожидая его,

Мария, по-видимому, в одиночестве читала здесь, развернутая английская книга лежала на журнальном столике.

— Я не хотела тебя будить,— сказала Мария и зачем-то положила на колени книгу.— Но, прости, мне как-то не по себе. Все это становится ужасно! Виктория позвонила в шесть часов вечера, сказала, что говорит из автомата по дороге домой, а сейчас два часа ночи. И ее нет. Ты не можешь вообразить, чего я только не передумала...

— Подожди, Маша, подожди,— остановил Васильев с напускной успокаивающей легкостью.— С кем она была? Ее провожал кто-нибудь?

— Я не спросила, с кем она была, мне не пришло в голову, потому что еще было рано. Я знаю, что иногда они ездят куда-то на Дмитровское шоссе, к преподавателю актерского мастерства. Ну, как же его фамилия? Довольно известный режиссер. Помнишь этот нашумевший фильм о деревенском мальчике? Так как же его? Ну, ты должен вспомнить, ты знаешь...

— Я не помню фильма, Маша. Я просто его не видел.

Мария нетерпеливо повела коленом, поддерживая развернутую книгу, сползавшую по материи халата.

— Ну, ты должен помнить. Господи, я не вынесу...— сказала она, и по тому, как взглянула в раскрытую дверь комнаты на молчавший телефон в коридоре, по тому, как говорила она и придерживала мешающую ей книгу, он ощутил ее раздражение, сейчас необъяснимое, и подумал, что лучше всего не замечать этого и забыть мгновенно, как пытался забыть нечто новое в их отношениях, мучительно возникшее препятствием между ним и ею с одного осеннего утра. Тогда они завтракали, она смотрела в окно на туманные крыши, и он с волнением увидел — струились глубинным теплом ее темно-серые глаза, переливались молодым блеском,— почувствовал, что влюблен в нее с давней нежностью, стал говорить ей веселую чепуху о том, что любит ее больше, чем тридцать лет назад, но она вопросительно хмурилась, ночью же в его объятиях лежала, казалось, как-то отдаленно, мертво, отворачивая в сторону лицо, пряча губы от его поцелуев, и в этой ее холодности, в ее равнодушно-покорной близости было что-то незнакомое, страшное, умопомрачающее.

Нет, все началось гораздо раньше. Ее отчужденность он ощутил еще в Венеции, когда она отказалась вместе ужинать, а он пошел в бар, чтобы выпить там и рас-

слабиться. В тот вечер он принял ее отказ за капризную усталость в результате переездов, встреч на выставках, приемов в Риме, он никак не связывал непонятное охлаждение Марии с письмом Ильи, его появлением на римском вернисаже и даже свиданием с ней в пригородном ресторанчике (о чем она рассказала позже) — было бы смешно ревновать к тому детскому, предвоенному, ушедшему. И все же унизительная мысль о смехотворной в его возрасте ревности и одновременно то, что Мария знала заранее о приезде Ильи в Москву и сообщила о дне приезда Раисе Михайловне, ничего не сказав ему, коготком царапало его душу, хотя он и не хотел думать об этом.

— Ты, наверное, знаешь, Маша, что приехал Илья,— сказал Васильев, не глядя ей в лицо, чтобы не увидеть неестественного удивления.

— Приехал Илья? Да, я знаю,— ответила она вскользь, бросила книгу на кресло и начала ходить по комнате, крестообразно обняв себя за плечи.— Илья, ты говоришь — Илья... Почему ты заговорил об Илье? При чем тут Илья?.. Ну, где она может быть? Скажи мне, пожалуйста, где? Если они заехали к своему режиссеру, то что они могут делать там до двух часов ночи? А если она не у режиссера, то где она? Где? Где? Как его фамилия? Как же его? Любарев? Никонов? Нет, нет! Ах, вспомнила — кажется, Тихомиров! Да, да, Тихомиров...— Она покусала губы, взглядывая вокруг в поиске ускользающего имени, и повторила: — Да, да, кажется, Николай Степанович Тихомиров. Я помню, она называла его имя. У нас должен быть его телефон, должен быть!..

В коридоре она выдернула из-под наваленных на тумбочке писем и разных счетов телефонную книжку и принялась быстро листать ее, роняя пепел с сигареты. Васильев подошел сзади, увидел в зеркале ее сосредоточенно наклоненное лицо, жалкое и родное в каждой морщинке, опять с горечью подумал, что все в этом мире висит на волоске, и внезапная спазма перехватила его голос:

— Разреши, я позвоню, мне будет удобней.

— Только... только бы с ней все обошлось... Ты нашел его телефон?

— Успокойся, Маша.

Он нашел записанный почерком Виктории телефон Николая Степановича Тихомирова, набрал номер, и

торопливое вращение диска громко прожужжало в безмолвии коридора, как сигнал зыбкой надежды. Но трубку никто не снимал, и гудки, длинные, безответно-однообразные, доходили из затаенной пустыни чужой квартиры. Трубку не сняли и после того, как он набрал номер в третий и четвертый раз. Неизвестная квартира на другом конце города по-прежнему молчала. И когда Васильев отыскивал номер, звонил, ждал ответа, то ежеминутно наталкивался в зеркале на глаза Марии, мрачно-серые, замершие, и он старался успокоить ее взглядом, сам испытывая растущее беспокойство и от тревожного оцепенения в ее глазах, и от пустынного, повсюду в квартире зажженного электрического света, и от сиротливых гудков в трубке, как бы из небытия возникающих и в небытие пунктирами утекающих — в непроглядную бездну ночной Москвы, где могло случиться всякое... Он не хотел верить в это ночное и темное, но когда представил гибкую, лебединую тонкость дочери, хрупкую беспомощность ее шеи и плеч, чересчур длинных ног, малоразвитой груди, всегда вызывавших в нем пронзительную жалость, когда представил ее приглашающую улыбку, плавный голос: «Здравствуй, па-а!» — он почувствовал уже не беспокойство, а леденящее шевеление страха под ложечкой, и сразу же все стало ничтожным, кроме этого чувства.

— Послушай, Мария,— сказал Васильев, не снимая руки с телефонной трубки.— Есть еще один беспечный человек, у которого она может быть. Это твой чудный дядя — Эдуард Аркадьевич. Его монологи бывают беспредельными. И уклониться от них не так-то просто...

Она зябко передернула плечами.

— С половины первого ночи я начала обзванивать всех. Звонила и Эдуарду, и твоему Лопатину, и этому балбесу Светозарову. Не поверишь, балбес оказался дома, смотрел какой-то хоккей и уверил меня, что Вику сегодня не видел. Какое бессилие, какое ужасающее бессилие!..

— Маша, давай посидим и спокойно подумаем,— сказал строго Васильев.— Где бы Виктория ни была, нам остается одно — ждать.

— Ты говоришь — ждать? — повторила она и вдруг сказала с самоказнящей насмешливостью: — У тебя нет такого ощущения, что в этой гостиной я уже два года жду свою дочь?

— Что ты хочешь этим сказать, Маша?

В гостиной зашипели часы, стукнул молоточек, и вместе с нарастающим шипением упал густым, органным басом отрезанный удар, отдаваясь тягучим гулом в коридоре и комнатах. Бой смолк, и снова ровно и одиноко отстукивал в тишине старый «Павел Буре». И в этих отсчетах безразличных ко всему секунд глубокой ночи на мгновение встал перед глазами Васильева утонувший в мартовской тьме их дом с тревожно-яркими, пронзающими темноту окнами, за которыми неудержимо утекало необлегчающее время.

«Вероятно, мы были бы повально счастливы, если бы наши чувства были выше времени,— подумал некстати Васильев.— И спасение приходило бы в лазурных снах».

— Наверное, наша дочь, взрослая девица, влюблена в какого-нибудь молодца и, конечно, между ними все может быть, как бывает в молодости,— сказал Васильев, совсем не желая этого «все может быть», но стараясь успокоить Марию.— Представь, что двое молодых влюбленных людей забыли обо всем на свете, телефона в квартире нет, к автомату бежать не хочется. Так, Маша, может быть?

— Ты... ничего не знаешь! — ответила Мария шепотом.— Ничего ровным счетом не знаешь... Ты не знаешь, как два года назад я вот так же ждала ее до утра...

Она стояла, зажмурясь, подставив лицо невидимому ему ужасу, вспоминая только то, свое, неотстранимое, что он еще не мог знать и предположить,— и страх, смешанный с любовью к каждой черточке в ее лице, сжал его знакомым ознобом.

— Что я не знаю, Маша? — спросил он.— Что ты скрываешь от меня?

— Я не хотела...

Она села в кресло около торшера, ненужно положила ту же английскую книгу на колено, не к месту открывшееся полой халата своей белой округлостью и полнотой, и молча клонила голову к страницам; он увидел ее опущенные ресницы, набухшие от слез.

— Может быть, ничего не нужно мне говорить, Маша? — сказал он, намереваясь смягчить напряжение, чувствуя, как жалость к ней охватывала его зеленой колючей тьмой.— О чем ты?

— Я не хотела тебе рассказывать,— заговорила Мария носовым голосом и вытерла две расплывшиеся капли, упавшие на страницу.— Мужчине и отцу этого не надо знать. Ты помнишь болезнь Виктории? — Она не выдержала, слезы замелькали по ее щекам, и, жалобно

отворачиваясь, она в тихой обессиленности сказала: — Конечно, ты всего ужасного не знаешь...

Нет, он не знал всего, что случилось два года назад, знал только, что болезнь дочери началась довольно-таки загадочно после поездки за город, в какую-то Грибановку. Это было дачное место под Москвой, где у одного из студентов собиралась после окончания экзаменов компания первокурсников. Виктория вернулась домой на рассвете (в ту ночь Васильев работал у себя в мастерской), а когда ранним утром позвонила Мария и он, пораженный ее замороженным голосом, приехал немедля на квартиру, она, задушенно всхлипывая, припала виском к его груди, прошептала: «Не надо к Вике заходить сейчас»...— и по ее шепоту, по тишине, по запаху лекарств он понял, что произошло что-то серьезное, опасное, так молниеносно изменившее все в доме. Потом она ушла в комнату дочери, он же сидел у двери, сосал незажженную сигарету, слушая, как за стеной прерывисто плакала, звала Марию, вскрикивала в забытьи Виктория, улавливая отдельные слова, бессвязные фразы, ее бред, ее мольбу, обращенную к какому-то шоферу такси, к каким-то парням, готовым к убийству, к какому-то милиционеру, который не хотел ничего предпринимать, и эти повторяющиеся вскрики, неутешные рыдания его восемнадцатилетней дочери отдавались в нем ударами боли. И была непонятность того ужасающего, что случилось с ней вчера за городом. А Мария неумело лгала ему, сбивчиво говорила о неких возрастных особенностях женской психики, чего мужчине, по ее словам, объяснять не полагалось, наняла ночную сиделку, бывшую медицинскую сестру, взяла отпуск и сама целый месяц не отходила от Виктории, осунулась, подурнела, перестала улыбаться, а по вечерам чутко сидела с книгой у торшера, прислушиваясь к шорохам в комнате Виктории, вздрагивала от малейшего звука за стеной, и он думал с неисчезающей тревогой: «Что они скрывают от меня? И ради чего?»

Васильев увидел дочь через восемь дней, когда июньским утром его впустили наконец в ее комнату, проветренную, наполненную солнцем (везде стоял свежий летний тополиный запах), увидел на снежно-белой подушке такое же белое истонченное лицо дочери с черным, спекшимся, искусанным ртом, с осиненными глазами, ставшими такими огромными, иконописными, испускавшими такой печальный беззащитный свет смертельно ра-

ненного животного, что его стиснул малярийный озноб, и, боясь показать ей это, выговорил фальшиво-бодро:

— Здравствуй, моя дочь, как ты чувствуешь себя, милая?

Она повернула голову, посмотрела на него и в первую секунду попыталась даже улыбнуться ему своими огромными глазами. Он наклонился, чтобы поцеловать ее, и тоже улыбнулся, но лицо Виктории по-детски задрожало, скривилось, капли одна за другой покатились по ее искривленным запекшимся губам, и, выпрастывая из-под простыни руки, она вся рванулась к нему, обнимая, плача, крича, ударяясь лбом о его шею, умоляя его:

— Па-па! Миленький... помоги мне! Помоги мне, па-па!..

И, прижимая ее, теплую, дрожащую, беспомощную, успокоительным родственным объятием и ощутив ее тонкие несильные позвонки на спине, он внезапно испытал такое отчаяние у зыбкой грани между жизнью и смертью близкого, дорогого, просящего помощи существа, что ни слова не сумел выговорить, лишь чувствовал, как мокрые родные щеки терлись о его подбородок, и она порывисто повторяла, судорожно икая:

— Папа, миленький, помоги мне, я не могу, не хочу... видеть людей!.. Я не хочу их больше видеть!..

— Что с тобой, Вика? Что с тобой, милая?

— Я не могу, не могу, папа, тебе рассказать, не могу, не могу, не могу!..

Потом слова дочери преследовали Васильева, не давали покоя ему, повторяясь все с одной и той же интонацией, с той же мольбой, надеждой и неистовой жалобой, и познанная им отцовская мука была тем непереносимее, что Виктория инстинктивно искала его защиты, а он бессилен был ей помочь.

И сейчас, вспомнив свое состояние неразрешенной бессильной жалости, обвившиеся вокруг его шеи доверчивые руки дочери, ее рыдающий вскрик: «Папа, миленький, помоги!» — он подумал, что то, потрясшее его, не кончилось у Виктории, что Мария связывала тяжкое нездоровье дочери с ее сегодняшним ночным отсутствием — и, чтобы разжать железную петельку в горле, он спросил:

— Что было тогда с Викторией?

Она посмотрела на него снизу вверх, и он точно прикоснулся к влажному осторожному свету.

— Нужно ли тебе знать, Владимир?

— Решай сама, Маша. Наверное, нужно.

— Об этом страшно говорить,— помолчав, сказала она и задержала на его лице глаза, напряженные, потемневшие, за которыми все обрывалось.— О господи, надо же было ей тогда запоздать и не поехать со всеми к этому своему однокурснику! Она слезла с электрички и в темноте заблудилась в сосновой роще, отыскивая эту ужасную Грибановку. Но самое чудовищное было то, что ей встретились два местных парня с велосипедами, приятели однокурсника, и, представь, со смехом и шуточками взялись проводить до той улицы, где была дача, которую она искала... Она думала, что пришло спасение, а эти рыцари с велосипедами затащили бедную девочку в какой-то заброшенный сарай, зажали ей рот, угрожали ножом, распяли на грязной соломе...— с омерзением выговорила Мария, отворачиваясь.— Ты можешь представить, что она вынесла, что она вытерпела, какую подлость, какую грязь! Кто-то проходил по дороге мимо, и ей удалось вырваться, закричать, исцарапать рожи этим велосипедистам, и они оставили ее...

Мария швырнула книгу на журнальный столик, ее лицо, измененное судорогой, источало гадливое отвращение, было болезненным, исстрадавшимся.

— И мерзко было потом, когда Виктория выбралась из страшного сарая, дошла до электрички. На платформе оказался постовой милиционер, и она, истерзанная, ты можешь представить, стала говорить, объяснять, что на нее напали, а он ясно видел ее разорванную кофточку и твердил одну и ту же несусветную глупость, что, мол, джинсы носите, водку пьете, потому и драки учиняете. Понимаешь, драки учиняете! Этих «рыцарей» с велосипедами нетрудно было найти, но... «Но» заключалось в том, что этого не хотела сама Виктория. Представь одно только унизительное обследование врачей. При воспоминании о Грибановке ее охватывал ужас, какая-то лихорадочная дрожь, ее даже начинало тошнить...

Васильев, раздернув шторы, стоял у окна, не отвечая Марии, глядя на синеющие снежные крыши. Дуло от стекла студеным воздухом, а лоб его был овлажнен горячей испариной, и ясно виделось ему то детское отчаяние, переполненные слезами глаза дочери, когда он обнимал ее, судорожно икающую от рыданий, потрясенный птичьей хрупкостью ее позвонков под пижамой и тем, как она просила его: «Папа, миленький, помоги мне...»

Раз в прошлом году, поздним сентябрьским вечером, на даче, Виктории захотелось яблок, и они оба вышли

в сад, осенний, холодный. Возле забора в верхушках берез не по-летнему шумел, сыпал листьями ветер, крупные звезды выстроились несметной силой над черной крышей дачи, и меж у́гольных елей проступал высоким белым поясом Орион. В потемках Васильев тряс стволы яблонь, включал карманный фонарик, нащупывая лучом в траве круглые бока антоновок, и Виктория, шурша корзиной, собирала их, радуясь этому вечернему приключению: «Смотри, па, какой огромный дурачище, лежит и притаился!» Последние яблоки падали на землю с крепким сочным стуком, а когда внесли полную корзину в дом и высыпали антоновку на стол террасы, везде разнесся ночной холодок ветра, и будто чистота прозрачного речного льда, первозданная свежесть исходила от Виктории, от ярких, приглашающих к искренности и веселому пиршеству ее широких серо-синих глаз. И он успокоенно подумал, что Вика полностью оправилась после болезни и к ней вернулось прежнее ощущение жизни. Но через полчаса, поднявшись на мансарду, в мастерскую, он увидел, что свет наверху погашен, в огромных, во всю стену, окнах стояла чернота ночи с пылающими созвездиями, а Виктория лежала под окном на тахте и плакала глухо, тихо, и глаза с блеском слез посмотрели ему в глаза умоляюще-испуганно, когда он наклонился к ней, спросил, что случилось. «Нет, ничего, свет, пожалуйста, не зажигай»,— ожесточенно ответила она и села на тахте, стала грызть яблоко, всхлипывая по-детски носом, больше не сказав ничего.

«Папа, миленький, я не могу, не хочу видеть людей!..» — опять вспомнил он ее слова безысходного отчаяния в дни болезни и, заставляя себя не поворачиваться от окна к Марии, услышал, как она подошла осторожно сзади, приникла головой к его плечу, спросила шепотом:

— Почему ты молчишь?

— Ни ты, ни я не помогли ей. Единственное, что я могу сказать,— проговорил он с резким сожалением, словно не хотел сейчас прикосновения Марии.

Она отстранилась.

— Но — как?.. Володя, ты привык и не замечаешь, как любит тебя Виктория. Ей было бы невыносимо, если бы она узнала о нашем разговоре... Она хотела бы остаться прежней в твоих глазах,— сказала Мария и погладила его плечо с насильной нежностью.— Я даже уверена, что она тебя любит гораздо больше меня. Но, кажется, ты в чем-то меня упрекаешь?

— Ни в чем.

— С нами происходит что-то нехорошее.

— Просто ты стала нас меньше любить,— проговорил он, еще не сознавая, зачем сказал эту фразу, и мимо отстранившейся Марии прошел в коридор, из конца в конец оголенно залитый электричеством, с большим, пусто отблескивающим зеркалом, с бессмысленным телефоном, оделся быстро и, откидывая цепочку, приостановился, настигнутый ее жалким окликом:

— Володя, куда?

— Я буду ждать Викторию около дома,— ответил он и вышел на лестничную площадку к лифту.

Ему во что бы то ни стало надо было глотнуть освежающего воздуха и расслабить в себе сжатую пружину удушья. Выйдя из подъезда, он сдвинул меховую шапку с еще влажного лба, расстегнул на груди пуговицы — сырость ночи обмыла его сквозь свитер, и стало немного легче.

А вверху гудело, грохотало по крышам, накатывало волнами, вязко плескалось во тьме, шумело где-то за домами море, порывами хлопала и разрывалась в клочья намокшая парусина, и из-за угла дома набрасывался ветер, забивая дыхание.

Васильев шел по хрумкающему ледку, а впереди над сучьями тополей месяц то появлялся в светлеющей глубине проруби, то мчался, нырял в сизом дыму. В воздухе всюду пахло мартом, в пахучей, набухшей темноте улицы волновались деревья. Их морской гул вместе с гудением проводов проносился тугими потоками, перехлестывал крыши, и, подточенный южным ветром, талый снег срывался с карнизов, обвально гремел в водосточных трубах.

«Уже весна?.. И я не заметил, как она пришла. Еще позавчера был февраль...— думал Васильев, вдыхая сладкую влагу мартовской ночи, удивляясь скоротечности и не радуясь весне, всегда вызывавшей у него в дни молодости ожидание неутраченной надежды.— Что со мной происходит в последнее время? Я нездоров. Или я заболеваю какой-то мучительной болезнью. Я чувствую себя виноватым перед всеми — перед Машей, перед Викторией, перед Ильей... И это похоже на боль... Но в чем моя вина? В том, что мы вовремя не можем помочь друг другу? Но Виктория хотела и не хотела помощи».

И, оглушенный шумом деревьев, глухим плеском в водостоках, он кругами ходил вблизи дома, по краю

бульвара, мимо перезимовавших машин, которые уже вытаяли из сугробов под деревьями, показав горбатые спины, голубовато отливающие под месяцем.

«Где сейчас может быть Виктория?»

Стояла непроницаемая предрассветная пора ночи. Ни единого прохожего не было на окрестных улицах, нигде не светилось ни одного окна. И острый внутренний холод стал вонзаться в него, и, подняв пропитанный насквозь влагой воротник, Васильев замерзал в дурном предчувствии настигающего, неотвратимого, жестокого, как напоминание и предупреждение о том, что рано или поздно надо расплачиваться за пятнадцать лет спокойной работы, за эти так называемые успехи, признание, покупки музеями его картин, поездки за границу с выставками — не слишком ли он был занят самим собою в эти удачливые годы?..

Внезапно он очнулся и поднял голову от звука мотора, от волгло плещущего шума колес по проталинам, от хруста ледяной крошки. В конце неосвещенного проулка вспыхнули фары, лучи их протянулись по лужам, по продавленным в буром снегу колеям, высветили отчетливо забрызганную ограду, отсыревшие стволы тополей,— и машина, обдав масляной теплотой мотора, затормозила напротив угла дома. Фары, обляпанные грязью, погасли.

Он различил, что это такси, однако зеленый огонек не загорался, никто не выходил из машины, за ее стеклами было непроглядно черно. Но тут Васильев почувствовал такую рвущуюся легкость в груди и такую неимоверную тяжесть в ногах, что привалился спиной к водосточной трубе, внутри которой картаво бормотала, звенела вода, вдохнул несколько раз воздух, чтобы успокоить бег сердца.

Нет, он не увидел Викторию, не услышал ее голоса, но в этой единственной появившейся из ночных улиц машине и в том, что в проулке она зажгла и погасила фары, выискивая удобное место для остановки, и в том, что она затормозила вблизи угла их дома, было неопровержимое присутствие в ней Виктории, и он, не сомневаясь, пошел к такси с еще работающим мотором, и в машине открылась задняя дверца.

— Папа, миленький, ты? Ты встречаешь меня?

— Я тебя жду...

Виктория, в меховой шапке, в длинной дубленке, отороченной мехом, вылезла из машины и, тонкая,

выпрямилась перед ним, и это была реальность: ее всматривающиеся с улыбкой глаза, прохладное прикосновение родственных губ к его щеке и запах вина, который он ощутил упреждением опасности, и ее нежный молодой гибкий голос без малейшего оттенка вины, перевитый легким, свободным непринуждением:

— Папа, я не знала, что я заставлю тебя ждать так поздно... Но я не одна. Меня провожают, и совершенно не нужно было беспокоиться. Илья Петрович, что вы застеснялись и не покажетесь папе? — с нарочитой веселостью сказала она в открытую дверцу, безобидно забавляясь тем, что непредвиденно создавало любопытное положение.

«Илья Петрович? Илья? Каким образом? Как они встретились? Где?»

С улыбкой невинного интереса Виктория посмотрела на отца, он понял, что она ожидала его удивленного или неприязненного выражения, Васильев же только нахмурился, увидев, как неторопливо выбрался из машины Илья в своем коротком пальто, мягкой фетровой шляпе, и забелело худое лицо в тени ее полей.

— Добрый вечер... вернее, доброй ночи, Владимир! — проговорил Илья чеканным серьезным голосом, нисколько не склонный ни к шутке, ни к оправданию...— Признаюсь, не предполагал встретить тебя. Но уж если встретил... прими свою сказочную дочь в целости и сохранности!

— Не слишком ли, Илья, черт возьми! — не сдержался Васильев.— Как прикажешь все это понимать?

Илья снял шляпу, несколько изысканно поклонился Виктории, затем Васильеву, ответил тоном непоколебимой правоты:

— Прошу тебя, поговори с дочерью, она объяснит абсолютно все. Спокойной ночи. Я сегодня нарушил все свои режимы и должен ехать в отель. Сегодня я смертельно устал. Разреши, Владимир, позвонить тебе утром? Послезавтра я уезжаю.

Он влез в такси, захлопнул дверцу с металлическим щелчком, громко отдавшимся в узком проулке, машина тронулась, влажно зашуршала шинами по проталинам, свернула в сторону центра вдоль трамвайной линии.

— Виктория,— начал Васильев сдержанно, зная, что нет смысла высказывать сейчас удивление, досаду или недовольство.— Ты взрослый человек и понимаешь, что делаешь. Мне позвонила в мастерскую мама в половине

второго, и мы ждем тебя три часа. Посмотри — без десяти пять...

— Па, ты плохо меня ругаешь,— сказала Виктория и взяла его под руку.— Ты меня любишь и не умеешь ругать...

Они вошли во двор, и здесь он невольно взглянул вверх, на светящиеся окна на восьмом этаже, где над крышей мелькал посреди дымных фиолетовых туч зеркальный месяц и высоко переплескивалось близкое море марта. Сверху несло в лицо теплой сыростью, мелкими каплями, пахнущими намокшей корой осины — весенним запахом ночи. Виктория перехватила взгляд отца на окна, задумчиво наморщила переносицу и мягко извлекла невесомую кисть из-под его руки.

— Па,— сказала она просящим голосом,— давай покурим и немного погуляем вместе. Я не хочу домой... Я хочу с тобой поговорить. Ты согласен, па?

Он кивнул, готовый согласиться на все и вместе испугавшись ее доверительного тона, ее искренности.

— Только позвони маме. И скажи, что все в порядке и мы с тобой около дома. Пошли к автомату. У тебя есть две копейки?

В автоматной будке она покопалась в сумочке, доставая монету, и когда заговорила с Марией, он подумал, что вот сейчас наконец ослабло в душе что-то натянутое до предела, и состояние, близкое облегчению, коснулось его в эту секунду.

«Надолго ли? — подумал он, увидев, что она закуривала, выйдя из будочки, не стесняясь его.— Но как... почему она приехала с Ильей?»

— Па, я знаю, тебе неприятно, когда я курю,— заговорила она своим гибким голосом и, взглянув с озорной нежностью, снова просунула кисть ему под руку.— Но ты меня любишь и простишь. Тем более отучиваться уже поздно...

Они миновали двор и пошли по обочине бульвара, сквозного, скребущего на ветру ветвями в пустынном уличном коридоре.

— Пожалуй, дочь, от моего прощения или непрощения уже почти ничего не зависит,— сказал притворно-спокойно Васильев.— В твои годы я командовал батареей и в чем-то был самостоятельным парнем. Может, я ошибаюсь, но, по-моему, ты стала тоже принимать самостоятельные решения... не советуясь ни с матерью, ни со мной.

— Откуда ты знаешь, папа?
— Что?
— Что я приняла самостоятельное решение.
Легким и требовательным нажимом кисти она заставила его остановиться, потянула за локоть к себе, и ее недавно улыбавшееся лицо обрело строгое, недоверчивое выражение человека, готового ни с чем не соглашаться.
— Откуда ты знаешь, папа, что я приняла решение?
— Какое решение? — спросил Васильев озадаченно.
Она опустила голову, вторичным нажимом кисти повлекла его за собой и, выбирая сапожками нерастаявшие бугорки звучно хрустящего льда, пошла рядом.
— Как странно, папа! — сказала она с сердитым осуждением.— Почему ты не спрашиваешь об Илье Петровиче? Ты ведь удивлен, правда?
— Ну что я должен спрашивать — как вы встретились? Я догадываюсь...
— Нет, ни о чем ты не догадываешься.
— Хорошо, пусть так. Что ты хотела мне сказать, Вика?
Она затянулась сигаретой, отвернула лицо и нежными вытянутыми губами выдохнула дым в сторону.
— Па, не сердись, когда я заходила к тебе в мастерскую, то схитрила немножко. Я тогда не сказала, что приедет твой друг Илья Петрович, хотя знала, что приедет. И мама знала. Ты понимаешь меня, па?
— Не понимаю, но... я слушаю, Вика.
— После вашей поездки в Италию маме как-то взгрустнулось, и она показала мне в альбоме фотокарточку Ильи Петровича и твою. Где-то вы там стоите около турника на фоне какого-то сарайчика, какой-то голубятни... Два довоенных мальчика, два мускулистых Аполлона, просто прелесть. Таких сейчас и в помине нет. Илья Петрович был, конечно, до войны неотразим. Па, скажи откровенно: в те времена он был кумиром мамы, да?
— Возможно, это было так, Вика.
— Не выдавай меня, но после вашей поездки мама стала получать от него письма из Италии и скрывала их от тебя. Скажи, ты ревновал когда-нибудь маму к нему? Хоть раз?
— Мы были друзьями, и я верил Илье Петровичу,— сказал Васильев искренне, чтобы не отпугнуть Викторию уклончивой двусмысленностью.— Я не хотел ревновать, но ревновал все же. Я любил маму без памяти...

— Мне давно известно, что ты любишь маму гораздо больше, чем меня. Ты однолюб, па.

— Я люблю вас обеих, Виктория.

Она засмеялась вынужденно:

— Но ты не имеешь права не любить своего ребенка.

— В таком случае у меня два ребенка.

— Слушай, папа, что я тебе скажу,— заговорила Виктория, доверительно пожимая его локоть.— Когда я увидела последнее письмо Ильи Петровича в бумагах у мамы, я не выдержала и прочитала — видишь, какая я дрянь ужасная? Он написал маме, что приезжает двадцать шестого и заказал номер в гостинице «Метрополь». Слушай, па, как получилось... Я очень хотела увидеть его, твоего старого друга и бывшего маминого кумира, неотразимого Аполлона с той фотокарточки. Было чертовски любопытно узнать телефон, позвонить ему в номер из вестибюля «Метрополя» и увидеть, как он на лестнице вытаращил на меня глаза: «Как? Вы дочь Марии? Поразительно! Не может быть! Впрочем, очень похожа, настоящая юная Маша!» Вот так и случилось, а потом было забавно слышать, как он два раза оговорился — назвал меня Машей. Знаешь, мне было интересно с ним; в нем есть трагизм и горечь какая-то...

— Но для чего тебе это, Вика, милая? — едва не застонал Васильев, страшась ее прозрачной, наивной чистоты, ее неосторожных поступков, этой незащищенной, пугающей доверчивости дочери, и хрипло договорил: — Не будь это Илья Петрович, тебя можно было понять не так, как надо.

Виктория пренебрежительно свистнула.

— Папа, только не надо об этом надоевшем благоразумии! Ведь это ложь, лицемерие, трусость и черт знает что такое! О, сколько в мире ложных спасательных кругов! Для кого они? — с вызовом сказала Виктория, поперхнулась сигаретным дымом, и получился тонкий звук, похожий на детское всхлипывание, кольнувшее Васильева болью.— Нет, папа, все зависит от нас самих! — овладела собой Виктория, сердито бросила под ноги сигарету, продолжала брезгливым тоном: — Знаешь, кто создает ад на земле? Не природа и никакая не темная сила. Нет, папа, сам человек великий творец земного ада. Эту фразу стоит запомнить, она не лжет, как многие другие.

— Кто так сказал, дочь? Из какой это пьесы?

— Не преувеличивай мудрость наших драматургов. Это сказал Илья Петрович... Послушай, па, и не удив-

ляйся тому, что я тебе скажу,— проговорила Виктория, отпустила его локоть, плавно переступила сапожками проталину и, постукивая каблуками по ломким стеклянным закраинам луж, где раскалывалось и отблескивало скольжение месяца, отошла шагов на десять вперед, потом повернулась, высокая в своей узкой дубленке, сказала издали необычно звонким, как отточенное лезвие, голосом: — Па, я, наверно, поеду в Италию! Он приглашает, и я решила.

— Он приглашает в Италию? — выговорил, обмирая, Васильев.— Приглашает? Когда? Зачем?

— Он пришлет приглашение, папа, и я поеду. Не знаю, на какой срок; на месяц, на год, на пять лет — не знаю. Только не надо разговоров о благоразумии. Иначе мы поссоримся. И не говори, что вы против потому, что любите меня,— это запрещенный прием. Знаю, на всем белом свете вы только двое меня любите. Но что же, па, делать? Я решила... и гадко отступать, трусить...

И он увидел на ее лице безмерное презрение к возможной трусости и возможному отступлению.

— Подумай об одном, Вика,— проговорил он тихо, в мучительной попытке найти точный смысл возражения.— Ты убьешь маму. Мы не имеем права быть беспощадными друг к другу.

— Меня уже убили, папа,— сказала она почти весело и так безнадежно развела руками, как бы подставляя себя гибельному року, что он не выдержал, захлестнутый любовью, бессильной жалостью отцовского чувства, ощутив отчаянное, детское, слабое в ней, обнял и поцеловал ее в прохладный родной лоб.

— Вика, моя Вика...

— Не надо, папа, а то я заплачу,— выговорила Виктория шепотом и не уткнулась головой ему в грудь, а отстранилась, не принимая помощи, быстро пошла к дому под морским шумом тополей на бульваре.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

В десятом часу вечера после долгих, требовательных звонков и стука в дверь Васильев отщелкнул замок, и в мастерскую поспешно вошел Олег Евгеньевич Колицын, поставил в передней портфель под вешалку и, не здороваясь, распахивая шубу, проговорил запальчиво:

— Не поражайся, Васильев, я сегодня ворвался к тебе не с дипломатическим визитом! Спасибо, коллега, спасибо за твою надменность, великий мастер! Спасибо за то, что ты меня в шею выгнал, как сопливого мальчишку, в присутствии иностранца, именно — взашей выгнал из мастерской этакую мелкую назойливую бездарь, которая втирается тебе в закадычные друзья! За что, спрашивается, ты меня оскорбил? Я всей душой к тебе, а ты? За что?..

Был Колицын неумеренно возбужден, говорил раздерганно, его треугольные мутно-красные глаза смотрели со злой растерянностью, и Васильев, сожалея уже о проявленной им несдержанности в день приезда Ильи, не желая ничего обострять (у него не хватило бы душевных сил для напрасного объяснения с Колицыным), сказал примирительно:

— Во-первых, здравствуй. Во-вторых... если я вел себя как-то по-глупому, то прошу у тебя прощения, Олег Евгеньевич. Раздевайся, пожалуйста.

— Разденусь, даже если ты не пригласишь! Но з-занятно, все занятно у тебя, Володя!.. Я тебя по имени, ты меня — по отчеству. Вон как! Как будто мы знакомы только по официальной линии! Что ты хочешь подчеркнуть этим? Нашу несовместимость? Пропасть между талантом и посредственностью?

— Так уважительно принято на Руси,— кисло возразил Васильев, стыдясь вспоминать собственную бесцеремонность, и спросил: — Ты встречал кого-то сегодня?

— Ошибаешься! Никого! Никого я не встречал, не провожал, не ласкал комплиментами! — заговорил Колицын накаленно, кидая шубу на кресло.— Сегодня я принадлежал не известному тебе чиновнику Колицыну, а только себе... своему «я». Без кельтов, гуннов и янки — и не было ни коктейлей, ни джина с тоником! Я счастлив сегодня, Васильев! А был у меня в мастерской один мой старый приятель, и я показывал ему... Мы смотрели мои вещи с утра, я показал ему все! Мне хотелось показать все свои работы: он был потрясен... Не вам же, гениям, ха-ха... Не вам всю славу мира, а как в той песенке — «цыплята тоже хочут жить!». Так снизойди, снизойди! — закричал Колицын и схватил влажной рукой за руку Васильева, с цепкой силой притянул его.—Ты должен, ты сейчас должен поехать в мою мастерскую, немедленно! Одевайся, ты у меня не был никогда! Не

был! Никогда, никогда! Раз в жизни, единственный раз ты можешь заставить себя ради институтского товарища пожертвовать двумя часами? В мастерской ты не видел ни одной моей вещи! Я для тебя персона чиновничья в нашей живописи! Поедем, Володя, поедем на Масловку!

— Сейчас?..

И Васильев зашагал по мастерской, представляя, какая это может быть нечеловеческая мука — ехать к ночи на Масловку с перевозбужденным Колицыным, смотреть его работы, выслушивать неупрятанные, неперемолотые обиды и упреки, говорить что-то о цвете, о композиции, хвалить, фальшивить — это было бы нещадным убийством времени, тратой нервных клеток, напрасным самоугнетением, на что недоставало духу решиться, но он сказал миролюбиво:

— К сожалению, ты слегка разгорячен, а я — в монашеской ясности перед сном. Я встаю в шесть, Олег.

— Брезгуешь мной? — желчно выговорил Колицын и зашагал рядом с Васильевым по мастерской, ероша, теребя длинные, желтой седины волосы.— Не-ет, мы поедем, поедем ко мне, Васильев! Ты не откажешься, не побрезгуешь! Я к тебе прямо из своей мастерской! Я за тобой приехал, за тобой! Я именно с этой целью приехал!..

Никогда за многие годы Колицын не проявлялся в возбуждении до такой степени, вдруг утратив внушительную внешность, солидную улыбку приветливого лица, победоносно-утверждающую походку, каким видел его Васильев раньше, и грубой вязки свитер его, видимо надеваемый для работы, был продран на локтях, испачкан краской, неаккуратно заправлен в затерханные джинсы, глаза, налитые кровью, воспаленно-набрякшие, бегали по картинам, повернутым к стене, то и дело натыкаясь на закрытый материей мольберт, который, должно быть, будоражил его любопытство.

— Значит, не поедешь? Значит, пренебрегаешь? — проговорил он осекающимся голосом и, пошатываясь, вывалился в переднюю и внес оттуда объемистый портфель, увесисто стукнул им в стол, спешаще расстегивая никелированные замочки.— Ладно. Утремся. Ладно. Стукнулись мордой о скалу высокомерия — и утираемся, утираемся! Тогда что ж, Володя, снизойди посмотреть хоть это... Взгляни хоть на эти вещички. Я никогда тебе своих работ не показывал и не просил... Да, вот три вещи, они мне дороги, посмотри, посмотри!

Он трясущимися руками достал из портфеля тщательно обернутые фланелевой тряпкой три работы маслом, каждая размером в тетрадный лист, аккуратно разложил их на столе и потом зашел сзади Васильева, задышал шумно за его плечом. Кислый посторонний запах винного перегара раздражающе дошел до Васильева, он нахмурился, глядя на картины, и Колицын выговорил затрудненно:

— Что? Что? Не нравится?

И Колицын задрожал за его спиной, как в ожидании смертного приговора, задевая коленом о ножку стола, и его нервное сопящее дыхание, кислота винного перегара и дрожащее прикосновение ноги, качающей стол, неожиданно потрясли Васильева незнакомой робостью этого благополучного в жизни человека, которому, к сожалению, надеяться в искусстве было не на что. Ранние, студенческие работы Колицына, его пейзажи, его натюрморты, насколько помнил Васильев, хотя и были не вполне самостоятельны, но выступала в них свежесть молодости, солнечный свет, лежала зеленая пестрая тень летнего дня, и тогда о нем кто-то из мэтров сказал: «Себя, себя погрубее искать надо, а не глаз импрессионистов в себе, и, может быть, толк будет». Эти ободряющие слова, ставшие известными всему курсу, вскоре забылись, но толк был, и Колицын успешно окончил институт, чуть позже его пригласили преподавать, затем избирали на разные общественные должности,— искал ли он себя в эти годы, обремененный чинами, заботами, работой в иностранной комиссии, коктейлями, аэродромами, совещаниями? Он редко участвовал в выставках. Кто здесь был виноват?

— Ты уверен — тут твое лучшее? — спросил Васильев, призывая на помощь смягченные, неповоротливые участливые фразы.— Почему, Олег, именно эти три работы ты показываешь мне?

— Я прошу... Я хочу знать твою оценку. Только честно, честно! То, что думаешь... Я посоветовался. Мой приятель... тот, что был у меня, порекомендовал показать тебе эти три вещи. Он в восторге, ты извини, он в восторге.

— Он в восторге, черт его дери, он в восторге,— повторил неопределенным распевом Васильев, рассматривая картину, где в старательных подробностях был написан интерьер затопленной солнцем мастерской — круглый деревянный столик в углу с пепельницей, заваленной

чадящими окурками.— Ну, если честно, Олег, то и названьице ты умопомрачительное дал: автопортрет... Обскакал модернистов по всем статьям, объехал их милые прелести, деваться им некуда. А тут что? — спросил Васильев и не смог подавить неудовлетворение, увидев на второй картине хорошо выписанный угол русской печи, протянутую от гвоздика до гвоздика веревку, на которой вплотную с хоругвеобразными кальсонами и рубахами висели, сушились связанные за ушки растоптанные кирзовые сапоги.— Не понимаю подобной красоты, Олег. Подштанники в обществе с сапогами. Русский неореализм, что ли? — с хмурой иронией спросил Васильев и перевел внимание на третью картину — пейзаж с речным косогором, до единой травинки высвеченный последним лучом заката, розовеющим в камышах и воде.— Прости, здесь я тоже чего-то не очень понимаю. Вроде талантливый замысел по простоте. Но в чем мысль, в чем соль? Пейзаж без мысли бессмыслен. И по манере... архаично, много красивых завитушек и подробностей на косогоре, дробится глаз, как в калейдоскопе. Да нет, не о том я,— оборвал свою речь Васильев, раздраженный собой.— Не о том, Олег. В общем, ничего, и никого ты не слушай.— Васильев махнул рукой и отошел от стола, избегая глядеть на эти обнажающие Колицына картины.— Все условно в искусстве, все субъективно, в конце концов. Мое мнение о твоих вещах не сделает их ни лучше, ни хуже.

«Я не хочу говорить правду,— подумал Васильев, все больше мрачнея,— и я обманываю его, подкладываю соломку лжи и унижаю себя добренькой болтовней. А что она изменит, моя правда? И зачем ему она? Честолюбие? Тщеславие? Он преуспевает, прочно стоит на ногах — доктор, профессор, секретарь, преподает в институте, мэтр, учит студентов... И он хочет знать мое мнение?»

— Вот что мне пришло в голову,— заговорил нахмуренный Васильев.— Ты зачем-то просил меня честно сказать, хотя мое мнение никакого значения для тебя не имеет. Знаю, что одна и та же природа, одно и то же событие по-разному воспринимаются разными людьми. Наверно, в разном, Олег, прелесть жизни и искусства. Но нелепо держать в руках курицу, а воображать, что поймал жар-птицу. Не обижайся, у меня такое ощущение, что ты держал в руках курицу, но не ощипал и ее. Отпусти ты пернатую, Олег, не мучай ее, отпусти, пусть себе гуляет,— Васильев вздохнул необлегченно,— а сам пиши на здоровье свои книги о композиции и колористике и

только студентам своей придуманной изысканностью в живописи глаз не порть. Ведь им эта красивая красивость хуже заплесневелой пастилы. Реализм — беспощадная штука...

Он говорил это и силился уйти от грубоватых слов, в то время как Колицын со скрещенными на груди руками, в позе римлянина, вызывающе откинув голову, стоял перед ним, и смертная, почти покойницкая бледность наползла на его оледенелое лицо, на его ставший восковым нос, который пугающе заострился, и, казалось, Колицын насильственными вдохами втягивал воздух, чтобы прервать глубокие накопленные рыдания. «Да он упадет сейчас»,— мелькнуло у Васильева, но тотчас Колицын ослепленно откачнулся назад и с выражением страдания бросился к мольберту и, сильным рывком сдирая материю с холста, с подчищенного вчера портрета режиссера Щеглова, который никак не удавался Васильеву, лихорадочно заговорил, обжигая кипящими словами злобы:

— А ты думаешь, что твои работы предел х-художества? Образец совершенства? Может, ты считаешь себя законодателем современного искусства? Может, ты думаешь, что ты единственный видишь мир цветом и мазками? Не-ет, Володенька, это умели великие, мировые мастера, недосягаемые вершины, а ты холмик, бугор по сравнению с ними! И еще... еще неизвестно, кто из нас талантливее! Неизвестно! Я плевал на твое мнение, Васильев! Плевал на твои звучные тона, на весь твой жесткий стиль, который не стоит и одной моей детали, плевал, плевал!.. Новатор дерьмовый! Любая моя неудача на голову выше всех твоих успехов! Ненавижу, ненавижу всю вашу послевоенную братию! Со всеми вашими стилями! Жесткими и мягкими! Ненавижу!..

Колицын уже кричал скандально-отвратительно, безудержно, его большая львиноподобная голова тряслась в яростном исступлении, набухшие веки сжимались и разжимались, выкатывая крупные оловянные слезы; а когда в крике его прорвались не то рыдающие нотки, не то нотки истерического смеха, Васильев, пораженный, представил, что, должно быть, так, в припадке бессильной ненависти, люди сходят с ума, и, отвернувшись от Колицына с чувством стыда и неудобства, желал сейчас только одного — чтобы тот скорее, скорее ушел из мастерской, скорее... «Завтра он с сожалением будет вспоминать о своем безумии!»

— Гений, ты — гений! Ответь ты, великий Моцарт,

скажи, скажи мне, ничтожному Сальери! — с театральным хохотом, в котором клокотали слезы, крикнул Колицын и так взбешенно ударил кулаком о кулак, что раздался костяной звук.— Поч-чему, поч-чему ты уверен, что бог дал тебе талант, а мне кукиш с маслом? Ответь, ты ответь — считаешь меня бездарью и считаешь, что я, гнусный червяк Сальери, завидую тебе, божественному Моцарту? Завидую? Так считаешь?

— Ты просил сказать правду. Я сказал полуправду и превратился в глупца, чему теперь уже не удивляюсь,— выговорил Васильев.— Поэтому прошу тебя не кричать и уйти.

— Ах ты-и... во-он как! Значит, второй раз выгоняешь!..

— Я вынужден попросить тебя уйти.

— Замолчи! Замолчи! О, если ты скажешь еще слово, я тебя ударю! — И Колицын в неистовстве опять стукнул кулаком о кулак, будто расплющивая так ненавистное, враждебное ему, и выжженная злобой разъятость его глаз, и его щеки, смоченные слезами, и эти до дрожи сжатые кулаки, ударяющие друг о друга, подтвердили Васильеву то, во что прежде он не смог бы никогда поверить,— встала между ним и Колицыным необходимая и уточнившая их взаимоотношения ясность, разъединяющая их окончательно, но он проговорил мягко:

— Я хочу попросить тебя, Олег, еще раз: уходи, пожалуйста.

— Уйду и запомню я этот вечер, на все жизнь запомню, гений!..

Треск захлопнутой двери прозвучал выстрелом в вечернем коридоре, а Васильев, стискивая зубы, морщась, ходил из угла в угол и неуспокоенно вспоминал, как яростно плакал, истерично ударяя кулаком о кулак, Колицын, как кричал он вот тут, в мастерской, корчась от самой глубокой, ничем не излечимой раны.

Он ворочался с боку на бок, и все тело его изнемогало в такой ледяной тоске, таком гибельном страхе, что он боялся громко закричать, вскочить с постели, сделать неразумное, ужасающее, и, чтобы освободиться от этого непереборимого страха тела, пытался внушить себе, что через несколько часов настанет утро и тогда отпустит, ослабнет истерзавшая его душевная боль...

«Что же это за страшный сон снился мне?»

Сначала в небе шли два огромных вертолета, затем висели, как прямоугольные дома над церковью, выстроенной кольцевыми этажами, подобно Вавилонской башне, острием уходящей в высоту сумеречного неба. На каждом этаже горела толстая свеча, по круглым этажам ходили люди, в гигантских вертолетах тоже зловеще светились багровые огни, и там, в небе, за этими огнями, приготавливалось враждебное, убийственное. Но из-за ограды церкви вылетела навстречу первому вертолету цепочка странных трасс, подобно раскаленным камням, прямоугольный дом в небе взорвался, брызнул рваным пламенем, и обломки, кувыркаясь, падали над церковью, нанизывались на крест, кощунственно сотрясая острую громаду купола.

Оглядываясь на закачавшийся храм, готовый рухнуть всеми этажами, *они* бежали по дороге, босые, в серых рубахах с невероятно большими рукавами, каменистая дорога, раскаленная ослепительным солнцем, нестерпимо обжигала ноги, колючки впивались в пятки железными крючками.

Кто были они? И от кого они убегали? И кто был тот, который летел впереди, не касаясь земли ногами, над горячей, красноватой, сожженной солнцем дорогой, размахивал длинными рукавами, зигзагообразно бросался то вправо, то влево? По спине и затылку он был похож на Илью, лица же невозможно было разглядеть, но в этом не было смысла, потому что чья-то команда криком подстегивала их бег: «За мной! За мной! В сад!»

Левее дороги возникла ограда, за ней открылся сад, запахло сухой каменистой пылью. И, задыхаясь от едкого удушающего запаха, они стали карабкаться на деревья, на колючие запыленные сучья, которые иглами лезли в глаза, царапали до крови кожу. Вокруг оттягивали сучья загадочные желтые плоды в толстой жесткой кожуре, и они срывали их, с сумасшедшей торопливостью заталкивая в карманы, набивали за пазуху, мучимые голодом и долгой погоней. А погоня была где-то вблизи, в окружавшей их пустыне, и тогда Илья крикнул с соседнего дерева, упираясь оголенными ногами в раздвоенный ствол: «Вот так разгрызай!» Их надо было разгрызать, наподобие яблок, толстокожие плоды, кожура отскакивала стальным панцирем, и крошечный орешек таял во рту. По примеру Ильи он ел их жадно, утоляя голод, все время озираясь на угрожающую пустыню за садом, откуда уже вплотную надвигалась гибель... И тут внизу

под деревом он увидел Марию. Она стояла юная, тоненькая, в черной, покрытой слоем пыли косынке, каких никогда не носила, лицо было бледно, брови изгибались темными полосками, огромные темно-серые глаза немо умоляли его. А он, слабея от любви и нежности, начал спеша кидать ей на землю плоды, поняв, что она упорно следовала за ним через пустыню и тоже неимоверно голодна. И в тот момент, когда под деревом появилась Мария, он понял, что они сейчас умрут. Метрах в ста позади ограды, среди знойного песка, мелькнули человеческие фигуры, двое мужчин, один в белой рубахе, широкоскулый, молодой, другой постарше, в форменной фуражке с железнодорожными молоточками на околыше, лицо человека, увиденное на миг, показалось знакомым: млечные одутловатые щеки, треугольные, львиные, в припухлых веках глаза. Кто это? Колицын? Неужели? Нет, нет! Но как он походил на Колицына! В руке этот человек крепко держал черный саквояж, где позвякивали колющие и режущие орудия, приготовленные для мучения беглецов...

Их поймали только двоих (Илью не нашли с ними) и привели к деревянному помосту в центре дышащей огненным жаром пустыни, с них сорвали одежду, и его, связанного, возвели на помост и рядом уже разложили на досках острые, леденящие кровь никелированные инструменты, чтобы терзать его, а Марию оставили внизу, под помостом, и там мучили ее, и он слышал оттуда ее стоны боли, видел, как выгибалась на песке ее нежная шея, как запрокидывалось лицо с закрытыми глазами, из которых текли слезы, и чувствовал, что у него сейчас разорвется сердце от этих рыданий Марии. И, не в силах высвободиться, помочь ей, он закричал хрипящим голосом, чтобы убили его и отпустили ее... Он просил, он звал их, зная, что это единственное, чем он еще может облегчить муки ей.

И тогда человек с треугольными глазами подошел к нему и, стеклянно заглядывая в самые зрачки, стал ногой подвигать все ближе и ближе табуретку, на которой были по размерам аккуратно разложены никелированные инструменты...

— Володя, Володя, почему ты так стонешь?

Он проснулся с душным биением сердца и, очнувшись, долго смотрел в темноту, где светлела на окне штора, испытывая такое одиночество, такую разрывающую душу тоску, ощутив рядом Марию, которая ладонью робко тро-

гала его потный лоб, что едва удержался, чтобы не прошептать, еще весь охваченный не уходившим из сознания кошмаром: «Маша, милая, почему мне стало так тяжко?» Но тоже робко он поцеловал ее запястье и сказал другое, обыденное, ложно-мужественное:

— Снилось что-то запутанное. Какая-то ерунда.

— Да, ты метался, стонал. У тебя ничего не болит? Ты весь в поту. Тебе дать валидол?

— Не надо, Маша...

Она тихонько отвернулась и скоро уснула. И опять сад, погоня, помост в пустыне, и опять все повторилось, все представилось до пронзительности реальным, и реальным был тот человек, в форменной фуражке с молоточками, сладострастно пытавший их обоих. И Васильев ворочался, заглушенно мычал в подушку, неслышно растирал сердце, а оно колотилось, с перебоями вырывалось из удушья, он боялся внезапно умереть, и эта боязнь подымала его с постели. Он вставал, не зажигая света, стараясь не разбудить Марию, пил воду на кухне, ходил взад-вперед по коридору, скрестив на груди руки, и шепотом повторял ссохшимися губами:

— Тоска. Какая тоска.

Острая, давящая пустота в груди мешала ему найти равновесие, и, отдернув занавеску, приоткрыв форточку, впускавшую холодную струю, он с тупым вниманием смотрел в окно на сереющую рассветным воздухом улицу и думал: «Да, мне плохо. Я все чаще стал замечать в себе это...»

Потом он оделся и, осторожно защелкнув замок, спустился в пустынный двор, еще закованный предутренним морозцем.

Все это утро бредовый сон не выходил у него из головы, вставал пережитой явью, а когда он начал работать, солнечный мартовский свет несовместимо, разяще разобщил и раздробил то, что хотел соединить на холсте Васильев. Он видел внутренним зрением горячую пыль, раскаленную красную пустыню, жгучий блеск зноя, какой-то помост для казни и внизу под ним распростертую на земле Марию с запрокинутым, залитым слезами лицом, а он, связанный на помосте, не мог в бессилии пошевелиться, даже перевести дыхание, и Васильев, обливаясь пóтом, не в силах сосредоточиться, замечал неверные мазки кисти на холсте.

...Над этим пейзажем он работал давно, этюд был написан осенью, под Псковом, около бывшего мужского монастыря, от которого остались одни развалины, и каждый раз, когда он возвращался к незаконченному пейзажу, волнение обдавало его беспокойством неопределенной утраты.

На холсте был яркий прощальный день конца октября, белое солнце стояло низко, сквозило между стволами дальних берез, которые на косогоре против солнца казались черными. Дул ветер и оголял заброшенный монастырский сад, голубое, совсем летнее небо с летними облаками сияло над махающими верхушками деревьев, над разрушенной каменной стеной, освещенной сбоку. Одинокое упавшее в траву яблоко лежало возле стены, еле видимое сквозь облепившие его листья.

Да, он был совершенно один в окрестностях того монастыря, и был тогда солнечный, сухой, просторный день, густо шумели, переливались золотом оставшейся листвы старые клены, мела багряная метель по заросшим дорожкам, и все было прозрачно, свежо, прощально. Почему прощально? Почему после пятидесяти лет, особенно в яркие, сухие, звонкие дни осени, он не мог уйти от чувства, что и с ним скоро случится то, что случилось с миллионами других людей, точно так же, как он, ходивших вот по таким заросшим тропинкам вблизи других стен, с грустным наслаждением вдыхавших октябрьский холодок другого обветренного заброшенного сада, с тою же мыслью о невозможности и неотвратимости расставания навсегда? Думал ли об этом Врубель или Нестеров? Но, может быть, в познании хрупкости и недолговечности красоты всего сущего в мире, ее радостного мгновения есть великий обман жизни и есть великий сладкий самообман, в котором проскальзывает теплый лучик счастья, спасительная надежда на нечто такое, что будет после нас...

Может быть, красота сознается только в роковой и робкий момент ее зарождения (утро, переход в полдень, начало сумерек, конец грозы, первый снег) и перед ее неизбежным исчезновением, увяданием, на грани конца и начала, на краю пропасти?

Ничего нет недолговечней красоты, но как непереносимо ужасно то, что в каждом зарождении прекрасного есть его конец, его смерть, день умирает в вечере, молодость — в старости, любовь — в охлаждении и равнодушии. И только пойманный миг красоты, в которой уже

незримый зародыш обреченности,— сладчайшая ложь и вместе несогласие с кратким земным сроком, вера в постоянство, здоровье, бессмертие, как и великая наивность всей человеческой жизни. Да, прекрасный и великий самообман...

Так что ж — в зарождении прощание и наоборот?

Васильев положил кисть на стол, вытер руки и с задумчивой медлительностью начал снимать со стеллажей и ставить к стене пейзажи, написанные в прошлом году.

Ранние зимние сумерки, сиреневые березы в вечереющем воздухе околицы, угол деревенского дома с забитыми крест-накрест окнами, последний багровый луч на скате сугроба, завалившего крыльцо, и тишина многоверстная, первобытная, с далеким, чудилось, перелаем собак и одинокой первой звездой; широкое окно террасы, распахнутое в жаркий, зеленый день, прошла гроза, все сочно, радостно, обмыто; нескошенная трава и яблони отяжелели от влаги, сверкают под веером лучей из-за уходящей тучи, веселая вода струится из переполненной бочки, где плавают сбитые бурным дождем яблоки, тянет по саду влажной свежестью, и кажется, что в ушах еще гудит летний ливень, падает на крышу террасы дробным глухим грохотом (какое наслаждение и какое грустное чувство было писать тот миг быстро исчезнувшей молодой радости лета!); август, в тихом и теплом предзакатном воздухе золотятся верхушки осин, везде блаженный покой, безмятежное прощание дня с жарой, запахами нагретых трав и листвы, и неподвижность всего в ожидании заката, сумерек, нового превращения жизни (как он хотел поймать это щемящее состояние перехода!); северное вечернее небо, выметенное ветром, пасмурная во́да осени до горизонта и две видавшие виды лодки бок о бок у берега, связанные накрепко заржавленной цепью, как двое неразлучных во всем белом свете, соединенных любовью, временем, страхом, обязанностями, два связанных одиночества (как грустно, все грустно!); апрель, лимонная луна стоит в голом березняке, освещает черноту земли, оставшиеся островки снега, прошлогоднюю опавшую листву. И вновь в этом было беспокойство скорого прощания, одиночества, прелесть утраты и ожидания прочного, долгого, солнечного, чего никогда не было в его жизни...

«Никогда этого не было после войны... И все-таки было... Но с чем это связано? С детством? С войной? С Марией?»

Васильев упал в кресло, зазвеневшее пружинами, и, оглядывая картины, начал по вычитанному где-то совету поглаживать виски, чтобы взбодрить себя, надеясь, что пройдет тяжесть в голове и станет легче. Ясный мартовский день вливался в окна мастерской весенней щедростью света, и воздух, тянувший в форточку, почему-то пахнул молодой яблочной спелостью, напоминая милое волнение прошлого, еще не обремененного усталостью, постоянным чувством тревоги и неудовлетворенности...

«Да в чем моя вина? Я переутомился, я беспредельно устал...»

Он гладил виски, но боль не проходила, и постепенно дурнотная слабость стала расползаться в руках, в животе, будто от сильного голода, от истощения, потом на спине и груди выступила испарина, и ему захотелось лечь, отдохнуть на диване и, лежа на спине, не думать ни о чем в облегчающей рассредоточенности, мягко плыть по воздуху окутанным бархатным невесомым туманом, где не было ни угрызений совести, ни вины, ни жалости, ни душевной боли, изнуряющей его часами.

Это сложное нервное состояние было замечено им полтора года назад, когда однажды в августовские сумерки он, чрезмерно утомленный работой над триптихом, задремал в кресле возле мольберта и его разбудили резкие телефонные звонки, заставившие вскочить с ударами крови в голове.

Вся мастерская, затопленная пыльно-лиловым дымом угасавшего заката, была погружена в полутьму, прямоугольный холст зловеще, ребристо отливал кровавыми красками, а телефон так судорожно, призывно трещал на тумбочке, что Васильев в раздражении сорвал трубку, долго не понимая, кто звонил ему. Старческий голос или голос, ослабленный расстоянием, неразборчиво произносил фразы, полный смысл которых не доходил до Васильева, можно было лишь догадаться, что звонил какой-то художник, его поклонник с Дальнего Востока (он так и сказал: «с Дальнего Востока»,— не назвав города), завтра выезжающий в Москву для того, чтобы посетить мастерскую... Какой художник? Какой поклонник? И почему с Дальнего Востока? В первое мгновение Васильев так ничего и не сообразил, сердясь, досадуя, что телефон раздражающе вырвал его из спокойного сна, но в следующую минуту морозным ветерком подуло по его лопаткам: кто звонил ему? Ведь он сотни раз слышал этот немного

глухой, слабый, порой по-птичьи дребезжащий голос! Нет, кто же это, кто?

И, подталкиваемый неодолимой тревогой, Васильев вновь рванулся к телефону, принялся узнавать в справочной междугородных переговоров, кто сейчас звонил ему, из какого города (здесь не исключался и розыгрыш), но телефонистки не сумели выяснить и ответить толком, кто и откуда звонил,— и тогда, сидя один в шуршащей темноте мастерской, почти не напрягая память, он вспомнил, чей это голос. Было чудовищно и дико согласиться с тем, о чем подумал он в темноте, но старческий голос, порой глухой, слабый, порой по-птичьи дребезжащий, был голосом его покойного отца, умершего десять лет назад. Васильев понимал, что подобное совершенно невозможно, что начинается просто безумие, и вместе с тем это не было ни слуховым обманом, ни галлюцинацией,— он так ясно помнил голос в трубке и особенности интонации отца.

«Может быть, все приснилось мне?..»

Это чувство противоестественности обострилось спустя неделю: никто с Дальнего Востока не зашел в мастерскую, никто из приезжих не позвонил, и теперь тот нежданный звонок в августовские сумерки представлялся ему сигналом предупреждения во сне, каким-то знаком мистического напоминания о прошлой его вине перед отцом. А отец жил не так далеко от Москвы (одна ночь в поезде) на берегу Псковского озера в рыбачьем поселке, куда переехал из Москвы, уйдя на пенсию. Лет пятнадцать назад Васильев часто бывал у него и там работал на натуре с весны до поздней осени, исписав все, что можно было, и только тут понял, почему отец, страдавший астмой, уехал из Москвы и купил домик на чистом воздухе. Здесь был простор, солнце, тишина, высокая синева неба с кудрявыми холмами облаков, опрокинутых в нежную зеркальность озера, здесь, за отмелью, просмоленные рыбачьи лодки плавно покачивались, слегка позванивая в полуденной жаре цепями якорей, изредка визгливо кричали чайки, усаживаясь на забеленные пометом борта баркасов; теплый воздух ласково тянул по белому песку меж красных валунов, шевелил нагретые кустики репейника, над которыми туго гудели полосатые шмели; пахло водорослями, донной сыростью от развешанных на заборах сетей; голуби ходили по деревянному причалу, коровы, лениво жуя, разморенные зноем, лежали на песчаной косе или стояли по колено в воде,

помахивали хвостами, бессмысленно глядели на старые заржавленные рыбацкие мотоботы, наполовину затонувшие, где загорелые босые мальчишки сидели с удочками; а закаты были яростные, безмерные, таинственно и подолгу не потухавшие в небе и озере, ночи глубокие, звездные, как манящая в себя разверстая жуть вселенной...

Он помнил, как в те приезды отец иногда останавливался за его спиной в часы работы на натуре, замирая от восторженной гордости за своего сына, сумевшего благодаря труду и таланту вырваться в люди, достичь успеха, известности, и боялся пошевельнуться, нечаянно нарушить его работу астматическим дыханием, клокочущим кашлем. Но Васильева раздражало это надоедливое присутствие отца за спиной, его благолепное восхищение в тусклых глазах и то, как он умиленно и длительно рассматривал, ощупывая ласкающим взглядом, этюды и готовые картины, поставленные на террасе для просыхания красок. «Незаурядный у тебя талант, Володя. Береги его. Природа наградила тебя». И неудобно было, когда отец смущался, краснел склеротическими пятнами, стеснительно заикался как-то, кряхтел при виде денег, которые Васильев давал ему на расходы. Отец, пряча глаза, бормотал всегда одни и те же фразы о том, что ничего лишнего пока не надо, пенсии вроде хватает, а Васильеву каждый раз мнилось, что отец неискренен, лицемерит, и было неловко видеть его розовое, возбужденное лицо, растерянные жесты, его руки, поспешно прячущие деньги в карман.

И горько удивило, что после его смерти все деньги, что давал и переводил он ежемесячно, оказались нетронутыми, неистраченными и были письменно завещаны сыну вместе с домом и скарбом, десятком новых рубашек, в целлофановых неоткрытых упаковках, по разным случаям даренных отцу Васильевым и ни разу им не надетых.

Но горше всего было то, что за год до смерти отец в письмах очень деликатно спрашивал, удобно ли приехать на денек в Москву, посмотреть новые картины и внучку посмотреть — не будет ли Мария обижаться на его стариковское вторжение? Васильев читал эти письма поверхностно, бросал их в кучу других писем, приглашений, договоров и бумаг, не часто отвечая, двумя строчками, все собираясь подробно написать, что приехать надо обязательно, как только он будет свободнее от неотложной работы. И обычно в следующем письме отец униженно извинялся («Я понимаю твою занятость, сын, прости

меня, надоедливого»), но немного погодя снова нерешительно спрашивал, может ли на денек в мастерскую приехать: «Погляжу на картины, на внучку, а утречком в поезд сяду — и домой».

Он так и не выбрал этого времени для отца, хотя тратил в ту пору целые дни и целые вечера на всякого рода заседания, пустопорожнюю «интеллектуальную» болтовню и бесполезные встречи в клубе. Отец, робкий его поклонник, не осмелился приехать на денек без приглашения, опасаясь помешать сыну в святой работе, а скоро Васильеву пришлось ехать на похороны отца, испытывая вдруг такую пустоту, такие угрызения совести, что всю ночь напролет простоял у окна вагона, задыхаясь при одном воспоминании о его последних письмах...

А когда он увидел в гробу застывшее, неузнаваемо помолодевшее лицо отца, его скорбный, недвижный в удовлетворенной полуусмешке рот вместе с надменным выражением потустороннего спокойствия, Васильев поразился тому, как с беспощадным высокомерием подменяет смерть живые черты, накладывая вместо них навечную свою печать отчужденной тайны. Но что же, что было в горестных складках его губ, сжатых так незнакомо? Познание того, что не знали живые и весь этот суетный мир? О, как всезнающе и скорбно жалел он остающихся на земле!.. Просто, может быть, ему ничего не нужно стало: ни славы сына, ни приезда в его мастерскую, ни краткого пребывания в гостях у внучки. И Васильев, прощаясь, прикоснулся к каменной руке отца (веря, что надо дотронуться до покойника — и наступит облегчение), но это не помогло ему ни в тот день, ни потом. Можно было убедить себя, что живые всегда виновны перед мертвыми, что в век нервных перегрузок многим не хватает лишь одного шага на пути к добру, поэтому угасает на земле и родственная привязанность, и взаимопонимание близких. Эта оправдывающая его логическая попытка вызвала у него чувство стыда, и он не мог простить себе свою черствость («Черт меня возьми, принимаю же я иностранцев, показываю часами картины, бываю терпеливым, вежливым, отвечаю на всякую несусветную чепуху! А для отца не нашел времени!»). И непростительным было то раздражение в дни приездов к отцу на Псковское озеро против его ненасытного любопытства к работе «знаменитого сына», против его раболепной влюбленности и его с трудом подавляемого кашля, когда он из-за спины Васильева наблюдал рождение

картины. Раз, в момент такого тихого кашля, наверное, душившего отца («для чего, наблюдая мои руки, он задерживал дыхание?»), Васильев обернулся, нахмуренный, и встретился взглядом с его обмершими васильково-голубыми старческими глазами, которые говорили ему: «Прости меня, прости!» Потом, удушливо закашлявшись, отец улыбнулся сквозь выступившие слезы, будто виноват был в том, что еще жил на белом свете.

И эту улыбку страдальческого извинения запомнил Васильев навсегда.

«Неужели, помимо воли, я не стал близок самому родному мне человеку? Отец боготворил меня, а я отвечал ему молчаливым раздражением занятого собою себялюбца!..»

И тот странный вечерний звонок с Дальнего Востока, слабый, по-птичьи дребезжащий голос толкнулся в нем отравленным острием старой вины, и, видимо, тогда он почувствовал первые признаки нездоровья.

Телефонный звонок расколол тишину мастерской, а Васильев, вытирая испарину на лбу, чувствуя дрожь слабости в животе, сидел по-прежнему напротив расставленных у стены картин. Но теперь не видел этих похожих своей томительной недосказанностью пейзажей, с удивлением прислушиваясь к несмолкаемо звенящей сеточке боли внутри себя. Он понимал, что это не физическая боль, а нервы расстроены до крайности, что его сжимает, давит, гнетет глухая тоска, жалость к Виктории, к Марии, к покойному отцу, как если бы он, Васильев, жестоко предал их. Разум Васильева пробовал доказывать, что нет ничего бесплоднее самоистязания и начавшееся нервное расстройство — результат переутомления, многолетней работы без отдыха, и вкрадчивый голос внушал ему: «Ты талантлив, удачлив, материально обеспечен, женат на любимой женщине, разве ты не познал состояние счастливого удовлетворения? Что тебе еще нужно?» «Нет, не уйдешь, не уйдешь...» — настойчиво преследовал его другой голос в эти долгие часы, когда он оставался наедине с собой.

«Не может же быть, чтобы моя жизнь была сплошной виной перед другими! — думал Васильев с сопротивлением, с желанием вырваться из тоскливой тесноты, и снова неотвязный вкрадчивый голос убеждал его: — А почему бы и нет, счастливец?.. Илья попал в плен,

ты — вернулся. Маша любила его, а стала твоей женой. Илья серьезно болен, а у тебя только нервы. Но не уйдешь... жизнь не терпит одного лишь цвета удачи. Надо платить за все... Возвращать старые долги. Должник равновесия, жертва безжалостных весов жизни. Как смешно звучит слово «жертва». Нет, не уйдешь, не уйдешь... Должник истины и правды. Кому нужен твой долг? О, какая тоска, какая тоска!..»

Телефон прерывался и повторно трещал со злой, нарастающей требовательностью. Васильев, не сомневаясь, что звонит Илья, и не готовый к разговору с ним, помня его слова о Виктории, все же снял трубку, и тут внезапные слезы радости сбили его ответ до шепота: «Да, Саша...» Звонил Лопатин, которого он не видел довольно давно: тот, вероятно, работал, избегая столичной суеты, прячась в любимом убежище — приволжской деревушке.

— Здорово, Владимир Мономах! Как дышишь?

— Саша, дорогой, приезжай немедленно, прошу тебя, приезжай,— заговорил Васильев, захлебываясь, едва справляясь с собой.— Ты мне очень нужен, очень!.. Сейчас же приезжай!

— Угадай, откуда я тебе звоню, Рафаэль, леший? — забасил Лопатин, посмеиваясь.— Из кабака, который называется «Арагви». Заехал, понимаешь ты, узнать насчет шашлыков, соскучился, понимаешь ты, в деревне, а здесь какой-то театр гуляет. Дамы, понимаешь ты, в перьях, мужики в штиблетах, чего-то обмывают, не то звание, не то премьеру, дым коромыслом, весь кабак ходуном, у официантов обмороки. Лучше ты приезжай, Володенька, столетие я тебя не видел, черта! Шашлычков отведаем! На народ посмотрим...

— Никого не хочу видеть, кроме тебя, Саша! —взмолился Васильев.— Никого, кроме тебя. Приезжай, ради бога, я тебя жду, очень жду!..

Ответ Лопатина провалился в бездну, продутую пощелкивающими ветровыми шорохами не вполне исправного автомата, и выплыл из звукового хаоса, подобно обещанию долгожданного облегчения:

— ...приеду, Володя. Минут через тридцать буду. Я на своем тарантасе.

«Вот оно, спасение, вот оно... Он всегда спасает меня в тяжкие минуты,— думал Васильев, с охватившей его надеждой шагая по мастерской из угла в угол и ломая пальцы.— Мне стоит только увидеть его... его бороду, его легкие мудрые глаза, как становится легче».

Когда минут через сорок ввалился Лопатин, в своей потертой на меху куртке, в мохнатой большой шапке, привезенной откуда-то из Сибири, с Нижней Тунгуски, когда из-под косматых, пробитых сединой бровей он нежно глянул сиреневого цвета глазами, рокочуще говоря: «Здорово, здорово, академик, разбойник кисти, леший тебя возьми!» — Васильев с волнением кинулся к нему, обрадованный негородским его видом, густым окающим баском, дважды поцеловал в пахнущую, казалось, дымом приволжских костров бороду, проговорил растроганно:

— Спасибо, Саша, спасибо. Ты не представляешь, как я рад, что ты приехал!..

И вдруг сам услышал, как голос его перехватили слезы, неподвластные, отвратительные немужским проявлением, которое неприятно было ему ощущать у других, и испугало то, что не сумел овладеть собой.

— Весьма благолепно, благолепно, попал на вернисаж,— заокал Лопатин, раздевшись, делая вид, что не заметил излишнюю возбужденность Васильева, и запустил руку в бороду, разглядывая не без веселого удовольствия пейзажи, выставленные у стены один возле другого.— Слушай, леший!.. Какая удивительная мыслишка вот в этой штуке с открытым окном в сад. Раньше я ее, понимаешь ты, не видел. И как счастливо и грустно, до осеннего холодка! Какая чистота переливов света и какие насыщенные тона, скотина ты эдакая! Ведь это прощание с детством или вообще прощание с детским счастьем жить на земле, понимаешь ли ты! — говорил он и подходил и отходил от пейзажей, озадаченно и громко хмыкая в бороду.— Хорошо это, Володя, что ты работаешь и работаешь, в тебе больше таланта, чем тщеславия. А этого у нашей братии хватает: казаться, а не быть. Пузыри мыльные, понимаешь ты, мы пускать ловкачи. Нет, я давно говорил, что твоя живопись открывает новую эру. В пейзаже особенно. Взгляд современного человека на природу вокруг себя: погибнет красота, уйдет она, и погибнет вместе с ней человек и жизнь. Не умиление, а грусть, тревога, равная отчаянию века... Ты колдун света, Володя. В этом твое счастье и несчастье. Несчастье потому, что завистников рождаешь много.

— Хвали, хвали, Саша, я знаю, что ты любишь меня,— заговорил Васильев, все шагая по мастерской и нервно стискивая до хруста пальцы.— Скажи еще о резкости или мягкости тревожного рисунка, о трепетности воздуха, о пылающих тонах, о сатане в ступе, о чем

Колицын мастер болтать. Зачем ты говоришь обо всех этих выдуманных глупостях, мудрый мой, умный Саша? А твой восторг могу объяснить только тем, что мы давно не виделись. Все это ни к черту! Нет, не прими за чрезмерную скромность! Давно знаю, что в искусстве нарочитая скромность — это знамя прохвостов! Но...— Васильев мотнул головой в сторону пейзажей,— ни к черту по сравнению... с тем, что чувствую. К несчастью, я умею передавать на холсте только одну треть... но не в этом дело, не в этом дело!.. Милый Саша, я рад, я соскучился, я не говорил с тобой целую вечность! Где мы с тобой последний раз встречались? На Марсе? На Венере? Садись вот сюда, чтобы я мог тебя видеть. Что будешь пить? Что ты так на меня нерешительно смотришь?

— Я на тарантасе, понимаешь ли ты,— возразил Лопатин и, теребя бороду, попятился от пейзажей.— Раз, скажу тебе, некий инспектор Сироткин уже устремлялся отобрать у меня водительские права. Причем предварительно заставил дышать ему в физиономию, невзирая на мою волосатость. Второй раз рисковать хоть и занятно, но ни к чему, с точки зрения благоразумия. И солидности. А? Подожди, что за страсти такие? Ни бельмеса не соображаю, что за дрянь у тебя накопилась?

И Лопатин осуждающе воззрился на бутылки, выставленные из шкафчика Васильевым, придирчиво осмотрел медали на роскошных цветных этикетках, с некоторой подозрительностью знатока повертел бутылки и так и сяк, наконец заговорил рассудительно:

— Виски распрекрасно пить где-нибудь в Африке под тенью баобаба. Джин хорош для согрева нутра фермера, который намерзся осенью на пронизывающих до костей ветрах Альбиона. «Чинзано» — вожделение современных джинсовых курдючков, мечтающих о шикарной заграничности. И то, и другое, и третье терпимо, когда за бугром вечерами разлагаешься в каком-нибудь уютном баре при отеле. В России — что? — в России ничем не заменима водка. Но вынужден, Володя, сказать: спаси Христос. Инспектор Сироткин был мой верный ангел-хранитель. Ибо находился я под большой булдой. Кого я встречу на этот раз? Выдвигаю встречный план: рвануть из Москвы за город по Старокалужскому, поглазеть на силуэты деревенек...

— Нет, нет! Никуда не поедем, Саша! — вскричал Васильев и приостановился посередине мастерской, точно вспоминая необходимое, важное, не высказанное еще

Лопатину.— Я с тобой должен поговорить, Саша. Ты мне очень нужен. Пусть машина стоит, уедешь на ней завтра. Куда и когда угодно я тебя отвезу на такси. Садись, садись.— Он усадил несколько озадаченного Лопатина в кресло и задержался у окна, глядя в синеющее весеннее небо над крышами.— Какая быстрота, какая быстрота в этой весне,— проговорил он, не оборачиваясь к Лопатину, и без всякой последовательности спросил: — Где ты был, Саша? У себя, в деревне? Писал?

— Был неделю на Азове. Не написал ничего. Пустотища за спиной,— ответил Лопатин и посмотрел на Васильева светлыми отгадывающими глазами.— Ты здоров, Володя? У тебя что-то бледноватый вид. Не переработал?

— Извини за мое дурацкое гостеприимство! Угощаю, называется, друга! Бутылки вытащил, болван! Для чего, спрашивается? Для вернисажа? Так ты сказал — водку? Да, водку, я согласен. Именно водку. Все остальное — жалкая витрина дилетанта. Водку, водку! Да что за рюмки — воробьев поить!

Васильев встрепенулся, чересчур быстрыми шагами подошел к столику и, не садясь, разлил по рюмкам водку, расплескивая на стол, торопливо чокнулся с Лопатиным, выпил резко, как пьют не очень посвященные в этот ритуал люди, и, обожженный, выговорил, поперхнувшись:

— А как, как на Азове? Зачем ты был на Азове?

— Ругался вдрызг с местным начальством. И ни одного пейзажа не привез. Приехал на море, и тут рассказали страшненькое...— сказал Лопатин и не торопясь выцедил из рюмки водку.— В прошлом году химией травили комара в плавнях, и вся дрянь химическая, понимаешь ли, на головы дураков бы ее вылить, постепенно снеслась течением Дона в Азов. Представь утреннее море все белое, все будто в огромных белых плотах — тысячи мертвых сазанов, вверх брюхом. Идиотизм, понимаешь ли ты, несусветный, глупость перворазрядная, тупость вселенская! Пнизм — и только! Для того чтобы ногти почистить, руку отрубают. После нас хоть потоп. Головками не хотят думать, что будет завтра. Зато комариков нет. А комариков нет — и птицы нет. А птицы нет — и в садах и огородах ничего нет, гусеница все жрет. Зато комарики не кусают. Каково, а? Восторг! Сократы! Мыслители, хрен бы их взял!..

— Как грустно это, Саша! Как грустно!..— сказал Васильев, продолжая ходить по мастерской в неотпуска-

ющем напряжении, ибо водка никак не расслабляла его.— Я хотел с тобой посоветоваться,— заговорил он, и ему не хватило дыхания.— Я, кажется, серьезно заболеваю, Саша, со мной что-то произошло... Не знаю что, но я места себе не нахожу, милый мой Саша. Если бы ты знал, как тяжко мне в эти дни. Вот здесь болит. Как зубная боль.—Васильев чуть поморщился, вдохнув воздух, показал себе на грудь.— Иногда плакать, как мальчишке, хочется, но не могу. Не умею. Если бы ты знал, дорогой мой дружище, какая тоска, какая безысходная, нескончаемая тоска. И ничего не могу с собой сделать...

— Да что такое, в самом деле? — встревожился Лопатин и поглядел на Васильева, вздымая косматые брови.— Причина-то в чем? Здоровенный мужик, гантелями каждое утро балуется, свежим воздухом на живой натуре дышит,— ворчливо забасил он, завозившись в кресле большим телом.— Талант ты цвета, можно сказать, волшебник колорита, радоваться ежесекундному своему дару должен, а ты... Стыд и позор, леший тебя возьми! Кому служит искусство — богу или дьяволу?

— Да, да, именно, именно!.. Кому служит искусство, кому? — повторил Васильев и, будто озяб, засунул руки в карманы.— Ты думаешь, кому-то сейчас очень нужна живопись? Одному чудаку из ста или пятисот тысяч? А-а, это все равно. Она бессильна, она ни на кого не воздействует, она не может ничего изменить, исправить... Замечаешь ли ты, что человек стал хуже, злее, безжалостнее, чем двадцать, тридцать лет назад, что мы потеряли что-то важное?.. Чего же достойны люди — ненависти, лечения, наказания? Кто они, люди? Венцы творения, цари мироздания или раковые клетки на теле земли? Я не знаю, что делать, как жить дальше, Саша. Понимаешь, как жить... И был ли смысл в том, как я жил раньше? Нет, не то я тебе говорю. Все приобрело смысл, который не имеет смысла. Бывают моменты, Саша, когда я ненавижу все человечество и тут же чувствую вину... как будто я виноват во всем. Я не знаю, что со мной, дружище...

Лопатин не двинул ни единой чертой грубоватого обветренного лица, порылся крепкими пальцами в бороде и спросил пониженным тоном:

— Что у тебя произошло, Володя?

— Только тебе я могу рассказать, Саша, тебе одному... Только тебе.

И, продолжая метаться по мастерской мимо прислоненных к стене пейзажей, мимо накрытого тряпкой мольберта, иногда круто останавливаясь против Лопатина, слушавшего его с насупленным лицом, иногда задерживаясь у окна и потирая грудь под открытой форточкой, словно воздуха недоставало, Васильев рассказал ему все: и страшная тайна дочери, открытая спустя два года, и постоянный страх Марии за каждый ее шаг, и ошеломившее его решение Виктории уехать,— все немыслимое и безобразное вновь было пережито Васильевым, как и та загородная роща вблизи дачного поселка, и тот заброшенный сарай, воняющий грязной соломой, а когда он закончил и подошел к столику, весь горячий, в испарине, возбужденный, Лопатин проговорил, решительным оканьем обостряя слова:

— Весь наш гнев — пустое дело и звуки! Все ожидал, только не это. Ох, велосипедные мерзавцы! Казнить таких на площадях мало! Ладно, давай разберемся дальше. Откуда пришла эта идиотская идея с Италией? От твоего бывшего друга? Он приглашает ее уехать? Она тебе не сказала, как родилась эта гениальная мысль?

— Не уверен, Саша, что идея исходила от него. Дело в том, что Виктория сама нашла его в гостинице, сама хотела встречи.

— Сама?

— Она ничего не скрывает.

— Тогда остается вот что,— сказал Лопатин твердо,— объяснить сперва твоему русскому итальянцу, чтобы он выбросил из башки романтическую дурь и сам убедил Викторию, что реализация выезда невозможна в настоящее время. Тем более никакие заграницы в мир благолепия не ведут и ни от чего не спасают. Впрочем, я знаю характерец Виктории, ее убедить нелегко... Но откуда... где он и как откопался, твой подозрительный знакомый? Фантастика какая-то! Сколько он пробудет в Москве?

— Завтра, по-моему, уезжает. Да, завтра.

— Так едем к нему хоть сейчас. В какой он гостинице?

— Сейчас? К нему?

— Не задавай, Володя, глупых вопросов. Именно сейчас. А почему бы нет, я тебя спрашиваю? — Лопатин отставил рюмку и поднялся, надевая куртку с видом готовности к немедленному действию.— Не будем откладывать чего не надо. Тем более что мне хочется уви-

деть эту легендарную личность. Твоего друга детства. Звони ему!

Неустанная энергия Лопатина, хорошо известная Васильеву незамедлительностью поступков, подхватила его и возбудила надежду на возможность разумного выхода, а после того как он набрал номер гостиничного телефона Ильи без уверенности застать его, когда услышал чужой голос, ровно и нараспев произнесший по-немецки: «Ja-ja-ja» [1],— он, обескураженный, вторично попросил к телефону Илью Рамзина, и тот же голос, ответивший по-немецки, сделал стремительный звуковой скачок, засмеялся коротким жестяным смехом, заговорил по-русски:

— Это... я с тобой говорю, Владимир? Не вдруг, но узнаю твой голос. Я тебя жду. У меня, кстати, гости. Не скажу кто. Приедешь — увидишь. Адью.

Пока Васильев говорил по телефону, Лопатин, уже одетый, натянув на затылок лохматую сибирскую шапку, досадливо кряхтел и, выказывая недовольство, открыл дверцы шкафчика, принялся шарить в нем, однако не нашел, что искал, и, неудовлетворенный, выругался на всю мастерскую:

— Д-дьявол! Валидол, валидол где? Я выпил рюмку водки, а на свежем воздухе будет нести как из бочки. У жрецов ГАИ ха-роший нюх, а ехать надо на своем тарантасе — иначе глупо, как бритье ежа. Дай-ка закусить валидолом. Отлично отбивает амбре...

— Саша, может, лучше на такси? — посоветовал Васильев в неопределенном раздумье.— Как некстати эти гости у него. Если бы ты знал, как не хочется никого видеть. Вот, возьми валидол, Саша.

— А ты смотри на всех сатаной, так свободнее будет,— сказал Лопатин, бросая в рот таблетку валидола.— Тщеславию художников границ нет, это и курице известно. Но ты, кажись, всем сыт по горло, поэтому заранее освободи себя от поклонов.

— Ни разу в жизни, Саша, я не отбивал поклонов.

— Не преувеличивай, старикашка, не преувеличивай. Все мы не раз чувствовали гибкость своего позвоночника. Поехали, Володя. Бог в помощь, как говорили наши деревенские предки.

---

[1] «Да-да-да».

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

В вестибюле гостиницы, очень просторном, тихом, нелюдном в этот час, пахнувшем теплым ветерком лаванды и синтетической кожей чужих чемоданов, швейцар с налитой шеей уважительно выставил мясистый подбородок навстречу внушительной бороде рослого Лопатина (вошедшего хозяином в раскрытые двери), но затем отсекающим взором измерил Васильева, проговорив заученно и подобострастно:

— Вы к нам? Карточку вашу...

— Я? Вы меня спрашиваете? — ответил Васильев, не ожидая этого препятствия, и вспыхнул, что редко бывало с ним раньше.— Я к господину Рамзину. А что, собственно, угодно?

— Он со мной,— густо забасил Лопатин и по-шальному заиграл глазами, не без ернического увлечения вступая в объяснение со швейцаром: — Вернее, я с ним, дорогой наш суровый и бдительный страж, потому что перед вами академик живописи, известный художник Васильев, а я лишь скромный деятель искусств. Что надобно еще добавить? Пачпорт? Удостоверение личности? С удовольствием...

В это время из глубины вестибюля бесшумно подошел красивый молодой человек, гладко и плоско причесанный на косой пробор, с любезной улыбкой спросил, кого они хотят видеть, и, узнав фамилию, прошел за стойку, под которой стояло несколько чемоданов (там перебирал стопку зелененьких листков молоденький белокурый опрятный портье), довольно-таки быстро просмотрел какой-то список на столе и пригласил с той же деланной любезностью:

— Пожалуйста. Двести пятнадцатый номер. Его занимает господин Рамзэн.

— Как вы сказали — господин Рамзэн? — не понял Васильев, думая, что ослышался, хотя произношение молодого человека с отлакированной прической было весьма четким.— Не Рамзэн, а, наверно, Рамзин?

— Я сказал: господин Рамзэн,— ответил молодой человек и невинно посмотрел в переносицу Васильева.— Пожалуйста, проходите... Можете на лифте, можете по лестнице.

— Любопытно,— пробормотал Васильев.

Они стали подыматься по лестнице.

— Не Рамзин, а Рамзэн, оказывается,— сказал Лопатин, отдуваясь, когда поднялись на второй этаж и после кратких расспросов дежурной за столиком приблизились по малиновой дорожке к массивной двери с медной ручкой.— Разница, оказывается, незначительная: в одной букве. Рамзин, Рамзэн. «Ин» или «эн» — деталь на западный лад,— заметил едко Лопатин и постучал в дверь.

И эта случайно узнанная новость — изменение знакомой с детства фамилии на одну букву— раздражающе подействовала на Васильева, как если бы Илья скрывал этим нечто постыдное, связанное с прошлым, выбрав себе новое обозначение в мире, что придавало ему иную сущность, неприятно отдалявшую его. Но еще неприятнее стало Васильеву, когда они вошли в обширный номер с большими зеркалами, тяжелыми портьерами, старой добротной мебелью, и первое, что кинулось в глаза, был накрытый стол, торчащие из серебристых судков, набитых льдом, бутылки шампанского и — огромные темно-серые глаза Виктории, готовые улыбнуться и не улыбающиеся, изумленно устремленные на Лопатина, и рядом с ней Эдуард Аркадьевич Щеглов, оживленный, как всегда; редкие волосы с тщательным мастерством от уха до уха начесаны на лысину, стекла очков рассыпают трассы ядовитых искр, черный пиджак и черный галстук-бабочка на белоснежной сорочке придают ему официально-гостевой облик человека, вернувшегося с коктейля в посольстве; и какой-то подчеркнуто освеженный вид (будто сейчас прохладную ванну принял) Ильи, одетого в серый костюм, в голубую, молодившую его рубашку, только лицо, иссера-бледное, с кругами в подглазьях, не могло скрыть тайного физического нездоровья. Он несильно пожал холодной рукой руку Васильева и, приподняв брови, настороженно взглянул на Лопатина, показывая этим, что не знаком, не встречался или не помнит, даже если встречались когда-либо.

— Лопатин, Александр Георгиевич, художник, график, мой друг,— представил его Васильев в ответ на вопрошающее внимание Ильи.— Вы не знакомы, можешь не напрягать память. Учились в разных школах и вместе не воевали. Слушай, мы могли и не найти тебя,— заговорил Васильев полусерьезно.— В вестибюле я с интересом услышал, что в гостинице проживает господин Рамзэн. Подумал, почти твой однофамилец. Оказалось — приятно ошибся, ибо Рамзин и Рамзэн — одно и то же лицо.

Илья засмеялся.

— А, забыл тебе сказать, что в своей жизни я имел три фамилии: Рамзин, Зайгель и, наконец, Рамзэн. Зайгель — фамилия моей покойной жены, Рамзэн — мое изобретение. Так фамилия звучит более неопределенно, чем с окончанием «ин», которое точнее указывает на мое русское происхождение. На Западе спокойнее жить, когда не выделяешься ничем. К Джеймсу Бонду такая конспирация не имеет никакого отношения.

И он с приветливой обходительностью гостеприимства провел их к столу, свободно усадил к чистым приборам между Викторией и Щегловым, налил всем шампанское, сам сел на место хозяина в конце стола, в кресло с прямой спинкой, наполнил свой бокал, глаза его обошли лица гостей, светясь болезненно обжигающей чернотой.

— Сегодня мой последний день в России, и я нарушил диету и строгий режим,— проговорил Илья, держа бокал вздрагивающими тонкими пальцами.— Но я не об этом... Здесь четверо мужчин и среди них одна представительница прекрасного пола, дочь старых моих знакомых («Странно, что здесь нет Марии»,— подумал Васильев, удивленный нездоровым жаром в глазах Ильи),— прелестная умная девушка, которая чистым... чудным алмазом украшает наше общество. За ее здоровье, за расцвет ее красоты! Не знаю, спасет ли красота мир, но мир без красоты и молодости был бы чудовищен!

Он без труда выбирал слова, но что-то неестественное, насильственное обвивало его фразы, и нарочитое сквозило в голосе еще и потому, что Илья казался не вполне трезвым, а она, Виктория, взглядывала на отца с опасливой улыбкой, умоляя его не обижаться, простить ей эту непредопределенную встречу, и переводила лучисто теплеющие глаза на Лопатина, морщила нос и брови, здороваясь так и без слов переговариваясь с ним. Лопатин же хитровато подмигивал ей, намекающе кряхтел, хмыкал и поминутно остренько скашивался на Илью, наблюдая его с любопытством. После того как выпили шампанское и Илья снова наполнил гостям бокалы, Эдуард Аркадьевич, стеклами очков жизнерадостно разметав над столом пучки иголочек и легко поднявшись, заговорил, отвечая Илье со своей обычной шаловливой и наполовину ядовитой иронией:

— Ваш тост в адрес моей любимой племянницы слишком лиричен и отнюдь не схватил за хвост божественную истину, которая имеет две стороны, прошу у глубокоуважаемого нашего хозяина множество извине-

ний! Во-первых, мы все — дети и несем в себе грехи наших отцов. Во-вторых, кто отцы и кто дети? О, где оно, грандиозное взаимопонимание, а не биологическая трагедия! Но... самое большое мужество в наше время — обходиться собственным умом. Не спрашивай, мое золотце, никогда у старых корыт и перечниц мудрого совета — и да восторжествует неблагоразумная, но закономерная истина молодости! К примеру, чему научить могу я, мое золотце? Пошленьким мизансценам? Банальным жестам? Ветхим словам? Трусливым запретам? Если в неделе шесть будничных дней, то воспринимай молодость как седьмой день — воскресенье, ибо оно быстро кончается и наступает быт понедельника. Есть одно — сама жизнь, как удовольствие жить, и разумный эгоизм, деточка, как метод этой жизни! Коли можешь, принимай эту подаренную нам случаем любви жизнь как карнавал!..

«Как обычно, его следует принимать с просевом... Но он как будто уговаривает ее в чем-то»,— подумал Васильев с сожалением и неприязнью и хотел сказать вслух: «По-моему, вы забиваете голову Виктории чепухой»,— но тут Лопатин зафыркал носом, сочно заокал, опережая его стремительным натиском на Щеглова:

— Я приветствую вас, но не могу поздравить, Эдуард Аркадьевич, с вашим театральным спичем! К чему он так благоухающе пронесся над нашими головами античным любомудрием, позвольте спросить? Вы познали смысл жизни, понимаешь ли ты? Этот смысл, стало быть, в гедонизме, хо-хо! Так смилуйтесь — укажите, научите наслаждаться бытием как вечным воскресеньем и карнавалом. Возьмите в ученики, учитель! Спасите дурака глупого от греховного неразумения! Только когда хлеб сеять, ежели все время на карнавале ногами дрыгать?

— Ах, Александр Георгиевич, наконец-то я слышу ваш громкий голос, драгоценный голос моего постоянного оппонента! — воскликнул Щеглов и стеклами очков резво выпустил во взъерошенную бороду Лопатина целую стаю воинственных с острыми копытцами искр-бесенят.— Но вы должны были бы заметить, милейший Александр Георгиевич, я ничего категорического не утверждаю. Ибо всю молодость свою я только и делал, что разрушал и утверждал. Более того, мудрость имеет такое же преимущество над глупостью, как и глупость над мудростью. И я, преизумительнейший осел двадцатого века, задаю вам вопрос: с кем повенчана правда? Чья она невеста? За кем она замужем? И однолюбка ли

она? Ответьте, ради всего святого, мне — и я с презрением затопчу гнусную мысль о гадкой любви к жизни и прочей мерзкой пакости, недостойной нашего передового современного человека, и скажу себе: «Старый осел, у тебя плохо меблирован чердак!»

Инквизиторским жестом неподкупного судьи Эдуард Аркадьевич изобразил вокруг головы хаотические зигзаги, обозначающие, как плохо мог быть меблирован у него чердак, и Васильев увидел глаза Виктории: они подавались, расширяясь и наполняясь смехом, от которого ему было не по себе, так же как и от иссера-бледного, педантично выбритого лица Ильи, овлажненного потом.

— Браво, неплохой текст,— сказал Лопатин.— Я бью в ладоши. Но есть ли смысл начинать сию минуту тяжбу между нами, Эдуард Аркадьевич?

— И тем не менее с кем же она в брачном союзе, не посетуйте на придирчивое любопытство, Александр Георгиевич? — повторил Эдуард Аркадьевич и снова выметнул из стекол очков стаю ехидных чертей, просверкавших копытцами в направлении Лопатина.— С кем она, родненькая, об руку ходит, очень хочу услышать?

— Услышите мало. И неутешительное,— ответил Лопатин, посапывая носом.— Во-первых, правде возбраняется быть насильно повенчанной с сильными мира сего. Если выражаться вашим языком, Эдуард Аркадьевич. То есть выходить замуж с материальным расчетом. Во-вторых, и главное: пусть ходит независимой и гордой русской девой, которую надо любовью и умом завоевывать, а не покупать на ночь на панелях другого мира, чужую красавицу, понимаешь ли ты, в чужеземном платье. Пусть извинят меня Виктория и иностранный гость.

Илья молчал, возбужденно прищуриваясь, пристально глядя на Лопатина.

Эдуард Аркадьевич просиял восторгом и два раза коснулся ладонью о ладонь, изображая знак рукоплескания.

— Грандиозно! Эт-то, Александр Георгиевич, грандиозно! Я — за классическую ясность. Но смею ли я преклониться перед вашей душевной неразвращенностью и усомниться в сомнительном? Александр Георгиевич! Конечно, чем идеальнее мы, тем не мы страшнее греха смертного. Вы против заемной правды, но... Спасите от козней дьявола, душа моя! Вопрос в том, не повенчана ли правда некоторым образом с ложью? Такой пикантный, знаете ли, аномальный брак, к которому многие из нас привыкли, к величайшему огорчению!..

— Экий собачий хохот! — выругался Лопатин пренебрежительно.— Чрезвычайно игриво что-то вы закатили, Эдуард Аркадьевич!

— Я удивлен вашему удивлению, мой милейший Александр Георгиевич! О, мы в силу своей особой морали ежесекундно и ежеминутно режем в особом принципиальном молчании друг другу правду в распахнутые светлые очи. Мы никогда не опускаемся до лжи, до такой безнравственности, чтобы мерзавцу, жулику и дубочку в кресле вслух напомнить, кто есть кто. О, такие выпады — признак невоспитанности и совсем уж не признак мужества. Так что же это — ложь? Или страшная правда? Мы защищаем себя каждую минуту, а не правду, Александр Георгиевич.

— Правда всегда страшна,— проговорил Илья споткнувшимся голосом, заглушая окончание последнего слова глотком шампанского, и узко усмехнулся Щеглову, с заостренным вниманием глянувшему на него.— Правда, как и память, дается человеку в наказание. Вспоминая плохое, страдаем. Вспоминая хорошее, чувствуем горечь невозвратимого. Иногда мне приходило на ум, что ложь есть правда, а правда — ложь... Что правда необходима для того, чтобы скрыть ложь, Эдуард Аркадьевич,— сказал он и так же неутоленно и жадно, как пил шампанское, закурил сигарету, шумно выпустил ноздрями дым, поближе переставил на подлокотник кресла пепельницу, уже набитую окурками.

Было несомненно, что он нарушил свой режим, которого, по-видимому, долго и прочно держался, и явно чувствовалось, что он пьянел,— лицо становилось все бледнее, жестче, и будто туманным воспоминанием проглядывало в усмешке его что-то давнее, военное, острое, свойственное в ту пору Илье. И Васильев хотел поймать это выражение, понять и вспомнить, с чем оно было связано, и хотел твердо решить, как начать с ним разговор о Виктории, о ее неразумном и нелепом желании, но Эдуард Аркадьевич мешал ему, воспламененный замечанием Ильи, и продолжал без устали чеканить и кидать на стол нашпигованные жгучим перцем формулы:

— Фу, как ужасно вы сказали, Илья Петрович! Вы, как я понял, имели в виду ту... зазаборную ложь и правду! Уверяю вас, что наша мораль — удар по лжи, которая пышным цветом расцветает только за забором! Там она! Чужая правда — это сорняк! Или же — пух поросячий! Бильярдный парадокс! Сапоги в простокваше!

— Это вы в мой огород булыжник зашвырнули? — поинтересовался Лопатин.— Валяйте дальше!

— В ваш и в свой, Александр Георгиевич. В общий!

И Щеглов сел на место, сдернул очки, заморгал безресничными веками и начал визгливо покряхтывать, постанывать смехом, слегка тряся черной бабочкой на туго сжатой воротничком еще крепкой шее (так он смеялся, вернее — не умел смеяться), и, чистоплотно протирая очки кончиком носового платка, опять молниеносно и жарко возбудился, заговорил не без колючего вдохновения:

— А мировая история человечества — это что? Жизнеописание Адама и Евы в раю? Увы! Это кровь, пот, несчастье, преступления, сплошной кошмар! Как ее назвать — поиск правды? Несомненно и без-условно! Иисус Христос был всего-навсего распятый проповедник, но... стал сыном божьим, потому что его страданиями люди хотели утвердить правду, прийти к любви. Утвердили? Крестовыми походами? Инквизицией? Так где же, где эдемская благодать? Ась? Нет, вся прошлая история Европы — история безумия! Вся нынешняя машинная цивилизация — история безнравственных ученых, водородных бомб, убийств, национализма! Ради истины внесу поправку! История человека должна быть биографией правды, а не сюжетом красивой и доступной дамочки, которая на деньги любовника наряжается по его вкусу то в одно, то в другое платье! Здесь я согласен с вами, милейший Александр Георгиевич! Только здесь, мой друг! — Он изящно бросил очки на переносицу, выразительно нацелился выпуклым испытующим взором на Лопатина и вторично залился неумелым брызгающим смешком: — Ее, матушку-правду, можно не только повенчать с ложью, но и стибрить, то есть украсть, облить помоями или прогнать в три шеи. Как вы это назовете? Порочный брак с гордой девой?

— Вот соображаю, как можно назвать ваш трактат о правде, Эдуард Аркадьевич! — проговорил Лопатин тоном невинной рассудительности.— Позвольте вас обидеть невзначай? Выдержите?

— Чудесно! За что же? А ну-ка, ну-ка!.. Как вы желаете меня обидеть, коли я ни бельмеса не соображаю в повсеместной посадке кукурузы? Как назвать хотите?

— Унылая философия осеннего листа. Нудеж, плач, стон, причитания и скулеж. Пессимизм — нехитрая штука.

— Я оптимист, родной мой. Именно я люблю все человеческое. Пессимизм — это ползание на четвереньках, а я с детства мечтал расти в высоту, как дерево, не боясь молнии.

— Какие молнии, когда осенний ветер срывает листья. И темнеет в четыре часа. Записки ноября.

— Да, да, это грустное зрелище.

И Эдуард Аркадьевич, ценя слово, ничем не проявляя обиды, в переизбыточной бодрости задвигался всей своей сухонькой деятельной фигурой, приветствуя полемическую формулу оппонента.

— Осеннего листа записки? Чудесно! Эт-то что же, что же, Александр Георгиевич, вы преклонный возраст мой имеете в виду? Или же вливаете яд в мой кубок, готовый чокнуться с вашим?

— Нисколько. На кой леший! — грубовато отмахнулся Лопатин.— Хочу сказать, что горький вкус осеннего листа под ваш развеселый аккомпанементик вызывает у меня кручение в животе. Выть на луну хочется и бежать до ветру. Вы всё мировыми категориями по башке оглоушиваете, всё вселенскими масштабами. А вот скажите, Эдуард Аркадьевич, златоустый Сократ двадцатого столетия, скажите, как вы-то сами в бытие правду-матку утверждаете в наши-то либеральнейшие времена? В своем краю родных берез... Хоть мизинчиком пошевелили?

— Во-первых, милейший Александр Георгиевич, я не карманный максималист.— Эдуард Аркадьевич привскочил, шаркнул ножкой и с язвительной учтивостью поклонился Лопатину.— Во-вторых, неужели вы не видите, что она, матушка, становится такой ветреной, что сил нет! — продолжал он неутомимо.— Не задумывались ли вы, что она, дева-страдалица, в грошовые детективы и пошлости по телевизору сбежала. В футбол, в полированную мебель, в ювелирные магазины, сиротинушка, удрала. Ее, матушку родимую, хватательный инстинкт с ног сшибат и в грязи вываливат, по-сибирски говоря. Подойдите, родной Александр Георгиевич, душевно прошу, к очереди у ювелирного магазина и абсолютно серьезно произнесите приблизительно такие диогеновские речи: «Братья и сестры, уважаемые граждане, да неужели смысл вашей жизни в этом желтом металле! Никого из вас он не сделает ни красивее, ни счастливее, а уж бессмертия никак не принесет. Красота — в подаренной вам жизни, в том, что вы дышите, видите солнце, работаете, ходите по земле. Разойдитесь по домам, подумайте о том,

что не для этой очереди вы родились. Золото — не хлеб, не вода. Что вам даст лишнее колечко или медальончик?» Какова, вы думаете, будет реакция, милый Александр Георгиевич? Первое: если вы прилично одеты, да к тому же на манжетах вот такие вот, как у меня, буржуазные украшения, купленные еще в тридцатые годы,— Щеглов артистично тряхнул манжетами и, посмеявшись, повертел кистями, демонстрируя запонки,— то на вас, вне всякого сомнения, заорут так: «Ишь ты, высунулась харя в шляпе, сам чемоданы золота имеет, а нам, выходит, не надо!» А если уж на вас помятое пальтишко, то подадут голоса таким манером: «Из психички, видать, бежал! Держи его! Милиция! Где милиция? Перекусает еще всех! Его куда следует отправить надо!» Третьи, не обращая внимания на вашу шляпу, полезут с вытаращенными глазами, попрут мощной грудью на вас: «А ну, проваливай, пока это самое... чего порядок нарушаешь? Без очереди влереться хочешь, такой-сякой!» Подобную сценку, не для пьесы нарисованную, несколько лет назад вообразить себе было трудновато. Что-то произошло, от нас с вами не зависящее. Мировой микроб потребления, как грипп, перенесся к нам. Но там, за бугром, от соблазна, от рекламы, от пресыщенности наконец, а у нас от чего? От нехваток? А когда начинается погоня за вещичками, в головах многих духовная образуется пустынька, и две госпожи — истина и мораль — уже редко приглашаются сюда в гости.— Щеглов пальцем постучал себе в темя.— Зачем они? В гардероб не повесишь на плечиках! Лучше уж сервизы в сервантах да хрустальные вазы — до слез престижно! А зонтики, плащики, чулочки, люстры — а? Умилительно! С кем бороться, родной Александр Георгиевич? С самим собою? Мысленным взором окидываю себя: я весь в импортных вещах, на мне отечественные только носочки и еще кое-что. Как бороться с микробами, против которых нет вакцины? Это начало духовной трагедии, мой дорогой Александр Георгиевич! Не сомневаюсь, что вы станете красноречиво защищать честь мундира. Но эта истина не имеет определенного места жительства! Она не прописана нигде! Она без паспорта! — повысил тонкий насмешливый голос Эдуард Аркадьевич и в беспристрастном послушании, уважительно склонив голову, посмотрел выпуклыми глазами в конец стола на молчавшего Илью, продолжал не без веселой жестокости: — Я не сомневаюсь ни на йоту, что сумасшедшее человечество утрати-

ло высший смысл своего существования и заблудилось... Или уже наполовину заблудилось в бетонных лабиринтах больных и перенаселенных городов!.. И я не уверен, что завтра его найдут и спасут. Кто найдет? Кто спасет? Другие миры? Обитатели летающих тарелок? Инопланетяне? Да если они и существуют, то обращают на нас внимания не больше, чем мы на муравьев. Найдет ли и спасет себя само человечество? Оно дискредитировало себя... Оно должно очиститься, Александр Георгиевич. Но — как?

— Пустозвонство! Художественный свист! Звуковое сотрясение воздуха! — загремел с презрительным негодованием Лопатин и даже кулаком ударил по краю стола, в порыве несогласия уже не стесняясь Ильи, который непрерывно подливал себе в бокал шампанского и как-то замкнуто пил мелкими глотками, все более бледнея, капли пота собирались островками на его висках.— «Смысл жизни». «Человечество». «Инопланетяне». «Правда». Леший не разберет, во имя чего вы, Эдуард Аркадьевич, замесили столько громких слов и во имя чего такую циничную кашу бочками наварили! Все человечество вы сейчас с ног до головы облили ядом, весь род людской в вещизме обвинили и обсмеяли, правду выдали замуж за лжеца-негодяя и оставили одни руины, как Мамай какой все копытами вытоптали! Содом и Гоморра! Бесплодная пустыня после вас осталась. Выжженная земля! Чего же вы хотите — очистительного всемирного потопа... и искупления? И не жалко род человеческий? А вы как же сами? Вы не особь человеческая? Вы кто — коза, трава? Букашка?

— Козочкой хотел бы по зеленой травке ходить,— сказал Эдуард Аркадьевич и развел руками с сокрушенным смирением.— Счастлив был бы безмерно.

То, что, по обыкновению, смеясь, заявлял сейчас Щеглов, и то, что было не по душе Лопатину, задевало в эту минуту Васильева не сущностью их несогласий, а тем, что замечал, как сумрачно темнели под ресницами глаза Виктории, и он страстно хотел понять, что происходило в этой красивой светловолосой головке дочери, так алчно впитывающей терпкий яд слов Эдуарда Аркадьевича, словно бы сквозь смех наслаждавшегося самоуничижительной горечью разочарования.

«Мне ясно, что он хочет понравиться Илье, но его вдохновляет спор с Лопатиным и внимание Виктории,— подумал Васильев.— Иначе откуда этот ливень сарказма

и иронии? В нем есть какая-то наркотическая сила зыбкости. Как он нехорошо действует на Викторию и как это больно видеть!..»

— Кого жалеть, Александр Георгиевич? Скажите, пожалуйста? — спросила вдруг Виктория с брезгливым вызовом.— Лжеца? Грабителя? Дурака? Они еще больше станут лжецами, грабителями и дураками.

— Совет, Вика! Что касается дураков,— попытался поиграть ее словами Лопатин, обеспокоенный гневной вспышкой Виктории,— то надо вырабатывать в себе дуракоустойчивость. Или, пожалуй, считаться с ними, Вика, ввиду их численного превосходства. Надо, пожалуй, верить...

— Верить? Чудесно! Вы сказали «верить». А что такое вера — страх или убеждение? — перебил его сейчас же Щеглов, и бесовский костер вновь взвился искрами в его глазах.— Вера! Что это такое? Пережитая истина или эмоциональное отношение к истине? В какую веру вы обращаете Вику?

— Перестаньте, дядя,— строго сказала Виктория, и по ее горлу прошла еле заметная судорога.— Это стало очень модно. Все сразу переводить в шутку. И вы тоже стали так делать, Александр Георгиевич, хотя вам не идет. Для чего говорить слова, одни слова на все случаи жизни? Кому нужны ваши длинные монологи? — повторила она гадливо.— Кого это делает счастливым? Как страшно, что все говорят, призывают, клянутся, учат друг друга, а на самом деле — совсем другое. Просто страшно!..

— Вряд ли, Вика, вряд ли вы справедливы полностью,— забормотал Лопатин неловко, копаясь пальцами в бороде, пощипывая ее.— Вы напрасно нас так...

— Викочка, пощади, золотце, юная герцогиня наша! — скорбно заговорил Эдуард Аркадьевич и воздел руки, как бы в молитве призывая на помощь само небо.— Я хотел бы научить тебя быть счастливой, красавица моя! Но — как? Счастье — это лишь наше представление о нем. Мираж, мечта жить в сладости весенних снов. Кого можно научить счастью? Я могу научить лишь злой веселости, но это не для тебя. Поверь, как будущая актриса,— только искусство стоит чего-то в жизни. Но и оно не может научить счастью, оно лишь развлекает, утешает приятной сказочкой: будь честным, смелым, добродетельным...

— Боже, какой мед, какая сладость! — воскликнула Виктория.— К черту ваше искусство, дядя! Могу ли я быть актрисой, если мне ни перед кем не хочется лицедействовать! Илья Петрович, скажите, пожалуйста... вы всё молчите, а я хочу, чтобы вы ответили мне! Что думаете вы? — проговорила она иным тоном, обращаясь к Илье, и он с каплями пота на лбу курил, смотрел на нее немигающим тяжелым взором, смотрел в отстраненном молчании, потом проговорил хрипло, с кривой улыбкой:

— Я не типичен, Виктория, в вашем споре.

— А что вы думаете? Что — вы?

— Что я?.. Как только человек заглянул в свою душу, он познал ад. По крайней мере, у меня это началось после войны, в шестидесятом году.

— У вас давно. А у меня...— начала, усмехнувшись, и не договорила Виктория, и пасмурная тень прошла под ее дрогнувшими, длинными — Марииными — ресницами.

«Что объединяет их, что общего между ними, что сближает их — Илью и мою дочь?» — подумал Васильев и почти с отчаянием почувствовал, что Виктория в неисчезающей брезгливой ожесточенности не хочет слушать никого, кроме Ильи, и оттого, что она спорила с любимым ею Эдуардом Аркадьевичем и в особенности с Лопатиным, которого обычно слушала почтительно, и оттого, что сама искала для себя выход, Васильев вновь испытал жгучую отцовскую муку, похожую на страх навсегда потерять дочь.

— Знаешь, что я вспомнил, Вика? — сказал он, стараясь говорить спокойно.— Я вспомнил, как однажды прошлым летом пошел на мотив часов в восемь утра. Спустился к Москве-реке, устроился на ступенях, а впереди — мост, зелень на том берегу и набережная в тени и бликах. И главное — прекрасное утро, солнечный, прохладный воздух, радость пробуждения. Но вдруг вместо сиреневого и серебристого цвета на холст лезет синий — чертовщина, я ничего не понимаю, но уже нет прозрачных утренних теней, зыбкости воды. И чувствую, что пишу ночь вместо утра. Солнечный колорит, а у меня — ночь.— Васильев помолчал, внезапно ужасаясь тому, что начал рассказывать, и боясь, что увидит на лице Виктории недовольную гримасу.— Сзади какие-то туристы — американцы на набережной, наблюдают сверху, а я спиной загораживаю мольберт и думаю: что за наваждение? Что за подмена? Вокруг свет, солнце, сверканье воды, а

на холсте ночь... До сих пор не могу объяснить странной метаморфозы. Ты видел эту картину, Саша, помнишь?

— М-да, лунная ночь,— пробормотал Лопатин.

— Зачем ты рассказал это, папа? — спросила Виктория, и морщинка раздражения прорезала ее переносицу.— Неужели так похоже, что чудесное летнее солнце я выдаю за унылую луну? Нет, па...— Она пересела ближе к нему, на краешек свободного стула, прикоснулась пальцем к его руке.— Нет, па, ты всегда будешь смотреть на меня, как на ребенка. Не обманывай себя. Я уже взрослая. Па, я ведь знаю, что и тебя и меня выбили из колеи,— добавила она шепотом с покаянным дрожанием губ в полуулыбке.— Прости меня и маму. Хотя мы обе не виноваты. Но ты прости...

Она опустила голову, и ему стало тягостно и жалко ее в этой всепонимающей покорности.

— Послушай, дочь,— он взял Викторию за подбородок, приподнял голову, заглянул в глаза, недавно отчужденные, хмурые, и увидел струистую грустную их глубину, такое знакомое выражение, какое бывало во взгляде молодой Марии, напоминающем теплую тень на траве.— Я хотел сказать, что в твоей жизни только началось утро. Что бы ни было, еще утро. Все пройдет, дочь.

— Нет, папа, я не гожусь для святых женщин-мучениц, таких, как мама!

— Как похожа на Марию, умопомрачительно похожа, особенно когда смотрит сбоку,— раздался голос Ильи, резковатый, излишне уверенный, и этим вмешательством, неприятным Васильеву, обрезал нить разговора между ними, прервал пронзающую фразу Виктории.

«Она сказала «таких святых, как мама»? Да может ли это быть? Что ж, Мария призналась Виктории, что еще со школы терпела мою дурацкую влюбленность много лет, а сама вынужденно несла крест? Значит, только один для нее был — Илья? Это, наверно, так!»

— Как она похожа на Марию,— повторил Илья громко.

Он стоял по другую сторону заставленного бутылками стола и держал в правой руке бокал с шампанским, в левой — зажженную сигарету. Его лицо с крупными каплями пота на висках выделялось мертвенной бледностью, какой-то задумчивой, наркотической пристальностью расширенных зрачков, устремленных на Викторию. Был он уже явно нетрезв, но пил шампанское и подливал его себе и гостям неумеренно, так же неумеренно курил

одну сигарету за другой, и эта его алчность после подчеркнуто строжайшего режима в еде, в курении, после полного воздержания от вина и даже слабых коктейлей при встречах в Венеции и здесь, в Москве, пугала Васильева разрушительной беспощадностью, словно он убивал установленное стоическое и рациональное в себе, что еще берег и расходовал по частицам вчера. Может быть, Илья предполагал иное свидание с матерью, и не растопленный его приездом холодок в душе Раисы Михайловны, ее не растворенная временем обида пошатнули в нем некую надежду, и теперь, казалось, он мстил своему наивному и несбывшемуся желанию.

— Овал лица, выражение глаз, голос — как все повторилось в твоей дочери, Владимир,— говорил между тем Илья, чуть покачиваясь с каблуков на носки и безжизненно улыбаясь.— Мой сын Рудольф ничем не похож на меня. То есть русского в нем — нуль. Педантичный: бережливый немец. Надеется торговать с Sovjetunion [1], но русский язык знает плохо. Зова крови никакого. Россия интересует как выгодный торговый партнер, Америка — как идеал, образец. Рудольф... Рудольф Рамзэн. Вот видишь, Владимир, и у меня сын. Но... в общем, какой смысл? Встречаемся мы раз в год. На рождество. Он равнодушен ко мне. Кровный след, как видишь, я на земле не оставил.

— Я как-то очень сегодня устала, папа. Мне пора. Я попрощаюсь с вами, Илья Петрович,— сказала Виктория и, поправляя волосы, отклонила голову, взяла сумочку со стула.— Завтра в котором часу самолет?

— Провожать не надо, прощания напоминают похороны,— сухо предупредил Илья и прищурился на Викторию сплошь черными, вспоминающими и неразмягченными глазами.— Вы сможете выполнить одну мою просьбу, Виктория?

— Конечно, если я в силах, Илья Петрович.

И, высосав шампанское из бокала, он ненасытно задохнулся сигаретой, в раздумывающей медлительности вышел на слегка шатких ногах в другую комнату и вернулся через минуту.

— Передайте маленький сувенир вашей матери, которая, к большому сожалению, плохо себя чувствует, как мне известно, и здесь быть не смогла,— сказал Илья с преувеличенной чопорностью и подал Виктории красную

---

[1] Советским Союзом *(нем.)*.

полированную коробочку, продолговатый ювелирный футляр.— Подарок куплен не в Италии, а в «Березке», на... как его... Кутузовском проспекте. Хочу надеяться, что выбранные мною серьги понравятся вашей матери. А это вам, Виктория. С робкой надеждой, что скромный презент понравится вам тоже,— добавил Илья, наклоном головы прося позволения до конца быть любезным и не отказывать ему, подавая вторую такую же полированную коробочку Виктории.

Она спросила быстро:

— А что здесь, Илья Петрович?

— Кулон. Авось не будете меня бранить.

Она, краснея, вопросительно промелькнула глазами по лицам отца и Ильи, раскрыла коробочку и тотчас потянула оттуда тончайшую цепочку кулона, приложила его к груди перед зеркалом, но сказала без особой радости:

— Очень женственно. Спасибо. Как тебе, па?

— Я не люблю подарков, Вика,— нашел нужным сказать Васильев и выговорил раздосадованно Илье: — Думаю, что ты достаточно разумный человек для того, чтобы понимать, что дорогие подарки двусмысленны. Зачем такие жесты, Илья?

— Не думал над этим, признаться.

— Владимир Алексеевич, помилуйте! — с сомнением выговорил и замычал выжатым упрекающим смешком Эдуард Аркадьевич.— Вы в высшей степени щепетильны и мнительны! Напрасно, напрасно! Мы сами создаем себе неудобства...

— И шут с ним! Что «напрасно»? — загрохотал Лопатин, вспылив неожиданно.— На каком основании мы должны друг перед другом раскавычивать цитаты хорошего тона! Хохот собачий! По-моему, Эдуард Аркадьевич, вы представили, что находитесь на приеме в некоем посольстве и у вас оторвалась пуговица в неподобающем и неудобном месте в момент вашего тоста!

— Позволю спросить, при чем посольство и почему в таких официальных обстоятельствах приняла участие пуговица?

— Пуговица в самый патетический момент вашего тоста с визгом оторвалась, проклятая, и упала в тарелку с ананасами.

— Какой ужас! — сказал Щеглов и схватился за голову, сделав испуганно-кислое лицо.— Ваше воображение, Александр Георгиевич, нарисовало потрясающую

картину брейгелевского свойства, но... мы с вами в гостях и, следовательно, должны...

— В данный момент никому ни копья не должен, хотя раньше и бывало! —гулко и нестеснительно забасил Лопатин, разъяренный чем-то.— Должен только одной строгой даме, вокруг которой вы давеча долго кокетничали и искокетничались вдрызг. Имя дамы — Правда, как вы изволили правильно догадаться, Эдуард Аркадьевич! Поэтому сейчас я должен отдать ей один из должков — кто у кого в гостях? Мы у господина Рамзэна или господин Рамзэн у нас?

Тогда Щеглов отозвался тоном колкой учтивости:

— Вы переступаете границы приличия, уважаемый Александр Георгиевич, врываетесь, так сказать, с ломом...

И Лопатин отчеканил со свирепой вежливостью:

— Я готов стать нарушителем границ светского тона, Эдуард Аркадьевич, для того чтобы еще раз задать вопрос господину Рамзэну. Кто у кого в гостях? Он у нас или мы у него?

А Илья, весь взмокший от пота, весь белый, как кость, не отвечал на вопрос, выкраивая пепельными губами узкую усмешку, в которой не было ни сопротивления, ни защиты, ни задетого самолюбия. Его лицо было недвижно, но эта усмешка распространяла вроде бы беспредельную усталость, тихую горечь всепрощающего сожаления.

— Нет,— неотчетливо выговорил Илья.— В гостях — я. Но я — чужой. Как, впрочем, все мы на земле. Чужие. Что касается до подарков, то они просто маленькие житейские радости. Возможно, мужчинам их не понять. И право, нет причины для волнений. Однако я не в силах отмести подозрения...

Его печальная усмешка, его слова, сказанные покойно, источали болезненную покорность судьбе, намекам чужого недоверия и вместе некую оцепеняющую силу грустного внушения, и видно было, как серые глаза Виктории наполнялись мягкой, искрящейся влагой, точно она извинялась перед Ильей за произнесенные здесь грубости. (Неужели за эти дни он приобрел такое влияние на нее?) Потом она оглянулась на Лопатина, взглядом призывая его отказаться от ненужных резкостей и подозрений, и сказала твердо:

— Я возьму подарки, папа. Со мной и с мамой ничего не случится. Спасибо большое, Илья Петрович.

Я передам маме.— Она придвинулась на шаг к нему, встала на цыпочки и очень серьезно поцеловала его в подбородок.— Провожать я вас не приеду. Вы этого не хотите. И хорошо. Потому до свидания. Кстати, жить чужой среди чужих лучше всего. Никто никого не знает. Никому до тебя нет дела. Хорошо. Жить, как киплинговская кошка, которая ходила сама по себе. Еще раз до свидания!

Илья с отяжеленным дыханием поцеловал ей руку, ноздри его сжались и разжались, как если бы он втянул запах оздоровляющего лекарства в тепле ее кожи, выговорил застревающим в горле шепотом:

— Прощайте, Виктория. Я сделаю все, что обещал.

— Почему «прощайте», Илья Петрович? Почему вы так грустно сказали?

Он промолчал, глядя ей в лицо. Она повторила:

— Почему «прощайте»?

— В моем возрасте никому не ведомо, проснешься ли утром здоровым,— насильственно бодро и вежливо объяснил Илья и, уронив голову в поклоне, промокая влажный лоб платком, напряженно-ровными шагами проводил Викторию в переднюю.

Когда же он вернулся в комнату и с видом вольности в мужском обществе расстегнул на все пуговицы пиджак, отпустил узел галстука, когда потер скомканным платком дрожащие пальцы, словно бы согревая их под этим платком, показалось, что весь он ледяной, мокрый под костюмом, и пот, покрывавший его лоб, его виски, был щекотно-холоден, а шампанское, которое он плеснул в бокал и отхлебнул, войдя в комнату, не в состоянии было растопить в нем что-то замороженное, сковавшее его.

— У тебя обаятельная дочь, Владимир,— проговорил Илья падтреснутым голосом.— Да, обаятельна и умна. Но по молодости не знает, что мир идет от плохого к худшему. Сейчас человеку плохо везде. Везде и всем. Ни у кого нет богов. И нет веры в себя. И в других... Все мы путешествуэм в пустоте, не зная куда и зачем.— Он замолчал и, силясь трезво держаться на ногах, обошел стол, с замедленной тщательностью долил бокалы, подчеркивая неуемное желание продолжать пить со всеми, и стал чокаться поочередно.— В последние годы я убиваю время чтением. Помню фразу одного русского писателя: «Будем пить на сломную голову!» Что касается до моего режима, Владимир,— прибавил он и недобро за-

смеялся, чокаясь с Васильевым особенно протяжно и значительно,— то придется расплачиваться по крупному счету. И наличными. Alles [1].

— Тогда остановись, Илья, ты это можешь,— сказал Васильев.

— Зачем? Не вижу смысла. Сегодня надо пить. Завтра — адью, аллес.

Да, этот переутомленный жизнью, серьезно больной человек не имел ничего общего с самим собой в навеки ушедшем прошлом, и все-таки связь эта была. Она была и в том, как он сказал о внешнем сходстве Виктории и Марии, и в том, как печально поцеловал руку его дочери, и в том, как, прощаясь, долго и вспоминающе глядел ей в лицо, наверное, находя повторенные чудом Марины черты, той Маши из неповторимой и прекрасной юности, когда он, Илья, был другим. Было похоже, что в Виктории, ее глазах, гибком голосе, ее улыбке он видел прежнюю молодую Марию и, быть может, в попытке вернуть лучшие свои годы, что-то оправдать, искупить, помочь, с чем-то проститься, готов был на неоправданное в его положении безумие, переворачивающее все в их взаимоотношениях.

— Я должен тебе сказать, Илья...— раздельно произнес Васильев и, сразу заискрившись гневом, договорил, с преодолением овладев собой: — Очень жаль, что так получилось. Очень жаль, но я попросил бы тебя оставить в покое Викторию... Думаю, что ты хорошо понимаешь, о чем я говорю. Мне не хотелось бы пакостить нашу «зарю туманной юности» и все то, что было тогда... Да, именно так. Поэтому разреши откланяться и пожелать тебе счастливого пути, Илья!

Васильев встал и прибавил необлегченно:

— Пожалуй, встречаться нам с тобой не имело никакого смысла. Мы многое испортили напрасно. А впрочем, так должно было быть...

— Подожди! — не разжимая зубов, крикнул шепотом Илья, и его лицо приобрело заостренное, жестокое выражение.— Подожди! — повторил он хриплым горловым выдохом.— Может быть, мы с тобой уже никогда не увидимся. Не торопись...

— О, владельцы истины! — вмешался Эдуард Аркадьевич и воздел подвижные руки в умиротворяющем недоумении.— О, два рыцаря истины! Научите, как

---

[1] Всё *(нем.)*.

жить? Как? И каким образом? Заграница — бяка, а мы — нàка? Но, друзья, вспомните о голубке мира бесподобного Пикассо!.. Где ей, драгоценной, вить гнездо? Есть ли для нее география? Виктория — та же чистая голубка...

— Опять прет пустозвонство! — оборвал, яростно засопев, Лопатин и с видом человека, потерявшего терпение, выставил огромный палец в сторону Эдуарда Аркадьевича, загремел оглушительно, не давая ему говорить: — В данных обстоятельствах ваше участие и ваша ирония так же необходимы, как заднице галоши в апрельский день!

— То есть как? Что за грубые выражения вы допускаете, многочтимый Александр Георгиевич? — тонко воскликнул Щеглов, объятый искренним возмущением.— Викторию я родственно люблю! Как вы можете?..

— Тем более — галоши не нужны!

— Вы позволяете себе неприличности барсука! — закричал Эдуард Аркадьевич и выказал короткий злой оскал, вмиг уничтоживший его светскую, игривую легкость, всю его расположенность к безнаказанным удовольствиям спора, но сейчас же он испуганно опомнился, точно злобным оскалом нечаянно позволил увидеть собственную физическую неполноценность, и поспешно привел лицо в порядок — с прискорбной иронией прыснул постанывающим визгливым смешком, поглядывая направо и налево, затем изящным и плавным жестом балетной кисти, омоложенной стерильной белизной манжеты и крупной запонкой, подхватил бокал со стола, произнес прешутливым тоном:

— Самый лаконичный тост, милые друзья: «Keine Probleme» [1]. Не в этом ли зарыта изюминка счастья?

Никто не отозвался ему; Лопатин хмыкнул в бороду с хмурым неодобрением, а Васильев смотрел на Эдуарда Аркадьевича, приятно размягченного, дружелюбного, приглашающего к миру, но еще видел недавнюю волчью улыбку, изменившую минуту назад его облик, и думал: «Где же его правда?» А Илья на прямых ногах стоял посреди комнаты, не выпуская бокала из подрагивающей руки, затягиваясь сигаретой, и взгляд его упирался в узоры ковра на полу, губы неповоротливо выталкивали отрывистые, угловатые фразы:

---

[1] Никаких проблем *(нем.)*.

— Пойми, Владимир, я не неволю Викторию. Не принуждаю. Я не предаю тебя, Владимир. Она сама... Ошибочно было бы думать... мне уже ничего... не надо...

В голосе Ильи была плоская, лишенная звуковой плоти стылость, по-прежнему безжизненно припаян был его взгляд к переплетенным узорам гостиничного ковра, и стекали извилистые струйки пота по его наклоненному лицу с пепельными обводами в запавших подглазьях. И хотя все слова различимо выговаривались им, но походило на то, что Илья молчал, не произносил ни звука, отчего стало жутко: он молчал даже тогда, когда отчетливо говорил,— он был как будто наедине с самим собою.

— Я не обвиняю тебя в предательстве,— сказал Васильев.

Илья не взглянул на него, только, мертвея глазами, присосался к бокалу с шампанским, оторвался не спеша и, не успев перевести дыхание, со всхлипом задохнулся дымом сигареты. Эта его манера — после каждого глотка затягиваться сигаретой, должно быть, намеренно смешивая алкоголь с дымом, поражала, и Васильев подумал, что, вероятно, когда-то, до болезни, Илья пил оглушающе, скверно.

— Я не обвиняю тебя в предательстве,— повторил Васильев.— Речь о другом...

— Речь о другом,— согласно и безразлично выговорил Илья и с вялой презрительной вопросительностью оглядел себя снизу — зимние ботинки с металлическими пряжками, серые брюки, выглаженные до безупречности, полосатый галстук,— оглядел, усмехнулся, чуть дернув землистой щекой, возвел не пропускающие вовнутрь ночные глаза на Щеглова, увлеченно счищающего кожуру с апельсина, и устало спросил: — Сколько вы прожили на свете, Эдуард Аркадьевич, простите, ради бога?

— Мало, Илья Петрович. По сравнению с Адамом невероятно мало,— ответил Щеглов и положил дольку апельсина в улыбнувшийся рот.— Адам прожил, коли не ошибаюсь, девятьсот шестьдесят лет, по библии... до грехопадения. Я — весь в грехах, ибо родился в конце прошлого века.

Илья длинной затяжкой вдохнул дым сигареты, запил его глотком шампанского, безучастно глядя на Щеглова, на испускающие сатанинские молнии стекла его очков.

— Вы боитесь смерти?

Эдуард Аркадьевич аппетитно дожевал дольку апельсина и, точно бы застигнутый врасплох, живо промокнул

салфеткой до гладкой чистоты выбритый, еще крепкий старческий подбородок.

— Какая разница, Илья Петрович,— раньше ли, позже ли. Раньше — обидно, разумеется. Позже — значит, на какую-то сотню вот таких вот вкуснейших апельсинов съешь больше. И, разумеется, больше нелепых пьес поставишь. А все же лучше позже. Собственно, чем дальше, тем ближе. Чем ближе, тем дальше... Смерть — обратная сторона бытия и наша тень, и пора привыкнуть, что мы носим ее в себе...

— Ложь и обман,— сухо проговорил Илья.— Вы прожили долгую жизнь, но вы панически боитесь смерти, как и все мы. Боитесь панически. Не так ли, Эдуард Аркадьевич?

— А если так? Что ж из того? Имеем ли мы право осуждать жизнелюбцев? — проговорил невинно Эдуард Аркадьевич и выверенным прикосновением ладони пригладил волосы, уложенные на лысине.— Можно ли до предела познать вкус жизни? Много ли Фаустов среди нас?

— Все мы рабы, трусы, пленники страха,— заговорил Илья, хмуро упираясь взглядом в узоры ковра под ногами.— Все свободы — придуманная видимость, мираж. Страх и свобода исключают друг друга. Есть одна великая свобода... когда человек становится над собой и над всеми богом. Абсолютная свобода. Но такого почти не бывает. За исключением...

— За каким исключением? — спросил Васильев, подгоняемый ударами сердца при этих чеканных и незаконченных словах Ильи.

— Героев и сумасшедших,— проговорил Илья коснеющим языком, с затруднением следуя за какой-то навязчивой мыслью, порой, видимо, ускользающей из сознания.— Человеку плохо везде. Sehr schlecht[1]. В эти дни я походил по Москве, как по музею,— по магазинам, по улицам... Рая нет. Унылый мировой стандарт. Почему в Москве так рабски подражают Западу? Кто-то у вас, как безумный, влюблен в чужой стиль .. в бездушный... гибельный пошлый стиль — и становится тошно. От архитектуры... Гаражи для людей... И смешно. И сойти с ума можно. Нет ни рая, ни родного угла... Послушай, Володя, есть ли начало времени и конец пространства? Ты думал об этом? О времени? Кажется, ты мне об этом говорил. Наверняка все наше прошлое — детство, наша

[1] Очень плохо *(нем.)*.

молодость — было вне времени. Не приходило в голову? А все другое... началось потом? Мне разрешили приехать... Я оказал некоторые услуги своей родине после войны, но какие все это пустяки. Возможно, мы пылинки в потоке мировой судьбы. Вселенной... Страшная штука жизнь... И великую печаль познал я... как царь Соломон. Пылинки, поток и... бессилие. Страшно не умереть. Страшно умирать. Можно оставить след, но можно и наследить, хуже всего — пустое место. Стра-ашно это — пу-устое место! Не думаете ли вы, что все человечество — подопытные кролики на земле и кто-то проводит с нами чудовищный эксперимент? Похожий на медленное приведение приговора в исполнение. Нет, не бог. Это сила выше бога. Послушай, Володя, мой старый друг. Все смертны, абсолютно все. И те, кого мы любим, и те, кто кого-нибудь любит. Не мы делаем выбор, а господин эксперимент. Лохматое, звездное, далекое... И всякому приходит час прощания. И прощения, если не проклятья. Выбор — самоопределение. Или — или. Кто внушает нам «или»? Стра-ашно. Это — пустое место. Не черная, не белая дыра во вселенной, а бездонная пустота... Проведен эксперимент, познано, на что способны люди,— и пустота... Лаборатория покинута. Удался опыт или не удался — не мы судим. На это разума не дано. Выбор, выбор... Жизнь или смерть — выбор. Кто внушает? Вселенная?.. Или несколько всесильных людей, которые хотят править миром?..

— Кажись, твой приятель — вдребодан,— сказал в мрачной задумчивости Лопатин, слушая Илью с чуткой серьезностью, как слушают бред душевнобольного, удивляясь одержимой его убежденности, по-видимому, соглашаясь и не соглашаясь с выводами его разгоряченного ума.— Но он говорит невероятные вещи, и у меня волосы становятся дыбом...

— Н-да, сколько людей, столько и истин,— согласитесь,— возразил Щеглов, не без грустного наслаждения купаясь в разъедающей кислоте чужой мысли.— Просто он говорит нетривиальные вещи, Александр Георгиевич.

— Нам пора уходить,— сказал Васильев, чувствуя вползающий в грудь жутковатый холод от рассуждений Ильи, которые все так же чудились ему молчанием, хотя он явственно воспринимал смысл его слов и это новое, не произносимое им раньше обращение: «Послушай, Володя, мой старый друг». А Илья неподвижно смотрел себе под ноги на эти нелепо асимметричные узоры ковра,

и светлые ниточки пота стекали по бритым щекам, губы шевелились, в его опущенной руке осыпала пепел на отглаженные брюки докуренная до фильтра сигарета, и что-то больное, одинокое, необратимое было в облике Ильи, то, чего не хотел видеть и знать Васильев, что окончательно, бесследно уничтожало их общую юность, которую он не мог представить без непоколебимой веры в счастливую судьбу и веселой, самонадеянной силы Ильи,— и тогда Васильев проговорил громче: — Нам надо идти, Илья. Пожалуй, тебе стоит отдохнуть перед полетом. Я позвоню утром.

В тот момент, когда они начали отодвигать стулья, подыматься из-за стола, выходить в переднюю, где висели их пальто, Илья не двинулся с места, ни словом, ни жестом не остановил никого, только поднял голову и проводил всех неочнувшимися глазами, затем лицо его дрогнуло, перекосилось, как от ужаса, увиденного вблизи, но тут же он напряженно выпрямился, с усилием прочно поставил опорожненный бокал на стол и, почти не шатаясь, вышел в переднюю, чтобы проводить гостей.

И была неприятная минута, когда гости молчаливо одевались.

В эту минуту он ждал сбоку зеркала, спаянно стиснув челюсти, будто теперь нельзя было разжать их для произнесения нескольких слов напоследок, морщины в углах полуприкрытых век мелкими лучиками суживались, казалось, от съедающего его, задавленного внутри страдания или надвигающейся тоски (останется здесь один в огромном номере со своим безысходным, казнящим молчанием, которое уже не заглушить словами),— и Васильев, еще не надевая шапку, протянул руку, сказал хмурясь:

— До завтра. Я позвоню.

— Не звони, Володя, тебе позвонят,— выговорил Илья, еле раздвигая непослушные губы, и морщины в углах глаз задрожали заметнее.— Мы с тобой не поцеловались, когда я приехал,— добавил он, виновато и жалко усмехаясь, и шагнул к Васильеву, не совсем уверенный, очевидно, что они могут проститься не так, как встретились.— Хочу тебе сказать на прощание... Может быть, в последний раз...

— Ты уверен, что мы не увидимся?

— Хочу сказать, что ты не можешь мне простить сорок третий,— опять еле разлепил губы Илья, и голос его опал, увяз в хриплом шепоте: — Но тогда было тоже «или — или»... Тот самый выбор... Господин экспери-

мент... Или Лазарев, или я. Одну пулю я пожалел только для себя... Ты это хотел знать. А теперь прощай, Володя. Мы больше не увидимся.

— Прощай, Илья. Все возможно на этом свете.

— Не все, Володя, не все.

Васильев не любил мужских поцелуев, и они неловко качнулись друг к другу, однако не поцеловались, а коротко, неудобно прижались щеками, и это прикосновение мертвецки-ледяного, влажного от пота лица Ильи позднее долго и мучительно помнил Васильев. Он ощущал эту холодную влагу и когда в машине Лопатина подвозили Щеглова к театру, и когда ехали до мастерской, и когда, расставаясь, Лопатин густо покашлял, вздыхая, потеребил бороду, пробормотал в сожалеющем раздумье: «Экземпля-ар очень не простой, понимаешь ли ты, леший его возьми»,— и затем в окружившей его привычной, родной тесноте мастерской, ноевым ковчегом поплывшей в вечерней тишине вместе со стеллажами, мольбертом и пейзажами, утром расставленными по двум стенам и забыто неубранными, глядевшими нежной золотистостью предзакатного покоя на вершинах берез, ранним солнцем розового зимнего утра, прощальной оголенностью поздней осени...

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

В десятом часу утра Васильеву позвонили из гостиницы и после неоднократного уточнения фамилии, имени и отчества сказали, что на его имя от господина Рамзэна оставлено письмо, за которым очень просят поторопиться приехать, ибо есть обстоятельства, требующие некоторых незамедлительных формальностей при передаче корреспонденции под расписку. Когда Васильев услышал этот незнакомый воспитанный голос, объясняющий интонациями витиеватой обходительности причину его желательного и немедленного приезда в гостиницу (голос явно всего не договаривал), он без сомнения понял, что дело, конечно же, не в официальном вручении оставленного на его имя письма, а в чем-то другом, и поэтому выразил непонимание наивным вопросом: что, в конце концов, случилось и с кем имеет честь говорить? Воспитанный голос представился администратором гостиницы, даже поклонником искусства, для которого лестно познакомиться с известным художником и лично встретить

его в вестибюле гостиницы, чтобы оказать посильное внимание и содействие.

«Что-то произошло с Ильей, и, видимо, я должен там быть и помочь ему как-то»,— сообразил Васильев, покрываясь испариной волнения, и повесил трубку с растерянной поспешностью человека, не способного побороть влекущую остроту возможного недоразумения.

Вчера вечером Илья решительно отказался от провожания в аэропорт, более того — просил не обременяться утомительными звонками по телефону, самолет же рейсом на Рим вылетал в одиннадцать сорок, стало быть, выехав из гостиницы за час до посадки, он должен быть сейчас в Шереметьеве. Но почему до отъезда в аэропорт он не послал письмо обычным почтовым путем, почему оставил его администратору и почему, наконец, создал некую таинственность вокруг своего отъезда?

В вагоне метро всю дорогу до центра и потом, уже поднявшись на площадь, утреннюю, солнечную, весеннюю, слепящую лучами в лужах, стеклами троллейбусов, горячими бликами нескончаемо шелестящей автомобильной вереницы, он думал о преувеличенной вежливости в интонациях администратора, по всей видимости, не сказавшего главного, уведшего в сторону льстивыми словами о любви к искусству,— и неспокойно сжимало сердце в ожидании этого непредполагаемого письма Ильи, который разрешил себе вчера многое после долгого воздержания и строгого режима, связанного с его болезнью.

Возникшее предощущение чего-то необычного, изменившегося в гостинице за ночь по причине вчерашнего дурмана обострилось у Васильева, как только он вошел в вестибюль, и здесь навстречу повернулись настороженные глаза белокурого портье за стойкой, и слева по ковровой дорожке заспешил наперерез, излучая заученную любезность, маленький лысый человек, одетый в черный, с жилеткой, застегнутый на брюшке костюм, вероятно, тот самый администратор, звонивший по телефону, и, с приятным достоинством представляясь, но не подавая руки, предупредительно показал по направлению лестницы и лифта, заговорил учтивым, воркующим тенором:

— Спасибо, что вы приехали, Владимир Алексеевич. Прошу вас в номер господина Рамзэна. С вашего разрешения, я вас провожу. Как хотите? На лифте? По лестнице?..

— Не все ли равно,— сказал Васильев, помня, что вчера взбирались с Лопатиным по лестнице на второй

этаж, и все же не понимая, зачем надо подыматься в номер Ильи, судя по времени, пустой из-за его отъезда в аэропорт, и спросил в полушутку:

— Вы хотите торжественно вручить мне письмо в номере, где проживал господин Рамзин?

— Господин Рамзэн? — вкрадчиво внес поправку администратор, и широкая лысина его порозовела.— Вы сказали «Рамзин»?

— Ах да, да, именно так: господин Рамзэн,— поправился Васильев.— Да, Рамзэн, конечно.

Этот маленький лысый человек четко всходил по лестнице, прочно неся свое солидное брюшко, двигая энергично, деловито локтями, но в коридоре, па втором этаже, неподалеку от номера Ильи, круглое лицо его мигом начало отчуждаться, брови вползли на лоб в осуждающем изумлении, и с силой суровой неподкупности он проговорил у массивной двери, берясь за медную ручку:

— Оч-чень удивлен, оч-чень...

И, встав как-то боком, неприступно наклонив голову, пропустил вперед Васильева, но за ним в номер не последовал, исполненный надменной почтительности, закрыл из коридора громоздкую дверь,— и вдруг сдавливающим безмолвием беды дохнуло на Васильева здесь, в передней, когда он увидел на вешалке серое пальто и шляпу Ильи, когда ощутил горький перегар сигарет, несвежий запах вчерашней еды, кисловатую терпкость разлитого вина, когда ему бросился в глаза большой неубранный стол, блюда с остатками заливных и винегретов, непочатые бутылки шампанского в судках с растаявшим льдом и порожние бутылки, неопрятно торчащие меж чистых приборов, салфеток в кольцах и нетронутых закусок (вчера был заказан обед, пожалуй, персон на двадцать), когда увидел двух незнакомых людей в комнате, разом взглянувших на него одинаково ощупывающими недоверчивыми взорами. Один из них, пожилой, с сухим, морщинистым лицом, перекинув пальто через спинку кресла, однако не сняв фетровую шляпу, выпрямленно сидел у края стола, барабанил прокуренными пальцами по белевшему на открытой папке листку бумаги, на две трети исписанному, сбоку папки лежала многоцветная автоматическая ручка. Второй человек — довольно молодой, высокий, в легком весеннем плаще, хорошо причесанный, внешностью своей похожий на способного работника посольства, обернувшись на пороге другой комнаты, по-видимому спальни, вглядел в нахмуренное

лицо Васильева (сам Васильев ощутил нервный озноб от этого бесцеремонного на себе внимания), сказал официально, бесстрастно:

— Вы — художник Васильев Владимир Алексеевич? Мы вас побеспокоили, простите уж за необходимую формальность. Сядьте, пожалуйста. Садитесь, садитесь, Владимир Алексеевич! — приказал он, мимоходом пододвинув стул, прошел по ковру до конца стола, где постукивал пальцами сухолицый, там сделал поворот кругом, совсем по-балетному мотнул полами светлого плаща и, приближаясь на упругих ногах и точно издали вползая изучающими зрачками в глаза Васильева, неизвестно зачем севшего на стул против двери спальни, проговорил вполголоса:

— Известно, Владимир Алексеевич, вы были другом или... старым знакомым господина Рамзэна? Дело в том, что...

Дверь спальни была открыта, и оттуда цепеняще вытекала бездыханная тишина, и, прежде чем услышать все, что должен был сказать этот молодой человек, Васильев почувствовал, что из раскрытой двери спальни веет ему в лицо чужим запахом смерти, внепредельным запахом высушенной пустыни, что там, в соседней комнате, на спине лежит Илья, уже никуда не спешащий — ни в аэропорт, ни к рейсу самолета, сразу переменивший для себя и смысл и цель весеннего погожего утра, мартовской капели за окном, яркого синего неба над мокрыми крышами Москвы, живой, далекой от этого номера и от всего того, чего Васильев еще не понял внятно из загадочного разговора с администратором. И хотя Васильев видел в открытую дверь спальни лишь часть большого трюмо и откинутую крышку неуложенного чемодана на подставке, край постели и смятой простыни, опущенной углом к полу, он не сомневался, не обманывался надеждой, возможностью ошибки,— ему знаком был запах смерти в доме — серый, сухой, всюду проникающий запах, может быть, самого воздуха, вещей, предметов, одежды умершего, но вместе и чего-то другого, материального и бесплотного, распространенный сигнал тревоги, предупреждения, напоминания о кратком земном сроке и едином конце...

— Вы хотите сказать, что господин Рамзэн умер? — проговорил Васильев деревянным голосом.— И вы хотите сказать, что пригласили меня... чтобы передать мне письмо покойного. Так это?

Молодой человек снова сделал поворот кругом, крылоподобно взмахнув полами кремового плаща, и допрашивающие зрачки его снова стали вползать в глаза Васильева.

— Я не хочу сказать, а обязан,— поправил он Васильева переламывающим тоном неоспоримой истины.— Обязан сказать, что господин Рамзэн не умер естественной смертью, а убил себя.

— То есть... как убил?

— Пройдите за мной, Владимир Алексеевич,— предложил молодой человек, с медлительной подозрительностью все вкалываясь зрачками в Васильева, и тот машинально встал, плохо слыша подталкивающие его слова: — Нет, не в спальню, а в ванную, прошу вас...

Он не успел сообразить, почему его приглашают в ванную, но впереди зашуршал, загородил дверь спальни кремовый плащ, задвигался и возник в окружении белого кафеля, никелированных кранов и громадных зеркал с матовыми полочками, на которых куда-то вкось мелькнули, сместились флакончики лосьона, туалетной воды, одеколона, зубная паста, незакрытый бритвенный прибор, этот плащ мгновенно продвинулся мимо зеркал и полочек, потом из смещающегося сияния зеркал, фаянсовых раковин и кафеля чужой недоверяющий голос сказал какую-то полуутвердительную фразу относительно странных способов самоубийств,— и то, что открылось Васильеву, было ужасающим в своей неожиданности и своей совершившейся бесповоротности, как бесповоротен всегда самый тайный и самый решительный акт человеческой смерти. Но то, что увидел Васильев в ванной, было не Ильей и в то же время было им, потому что человек, погруженный по грудь в стоячую бурую воду, будто спал, чуть откинув голову в тихом покое, усталости и изнеможении, лицо потеряло жесткость черт, нервность вчерашнего возбуждения нетрезвого Ильи, мягко разгладилось, успокоилось, седые волосы свесились мальчишеским колечком на лоб, и лицо что-то вернуло себе из той давней юной мужественной красоты Ильи, кумира школы и зацепского Замоскворечья, и тут заметил Васильев, что от света матового плафона, продолжавшего гореть в ванной, тень его некрепко сомкнутых ресниц слабой полосой лежала под веками.

«Зачем тебе, Ильюшка, такие ресницы? Отдал бы кому-нибудь из девочек...» — вспомнил Васильев шутливо-вызывающие слова Маши, сказанные ею еще в счастливом

тумане детства, от которого ничего отчетливого в облике Ильи не было ни вчера, ни при встрече в Венеции, а сейчас знакомо проступало,— и, вспомнив, внезапно увидел на кафеле широкий веерообразный след засохшей крови, невольно с мутным головокружением поискал глазами по ванной комнате, наткнулся на измазанную красными затеками опасную бритву, валявшуюся у стены на полу. И до физического ощущения явственно представил, что́ сделал этой бритвой Илья, напустив воду в ванну, как тугим фонтаном брызгала кровь из вен на кафельную стену, на лезвие и как, обожженный болью, он отшвырнул ненужную уже бритву и опустил руки в воду, ожидая последнее, закинув голову, закрыв глаза...

— Бритва,— охрипло сказал Васильев и наклонился, чтобы поднять острое поблескивающее орудие, которым убил себя Илья, но тут же его сильно отбросило от стены натренированное плечо молодого человека, едва не сбившего его с ног и резким толчком, и властной командой:

— Наза-ад! Не трогать! Вы что — с ума сошли?

— Не понимаю, что вы...

— Потом поймете. Прошу за мной в спальню! — волевым голосом приказал молодой человек, и его светлый плащ зашуршал, колыхнулся вперед в распахнутой двери из ванной в спальню.

Здесь громоздкое, на половину стены, трюмо (стиля купеческого ампира), кое-где попорченное желтизной, с поразительной ясностью отражало часть комнаты, разобранную двухспальную постель, отброшенный к ногам скомканный конверт пододеяльника, помятую подушку — постель, которую лишь мельком увидел Васильев, до подробностей вообразив, как одиноко лежал на ней голый Илья в крайние минуты, думая, прощаясь с миром перед тем, как пойти в ванную.

У изголовья на тумбочке, неаккуратно залитой пятнами, клейкими на вид, осыпанной пеплом, стояла порожняя бутылка из-под шампанского, возвышались грудой окурки в пепельнице и валялась пустая пачка «Сэлем».

Молодой человек, не задерживаясь подле кровати, приблизился к туалетному столу, внимательно склонился там, после чего кивком хорошо причесанной головы подозвал Васильева, спросил с веской загадочностью:

— Его почерк на газете? Узнаете? У кого же он просил прощения? У вас, Владимир Алексеевич? Посмотрите...

Васильев посмотрел.

Это была газета «Вечерняя Москва», купленная, надо полагать, Ильей в гостиничном киоске, развернутая на столе, наверно, прочитанная или приготовленная для чтения или, может быть, подстеленная с иной целью, но остро и неестественно кололо глаза вверху на просвете полосы сжатое молящее слово, дважды написанное нетвердым почерком: «Простите!», «Простите!». Оно, это слово, впивалось в сознание тайной своей необходимости, сложностью и простотой нераспознанной цели, необъяснимостью движения предсмертной мысли Ильи, оно проникало в грудь щекочущим холодом смертельного острия. И Васильев спросил, вспыхивая раздражением против веской уверенности молодого человека:

— Почему вы считаете, что Илья Петрович Рамзин должен был просить прощения у меня?

— Потому что письмо покойного адресовано лично вам, Владимир Алексеевич,— произнес молодой человек с нерушимым достоинством справедливости, исключающей ошибку, и с вкрадчивой плавностью отвернул полосу газеты на столе, прикрывавшей незаклеенный конверт.— Письмо предназначено вам, Владимир Алексеевич, поэтому мы вынуждены были побеспокоить вас, оторвать, так сказать, от творческого процесса, от создания полотен, воспевающих трудовой...

— Вы не из бывших критиков? — желчно перебил Васильев, задетый фальшивой фразой молодого человека.— А то похоже, что вы цитируете свои статьи о современной живописи. Я могу взять с собой письмо?

— Нет. Прошу прочитать его здесь.

— Насколько я понимаю,— передернулся Васильев,— оно предназначено мне. Но я его взять не могу, а содержание вам уже известно?

— Разумеется. Я обязан был ознакомиться с ним по роду сложившихся... неординарных обстоятельств. Мы не на коктейль сюда приехали, Владимир Алексеевич,— добавил властно молодой человек и, глядя в лицо Васильеву, сам подал ему конверт.— Прошу вас здесь ознакомиться с содержанием письма покойного и, пожалуйста, оставить его нам до конца расследования... Надеюсь, вы разумный человек и понимаете, что в жизни бывает всякое и даже вены иногда вскрывают не своей рукой и не по своей воле... Пока мы в исканиях, так сказать, истины. Но мы найдем ее, уверяю вас.

— Я, видимо, не разумный человек,— сказал Васильев неприязненно и отошел к лампе, горевшей на краю стола, стал спиной к молодому человеку, чтобы тот не видел его лица и дрожи пальцев, когда он взял мелко исписанный лист бумаги.

«Дорогой Володя!

Прости меня за уход, подобный уходу Сенеки. Но так проще и легче. Мой бывший друг, позаботься только о единственном — чтобы меня похоронили на каком-нибудь московском кладбище, и прости за тягостные хлопоты, которые доставляю. Я хочу (зачеркнуто) здесь, даже если Рудольф (зачеркнуто) потребует через посольство. Итальянцы очень уважительно относятся к покойникам и могут не разрешить.

Все мы трагично одиноки на этом свете и все смертны. Везде ужасно (зачеркнуто)...

Мне никто не может помочь — ни деньги, ни женщина, ни твоя дружба, Володя.

Я был честолюбив, но судьба не была милосердной. Никакого следа я не оставил после себя на земле. Только прошлое было прекрасно — наш двор, школа, моя дружба с тобой, юность, которой уже нет и не будет во веки веков. Наверное, на том свете я не узнаю ни тебя, ни Марию. Да что там будет, в бесплотности?

Что бы ни было, мы неразлучимы перед вечностью, и я, мой единственный друг Володя, не отрекаюсь от прошлого, от нашей молодости.

Не знаю, чего люди больше достойны — жалости или ненависти, но Лазарев был моим роком, и я был вынужден (зачеркнуто), чтобы выжить в плену. На том свете объяснимся. Я ему не простил и мертвому.

Поцелуй Марию и скажи ей, что она напрасно избегала встреч со мной в Москве. Я так ее и не увидел. Прости и за Викторию. Я исповедуюсь, и я прошу отпущения грехов.

Наверное, когда-то мне нравилась Мария. И не знаю, что было бы между нами, если бы я не попал в плен. Мою покойную жену звали Марта Зайгель. Она любила меня без памяти, как любят сумасшедшие. Марта была горбуньей, святая, с глазами печальной мадонны.

Проснуться бы в другом мире летним солнечным утром и все начать сначала. Впрочем, это сентиментальная чепуха.

Жаль мне, мой старый друг Володя, что и ты, талантливый человек, к сожалению, не купаешься в лучах счастья. А есть ли оно вообще?

Finis [1], ничего не поделаешь, мой друг! В моей бутылке кончилось шампанское, а было так легко писать. Кончаю. Мне все ясно... Вот он, последний выбор, который я мог сделать.

Не орудие ли человек в чьих-то руках? Кто производит над нами безумный эксперимент? Кто хочет над нами власти?

Простите! Простите! Простите!

Сейчас 3 часа ночи.

Думаю, что мама, железная женщина, спокойно отнесется к моему уходу. Бог милосерден. Одно меня мучит... Адью!

Ваш многогрешный *Илья*».

Он три раза подряд прочитал письмо Ильи, который убил себя, оказывается, глубокой ночью, а теперь лежал там, в ванной, по грудь погруженный в окрашенную его кровью воду, и уже не мог ответить на главный вопрос: «Зачем?» Нет, никакие предсмертные объяснения никогда не помогали этому вечному «зачем», и Васильев опять представил, как несколько часов ворочался вот здесь на постели Илья, обдумывая целую жизнь и уходящие мгновения своей жизни перед приближающимся концом, сомневаясь вдруг, покрываясь весь липким потом, пережив последние, оставшиеся на один вдох секунды. И, отвергая слабость колебания, трусость, обвинял и убеждал себя решиться на все завершающий, сполна все оплачивающий шаг, после которого хлынет из пропасти тьма, навсегда смыв сомнения и муки короткой, будто ожог, болью. Он представлял, как, решившись, Илья лежа наливал и пил шампанское вот из этого бокала, сохранившего следы капель, может быть, разговаривал вслух и вслух прочитывал фразы, лихорадочно курил одну сигарету за другой, изредка взглядывая вокруг и в страхе встречая слева в зеркальной пустыне чье-то худое, без единой кровинки чужое лицо, уже приговоренное к смерти, уже обреченное. Вероятно, он вздрагивал, не узнавал свое лицо, вставал и всматривался в каждую морщинку, в глубь глаз, холодея на краю бездны, дышав-

---

[1] Конец (*лат.*).

шей темнотой, зло смеясь над вползавшим в душу ужасом, потом разделся полностью, и, прежде чем пойти в ванную, пустить воду, приготовить и осмотреть острие бритвы, он, обнаженный, точно для казни в Древнем Риме, упал спиной на постель, глядя в высокий лепной потолок, серовато-пыльный от времени и прекрасный обыденной простотой, закрывавший влажное небо весенней ночи...

Умел ли Илья плакать? Так ли это было? Почему он, Васильев, видел последние часы Ильи именно такими?

— Я попросил бы вас, Владимир Алексеевич, ответить на несколько необходимых вопросов. Если это, конечно, вас не затруднит... Скажите, пожалуйста, вчера, кроме вас и вашей дочери Виктории Владимировны, в гостях у господина Рамзэна были еще двое — режиссер Эдуард Аркадьевич Щеглов и художник Александр Георгиевич Лопатин?

— Что? Да. Именно так. Были, были...— пробормотал Васильев, слыша вскользь натянуто-вежливый голос молодого человека, в то же время не в силах избавиться от завораживающего желания вглядеться в зловещую свидетельскую глубину зеркала, как если бы отпечаталось там среди недвижных отражений кровати и стены и могло всплыть из другого серебристого мира бескровное, почти незнакомое лицо Ильи, еще живое, искаженное презрением к себе или терпением страдания в тот момент, когда надо было сделать первый и последний шаг к двери ванной. «Так вот еще почему занавешивают зеркала в доме умершего»,— возникло в сознании Васильева, и он, не отдавая себе отчета в том, что делает, шагнул вплотную к зеркалу, так, что оно запотело от дыхания, глянул на отражение двухспальной кровати со смятой постелью, щекой ощутил морозный ветерок сбоку, из распахнутой двери ванной, где лежал сейчас Илья, положил конверт с письмом на туалетный столик и вышел в соседнюю комнату, по-весеннему свободно и тепло залитую солнцем, по сравнению с затемненной спальней, просторную, подобную даже какому-то веселому банкетному залу.

— Вы меня спросили... что вы меня спросили?..— поморщился Васильев, садясь в кресло, ощущая заболевший затылок, который просверливали тупые штопорки.

— Я не мог не задать вам вопрос: кто был вчера вместе с вами в гостях у господина Рамзэна? Ваша дочь, режиссер Щеглов и художник Лопатин?

— Да,— сказал Васильев, охваченный безразличием и физической усталостью.— Но, собственно, зачем же спрашивать, если вы это хорошо знаете?

— Владимир Алексеевич, вам придется потерпеть и постараться ответить на формальные вопросы,— проговорил с холодной мягкостью молодой человек, подчеркивая слово «придется», и опустился на подлокотник кресла напротив Васильева, отвел полу легкого плаща, достал из кармана пиджака ронсоновскую зажигалку, закурил и уважительно показал сигаретой на узколицего морщинистого человека за столом.— И на некоторые вопросы моего коллеги, необходимые для уточнения деталей.

Узколицый пожилой человек закончил выжидательно барабанить по столу и неохотно заговорил ржавым, вероятно, от курения голосом — стал уточнять, в котором часу пришли и ушли гости из номера, все ли ушли вместе или кто-то остался, быть может, вернулся назад, не было ли телефонных звонков господину Рамзэну в часы застолья; и голос его глуховато скрипел, колющей жестяной паутиной окутывал Васильева, и Васильев отвечал механически, угнетаемый этой скрупулезностью подробных и запоздалых расспросов, мучимый тупой болью в затылке (он знал, когда появлялась такая боль), и видел, как то и дело нацеливалась костлявым пальцем автоматическая ручка и текучие строчки гусеницами извивались по листу бумаги, расползаясь сверху вниз ровными аккуратными абзацами, плотными квадратами, целыми полкàми жирных голубых гусениц, заполняя белый прямоугольник неисчислимыми легионами слов, проясняющими, выявляющими и уточняющими то, что оставшимися в живых никогда не будет ни объяснено, ни выявлено, ни уточнено.

«Ничто это не поможет и не откроет истину»,— думал Васильев, испытывая тоскливое ощущение духоты, а узколицый все тем же тоном беспристрастной справедливости продолжал спрашивать его, записывал ответы, шелестел бумагой, делал значительные паузы, изредка бросал строгий взгляд тускло-зеленых глаз в проем открытых дверей спальни, как бы утверждая исключительность случившегося и серьезную необходимость заданного вопроса, и оправлял при этом узел толсто завязанного галстука.

Иногда же он скрещивал руки на груди, прекратив запись, однообразно улыбаясь, но тусклый свет не уходил

из его недоверчивых глаз, направленных прямо в лоб Васильева, и тогда Васильев подавляя раздражение против служебной скрупулезной подозрительности, выработанной для себя этим человеком, замолкал или отвечал кратко, сквозь зубы, готовый взорваться, вспылить от протокольных, ничего не проясняющих в сути дела вопросов, бессмысленных после письма Ильи, и наконец, не выдержав, сказал с нескрываемой досадой:

— Не кажется ли вам, что мои ответы ничего не добавляют к тому, что случилось? Все это напрасно. Вы ошибаетесь, если думаете, что можете найти у меня ключ ко всем замкам. К сожалению, это не так.

Молодой человек в светлом плаще неслышно посмеялся, дыша дымом, глядя в потолок ясным взором, сказал:

— Ключик, говорите?

— Н-да, ключ... Еще один вопрос, Владимир Алексеевич,— проговорил узколицый настоятельно и покатал бугорки желваков на впалых щеках...— Покойный господин Рамзэн был итальянским подданным русского происхождения, как известно. В своем письме перед смертью, адресованном вам... и на газете, не без цели оставленной им на туалетном столе, то есть на видном месте, им два раза написано русское слово «простите» с восклицательным знаком. Не можете ли вы сказать, что его беспокоило? Не было ли какой-нибудь размолвки или ссоры вчера?

— Размолвка или ссора? Была,— сухо ответил Васильев.— Но это из другой области и ничего вам не объяснит.

Узколицый выразил бровями повышенное внимание:

— Была? Размолвка? Какого порядка?

— Я не нахожу нужным говорить о том, что не имеет прямого отношения к самоубийству,— сказал Васильев, и по тому, как сердитым рывком поднялся с подлокотника кресла молодой человек в плаще, круто ввинчивая в пепельницу докуренную сигарету, по тому, как забарабанил пальцами по столу и косо посмотрел узколицый его коллега, он понял, что им обоим поручено расследовать обстоятельства и причину смерти иностранца, стало быть, независимо ни от чего они будут задавать вопросы до тех пор, пока не убедятся в истинности аргументации, доскональной и обязательной для выяснения дела. Оба они, конечно, не могли знать всю сложность его взаимоотношений с Ильей, весь их длинный путь от школьных довоенных дней до вчерашнего обеда, когда Илья (лишь

сейчас многое приобретало логичность) начал убивать себя тем неограниченным питьем шампанского и курением и тем погружением во внутреннее молчание, замеченное вчера Васильевым. Он, видимо, уже держал в сознании принятое решение, иначе не было бы того прощания и неловкого поцелуя Ильи, вернее, мужского прикосновения щекой при расставании навеки. Нет, такое нельзя было никому объяснить, кроме одного не испорченного ничем Лопатина; как его не хватало в эти минуты, вдвоем им было бы легче и яснее осознать каждую фразу Ильи, произнесенную вчера, за несколько часов перед смертью. Но Васильев чувствовал ту самую непознаваемую решимость самоубийц и ту непознаваемость их воли, которой обладал Илья, будучи сильнее и упрямее других.

И Васильев сказал ровным голосом безмерно уставшего человека:

— Я вспомнил... и подумал... «Пусть погибнет весь мир, но восторжествует юстиция»... Как хорошо знать истину... Но ведь страшно и смешно — кому и для кого нужна истина, если ее торжество образует пропасть... между людьми... Я не хочу, чтобы кого-нибудь без причины подозревали. Вы же видите, что здесь произошло. Здесь не убийство. Я больше ничего не могу добавить.

— Вы нелюбезны, Владимир Алексеевич, я не очень вас понимаю,— полуупреком выговорил молодой человек в кремовом плаще и, мелко вздохнув, опустил свои ясные пытливые глаза.— Перед вами здесь был представитель посольства Италии, и все может быть не так, как вы думаете... Вы не хотите отвечать на наши вопросы, кое-что уточнить?

— Разве главное в том, что я вам скажу? Я не знаю главного. Никто не может знать о жизни и смерти главного.

— Тогда я попрошу вас письменно объяснить, что происходило вчера вот в этом номере.

— И вы считаете — тогда восторжествует истина?

— Я прошу вас. Очень прошу.

Все сверкало, сияло, шелестело шинами проносившихся по площади машин, вдоль бульвара вспыхивали, играли зеркальными зайчиками стекла троллейбусов, роняя фейерверочные искры с проводов, и космато разбрызги-

валось по лужам мартовское солнце, и всюду сладко пахло весной, талым снегом, теплой влагой воздуха, и подымался парок от мокрых тротуаров, усыпанных колотым льдом, и дымился кое-где подсыхающий на солнцепеке асфальт площади. А в центре, как всегда, оживленно шли, двигались толпы прохожих, уже одетых не по-зимнему, уже многие в легоньких пальто, уже многие без шапок; и оживленно между двух подошедших интуристских автобусов, зашипевших тормозами, повалила к подъезду гостиницы разноцветная заграничная толпа в шуршащих куртках и длиннокозырьковых каскетках, с пестрыми дорожными сумками, с фотоаппаратами, и Васильева окружил иностранный говор, нестеснительный смех, мимо скользили довольные, сытые, невнимательные взгляды, поплыл запах чужого приторно-горького лосьона, чужой помады, он услышал знакомое слово «яволь», сначала иглой вонзенное в память, потом закачавшееся в солнечном зное подобно остроконечному красному поплавку. И тогда подумалось ему, что «яволь» — это война, немцы, жара на Украине, лейтенантское звание, их юность с Ильей и тот неравный ночной бой на железнодорожном переезде, последние еще счастливые перед пленом и роковые часы Ильи, который лежал сейчас вот в этой гостинице, куда направлялись немцы, в своем номере на втором этаже, в освещенной всю ночь матовыми плафонами ванной, погруженный по грудь в кроваво-бурую воду, закончив все тяжбы с жизнью, любимцем которой он должен был быть и не стал... Но кто знает, где именно была его гибельная вина и когда все это началось? В замоскворецком детстве? Или летом сорок третьего? Там, у переезда, когда оставили орудия и возвращались, а он, взбешенный, берег в пистолете три пули — две для Лазарева, одну для себя? Этого никто точно не знает. Самое главное было то, что ушел из жизни Илья — тот юный, сильный, решительный, подчиняющий горячим и опасным блеском своих черных насмешливых глаз, и другой Илья, измученный жизнью, больной, разочарованный, не желающий больше ничего желать...

«Понимаю ли я, что произошло? Отломилась часть моей жизни? Без Ильи я не могу представить ни нашего детства, ни войны, ни молодости...»

И Васильев не видел ни синеющей глубины неба над площадью, ни слепящих брызг солнца в лужах, ни капели на улицах, ни хаоса толпы, этого весеннего и неудер-

жимого калейдоскопа пробудившегося от зимы большого города. Он вошел в автоматную будку на углу гостиницы, весело звеневшую под отвесно хлещущими по ней струями с крыши, набрал номер Лопатина и с комком в горле, не слыша гудков, закрыв глаза, долго стоял в этом неистово-сумасшедшем шуме струй.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Через несколько дней в середине ночи он проснулся в своей мастерской от душного беспокойства, со стоном приподнялся на постели, упираясь затылком в стену, стараясь глубоким дыханием успокоить перебои сердца.

«Нет, этого я никогда не испытывал раньше,— думал Васильев.— Я просыпаюсь каждую ночь и места себе не нахожу. Но почему у меня не проходит это?.. Я был другим еще пять лет назад. Удобно жил и обманывался успехами, любовью Маши и нескончаемой любимой работой в мастерской. Как это было мучительно и радостно — искать красоту в лицах, в руках людей, в холодном серебре летней росы на придорожных лопухах, в осеннем воздухе, в снеге тихой синей ночи!.. И что же? Нашел? Так ответь себе, что такое красота? Правда? Обнаженная суть природы? Любовь? Страдание? В чем же она? И опять жалость ко всем и эта мука беспокойства, как будто мы потеряли что-то и не сознаем, зачем мы все нужны друг другу. Нет, не в этом суть. Каждый из нас хочет жить придуманной жизнью, и мы потеряли естественность. Мы все виноваты друг перед другом. Асфальтом задушили землю... Неужели это выбор двадцатого века? О, если бы мы смогли понять самих себя! Нет, я должен перестать думать сейчас об этом, я должен заснуть — и в этом спасение. Это тоже выбор — не думать. Где-то здесь, на ночной тумбочке, был димедрол, я положил вечером, и вода в стакане, принять еще одну таблетку и погрузиться в сон, в сон...»

Он с ожиданием успокоения нащупал на тумбочке таблетку димедрола и, запивая ее водой, трудно сделал глоток, затем лег на спину, чувствуя холодное онемелое пощипывание на языке, где была таблетка.

«Сейчас, сейчас будет легче...»

Спасительный сон не приходил, только властная сила потянула его назад, в недавний сырой, преддождевой

день, и там, в этом преддождевом дне, наступило некоторое облегчение, когда все прощальные процедуры были закончены и первым уехал присутствовавший при погребении молчаливый представитель итальянского посольства, а четыре парня-могильщика в расстегнутых куртках, вспотевшие, быстро завершили работу, подбросив лопатами откатившиеся комья к продолговатому земляному холмику, выросшему на окраине ржавых оград подмосковного кладбища. Они начали устанавливать венки, сухо, жестко шуршащие искусственными цветами, и Васильев отвернулся, чтобы не видеть их пошлого грима. А вокруг голые березы, уже набухающие соками, стояли в сиреневом тумане, и черные грачи с толстыми клювами хозяйственно ходили, переваливаясь, по мокрой прошлогодней пашне, и везде был рассеянный свет ранней весны — теплое солнце угадывалось за тучами, хотя собирался дождь, и пахло недавно растаявшим снегом, сырым воздухом. Только левее кладбища расчищалось — и в ослепительном мартовском небе над крышами недалекой деревни летели белые облака, грузно наполненные, надутые, как паруса, влажным ветром. «Надо это запомнить,— машинально мелькнуло у Васильева, и он тут же с неприязнью к себе подумал, что навсегда отравлен привычной работой памяти, которую ежедневно тренировал всю жизнь, до предела изощряя ее.— Нет, это неисправимое безумие — я смотрю на каждого, и мне кажется, что угадываю его мысли и запоминаю выражение глаз...»

Раиса Михайловна, два дня больная сердечной слабостью, сердито отвергла всякую помощь Марии, неизвестно чем жестоко обиженная, не захотела ехать на кладбище со всеми, попросила «оказать услугу» Викторию, приехала в ее сопровождении на такси, но из машины выйти не смогла, к ней подходили с соболезнованием поочередно. Видимо, ей не хватало сил, и в момент погребения, когда уже сбрасывали лопатами землю на крышку опущенного в коричневую щель гроба, она, не отпуская растерянную Викторию, сидела за закрытым стеклом на заднем сиденье. Там виднелось маленькое, безучастное, застывшее в гордой обиде гипсовое лицо, и клоунски нелепая черная шляпка моды тридцатых годов траурно выделялась на ее седых волосах. Она уехала, не сказав ни слова, и Виктория, повернувшись к заднему стеклу, делала всем какие-то непонятные, прощальные знаки, и брови ее изламывались, как от безмолвного пла-

ча и отчаяния. И, взглянув вслед, Васильев вспомнил ее слова, сказанные вчера в мастерской: «Па, прости меня за глупость, прости...»

Потом молча двинулись к машинам, оставленным на проселке за кладбищем. Лопатин открыл багажник своей потрепанной «Волги», достал полиэтиленовую канистру с дистиллированной водой, и они принялись мыть руки, измазанные липкой глиной, той горстью земли, которую каждый бросил в могилу.

— Свой срок, свой срок... Все там будем,— вздохнул Щеглов, промокая носовым платком пальцы, расстроенный, ошеломленный еще не остывшими подробностями смерти Ильи, гнетущей обстановкой морга, откуда брали тело покойного, замшелыми старыми крестами, покосившимися оградами запущенного кладбища на окраине Москвы, этого сельского погоста, где разрешили похоронить Илью. Щеглов с задумчивой скорбностью снял очки, беспричинно потер их о меховой борт печально молодящей его дубленки, пожевал губами, и впервые здесь, на чистом полевом воздухе, открылась старческая прозрачность, сухость его лица, жилистые складки шеи, немощные морщины близкого к небытию человека, которому давно за семьдесят, и голос его послышался неузнаваемо ослабленным, неживым, не сумев набрать обычную полнозвучную едкость, призывающую жить смеясь.

— Все грустно, грустно, и грустные для всех нас звоночки из вечности... Напоминание о том, что всем срок отпущенный дан. И там, в небесном списке, в один прекрасный день будет поставлен роковой крестик. Милостивый, пронеси, оставь меня здесь, глупого, грешного, влачить дни свои,— сказал он спустя минуту молитвенным и одновременно скептическим тоном облегчающей игры, очевидно страшась выказать то панически ужасающее перед неизбежным, что, против его воли, неожиданно обнаружилось в его лице.— Извините великодушно, друзья, но грандиозную штуку в прискорбный час вспомнил,— продолжал он, нарочито растягивая слова, сочно, неунывающе смакуя их, и надел очки, выразительно собрав морщины на лбу под надвинутым, тоже молодящим его, беретом.— Месяца три назад хоронили старого режиссера Серебровского на Новодевичьем. Все чинно, мирно, красивые эпитеты: «выдающийся», «незабвенный», «старейший». И прочая... А когда в конце все к воротам, думая о поминках, направились, ко мне подходит молодежь из его театра, здоровенные, знаете ли, бугаи и

кобылицы, и так это озабоченно спрашивают: «Ну, а ваше здоровье как?» Грандиозно и прелестно! М-м?..

— Это вы уже рассказывали. Нам что — следует улыбаться? — угрюмо проворчал Лопатин и прекратил тряпкой вытирать руки, покосился на Марию, задержавшуюся у могилы и торопливо раздававшую из сумки деньги четырем парням с лопатами.— Маша, лишнее! Хватит! Не развращай ребят, слышишь! С ними расплатились сполна и больше! — зарокотал он, укоризненно окая, и Васильеву особенно очевидно стало, что без энергии и помощи Лопатина невозможно было бы пройти через целый лабиринт разрешений и формальностей, согласований, бумаг и бумажек для того, чтобы похоронить в родной земле человека с иностранным паспортом.

— Странно, как странно...— шептала Мария, медленно подходя с опущенными глазами, и ее ресницы были тяжелые от слез.

Щеглов взял ее под локоть, слабо поцеловл в черную замшу перчатки около запястья и подвел к машине.

— Все странно, Машенька, на этом свете, все странно,— выговорил Эдуард Аркадьевич, потупясь, сокрушенно соучаствуя в скорбной растерянности Марии.— И странно то, родная, что после смерти человека его жизнь кажется простой штукой, как овечье «ме».

— А мне никогда этого не казалось,— возразил сумрачно Васильев.— Вы чушь, простите, сказали. Не понимаю вашего нелепого остроумия и вашего неуместного веселья.

— О, вы стали ужесными! Вы оба беспощадны ко мне! И вы, Александр Георгиевич, и вы, Владимир Алексеевич! Вы стали невыносимыми! — тонко взвизгнул Эдуард Аркадьевич и заморгал, задышал носом, всхлипнул совсем по-младенчески, обиженно (этого с ним прежде никогда не случалось, вроде все подпорки в нем разом сломались) и, сгорбленный, тряся головой, отчего оскорбленными кивками мотался на его голове широкий берет, на ощупь схватился за ручку дверцы лопатинской машины, тщетно силясь открыть ее, и повторяя слезными, упрекающими выкриками: — Скорее, скорее, прочь отсюда! Я прошу отвезти меня домой... Боже, мое веселье! Веселье человека, которому невесело жить! Вы оба меня не любите!.. Вы меня ненавидите... и это чудовищно несправедливо! Я прошу вас уважать хотя бы мою старость!..

Но главное, оставшееся в памяти Васильева, был не этот нервный срыв Эдуарда Аркадьевича, а то, что потом

вспоминал все эти дни в мельчайших до боли подробностях.

Едва они успокоили Эдуарда Аркадьевича, сели в машины и тронулись, пришлось тотчас съехать с проселка на обочину, освобождая дорогу пешей похоронной процессии, которая направлялась к кладбищу со стороны деревни.

Их шло по дороге человек десять, и мерно покачивалось впереди что-то узкое, красное, сначала напоминавшее полусвернутое знамя, но затем ясно стало, что это несли красную крышку гроба, непривычно маленького, младенческого. И следом за крышкой тихой раскачкой шагал невысокий парень без пальто, в новом стального цвета костюме, очень белая свернутая простыня была перекинута через его плечо, а на этой повязке он нес детский гробик, придерживая в изножье и изголовье, неотрывно глядя вниз, на то, что вплотную видел перед собой там, среди ангельски-снежного, то и дело заворачиваемого ветром покрывала. Сильный преддождевой ветер забрасывал светлые волосы парня ему на лицо, загораживая соломенной завесой,— и по тому, как шел он заведенной походкой потрясенного человека, Васильев ощутил все...

Дальше в молчании двигались толпой молодые люди с набитыми авоськами, с продуктовыми сумками, неизвестно для чего взятыми сюда на кладбище, и в центре толпы, утирая распущенным платком щеки, безголосо и по-дурному рыдала, задирая голову, покачиваясь, распухшая багровым лбом некрасивая молодая женщина, которую неловко вел под локоть пожилой мужчина в ватнике. Кто она была? Мать младенца? Родственница? Сестра парня?..

Они завернули налево, к краю кладбища, откуда отъехали и задержались на обочине, пропуская похоронную процессию. И Васильев вдруг испытал такую родственную, такую горькую близость с этим потрясенным светловолосым парнем, с этой некрасивой, дурно плачущей молодой женщиной, со всеми этими обремененными авоськами людьми на дороге, как если бы он и они знали друг друга тысячи лет, а после в гордыне, вражде, зависти предали, безжалостно забыли одноплеменное единокровие, родную простоту человечности...

— Что же это? — сказала Мария и, зажмурясь, прислонилась переносицей к скрещенным на руле рукам.— Какие мы все несчастные...

Он молчал, хмурясь. Потом она сказала, всматриваясь в его лицо:

— Господи, как я тебя люблю. Случись что... и я тоже умру...

И глаза ее лучились влажным теплом ему в глаза, вливались, струились выражением бесправной вины, тихого запоздалого покаяния, а он через силу стал целовать ее длинные брови, ее моргающие, соленые от слез ресницы, которые во время похорон он видел разительно черными, опущенными, набухшими, и охрипшим голосом говорил ей не то, что должен был сказать:

— Я не знаю, почему все так случилось, Маша.

Где-то рядом нарастало завывание мотора, прозвучал грубый сигнал объезжавшей их лопатинской машины, которая стремительно начала набирать скорость по проселку между полей, качая на заднем сиденье съёженную за стеклом, жалкую старческую фигурку Эдуарда Аркадьевича...

Голова была еще ясной, димедрол действовал слабо, и Васильев чувствовал неуловимый озноб ровной тоски, как и в тот печальный день, подавленный искренностью Марии, ее вырвавшимися в машине словами («Какие мы все несчастные!») и ее робким, не улыбающимся сквозь слипшиеся ресницы взглядом, пытавшимся облегчить и поправить случившееся между ними, когда у обоих уже не было сил.

И в дрёме, откидывая на подушку голову, он подумал: «Наконец-то»,— и скоро забрезжило круглое, заросшее камышами лесное озеро, окруженное глухим лесом, но сплошь розовое в закатном свете, угасавшем над зубчатыми вершинами елей. Потом все вспыхнуло ярчайшим летним утром в уральском городке (куда он увез ее), и почему-то снизу (будто плыл под ними) он видел мокрые доски купальни, голубые щели, пронизанные сверху припекающим солнцем, а ласковая, светлая до гальки вода хлюпала, обмывала еще прохладные, заплесневелые бархатной зеленью мостки, и пахло чистой рекой и сочными прогретыми лугами... И, оказывается, все это летнее, утреннее было радостно связано с Марией, с ее загорелым, крепким телом, пахнущим солнцем и свежестью купальни. Но было жаль, что его возвращение в то послевоенное лето промелькнуло так быстротечно, обманчиво, как обманчива была прозрачная тающая

глубина в ее, казалось, озябших от долгого купания глазах, когда она лежала в траве и, кусая губы, глядела мимо него в высокую синеву неба, а он навсегда запомнил запах ее шоколадных плеч в сенокосном аромате млеющей травы, влажный, речной вкус ее губ и ее невнятный шепот: «Зачем же, зачем?..» И это издали возникшее слово цепочкой стало вращаться впереди, опускаться в зыбкую пустоту, и нечто расплывчатое, темное тревожно плавало там на черных крыльях перед глазами. А он хотел понять, откуда пришла сейчас мешающая мысль, зачем она так навязчиво повторялась, неспокойно выскальзывая из тьмы и ускользая во тьму целой фразой, которую ловила и запоминала его память:

«Мы несчастны, потому что видим только поверхностный слой жизни...»

«Кто и когда сказал эту фразу? Щеглов? Илья? Лопатин? Кто недавно говорил о смысле жизни?» — хотел сообразить Васильев во сне и в то же время чутко наблюдая себя со стороны в этом зыбко окутывающем его сновидении.

И он увидел маленький старинный городок с бело-розовыми стенами древней крепости, с башнями, с лазоревой рекой вокруг стен и деревянным мостом на окраине, под которым четко стояли в воде нежнейшие облака, городок весь полевой, со сладким деревенским воздухом, обещающим радость, любовь, покой, безмятежное наслаждение простой жизни. С ощущением томительного блаженства он чувствовал этот чудесный, ничем не тронутый городок, куда приехал зачем-то, и до необыкновенной ясности видел его силуэт, купы садов, мирные крыши, купола над рекой, видел и одновременно спал на гостиничной кровати в большом провинциальном номере, пропахшем тесовыми полами, и думал с тихим восторгом:

«Как хорошо вечно жить в таком городке, в такой любвеобильной тишине и несуетливом покое. Но мне придется уехать отсюда, увозя чувство милого прошлого, молодой любви, тоски по такой вот русской реке, теплому небу и белым облакам, по вот этому существующему где-то блаженству... ведь здесь сама явь радости».

Затем очень громко раздался стук двери, послышались грузные шаги в соседнем номере, шорох одежды, похожий на вязкий шелест прорезиненного плаща, и через стену проникло мученическое, хриплое мычание вместе с бегающими шагами незнакомого человека.

«Скорее, скорее, скорее!..» — вскрикивал он горловым голосом, и явно было, что человек за стеной сходит с ума, мечется по номеру, тяжелый, неодолимый, лохматый, в плаще, в сапогах, отбрасывая на своем пути мебель, мычит по-звериному, обуреваемый каким-то неистребимым проклятьем: то ли любовью, то ли страхом, то ли преступлением.

И внезапно почудилось: все смолкло там, а кто-то стоит в комнате Васильева у изголовья его кровати, уже раздетый, в одном сереющем в темноте нижнем белье, стоит напряженной плоской тенью, чтобы сделать затаенное, страшное с кем-то другим, кто еле различимым силуэтом вошел следом в номер (как они попали сюда сквозь закрытую на ключ дверь?), и Васильев, охолонутый ужасом, не поворачивая головы, не открывая глаз, четко видел рядом этого плоского человека у самого своего изголовья, его длинное сереющее тело, его по-лошадиному длинное, без губ и глаз лицо — затемненное удлиненное пятно с выражением немой угрозы.

Ему надо было подняться немедля. Ему надо было молниеносно вскочить на кровати, чтобы предупредить чудовищное, нечеловеческое преступление, что готовилось произойти здесь с ним, но мутная дьявольская сила сдавила его, и он не смог даже шелохнуться, перевести дыхание.

Когда же, наконец, как в обморочном дурмане, с ватным, застревающим криком: «Кто здесь?» — он рванулся на постели, ожидая увидеть у изголовья человека и подробно разглядеть его безглазое, безгубое лицо, в номере никого не было. Везде — ночной сумрак. И, придвинутая к изголовью его кровати, пусто темнела чья-то вторая кровать. И ползли тени по углам клубящимся туманом...

«Слава богу, это только приснилось мне,— весь облитый потом, подумал Васильев, сознавая, что во сне видел второй сон, который был продолжением чьей-то всплывшей из памяти фразы, не имеющей никакой связи с маленьким бело-розовым городком, его стенами древних крепостей, радостными облаками в реке и длинной фигурой человека без лица у своего изголовья в номере гостиницы,— запомнить, хочу запомнить этот сон? Но где же тут разумное? — продолжал он думать во сне, ворочая голову на овлажненной пóтом подушке.— Кто объяснит, почему так безумны, так тяжелы были его шаги за стеной, его мычащие вскрики не то угрозы, не то страда-

ния, резиновый отвратительный шелест его плаща! Я боялся помочь ему, он был чужим мне, значит, я виноват перед ним. Но кто он, человек с темным пятном вместо лица,— мой враг, убийца, преступник или святой, нераспознанный брат? Ведь мы должны знать друг друга, ведь мы одинаково бессильны перед смертью... Только раз в степи я испытал чувство, равное бессмертию,— веяние полынного ветра, блеск солнца, трава, тысячелетние сухие запахи, безлюдье — и ты как трава вокруг, обласканная солнцем... И только блаженное ощущение, что именно ты травинка этой травы или одинокий теплый камень на холме, частичка прекрасного мира,— и вся философия. Да, вот оно, счастье: и мне тогда хотелось сделать этот выбор. Но был ли он по мне? Я искал другой смысл во всем. И зачем? Не искушение ли — с моим человеческим бессилием познать тайну правды и красоты времени? Не отсюда ли эта повторяющаяся у меня мука вины, тоска и сожаление о том, что весь мир висит на волоске, что исчезает что-то главное? Что исчезает? Доброта? Вера? Доверие и жалость друг к другу? Нет, не красота спасет мир, а правда равной неизбежности и понимания человеческой хрупкости каждого. Всех. Не сила, а трагическая слабость всех перед смертью. И здесь ничто не поможет. Ни талант, ни слава, ни положение. Ничто. Илья сделал свой выбор в сорок третьем году, чтобы выжить... А я после войны выбрал свой путь в искусстве к вершинам тщеславия через смирение: работать, работать, работать. Как одержимому. Значит, я был трудолюбив и удачлив — это что, счастье? Смысл моей жизни? А что же есть смерть? Самоисчерпаемость? Нет, Илья не исчерпал себя... Неужели смерть — тоже выбор, опыт вселенской силы, которая проводит свой эксперимент над человечеством и мешает познать истинный смысл жизни? О чем я? О чем я думаю, что я хочу осознать и объяснить? Имею ли я право? Я сплю и понимаю, что думаю во сне и переступаю какую-то роковую грань, за которой начинается бездна... Вот отчего мне душно и хочется плакать, а нет слез, и горько как-то давит... Что я хочу понять? Сделанный Ильей выбор? Марию? Викторию? Себя? — думал Васильев с закрытыми глазами, зная, что мысли были сновидением и вместе такими реальными, осязаемыми, как будто он плыл в поднебесном звездном пространстве ночи под контролем чужого, наблюдательного и жестокого разума, не дающего ему полного забытья.— И все-

таки я хочу понять: есть ли единый смысл жизни? И есть ли единый смысл смерти? Неужели я хочу понять что-то запредельное, мистическое, непознаваемое? Нет, не волю придуманного бога, а высшую силу вселенной, ее разумную энергию, что, может быть, проводит над нами опыты, как убежден был Илья. Неужели она обманывает нас и правдой, и ложью, глупой надеждой на вечное здоровье, на помилование смертью и испытывает даже умопомраченной любовью... И развивает общность духа. Так ли это? Но если все так, то нет единого смысла жизни и нет единого смысла смерти. Значит, на земле тысячи смыслов и тысячи выборов — и что же тогда? Может быть, поэтому я замечал, как логична и красива ложь и как неуклюжа, нелогична правда. Но невозможно согласиться с этим и невозможно сделать выбор второй моей юности и второй моей судьбы, потому что это единственное и началось давно в другой сказочной жизни на другой счастливой планете, где был прекрасный смысл всего мира — в бессмертии фиолетовых студеных вечеров в Замоскворечье и юной бессмертной прелести Марии...»

Но тогда, очень и очень давно, была зима, непроглядные бураны, заносы на трамвайных линиях, жесточайшая стужа, а он томительно подолгу ждал ее вечерами возле деревянных ворот, космато залепленных многодневной метелью, часами мерз на углу в переулке, который из конца в конец сумеречно синел огромными сугробами, и сыпалась, сверкала изморозь в конусах света фонарей. Она, улыбаясь ему, сияя глазами, выходила в белой меховой шапке из дома, царственно брала его за руку, и они бежали по красным квадратам окон своего заснеженного переулка, добегали до Шлюзовой набережной, окутанной морозным паром, катались на заледенелых дорожках вдоль тротуаров близ маленьких магазинов и угловой аптеки на Зацепе, изнутри всегда желтеющей мерзлыми стеклами, сплошь обросшими алмазно переливающимся инеем.

Он помнил, как в этой игре она останавливалась перед ним, по-мальчишески возбужденная, и, смеясь, тянула его к мерцающей ледком раскатанной полосе, с задором предлагая:

— Ты разбегись и попробуй на одной ноге. Ужасно хорошо! Или я разбегусь, а ты стань в конце дорожки, чтоб я не упала!

И он ловил ее в конце дорожки, а она как бы в безгрешной игре весело падала, разбежавшись, прокатясь по льду, ему в объятия, хваталась за его плечи, пар их дыхания смешивался, и он чувствовал под пальто ее грудь упругими бугорками.

Раз в конце ледяной полоски, под самыми окнами аптеки, она с разбегу столкнулась с его грудью как-то особенно плотно и, вся отжимаясь, закинув голову, прикусила губы, а он тогда с туманным головокружением прошептал ей нечто отчаянное и нежное и испугался ее гнева, впервые в этой игре увидев, как исчезало смеющееся выражение на ее лице.

— Да? — пряча подбородок в мех воротника, переспросила она, в то же время ее глаза увеличивались, расширялись, в них блестящими запятыми стояло удивление.— Ты? Меня? Любишь?

До сих пор он до конца не мог объяснить причину той решительности Маши, почему она так вызывающе откинула нагретый дыханием мех воротника и подставила ему улыбающийся рот, говоря прерывающимся шепотом:

— Хорошо. Я согласна. Ты умеешь?

Он наклонился к ее поднятому в ожидании лицу, поцеловал робко и неуклюже влагу ее раздвинутых губ, а она с легкой капризной гримаской сказала еле слышно: «Я замерзла почему-то»,— и, поеживаясь, попросила проводить ее домой.

В молчании они дошли до освещенных фонарем ворот, забитых снегом, и здесь, не прощаясь, ничего не объясняя, она рукой в варежке потянула его во двор своего дома. Он послушно пошел за ней, и только у двери на втором этаже она зашептала, что мама из театра придет поздно, в квартире же по коридору надо идти на цыпочках, тихонько-тихонько, чтобы, упаси боже, плечом не задеть какой-нибудь дурацкий велосипед или глупое корыто соседей. Она осторожно открыла дверь английским ключом. И, оглядываясь с озорной таинственностью, приложив палец к губам, вскользнула первой в напитанную теплом печей полутьму коридора общей квартиры, по которому они воровски добрались до дверей ее комнаты. И тут, вторично щелкнув замочком, она втянула его в сплошную душистую темень, почти горячую с мороза, приятно повеявшую по лицу запахом духов, сладкой ковровой пыли.

— Раздевайся,— приказала она шепотом,

И волшебно вспыхнул свет в середине большого розоватого абажура, низко висевшего над столом, покрытым красной бархатной скатертью, и он тогда в первый раз увидел эту удивительную комнату, где она жила с матерью, актрисой московского театра. Все было здесь уютно, старинно, мягко, на полу лежал толстый ковер, пленительно поблескивала фарфоровая посуда за узорчатым стеклом буфета, и необыкновенной величины овальное зеркало висело меж темноватых картин на стене, отражало в своих манящих просторах туалетный столик (заставленный разнообразными флакончиками, костяными щеточками, пудреницами), приоткрытый книжный шкаф и половину широкой софы, зеленеющей бархатом, где удобно и как-то по-восточному покоились плюшевые подушки с лохматыми кисточками.

— А я вот здесь лежу, читаю и думаю,— сказала она, перехватив его взгляд, и с тихим смехом упала спиной на софу, свесив ноги, болтая неснятыми ботами.— Помоги же мне,— приказала она негромко и подозвала возбужденными глазами, осветившими его прихотью королевской власти.— Расстегни, пожалуйста, и сними боты, если ты рыцарь. Да не так, не так это надо делать, пусти меня, пожалуйста, неловкий какой! — проговорила она и капризно оттолкнула его.— Уходи немедленно, вот туда в кресло. Сиди и пока не смотри на меня. Возьми альбом, вон там на тумбочке. Он интересный, там всякие забавные актеры и актрисы двадцатых годов, с кем мама когда-то начинала. Все надутые какие-то и очень серьезные, будто все на Луну улетать собрались...

И он неловко утонул в кресле, чувствуя, что не может перебороть дрожь, сбивающую дыхание, взял с тумбочки увесистый, в бархатной отделке альбом, сурово звякнувший серебряной застежкой. Он наугад развернул альбом на коленях, неясно различая на добротных листах прочный, с золотым тиснением глянец фотографий,— солидные, бородатые, чистоплотно бритые лица, старинные сюртуки, белые бабочки под высокомерными подбородками, внушительные, дородные фигуры мужчин и женщин в буденновских шлемах на фоне неубранных декораций.

Туманно и невнимательно он глядел на фотографии и в те секунды, завороженно подчиняясь ей, опасался пошевелиться, взглянуть на нее, случайно увидеть, что она делает за туалетным столиком, а когда, наконец, услышал голос: «Пожалуйста, теперь можешь смотреть» —

и поднял голову, она подошла к нему, чуточку улыбаясь, уже успев сделать у столика что-то колдовское, женское: глаза стали еще больше, страшнее, загадочнее, мохнатые ресницы чернее. Он смотрел ей в глаза, ослепленный, а она продолжала улыбаться, проникая взглядом в глубину его зрачков, словно спрашивая этой длительной улыбкой: «Ну, что, правда, я красивая?»

— Иди сюда, оставь в покое дурацкий альбом и эти несносные декорации,— сказала она и, вытаскивая его за рукав из кресла, засмеялась, повлекла его за собой на ковер между покрытым бархатной скатерью круглым столом и изразцовой голландкой, от которой обволакивающей волной пахнуло сухое тепло.— Садись вот сюда, здесь будет отлично. Я ужасно люблю сидеть здесь на полу, греться у голландки и смотреть книги. Слушай, у меня есть одна противная книга. Я как-то нашла ее в мамином шкафу. Но там какие-то восточные гаремы и очень красивые женщины, просто красавицы. Интересно, скажи, какая тебе понравится? Ты не покраснеешь? — сказала она с пытливой насмешливостью, кинув ему книгу, и он под ее взглядом, едва удерживая дрожь зубов, начал осторожно листать гладкие, атласные страницы с цветными рисунками, которые были вклеены между текстом под папиросной бумагой. Кажется, это было описание на английском языке мусульманского Древнего Востока, его быта и нравов, и на иллюстрациях изображались беспечально богатые под лазурным небом дворцы, пальмы, танцы крутобедрых полунагих красавиц перед возлежащим на коврах соколиноглазым бородатым повелителем, ленивые позы томных молодых женщин с оленьими глазами, мечтательно и влюбленно разглядывающих в бирюзовой воде мраморного бассейна отражение узенького вечернего месяца.

— Ну и что же? Тебе кто-нибудь понравился из этих ста красавиц какого-то султана или шейха?

— Вот эта ничего... на ступеньках...— выговорил он, наверно, лишь для того, чтобы не показать жаркое оцепенение, овладевающее им, как дурманный июльский зной, как медовый яд, который она разрешала ему пить в своем присутствии.

— На ступеньках? Покажи, пожалуйста,— серьезно сказала она, на коленях подползла к нему, села рядом на ковре и, стыдливо заслонив глаза растопыренными пальцами, сквозь них совсем кратко взглянула на рисунок.— Глупость! Еще говорит — «ничего»! Что ты вообще

понимаешь в женской красоте! Оставь сейчас же книгу, это тебя развратит! Ты лучше — знаешь что? Ты хочешь меня поцеловать, но боишься? Да?

Она с веселой насмешкой выхватила у него книгу, захлопнула, бросила ее в сторону софы, и с замиранием он встретил ее глаза, распахнутые, огромные, как-то порочно очерненные ресницами; переливчатая радуга страшно приближалась к его зрачкам, и страшно приближались ее улыбающиеся губы, чуть вздрагивая нежными уголками.

Он и сейчас помнил упругую мягкость ее губ, сначала холодных с улицы, еще пахнущих свежим снегом, затем теплых, влажных, то разомкнутых, шевелящихся в скользком неутоленном соприкосновении, то непроницаемо сжатых, как будто в обморочном забытьи она пыталась вспомнить и сравнить что-то тайное, скрытое, неизвестное ему...

Потом она медленно легла спиной на ковер, ладонью закрыла глаза, сказала слабым шепотом:

— Обними меня так... Ложись же...

И на всю жизнь он запомнил, как лежали они на ковре подле голландки в той уютной, натопленной комнате, где овеивало пряными духами, старинной, тоже душистой пылью бархатной скатерти, свисавшей в тень из розоватого, мягчайшего света абажура, помнил, как у него и у нее стучали зубы, как они оба оглохли в пьяном тумане и уже не слышали ни звуков соседей за стенами, ни дальнего шума трамваев на Новокузнецкой, ни вечернего затишья метели, ни скрипучих шагов прохожих за окнами. Они оба, отделенные от земли, вжимаясь губами друг в друга, плыли в раскаленном и неоглядном звездном мраке вселенной, изнемогая в невозможной телесной близости, жаждая последнего, что должно было сейчас произойти между ними, но страх обоих и ее стыд обрывал, преграждал их сближение и мешал последнему...

И он в забытьи с ненасытностью впитывал в себя мучительный вкус ее губ, уже распухших, не утоляющих его, а она, обессиленная, изнеможенная его поцелуями, с жалобным стоном перевела дыхание, легонько потянула его руку к своему бедру, задохнувшимся шепотом попросила помочь ей расстегнуть жавшую на правом чулке застежку,— и этот шепот ее искристой пылью посыпался из черноты вселенной, золотой россыпью мелькнул над ними, и ему почудилось на миг — знойной силой понесло, повлекло их обоих в пылающий хаос на край пропа-

сти, где все кончалось, гибло во мраке и все начиналось заново в жарком светлом огне...

— Ну, что ж ты... что ж ты...

Он не знал, сам ли сумел расстегнуть застежку на ее чулке, шерстяном, плотном, еще немного хранившем холодок улицы; лишь впервые в жизни он увидел так близко женственную полноту ее обнаженного бедра и ощутил телесное тепло ее кожи, сразу покрывшейся мурашками, возбужденно озябшей.

— Ну что же ты... Ну, быстрей, быстрей! — повторяла она, и было в ее словах нетерпеливое, безумное разрешение, но когда он почувствовал ее тело, содрогнувшееся от тихого плача, обжигающего горячими слезами его подбородок, когда решился наконец посмотреть ей в лицо, она лежала, стиснув зубы, закрыв глаза, в ресницах ее стояли, накапливались слезы, скатывались по щекам.

А он, ошеломленный тем, что произошло между ним и ею, ее юной открытой наготой, уже не защищенной стыдом, от которого только что у обоих холодели в ознобе зубы, готовый ради мгновения быть с ней, пойти на любую казнь и тоже готовый плакать от незавершенной нежности, целовал ее маленькую грудь, чудилось, омытую летней прохладой утреннего леса, земляничной свежестью, наталкиваясь на ее ослабленно загораживающие пальцы, едва разбирая ее шепот, ветерком плывший из звездных бездн, и повторял с отчаянной свободой:

— Я люблю тебя, Маша...

— Если бы... если бы узнал Илья, что бы он подумал... Он удивился бы... Правда? Правда?

Вместе с ее голосом над ним окольной стороной проходили тугие порывы поднявшейся к ночи метели, ее хлопающий гул, ветер, ударявший по крышам, по стеклам снаружи, протяжный скрежет мерзлых ветвей во дворе, донесенные поверх заборов издали звонки трамваев, заблудившихся в снегу завьюженного замоскворецкого вечера. А его окутывало домашним жаром голландки, шерстяным запахом согретого ковра, на котором они лежали, в забытьи касаясь друг друга, и было ощущение, что он летит куда-то в бездонное сияние апрельского неба, обещающее вечную весну, бессмертие, любовь навсегда.

— Отпусти меня, отпусти. Я не могу больше. У меня губы уже не шевелятся...

— Маша, я люблю тебя... Ты понимаешь, как я люблю тебя?..

В полночь он вышел в ненастный переулок, мокро хлестнувший пресным холодом, колючестью вьюги по разгоряченному лицу. Фонари, опутываясь крутящимся дымом, горели белыми пятнами. Он взглянул на окно, розовеющее в снежном дыму, задернутое шторой, где сейчас оставалась она, и снова почувствовал такую ликующую нежностью к ней, такую растерянность между бедой и надеждой, такое свое радостное одиночество в окружении этих дымящихся сугробов, заснеженных заборов, мутных фонарей, что неожиданно перехватило дыхание в горле...

Она целую неделю не приходила в школу; но когда он увидел ее на перемене, она быстро отвернулась, лицо было бледным, измученным; немного погодя вызывающе откинув голову, она подошла к нему, сказала со смехом: «Здравствуй, Ромео, запомни, что никакого свидания с Джульеттой у тебя не было и никогда не будет. Надеюсь, ты благородный рыцарь и забыл все...»

Он ничего не мог забыть, и поэтому боль была долгой, жестокой, непроходящей, порой мучившей его даже на войне.

«Может быть, ради этой боли стоило родиться на свет... Нет, среди тысяч смыслов и выборов есть один — великий и вечный...»

И он застонал во сне, очнулся, открыл глаза, испытывая смутное состояние молодой, неизбывной радости, молодой надежды, той своей бесконечной влюбленности, похожей на счастливую гибель, и спазма сдавленных рыданий мешала ему дышать, как когда-то очень давно, в снежную и метельную полночь его далекой юности.

— Маша,— позвал он ее тихо из темноты, тускло отсвечивающей красками картин, и, не услышав ответа, зная, что ее нет здесь, проговорил шепотом: — Маша, я люблю тебя... Что же мне делать, Маша?..

Стояло глухое безмолвие в потемках мастерской.

За окном влажно шумел и шумел деревьями ветер, по карнизам звонким непрерывным дождем стучала весенняя капель, зеленая одинокая звезда дрожала на мокром стекле, и было три часа самого пустынного и безнадежного времени мартовской ночи.

1980

РАССКАЗЫ

НЕЗАБЫВАЕМОЕ

Лена ложится на краешек нар, укрывается шинелью и, согреваясь, думает в полудремоте: «Хорошо как! Никогда не знала, что так хорошо в землянке!»

Она только что вернулась из санроты, расположенной на берегу Днепра, долго плутала в осенних потемках, намерзлась на сыром ветру и лишь по трассам пулеметов, по окрику часового с трудом нашла землянку батареи.

Сжимаясь под шинелью, Лена закрывает глаза, и откуда-то выплывают дорога, лесистый берег, освещаемый фейерверком ракет, густо-черная вода у переправы, огоньки цигарок, раненые на носилках близ землянок санроты. Где-то в ночи рождается далекий свист, приближаясь и настигая. Снаряд с громом разрывается на берегу, косая стена воды подымается впереди, брызги летят Лене в лицо. «Переправу обстреливают. Но почему раненых не перевозят?» Второй снаряд разрывается в десяти метрах от носилок, и там кто-то кричит, стонет. И она бежит на этот крик, слыша отвратительно низкий звук падающего снаряда...

Лена вздрагивает и резко откидывает с головы шинель. В землянке тишина, нарушаемая странным стуком. Это задремал телефонист, и трубка ударяется о стол. Телефонист с усилием подымает голову и продувает трубку.

— «Волна», «Волна»,— говорит он, сонно прокашливаясь.— Я — «Дон»... Как слышишь? Поверочка... Что у вас там, кореши, радио или телефон? — Он вздыхает утомленно.— Ну как у вас... спокойно? Ракеты кидает?

Связист поправляет плавающий в плошке огонек и, зябко подышав, кладет голову на край стола.

В землянке душно, сыро и пахнет лежалой соломой. Вместе с Леной на нарах, прикрыв лицо фуражкой и не сняв ремни, спит командир батареи капитан Каштанов. На полу возле нар — Володя Серов, ординарец капитана. Огонь от свечи мягко бродит по его лицу. Оно разгла-

жено сном и кажется совсем юным. На лоб упал рыжий завиток волос, в нем запуталась былинка сена. Лена долго смотрит на его лицо и думает: «Что ему снится?» — и, улыбаясь, опять закрывает глаза.

Сквозь сон она слышит неясный шум, чей-то короткий возглас, похожий на команду, смутный говор и суматошный топот ног. Лена вскакивает. Она ничего не понимает после сна. Ни капитана, ни Володи в землянке уже нет. Телефонист, сгибаясь при каждом слове, надсадно кричит в трубку:

— Ясно! Ясно! Много? Не слышу тебя!

— Что? — быстро спрашивает Лена и привычно ищет сумку.— Началось?

— По-ошло,— бормочет с полуухмылкой телефонист, прислушиваясь. Он поглядывает на потолок землянки, который сильно трясется, и, потягиваясь всем телом, нервно зевает.— Пятые сутки контратакует,— говорит он.— Язви их душу. И не спят, поганое отродье, а? В Днепре хотят искупать!.. И всё танки пускает да бронетранспортеры... Хорошо бы, если бы в батарее четыре пушки, а то одна осталась, барановская... на плацдарме. Дела-а!..

Лена, торопясь, надевает шинель и выбегает из землянки. В траншее темно и холодно. С низины от Днепра дует пронизывающий влажный ветер. Он рвет и уносит звуки выстрелов. Острый запах земли, недавно смоченной дождем, наполняет окопы. Впереди, в вязких потемках, относимая ветром, взвивается белая точка немецкой ракеты и, упав возле самых окопов, горит, шипя, на земле ослепляющим костром. Где-то впереди тонко шьют автоматы. Взвизгивая, над окопами мелькают, обгоняя друг друга, трассы; разрывные пули глухо тюкают в бруствер, брызжут синими огоньками. И Лена, пригибаясь, отталкиваясь руками от стен траншеи, бежит вперед на высоту.

Впереди, на высоте, длинными очередями, содрогаясь, режет пулемет. При вспышках в красном огне лихорадочно мелькает край чьего-то лица.

Кто-то с руганью пробегает мимо, задев Лену автоматом за плечо.

— Баранов! Старший сержант Баранов!

При свете ракеты Лена видит ординарца капитана Володю Серова. Он оглядывается.

— Лена? — Он крепко сжимает ее локоть, едва переводя дыхание.— Ты куда?

— Атака? — стараясь говорить спокойно, спрашивает она.— Опять?

— Да, в атаку пошли! Совсем осатанели! — разгоряченно говорит Володя.— Фрицы связь с орудием перебили! Баранов! — кричит он в темноту.— Баранов!.. Быстро ко мне!

Неожиданно сверху кто-то прыгает в окоп. Это командир орудия Баранов. Он прерывисто дышит. От него удушающе пахнет табаком.

— Ну, ну? — резко спрашивает он.— Темень, леший ногу сломит! Не разберешь ни хрена! Ну?

— Четыре снаряда! — кричит Володя.— Транспортеры видел? По лощине обходят! Долбани!

Во вспышках ракет появляется и пропадает широкоскулое лицо Баранова. Оно точно отвердело.

— Все? — Баранов, тяжело перекидывая огромное тело, выскакивает на бруствер. Он стоит некоторое время, озираясь.— Обходят фрицы, что ли? — говорит он и медленно усмехается.— Ракет не жалеют!

Красные огоньки пуль струей проносятся перед темной головой Баранова.

— Пригнитесь! — кричит Лена сердито.— Что вы стоите?

— А, Лена! И ты тут? — говорит Баранов, только сейчас заметив ее.

И, не дожидаясь ответа, поворачивается, шагает в темень. Лене хочется крикнуть ему, чтобы он лег и пополз, но за бруствером уже не видно его, и она говорит возмущенно:

— Не понимаю, зачем рисковать? Ты тоже так ходишь — во весь рост? Это не геройство, а...

Володя что-то отвечает смеясь — не слышно: все тонет в разрывах. Они бегут по траншее. На высоте Лену ослепляют беспорядочные вспышки, в уши бьет автоматная трескотня. Сухое, почти неподвижное лицо капитана Каштанова дрожит в красных всплесках. Володя с размаху бросается грудью на бруствер и выкрикивает:

— Порядок, товарищ капитан! Ваше приказание выполнено!

И Лена видит, как трясется его плечо от длинных очередей.

Слева из темноты вылетает рвущийся сноп пламени. Все оборачиваются. В огневых взлетах появляются и исчезают вздрагивающее орудие на высоте, а в лощи-

не — черные тела бронетранспортеров и вставшие по скатам высоты силуэты — немцы.

— Это Баранов, товарищ капитан! — кричит Володя возбужденно.— Баранов прикурить дает!

Внезапно становится тихо. Только далеко, на правом фланге, без передышки трещат автоматы, торопливо взлетают ракеты.

Все молчат прислушиваясь. Из низины доносятся голоса немцев. Они, по-видимому, окапываются за высотой.

— Замолчали,— негромко говорит Володя.— Пять дисков как ветром сдуло... Еще приготовим, пожалуйста, милые, только спасибо не говорите! — И он вываливает из противогазной сумки в шапку автоматные патроны, готовясь набивать диски.

Капитан Каштанов говорит замедленно: «Та-ак»,— и, наклонившись ко дну окопа, прикрываясь шинелью, сосредоточенно чиркает зажигалкой. Огонь выхватывает черные, тесно сдвинутые брови. Володя рукавом шинели вытирает с лица пот.

Лена подходит к нему сзади, тихо говорит:

— Устал, товарищ ординарец? — и в голосе ее звучит ласковая усмешка.

Володя одной рукой обнимает ее.

— А ты еще здесь, санинструктор? — говорит он и весело улыбается.— Жуткое дело, как соскучился...

Лена строго:

— Товарищ старший сержант! — И испуганным шепотом: — Тише, капитан же рядом... Ты совсем уж... Володька!..

Володя весь разгорячен — ворот расстегнут, руки теплые, и Лене кажется, что в потемках у него светятся от недавнего возбуждения глаза.

— Ну как самочувствие? — еле слышно спрашивает Лена.

— Да ничего, Ленка,— шепотом отвечает он, прикасаясь горячей щекой к прохладным Лениным волосам.— Вот по тебе заскучал, целый день тебя не было... А ты как?

Она отстраняется, упираясь руками ему в грудь.

— Осторожней, Володька, капитан же.

— Да он не смотрит!.. У тебя руки холодные — боишься, что ли?

— Не думаю даже...

— Врешь, Ленка,— шепчет он, притягивая ее к себе.

— Ну, немножко,— соглашается она.

— За кого?
— Да за тебя же.
— Это ты оставь, Ленка.— Он сразу становится серьезным.— За меня нечего бояться.
— И оставлять нечего. Тоже ходишь, как Баранов, не пригибаясь.
Оба не видят, что капитан Каштанов сидит на дне окопа, курит и чуть усмехается, слыша рядом с собой шепот.
В ту же минуту впереди траншеи разрывают воздух пулеметные очереди, пули щелкают по брустверу. Тотчас откуда-то из лощины тугим звоном ударяют немецкие минометы. Мины с чавкающим звуком, с визгом рвутся над головой, сыплется земля, стучит по плащ-палаткам.
Володя и Лена вскакивают. Над высотой, где стоит орудие Баранова, рассвечивая потемки, веером летят толстые трассы. Видно, как трассы эти врезаются в землю перед щитом орудия и гаснут.
— Товарищ капитан, бронетранспортеры! — кричит Володя, ложась грудью на бруствер, щелкая затвором автомата.— Опять пошли! По орудию бьют!
— Спокойно,— говорит капитан Каштанов; он будто сейчас проснулся, и голос у него сонный и сиплый. Потом этот голос накаленно звенит: — Справа, по одному — кор-роткими!..
У Володи судорожно трясется плечо, и дико возникает во вспышках автомата красный блеск его зубов. Он что-то кричит и смеется.
И Лена смотрит на него, и ей неудержимо хочется стоять рядом с ним, стоять до тех пор, пока не кончится немецкая атака.
«Санинструктора!» — звучит в ушах Лены, но по привычке это часто кажется ей, и все-таки, оглянувшись на Володю, она идет по траншее, спрашивая:
— Товарищи, никто не ранен?
Во тьме ревут в низине бронетранспортеры, веера толстых трасс рассыпаются все ближе, и немецкие ракеты уже падают на огневую позицию и горят на брустверах орудийного дворика, и всем видны стоящие за щитом люди и самый высокий среди них — старший сержант Баранов.
— Товарищ капитан! Баранова вроде окружают! — доносится сзади голос Володи.— Видите?.. Слева заходят!
Бегло бьет орудие Баранова. Два разрыва, четыре разрыва — и тотчас орудие замолкает, и только рассы-

паются щелчки разрывных пуль, и слышно, как кричат бегущие к орудию немцы.

— Баранов! — пробивается чей-то сиплый зов из потемок.— Баранов!

Мины рвутся вокруг орудия.

— Санинструктора сюда! Где санинструктор? Санинструктора!

Лена озирается и бежит на крик.

И на бегу мельком видит страшное, перекошенное лицо капитана Каштанова. Он что-то командует, но смысл понять нельзя. Она видит его озверело раскрывающийся рот. Она улавливает одно слово:

— Впе-ред!..

По траншее, почти сбивая Лену с ног, бегут, выпрыгивают на бруствер люди, и тут в проходе, на который падает то свет, то темнота, она сталкивается с огромным солдатом. На руках он кого-то тащит.

— Кто такой? — хрипит солдат.— Где санинструктор?

— Я,— задыхается Лена.— Я, милый! Где раненый?

— Кто «я»? Не вижу! Ну-ка встань! — И, возбужденный, злой, шагает прямо на Лену.

— Я санинструктор! — внезапно сердито останавливает его Лена.— Давай же его! Куда ранен?

— Живой... да быстрей...— тише, но еще раздраженно и как бы с угрозой говорит солдат, точно не доверяя.

Она его не знает: он, вероятно, из пехоты.

Солдат этот крепко придерживает за спину обмякшего человека в плащ-палатке.

— Ну, притащил! — облегченно говорит солдат.— Метров двести нес! Нашего-то санинструктора... тоже была девчонка... Ну, Семен, будь, брат, здоров! Живи...

— Спасибо тебе,— вздыхает раненый.

— Не за что, брат. После войны за столом будешь говорить, ежели встретимся.

Они прощаются. И солдат поспешно уходит по траншее. Раненый сдавленно стонет, скользит руками по стене окопа.

— Держись за меня! Идем быстрей! — шепчет Лена.— В землянку, здесь недалеко!

В землянке по-прежнему горит свеча, но телефониста нет: он, видимо, наверху. Торопясь, она укладывает раненого на нары.

— Сейчас, мы сейчас, мы только перевяжем... и все будет в порядке.

Раненый молод, он еще совсем мальчик. У него блед-

ное до синевы лицо, побелевшие, искусанные губы плотно сжаты.

— Жжет...— Паренек еле разжимает губы.— Как железом жжет... насквозь будто меня в бедро...

Лена поспешно рвет на его животе окровавленную гимнастерку, расстегивает пуговицы.

— Не надо! — Перекосив лицо, паренек испуганно приподнимается.— Уйди, сестра! Стыдно мне...

Он прикрывает руками живот, где расплылось вязкое кровяное пятно.

— Чудной, я только перевяжу... Одну минуту, и все,— убеждает его Лена,— потерпи...

Наконец все сделано. Паренек скрипит зубами.

— Сестра, глотнуть бы!.. Жжет.

Лена торопливо шарит рукой по соломе, по полу, стараясь найти какую-нибудь оставшуюся солдатскую фляжку, и машинально повторяет шепотом:

— Потерпи, милый, потерпи.

А в полночь приходит капитан. Он, щурясь, долго оглядывает землянку. На нарах, на полу — раненые, а Лена сидит спиной к двери и не видит капитана. Тонкая спина ее согнута. Она положила подбородок на кулаки и слушает внимательно: раненый ей что-то рассказывает вполголоса.

— Лена,— капитан кашляет,— куда нам?

Лена оборачивается и встает с бледным, осунувшимся лицом. Она поднимает руки к груди и медленно, мелкими шагами, точно ноги у нее спутаны, подходит к капитану, глаза у нее широко раскрыты в ожидании.

— Что? — спрашивает она.

Капитан покашливает, и два солдата тихо вводят в землянку Володю, придерживая его, и капитан, не глядя на Лену, говорит:

— Перевязку...

Лена подходит ближе к Володе, и пуговичка на ее гимнастерке ходит то вверх, то вниз, а брови недоуменно дергаются. Повязка на глазах Володи набухла кровью. Он с неловкостью тянет к ней руку, но капитан, хмурясь, удерживает его.

— Володя, спо-кой-но.

— Товарищ капитан.— У Володи отрывистый, незнакомый голос.— Надо снять бинт, мешает.

— Товарищ кап...— И Лена осекается от удушья в горле.

— Лена? — с надеждой спрашивает Володя и опять тянется к повязке.— Лена, это ты? Вот хорошо. Надо снять бинт к черту!..

Лена тупо сжимает его руку. Ее лицо кажется неподвижным. Кровь капает ей на пальцы. Она горячая, а рука Володи холодная, как железо на морозе.

— Знаешь,— говорит Володя,— меня обожгло... Меня только ударило... Посмотри, что у меня? Совсем уж мелочь, чувствую — ожгло просто...

Лена молчит.

— Ничего, Володя, ничего... не опасно,— выдавливает она, как во сне, накладывая чистый бинт.

А Володя, стараясь улыбаться, говорит:

— Это пустяки. В голову ранило, кровью глаз залило!..

Она усаживает его на нары и безмолвно стоит возле. Капитан прислонился спиной к стене, прикрыв глаза, и будто дремлет. У него дрожит щека и сходятся и расходятся углом черные брови.

— Товарищ капитан,— сниженным голосом спрашивает кто-то из раненых,— как... наверху?

Капитан разлепляет веки.

— Как там? — снова спрашивает молодой парнишка, раненный в бедро.

— Стоим,— отвечает капитан,— три транспортера горят... Три транспортера,— громче добавляет он.

— Все как полагается! — неестественно оживленно говорит Володя.— Да, товарищ капитан, Баранов молодец.

— Лена.— Капитан манит ее пальцем.— Иди сюда... Володька, Володька,— вдруг глухо говорит капитан и, стиснув Володины плечи, порывисто обнимает и целует его.— Спасибо тебе... за все.

Капитан вышагивает из землянки, и Лена слышит: он покашливает у входа, ждет ее.

Лена осторожно, как пьяная, выходит вслед за ним. Она держится рукой за осклизлую стену траншеи, чтобы не упасть от слабости в ногах.

— Вот,— покашливает капитан,— так... Вот как с Володькой, а? Ты слышишь? Цены не было парню. Ну, вот что... Сейчас же за повозкой... В тыл по оврагу ближе. Раненых немедленно увезти. Никого больше не могу послать — такое время! Иду к Баранову,— добавляет капитан,— там снаряды привезли. Эх! Ну ладно, беги за повозкой! За ранеными присмотрят. Ты что молчишь?

Но Лена не может вымолвить ни слова.

— Погоди, погоди,— нахмуривается капитан.— А с Володькой вы что... дружили, что ли? — спрашивает он глуховато.

— Какое это имеет значение,— шепчет Лена.

Капитан задерживает дыхание, очень быстро говорит:

— Ну ладно... Иди.

Вокруг тихо. Неподалеку впереди, за высотой, светится красный отблеск, как от пожара, но нигде не взлетают ракеты. Лена спускается с бугра и идет по дну оврага в тыл за повозкой. Удушье сжимает ей горло, и давит, и выпирает все из груди. Лена напрягается и морщится, чтобы заплакать, но слез нет. И она, судорожно хватая ртом воздух, останавливается и с ужасом думает: «Неужели всё?»

И, кусая губы, проваливаясь в настиле мокрых опавших листьев, она бежит по оврагу.

— Ну вот, Володя, сейчас придет паром, и ты будешь в медсанбате,— говорит Лена и подымает ему воротник шинели.— Так лучше, а то ветер...

Володя лежит на носилках около землянок санроты на берегу Днепра. Вблизи носилок тлеет костер. На обуглившихся досках лениво ползают и гаснут фиолетовые огоньки. От Днепра несет осенним холодком. С косогора, из сырой рассветной мути, летят влажные листья. Они падают на огонь, шевелятся, как живые, и вспыхивают тихим желтым пламенем. На песке у воды стоит еще несколько носилок. Из землянок санитары выносят раненых, ждут парома с того берега. Днепр не виден в потемках, но когда далеко справа слабо мерцает край неба, то можно отличить черную воду от берега. Временами ветер сникает, становится тихо, и Лена слышит, как отрываются и планируют с деревьев листья. Один лист падает ей на рукав. Она тихонько снимает его и держит на ладони. Лист пахнет землей и тревожным запахом осени.

«Какой легкий лист!» — думает она.

— Они у нас в Воронеже лежали целыми кучами в саду, и как хорошо было по ним ходить...—говорит Лена,— они хрустят.

— А ты раздави этот,— ворочаясь, без улыбки советует Володя.— Тоже хрустнет.

— Зачем? — обиженно отвечает она и сдувает лист с ладони.— Не надо. Жалко.

Володя поеживается, его знобит.

— Что, Володя? — спрашивает она.

— Лена,— говорит он,— скоро паром?

— Сейчас, Володя. И потом в медсанбат. Немного осталось потерпеть.

— Лена,— повторяет Володя,— а ведь я... Ведь мы с тобой теперь...

Он приподымается на носилках, вбирает в себя воздух и снова ложится.

— Что? — спрашивает Лена.— Что ты хотел сказать?

— Ничего,— говорит он, стискивая зубы, и мучительно морщится не то от боли, не то от каких-то воспоминаний.

Лена поправляет его повязку, наклоняется к нему:

— О чем ты думаешь?

Володя не отвечает.

— Странный! Какой ты странный, Володя! О чем ты думаешь? — Лена гладит его шею и целует в подбородок.— Я верю, что мы еще увидимся...

Володя лежит молча.

— Ну, сестренка,— говорит кто-то над головой.— Пусти-ка. Дай-ка мы его возьмем — паром не ждет!

Рядом стоят два санитара. Они берут носилки и, кряхтя, несут их к парому в сопровождении Лены.

— Погодите, ребята.— Володя делает усилие приподняться, опираясь локтями, и голос его звучит сдавленным криком отчаяния: — Лена! Меня сейчас увезут... Я хотел сказать... не увижу я тебя больше! Жизни без тебя мне не будет, а не жалей ты меня, война ведь, Леночка, милая!..

Больше она ничего не может расслышать. Носилки грузят на паром, а она безмолвно идет к костру, и в ее ушах еще звенит мальчишески отчаянный вскрик Володи, пытающегося объяснить то, что не поддается никакому объяснению.

И вдруг Лене становится необыкновенно жарко, как тогда в овраге, так жарко, что пересыхает в горле и невозможно дышать. Она обессиленно садится у костра и, охватив колени, пряча в них лицо, горько и беззвучно плачет.

1948

ПОЗДНИМ ВЕЧЕРОМ

Тонко дребезжат стекла. Сквозь шум бурана слышно, как на дворе глухо хлопает калитка. Коля, весь напрягаясь, останавливает взгляд на окне, потом негромко говорит:

— Показалось... Я думал — мама, а это ветер. Ты, Миша, слышал, как загремело?

— Непогода какая...— Миша, послюнив палец, не сразу перелистывает страницу, с сосредоточенным видом наклоняется над книгой и прерывисто вздыхает: — Прямо не дождешься.

Колина мать работает врачом в степном районе, недалеко от города Актюбинска; каждое утро за ней приезжают сани из больницы, и дед Степан увозит ее до восьми часов вечера. Сейчас уже десять, но ее все нет. А буран хлещет в степи, гремит по крыше, дико взвизгивает в трубе, дергает дверь в сенях, будто кто-то в злобе ударяет, наваливается плечом, срывает ее и не может сорвать с петель. На улице все гудит, и порой чудится, что комната несется по воздуху, в вихрях снега, оторванная от всего мира.

Мальчики сидят на диване и то и дело поглядывают на стенные часы. Миша хмурится и, стараясь не сопеть, уже второй раз осторожно листает книгу про зверей Африки. Он давно торопится домой, так как отпросился к Коле «только на минуту», но ему и боязно, и неудобно уходить, хотя живет он рядом — через несколько домов.

А часы на стене неустанно и сонно тикают. Изредка в них что-то обрывается. Тогда гиря дергается, и мальчики вздрагивают. В комнате полутемно. Возле дивана на столе горит большая керосиновая лампа: два дня нет

электричества — буран порвал провода. Радио тоже молчит. Три дня в степи, не утихая, ревет непогода. Она царапает стены, стучит в стекла и кидает в них непроглядным снегом, все наваливая и наваливая под окнами сугробы.

— Буран! — говорит Миша, поднимая голову от книги.— Ишь как воет... Страшно сейчас в степи.

Коля внимательно смотрит на Мишу, с минуту слушает, как воет буран, и вдруг начинает беспокоиться:

— Как бы мама не заблудилась...

— А ты знаешь, в позапрошлую зиму тракторист окоченел до смерти, заблудился... а в прошлую отец чуть совсем не замерз,— почему-то шепотом говорит Миша и делает такое лицо, точно сообщает по секрету о необыкновенной тайне.

Коля уже слышал эту историю не один раз, но ему хочется послушать заново.

— Как же это? — удивленно спрашивает он и подвигается ближе к Мише.— Сказки бабушкины.

Но глаза у Миши очень серьезные.

— Не сказки, а очень просто. Поехал отец в бригаду: что-то с тракторами случилось. Темнища — жуть! Хуже, чем сейчас. Буран так и метет, так и метет... Знаешь, как в степи? Я ездил раз, так знаю... А отец ехал, ехал — и вдруг дороги нет, света белого не видать. Мы его ждали, ждали целую ночь. Мать говорит: «Ну, пропал отец!» И вдруг слышим — лошадь пришла. Выбежали мы, а отец весь в снегу, прямо и лица не видно! Мамка чуть не плачет, а он говорит: «На войне не погиб, а здесь чуть...» Ноги, руки снегом оттирали — белые все были...

Опять хлопает калитка, гремит в трубе, в сенях, позванивают стекла, мальчикам кажется, что кто-то огромный колотит озлобленно по стенам, топчется в тяжелых валенках под окном, и давит на стекла, и стонет от нетерпения.

И от этого хаоса звуков уши наполняются протяжным, тонким звоном.

— Ветер,— выдыхает Коля.— Это ветер...

Миша тихонько смеется:

— Конечно, ветер! Давай книжку смотреть! Ты садись рядом, а?..

Подумав, Коля садится вплотную к Мише, а тот сопит, с какой-то опаской перелистывает страницы и украдкой из-за плеча оглядывается на черные окна. Коля, тоже

озираясь на темные углы, поеживаясь, спрашивает недоверчиво:

— Ты почему так смотришь? Мерещится тебе?

— Не-ет, что ты! Вот выдумал,— шепчет Миша, нагнув голову.

В тишине листы книги, толстые, гладкие, гремят, как полотно на ветру. Минуту оба молчат. Потом Миша напряженно морщит лоб и, глотая слюну, говорит:

— Как я домой теперь пойду? Мать, наверное, ищет...

— Знаешь, давай чай пить,— предлагает Коля с надеждой.— Чайник поставлю, у нас конфеты есть. «Белочка» называются. Хочешь, Миша?

— Да мне идти нужно. Я уроки еще не делал. А то завтра по арифметике Марья Сергеевна ка-ак вызовет да ка-ак двойку поставит!..

— Ну и иди.— Коля презрительно усмехается.— Боишься, достанется дома? А в школе хвастался, что тебя никогда не ругают! Врешь все!

Миша сдвигает рыжеватые брови. Он колеблется.

— Давай... подождем еще,— нерешительно соглашается он и снова украдкой косится на окна.

Коле сразу становится веселее. Ему хочется рассказать сейчас то, о чем он давно думал, и он заговорщицки говорит:

— Ты знаешь... Вот если бы война... ты как, пошел бы в разведчики?

— Не возьмут,— вяло отвечает Миша.— Не доросли, скажут.— Он откладывает книгу и, некоторое время что-то соображая, деловито насупливается.— Может, взяли бы, только мать вот...

— Ерунда! — возражает Коля.— А если бы наша страна опять воевала с фашистами? Нет, меня бы мать отпустила. Как отца.— Коля пристально смотрит на стену, где в черной рамке висит портрет.— У меня отец был артиллерист. Он дрался с «тиграми», танки были такие у немцев. Отца ранило, а он все стрелял... Пять танков подбил...

— У меня отец тоже,— кивает Миша, ссутуливаясь.— Ничего не боится.

— А ты боишься? — подозрительно спрашивает Коля.

— Нет... Что ты! А вот только отец мой ничего не боится, твоя мать тоже. Видишь, какой буран, света не видать, а она поехала.

— Она вся в отца,— серьезно заявляет Коля.— Отец сам говорил...

— Коль, а Коль,— немного подумав, очень тихо спрашивает Миша,— а ты в отца?

Коля переводит взгляд на окно, за которым с воем мелькают мутные тени, и опускает глаза.

— Я не знаю,— отвечает он, видимо опечаленный.— Отец ничего обо мне не говорил.

— А автоматы дали бы? — неожиданно спрашивает Миша.— Автоматы нужны, а то убьют!

Коля задумывается, затем машет рукой.

— А как же! Я знаешь о чем... Ведь я, наверно, не испугался бы. Пошли бы вместе с тобой. И выручали бы друг друга в бою.

— Да,— соглашается Миша,— одному плохо. Двоим лучше. Помочь можно друг другу.

Минуты три оба молчат. Коля берет со стола и долго рассматривает перочинный ножик с перламутровой ручкой, говорит грустно:

— Отец подарил. Это его ножик, до фронта. На память. Хороший?

— Ага. Только не острый,— хозяйственно замечает Миша, попробовав лезвие пальцем.— И легкий. Пушинка.

— Я его берегу.

— Стой, ходит кто-то. По чердаку ходит, слышь?.. Шаги,— шепчет Миша, вслушиваясь.— Вроде разговаривают там, слышь? Нет?..

Он с побледневшим лицом озирается на Колю, изо всех сил сдерживая дыхание, широкие ноздри его раздуваются.

— Никого там... буран это,— отвечает Коля с трудом равнодушно.— Мерещится тебе...

Миша мигает ресницами и слабо шевелит дрожащими губами:

— Мне мамку жалко. Она, должно, по поселку бегает, меня ищет. Ведь я из школы домой заскочил — и прямо к тебе. А так я ничего не боюсь. Мне домой надо...— И Миша виновато ерзает, избегая встретиться с Колей взглядом.

— Знаешь,— говорит Коля и даже встает с дивана.— Ты иди. Иди, Мишка, чего уж... Я один останусь.

Миша, округливая рыжие брови, испуганно смотрит на Колю, но тот быстро отворачивается, повторяет с насмешкой:

— Иди, иди, я обижаться не стану, а то еще дома достанется, отколотят еще.

— Да надо ведь мне...

Однако Миша не сразу решается уходить. Ему неудобно и неловко: как же оставить товарища одного? Наконец он все же уходит, надев пальто, для смелости нахлобучив на глаза шапку, убегает в темь и буран. Коля закрывает за ним дверь и, вернувшись в комнату, некоторое время чувствует странное возбуждение.

«Пусть, пусть! — мстительно думает Коля.— Я и один не боюсь...»

Но в комнате после ухода Миши становится пусто и тихо. И возбуждение быстро проходит. Коля садится к столу в одиночестве и, чтобы отогнать от себя грустные мысли, старается представить себе, как будет, когда приедет мать... Она, скинув завьюженный тулуп, улыбнется ему, поцелует его холодными губами и, конечно, скажет: «Заждался? Ну, Колька, сейчас будем чаевничать!» Щуря близорукие глаза, она подолгу моет руки и тщательно вытирает их полотенцем; от нее приятно пахнет морозом и каким-то лекарством. Она будет ходить по комнате, звенеть посудой, спрашивать о школе и наконец сядет с ним за стол. Весело зафыркает на плите чайник, и в комнате станет тепло и уютно.

«Мама, я тебя все ждал,— скажет он,— два раза чайник подогревал, а ты так долго...»

Коля вздрагивает: ему кажется, что он уснул и во сне сидит на краешке стула, а веки у него тяжелые-тяжелые и необоримо смыкаются сами. На столе сонным круглым бликом светится бок большого металлического чайника. Посреди скатерти, придавленный чашкой, белеет листок бумаги: «Ужинай, ложись спать. Не жди меня. Мама». И от этих слов, написанных матерью, тоскливо сосет под ложечкой, точно кто-то беспощадно хочет обмануть его.

Потом он представляет, как мать едет в санях. Лошадь едва плетется, вся в снегу, и морда ее, заиндевевшая и белая, окутываясь паром, кланяется сугробам. Мать не видно в санях: она укрылась шубой и спит. Потом она просыпается, выглядывает из-под шубы и говорит лошади: «Смотри, какой буран! Ты не спи! Не занесло бы нас! Ведь Колька один дома!» Возница дед Степан погоняет усталую лошадь. Но она уже не хочет идти дальше. И снег постепенно заносит сани, лошадь, наметая огромный сугроб...

Что-то оглушительно гремит и рассыпается стеклянным звоном. Коля вскакивает, широко раскрыв глаза.

— Что это? Мама...

На полу разбитая чашка. Осколки рассыпались возле ножки стола и странно-спокойно поблескивают на свету. Рядом лежит записка матери. За окном безмолвие— вероятно, буран стих. И четко и громко отстукивают, скрипят ходики на стене. Ему сейчас не жалко чашку. Он лишь жалеет об одном: зачем отпустил Мишку, вдвоем не так страшно. И Коле сейчас так одиноко и неспокойно, что хочется плакать.

Он идет к дивану. Тихо скрипят под ногами половицы, и подрагивает стол, как живой. Лампа мерцает и вспыхивает: нет керосина. По потолку, по стенам от этого мерцающего света, округляя углы, бродят тени. Коля наклоняется к лампе, глазам становится горячо, лбу жарко. Он выворачивает побольше фитиль и вдруг вытягивает шею и, не отрывая глаз, смотрит на окно. В безмолвии размеренно скрипит снег: скрип-скрип. Кто-то ходит под окнами, но никто не стучит в стекла, и Коля чувствует ознобные мурашки на спине. «Скрип-скрип,— выговаривает под окном снег,— скрип-скрип».

«Кто это?» — думает Коля, цепенея от страха.

Ему хочется с закрытыми глазами броситься на диван, потушить лампу, залезть с головой под одеяло, чтобы ничего не слышать и ничего не видеть. Проходит несколько минут. Он слышит, как молотком колотится сердце, отдаваясь в голове.

«Никого там нет...— дрожа, убеждает самого себя Коля.— Чудится мне...»

Он осторожно оглядывает комнату и замечает на столе перочинный ножик с перламутровой ручкой. Затаив дыхание, Коля берет ножик; успокоительно-аккуратный, гладкий, он умещается в кулаке. Пальцы все крепче сжимают его, подарок отца, эту единственную защиту и помощь.

А огонь в лампе дергается, сникает и, чадя, гаснет. Комната погружается во мрак, среди которого синеющими проемами светятся от лунного света мерзлые окна. За ними — непонятная пустота ночи, где только что поскрипывал снег, необъяснимо сковывает Колю знобящим страхом. Он не может пошевелиться.

На ватных ногах он с усилием делает два шага к окну и, всхлипывая от ожидания чего-то страшного, трет пальцем холодное, обросшее инеем стекло. Блестят освещенные луной морозные узоры. Они кажутся необыкновенным зимним лесом. Коля ничего не может рассмотреть сквозь них. Тогда, замирая, с млеющим холодком в жи-

воте, он идет в сени и там настежь открывает двери, готовый крикнуть: «Кто?» Никого нет. Мороз и синяя ночь. На дворе лежит лунный снег. Улицы не видно: снегу намело по крыши. Стоя в дверях, Коля весь дрожит от студеного воздуха. На улице ни огонька. «Где же мама? — думает он с тревогой.— Где она?»

Он закрывает дверь, входит в комнату, садится на диван и сжимается калачиком, чтобы согреться. Внезапно стекло звонко дребезжит над самым ухом, но Коле кажется, что это не стук в окно, а звенит у него в ушах.

— Коля, открой! Коля! Это я!..

Радость перехватывает дыхание. Он вскакивает.

— Мама! Приехала! Я сейчас! Я сейчас! — громко кричит он и бежит к двери и теперь лишь замечает зажатый в руке отцовский перочинный ножик.

...Когда они сидят за столом и пьют крепкий, пахучий чай, Коля необыкновенно счастлив: мать рядом с ним, она моет руки, вытирает их полотенцем, ласково щурит глаза. Лицо у нее усталое. Она спрашивает удивленно:

— Ты все ждал меня? И не спал?

— Ждал. Мишка у меня был! Мы вдвоем ждали! А я чашку разбил.

— Колька ты мой, Колька,— говорит мать и нежно шевелит, треплет его волосы.—А я с операции. Никак не могла раньше.

Коля хочет сказать матери о своем решении никогда больше не оставаться одному дома, но видит: мать задумчиво разглядывает стол, и у нее медленно клонится голова. Она встряхивает головой и виновато улыбается.

— Ложись, мам, ложись,— чувствуя необыкновенный прилив любви к матери, говорит Коля.— Ты устала! Ты ведь устала, мама! Да?

Мать целует его и, на ходу раздеваясь, идет к постели.

— А я подъезжаю и думаю: «Спит мой Колька, наверное». А ты, оказывается, ждал! Ах ты, Колька мой! Один, все время один.— И она как-то растерянно оборачивается к нему.— Ну ложись, сын, а то завтра рано вставать.

Он ничего не говорит ей, соскакивает со стула и берет с тумбочки старый будильник, внутри которого старательно бьется сердце. Высунув от напряжения язык, Коля ставит стрелку на шесть часов, потом оглядывается

на мать и чуть-чуть переводит стрелку — на десять минут седьмого

— Мама, пожалуйста, ложись,— повторяет Коля и быстро начинает убирать со стола.— Я тоже сейчас лягу. И знаешь... Это ничего: будем живы, не умрем,— добавляет он так же, как говорил когда-то матери отец.

Мать скоро засыпает, и Коля слышит, как во сне она разговаривает с какой-то старшей сестрой; наверно, тяжелая была операция... Коля тоже ложится и, прислушиваясь к дыханию матери, сквозь сон усмехается, вспомнив ножик с перламутровой ручкой.

— Мам, а мам,— еле шепчет он.— Ты обо мне не беспокойся... Как ты думаешь, я в отца?

В комнате темно и тихо.

1948

ЛИДА

Одну половину избы занимали хозяева, другую — четверо рабочих геологической партии.

Это были молодые, крепкие, безалаберные парни, и тесная комната их по ужасному хаосу своему напоминала студенческое общежитие. Здесь порожняя бутылка постоянно исполняла роль пепельницы, а распорядок недельной уборки зависел от общего настроения. В первые же дни зимовки строго-вежливый армянин Абашикян повесил под засыпающими от старости ходиками объявление: «Пожалуйста, будьте любезны, не подметайте». Категорическая эта просьба относилась к хозяевам. В тех случаях, когда она нарушалась, квартиранты чувствовали себя несколько задетыми. Тогда самый старший из них, полтавчанин Сивошапка, по обыкновению, раздумчиво и долго скреб затылок, длительно оглядывал подметенную утром комнату, садился на койку, после чего с медлительностью заключал: «Ось тоби история, щоб вам, черти ленивые, треснуло». Его лицо выражало конфуз, сморщенный лоб — глубокомыслие. Услышав его голос, все разом подымали головы со своих коек, изображая деловое внимание. Всем казалось: Сивошапка, как это бывало иногда, побагровеет, подтянет широченные трусы и, вскочив, крепко расставив волосатые ноги, оглушительно рявкнет: «А ну, боровы! Що це такэ, а?» Однако через минуту на круглом лице его растекалось миролюбивое благодушие — он шумно вздыхал и принимался шарить рукой по полу.

— Где вона тут? — начальственно кричал он.

Как всегда, пепельница стояла под койкой Абашикяна, заядлого курильщика, но тот, молча повернувшись к стене, начинал осторожно дышать носом — делал вид, что спит.

Звучно шлепая босыми ногами, Сивошапка подходил к койке Абашикяна и, сердито кряхтя, выуживал из-под нее бутылку и при этом ворчал:

— Порядка нема, дручки стоеросовые... А может, у меня мыслей гора, треба думати...

С задумчивым видом он свертывал умопомрачительной длины цигарку, закуривал, лениво цедил сквозь ноздри дым, рассеянно стряхивал пепел с этой непомерной самокрутки, стараясь попасть в горлышко бутылки. По утрам он лежал и думал. Его грустно-мечтательные карие глаза становились то теплыми и нежными, будто в них попадало украинское солнце, то золотистыми, будто в них отражались желтые подсолнухи, полуденно обогретые нездешним зноем.

— Ну, Сивошапка или с жинкой обнимается, или галушки наминает,— полушутливо говорил тогда Банников, не обращаясь ни к кому в отдельности, и подмигивал.

Это был сильный, с атлетическим торсом парень лет тридцати, со светлыми насмешливыми глазами и тонким волевым ртом. На его тумбочке стоял флакон тройного одеколона, лежала щеточка для волос, над кроватью блестело круглое изящное зеркальце, которое он возил с собой. «Скажи пожалуйста!» — фыркая в нос, поражался аскетически настроенный Абашикян, каждый раз видя, как по утрам, после бритья, обтирался одеколоном чистоплотный Банников. Однако он и все остальные относились к Банникову с нескрываемым уважением: по опыту своему это был незаменимый человек в геологической партии. Говорили, что он когда-то учился в институте, но не кончил его и вот уже несколько лет простым рабочим бродил с разными геологическими партиями по Сибири в поисках удачи.

Партия рабочих зимовала в таежной деревушке, и в непогожие дни эти мучающиеся бездельем здоровые парни с утра валялись на койках, слушая рев пурги за окнами, тонкий писк ветра в щелях ставен; иногда лениво и без удовольствия пили спирт, коротая скуку декабрьских вечеров.

Но раз в солнечное морозное утро в эту накуренную избу словно ворвался апрельский сквозняк: быстро вошла и остановилась на пороге техник-геолог Лида Винокурова. Она была в короткой заячьей дохе, поднятый воротник, покрытый колючим инеем, холодно сверкал. Улыбаясь, она откинула воротник от губ, зубами стянула варежки,

подышала на озябшие пальцы и внимательно огляделась. Все тотчас с интересом подняли головы. Сережа Неустроев, самый молодой из рабочих, густо покраснел. Банников даже присвистнул, подтянул голенища новых бурок, спросил с усмешкой:

— Чем обязаны вашему посещению? М-м?

— О, мальчики милые! — удивленно воскликнула она.— Как у вас накурено и грязно! Споткнуться можно! Просто безобразие!

Заросшие щетиной «мальчики» переглянулись. Абашикян с оскорбленным видом приподнялся, пощупал гирю ходиков и снова лег.

— Очень остроумно,— сказал он.

— Это как же понимать? В каком это смысле, Лидочка? — недобрым игривым голосом спросил Банников, поудобнее устраиваясь на койке.

Она, сунув руки в карманы, пожала плечами.

— Ведь хлев, а не комната. Опустились! Мужчины тоже! Цари природы! — И сердито засмеялась.

На лице Сивошапки ничего не отразилось. Абашикян жестко потер синюю щеку и едко-многозначительно хмыкнул. Банников с наглой улыбкой стал заталкивать окурок в горлышко бутылки, спросил лениво:

— Вот как! Значит, здесь мужского пола нет? Вы, очевидно, хотите сказать, что комната пуста?

— Именно это.— Серые насмешливые глаза Лиды на мгновение задержались на покрасневшем лице Сергея, и она тихо сказала: — Сережа... Хоть вы наведите порядок. Стыдно...

И Сергей, не без робости взглянув на нее, послушно, торопливо встал и, будто сжавшись от ее слов, со стеснительной осторожностью взял веник и начал подметать возле коек окурки.

— Вот так! — уже весело сказала Лида.— В другой раз зайду только тогда, когда будет чисто. До свидания, мальчики!

Она ушла, безжалостно, тонко проскрипела под окном своими узенькими валенками, и после ее ухода в комнате остался неспокойный, смешанный запах мороза, свежести и заиндевевшего меха. Все молчали, глядя на двери. Пар холода таял над полом.

— Москвичка! — с одобрительной усмешкой сказал Банников и, вопросительно скосившись на Сергея, медленно добавил: — Э, парняга, парняга, плохие твои дела, брат!.. А ведь она не к тебе приходила! Не понял?

Сергей в растерянности стоял посреди комнаты, чувствуя на себе испытующее внимание, потом бросил веник, произнес сдавленным голосом:

— Ну и что ж!..

— Скажи на милость! — неопределенно воскликнул Абашикян.

Тогда Банников положил ноги на спинку кровати и, потягиваясь крепким мускулистым телом, сказал:

— Слушай, Сержик... Крутит она тобой и так и эдак. А сама... это самое... чуешь? Щекотливая женщина!

Он так произнес «щекотливая женщина», что был ясен порочно скрытый намек, и Сергей крикнул вызывающе:

— Не... не смей так говорить! Слышишь? Иначе...

— А что иначе? — Банников, зевая, поморщился.— Брось. У тебя еще слабые бицепсы, Сержик.

— А ну,— подал голос Сивошапка со своей койки.— Не тронь хлопчика, Банников! Это его личное дело!

...Однажды поздней осенью Сергею запорошило глаза пылью породы, он не мог работать. Со злым чувством бессилия он топтался на склоне обрыва, слезы текли по щекам, и тут Банников, этот многоопытный, уверенный в себя парень, подойдя к нему с совком на плече, посоветовал сочувственно:

— Слушай, Сержик, что ты мучаешься? Зайди-ка к Лидии Александровне. Она незаменимая мастерица вытаскивать соринки. Тонкие женские пальчики... Абсолютно гарантировано.

Когда Сергей вошел, Лидия Александровна сидела за столом, наклонив лицо,— каштановые волосы касались щеки — и в лупу рассматривала кусочек породы. Она подняла голову, спросила с улыбкой:

— Принесли новые образцы?

Сергей сконфуженно объяснил, в чем дело.

— Ах вон что! — Она изумилась.— Ну садитесь, Сережа, так и быть. Постараюсь заменить врача.

Она вымыла руки, взяла кусочек ваты и, положив ладонь на его голову, негромко-ласково приказала:

— Смотрите на меня. Нет, не в сторону. На меня смотрите. Мне в глаза, ну!

Он увидел перед собой улыбающиеся губы — они приближались к его лицу,— и эта улыбка нежно дрожала в уголках ее рта, когда она пальцами притронулась к его векам. Ему больно было смотреть на ее губы, и он зажмурился, дернулся на стуле.

— Сережа, смотрите мне в лицо. Ну, какой вы!..— повторила она и засмеялась. Он открыл глаза, его взгляд неуверенно коснулся темной глубины ее зрачков, и он внезапно задохнулся от волнения, громко сглотнул, слыша этот отвратительный щелчок в горле. Она спросила, высоко подняв брови:

— Вам больно? Бе-едненький,— и вытерла его лоб ватой.

— Нет... Ни капли...— прошептал Сергей.

— Ну вот и все,— сказала она со вздохом.— Соринки были по всему глазу. Едва не выдернула все ваши длинные ресницы. Такие девичьи ресницы мужчине ни к чему.

Сергей поднялся, потный, не зная, куда девать руки, пробормотал:

— Спасибо. По гроб жизни вам благодарен...

— О, пожалуйста! Не за что! — шутливо воскликнула Лида.— Так, значит, вас Банников послал? Знаете, Сережа, заходите ко мне. Я слышала, вы любите читать. У меня есть маленькая библиотечка. Буду рада вас видеть.

И он, не ответив, вышел от нее, повторяя про себя: «По гроб жизни вам благодарен». Он готов был ударить себя, вспоминая эти слова: нужно же было сморозить такую глупость! Дурак — и больше ничего!

После того дня он стал заходить к Лидии Александровне. Его тянуло по вечерам в ее чистенькую, маленькую комнатку с опрятными белыми занавесками на окнах, с прохладой вымытого деревянного пола. Керны, образцы, куски породы аккуратно лежали на столе, незнакомо и сладковато пахло духами, веяло покоем, непорочно секретным миром, в котором жила она. Сама Лида в спортивной безрукавке, натянутой на ее острой груди, встречала его приветливо, улыбаясь ему радостной улыбкой, и крепко, не по-женски пожимала его руку: «А, Сережа, проходи».

Однако было ему неприятно и странно то, что Банников иногда сидел тут же; сквозь дымок папиросы с любопытством поглядывал на Сергея, как бы следил за его неловкостью, за его скованными движениями и барабанил пальцами по коробке папирос; постоянно бледное лицо его было насмешливо-спокойным. Он говорил:

— Садись, Сержик, потолкуем за жизнь. Лида любит слушать спор двух мужчин. Я прав, Лидия Александровна?

— Что ж, я готова,— почему-то хмурясь, говорила она.

Но однажды, выходя от нее, не успев закрыть дверь, он услышал, как она со слезами в голосе крикнула Банникову:

— Какой вы мужчина? Вот Сергей — это мужчина. Люди с такими глазами добиваются чего хотят. А вы? Что вы?.. Молодой старик!

— А может быть, вы перестанете, Лидочка,— сдержанно ответил Банников,— вообще... говорить обо мне то, что вам кажется?

— Нет, не перестану!

— Лидочка, чего вы хотите?

— Я от вас ничего не хочу! Идите! И не простудитесь по дороге. Спокойной ночи, да попросите хозяйку, чтоб пожарче натопила печку! И советую купить перину... И говорить пошлости этой перине!

Услышав это, Сергей почувствовал смутную радость, и радость эта была точно ворованной тайной, в которой он мог признаться только самому себе.

Через два дня после ее прихода Сивошапка в интересах мужского самолюбия объявил внеочередной аврал, и относительный порядок в комнате был все же наведен. Банников спокойно заявил по этому поводу:

— Женщины — это лобное место времен боярской думы. Нет, никогда не женись, Сережа.— И с преувеличенной веселостью добавил: — Женщина — кресало, мужчина — кремень. Кресало о кремень — искра. И все к черту! Вся жизнь! Понял?

— Зачем голову морочишь человеку? — возмутился Абашикян.— Врет, понимаешь, до последней капли крови! У каждого голова на плечах. Эх, какую вчера картину в клубе показывали, а? «Ромео и Джульетта». Как люди любили! Видел картину или нет?

— Видел. Чепуха. Агитация за любовь,— махнул рукой Банников.

— Яка така агитация? — не понял Сивошапка.— Кто кого агитировал? Га?

В это время Сергей сидел на своей кровати, настороженно поглядывая на ходики. Они висели над изголовьем Абашикяна, были его единственной примечательной собственностью. Старые эти ходики, как было хорошо известно всем, имели свою историю: Абашикян с непоколебимостью

утверждал, что они спасли ему жизнь. Раз — это было три года назад — он один заночевал в зимовье и, по обыкновению, повесил их над головой: он всегда должен был знать точное время. На рассвете к зимовью подошел медведь и, согласно рассказу Абашикяна, начал яростно грызть дверь. От ужасающего его рыканья гиря часов внезапно оборвалась и крепко ударила сонного Абашикяна по голове. Он вскочил, сразу понял, что его посетил «амикан-дедушка», и, раскрыв дверь, начал палить из двустволки, убив таким образом невероятных размеров медведя-шатуна. Банников хохотал, слушая этот рассказ, но Абашикян, горячась и возмущаясь неверию, обижался, и порой дело доходило до ссор.

— Они исправны? — вдруг тихо спросил Сергей.— Стрелки, кажется, задевают...

Все повернулись, внимательно поглядели на него.

— Что? — обиделся Абашикян.— Замечательные ходики. Минута в минуту. Неисправны! Несерьезно заявляешь.

— Свидание чи що? — попытался уточнить Сивошапка.— Давай, хлопчик, чеши...

— Нет,— ответил Сергей вполголоса.— В Косую падь за образцами идем. Через полчаса...

— Эх, Сержик, Сержик, ни черта ты не понимаешь! — Банников усмехнулся, нехотя встал, надел куртку и вышел, хлопнув дверью.

Сергей пунцово покраснел и сидел не шевелясь, зажав руки коленями. Потом, скрипя в тишине лыжными ботинками, осторожно двинулся к выходу, чувствуя, как Сивошапка и Абашикян смотрят в спину ему.

Стоял скованный скрипучим морозом вечер. За тайгой широко стекленел, потухал огненно-малиновый закат. В стылом, цепенеющем воздухе разносился горьковатый запах дыма: в деревне к ночи топили печи. Над крышей Лидиного дома уже вставал, окутываясь дымком из трубы, прозрачный, как льдинка, месяц.

Как только Сергей вошел, в хозяйской половине пахнуло огнем печи, красные отблески дрожали на цветной занавеси, задернутой над дверью в ее комнатку. Там было тихо. Выйдя навстречу, высокая широкоплечая хозяйка, вытирая передником распаренное лицо, спросила Сергея:

— Ты чего это, молодец, как жених стоишь? Или, думаешь, синица ждать будет, пока ее ладонью прихлопнешь? Нету Лидии Александровны, ушла. Нету...

— Как ушла? — растерянно выговорил Сергей.— Куда?

— Сначала все по комнате шагала, ходила. А пришел этот... Банников. Ну она шибко ругалась с ним, а потом смеялась, чисто колокольчик. На лыжах пошли. Эх, парень, чего ты?..

Сергей, ни слова не сказав, повернулся, с робостью вышагнул из избы, медленно сошел с крыльца. Две свежие лыжни уходили от избы, виднелись рядом, вдоль дороги, терялись в синеющей глубине улицы; там на окраине визгливо лаяли собаки.

Вдыхая режущий горло ледяной воздух, Сергей крепко потер грудь и без цели пошел по дороге. «Не стала ждать. Тогда зачем же она обманула? — спрашивал он себя с тоскливым недоумением.— Как же так?»

За крайними домами, под обрывом, неподвижно стыло в декабрьском морозе занесенное буграми снега русло реки, и везде было тихо и пустынно, освещено высоким и холодным месяцем, чернели, густо дымясь, проруби на синем льду.

«Ушли в Косую падь! — подумал Сергей, не понимая.— Но зачем же? Как же это так?»

Когда он вернулся, в избе все спали. Он закрыл дверь, присел на свою кровать.

— Ты, Сережка? — послышался из темноты хриплый от сна голос Сивошапки.— Що рано? — И в его голосе прозвучала вкрадчивая мягкость.

Сергей не ответил, хмуро разделся и лег.

Он долго лежал на спине с открытыми глазами, глядя на фиолетово мерцающий квадрат мерзлого окна. Было горько, давило в горле. А в тишине старые ходики Абашикяна настойчиво спрашивали кого-то: «Так ли все? Так?» И впервые показалось Сергею, что он понял Абашикяна: в тайге, в зимнем одиночестве, когда рядом над головой тикают часы, они кажутся живым существом и, может быть, другом, поселившимся под одной крышей.

Сергей не мог уснуть. Он ворочался, колотя кулаком по смятой подушке.

Глубокой ночью он оделся и вышел. Постоял немного, ссутулясь, охваченный холодом, и зашагал по сверкающей лунной дороге, черно располосованной длинными тенями спящих изб. Было мертвенно-безмолвно, стены домов светились мохнатой изморозью. И не слышно было лая собак во всей деревне.

Вдруг у околицы громко и ясно прозвучал голос, как выстрел в тишине, и смолк. Сергей остановился, прислонясь к забору, в тени. Из-за крайних домиков на пусто синеющую дорогу вышли две фигуры, отчетливо высвеченные луной, виден был пар дыхания, отрывавшийся из-за их плеч.

— Все же было здорово, правда, Банников? — донесся с дороги голос и смех Лиды.— Я люблю... ночью ходить на лыжах!

— Почему ночью? — спросил Банников.

Они приблизились к ее крыльцу.

Сергей видел, как Лида устало начала снимать лыжи, и тогда Банников наклонился к ее ногам, стал помогать ей. Она выпрямилась, стеклянным голосом сказала: «Спасибо» — и взошла на ступеньку крыльца. Банников снизу смотрел на нее и молчал. Лида протянула ему руку, проговорила: «Павел...» Он тоже протянул руку и что-то ответил, негромко смеясь.

— Эх вы-ы! — неожиданно презрительно сказала Лида и взбежала по ступеням.

Банников пожал плечами, натянул рукавицы, потоптался на лыжах, вроде бы проверяя прочность креплений, и заскользил по улице сильным, размашистым шагом прочь от дома. Лида некоторое время ждала на крыльце, затем с отчаянным лицом присела на заиндевевшие ступени, сгорбилась вся, сжалась в комок. Сергею стало трудно дышать. Он шагнул от забора.

— Лидия Александровна...

— Что? Кто это? — вскрикнула Лида, быстро вставая.

— Это я...

— А, Сережа,— с непонятным облегчением произнесла Лида и рассеянно спросила: — Ну а ты... что?

Он стоял, не двигаясь, в тени дома, в четырех шагах от нее.

— Я просто вышел, жарко в избе, не уснешь,— смущенно солгал Сергей.— Вышел вот... Луна...

— А! Да, да, луна...

Он поднялся на крыльцо, нерешительно замялся. Она, с напряженным выражением прикусив губу, упираясь спиной в дверь, смотрела как бы сквозь Сергея, не видя его, а он, чувствуя озноб и горячую пустоту в груди — в этой пустоте глухо ударяло сердце,— робко спросил:

— Вы устали, наверно?

— Сережа, бедненький...— грустно проговорила Лида и придвинулась к нему.— Ты бедненький, да? И я бедненькая... Оба мы бедненькие, правда?

— Что вы? О чем говорите? — прошептал Сергей и уставился себе под ноги.— Я не сержусь на вас. Честное слово.

— Ой, Сережа, какой же ты еще мальчик! — Она провела варежкой по груди Сергея, сказала странно и ласково: — Сережа, милый ты какой...

Он, будто оглохнув, уже смутно слышал ее и не мог найти, что ответить ей.

Тогда она легонько коснулась подбородка Сергея, подняла его голову, глядя ему в лицо вопросительно-внимательным взглядом.

— Ты меня любишь, Сережа?

Она так прямо, откровенно спросила это, что он ощутил: и ее лицо, и луна над деревней, и снежные ели — все сдвинулось, поплыло перед ним в мутной пелене. Он задохнулся и, полуотворачиваясь, прошептал:

— Не знаю...

— Сере-ежа-а...— виновато и протяжно сказала она.— Что же мне делать?

И эти слова жестко задели Сергея своим горьким, определенным смыслом.

Она договорила с горечью:

— Нет, Сережа, не меня ты любишь. Ты первую любовь свою любишь. Меня не за что любить.

И опять взглянула из-под лохматых от инея ресниц и чуть улыбнулась, как прежде,— улыбались только края губ.

— Поцелуй меня... Ну? Я разрешаю.— И потянулась к нему.

Он задержал дыхание, ошеломленный.

— Не хочешь? — спросила она.— Я знаю, что я дрянь. Правда?

Он совсем близко увидел ее губы — у Лиды откинулась голова — и заговорил хрипло, решительно, сопротивляясь тому, что она говорила:

— Нет, вы хорошая, вы хорошая...

— Сережа,— перебила она.— Я уезжаю завтра на пятый шурф.

— Зачем? — растерянно прошептал он.— Так далеко? Не надо...

— Так уж надо,— закивала она и погладила его рукав.— Спокойной ночи, Сережа.

Бураны с сугробами до крыш сменились спорой, ярой весной с ослепительно косматым солнцем над синими горами, с оглушительным криком грачей в мокрых ветвях, со звенящей капелью, ударявшей о влажное дерево крылец, с желтыми от прошлогодних листьев ручьями, бормочущими в тайге. Весна сменилась летом; теплые закаты нехотя угасали за тайгой, купались в реке и пылали золотистым блеском в стеклах Лидиной избы, которая была теперь пустой.

Целые дни геологическая партия пропадала в горах, и по вечерам Сергей, устав за день до изнеможения, мог подолгу, часами лежать в траве, глядеть на озеро, на багровый разбрызганный костер солнца в воде, на первые звезды в высокой прозелени вечереющего неба. Над озером, в легком тумане пронзительно кричали чибисы, спрашивали: «Чьи? Чьи?»

И Сергею хотелось раскинуть руки, прижаться грудью к еще теплой земле, засмеяться, сказать тихо: «Свои, свои...» И, жадно радуясь этому вечеру, закату, этим чибисам, он разглядывал каждую травинку, каждый камешек на земле, ища во всем счастливый смысл.

Ему даже приятно было ощущать, как горели мозоли на ладонях, как ныли плечи после работы, и, зажмуриваясь, он почему-то представлял: вот Лида потянулась к нему, попросила с виноватой улыбкой: «Ну поцелуй меня. Я разрешаю».

В один жаркий воскресный полдень Сергей лежал в палатке и, бездумно улыбаясь, смотрел на тонкий и прямой, как соломинка, лучик солнца, проникавший в щель. Было душно. От брезента несло горячим воздухом.

Сивошапка, взяв у Банникова зеркальце и пристроив его на топчане, неуклюже вертелся перед ним, щупая, одергивая новенькие жгуче-зеленые бриджи, купленные недавно в сельпо, и ворчал и брюзжал:

— Бес знает що... Мнутся як лошади... Материал выпускают! Тоже мне материал!

Абашикян, копаясь отверткой в испортившихся ходиках, рукавом промокая на лбу пот, сказал строго:

— Почему форсишь? Перед кем? Медведей пугать! Жених!

Сивошапка схватился рукой за подбородок, присел при этом, нацелясь одним глазом в зеркальце, заметил с неудовольствием:

— Яка така мода? О, щоб тоби оглоблей почесало с такой модой!

— Ты вот что,— не без ленивого безразличия сказал Банников со своего топчана.— Почини старые штаны, а бриджи подари Сережке. Он у нас жених... Верно, Сережка?

Узкий солнечный луч упал Банникову на лицо, его веки прикрыли остро-насмешливый блеск глаз, его губы изогнулись, и Сергею показалось, что Банников в эту минуту думал о том, чего не понимали другие, но понимал он, Сергей.

— Долдонишь, як теща о... о...— Сивошапка не договорил, кряхтя, опустился на топчан, озверело начал стягивать бриджи.— Да ты кумекаешь, що цэ такэ любовь? А?

— Знаю,— ответил Банников, с наслаждением вытягиваясь всем телом.— Знаю одно: любви нет в моем возрасте.

— Що такое-е? Интеллихент ты!

— Вот именно,— спокойно сказал Банников.— Любви нет. Есть выбор, сугубо материальный выбор подруги жизни — и точка. Любовь существует только в возрасте до двадцати лет. А потом... ну, скажем, так: вот ты женился бы, если бы встретил дивчину красивую, с хорошей фигуркой, но неумную? Нет, браток. А если бы она была некрасива, но умна, очень даже умна? Нет, тоже не женился бы. Есть еще вариант. Если красива, умна, но грязна, некультурна, воспитана черт-те как... М-м?— Банников помолчал.— Отсюда вывод: какая, к черту, любовь, просто голый выбор! А любовь я понимаю как физиологическое сходство натур... Ну и прочее... А вот Сержик этого не понимает.

— Пошел к дьяволу! — выругался Сивошапка оглушительно и так рванул с ног бриджи, что едва не слетел с топчана.

Абашикян отложил отвертку, как пистолет, уставил указательный палец на Банникова, сурово поинтересовался:

— Он молодой, не понимаешь?

Молча Сергей поднялся и вышел. В эту минуту он не испытывал к Банникову ни злобы, ни неприязни, только легкая досада кольнула его. Но и это чувство пришло, когда его овеяло сладким запахом нагретых солнцем цветов, ослепило зеркальным блеском полуденного озера, там на берегу кричали разомлевшие от жары чибисы.

— Сереженька-а! — услышал он протяжный и звучный голос, оглянулся и замер.

Легко ступая босоножками по траве — на этом горном лугу, где остановилась партия, еще не было протоптано тропинок,— к палатке шла Лида. В новом платье, с косынкой через плечо, тонкая, загорелая, с острой грудью, она шла по берегу озера, на ходу срывала размякшие от зноя ромашки, подносила их к губам и радостно махала рукой Сергею. А он стоял, обмирая, не зная, куда девать руки; сердце билось где-то возле горла.

Она подошла, приветливо заглянула ему в лицо. И его обдало нежным горьковатым запахом ромашек.

— Ну? — в непонятно веселом настроении спросила она и тряхнула сережками, в которых заискрилось солнце. «Она стала носить сережки!» — подумал он удивленно.

— Лида...— прошептал Сергей.— Вы к нам?..

— Лида, Лида, ну что Лида? Эх ты... па-арень! Ну вот я вернулась. Соску-у-училась! — Она улыбнулась, с любопытством спросила: — А ты, Сережа, вспоминал?

— А, Лидочка! Чувствительный привет! — раздался полушутливый голос Банникова, и он вышел из палатки с видом наигранного оживления.— Слышу ваш голос... Сколько лет, сколько зим! О! В этом платье...

— О, в этом...— так же насмешливо повторила Лида.— А вы по-прежнему острите и изо всей силы размахиваете байроническим плащом? Вам не надоело?

— Терплю.— Банников не торопясь сел на ящик из-под оборудования, достал папиросы.— Между прочим, в этих горах ваши чары нужны как рыбе зонтик, прошу прощения...

— Вот как? — Лида помолчала, и на миг как-то некрасиво напряглось ее лицо.— Может быть, чары приготовлены для вас? — наконец сказала она.— А если это так?

— Безрезультатно.— Банников выпустил струю дыма, нанизал на нее колечко.— Я не в счет. Я молодой старик, Лидочка.

Лида перевела глаза на Сергея, и он увидел в них что-то по-детски незащищенное, жалкое, но сейчас же она овладела собой и засмеялась.

— Очень хорошо... Пойдемте, Сережа,— уже беспечно сказала она и тряхнула головой.— Вы хотите в горы? Сегодня свободный день...

И взяла его под руку с ласковым дружелюбием.

— Вот, вот,— равнодушно заметил Банников.— Он пойдет за вами хоть на край света. Он лишь доверчивый мальчик...

Сергей, готовый встать на защиту Лиды, хотел ответить ему резкостью, но в ту же минуту она отпустила его локоть, с вызовом повернулась к Банникову, заговорила быстро:

— Знаете что? Я могу пригласить и вас. Хотите? Вы! Мужчина!.. Байрон! Я вас приглашаю!

— Что ж, пойдемте,— с вялой решимостью согласился Банников и намекающе подмигнул Сергею: — Пойдем цветочки собирать.

Когда они миновали лагерь, начали подыматься в горы, все здесь было накалено полуденным зноем: и камни, и трава, и желтые стволы сосен. Было жарко и тихо. Только в горах неистово кричали дрозды.

Они взбирались по тропинке, иногда Лида преувеличенно громко просила Сергея подать руку, он, расставив ноги, с нерешительностью слегка сжимал ее кисть своей большой грубой рукой, помогая ей, чувствуя, как мозоли его касались тонких ее пальцев, и пунцово краснел, лоб покрывался потом. Банников независимо шел поодаль, насвистывая, продирался сквозь кусты, отстраняя от лица ветви и паутину; в его отглаженные матрацем синие брюки ежами вцеплялись колючки, он изредка сбивал их сорванным прутиком, брезгливо морщился.

— Очень жарко, подержите косынку! Да, будем цветочки собирать! — сказала Сергею Лида и тут же возле тропинки начала рвать цветы, с неестественным вызовом косясь на хмуро-равнодушного Банникова, все время молчавшего. А Сергей неуверенно держал косынку — этот мягкий шелк никак не вязался с громким Лидиным голосом — и с беспокойством и горечью понимал, что все в Лиде было сейчас нелегко и несвободно. Было ему обидно видеть это, было жаль и себя и ее за то, что она смеялась деревянным смехом, за то, что рот в эти минуты у нее был некрасиво большой и сережки, казалось, старили ее лицо.

— Смотрите, белладонна! — живо проговорила Лида и начала рассказывать о странном цветке белладонне, сок которого используют молодые итальянки для того, чтобы глаза были темнее, глубже.— С намерением подчеркнуть страсть! — добавила она в сторону Банникова.

— Чепуха! — отозвался Банников.— Женские финтифлюшки. Гроша медного не стоит.

— Слушайте, Банников, это же смешно,— с упреком сказала Лида и прищурилась, подставляя лицо солнцу.— Неужели вы так ненавидите женщин?

— К сожалению, это не так,— натянуто-вежливо ответил Банников и подошел к Лиде.— Не всех.

— Да-а? Пожалуйста, сядем. Это интересно. Вы любите кого-нибудь? Сядем — и расскажите!

— Нет смысла.

Лида капризно повернула голову к нему, брови ее взлетели, и она повторила:

— Сядем! Я хочу отдохнуть. И послушать вас.

Они сели среди облитых солнцем ромашек; одурманивая, парной запах их заполнил здесь все, и чудилось Сергею, терпко пахли и руки, и одежда, и воздух. Натянув платье на круглые колени, Лида кратко взглянула на Сергея, его словно коснулся синеватый прозрачный свет, но тотчас она посмотрела на Банникова, сорвала ромашку, подула на лепестки, спросила:

— Хотите, я погадаю, если вы молчите?

Она стала отрывать лепестки, потом снова засмеялась так нарочито весело, что Сергей, заерзав, подумал с тоскливой досадой: «Зачем она так смеется?»

— Вас любят, Банников,— сказала она.

И прикусила зубами стебелек ромашки, вопрошающе наблюдая за Банниковым.

— Она была ваша жена?

— Не имеет значения.

— Кто же она? — И рывком откинула волосы со лба.

— Роли не играет,— Банников непроницаемо пощелкивал прутиком по брюкам.

— Честное слово, все это ужасно глупо!

И Сергей увидел: Лида легла спиной на траву, мечтательно закинула руки за голову — грудь ее остро и, казалось Сергею, бесстыдно проступила под легким платьем,— блуждающим, мягким взором стала глядеть в теплое небо, спросила еле слышно:

— Слушайте, Банников... Скажите мне, что такое счастье? Вы что-нибудь понимаете? Я — ни-че-го...

Сергей слушал этот разговор и с обидой и болью думал, что здесь он совершенно не нужен, что о нем забыли, и прежнее тягостное ощущение обмана, пережитого им зимой, охватывало его. Боясь поднять голову, он на какое-то мгновение увидел глаза Банникова, неподвижно устремленные на лицо Лиды, и ее беспомощный, размягченный взгляд, обращенный к Банникову. И он тогда понял все.

— Я пойду,—неожиданно охрипло сказал Сергей и ватной рукой положил косынку рядом с рукой Лиды.

— Иди, иди,— поторопил его Банников, как будто очнувшись.— Счет до трех знаешь.

Из-за гор, погружавшихся в сумрак, надвинулось лохматое лиловое облако, тяжело придавило закат — металлически светилась узкая полоса. Дуло холодом с востока, и туман курился над ущельями, был студено-розовым, и были розовыми и косынка на голове Лиды, и кусты возле троп, ветвями цеплявшиеся за помятые брюки Банникова, за ее платье. Она шла спотыкаясь, оскальзываясь при каждом шаге, камни с угасающим шорохом скатывались из-под ног. Они молчали.

В горах начало темнеть, где-то кричала ночная птица, и этот звук гулко носился в ущелье, как в пустом колодце. Ветер с гор шумел в кустах, толкал в спину, а далеко внизу, там, где был лагерь, блестело, колыхалось красное пятно костра.

Сильный порыв ветра сорвал с Лиды косынку, унес в ущелье, и она, сделав шаг, вдруг опустилась на камни, положила руки на колени, заплакала бессильно.

— Ненавижу! Себя ненавижу!— сквозь зубы шептала она.— Видеть вас не могу, Банников! Все гадко, отвратительно...

А он, не успокаивая ее, втягивая ноздрями воздух, хмуро смотрел в сторону.

— Кто-то едет,— сказал он.— Перестаньте лить слезы, вы сами этого хотели...

Со стороны лагеря подымался в горы всадник. Он неценко сидел в седле, подгонял плетью оступавшуюся лошадь. Лида встала, опустив руки, не двигаясь с места, глядела на темнеющую фигуру человека на лошади.

— Сережа,— прошептала она.— Господи...

Сергей остановил лошадь в пяти шагах от них, неловко, но быстро спрыгнул на землю и, пошатываясь, точно преодолевая порывы ветра, двинулся к ним, помахивая плетью.

— А меня послали за вами! — преувеличенно громко и весело сказал Сергей и, больше не говоря ни слова, мельком глянул на заплаканное лицо Лиды, на брюки Банникова, потом решительно переложил плеть из правой руки в левую и этой свободной рукой ударил Банникова в подбородок. Этот короткий и сильный удар оглушил Банникова, сбил с ног в траву. В ту же минуту он вскочил и, потирая подбородок, выговорил отрывисто:

— За что? За что?

Но Сергей, не обращая на него внимания, стоял возле Лиды и говорил возбужденно, хрипло:

— Давно бы мне сказали, я бы ему раньше морду набил! Давно бы сказали!..

А Лида, будто в бессилии, закрыв лицо ладонями, повторяла со слезами отчаянно:

— И меня! И меня!

— Уйди, Сержик, уйди,— неуверенно сказал Банников.— Слышишь, уйди сейчас.

Сергей, как слепой, пошел к лошади, но внезапно остановился и, усмехаясь скованными губами, добавил ожесточенно:

— А ты, сволочь, на глаза не попадайся!..

В середине ночи Сергей, пробродив несколько часов вокруг лагеря, озябший весь, вошел в палатку; не раздеваясь, лег на свой топчан, долго смотрел на огонь «летучей мыши» — ночные мотыльки, треща крыльями по проволочной сетке, вились вокруг фонаря, падали на стол, сквозь тугие удары ветра было слышно, как одиноко тыркал сверчок в полутьме палатки. В колыхающееся слюдяное окошко просачивался каленый лунный свет, лежал полоской на земле, мешался с желтым дремотным огнем «летучей мыши».

Абашикян и Сивошапка не спали, сидели за столом, перебирая породу в лотке. Банникова не было.

— Ты что? — спросил Сивошапка с усталой сипотцой в голосе.— Где пропадал?

— Это мое дело,— ответил Сергей.

— Банников где? — спросил Сивошапка, сдвигая брови.— С тобой был?

Сергей молча лежал, не мигая, следил за тенями на потолке. Эти тени то поднимались, то опускались под брезентовой крышей, брезент звенел от ветра, несущегося с гор. Зябко кричали птицы в тайге, их крики разными отголосками бросало над палаткой, и почему-то казалось Сергею: по брезенту жестко бились, шуршали их крылья, точно в беспокойстве слетались они с гор на тусклый огонек «летучей мыши», мелькавшей в оконце среди пустоты ночи. И, как сквозь дремоту, слышался ему в этом гуле тайги захлебнувшийся отчаянный голос Лиды: «И меня! И меня!..»

— Эх, какую чушь своротил! — проворчал Абашикян,

отложил кусочки породы на лоток и лупой почесал переносицу.— Зачем сюда приехал, Сергей? Нефть искать или ерундой заниматься? Где Банников? Свалится в пропасть — кто ответит? Советский геолог называется... Ишак высшей марки! Теперь искать надо.

Он резким движением подтянул гирю ходиков, говоря раздраженно:

— Забот не хватает! — и спросил: — Где видел Банникова?

А Сергей все неподвижно глядел в потолок, вытянувшись на топчане, мальчишески тощий, бледный, затем сказал через силу:

— Не знаю... А если искать, то ищите возле пятого шурфа. Я никуда не пойду.

— Меня, что ли? — раздался громкий голос, и в палатку шагнул Банников в распахнутой куртке, скулы докрасна накалены ветром, глаза мрачно мерцали, освещенные «летучей мышью».— Действительно искать меня не стоит, сам найдусь,— сказал он и повернулся к топчану Сергея, по-прежнему мерцая узкими глазами.

Он снял кепку, швырнул ее в угол, присел на топчан к ногам Сергея, крепко сжал ему рукой колено. Сказал низким незнакомым голосом:

— На, бей, Сержик, бей! Бей морду, я вытерплю... Не то терпел! Ну что смотришь — бей, может, легче обоим станет.

Сергей с удивлением и неприязнью видел тонкий, решительный рот Банникова, его сильную шею, открытую расстегнутым воротом, и сбросил его руку с колена, как бы не желая понимать открытого смысла слов, которые отчетливо выговаривал Банников.

— В чем дело? — спросил Сивошапка, вставая и загораживая своим широким телом огонь «летучей мыши».— Это що за мордобитие?

— Подожди! — властно остановил его Банников.— Наше дело — разобраться. Ваше дело — не вмешиваться! Сережка не мальчик! Это мужской разговор. Так вот, Сержик.— Он опять с упорством сжал его колено.— Так вот, Сержик. Из-за некой женщинки я однажды бросил все: институт, семью, дочь,— все бросил в чертову пропасть. И остался ни с чем. Ясно или нет? Подробности нужны?

— Убери руку,— сказал Сергей.

— Ладно.— Банников встал, поспешно вынул папиросу, помял ее в твердых пальцах, снова заговорил.—

На Лидии Александровне я, конечно, не женюсь, была просто игра. Об этом я и сказал ей сейчас. Говорю и тебе. И советую, забудь все это, понял? На кой дьявол тебе ветреная бабенка, которая сама не знает, чего хочет! Пустит она твою жизнь под откос, ведь не любит она тебя, не понимаешь разве? Играет она и с тобой.

Банников, болезненно кривясь, стал чиркать зажигалкой, прикуривая. Ветер с силой сотрясал крышу, давил на брезентовые стены палатки — скрипел, вибрировал натянутый, как струна, шест. Сивошапка и Абашикян молчаливо и изумленно следили за выражением неприятно сморщенного лица Банникова, за Сергеем, который лежал, отвернувшись к стене.

А Сергея трясло мелкой дрожью, он сдерживал ее и никак не мог сдержать. Он, застонав, вскинулся, блестя сухими глазами, сказал предупреждающе и зло:

— Уйди отсюда... и замолчи! У меня кулаки чешутся на твою морду! Ты-то с ней что сделал, тоже все рассчитал?

— Эх, Сережка, Сережка,— печально сказал Банников.— Ничего ты не понял!

Тогда Абашикян, оскалясь даже, подошел к Банникову, толкнул его в плечо с несдерживаемой горячностью:

— Выйди, прогуляйся! Кто просил вмешиваться в чужую жизнь?

— Выйди, выйди ко всем псам бисовым! — крикнул Сивошапка и так ударил кулаком по столу, что задребезжал, моргая, фонарь.

Сергей, уткнувшись щекой в подушку, затих.

А через месяц она уезжала из партии.

В ветреную сентябрьскую ночь Сергей вез Лидию Александровну на станцию. Она попросила проводить ее. Не было видно ни крупа лошади, ни звезд, ни деревьев, тайга по-осеннему тягуче шумела. Они сидели на телеге, оба накрывшись одним брезентом; сухие листья — первые предвестники холодов — летели из тьмы, ударялись, скреблись в брезент, сильно дуло по ногам, и от этого было еще неуютнее, тревожнее. Лида молчала. Молчал и Сергей в запутанном чувстве любви, жалости к ней, жестокой обиды и горького непонимания. Почему она попросила его проводить ее и почему он согласился — он не знал, не мог объяснить этого самому себе.

И так же молча, они ждали поезда, стояли под фонарем на безлюдной платформе. Ветер рвал ее плащ, заносил полы, они задевали колено Сергея. Это будто живое прикосновение Лиды сближало их, и он видел, что в маленьких ее ушах не было уже сережек, которые она надевала ради Банникова.

В ночных гулких лесах, пронзительно отдаваясь, закричал гудок паровоза, змейка огней выскользнула из-за горного кряжа — оттуда шел поезд.

— Прощай,— почти беззвучно сказала Лида и протянула руку, спросила тихо и жалко: — Ты что, Сережа, по-прежнему любишь меня?

— Для чего же уезжать? — выговорил Сергей чужим голосом.— Не надо...

И она что-то ответила ему — он не расслышал. Налетел с нарастающим шипением, с железным грохотом поезд, обдал горячей водяной пылью, смял все звуки, сумасшедше зачастил свет теплых окон, и то пропадало, то появлялось в этом мелькании странно поднятое к Сергею лицо Лиды, ее шевелящиеся губы.

— Передай Банникову, что я его презираю,— с трудом разобрав слова, услышал он ее голос.— А я дура, тряпка, девчонка! Понимаешь, Сережа? Дрянь, глупая дрянь!

И, не соглашаясь, готовый в исступленном порыве прощения обнять ее, успокоить, сказать что-то оправдывающее, защитительное, он смотрел в ее ожесточенные глаза и не мог ничего выговорить.

Потом он остался один на платформе. Дальний шум поезда затихал в лесах, давно уплыла в ночь красная искра последнего вагона, и дико, неотвратимо, словно радуясь бешеной своей скорости, закричал в чаще паровоз, рождая мощные звуковые перекаты: «Проща-ай!»

— Прощай,— прошептал Сергей, только сейчас поняв, что он больше никогда ее не увидит.

Он сошел с платформы, вспрыгнул в телегу и, как бы опомнившись, бешено погнал лошадь в черноту ночи, подальше, подальше от этой станции.

1950

РЕКА

1

Сильный ветер шумел в вершинах островов, и вместе с гулом деревьев доносилось тревожное кряканье озябших уток. Уже больше двух часов плот несло по быстрине, и не было видно ни берегов, ни неба.

Подняв воротник куртки, Аня сидела на ящиках и смотрела в темноту, где давно исчезли огоньки Таежска. Только позавчера, после пересадки с поезда на самолет внутренней линии, она прибыла в сибирский этот городок, старинный, купеческий, с современными громкоговорителями на улицах, усыпанных пожелтевшей хвоей, и там, получив назначение, не найдя в себе смелости расспросить подробно о новом месте, плыла теперь в геологическую партию на плоту с совершенно незнакомыми людьми. Было ей неспокойно, и не проходило ощущение странного сна, который должен вот-вот оборваться. Но все было реально: растаяли в холодной тьме слабые искорки дебаркадерных фонарей, она сидела на ящиках, и от порывов ветра в конце плота разгорался багровый жарок трубки, поскрипывало равномерно весло, черным пятном проявлялась человеческая фигура,— и, будто вырываясь из сна, Аня наконец спросила неуверенно:

— Мы нигде не остановимся?

Раскаленный уголек трубки колыхнулся, осветил блеснувший циферблат ручных часов, хрипловатый голос ответил из потемок:

— Два с половиной часа в пути. Что вы не спите, доктор? Ночевки на берегу не будет. Ложитесь возле Свиридова на ящики и спите себе.

«А что сейчас в Москве? — подумала Аня, представляя затихающие к ночи улицы, тихий свет фонарей на

асфальте, зеленые огоньки такси на опустевших стоянках.— Да, да, письма сюда будут идти больше недели...»

— Замерзли, что ли?

— Нет, нет! — сказала она быстро.

Ветер расчищал небо; над высоким левым берегом, в прорехах туч, ныряя, цепляясь за побеленные вершины тайги, катилась луна, становилось то сумеречно, то ясно. Аня, привыкшая к темноте, с удивлением увидела весь плот — ящики, брезент на нем, спящего под тулупом геолога Свиридова и второго геолога, Кедрина, подошедшего к ней от весла: с обоими ее познакомили утром в управлении Нефтеразведки.

Луна высвечивала замкнутое, хмурое лицо Кедрина; просторная куртка с откинутым дождевым капюшоном делала его широким и тяжелым, и еще утром Аня подумала, что он своим мрачным видом был похож не на геолога, каких встречала не раз в Москве, а на какого-то немолодого зверобоя.

— Продрогли, доктор? — сказал Кедрин.— Ну ладно, это лирика...— Он усмехнулся.— Вы как, мозолей боитесь? Или, простите, для медицины очень бережете ручки?

— Почему вы это спрашиваете? — не поняла Аня и зябко засунула руки в рукава.— Странно как-то...

Он, медля отвечать, пососал трубку, проследил, как пронизанные лунным светом белые клочки дыма унеслись к черной воде, после молчания сказал почти грубовато:

— Идите сюда!

— Зачем?

— Идите, не задавайте вопросов! — повторил он тем же тоном и медвежьей развалкой двинулся к веслу.— Здесь я за вас отвечаю, а мне поручено доставить вас в сохранности.

Аня слезла с ящика и подошла, вглядываясь в его лицо.

— Я вас не понимаю.

— Становитесь сюда. Берите весло. Вот так. Ясно? Держите плот посередине... Движение веслом вправо и влево. Наука примитивная, но согреетесь — гарантирую.— И, не ожидая ответа, сел на ящики, выбил трубку о доски, добавил: — Не стесняйтесь, работайте, только мозолей на ручках не бойтесь!

— Но я не пробовала ни разу,— проговорила Аня с робостью.— Я должна управлять веслом? Вы... серьезно говорите?

— Совершенно серьезно. Попробуйте, я же вам сказал.

От волнения, от студеного воздуха у нее заныли зубы, она вправо и влево с усилием повела веслом, вырывавшимся из ее рук, и рядом заскрипела уключина, забурлила вода. Тяжко покачиваясь, плот скользил по быстрине — и, как в непрекращающемся сне, Аня со страхом оглянулась на Кедрина, который молча сидел в накинутом на плечи тулупе, темным силуэтом выделяясь на ящиках, среди залитой холодной луной реки; долго спустя он проговорил вроде бы насмешливым голосом:

— Если не согрелись, доктор, поработайте еще минут двадцать.

2

«Где я? Что со мной?» — подумала Аня, просыпаясь, чувствуя томительную боль в плечах, и, вспомнив ночь, высвободилась из тулупа, изумленно огляделась. Было серое утро. Над головой клубящаяся туча закрыла полнеба. На востоке сквозила узкая щель мутной зари. Пахло дождем. Со свинцовых плесов с беспокойным кряканьем подымались тучи диких уток и, покружившись над рекой, летели в тайгу — должно быть, на тихие озера.

— А, Анечка! Как спали?..

За веслом стоял, притопывая сапогами, геолог Свиридов, розовый после сна, грыз яблоко, вертел оживленно головой, взглядывая на небо, а возле ног его из дверцы железной походной печки краснел огонь. Улыбаясь, он приветливо поднял руку, растопырив пальцы, и обрадованно помахал Ане, как давней знакомой.

— С пасмурным вас утром в тайге, Анечка! — И приятным тенорком пропел: — «Эх, дороги, пыль да туман...» Так вроде, да? А у нас — прелесть. Воздух, ветер, вода... Хотите яблочек, дефицитных в тайге? Кисловаты, но ничего!

— Подождите, я умоюсь.

— Верно. Не учел. Виноват. Никогда ведь не умывались сибирской водой. Эт-то деликатес. За деньги продавать надо.

Он засмеялся, из вежливости подождал, пока Аня умылась, затем, кряхтя, присел против нее на ящик, протянул вынутое из вещмешка яблоко, сказал:

— Пожалуйста, кушайте на здоровье. Витамин,—

и повернулся к затухающей печке: — Хозяйство целое. Не греет на ветру. Но и цыган от холода под сетью спасался.

Свиридов весело потирал руки; весь он был приятно полный, приветливый, домашний, со здоровым румянцем, с ямочкой на подбородке — и Аня подумала: если бы он жил в городе, то, наверно, любил бы выезжать летом на дачу, бегать с авоськой по магазинам, разговаривать с соседями в электричке.

Она откусила яблоко и сказала удивленно:

— Холодное какое!

— Ну как, Анечка, ваша ночная вахта? Нравится вам у нас здесь, а? — смешливо проговорил Свиридов.— Я, знаете, пять лет без передышки в тайге. Бродяга, да и только. Родной дом — куст, земля — постель, медведь — приятель.

— Смотрите! — крикнула Аня, глядя на реку.

Около лесистого, дымящегося в тучах острова плот понесло в бурную, взбесившуюся протоку. На острове мрачно, густо, наклоняясь в одну сторону, зашумели деревья. Вода свинцово замерцала, и стало темно, глухо, как в осенний вечер. Потом, приближаясь, по тайге пронесся настигающий гул, крупные капли застучали по мутной воде вокруг плота, и всюду яростно зашумело: пошел дождь, ледяной, резкий, секущий.

— Под брезент, Анечка, быстро!

И она, задохнувшись от холодного сплошного потока, почувствовала, как Свиридов набросил на ее голову край брезента, и тут же увидела: Кедрин, разбуженный этим криком и дождем, резко откинул тулуп, поглядел, хмурясь, на реку и вскочил, недовольно бросил Свиридову:

— Весло укреплять нужно, черт бы взял!

И шагнул к веслу, под водяную завесу, а дождь уже неистово бил струями, усиливался; как в тумане, не стало видно ни острова, ни берегов, плот сразу показался крошечным, одиноким в этой нескончаемой пустыне воды — и мгновенное чувство заброшенности, отъединенности от всего живого мира кольнуло Аню, когда Кедрин, привязав весло, влез под брезент, в прилипшей к телу рубашке, и вытер хмурое лицо, ни слова не говоря.

— Вы совсем промокли,— сказала она с осторожным упреком.

— А? Вероятно,— невнимательно ответил он и раздраженно выговорил Свиридову: — Терпеть не могу

«авось» да «небось»! Заруби это. Клоунаду для цирка оставь!

Миролюбиво ухмыляясь, Свиридов мягко успокоил его:

— Нервы, Коля, надо беречь. Не восстанавливаются они. Верно, Анечка? Плот — это плот, как известно. Доплыве-ом, не промахнемся. Течение поможет.

— Долго будет дождь? — спросила Аня.

— Терпение,— сказал Свиридов.— Привыкайте.

Однако дождь кончился через час, но солнце не выглянуло, было тихо, мглисто, серо. Низко над рекой, шелестя крыльями, пролетела стая диких уток. Весь плот влажно блестел, в складках брезента скопились озерца, маленькая железная печка была потушена дождем, она даже не чадила.

Кедрин первый вылез из-под брезента, ссутулясь, в промокшей рубашке, присел к печке, начал возиться с сучьями и, мелко ломая их, вскинул на Свиридова посветлевшие от холода глаза:

— Что стоишь? А ну бумагу и спички!

— Нервы, Коля, нервы...— покачал головой Свиридов.— Береги себя для геологии. Все перемелется, мука будет.

— Не зуди.— Кедрин поморщился, взял у Свиридова спички, старую газету и застучал дверцей, зашуршал бумагой в печке.

И Аня, преодолевая робость от этого командного раздраженного тона Кедрина, спросила тихо:

— Может быть, я чем-нибудь могу помочь?

— Что? — хрипловато отозвался Кедрин.— Что вас беспокоит, доктор? Замерзли, наверно, вконец? Идите сюда, садитесь к печке. Признаюсь — сам продрог, как подзаборный цуцик! Или вот что... Скажите, спирт у вас для согрева имеется?

— Вы всегда так будете разговаривать со мной? — с настороженной обидой спросила Аня.— При чем же тут спирт?

— Тогда простите, доктор, обратился не по адресу.

3

Опять вечернее небо темнело в воде, опять с берегов раскатами тек гул деревьев, напитанная сыростью густая темь обволакивала реку промозглым туманом, задавливая над тайгой слабо тлеющую нить заката.

— Анечка, как вы? — послышался голос Свиридова.— Не спите еще? Вторые сутки пошли...

Она не ответила, только плотнее укутала шею поднятым воротником, дыша в мех, согреваясь. Свиридов неуклюже топтался у весла, расплывчатый силуэт его невысокой фигуры почти сливался с чернотой воды, и Аня уже не видела его лица, которое представлялось ей сейчас грустным, усталым.

— Пустыня, вечность,— со вздохом сказал Свиридов.— Ни одной души на сотни километров, ни одного огонька. Странновато, а?

Аня поднялась с ящиков, подошла к Свиридову, волоча по бревнам полы тулупа, прижала к щеке нагретый дыханием мех воротника, посмотрела с полувопросительным ожиданием на меркнущее в потемках туч лезвие заката.

— Какое мрачное небо... Здесь бывает тоскливо, правда?

— Ох, не то слово, Анечка,— заговорил Свиридов доверительно.— Жить в тайге — это не для всех. Все с характером связано. Вот Коля наш немного одичал,— добавил он шепотом, оглядываясь на ящики, где под брезентом спал Кедрин,— хотя тайга для него — мать родна. И то, знаете ли, нервы не выдерживают... Вы на него не обижайтесь. Все перемелется.— Он помолчал.— Покурить, что ли, чтоб дома не скучали... Постойте у руля, доктор, парочку минут, а я тут рядом посижу.

— Пожалуйста, курите.

— Ночью холод свое возьмет,— неопределенно забормотал Свиридов и, притопывая, двинулся к ящикам, прерывисто втянул в себя воздух.— Ночка! Чтоб ее волки съели! Вроде опять дождь начнется, заволакивает. Палатку бы поставить, да плот маленький. На катере бы веселее было... Э-эх, где мои папиросы, отрада моя?

Так, бормоча и вздыхая, он устроился на ящиках, пошуршал своим резиновым плащом, повозился со спичками и вскоре затих там, куря в рукав, пряча огонек папиросы от ветра.

Чуть-чуть переводя весло, Аня выравнивала плот на едва различимую в темноте полоску заката, мрачно и чуждо отсвечивающую в воде стальным холодом, и вдруг с ощущением окружающей плот безлюдной пустоты ночи, чувствуя, как ветер морозно обжег колени в распахнувшихся полах тулупа, почему-то вспомнила прошлую

ночь: залитую луной реку, Кедрина у руля, багровый уголек его трубки — и, как от колючего озноба, передернула плечами, мгновенно очнувшись от тяжелых капель, упавших на лицо, от близкого и слитного рева тайги, от ее несущегося из темноты гула. «Сколько нам плыть еще?» — подумала она со страхом, и на миг ей показалось — случилось что-то, плот бешеным течением несет прямо на берег, весло, как намыленное, выскальзывает из ее рук, и удержать его нет сил в туго забурлившей воде.

«Куда мы плывем? Я ничего не вижу!..»

— Свиридов! — шепотом позвала Аня.— Свиридов! — позвала она громче.

Никто не ответил, и тут что-то бесформенное, черное прошуршало мимо плота, упруго, сильно хлестнуло по бревнам, как ливнем обдало волной влажного воздуха и брызг. Плот стремительно несся в непроглядной тьме.

— Свиридов! — крикнула она.

Свиридов вскочил, заспанно сопя, кинулся к ней, непонимающе и дико схватился за весло, оттолкнув ее в сторону.

— Что случилось? Что вы?..

В то же мгновение оглушающий удар сбил обоих с ног, Аня успела услышать, как пронзительно заскрипел плот, ее бросило к ящикам, ящики скользко покатились по бревнам, и тотчас она с ужасом почувствовала горьковатый вкус водянистых листьев на губах, и стало невмоготу дышать от с силой ударивших в лицо, в грудь мокрых ветвей. Она упала на бревна, задыхаясь, еще не понимая, что произошло, а вокруг и над ее головой шумели невидимые деревья, сыпались ледяные брызги из тьмы. Плот стоял. Со всех сторон сомкнулась чернота, и она едва уловила чьи-то вскрики:

— Аня-а! Аня-а-а!..

Впереди вдруг зажегся, пронзил сеть дождя острый луч фонарика, выхватил из темноты качающиеся кусты, деревья, дыбом вылезший на берег плот, возле него по колено в воде двигались неясные тени и как бы поднимались над этим узеньким светом.

— Накомандовал! — донесся злой голос Кедрина.— Голова на плечах была? Куда смотрел?

— Колечка, да ведь мука в ящиках!.. Что же делать? — отрывисто вскрикивал Свиридов.— Боже мой, Анечка! Где Анечка?..

— Замолчи! За это растяпство бить тебя мало!

В это же время прыгнувший свет фонарика на секунду осветил сдвинутые на плоту ящики, уперся Ане в лицо, и вблизи раздался голос Кедрина:

— Доктор, живы? Не ушибло? (Она только слабо качнула головой.) Свиридов! Осматривай впереди плот! Проверяй связку! Доктор! Сойдите в воду! Только осторожней! Держитесь за плот!..

Впотьмах замелькала желтая полоса света, скользнула по ящикам, наполовину съехавшим в воду, по мокрой щеке, по ощупывающим бревна плота рукам Свиридова, и слабые возгласы доносились оттуда:

— Да как же это, Колечка? На остров наскочили!

— Клади ящики, тебе говорят! — гневно закричал Кедрин.— Что стоишь? Быстро!

Вокруг плота бурлило, заворачивало течение, и Аня, стоя по колено в воде, почему-то прижимаясь к плоту изо всех сил, словно бы издалека слышала, как звенел по реке дождь, шумели над головой деревья, скрипели бревна, стучали об них ящики, кто-то прерывисто и часто кашлял, и лишь теперь ясно понимала, что случилось.

— Доктор, вы здесь?

Приблизилось хлюпанье по воде, и у самого уха Ани — трудное дыхание; влажные крепкие пальцы случайно коснулись ее руки, и рядом прозвучало глуховато:

— Потерпите малость, доктор!

И он прошел мимо нее, что-то стал делать в темноте, загремело весло, звякнула уключина, и она еще ощущала его холодные пальцы и не могла выговорить ни слова, боясь, что может заплакать от бессилия, от какой-то ядовитой бессмысленности случившегося.

— А ну! Толкайте плот! Толкайте сильней! — хрипло скомандовал Кедрин.— Я на весле! Ну, сильней!

— Ну, раз, два, еще! — дыша Ане в щеку, суетливо завозился сбоку Свиридов.— Раз, два, еще! Ну, р-раз!..

Ее руки, упираясь, соскальзывали с бревен, но тут стало немного легче — плот заскрипел, тронулся, и заработала уключина, забило весло по воде. Бешеное крутое течение помогало им и валило с ног.

Когда они подтащили плот к берегу, здесь, в тиховодье, одурманивающе пахло тиной, и как только Аня обессиленно вскарабкалась по размытому берегу вверх, впе-

реди слитно зашумело, будто невидимый водопад низвергался с высоты, обрушивался на вершины деревьев, рокотавших под его напором.

— Костер! Сушняк тащите! — донесся крик Кедрина.

Издали, где гудела, плескалась тайга, что-то кричал Свиридов, голос его затихал, удалялся, и Аня с трудом, спотыкаясь, шла наугад, на звук трещавших в потемках ветвей.

— Аня! Где вы? Аня!..

Она не ответила. И, только услышав близкий треск сучьев, сказала жалко, сдерживая слезы:

— Здесь я...

— Фу, черт! Думал, отстали! — проговорил, в изнеможении отдуваясь, Свиридов.— Хоть глаз выколи...— Он позвал снова: — Аня! — и, не выпуская из рук наломанные ветви, едва отдышавшись, сказал наигранно бодро: — Как же это, а? Как же это вы?

Аня спросила шепотом:

— Где Кедрин?

— Пошел,— возбужденно ответил Свиридов.— Пошел искать сушняк. Да только найдешь сейчас мешок дождя да вагон ветра. Вот вам и романтическое приключение в тайге. Просто кино, а? Ладно, попробуем костер, авось обогреемся, если не закоченеем.

Однако костер не разгорался, едко дымили сырые ветви, и, мотая головой, надсадно перхая, он ползал возле гаснущего под дождем огонька, ругался с остервенением:

— Чтоб тебя волки съели со всеми твоими родственниками! Вот мокрядь проклятая!

— Где Кедрин? — опять спросила Аня.

— Волки его не сожрут, Анечка. Они в берлогах в такую погоду сидят. Палкой не выгонишь.

Кедрин пришел минут через десять, кинул к костру большой ворох моха, охапку сушняка, посмотрел на мучения Свиридова, глухо проговорил:

— Не горит? — помолчал и добавил: — Ночуем здесь. А ну-ка, Свиридов, отойди, без то́лку страдаешь.

Он наломал веток, соорудил из них шалашик, положил в него мох, зажег сразу несколько спичек; костер слабо пыхнул, расширилось пламя, поднялось, теперь стало видно, как сыпалась на огонь дождевая пыль и, подступив вплотную, заблестели вокруг мокрые стволы лиственниц.

— Слава тебе, Коля! Слава! — воскликнул Свиридов

и лихорадочно засуетился возле костра, подбрасывая ветви.— Золотой ты человек, Колечка!

А Кедрин, весь промокший, сидел молча, стиснув коленями руки, по его скулам прыгали красные отсветы, и от этого лицо казалось болезненно осунувшимся, худым; с висков скатывались капли. Потом так же молча он вынул кисет, высыпал табак на ладонь, досадливо шевельнул бровью, медленно ссыпал его обратно, и Аня увидела, как мелко дрожали у него пальцы и стучали зубы, выбивая несдерживаемую дробь.

— Послушайте,— проговорила Аня растерянно.— Конечно, я виновата! Но нам нужно что-то делать сейчас... нельзя же так...

Он странно взглянул на нее блестевшими глазами, сказал:

— Эх, доктор, доктор, хуже бывает. Обождем до утра. Обсушимся, поставим палатку. Не умрем, доктор. Как-нибудь.— Он замолчал и, сморщив лоб, внезапно отрывисто закашлял, потер рукой грудь, пытаясь усмехнуться, сказал: — Я ведь вчера просил у вас спирт... Лучшего лекарства в тайге нет.

Глядя на него, Аня встала, зазвеневшим голосом спросила:

— У вас фонарик? Дайте, пожалуйста.

— Куда вы? — вскинулся от костра Свиридов.— Что вы такое выдумали?

— Я схожу к плоту, Я сейчас.

Включив фонарик, она пошла в темноту, не видя впереди ничего, кроме ртутного блеска травы в коротком лучике света; потом трава влажно зашелестела под ногами, захлестала ее по коленям, и она остановилась: откуда-то снизу донесся рокот воды.

«Река рядом! Надо спуститься! — переводя дыхание, подумала она.— Слава богу, что это недалеко!»

Когда же она вернулась, Свиридов, сутулясь, в угрюмой задумчивости глядел на огонь из-под надвинутого на лоб капюшона. Кедрин лежал у костра, укрывшись с головой тулупом, вздрагивая под ним в ознобе.

Доставая из медицинской сумки склянку со спиртом, Аня спросила осекшимся голосом:

— Что он?..

— Разве не видно, а? Пустыня, дикая глушь! — с сердцем выговорил Свиридов, оборачиваясь, и скривил губы.— Медведи одни живут, и те подыхают!

— Послушайте, Свиридов, зачем вы это говорите? Вы же лучше меня знаете, что надо делать... Надо ведь палатку!..

4

Они втащили Кедрина в палатку и положили на топчан из нарубленных еловых ветвей, наваленных возле принесенной с плота железной походной печки, которая казалась теперь спасением. Весь багровый от жара, Кедрин подтягивал к животу ноги, его трясло; ворочая головой, прижимая щеки к меху подстеленного тулупа, он бормотал что-то отрывистое, невнятное. Вконец измученный установкой палатки, Свиридов вытер свое усталое лицо, многозначительно покосился на Аню, а она, торопясь, снимала с себя новую, выданную в Таежске куртку, затем стащила с Кедрина сапоги, плотно укутала курткой ему ноги и сверху накрыла краем тулупа. На ней теперь было шерстяное платье, еще московское, в каком нарядно ехала сюда, и она мельком, перехватив вопросительный взгляд Свиридова, подумала, что это платье, должно быть, выглядело как-то невероятно здесь, как и новенький стетоскоп, который она вынула из сумки.

Всхлипнув, Кедрин задвигался на топчане, еле слышно зашептал сквозь стук зубов:

— Вот как подуло, м-морозно, ты лесину в костер сруби, слышишь?..

— Бред у него, Анечка.

И Свиридов, с удивлением видя в ее руках стетоскоп, озабоченно заговорил:

— Как вы ушли, давеча, к плоту, он сразу прилег, значит, и зубами заклацал. «Хочу, второй день не могу,— говорит,— озноб выгнать...» А потом начал: на какие-то пики его бросают, в мясорубке мелют! Какой-то кровавый ужас!..— Свиридов удрученно вздохнул: — Эх, Колька, Колька, геологическая твоя душа! Д-да, бывает же, и мамонта с ног — фить! Может, у него... Не энцефалит ли?.. Бывает здесь жуткое такое. От клеща. Температура после укуса... страшная мозговая болезнь...— И, опять взглянув на молчавшую Аню, с напряженной улыбкой выговорил: — Что же делать будем? А? Я пошел за дровами. Это не печка, а прорва. Не согреет она нас...— И, устало пошатываясь после бессонной ночи, вышел, слышно было, как захлюпали сапоги по лужам.

— Кто это? Зачем? — слабо сказал Кедрин, очнувшись от прикосновения к груди холодка стетоскопа.— Вы? Где... Свиридов?

— Я с вами,— еле внятно ответила она и тихонько провела ладонью по его пылающему лбу, но ее слова не дошли до него.

Кедрин ознобно дрожал, как раздетый на морозе, вздрагивали запекшиеся губы, закрытые веки; раз с усилием приоткрыл воспаленные глаза, увидел Аню, долго бессмысленно глядел на нее неузнавающим, затуманенным взглядом и, снова подхваченный бредом, всхлипывая, застучал зубами, быстро, несвязно заговорил что-то непонятное, дикое, и ей почудилось, будто огромной черной тенью в воздухе завитал страх бессилия, похожий на отчаянье среди гудения этого ветра над палаткой, этого нескончаемого дождя, шелестящего по брезенту.

— Аня! Доктор!.. — донеслись до нее приглушенные вскрики из летящего за палаткой гула.

И она вскочила, поспешно отдернула заплескавший полог.

Ветер вместе с брызгами дождя хлестнул по лицу, обдало сыростью, все шумело, раскачивалось впотьмах, и возле палатки полз, скакал по мокрой траве ослабший луч фонарика. Хрипло дыша, подковылял темнеющим комом Свиридов, втиснулся в палатку, едва держась на ногах, бросил у самого входа охапку дров и подкошенно опустился на ветви, землисто-серое лицо его дергалось, грязные руки потирали, гладили правую ногу.

— Что с вами? — спросила Аня встревоженно.— Что у вас с ногой?

— Да что вы спрашиваете? Спасибо вам в шляпу! От вашего сочувствия легче не будет! — озлобленно выдохнул он, взад и вперед раскачиваясь.— На дерягу упал в какую-то яму, ногу... ногу я вывихнул, ну что я теперь с этой ногой?..

Аня, пристально глядя потемневшими глазами, сказала:

— Покажите ногу. Снимите сапог.

Тогда он, кряхтя, стиснув зубы, начал с ее помощью снимать сапог, а она стала на колени около него, осмотрела, ощупала ногу и легким движением дернула ее, проговорила как можно спокойнее:

— Ничего страшного. Потерпите.

— Да вы что? — Свиридов сдавленно вскрикнул, вы-

катил белки, вырываясь.— Кедрина в могилу загоняете, а меня — в инвалиды, что ли? Что вы меня успокаиваете? Какой вы врач? Девчонка вы еще, извините! Смешно это!..

Аня медленно выпрямилась, и вдруг Свиридов показался ей таким отдаленным, незнакомым, чужим, что было невыносимо смотреть на его озлобленное, изменившееся лицо, на ямочку на его полном подбородке, на его измазанные грязью руки, защищающие ногу.

— Знаете что,— сказала она негромко,— вы правы. Ложитесь, пожалуйста, и успокойтесь.

Он повалился на ветви, косясь в сторону Кедрина, всхлипывающего в бреду, но тут же сел, словно толкнуло его, остановил моргающие глаза на желтом огне «летучей мыши».

— Простите меня, Анечка,— нашло на меня, сам не знаю...— заговорил он с придыханием.— Нам что-то делать надо, что-то делать! Утром погрузиться бы на плот, до партии добраться, а там Кедрина в больницу, на катере или вертолете. Понимаете? К людям надо!..

— Нет, с ним я никуда не поеду,— ответила Аня, сидя у изголовья Кедрина, и отрицательно покачала головой.

— Вы с ума сходите, доктор! — сердито проговорил Свиридов.— Вы небось об энцефалите и слыхом не слыхивали!

Она молчала.

Свиридов лег на ветви и заворочался, зашуршал плащом, шумно втягивая в себя воздух:

— Боже мой, боже мой, кому это нужно?..

5

Она проснулась от холода, от какого-то смутного движения в палатке и неспокойно вскинулась с первой мыслью, что поднятый видениями бреда Кедрин, вскочив, пытался выйти, отдернуть полог, но тотчас услышала его частое дыхание, увидела освещенное «летучей мышью» темное, обросшее щетиной лицо, опаленное жаром, его мечущееся на топчане большое, будто раздавленное тело — и это окончательно стряхнуло с нее остатки сна.

Свет «летучей мыши» сиротливо слабел, тускло мерк в водянистом воздухе утра, проникающего сквозь окон-

це, печка угасала; все не переставая, плескал дождь по брезенту, и от стен палатки дуло сырым холодом.

— Слышали? Всю ночь бредит он,— прошелестел сдавленный шепот за спиной, и, оглянувшись, она неясно различила Свиридова.

Он сидел на ветвях неподвижно, сутуло и, продрогший, невыспавшийся, укутанный в плащ, похож был на нахохленную птицу, и ей со страхом представилось, что он сидел так всю ночь, ждал чего-то.

— Вы что-то хотите мне сказать? — спросила Аня намеренно спокойно.

Он качнулся вперед, белки его засветились, скользнули по лицу Ани, и он заговорил прерывающимся голосом:

— Я больше вас видел, пережил, я в отцы вам гожусь, у меня тоже дочь, Зиночка, и я с точки зрения психологии и вашей неопытности понимаю вас: молодость и самолюбие...

Слегка покачиваясь, он говорил так, как если бы обвинял Аню в самолюбивой молодости, и его шумное сопение раздражало ее.

— Вы отказываетесь...— продолжал Свиридов,— отказываетесь плыть и не отдаете себе отчет, чем все кончится. Не-ет, Анечка! Мы оба рискуем, очень рискуем человеческой жизнью! Его в больницу немедленно надо. Жутко подумать: сутки без сознания! И мы тут бессильны...— Он сумрачно повел бровями на Кедрина, договорил со страстной убедительностью: — Аня, вы молодой врач, неопытный... а это страшная болезнь мозга, с таежным энцефалитом немедленно изолируют! Вы еще, может, не в курсе, а я знаю!

Она смотрела на него с пристальным удивлением и молчала. Он с плохо скрываемым беспокойством, комкая лицо подобострастной улыбкой, заговорил внушительно:

— Анечка, есть единственное разумное решение: не ждать, добраться до геологической партии и нажать на все педали! Только умоляю вас, милая, поймите меня правильно. Я немедленно пришлю катер, и не думайте, не думайте, Анечка, что есть другой выход. Надо ехать!..

— Да, да! Уезжайте, быстрей уезжайте,— сказала брезгливо Аня и отвернулась, чтобы не видеть его лицо.

Она не видела, как он, затрещав ветками, поднялся, спешащими пальцами застегивая плащ, и, прихрамывая,

пошел к выходу, выговорив тихим заискивающим голосом:

— Я плот осмотрю, Анечка. И продукты вам принесу.

Она не повернулась, ничего не ответила, злые обидные слезы душили ее.

6

Только утром на вторые сутки Кедрин очнулся и, открыв глаза, долго лежал безмолвно, весь в холодном липком поту, а когда губы его зашевелились, она разобрала слабый шепот:

— Где мы? Что со мной? — И он с трудом поднял голову, нашел осмысленным взглядом Анино лицо, спросил еле слышно: — Это вы, доктор? Где мы?

— В палатке. Лежите, пожалуйста. Все хорошо.

Тогда он послушно опустил голову, потом, как бы мучительно пытаясь вспомнить что-то, проговорил наконец нетвердо и хрипло:

— Аня, вы ходили куда-то ночью... в дождь... когда это было? — И с каким-то виноватым выражением потер грудь.— Скрутило меня. Что же это? И, знаете, в голове ни одной мысли. Блаженное успокоение...

А она, сдерживая радость, присела рядом на топчан, не отрываясь от его исхудавшего виноватого лица, неожиданно сказала, как ребенку:

— А теперь мы будем лежать и слушаться врача...

Повернув к ней голову, он как-то по-детски робко растягивал в улыбке почерневшие губы и все, задумчиво морщась, тер под тулупом одной рукой грудь.

Он неузнаваемо за эти дни изменился: обросшие щеки ввалились, на скулах выступил кирпично-желтый румянец; говорить ему было трудно, голос звучал ослабленно-глуховато, его открытая шея казалась беспомощной — и видеть это было ей до жалости странно.

— Хотите есть? — спросила она, наклоняясь к нему.— Вы только не говорите. Вы только головой кивайте.

Он слабо усмехнулся и ответил:

— Нет.

— У вас болят суставы?

Он отрицательно покачал головой и опять, точно вспоминая, вопросительно оглядел палатку, затем спросил:

— А Свиридов где?

— Уехал. В партию.

— Зачем?

— Так нужно было, наверно,— спокойно ответила Аня.— Сказал, что там... нажмет на все педали, чтобы за нами прислали.

— Что он еще сказал?

— Ничего.— Она выпрямилась.— Сказал, что у вас энцефалит. Поставил диагноз. И уехал. Обещал прислать катер.

— Ничего не понимаю. Энцефалит? Можно мне курить, доктор? Обещал прислать катер?

Он потянулся за трубкой, которая вместе с планшетом лежала в изголовье топчана возле его часов, взял ее, стал набивать дрожащими от слабости пальцами, и ей показалось, что даже пальцы у него исхудали. Она легонько высвободила трубку из его руки, мягко сказала:

— Это... потом. Хорошо?

— Вы понимаете, в чем дело? — спросил Кедрин.— Мы приблизительно на трети дороги от партии. Катер в ремонте. Не понимаю, на что надеялся Свиридов? На бога? На черта?..

— Пока об этом говорить не будем,— сказала Аня.— Мы обождем. Вам нужно окрепнуть.

— Вы думаете, у меня... серьезная болезнь? — Он прищурился.— Вы мне сразу скажите — долго с ней возиться? Почему вы сказали об энцефалите?

— Нет,— твердо ответила она.— Мне кажется, теперь вы поправитесь скоро. У вас была тяжелейшая простуда, к энцефалиту это не имеет никакого отношения.

— Не хотелось бы иметь с ним дело...

Кедрин посмотрел на какие-то лекарства и ампулы, разложенные на газете, на новенький шприц в металлической коробочке, смущенно посмотрел на Анино осунувшееся лицо, на темные круги под огромными глазами и, встретясь с ней взглядом, вполголоса проговорил:

— Мне кажется... вы устали со мной?

7

На исходе следующего дня Кедрин попробовал встать, но его покачивало из стороны в сторону и при малейшем движении бросало в горячий пот, позывало на тошноту. Сильное его тело, высушенное жаром, не слушалось, не

подчинялось ему, колени подгибались, и лишь с помощью Ани он доковылял до окна, сел, переводя дыхание; она, придерживая его, сказала:

— Вам все-таки полежать надо.

Он шепотом ответил:

— Клин клином... как говорят... Будем учиться ходить.

Трудно дыша, он с любопытством выздоравливающего поглядывал на забрызганное дождем окошко и прижмуривался, как от ослепительного света; его глаза после болезни казались неузнаваемо глубокими, беспричинная улыбка то и дело возникала в них вместе с мальчишеским удивлением.

А по оконцу косо ползли капли, снаружи на ветвях дрожали, мотались глянцевито-влажные листья под дождем, и все время шуршало над головой, стучало по брезенту палатки. Листья, сорванные ветром, летели мимо, один широкий, плоский, на секунду прилип, прижался к оконцу и медленно соскользнул тенью.

— Видели? — изумленно сказал Кедрин.— Заглянул к нам. Любопытный! Видели или нет?

И, выбив трубку о железную печь, тихонько засмеялся. Аня украдкой наблюдала за ним, и по всему тому, что он делал, говорил, даже по тону его голоса она понимала, что он выздоравливал.

— Кедрин... вы трубку не курите. Хотите, я вам сверну козью ножку? Я умею. Это вот так делается.— Она достала из кисета Кедрина старую, сложенную в книжечку газету, оторвала уголок и, наклонив голову, начала старательно сворачивать козью ножку; свернула, подула в середину, сказала: — Теперь сюда надо насыпать табак. Правда ведь? Дайте табак. А теперь курите. Я вам сейчас спичку зажгу.

Зажгла спичку неумело, держа ее за кончик, но спичка потухла, и она с возмущением проговорила:

— Я бы директору спичечной фабрики такой нагоняй дала, ужасные спички!

— Потому что к спичкам не приложена инструкция, как их зажигать,— шутливо сказал Кедрин.— А кто вас научил свертывать козью ножку?

— Мой дед.

— Завидую вашему деду.

Оба рассмеялись, и внезапно почудилось Ане, что его слова и этот смех разрушили что-то стоявшее между ними, и с чувством непонятного испуга она поднялась,

следя за извивами струек, беспрерывно ползущими по оконцу.

Кедрин глухо сказал:

— Вы похудели, Аня. Вы устали со мной?

Аня поглядела на него непонимающим взглядом и несогласно тряхнула головой, светлые волосы ее упали на щеку.

— Нет, нет,— ответила она и улыбнулась, повторила: — Нет.

— Аннушка,— вдруг задохнувшись от нежности, шепотом сказал он.— Аннушка!..

Он встал, его теплые, ищущие, казалось, ее зрачки глаза придвинулись к ней, и она видела в них свое отражение и видела его брови так близко от себя, что можно было погладить их пальцем. Она, не двигаясь, стояла, заложив руки за спину, и, обмирая от этой близости, дрожаще и доверчиво улыбалась ему, вместе с тем почему-то слышала, как в тугой тишине трещал в печке огонь, горячими отблесками касаясь ее щеки, шеи, и чувствовала, как он с осторожной нежностью взял ее руку, стал неловко гладить ее пальцы,— у него было такое лицо, будто между ним и Аней появилось нечто хрупкое, что он боялся разбить нерассчитанным движением.

— Аннушка,— повторил он.— Удивительно...

Из раскрытой дверцы гудящей печи резко выщелкнулся красный уголек, упал на ветви между Аней и Кедриным.

— Вот так мы пожар наделаем,— сказала весело Аня.— Вот тогда будет ужасно...

Она высвободила руку и двумя ветками, как щипцами, подхватила уголек, бросила его в печь, опустилась на топчан и тут же зябко передернула плечами, готовая засмеяться, сказать, что вот стала мерзлячкой, но ничего не сказала, только накинула куртку. Багровые блики огня прыгали по ветвям на полу, по ее ногам — и она несколько раз провела ладонями по коленям, не глядя на Кедрина, который после молчания заговорил глуховатым, незнакомым ей голосом, однако с нарочитым оттенком предлагаемой игры:

— А вот... представьте, по всей тайге прорежутся шоссейные дороги, вообразите современные города, кинотеатры, бассейны... А вы, например,— представьте это на секунду,— выйдете из своего дома, с ванной, паровым отоплением, сядете в машину и через двадцать минут по прямому шоссе прибудете в Таежск на совещание вра-

чей.— Он выждал немного и с опасливой шутливостью спросил: — Вы хотели бы так жить, Аня?

— Не знаю,— неопределенно ответила она.— Я очень люблю Москву.

Тогда он рассмеялся, и была в этом смехе некая даже насмешка над самим собой, начавшим говорить не о том и уведшим разговор в сторону.

— Ладно. Если вы не возражаете, то давайте пить чай. У меня страшный аппетит появился.

— Давайте, давайте, мы сейчас подогреем,— ответила Аня тоже с преувеличенным оживлением и, взяв чайник, краснея, почувствовала, что он смотрит на нее, обернулась.

А он с грустным лицом начал набивать табаком трубку, говоря вполголоса:

— Я знал одну женщину, которая ненавидела тайгу.

— Это была ваша жена?

— Нет.

На следующий день утром он долго перебирал бумаги в планшетке, затем, хмурясь, засунув руки в карманы, остановился посреди палатки, спросил:

— Какое сегодня число? Где же все-таки Свиридов?.. Что он там? — И, сказав это, отдернул полог над входом, за которым в туманце сыпалась не переставая мелкая пыль дождя.— У вас не было такого? Иногда посмотришь на ушедший день и видишь, что прошел он впустую, вычеркнут из жизни, словно листок календаря оборвал.

— Вы говорите так, будто бездельничали,— с мягким упреком возразила Аня.— Вы же болели!

— А болезнь разве не отнимает у человека дни? — Он помолчал, договорил раздумчиво: — Да, Аня, нам пора двигаться, кажется.

— Нам просто необходимо двигаться,— сказала Аня.— Но как?

— Для этого нужно выйти из палатки. Вы разрешите мне, Аннушка? — И, задернув полог, сделал несколько шагов в узком пространстве между оконцем и печкой.

Она заметила, что в обращении с ней он стал как-то по-новому робок, стеснителен, стараясь не коснуться ее, ходил по тесной палатке опасливо, еще не совсем окрепший, без твердости в движениях, от этого смешно неуклюжий, и Аня, глядя на его смущенно покачивающую-

ся спину, на соломенные косички его отросших на затылке волос, думала, что ей почему-то приятно было видеть этого грубоватого Кедрина не таким, каким он был в первый вечер на плоту, как будто стеснялся сейчас и себя и ее после своей слабости, после вчерашнего разговора. И она повторила, боясь, что он поймет ее не так, как надо:

— Вам очень вредна сырость. Но как отсюда двигаться?

Он заговорил весело:

— Аня, я здоров как бык. И нет безвыходных положений, верно? Пойдемте-ка к реке, посмотрим, авось что-нибудь придумаем.— И, надевая плащ, чересчур предупредительно и покорно обратился к Ане: — Видите, я на разведку с вашего разрешения. И с вашего разрешения возьму топор. Ладно?

Аня прикусила губу, понимая, что он, как и она, сказал не то, что хотел сказать, и в нерешительности кивнула.

— Тогда пойдемте вместе. Буду ходить за вами хвостиком. Согласны?

Ветер упал, моросило, низкое пепельное небо неслось над верхушками тайги, чернеющей по берегам, и, придушенное этим суровым небом, все было угрюмо, мокро, неприютно; сквозь туманец поблескивали низины, затопленные водой.

На берегу Аня, пронизанная сыростью утра, подняла руки к груди, вдохнув холод напитанного влагой воздуха, не без тревоги увидела, как Кедрин спустился к краю заводи, куда ночью они притянули плот, и там стоял не двигаясь, озирая набухшую грязную воду, тускло мерцавшую среди кустов и деревьев.

С минуту постояв, он медленно пошел по берегу, раздвигая кусты, исчез среди плотно окружившего низину ельника и потом появился на противоположном скате заводи. Кедрин держал топор, устанавливая ноги возле толстого ствола ели, и круто, с размаху ударил. Топор, сверкнув, впился, брызнула белая сочная мякоть, и сейчас же резко и быстро выдернутый снова вонзился в зазвеневший ствол. Когда она подошла, его бледное, возбужденное лицо было влажно от дождя и пота, и он только выговорил разгоряченно:

— Через день, через два, но у нас будет плот...

— Вам не хватит и месяца. Этой работой вы надорвете сердце. Перестаньте...

— Аня, еще немного... Будем работать с перекурами,

8

В ранние сумерки после нескольких часов работы с перерывами они сидели возле накаленной докрасна печки, развесив на кольях намокшую одежду, и Кедрин дрожащими от усталости руками зажег спичку, поднес ее к фитилю «летучей мыши» и поднял голову, замер с прислушивающимся выражением.

— Слышите? — спросил он.— Вы что-нибудь слышите, Аня?

Неясный глухой рокот то приближался, то затихал, напоминая отдаленный вибрирующий звук самолета в затянутых тучами высотах, и Аня с сомнением и надеждой быстро повернулась к темному оконцу, задерживая дыхание.

— Это Свиридов! Неужели он? — сказал Кедрин, торопливо зажигая фонарь, и вышел из палатки, размахивая «летучей мышью» над головой.

Аня, тоже еще не веря, вышла следом и видела, как фонарь Кедрина, описывая короткие круги, отдалялся в воздухе, а где-то из-за тайги справа на реке возникла красная звездочка, она делала длинные дуги, колыхалась и плыла по странной параболе. И стали видны несущийся, как по воздуху, черный силуэт, струи дождя, летящие наискосок в свет фонаря, который все описывал полукруг, полосой белого света щупая берег, заметно приближаясь к фонарю Кедрина.

Скоро мотор заглох. В наступившей тишине донесся с берега громкий голос Кедрина, ему ответил звучный, сердитый басок, и опять смолкло, лишь по-прежнему лопотал по листьям дождь. Потом из темноты показался Кедрин с фонарем, рядом шагал высокий узколицый паренек в кепке, в кожаной замасленной куртке, на руках его блестели тоже кожаные перчатки, и Аня при свете фонаря разглядела: почти подросток, а глаза злые, недовольные, две самолюбивые складки пролегли у сморщенных губ, готовых, казалось, выругаться.

Уже войдя в палатку, Кедрин спросил удивленно:

— Значит, один? Ну а где же в таком случае Свиридов?

Паренек стянул кепку, с сердцем швырнул ее на топчан, давно не стриженные его волосы взлохматились гребнем.

— Свиридов! Свиридов! Нагородил мне этот дьявол

ерундовину! Будто вы и болезнью какой-то заразной болеете и что вы чуть не при смерти! Часов десять плутал, как сволочь какая-нибудь, еще бы немного — и проскочил бы! Вода прибыла, острова затопило — ни хрена не видно! Объяснить как следует не мог!.. «По бережку, по бережку...» Вы б не встретили — так бы мимо и проскочил!.. «По бережку!» — срывающимся баском передразнил он, видимо, Свиридова и покосился на Аню.— А это кто — доктор, что ли, новый?

— Сволочей и все прочее прекрати! — серьезно сказал Кедрин.— Вот лучше познакомься — наш новый врач Анна Сергеевна. И успокойся, ясно?

— Очень приятно! Моторист Михаил Прищепа,— хмуро и вскользь бросил парень.— Свиридов! — продолжал он и рывком расстегнул куртку.— Морду ему набить!.. Заболел, ногу, видишь ты, вывихнул, лежит и охает: «Ноженька, моя ноженька!» В общем, координаты такие дал, что каждый черт ногу сломит! Сам не поехал в дождину-то! Искал я вас, как иголку в колодце. Найди-ка разом в такую простоквашу!

Парень был всерьез озлоблен, никак не мог успокоиться, насупливал белесые брови и вновь, точно поперхнувшись, говорил с закипавшей неприязнью:

— Хитрован он, Николай Петрович, вот что я вам скажу! Ноженьку он вывихнул! Ездил я не раз с ним за продуктами для партии, знаю! Сказали бы ему: езжай, тысяча рублей на суку висит — поехал бы и про ножку забыл бы враз. Знаем таких!

Кедрин слушал парня, усмехаясь одними глазами.

— Стоп, Миша,— наконец прервал он.— Не надо все сразу приводить к общему знаменателю. Аннушка, собираемся?..

Аня присела на корточки, рассеянно укладывая вещи.

9

Река, холодная, мутная, неслась меж скал, и все утро тянулись и тянулись по их склонам черные леса. Ревя мотором, катер шел посередине ровного водяного простора, ветер гудел, и Аня, плотнее натягивая одной рукой тулуп на грудь, смотрела на тяжелую от дождей воду, на плывущие назад берега, спрашивала изредка:

— Скоро? Это скоро?

— Осталось немного! — отвечал Кедрин, перекрикивая рокот мотора.— Очень скоро!

— Скорей... Только скорей бы!..

— Почему, Аня, скорей бы?

— Не знаю. Только бы скорей...

Лишь в полдень река сделала пологий поворот, левый берег оголился, но правый, почти отвесный, темнел тайгой, поднимался над водой. И там, на горе, в межлесье, чуть заметным треугольником забелела палатка, показались два свежевыстроенных домика, с реки было видно, как сияли стеклом и гасли окна.

«Значит, вот где,— подумала Аня.— Значит, здесь?»

И она привстала, держась за борт, тулуп сполз с ее плеч, упал к ногам.

Впереди над рекой расчистилось — выглянул ослепительно голубой клочок по-летнему теплого неба; низкое солнце, прорываясь в голубую брешь, огнисто-дымными столбами отвесно падало в воду, на листву стоявших на затопленном острове берез, от их стволов воздух казался светлей.

— Прибыли! — крикнул моторист довольным утвердительным баском.— Дома, можно сказать!

Катер пошел к берегу, отваливая волну; мотор замолк, стало непривычно тихо. Шлюпала о борт вода. Кедрин первым спрыгнул на берег, с веселым лицом протянул руку Ане, помог сойти ей, а навстречу сразу смолисто потянуло запахом стружек, сырой щепой, два новеньких домика сверкали под солнцем гладкими тесовыми крышами рядом с брезентовой палаткой.

— Прибыли? Уже? — растерянно переспросила Аня, оглядываясь, чувствуя, что может упасть, оттого что затекли от долгого сидения ноги.— Неужели приехали?

— Уже, Аня,— ответил Кедрин.— Вот сюда мы и плыли на плоту!

— Колечка! Анечка! Приветствую вас!.. Живы-здоровы?

Аня подняла голову: сверху от двух домиков, спотыкаясь от поспешности, прихрамывая, спускался к ним Свиридов, сияющий, выбритый, в начищенных коротких сапожках, и, смеясь, захлебнувшись от избытка чувств, потрясал обеими руками.

— Милые мои!.. Так ждали вас! Коля, дорогой мой, выздоровел? А вы как, Анечка? Значит, все, слава богу,

в порядке? Господи, а я только с постели! Я так беспокоился, теребил начальника, надоел всем!

Свиридов приближался к ним, семеня ногами, возбужденно отпыхиваясь, и теперь руки его были распростерты, будто заранее приготовленные для объятий.

— Подожди обниматься, Свиридов,— сухо остановил его Кедрин.

— Ах, как неудачно, как неловко получилось! Но я рад, что так кончилось,— обрадованно и суетливо говорил Свиридов, не расслышав или не поняв слов Кедрина.— Колечка, милый, тебе сюрприз! Здесь без вас — письма! Тебе, Коля, деловое, а вам, Анечка, из Москвы еще нет! Пишут! Да где же оно у меня? Сейчас, сейчас! Ах, как это неожиданно получилось!

Он, торопясь, стал шарить по нагрудным карманам, а глаза на его полном лице беспокойно играли, радовались, на секунду сочувственно грустнели и снова выражали восторг, и Ане не хотелось на него смотреть. Она молча пошла по берегу, и тут же за спиной в ответ на ровный голос Кедрина сниженно и возмущенно зазвучал тенорок Свиридова.

И, только отойдя на несколько шагов, она с облегчением и ожиданием огляделась вокруг. Далеко по этому берегу, куда хватало зрения, уходили леса, вблизи, на самой опушке, тянулся в синем воздухе, курился расплывчатый дымок от костра. А глубоко внизу, у берега, течение с силой влекло смытые водой лесины, яростно кружа их под обрывом в мутных заводях, но вся ширина реки переливалась в солнечном блеске погожего яркого дня и далеко вправо заворачивала в коридор тайги.

«Здесь мне жить? — подумала Аня.— Именно здесь?..»

Она наклонилась и сорвала поникший от дождя цветок, зябко пахнущий ветром, и стала с интересом рассматривать его. «Здесь мне жить? — снова подумала она, еще не веря в это.— Здесь они ищут нефть?»

— Не имеешь права! — услышала она поднятый тенорок Свиридова.— Я хотел помочь тебе! Я сам был в тяжелом состоянии! Не имеешь права!..

Подошел Кедрин, губы его были сжаты, и она спросила тревожно:

— Вы что?

— Говорил по душам,— усмехнулся Кедрин.— И не договорил. Идемте, Аня, я покажу вам комнатку. Знакомить со всеми буду потом. Сейчас все в тайге. Вам полагается отдохнуть.

— Немного подождите,— сказала Аня.— Я посмотрю...

— Вы еще всё посмотрите,— проговорил Кедрин и осторожно взял ее за рукав.— Пойдемте, Аннушка...

Они пошли к домикам, вокруг которых еще кучами нежно белела щепа, и веяло оттуда запахом свежего теса.

1950

«ПРОСТИТЕ НАС!»

Южный экспресс задержался здесь не более пяти минут. Павел Георгиевич долго стоял на безлюдной платформе и слушал горячую трескотню кузнечиков за насыпью степного разъезда.

После духоты вагона, утомительных дорожных разговоров в накуренном купе за полночным преферансом, ненужных знакомств, после надоедливого поскрипывания полок Павла Георгиевича охватила неправдоподобная тишина.

Он не без удовольствия сел на чемодан, перекинул плащ через плечо и сидел так, оглядываясь со счастливым облегчением. Хотя по роду своей профессии ему не так много приходилось ездить, он непонятно почему любил нефтяной запах шпал, гудки паровозов, спешащий перестук колес, теплый ветер от бегущих вагонов — все это будило смутное желание к движению, к перемене мест.

Иногда в Москве, до глубокой ночи засиживаясь над чертежами, он подымал голову, глядя в распахнутое в тополя окно, и, задумавшись, подолгу слушал, как вкрадчиво над спящим городом перекликались на вокзалах ночные поезда. Порой гудки мешали ему, будоражили его, и отчего-то тогда вспоминалась вечереющая степь с пыльным закатом над темными стогами, и, подхваченный волнением, он бросал работу, на цыпочках, чтобы не разбудить жену, уходил из дому, бродил по пустынным и тихим улицам.

Павел Георгиевич Сафонов работал на большом заводе конструктором, был известен, с годами привык к этой известности и, казалось, даже немного устал от нее, как порой устают люди, когда к ним рано приходят успех и

удовлетворение. В этом году Сафонов, утомленный сложной зимней работой, был в санатории на Южном берегу Крыма. Ослепительно солнечный юг с его острой, сухой жарой, пыльными экзотическими пальмами на бульварах, прокаленный песок пляжа, купание и процедурное лежание под теплым йодистым дуновением моря, весь санаторный режим располагали к безделью, одолевала курортная лень, и мысли в эту жару тоже были притупленные, ленивые, и хотелось быстрее в Москву, к осенним дождям, к мокрому асфальту, к блеску фонарей в лужах.

Южный экспресс, на котором Сафонов возвращался из санатория, мчал его по знакомым местам, где Павел Георгиевич родился, вырос, где он не был много лет. Утром, глядя в овлажненные окна тамбура на прохладную степь, Сафонов с какой-то грустной обостренностью вспоминал то, что уже было полузабыто: вот он, мальчишка, в грязной сатиновой рубашке, с цыпками на руках, бежит по этой ледяной от росы степи, бежит вслед за поездом неизвестно куда, и отяжелевшая от влаги трава хлещет его по коленям, холодит ноги... Сколько тогда ему было лет? Порой ясно чудилось, будто вместе с Верой он идет по лунным косякам на Шахтинском холме, внятно и мучительно пахнет из низин полынью, и потрескавшиеся, обветренные губы Веры тоже пахнут полынью. Воспоминания возвращали его в давний прожитый (а может быть, непрожитый) мир, говорили, напоминали, что ему уже за сорок и что не так много сделано в его жизни, где давно, отмеченная прочными вехами, прошла первая молодость.

И вдруг его непреодолимо потянуло побывать в родном своем степном городке: побродить по нему, почитать афиши на заборах, увидеть старые названия улиц, узнать, что изменилось в нем за многие годы, непременно встретить знакомых школьных лет, таких далеких, словно их и не было. Ему страстно захотелось посидеть с другом юности Витькой Снегиревым где-нибудь в летнем кафе, под тентом, за холодным пивом, вспомнить то наивное, давнее, милое, что уже никогда не повторится, но что все-таки было когда-то в его жизни.

И хотя это желание победило, Павел Георгиевич с ироническим видом потер нос (в свои годы он иногда подтрунивал над собственными желаниями), вошел в купе, где все спали, торопливо уложил чемодан, взял плащ и, к удивлению заспанного проводника, бесшумно подметающего в коридоре, сошел на маленьком разъезде

этим ранним июльским утром. Он сошел не на вокзале в городе, а именно здесь, чтобы дойти до города пешком.

Южный экспресс с жаркими от зари стеклами, с запыленными занавесками тронулся, полетели вдоль насыпи бумажки, поднятые ветром, и ушел быстро; дымки почти беззвучного паровоза таяли среди сиренево стекленеющего неба далеко на западе, все стихло.

Только у самой насыпи неумолчно звенели в неестественной тишине кузнечики.

Сидя на чемодане, Сафонов не без волнения выкурил папиросу, подумал: «Необычайно хорошо!» — и с наслаждением вдохнул на полную грудь зябкий и чистый, как ключевая вода, воздух. Степь, по-летнему свежая, в этот спокойный час утра тепло и ало краснела за холмами. Там, в эту пылающую бесконечность пылила вдали по косогору грузовая машина, и, четко вырезанные по красному, проступали терриконики, дальние силуэты водонапорной башни, оазисы беленьких домов, острые верхушки тополей.

С насыпи Павел Георгиевич не торопясь спустился в степь, как в чашу, наполненную еще ночной прохладой, терпкой волной обдавало сырым запахом полыни. И пока он выбрался на дорогу, колени его стали влажными, на плащ, на брюки нацеплялись репейники, чемодан облепили мокрые лепестки.

Он шагал по дороге, приятно утопая ботинками в мягкой пыли, затем сорвал прутик с молодой липкой кожицей; по-мальчишески сбивая росу, ударил им по головке какого-то фиолетового цветка у обочины (название которого в детстве знал, но теперь забыл). Из глубины цветка неожиданно поднялся сонный золотистый шмель, весь в намокшей пыльце, и тяжело, сердито прогудел мимо.

— Ишь ты! — сказал Павел Георгиевич, провожая его веселым взглядом.— Прости, если потревожил...

Когда Сафонов вошел в родной городок, окраины встретили его длинными, через всю дорогу, тенями от старых тополей; кое-где в садах подымался синеватый самоварный дымок, ветви уже обогретых солнцем яблонь свешивались через заборы. Сафонов шел, помахивая прутиком, глубоко вдыхал запах садовой свежести, этот горький самоварный дымок — эти запахи, эти тени от тополей напоминали детство, голубятню, игры в Чапаева, сокрушительные набеги на чужие сады,— как давно это было! Да было ли?

Весь день он ходил по городу и не узнавал его. И город не узнавал Сафонова. Старинный степной этот городок был точно заново заселен, заново выстроен; незнакомо блещущий зеркальными витринами центр его кишел пестрой, куда-то спешащей через перекрестки толпой, милиционеры, с шоколадно опаленными солнцем лицами, в белых кителях, заученно-щегольски взмахивая палочками, регулировали движение; разомлевшие, потные люди стояли на троллейбусных остановках в пятнистой тени акаций, везде продавали газированную воду, как в Москве, как на улице Горького... А раньше тут зевали от жары, лениво покрикивали краснолицые, бородатые мороженщики в передниках, похожие на дворников, и залитые зноем улицы были безлюдны, накалены, только собаки лежали в прохладе крылец, дремали, высунув языки, и в горячей полыни стонали куры.

Он в четвертый раз не спеша проходил по той улице, где родился и где прежде стоял его низенький глинобитный домик. Теперь на этом месте был бульвар, молодой, опрятный, с песчаными аллеями, исполосованный тенями, солнечными пятнами. И этот бульвар совсем не помнил и не знал детства Павла Георгиевича, не знал, как здесь он неуклюже поцеловал у несуществующей сейчас калитки Веру, и она, странно потрогав пальцами свои губы, откинув голову, сказала с беспомощной растерянностью: «Теперь на всю жизнь, да?»

Сафонов с томительно замирающим сердцем сел на скамью, долго оглядывал бульвар. Ничего не осталось от прежнего, от его детства, ничего не осталось... И было обидно, непонятно это, будто жестоко и зло обманули его, отняли что-то, чего нельзя было отнимать.

Но где сейчас Витька Снегирев? Где Вера? Витька — первая мальчишеская преданность, Вера, как говорят,— первая любовь, незавершенная и трогательная, с записками в школе, с мягко падающим на крыльцо снегом, с первым неумелым поцелуем, который он помнил...

Павел Георгиевич посмотрел на детские коляски, на малышей в белых панамах, ползающих среди песка, на загорелого парня в безрукавке, на угловатую, как подросток, девушку с веточкой акации в зубах, на незнакомых людей, медленно идущих по аллее бульвара, и поднялся, каким-то постаревшим жестом перекинув плащ через руку. Он почему-то ощутил себя экскурсантом в этом городе.

Но его вдруг потянуло на Садовую, там, на этой окраинной улице, густо заросшей деревьями, жил в том мире детства Витька Снегирев, а на углу, возле аптеки, в маленьком доме,— Вера. Он хотел что-нибудь узнать о них: «Что с ними? Как они?»

Садовая улица была прежней, седые акации вперемешку с тополями, разросшиеся вдоль забора, переплелись над ней, образовали над всей улицей зеленый шалаш, и мохнатыми гусеницами валялись на тротуаре тополиные сережки, как тогда, в детстве. Сафонов глядел по сторонам на эти милые, затененные листвой одноэтажные дома, на слабо поблескивающие стекла летних террас, пышно увитые плющом, и жадно искал здесь старое, знакомое, неизгладимое.

«Вот он, домик... Витьки Снегирева! Да, да! Дом номер 5». Этот номер с фонарем едва виден был сквозь плотные ветви деревьев, и Павел Георгиевич даже удивленно улыбнулся, сдвинул шляпу на затылок. И тут же почувствовал мгновенную нерешительность, поднимаясь на ступеньки старенького, скрипучего крыльца, нагретого солнцем; знакомо пахнуло сухим деревом.

Его встретила пожилая женщина. Он не знал ее. «Нет, Снегиревы здесь после войны не живут, уехали все. Может, запамятовала, но вроде бы они в Свердловске. Кажись, сын у них — директор завода. Два года назад в отпуск приезжал. А вы кто будете, гражданин? Сродственник им или как?»

Павел Георгиевич, слушая, снял шляпу, теребил ее в руках, наконец, поняв все, досадливо пробормотал невнятные слова: «Да, дальний родственник»,— и с едким чувством горечи и самообмана тихо спустился с крыльца.

Куда идти? И все-таки он не терял еще надежды найти кого-либо, узнать о ком-нибудь: он хорошо помнил, не выпуская из памяти, островерхую крышу аптеки в дальнем конце улицы и рядом домик под тополями, где когда-то жила Вера.

Однако к этому дому, видневшемуся за вывеской аптеки, он подходил с такой опаской, внезапной робостью, с таким поднявшимся в нем волнением, что пришлось остановиться на углу под тополями, справиться со сбившимся дыханием. Неужели он еще любил ее? Не понимал, что владело им, женатым, семейным человеком,— возможно, мгновенное чувство острого сожаления, что все получилось как-то не так, возможно, воспоминания

о тех первых ощущениях мелькнувшей давным-давно радости.

Он вытер пот со лба, нажал кнопку звонка. И ждал, опять теребя шляпу, преодолевая неуверенность.

Постаревшая Верина мать (он тотчас узнал ее, но она не сразу узнала его: «Боже мой, Павлуша, ты ли это? Приехал, Павлик?»), нелепо суетясь и виновато извиняясь за беспорядок в комнате, усадила его на диван и стала слишком поспешно расспрашивать и одновременно говорить, что «мы слышали, все знаем, как ты далеко пошел», а он, едва понимал ее, с нетерпением ожидая, когда она кончит задавать вопросы, спросил наконец запнувшимся голосом:

— А где Вера?..

— Ве-ера? — Она странно посмотрела на него.— Вера? — повторила она тише и отвернулась, подняла руку, точно загораживая лицо.

Ему стало душно.

— Где она? — почти шепотом повторил он.

— Разве ты не знаешь, Павлуша? Нет Веры... Она ведь на войне санитаркой...

— Не может быть,— растерянно и глухо сказал Сафонов.

Потом Верина мать, провожая его, все смотрела ему, казалось, в самые зрачки текучим, задумчивым взглядом и повторяла грустно:

— Как жаль, как жаль!.. Вы вместе росли...

Сафонов чувствовал себя окончательно разбитым. Он не знал, куда идти, кого искать, и совсем бесцельно зашел в летнее кафе на углу. Было жарко и все так же душно, не хотелось есть, но, когда подошел официант, он заказал две бутылки пива, долго сидел в шуме, бестолковом говоре под теневым зонтиком, устало глядел на город, весь зеленеющий акациями, южный по своей белой и солнечной красоте и совершенно чужой ему.

И было тоскливо, одиноко; и, не допив пиво, испытывая раздражение, неудовлетворенность, он неожиданно для самого себя расплатился и не без последнего упорства пошел снова бродить по городу со слабой надеждой.

Но он так никого и не встретил. А в десятом часу вечера, вконец усталый и будто ограбленный, он направился в сторону вокзала, вышел на 1-ю Пристанционную. В тихих сумерках зажигались фонари, неподвижно зажелтели в пролете улицы, от садов резко и свежо потянуло прохладой, загорелся свет в окнах, за забором на

террасе заиграла радиола. По шоссе в сторону городского парка с шелестом проносились уже освещенные, как зеленые аквариумы, троллейбусы; на углу зыбко переливалась неоновыми зигзагами реклама кинотеатра.

В этом городе никто не знал его. Только Верина мать...

Павел Георгиевич подошел к троллейбусной остановке, надел плащ, поднял голову и внезапно в проеме улицы увидел свою школу — четырехэтажная, с темными окнами, она стояла, как и раньше... Она не изменилась. Она была прежней, как в детстве, как много лет назад.

Он несколько минут не отрываясь смотрел на темный силуэт школы, затем, точно кем-то подталкиваемый, отчаянно махнул рукой, вошел в пустынный чернеющий школьный парк... И с радостным утомлением сел под старой акацией, возле которой когда-то на переменах играли в фанты. Это бывало обычно весной, когда земля еще приятно отдавала сыростью. Он ощупал скамью, погладил ствол акации и засмеялся, как будто встретил очень давнего знакомого, до боли доброго, совсем не изменившегося, который все знал о Павле Георгиевиче, и Павел Георгиевич все знал о нем...

Неужели он когда-то сидел за партой? Неужели когда-то во время весенних экзаменов гремел над школой глухой гром и майский ливень обрушился на город с веселой яростью первой грозы, с бурным плеском в асфальт, с шумом дождевых струй по ветвям, со звоном в водосточных трубах, с фиолетовыми над мокрыми домами молниями?.. И тогда хотелось забыть об экзаменах, бежать вместе с мальчишками под этим веселым теплым дождем и, задрав штаны, болтать ногами в парных лужах, которые еще пузырились, но в них уже отражалось посветлевшее небо.

«Да, ведь это было!» Он представил все ярко, и с волнением и любопытством опять посмотрел на темное здание школы, и там заметил справа, в вечерней тьме парка под густыми акациями, красный огонек, пробивающийся меж ветвей. Нужели Мария Петровна?.. Здесь жила Мария Петровна, его учительница по математике, как же он о ней не подумал, не вспомнил! Всегда он был ее любимцем, она пророчила ему блестящее математическое будущее...

И, вскочив со скамьи, Сафонов зашагал по аллее в глубину парка, а когда близко увидел маленький домик под деревьями, тусклый свет в окне, задернутом занавеской,

он даже задохнулся. Сколько лет они не виделись! Здесь ли она? Жива ли? Что с ней? Как много было связано с этим именем «Мария Петровна»!..

И Сафонов осторожно, сдерживая дыхание, взошел на крыльцо. Он хотел постучать — дверь оказалась открытой, он вошел в неосвещенную переднюю, пахнущую керосином. Под дверью в комнату лежала щель света.

Он постучал. Ответа не последовало.

Сафонов в растерянности нажал на запертую дверь и тут только понял: в доме никого не было. И, усмехнувшись над самим собой, послушав, как в пустой, должно быть, комнате играло радио, Сафонов ощупью в темноте передней пошел к выходу. Он задел за что-то плечом, с грохотом упало ведро. Павел Георгиевич машинально наклонился, хотел поднять его и выронил шляпу, шепотом выругавшись: «Че-орт возьми совсем!..»

— Кто там? — послышалось из комнаты.

Павел Георгиевич выпрямился, полуобернулся. В освещенном проеме двери стояла невысокая худенькая женщина, и он сразу, еще не различив лица, узнал ее...

— Мария Петровна,— тихо и зовуще сказал Павел Георгиевич,— вы меня узнаете?

— Входите,— сказала она тем вежливым, строгим голосом, каким, очевидно, обращалась к родителям своих учеников, когда те приходили «поговорить».

Павел Георгиевич вошел в комнату и, глядя в близорукие прищуренные глаза своей учительницы, повторил:

— Вы меня не узнаете? Мария Петровна, это я...

Она несколько секунд всматривалась снизу вверх, а он видел ее болезненно-бледное, состарившееся, будто источенное лицо, и в эту минуту, с кольнувшей жалостью, отметил про себя, как сильно она изменилась, стала еще более тонкой, хрупкой, только седые волосы были коротко и знакомо подстрижены.

— Паша Сафонов... Паша? — проговорила она почти испуганно, и Павлу Георгиевичу показалось, что лицо ее задрожало.— Садись, пожалуйста... Прости, у меня кавардак... Садись, пожалуйста, вот сюда. К столу, Паша... Ты приехал?

— Да, да, я сейчас, я сейчас! — обрадованно заговорил Сафонов, неловко вешая плащ и шляпу на вешалку, где виднелось одинокое пальто Марии Петровны. И, вешая, не понимал, не знал, почему это он, взрослый, солидный человек, робел, краснел, как школьник, как в те годы.

Он хотел пожать Марии Петровне руку, но сдержался и не пожал, как не жмут при встрече руку матери, и стеснительно потянулся за папиросами, спросил:

— Можно?

Они сели за стол. Мария Петровна с непонятной настороженностью, улыбаясь ему своими близорукими глазами, быстро повторяла:

— Ну вот, Паша, ты приехал... не узнать. Ты в командировку, по делам?

— Я проездом, Мария Петровна,— ответил он и не сказал, что отдыхал на юге, о чем говорить было, наверно, неуместно.

— Мы сейчас с тобой чай... Подожди, подожди, мы сейчас чай.— И она встала и снова, как бы обессиленно, села, положив худенькие руки на стол, неверяще улыбнулась.— Да, да, Паша... Совсем не ожидала. Вот Паша Сафонов...

— Мария Петровна, чай не надо,— смущенно проговорил он.

Пить чай ему не хотелось; хотелось ему только вот так сидеть за столом, смотреть на Марию Петровну, говорить, спрашивать... Но Мария Петровна, будто не слушая его, взяла чайник, кивнула ему с виноватой улыбкой:

— Я сейчас, Паша... Прости, что я называю тебя так. Ты ведь теперь...

Она не договорила, вышла на кухню, и тут, приходя в себя, Павел Георгиевич вздохнул освобожденно, провел ладонью по лбу, огляделся. Она была, как и до войны, одинока и жила в той же маленькой комнате с одним окном в сад. Все было здесь по-прежнему: стол, кровать, цветной коврик на стене, какая-то вышивка на тумбочке, широкий вместительный шкаф, набитый книгами; посреди стола — чернильница, стопка тетрадей, сбоку — красный, аккуратно отточенный карандаш. В этой комнатке он был прежде лишь один раз. Его вызвала Мария Петровна и, хмурясь, говорила с ним строго: кажется, тогда он сделал прыгающую чернильницу и поставил ее на стол преподавательнице немецкого языка. Сейчас Сафонов просто не поверил: пропасть времени лежала между прежним Пашкой и настоящим Павлом Георгиевичем, конструктором, вот в эту минуту не без смущения сидящим за этим вот столом.

Вошла Мария Петровна с чайником, весело сказала:

— Все готово! Ну, Паша, рассказывай о себе, что̀ ты, как? А впрочем, я многое о тебе знаю. Из газет, статьи,

книгу твою читала. Ты женился?— поспешно спросила она.

— Да, Мария Петровна.

Она подозрительно-ласково посмотрела на него.

— Счастлив?

— Как будто, Мария Петровна. У меня сын.

Она, точно не расслышав, сказала:

— Ну хорошо! А как работа? Над чем работаешь?

— Над новой конструкцией, Мария Петровна.

— Ну и как? Удачно?

— Пока не знаю. Знаете что, Мария Петровна, давайте говорить о прошлом, о школе...

Мария Петровна покачала головой, сказала задумчиво:

— Я хорошо помню ваш класс. Довоенный класс. Это были озорные, способные мальчишки. И хорошо помню твою дружбу с Витей Снегиревым.

— А помните, Мария Петровна, как вы мне ставили «плохо» по алгебре? В седьмом классе, кажется...

— Да. За то, что ты не делал домашних заданий, надеялся, что кривая вывезет. А математика прекрасно тебе давалась. Но ты был ленив.

— Мария Петровна, а помните, я устроил систему шпаргалок?

— То изобретение, когда шпаргалка двигалась по ниточке между партами?

— Да! — Павел Георгиевич засмеялся.— А прыгающая чернильница? Нет, сейчас бы я до такой штуки не додумался. Помню: сидел ночь, ломал голову, высчитывал мощность пружинки, чтоб чернильница подпрыгнула именно в тот момент, когда преподаватель обмакнет ручку.

Мария Петровна прищурилась, сказала сдержанно:

— А я хорошо помню другое: как ты, Паша, стоял вот перед этим столом...

Она не договорила, налила в чашки чай, взяла ложечку, задумалась и спросила:

— Ты помнишь Мишу Шехтера?

— Ну конечно! Завидовал ему! Нам в классе читали его сочинения: «Образ Татьяны», «Горе от ума». А у меня ничего не получалось.

— Он стал журналистом, — медленно проговорила Мария Петровна.— Ездит по всей стране, за границу. Часто читаю его статьи. И часто вспоминаю...

— Он заезжал?

— Нет.

— Да,— сказал Сафонов.— Разлетелись... Я слышал, Витька Снегирев — директор завода на Урале. Не думал! Игнатцев Сенька — начальник главка... Я его встречал в Москве. Солидный, не узнать. А он не заезжал?

— Что? — спросила Мария Петровна и, опустив глаза, тихонько договорила: — Ты пей чай, Паша...

— Мария Петровна, а кто заходил к вам, кого вы встречали еще из нашего класса? — возбужденно спросил Сафонов.— Гришу Самойлова видели? Артист. Помните, он корчил рожи, а вы ему сказали, что у него способности? Занятный был парень.

— Я его видела только в кино, Паша.

— Я тоже. Неужели ни разу не приезжал?

Мария Петровна не ответила, она, наклонив голову, мешала ложечкой в чашке, а он заметил на ее пальце неотмывшееся чернильное пятно, перевел взгляд на ее истонченное лицо и с какой-то новой жалостью и любовью увидел морщины, тонкую, слабую шею, коротко подстриженные, сплошь белые волосы, и что-то больно, тоскливо сжалось у Павла Георгиевича в груди. Он подумал, что, если бы она умерла, он не знал бы этого. И не знали бы другие...

— Мария Петровна,— еле внятным голосом повторил Сафонов.— Витя Снегирев, значит, не был у вас? Кажется, он в прошлом году заезжал сюда.

Она сидела, по-прежнему наклонив голову, и только замедлила движение ложечки в чашке.

— Нет, не был...

— А кто был?

— Что? Ты, пожалуйста, пей чай. Остынет.

— Мария Петровна, а интересно, кто-нибудь пишет вам? Помните, был Володя Бойков, Нина Винокурова? Боря Смирнов? Что-нибудь знаете о них?

Мария Петровна, промолчала. Она оглянулась на окно, там чернел сад, сквозь деревья пульсирующе замелькал свет проходившего троллейбуса.

— Нет, Паша,— сказала она.— Ко мне часто заходит Коля Сибирцев. Он работает на шахте. У него неудачно сложилась жизнь. Он часто заходит.

Сафонов смутно помнил Колю Сибирцева. Этот парень был, кажется, тихий, робкий, ничем не приметный, никакими особыми способностями не отличался, и Павел Георгиевич едва-едва представил его лицо.

— Плохо помню его,— пожав плечами, сказал он.— Забыл!

— Очень плохо,— не то насмешливо, не то осуждающе проговорила Мария Петровна.

Они помолчали. Но от этих последних слов «очень плохо» Сафонову стало не по себе, он понял двойной их смысл. В наступившей тишине он придвинул чашку, неловко потянулся за сахаром и увидел, что Мария Петровна ищущим, долгим взглядом смотрит на книжный шкаф. Он тоже взглянул и заметил в первом ряду знакомый корешок своей последней книги по самолетостроению.

— Мария Петровна,— тихо и полувопросительно проговорил он.

— Что, Паша?

— У вас, Мария Петровна, моя книга? — проговорил вполголоса Сафонов и с неудобством замолчал, вспомнив, что эту книгу он не присылал ей.

— Да, я читала.

Тогда он встал, вынул из шкафа свою книгу «Конструкция самолетов», полистал и, чувствуя, что лицо его начинает жарко гореть, проговорил сконфуженно, с глупой готовностью:

— Мария Петровна, я вам надпишу. Разрешите?..

Неожиданно из книги выпал маленький листок, он торопливо поднял его, ясно увидел свой портрет, вырезанный из газеты, и ошеломленно обернулся к Марии Петровне,— она мешала ложечкой и очень быстро говорила:

— Неплохая книга... Прочитала с интересом. А это из «Правды», Паша. Когда я увидела, я дала тебе телеграмму.

Он так же поспешно, словно скрывая нечто порочащее его, неприятное, спрятал листок в книгу и, охваченный стыдом и ненавистью к себе, теперь отчетливо вспомнил, что он действительно получил телеграмму два года назад среди кучи других поздравительных телеграмм и не ответил на нее, хотя ответил на некоторые другие.

Сафонов неясно помнил, что̀ написал на книге, но хорошо помнил, как они прощались: он как-то стыдливо снял свой дорогой плащ, который висел рядом с потертым пальто старой учительницы, и с непроходящим ощущением вины поклонился. Она зажгла в передней свет, вышла проводить.

Он молчал. Мария Петровна, открывая дверь, спросила робко:

— Скажи, Паша, хоть капелька моей доли есть в твоей работе? Хоть что-нибудь...

— Мария Петровна, что вы говорите? — в замешательстве забормотал он.— Если бы не вы!..

Она посмотрела ему в глаза, сказала вздрагивающим голосом:

— Ты думаешь, я не рада? Какой гость был у меня! Ты думаешь, я не скажу об этом своим ученикам?.. Иди, Паша, больших успехов тебе. Будь счастлив...

Они простились. Он быстро пошел по дорожке ночного сада. И не выдержал, оглянулся. Дверь передней была еще распахнута, и в темный парк падал косяк света. Мария Петровна стояла на крыльце, и худенькая, неподвижная фигурка ее силуэтом чернела в проеме двери.

Всю дорогу до Москвы Сафонов не мог успокоиться, переживал чувство жгучего, невыносимого стыда. Он думал о Витьке Снегиреве, о Шехтере, о Самойлове — о всех, с кем долгие годы учился когда-то, и хотелось ему достать их адреса, написать им гневные, уничтожающие письма. Но он не знал их адресов. Потом он хотел написать Марии Петровне длинное извинительное письмо, но с ужасом и отчаянием подумал, что это уже бессмысленно.

На большой станции Сафонов, хмурый, взволнованный, вышел из вагона. Он зашел на почту и, поколебавшись, дал телеграмму на адрес школы, на имя Марии Петровны. В телеграмме этой было два слова:

«Простите нас».

1953

СКВОРЦОВ

Мы сидели в жарких кожаных креслах канцелярии Н-ского училища, говорили о предстоящих стрельбах. В широко открытые окна с обожженного солнцем пустынного плаца тек душный парной воздух.

Под окнами заскрипел ссохшийся на жаре гравий — по плацу ленивой походкой плелся коренастый курсант в добела выгоревшей гимнастерке, с противогазом на боку, в начищенных до блеска сапогах. Остановился в жидкой тени тополя, возле бочки, наполненной желтой водой — место курилки, вяло достал пачку папирос, сел на скамью, да так и не закурил, а только, зевая от зноя, стал обмахивать пачкой красное, пылающее лицо.

Все корпуса училища и классы пустовали. Батареи выехали в летние лагеря. И командира дивизиона майора Рыжникова я застал почти случайно: с отделением курсантов он привез в училищные мастерские неисправное орудие; помимо того, у него были неотложные дела дома.

Мне нравился этот немолодой майор с мягким лицом, с едва заметной улыбкой в прищуренных синих глазах, нравилось, как он вытирал платком потный лоб и крепкой рукой наливал воду в стакан и как, говоря со мной, все рассеянно смотрел на белую дверь канцелярии, словно прислушивался к чему-то в коридоре. Я хотел было уже встать, проститься, но тут за дверью послышался приглушенный говор, смех, заразительный, молодой, тот смех, который невольно заставляет улыбнуться.

Что-то похожее на догадку, на оживление мелькнуло в лице майора, показалось, что он наконец услышал в коридоре то, что хотел услышать, и, несколько виновато покосившись на меня, позвал громким и властным тоном:

— Курсант Скворцов, зайдите ко мне!

И застегнул на крючок воротник кителя.

В канцелярию вошел невысокий курсант с той бросающейся в глаза строевой выправкой, какая свойственна только очень молодым офицерам, и, еще не успев согнать улыбку с загорелого лица, доложил веселым голосом:

— Сержант Скворцов по вашему приказанию прибыл.

Майор Рыжников встал, нахмурился, внимательным взглядом окинул Скворцова с головы до ног, спросил сухо:

— Вы из мастерских? Орудие готово?

— Так точно, товарищ майор,— ответил Скворцов с прежней искоркой смеха в глазах.

Нос, сильно тронутый загаром, слегка лупился, брови и по-мальчишески длинные ресницы выгорели, бронзовую прямую шею заметно оттенял белый подворотничок, аккуратно пришитый к летней гимнастерке.

Майор сказал строго:

— Проверьте орудие тщательнее. Можете идти.

— Слушаюсь, товарищ майор.

Скворцов вышел. Майор, крякнув, сел в кресло, лицо снова стало домашним, усталым от жары, добрым, мягким, и плотная фигура его распустилась в широком кожаном кресле. Он задумчиво гладил ладонями подлокотники.

— Вот,— сказал он,— Скворцов. Видите какой!

И вздохнул, завозился вроде бы стесненно в кресле, поймав мой вопросительный взгляд: видимо, он не хотел показывать незнакомому человеку свое подчеркнутое расположение к воспитаннику, желая выглядеть образцом одинаково объективного отношения к подчиненным. Но все-таки я удивился, когда майор сказал с металлическими нотками в голосе:

— Вообще обыкновенный курсант. Даже излишне легкомысленный. Так вы будете завтра на стрельбах? Мы выезжаем вечером.

Ночь я провел на наблюдательном пункте дивизиона. Спал в окопе, прямо на соломе, накрывшись плащом. Часто просыпался и сначала видел острый блеск звезд в черном небе, тихий их отсвет на мокрых листьях осин, потом к рассвету услышал текучий шелест; на сереющем похолодевшем небе проступили темные пятна шумящих деревьев, посвежело перед зарей. Я по-солдатски закутался с головой в плащ и крепко уснул.

Меня разбудило горячее солнце, его тепло чувствовалось сквозь нагретый плащ, и я откинул его. Было раннее утро с росой.

В траншее началось движение, доносились негромкие команды — приехал генерал, с ним группа офицеров, видимо, преподаватели артиллерии, и окопы заполнились офицерами, все в ожидании занимали места, тихонько переговаривались перед стрельбами.

Майор Рыжников доложил генералу и, бледный, с холодной строгостью в лице, подошел к стереотрубе, припал к ней, настраивая резкость, подошел к буссоли, посмотрел, повернулся к генералу.

— Приступайте,— кивнул высокий и худой старик генерал, вынул толстый янтарный мундштук и с равнодушным выражением выцветших глаз продул его.— Кто у вас первый?

Наступило короткое молчание. Осины шелестели над наблюдательным пунктом.

— Стреляющий сержант Скворцов! — четким и громким голосом подал команду Рыжников.— Ко мне!

И я увидел сержанта Скворцова, того самого веселого, загорелого курсанта, который вошел вчера в канцелярию с искоркой смеха в глазах. Он не смеялся сейчас. Нечто спокойно-взрослое, сдержанное было в его невысокой фигуре, без единой складки обтянутой по-строевому гимнастеркой, с каплями росы на погонах, в его взгляде, в голосе, когда он сказал, что готов к стрельбе. Генерал неторопливо вправил сигарету в мундштук, кашлянув, закурил, произнес жестко:

— Где ваш бланк записи стрельбы и карандаш, товарищ сержант? Не вижу...

— Здесь таблица стрельбы, карандаш, бланк,—ответил Скворцов, показывая на сумку, висевшую на боку.

— Ага,— неопределенно промычал генерал.— Ну, ну...

Скворцов взглянул на молчавшего майора Рыжникова, затем на начальника училища, сказал:

— Товарищ генерал, разрешите мне стрелять так?

— То есть как так? — недоуменно поднял брови генерал.

— Без карандаша и бланка, я так быстрей готовлю данные.

— Фокусы,— с неудовольствием сказал генерал и, сердито фыркнув, полуобернулся к Рыжникову.— Что это у вас в батарее, Семен Павлович? Фокусники? Иллю-

зионисты? Скоро на стволах орудий будут балансировать, а?

— Разрешите ему, товарищ генерал,— очень тихо, но твердо попросил майор Рыжников.

— Вон как! Ну, ну, что ж...— нахмурясь, сказал генерал.— Приступайте.

Как бывшему артиллеристу, мне хорошо была знакома глазомерная подготовка данных для стрельбы, но я никогда не обладал математическим складом ума. В подготовку данных входило: определение расстояния до цели, вычисление угломера по буссоли, учет различных поправок, то есть ряд математических расчетов, в результате которых орудия, стоявшие в нескольких километрах от наблюдательного пункта, направляются в цель.

Когда же я услыхал первые слова команды майора Рыжникова, дающего Скворцову целеуказание — уничтожить дзот на высоте,— я не успел заметить этот дзот, потому что сразу услышал спокойный голос Скворцова: «Цель понял и вижу!», изумившего меня непонятной стремительностью ответа. Я увидел, как майор нажал секундомер, а Скворцов, уже отойдя от буссоли, смотрел в бинокль на возвышенность, зеленевшую далеко впереди, в полях.

И сразу опустилась тишина вокруг. Генерал, стоя около стереотрубы, молча курил, морщась от дымка, и с высоты своего роста с суровым интересом следил за Скворцовым. Офицеры перешептывались в траншее.

Майор Рыжников напряженным движением поднес к лицу секундомер, а Скворцов, теперь без бинокля, по-прежнему упорно глядел на высоту, и по его подрагивающим мальчишеским ресницам я понял, что в те секунды математические вычисления заслоняли от него всех — и генерала, и Рыжникова, и офицеров, кто был здесь в окопе.

«Ошибется, спутает шаг угломера — мы не увидим первого разрыва»,— с тревогой подумал я, вспоминая весь знакомый мне процесс вычислений.

Но Скворцов перевел задумчивые глаза на курсанта-телефониста и, казалось, совсем неспешно скомандовал:

— По дзоту! Дальнобойной гранатой! Взрыватель фугасный...

Мне кажется, я не услышал заряд, угломер, прицел, уровень; только последние слова команды, поданные Скворцовым чуть поднятым от сдержанного возбуждения голосом, заставили всех офицеров одновременно взяться за бинокли.

— Один снаряд, огонь! — докончил команду Скворцов.

— Выстрел! — крикнул телефонист.

Опережая телефониста, гулкий, как бы круглый звук лопнул справа за спиной. Высокий черный столб земли вырос и мигом опал далеко впереди на высоте, облитой солнцем: желтый дым, разметая, поволокло ветром по ее скатам, и сейчас же, после следующей команды, второй черный конус земли поднялся ближе первого разрыва и тоже мгновенно рассеялся. Что это? Вершину высоты замкнула вилка? Я не поверил, я не мог поверить в эту точность.

— Батарея, четыре снаряда, беглый огонь!

— Выстрел, выстрел, выстрел, выстрел! — крикнул телефонист.

Широкие молнии ударили в вершину высоты: объятая ураганом, она будто взметнулась в воздух, вихри дыма и земли застлали сияющее над высотой небо.

Утренний ветер быстро снес с вершины эту зловеще заклубившуюся черную тучу, погнал по полю желтое, просвеченное солнцем облако; оно унеслось, растаяло. И тогда напряженная тонкая тишина затопила все поле полигона, окопы наблюдательного пункта. А я, изумленный этой молниеносной пристрелкой двумя снарядами без доворотов и поправок, этой спокойно-точной стрельбой на поражение, оглянулся на Скворцова, на офицеров со странным чувством волнения, что присутствую при рождении феноменально талантливого командира батареи, виртуозно владеющего артиллерийской стрельбой. Офицеры-преподаватели не выказывали ни волнения, ни радости, в раздумье молчали, глядя на Скворцова; майор Рыжников с замкнутым лицом медленными пальцами гладил бинокль и тоже не говорил ни слова. Генерал курил сигарету, сузив глаза, пепел сыпался на его светло-серый плащ, но он не обращал внимания на это. А Скворцов стоял, слегка одергивая гимнастерку, и только соломенно-светлые волосы, выбившиеся из-под пилотки, выгоревшие брови, смешно облупившийся нос, мелкие капли пота на верхней губе объяснили мне, что это не офицер, не опытный командир батареи, а всего лишь курсант.

— Пулемет! — вдруг, встрепенувшись, хрипло крикнул генерал и почти подбежал к Скворцову, показал рукой в поле. — Вон, левее кустиков. Пулемет! Наша пехота залегла, пулемет мешает продвижению, косит людей. Уничтожить! Даю шесть снарядов на поражение!

— Цель понял и вижу!

Я увидел далеко слева от возвышенности высокие кусты, они качались среди солнечного блеска влажной травы, и понял тут же, что большой доворот орудий может быть неточен, не выведет первый снаряд на линию цели, осложнит пристрелку.

— Выстрел!

Снаряд, сопя, тяжко дыша, расталкивая воздух, прошел над нашими головами, и с отдаленным громом возник разрыв около кустов. Поднявшийся дым плоско прижало ветром к земле, желтое облако расстелилось за бугорком, где был пулемет. Я не заметил, перелет это был или недолет. И, не услышав следующую команду Скворцова, обернулся. Он, сжимая губы, с напряжением смотрел туда, на цель, на бугорок, и все юное, темное от загара лицо его покрылось потом.

По-видимому, ветер помешал ему определить точность падения снаряда. Генерал с пустым мундштуком в зубах раскрыл на ладони серебряный портсигар, протянул его Скворцову, сказал:

— Ку́рите, нет?

— Не надо, товарищ генерал,— тихо ответил Скворцов, не оборачиваясь, и внезапно звонким голосом скомандовал телефонисту больший прицел.

Мне казалось, что первый снаряд упал дальше цели,— зачем же он увеличивал прицел? Это означало, что, беря цель в вилку, он не возьмет ее.

— Выстрел! — доложил телефонист.

Разрыв лег впереди бугорка, и вслед за этим поспешная команда Скворцова: «Батарея, четыре снаряда, беглый огонь!» — опять удивила меня своей стремительностью.

Когда дым рассеялся и полная тишина затопила полигон, там, вблизи кустов, бугорка — пулеметного гнезда — не было. Оно сровнялось с землей, чернеющей огромными воронками.

Только после этого Скворцов провел ладонью по губам и чуть-чуть улыбнулся. И тогда я понял: ветер унес дым первого разрыва за цель, и получилось впечатление перелета, в то время как был недолет. И вот Скворцов учел это вторым снарядом и перешел на поражение.

— Голубчик мой, умница,— сломанным, задрожавшим голосом сказал генерал и, мигая, неожиданно неловко обнял Скворцова, стиснул его, поцеловал в потную щеку звучным поцелуем.— Мне, старику... спокойно...

Спасибо, да... Идите, идите же,— забормотал он, уже оттолкнув Скворцова, и, почему-то нахмурившись, отвернулся со странно блестевшими глазами и тотчас сердито крикнул майору Рыжникову: — Ну, ну! Что вы стоите? Следующий стреляющий!

...Был вечер необычайно тихий, теплый; закат мерк над лесами, еще светясь, и в высоком позеленевшем небе покойно таяла перистая гряда алых облаков. И за рекой в пустоте заката мохнато зашевелилась, замерцала первая вечерняя звезда.

Мы шли со Скворцовым по берегу реки, точно застывшей в своем течении, шли мимо розовеющих заводей, с лугов тянуло пряностью недавно скошенного сена.

Скворцов озорно улыбнулся и сказал:

— А вы умеете плавать? Искупаемся?

Мы разделись на берегу, под песчаным обрывом. Песок, нагретый за день, был ласково-тепел, плотен. Скворцов взобрался на бугор, разбежался, весело что-то крикнул мне и нырнул с обрыва в спокойную гладь заводи. Его гибкое бронзовое тело мелькнуло в воздухе и бесшумно ушло в закатную воду. Он вынырнул минуты через две и легко и сильно поплыл к тому берегу, оставляя за собой тонкую рябящую полосу на воде.

Я тоже нырнул в благостно летнюю, парную воду, поплыл к нему.

Через несколько минут мы сидели на берегу и курили. Скворцов, со слипшимися ресницами, с влажными волосами, свежий, сильный, смотрел на линяющий малиновый свет возле берега, говорил:

— Вы спрашиваете, почему я решил стать офицером? Я коротко расскажу.

В войну мама отвезла меня из Ленинграда в Крым, к своей сестре, учительнице. Война все же дошла до Крыма, мы никуда не успели уйти, в общем, остались в оккупированном городке. Я не буду подробно рассказывать,— вы знаете, что это такое... Главное — голод. Шли мы однажды с тетей по улице, и вдруг она упала от истощения, я никак не мог ее поднять. Увидел какой-то немец, остановился, засмеялся, потом вынул из кармана сушеную тарань, говорит: «Нà, бабка, кушай»,— но в руки тарань не дал, а бросил в пыль и ногой подтолкнул: «Нà, нà». Тетя тарань взяла, отдала мне и сказала: «Брось ее через забор, подальше». И я швырнул через забор, а так и хотелось зубами впиться в нее. Однажды налетели на бухту наши самолеты, стали бомбить, у нем-

цев затонула баржа с продуктами. Тогда тетя оживилась и говорит: «Теперь мы будем ходить в бухту, плавать, закаляться — надо жить».

Она была крымчанка, плавала здорово, а я — как утюг. Но мы сходили с тетей в бухту только два раза. По взрослым в море немцы без предупреждения стреляли из автоматов, а на мальчишек не обращали внимания. Была осень, море стало холодным, сводило ноги, а тетя каждый вечер говорила: «Все время плавай в бухте. Старайся быть больше в море, привыкай к холоду, это нужно. Потом поймешь. От этого зависит все». Целыми днями я торчал в море и выучился плавать.

Потом тетя посоветовала мне нырнуть на том месте, где затонула баржа, — узнать, что там за продукты. Я нырнул, чуть не задохнулся, но все же достал банку консервов. Принес домой, и она сказала: «Ныряй, еще, еще, без конца ныряй, но когда нет рядом немцев». И я нырял до зеленых чертиков в глазах, доставал банки, закапывал в песок, а вечером приносил за пазухой. Мне уже казалось, что я всю баржу разгрузил, а дома не было ни одной лишней банки. Приходили какие-то люди по ночам, и она отдавала им все.

Однажды ночью ворвались немцы и взяли тетю. Она погладила меня по голове и сказала: «Если бы ты знал, как я виновата перед тобой!.. Прощай!..» И я, помню, бросился к ней, но меня отшвырнули. Тогда я заплакал от бессилия. Вы знаете, что такое плакать от бессилия? Тетю я больше не видел... До освобождения жил у одного человека, который приходил к нам за продуктами. Он был связан с партизанами. Вот так я решил стать офицером. И точно так же, как я научился плавать, я учился и стрелять: ночами сидел над формулами, над таблицами стрельбы... Слышите, в лагере горн? Ужин. Пойдемте!

Он встал и, взглянув на меня, засмеялся своим заразительным молодым смехом.

— А наш старик сегодня растрогался, правда?

Я молчал. Приятно и грустно мне было видеть в нем и взрослость и мальчишество одновременно. Эту пору своей жизни я давно уже стал забывать, и у меня было такое чувство, словно я прикоснулся к своей юности.

1956

МГНОВЕНИЯ

МИНИАТЮРЫ

...Всякая книга начинается гораздо раньше, чем написана первая строка. Много лет назад я задумал написать не повесть, не роман, не хронику, а книгу — мозаику человеческой жизни...

Автор

1

ОЖИДАНИЕ

Лежал при синеватом свете ночника, никак не мог заснуть, вагон несло, качало среди северной тьмы зимних лесов, мерзло визжали колеса под полом, будто потягивало, тянуло постель то вправо, то влево, и было мне тоскливо, одиноко в холодноватом двухместном купе, и я торопил бешеный бег поезда: скорей, скорей домой!

И вдруг поразился: о, как часто я ожидал тот или иной день, как неблагоразумно отсчитывал время, подгоняя его, уничтожая его одержимым нетерпением! Чего я ожидал? Куда я спешил? И показалось до дикости странным, что почти никогда в прожитой молодости я не жалел, не осознавал утекающего срока, словно бы впереди была счастливая беспредельность, а эта каждодневная земная жизнь — замедленная, ненастоящая — имела только отдельные вехи радости, все же остальное представлялось нестоящими промежутками, бесполезными расстояниями, прогонами от станции к станции.

Я неистово торопил время в детстве, ожидая день покупки перочинного ножа, обещанного отцом к Новому году, я с нетерпением торопил дни и часы в надежде увидеть *ее*, с портфельчиком, в легоньком платьице, в белых носочках, аккуратно ступающую по плитам тротуара мимо ворот нашего дома. Я ждал того момента, когда она пройдет возле меня, и, омертвев, с презрительной улыбкой влюбленного мальчика наслаждался высокомерным видом ее вздернутого носа, веснушчатого лица, и затем с той же тайной влюбленностью долго провожал глазами две косички, раскачивающиеся на прямой напряженной спине. Тогда ничего не существовало в мире,

кроме кратких минут этой встречи, как не существовало и в юности реального бытия до того блаженного часа одурманивающих прикосновений, стояния в подъезде около паровой батареи, когда я ощущал сокровенное тепло ее тела, влагу ее зубов, ее податливые губы, вспухшие в болезненной неутоленности поцелуев. И мы оба, молодые, ненасытные, сильные, сумасшедшие, изнемогали от не разрешенной до конца нежности, как в сладкой пытке: ее колени были прижаты к моим коленям, и, отрешенные от всего человечества, одни на лестничной площадке, под тусклой лампочкой, мы были на последней грани близости, но не переступали эту грань — нас сдерживала стыдливость неопытной чистоты.

Ночь светлела за окном, исчезали обыденные закономерности, движение земли, созвездий, переставал падать снег над безмолвными рассветными переулками Замоскворечья, хотя он падал и падал, будто в белой пустоте Вселенной, заваливая мостовые; переставала существовать сама жизнь, и не было смерти, потому что мы не думали ни о жизни, ни о смерти, ибо уже не были подвластны ни времени, ни пространству,— а мы создавали, творили что-то особенно таинственное, главное, сущее, в котором рождалась совсем иная жизнь и совсем иная смерть, неизмеримые сроком XX столетия. Мы возвращались куда-то назад, в счастливую бездну изначальных на земле мгновений, когда не было рационалистических расчетов, в мгновения первозданной любви, толкнувшие мужчину к женщине, раскрывшие перед ними веру в бессмертие.

Гораздо позднее я понял, что любовь мужчины к женщине есть великий акт творчества, где оба чувствуют себя святейшими богами, и присутствие в мире власти любви делает человека не покорителем, а безоружным властелином, подчиненным всеобъемлющей доброте природы.

Нет, я не думал об этом тогда, но, если бы меня спросили, согласен ли, готов ли ради встреч с ней в подъезде, около паровой батареи, под тусклой лампочкой, ради ее губ, ее дыхания отдать несколько лет своей жизни, я ответил бы с восторгом: да, готов!..

Иногда думаю, что и война была как бы длительным ожиданием, бесконечным, мучительным сроком прерванного свидания с радостью, то есть все, что мы делали, было за дальними границами любви. А впереди, за пожарами задымленного, прорезанного пулеметными трассами

горизонта, манила нас надежда на облегчение, вожделенная мысль о тепле в тихом домике среди леса или на берегу реки, где должна произойти встреча с незавершенным прошлым и недосягаемым будущим. Терпеливое ожидание длило наши дни на простреленных полях и вместе очищало наши души от смрада висящей над окопами смерти.

Я помню первый успех в жизни и предваряющий его звонок по телефону, в котором было обещание этого успеха, долго жданного мною. Я бросил трубку телефона после разговора (никого не было дома) и сдавленным шепотом воскликнул в приливе счастья: «Черт возьми, наконец-то!» И полубезумно подпрыгнул молодым козлом возле телефона, и начал ходить по комнате, разговаривая сам с собой, потирая руками грудь. Если бы кто-нибудь увидел меня в эту минуту со стороны, то подумал бы, вероятно, что перед ним сумасшедший мальчишка. Однако я не сошел с ума, я просто был на пороге того, что представало важнейшей вехой моей судьбы.

До радостной точки успеха, до знаменательного дня, когда должен был я полностью удовлетвориться, ощутить собственное «я» счастливого человека, нужно было еще ждать не один месяц. И если бы опять спросили меня, отдал бы я часть своей жизни за то, чтобы сразу приблизить желанную цель, я ответил бы без заминки: да, я готов сократить земной срок...

Разве когда-нибудь раньше я замечал молниеносную быстроту уходящего времени?

И лишь сейчас, прожив свои лучшие годы, переступив срединную грань века, порог зрелости, я не испытываю былой остроты радости завершения. И уже не отдал бы ни часа живого дыхания за нетерпеливое удовлетворение того или иного желания, за краткий миг результата.

Почему? Я постарел? Устал? Пресытился?

Нет, только теперь я понимаю, что путь воистину счастливого человека от рождения до последнего растворения в вечности и есть тормозящая неизбежную мглу небытия радость ежедневного существования в окружающем мире, и я поздно осознаю: какая же бессмысленность торопить и вычеркивать ожиданием цели дни, то есть неповторимость мгновений жизни, данной нам единый раз как драгоценный подарок.

И все-таки: чего я жду?..

ОРУЖИЕ

Когда-то очень давно, на фронте, я любил рассматривать трофейное оружие.

Гладко отшлифованный металл офицерских парабеллумов отливал вороненой чернотой, рубчатая рукоятка как бы сама просилась в объятия ладони, спусковая скоба, тоже до щекотной скользкости отполированная, требовала погладить ее, просунуть указательный палец к твердой упругости спускового крючка; предохранительная кнопка легко сдвигалась, освобождая золотистые патроны к действию,— во всем готовом к убийству механизме была чужая томящая красота, какая-то тупая сила призыва к власти над другим человеком, к угрозе и подавлению.

Браунинги и маленькие вальтеры поражали своей игрушечной миниатюрностью, никелем ствольных коробок, пленительным перламутром рукояток, изящными мушками над круглыми дульными выходами — в этих пистолетах все было удобно, аккуратно, все сияло женственной нежностью, и была ласковая смертельная красота в легких и прохладных крошечных пульках.

И как гармонично сконструирован был немецкий шмайссер, почти невесомый, совершенный по своей форме автомат, сколько человеческого таланта было вложено в его эстетическую стройность прямых линий и металлических изгибов, манящих покорностью и словно ждущих прикосновения к себе.

Тогда, более тридцати лет назад, я многого не понимал и думал: наше оружие грубее немецкого, и лишь подсознательно чувствовал некую противоестественность в утонченной красоте орудия смерти, оформленного, как дорогая игрушка, руками самих людей, смертных, недолговечных.

Теперь же, проходя по залам музеев, увешанных оружием всех времен — пищалями, саблями, кортиками, кинжалами, секирами, пистолетами,— видя роскошную инкрустацию оружейных лож, бриллианты, вправленные в эфесы, золото, сверкающее в рукоятках мечей, я с тошнотным чувством сопротивления спрашиваю себя: «Почему люди, подверженные, как и все на земле, ранней или поздней смерти, делали и делают оружие красивым, даже изящным, подобным предмету искусства? Есть ли какой-нибудь смысл в том, что железная красота убивает самую высшую красоту творения— человеческую жизнь?»

ЗВЕЗДА ДЕТСТВА

Серебристые поля сверкали в темном небе над спящей деревней, и одна из звезд, зеленая, по-летнему нежная, особенно добро мерцала мне из далеких глубин Галактики, из запредельных высот, двигалась за мной, когда я шагал по пыльной ночной дороге, стояла меж деревьев, когда я остановился на опушке березняка, в прохладе тихой листвы, и смотрела на меня, лучась родственно, ласково из-за черной крыши, когда я дошел до дома.

«Вот она,— думал я,— это моя звезда, вся теплая, участливая звезда моего детства! Когда я видел ее? Где? И может быть, я обязан ей всем, что есть во мне хорошего, чистого? И может быть, на этой звезде будет последняя моя юдоль, где примут меня с тою же родственностью, которую я ощущаю сейчас в ее добром, успокоительном мерцании?»

Не было ли это общение с вечностью, разговор с космосом, что до сих пор все-таки пугающе непонятен и прекрасен, как таинственные сны детства...

КРИК

Была осень, теплый, ясный день, везде в воздухе разлита мягкая розовая дымка, осыпались с тополей листья, летели, скользили по асфальту мостовой, мелькали мимо пригретых бабьим летом стен домов. В этом тихом уголке московской улицы до ступиц утопали в шуршащих ворохах осеннего золота колеса машин, как бы покинутых, грустно стоявших в долгом одиночестве вдоль обочин, и сухие листья лежали на крыльях, на радиаторах, собирались кучками на ветровых стеклах, а я шел, слушал хруст под ногами и думал:

«До чего хорошо ощущение этого тихого дня и как хороша поздняя солнечная осень — ее ветерок, ее винный запах, ее листья на тротуарах и машинах, ее тепло и ее горькая свежесть... Никогда вот так не замечал, как добра природа в своем обновлении и утратах. Да, да, все естественно и потому прекрасно!..»

И тут мне почудилось, что где-то в доме, над этими безлюдными тротуарами, одинокими машинами, засыпанными листьями, кричала женщина.

Я вздрогнул, остановился, я поднял голову, глядя на освещенные окна, пронзенный неожиданным страшным

криком боли, страдания, как будто там, на верхних этажах обычного московского дома, пытали человека, заставляя его корчиться, извиваться в муках под каленым железом. Они были все одинаковы, эти окна, были уже по-предзимнему закрыты наглухо, а крик женщины то затихал наверху, то нарастал нечеловеческим воплем, визгом и рыданиями последнего отчаяния, какое бывает перед холодом небытия и бездной...

Что там было? Кто мучил ее? Зачем? Почему она рыдала так страшно?

И все погасло во мне — и благословенный московский листопад, и свет осеннего дня, и умиление естественной кроткой порой бабьего лета, и почудилось, что это кричало от непереносимой боли само человечество, потерявшее ощущение великого и единственного блага всего сущего — радости неповторимого своего существования.

РАССКАЗ ЖЕНЩИНЫ

Когда я сына в армию провожала, очки черные надела, иду, думаю, заплачу если, он не увидит меня такой. Хотела, чтоб красивой он меня запомнил...

Гармошка там, парни знакомые были, прощались все, и дядя пришел, Николай Митрич, четырнадцать медалей у него за войну, и нетрезвый уже. Смотрел он, смотрел на парней, на девушек, на Ванечку-то моего и заревел, ровно ребенок. Я сына не хочу расстроить, очки у меня черные, терплю, говорю ему: «Ты на дядьку не смотри, пьющий он, слезы-то пустил. Ты в Советскую Армию идешь, я тебе посылочку пришлю, денежек, ты внимания не обращай...»

А он — дерг мешок-то и пошел, отворачивается от меня, чтобы нервы не показать, расстройство свое. И не поцеловал даже, чтоб чего не случилось. Так и проводила я Ванечку... По десяточке ему посылаю...

А красивый он у меня, девушки ему перчатки дарили. Приходит однажды, говорит: «Вот перчатки Лидка дала, заплатить ей, мама, или как?» — «А ты,— говорю,— ей тоже чего подари, и хорошо будет».

Токарем он работал, да стружка в глаз попала, потом в шоферы пошел, да машиной ворота какие-то своротил, отчаянный и глупый был, а тут — в армию. Солдат он серьезный сейчас, на посту стоит. В письмах пишет: «На посту стою, мама».

ОТЕЦ

Летний среднеазиатский вечер пахнет пылью; сухо шелестят велосипедные шины по тропке вдоль арыка, заросшего карагачами, верхушки которых купаются в сладостно-покойном после солнечного ада закате.

Я сижу на жесткой раме, вцепившись в руль, мне позволено хозяйничать сигнальным звоночком с круглой никелированной головкой и тугим язычком, отталкивающим палец при нажатии. Велосипед катится, звоночек тренькает, делая меня взрослым, мужественным, особенно потому, что за спиной отец вращает педали, поскрипывает кожаным седлом, а я чувствую его тепло, движение его коленей — они то и дело задевают мои ноги в сандалиях.

Куда мы едем? А едем мы в ближнюю чайхану, что находится на углу Конвойной и Самаркандской, под старыми тутовниками на берегах арыка, который по-вечернему розовеет, прохладно бормочет между глинобитными дувалами. Потом мы сидим за столиком, липким, покрытым клеенкой, пахнущей дыней, отец заказывает пиво, разговаривает с веселым чайханщиком, усатым, приветливо-крикливым, грубо загорелым до черноты. Тот протирает бутылку тряпкой, ставит два стакана перед нами (хотя я не люблю пиво), при этом подмигивает мне, как взрослому, и наконец подает в блюдечках жареный миндаль, осыпанный солью... Помню вкус этих хрустящих на зубах зерен, прозрачный лимонный воздух за чайханой, силуэты минаретов посреди заката, плоские крыши в окружении пирамидальных тополей...

Отец, молодой, сильный, в белой рубашке, улыбается, смотрит на меня, и мы, будто во всем равные мужчины, наслаждаемся здесь после рабочего дня тишиной, вечерней свежестью арыка, зажигающимися огоньками в городе, холодным пивом и пахучим миндалем.

И очень четок в памяти моей еще один вечер.

В маленькой комнате он сидит спиной к окну, а во дворе сумерки, безмолвие; чуть-чуть колышется тюлевая занавеска; и непривычной кажется мне защитного цвета тужурка на нем, и странно темнеет полоска пластыря повыше его брови. Я не могу сейчас вспомнить, почему отец в позе долго не бывшего дома мужчины сидит у окна, почему такая пустынная тишина в мире, но мне представляется, что вроде бы он вернулся с войны, ранен, разговаривает о чем-то с матерью (говорят они оба

совсем беззвучными голосами),— и ощущение разлуки, смутной и сладкой опасности, неизмеримого пространства, лежащего за тихим двором, недавнего отцовского мужества, которое было проявлено где-то, заставляет меня испытывать и умиленную близость к нему, и почти восторг при мысли о домашнем уюте собранной опять вместе нашей семьи в этой маленькой комнате, похожей на спальню с белыми покрывалами на кроватях.

О чем говорил он с матерью — не знаю. Знаю лишь, что тогда и в помине не было войны, однако летние сумерки в безмолвном дворе, пластырь на виске отца, его военного покроя тужурка, задумчивое лицо матери — все так подействовало на мое детское воображение, что и сейчас я готов поверить: да, в тот вечер отец, счастливый и грустный, вернулся, раненный, с фронта. Впрочем, более всего поражает другое: много лет спустя, в некий час победного возвращения (в сорок пятом году), я, подобно отцу, сидел у окна в той же родительской спальне и, как в детстве, снова пережил всю остроту ощущения встречи, как если бы прошлое повторилось. Может быть, давние чувства были предвестьем моей солдатской судьбы и я прошел по пути, предназначенному отцу, то есть сделал, исполнил недоделанное, недоисполненное им? В раннюю пору своей жизни мы тщеславно преувеличиваем возможности собственных отцов, воображая их всесильными рыцарями Вселенной, в то время как они всего лишь обыкновенные смертные с заурядными заботами.

До сих пор помню день, когда я увидел отца так, как никогда раньше не видел его (мне было тогда лет двенадцать),— и это ощущение живет во мне пронзительной виной.

Была весна, долгие солнечные дни, я толкался со школьными друзьями около ворот (играли в «жестку» на сухом, уже майском тротуаре) и, весь потный, радостный, неожиданно заметил знакомую невысокую фигуру неподалеку от дома. Переулок был по-весеннему яростно залит солнцем, нежно, сквозисто зеленели тополя за теплыми заборами, и бросилось в глаза: отец оказался среднего, маленького даже роста, короткий пиджак некрасив, брюки, очень узкие, нелепо поднятые над щиколотками, подчеркивали величину довольно стоптанных старомодных ботинок, а новый галстук с булавкой выглядел словно бы ненужным украшением бедняка. Неужели это мой отец? Ведь лицо его всегда выражало доброту, уверенную силу, мужественность, а не усталое равнодушие, оно

раньше никогда не было таким морщинистым, немолодым, таким негероически-безрадостным.

И это четко и обнаженно обозначалось весенним солнцем — и все вдруг представилось в отце серым, обыденным, жалким, унижающим и его и меня перед школьными моими приятелями, которые молча, нагловато, едва сдерживая смех, смотрели на эти по-клоунски большие поношенные башмаки, особенно выделенные дудочкообразными брюками. Они, мои школьные друзья, готовы были смеяться над ним, над его нелепой походкой, слегка кривоватыми ногами, а я, покраснев, чуть не плача от стыда и обиды, готов был с защитным криком, оправдывающим неприятно комичный вид отца, броситься в жестокую драку, восстановить святое уважение кулаками.

Но что же произошло со мной? Почему я не бросился в драку со своими приятелями — боялся потерять их дружбу? Или не рискнул сам показаться смешным в той защите?

Тогда я не думал, что настанет срок, когда в некий весенний чужой мне день я тоже окажусь чьим-то жалким, смешным, нелепым отцом и меня тоже постесняются защитить.

МАТЬ

Усталый, лег отдохнуть в сумерки, а проснулся в середине ночи от такой непереносимой тоски, что сразу не понял, почему чернели незанавешенные окна, почему забыто горела настольная лампа, отсвечивая в стекле книжных полок, под которыми я лежал на диване, и почему звучала в моем сознании давняя, когда-то слышанная мелодия, исполненная горькой пронзительности: «Кого-то нет, кого-то жаль, к кому-то сердце мчится вдаль...»

Я сел на диване, потер лоб, подобрал упавшую на пол книгу, а когда стал вспоминать слова, показалось, что в этот миг кто-то думал обо мне с такой бесконечной любовью, с такой радостной и беспомощной силой, что я вскочил, начал ходить по комнате, не зная, что происходит со мной, готовый плакать, просить прощения. Будто теплый ток доходил до меня через пространство ночи, преодолевая весь зимний город, и вдруг я понял, что это она, моя старая мать, лежавшая сейчас там, в неприютной больнице, одна в своем одиночестве, слабая, безза-

щитная перед болью, в забытьи думала обо мне с любовью безмерной, которая может быть на земле только у матерей. Но когда и где я слышал эту простенькую грустную мелодию и почему слова ее были связаны с матерью?

И она стала представляться мне молодой, красивой, русоволосой, среди утреннего горячего света в комнате с окном, распахнутым в облитую солнцем сочную зелень карагача, росшего над арыком, от которого в знойные дни веяло пресной свежестью; мать босиком стройно ходила по глиняному полу, тонкая, в белой кофточке, напевала тихонько прелестным молодым голосом: «Кого-то нет, кого-то жаль, к кому-то сердце мчится вдаль...», останавливалась возле окна, улыбалась, поднимала лицо к уже очень жаркому среднеазиатскому солнцу, сквозившему через ветви карагача. Я видел ее прозрачные от обильного света глаза, ее губы, которые будто влюбленно произносили молитву, говорили о своей молодой тайной грусти этому знойному утру, солнцу, прохладно плещущему арыку: «Я вам скажу один секрет: кого люблю, того здесь нет...» А я, до слез восторга влюбленный в мать, не мог понять, кого не было с ней рядом, кого ей было жаль, к кому стремилось ее сердце, ведь тогда отец редко бывал в отъезде. Тоже молодой, сильный, он боготворил мать, был предан дому, отличался веселым, ласковым нравом. Порой он носил ее, как ребенка, на руках, целуя ее светлые волосы, а она почему-то обреченно, скорбно прижималась щекой к его груди.

Однажды услышал я, что она плакала за ширмой, свернувшись калачиком на диване, и, испуганный, бросился к ней, закричал: «Мама, не надо!» Со страхом увидел ее слипшиеся, влажные ресницы, но мать попыталась улыбнуться мне сквозь слезы, потом, обняв, начала гладить мою голову легкими, нежными пальцами и говорила шепотом, что ей отчего-то взгрустнулось, а теперь все прошло, миновало...

Но почему иногда тосковала она? В какие счастливые дали, к кому тянуло ее? О ком вспоминала в молодости? Всю жизнь она верно прожила с отцом, и я не узнал ее тайну...

А теперь, в беспамятстве, на больничной койке, она витала над краем пропасти в никуда, над обрывом в черноту, где ничего нет, и, видимо, в момент краткого просветления вспомнила обо мне с той великой любовью, которая ознобом пронзила меня, разрывая непереносимой

виной душу. И я ходил по кабинету, морщился, стонал от бессилия, кусал себе руку, чтобы одной болью заглушить другую, не зная, чем помочь ей, облегчить ее страдания, и бормотал как в безумии незатейливые эти слова:

— Кого-то нет, кого-то жаль...

Наверное, не только у меня бывали минуты, когда не приходило спасение от самого себя.

BALISTES CAPRISCUS

В Западной Африке и Южной Америке обитает странная, казалось бы, рыба Balistes Capriscus — рыба с человечьим лицом, раз я видел ее в копенгагенском аквариуме. Она зловеще вращает глазами, дышит, как человек, больной насморком, чуть приоткрывая губастый рот,— не рыба, а отвратительный, вздувшийся человеческий профиль, обросший плавниками, некое жестокое кошмарное видение, некий страшный персонаж, сошедший с картин Босха и Брейгеля.

Видели ли когда-нибудь эти два художника подобную рыбу?

Нет, они не были ни в Африке, ни в Южной Америке, они жили в Нидерландах. Подобный образ получеловеческой головы-полурыбы создало их воображение — обостренная фантазия,— направленное против физического и нравственного уродства человека.

Действительность выше даже самой неограниченной, гениальной фантазии; в неизмеримой воображением жизни есть все, поэтому творчество человека никогда не достигнет исчерпывающей красоты или всей безобразности многоликой и многогранной природы.

СТАНДАРТ

В сумерки эта площадь была вся легкой, прозрачной. Трамваи, дома, широкий пролет вниз — все окрашено мягким, пепельным светом, рекламы уже зажглись, на тротуарах текла, шаркая, вечерняя толпа, около подъездов отелей «Амбассадор», «Золотой петух» выработанной фланирующей походкой прохаживались с сумочками через руку не в меру подкрашенные девушки, переговаривались со степенными швейцарами, что время от времени открывали стеклянные двери перед приезжими.

На открытой террасе кафе «Европа» сидели молодые красивые женщины в шляпах, мужчины в летних костюмах, оттуда доносился иностранный говор. Два солдата у киоска ели с аппетитом горячие сосиски, макая их в горчицу на блюдечках, и, то и дело оглядываясь на проходящих мимо девушек, жевали сильными челюстями. Молодые люди с гладкими прическами, распахнув белые плащи, засучув руки в карманы брюк, шли, разговаривали громко, смеялись, тоже оглядываясь на проходивших женщин.

И над всем этим — мягкость, теплота весеннего вечера, сиреневая дымка сумерек с нежной зеленью деревьев и неба над куполом собора.

Я дошел до конца площади, долго стоял у газетного киоска, читал названия модных иллюстрированных журналов — смотрели через стекло очаровательно-холодные лики женщин на гладких глянцевитых обложках: блеск глаз и зубов, застывшая красота манекенщиц с тонкими прямыми ногами подростков, с заученным поворотом шеи, с кротким взглядом, выражающим невинность перед миром.

Это множество ярких улыбающихся лиц, этот мировой стандарт красоты, одежды, выражения глаз, оголенных коленей, заученных улыбок, поз не вызывал никаких чувств, а, наоборот, притуплял даже ощущение живой плоти.

Я вспомнил американский журнал «Плейбой» (журнал для мужчин), где каждый год появлялись фотографии «Мисс красоты», там все было рассчитано на «мальчиков», которые должны захотеть быть обладателями этой красоты: поднятые вырезами купальника груди, раскованные позы, тугие бедра, обнаженные и оттененные чистейшими простынями или обивкой софы,— среди избранных «мисс» были известные актрисы, молодые знаменитые спортсменки, открывающие тайны своих прекрасных втянутых животов, своей мускулатуры, своей неженственной силы.

Разумеется, то Америка, но и в европейских городах с допусками плюс-минус уже давно определился стандарт женской красоты. В ней нет изюминки, нет угадывания и той скромности, которая и есть секрет женственности. Нет, это красота холодная, фотогеничная, равнодушная, как белый цвет бумаги.

Я вспомнил о чистоплотной красоте эллинок, о пленительных лицах эпохи Ренессанса, о некрасивой и вместе

загадочной Моне Лизе, о рубенсовских и ренуаровских женщинах, о «Неизвестной» Крамского и крестьянках Серебряковой.

Почему же стандартная скука секса, парфюмерной рекламы стала нормой женской сущности, многозначной, застенчивой, скромной?

НЕПОСТИЖИМОЕ

Всякий раз в утренние часы осенью, когда я выхожу в опустевший, покинутый птицами сад и один хожу меж яблонь по шуршащим тропинкам, по желтым островам листьев, когда вижу на мокрой траве сквозные лучи низкого солнца, вдыхаю уже северную свежесть осеннего холодка, сырость земли от поредевших клумб, где в конце лета распустились георгины и флоксы, эти предвестники зябких поздних зорь, то меня охватывает сладкая тревога предупредительного звонка на вокзале моей жизни и мучает, не покидает сознание того, что где-то есть обетованные края, прозрачная синева, тепловатые туманы морских побережий, незнакомые улицы далеких городов, пестрые витрины на пустынных ночных набережных, которые я должен обязательно увидеть.

Почему в сентябрьскую пору я чувствую беспокойство, желание ехать куда-то в поисках неизведанной благодати эдемских земель, чужих садов?

Может быть, все это потому, что осенние утра особенно тихи, влажны, свежи, покойно солнечны и скупая их красота непостижима.

ССОРА

Он наблюдал за капризной игрою ее лица, за тем, как она, закидывая голову, громко смеялась, окруженная какими-то незнакомыми ему молодыми людьми, видимо острившими поочередно, и пожимал плечами: «Ну для чего так некрасиво смеяться, так блестеть глазами, как будто в самом деле очень смешно?»

Он смотрел на нее и чувствовал зеленую скуку, досаду и раздражение от этих чрезмерных женских усилий казаться привлекательной, веселой, оживленной после недавнего разговора между ними и ее холодного искривленного ненавистью лица, какого не видел ни разу за

время длительной их близости, и после брошенных ему в грудь театральных слов:

— О, не прикасайся ко мне, я тебя ненавижу!

МИГ

Она сказала, прижимаясь к нему:

— Господи, как быстро прошла молодость!.. Любили мы друг друга или не любили — как это забыть можно? Сколько прошло времени с того момента, когда мы познакомились,— один час или вся жизнь?

Был погашен свет, из-за темных окон доносился глуховатый, затихающий шум почной улицы, однозвучно постукивали в мягкой тьме часы, заведенные, поставленные звонить (он это знал) на половину седьмого утра,— и все представлялось обычным, неизменным, как и эта полночь, и завтрашнее утро, которое обязательно должно наступить, с привычным вставанием, умыванием, гимнастикой, завтраком, работой...

И вдруг странное ощущение остановленного колеса времени, ежедневно и еженощно крутящегося как бы вне сознания, выхватило его и понесло в скользкую бездну бесконечности, где не было ни дня, ни ночи, ни темноты, ни света, где не за что было зацепиться памятью, и он почувствовал себя бестелесной тенью, отражением прозрачного предмета, без измерения и формы, без прошлого и настоящего, без биографии, страстей, желаний, страха, без отсчета лет бытия.

Целая его жизнь спрессовалась в один миг и этим мгновением уничтожилась.

Он не мог охватить памятью прожитые годы, реализованные дела, сбывшиеся надежды, молодость, любовь, рождение детей, радость здоровья (они, эти прошлые годы, внезапно исчезли, канули куда-то) и не мог представить будущее — не подобное ли чувство испытывает песчинка, затерянная в безмерности космоса и обреченная раствориться в его черном пространстве?

И все-таки это был миг не песчинки, а пожилого человека, момент предельной усталости, и оттого, что он уловил и понял эти голгофные секунды вот сейчас открывшихся ворот в старость, в пустыню одиночества, ему стало невыносимо жаль и себя, и ее, женщину, которую любил безоглядно, с которой прожил и разделил все в жизни,— без нее он не мыслил своего существования на земле. И подумал о том, что если она, всегда сдержанная,

сказала об ушедшем времени, то утрата коснулась не только его.

Он поцеловал ее холодными губами и шепотом пожелал обычное: «Спокойной ночи, милая».

Он лежал, закрыв глаза, дышал тихонько. Ему было страшно, ибо миг открывшихся ворот в бездну собственной старости показался мигом смерти — бесприютным скитанием его сознания, потерявшего память о молодости.

ПРОДАЖА

— Оля плакала,— сказала ему жена вечером.— Она не хотела, чтобы ты это делал. И сейчас накрылась с головой одеялом и не спит.

И он вспомнил жестокое морозное утро, заледенелый забор комиссионного магазина в Южном порту, на окраине Москвы, вспомнил окоченевшего возле ворот багроволицего сторожа в тулупе, затем — въезд во двор, крик этого сторожа, притопывающего валенками на снегу: «На эстакаду давай!»

На эстакаде он выключил мотор, и машина робко, с настороженностью затихла, возвышаясь над стоявшими вокруг чужими машинами, уже завьюженными, вероятно, оставленными здесь давно своими бывшими хозяевами.

Когда приемщик ничего не выражающим взглядом бегло осмотрел мотор, кузов, багажник, а потом с равнодушной небрежностью сел за руль и задним ходом тронул ее с эстакады, она подчинилась ему и развернулась на ледяном поле вблизи других машин, вопросительно наблюдавших за ней круглыми стеклами фар, и как бы в растерянности, осторожно покатила к дверям конторки комиссионного магазина, где должна была произойти последняя процедура. Он все это видел, но был еще спокоен и сдержан.

— Оформим,— сказал приемщик, и, услышав его голос, он кивнул молча.

А полчаса спустя, после составления акта продажи, после оценки и всех утвердительных росписей, он вышел из жарко натопленной конторки, чтобы совершить последнее — передать ключ от зажигания перегонщику, хилому парню в полушубке, из овчинного воротника которого виднелось сизое, озябшее личико с мокрым носом и посинелыми губами.

Машина стояла так же около конторы, по обыкновению терпеливо ожидая его, готовая послушно зарокотать мотором, охотно покатить его через всю Москву домой, в теплый гараж, где вечерами было светло под электрической лампочкой и где всегда по-домашнему уютно пахло бензином и маслом. Он посмотрел на переднее стекло, на капот, чуть припорошенные снежком, надутым с поля ледяным январским ветром, потом увидел подошедших к машине нескольких покупателей, которые начали торгашески суетиться, жадно оглядывать, ощупывать ее,— и тогда что-то болезненно дрогнуло в его груди.

Не говоря ни слова, он отдал ключ от зажигания перегонщику, и машина покорно заработала, опять неуверенно тронулась задним ходом, будто отступая, еще не понимая, что случилось, куда ее ведут, и, сделав полукруг по полю, вдвинулась в ряд других машин, теперь объединенная с ними единой судьбой.

«Вот и все,— с непонятным облегчением сказал он сам себе.— Ее продадут скоро...»

А она издали смотрела на него удивленно и печально поблескивающими фарами, словно не желая прощаться с ним, и он быстро вошел в контору, чтобы не видеть ее уже.

— ...Мне грустно без нее,— сказала жена.— Ты простился с ней? Попросил у нее прощения?

— Да,— глухо ответил он, солгав и хорошо помня, что по-настоящему не простился с машиной, не посидел даже в ней напоследок, даже не погладил ее по знакомой и гладкой коже металла.

— Оля так любила ее, так мыла ее, помнишь? Называла «хорошенький «Москвичишка»...

— Да, да,— снова повторил он.

И не успокаиваясь, сам казня себя за то облегчение, какое испытал, отдавая ключ перегонщику, он представлял ее сейчас далеко от дома, на окраине Москвы, в студеной зимней ночи, на жгучем ветру, леденящем ее металлическое тело. Там она была безжалостно оставлена им на продажу, с холодным расчетом, ради другой, новой, более красивой машины, которую хотел купить. И он думал, как влюблен был в нее много лет, как она верна была ему; весело сверкая на солнце, катила по дорогам, красуясь, кокетничая со встречными машинами, как редко сердилась на него, когда был неосторожен, резок, груб в обращении с ней, и как по-родствен-

ному прощала его, почищенная, помытая, протертая им и десятилетней дочерью Олей.

Теперь она замерзала там, на ветру, на морозе,— и не проходило ощущение совершенного предательства.

ИДЕАЛ

Ссоры в молодых, и не только молодых, семьях, часто возникают потому, что *она*, как ему кажется, не отвечает тому идеалу женщины и жены, который он хотел бы видеть в ней и который создал для себя, быть может, еще очень давно. Он раздражается на то, что *она* недостаточно чутка к нему, порой молчалива, неаккуратно одета и причесана, не то сказала при гостях, не так воспитывает ребенка.

И он в состоянии неудовлетворения, вспылив иногда по малозначительному поводу, не сдерживаясь, находит для *нее* крайне злые, обидные слова, будто мстя себе за собственную ошибку и мстя ей за оскорбленный идеал.

Его резкость обижает и злит *ее*, и *она* отвечает *ему* с той же беспощадностью, с той же болью, и повторяющееся между ними отчуждение нередко убивает самое высокое на этой земле — любовь.

Он и *она* не правы, считая себя обманутыми, постоянно раздражены друг против друга, но, обремененные усталостью, привычками, заботами, мало что делают для того, чтобы приблизить один другого к тому идеалу, который каждый лелеял в душе.

Ведь готовых идеалов на все случаи жизни нет.

СХИМНИК

Был жаркий июльский день, золотые купола Печерского монастыря купались в теплом синем небе. А над древними стенами, над густой зеленью монастырского сада плыл перезвон колоколов, веселый, торжественный, ликующий, как радость этого летнего дня, которую, видимо, ощущали и молодые монахи, что группой собрались на мощеном дворе близ колокольни. Кротко улыбаясь друг другу, они так ловко, играючи перебирали пальцами веревки, что казалось, с виртуозной легкостью управляли воздушным, уносящимся в поднебесье музыкальным

инструментом, как бы созданным самим богом для прославления любви, греха, женской красоты.

Меж пахучих кустов малины мы пошли с женой по тропинке в глубину старого монастырского сада, испещренного солнечными бликами, пятнами теней. Навстречу тянуло ласковым воздухом, сухим настоем прогретой травы, снизу, от ручья, бормочущего в зарослях, волной пахнуло пресной земляной сыростью. Затем вокруг яблонь впереди стало просторно и солнечно — зазеленела, открылась залитая полуденным зноем поляна, зажелтели ульи в траве под низкими, отяжеленными краснеющими яблоками ветвями. Здесь, напоенный горячим клевером, воздух гудел слитным гулом: пчелы облепливали хлопотливой кишащей массой щели ульев, пролетали над кустами черной смородины, обдающей сладостным духом ягодной плоти.

И тут, посреди этого света, тепла, запаха и радости существования, я увидел на краю поляны схимника в черной рясе, с накинутым на голову капюшоном, расшитым по траурному цвету какими-то зловеще-белыми, смертными узорами. Схимник стоял неподвижно, засунув руки в рукава, смотрел тусклыми старческими глазами на леток улья, где копошились, ползали, озабоченно сновали пчелы. И его лицо, истонченное до прозрачной синевы, с потусторонними бескровными губами, выражало смиренную тишину, печальное внимание. Он, схимник, уже второй раз постриженный в монахи накануне небытия, уже занятый только ежечасным приготовлением себя к завтрашней смерти, будто сейчас прощался с этой пчелиной и тщетной суетой жизни, и все-таки милой, неповторимой, которая останется на земле, так же как вот этот благолепный июльский день и множество других дней, весенних, летних, зимних, как вот этот обещающий радость и любовь колокольный звон в синем небе, ликование греховного ожидания, устроенное молодыми монахами, каким был когда-то и он.

Что было на душе схимника? Тоска прощания со всем земным? Раскаяние?

И в то же время я заметил, что схимник, наблюдая хлопотливую возню пчел, боковым зрением ловил наше на себе внимание — мое внимание и моей жены,— и его красные слезящиеся глаза теперь выражали усталую отрешенность и еще более смиренную покорность судьбе. И мне показалось, что он, ссутуливаясь, засовывая глубже руки в рукава, видел и мое грустно-удивленное лицо,

и молодую привлекательность моей жены, ее темные мягкие глаза, белую шею, светлые волосы до плеч. Он, наверное, видел и знал, что мы думаем о его скором переходе в неземное царство, о его последней подготовленности на смертный одр, и, зная, чувствуя особое, болезненное любопытство живых к обреченному, почему-то играл прощальное внимание к суете пчел на летке улья, с тихой усмешкой печального святого наблюдая бессмысленное движение колеса жизни.

И то, что эта игра, ради горького продления любопытства к себе незнакомых людей, была обыкновенным человеческим тщеславием, не умерщвленным долгими годами монашества и близостью смерти, ужаснуло меня. Ведь ему было не меньше восьмидесяти.

Каким же обвораживающим ядом пропитано тщеславие, если оно не покидает людей и на пороге смерти!

ВДОВА

В банкетном зале произносили тосты, лилось вино, сияли потные, возбужденные лица, говор за столами становился все громче, и нетрезвый шум этот уже заглушал слова пышных приветствий, и уже не слышно было, что говорили, о ком говорили, ибо наступил тот момент, когда виновник торжества перестал быть единым центром внимания, как это бывает на любом юбилейном банкете.

Надо было уходить, и я незаметно вышел из накуренного зала в пустынный коридор. И здесь, в прохладной после духоты тишине, неожиданно увидел на широкой мраморной лестнице сухощавую женскую фигуру, всю в траурно-черном, даже черные перчатки натянуты были до тонких локтей. Особенно странно выделялась черная широкополая шляпа, какие носили в двадцатых годах, почти закрывавшая ее сухонькое бледное лицо со стеклянным взглядом... Не заметив меня, равномерно передвигая по мраморным перилам слабой кистью в крепoвой перчатке, она спускалась по ступеням, отражаясь в зеркалах, подобно грозному знаку вблизи смутных отзвуков доносившегося сверху веселья и этого мрамора, лестничных ковров, сияющих хрустальных люстр над головой.

Я поклонился ей, а она по-прежнему не заметила меня, ее прозрачные застывшие глаза ничего не пропу-

стили внутрь. Наверное, она была немного пьяна, потому что внизу покачнулась внезапно и на миг приостановилась у перил, клоня голову, отчего поля шляпы совсем закрыли лицо, и постояла несколько минут, локтем прижав к боку маленькую, обшитую бисером сумочку. Это была вдова крупного ученого, бывшего основателя и директора нашего научно-исследовательского института, место которого три года назад занял другой ученый, менее известный, но более удачливый, более решительный, чей пятидесятилетний юбилей институт торжественно отмечал сегодня.

Я не видел ее там, наверху, где шумели речи, где пили, смеялись, лобызались с юбиляром, воспитанно-вежливым, седовласым, аристократически-утонченным во всем облике своем, где ни разу, хотя бы вскользь, не вспомнили о бывшем директоре института, собственным воловьим трудом и упорством поднявшем его до всеевропейского значения. И я представил, какую боль пережила она в банкетном зале, приглашенная кем-то, никому не нужная, забытая, как и ее муж,— и то, что, вся траурно-черная, спотыкаясь на лестнице, она уходила с банкета в прежнее непоправимое одиночество, чувствовать было невыносимо.

Потом я вообразил, как она войдет в пустую квартиру, беспомощная, слабая, плачущая от тоски, пройдет в его кабинет, в это царство тишины, воспоминаний, бессилия, в котором властвует «навечное отсутствие» его голоса, его глаз, живого тепла, и, оглядев сиротливые книжные полки, упадет лицом вниз на диван, шепча немолодыми губами о жестокости жизни.

ВООБРАЖЕНИЕ

На исходе ночи он проснулся от такой глубокой тоски, от такой смертной безысходности, что всхлипнул, застонал и сел в слезах на постели, тихонько потирая грудь.

...В то утро он умирал на войне, а она звала его по имени, теребила пальцами, шевелила его волосы, он ощущал эти дрожащие прикосновения, влажный холодок рукава ее шинели, хотел увидеть ее наклоненное лицо и не мог открыть глаза, испытывая перед смертью горькое и сладостное чувство близости к ней, какое не испытывал ни к одной женщине.

И, сидя на постели с необлегчающим сознанием вернувшегося прошлого, он увидел то юношеское, случившееся с ним в сорок первом году, на краю гибели тогда узнанной им любви, которой у него не было после, и боль в сердце не проходила.

Неужто повторился мучивший его в течение многих лет сон, в котором он мечтал *так* умереть в первом бою на ее глазах, курносенькой, сероглазой девочки, десятиклассницы, носившей сумку санинструктора в их роте ополчения?

Но он сам уже не мог себе объяснить, что никакого первого боя и никакой роты ополчения не было. Ему не пришлось воевать. Он ни разу в жизни не встречал сероглазую девочку с санитарной сумкой, и ее нежные пальцы никогда не гладили его волосы... Но как же так, когда он все ясно помнит, все ощущает, как если бы любил эту девочку десятки лет, сохраняя в себе ее невинную доверчивость, неиспорченную ложью улыбку, ее голос, пронзающий отчаянием горя: «Я люблю тебя, не умирай, пожалуйста!»

«Нет, было, было, я любил ее, и она любила меня...»,— подумал он, задыхаясь от тоски и оттого, что той девочки нет поблизости и она никогда не узнает, что он любил ее больше жизни в миг его прекрасной смерти на войне. Он закрыл глаза, почувствовал горячее удушье слез и стал падать в беззвучную тьму юности, с последней мыслью ощутить касание тех милых легких пальцев на своих волосах.

— Что с тобой? С кем ты разговариваешь? Ты не заболел, дорогой? — зазубренным острием толкнулся в его сознание встревоженный голос жены, зашевелившейся рядом, и он, еще не очнувшись, в состоянии медленного падения, проговорил хрипло:

— Наверное, я неудобно лежал. Тебе показалось. Спи...

«Нет, то был другой голос,— подумал он, чувствуя гибельные скачки сердца, сбивающие дыхание.— Но что тянет мое сознание к той девочке, к тому жаркому дню сорок первого года? Ведь ни того дня, ни моей смерти не было. Я воображаю немыслимое — и кончу плохо... Нет, я не ошибаюсь, я не могу так ошибаться! Ей тоже снится, что она стоит на коленях передо мной и, плача от любви и беды, шевелит пальцами мои волосы»...

МАЛЯРИЯ

Меня начинало трясти к полудню. Я ощущал сквозь рубаху острый жар солнца на спине, и тогда тень под голубятней, дышавшая в этот час мягкой прохладой, казалась очень сырой — знобило при одной мысли о холоде земли, по которой ходили голуби, лениво подергивая шейками.

Тогда мне нужно было согреться, и, уже весь в морозном ознобе, я садился на деревянную скамейку на горячем солнцепеке, чувствовал вонзающийся в мою голову, шею, плечи колючий июльский зной. Зной не согревал меня, а давил, замутнял голову, соединяясь с другим, внутренним жаром. Потом целый мир смещался, изменял обычный цвет, запах, осязаемость — и все представлялось как через стекло: замоскворецкий дворик, могучие липы около забора, низкие красные кирпичи купеческих домиков, залитые каким-то пустынным солнечным светом.

Приступами подташнивало, и я на шатких ногах брел домой, там мама встречала меня на пороге испуганным возгласом: «Горе ты мое!»

В эту адскую жару особенно замерзали руки, синели ноги, я пытался согреть кисти меж коленей, ссутулясь, сжимаясь в комок на кровати, стучал зубами, укрытый с головой двумя одеялами, но меня бил озноб, я дрожал, всхлипывал, стонал, иссушаемый до кипения крови, мнилось, чудовищно пылающей печью, в которой был одновременно и ледяной холод.

Время от времени меня перекидывало на постели отвратительное удушье, тут же выташнивало, выворачивало в подставленный мамой тазик, и с набрякшей головой я кашлял, давился, выплевывал желчь, пугающую своей зловещей окраской. После было неприятно горько, горячо во рту, сознание мутилось, кто-то тенью возникал в белой пустыне перед кроватью, говорил о температуре сорок, все реальное, летнее за окном уходило, уплывало за тридевять земель, и мимо прекрасного веснушчатого, как сорочье яйцо, лика девочки проходили в синем заливе яхты под снежными парусами, а я, сильный, небрежный, вел первый швертбот, сидя на корме, держа одной рукой румпель, другой грот-шкот; возле, на банках яхты, продутой солнечным ветром, сидели в садках голуби, и я должен был «подкинуть» их под чужую стаю на глазах знакомой девочки, без которой не мог жить.

Потом возникала погоня во Вселенной — в сверкающей звездной пыли среди фиолетового мрака нечто безобразное, оскаленное, имеющее злобную власть надо мной и той девочкой; эта власть мерзостной силы преследовала меня, окружала, швыряла протуберанцами зазубренных копий, они проносились в миллиметре от головы, обжигая волосы, кожу лба, они ослепляли, и был я беззащитен, жалок, окровавлен, потому что два огненных копья торчали в моих ногах, мотались, тянули пудовыми гирями. И, крича, я падал с огромной высоты в неизвестное узкое ущелье, на дне которого бурлила меж камней горная река; вокруг по зеленым склонам возвышались каменные стены древних замков с зубчатыми башнями, стрельчатыми бойницами, с подвесными мостами через рвы, а оттуда, из замков, густо и грозно блистали рыцарские доспехи, оружие, щиты, забрала — там стояли враждебные войска и злорадно, жестоко ждали (белели их поднятые следящие лица), когда я упаду и разобьюсь вздребезги о гранитные плиты соборной площади или буду нанизан на длинные иголки пик, выставленных железным лесом в небе, откуда падал я в свою смерть.

Я знал, что спасение мое — зацепиться за золотой крест, за купол собора, во что бы то ни стало задержать падение тела, выдернуть копья из пробитых ног, освободиться от этой боли и тяжести, жгущей огнем... («Кто же я был? Когда? Святой Себастьян?»)

Я схватился руками за металлическую перекладину креста, но зацепиться не смог — и, падая в бессилии, с треском выворачивая крест из кровли собора, покатился с высоты вниз, скользя пятками по скату крутого купола, в крутящуюся пропасть начавшегося пожара, из лохматого неистовства которого торчали на высоких кольях отрубленные пустоглазые человеческие головы, кричащие ртами.

Но в этом ужасе огня, диком буйстве мучений и крови кто-то любил меня и я любил кого-то с тоскливым отчаянием безнадежности. Она же то сидела, независимая, на перилах крыльца, болтая ногами в белых сандалиях, то стояла у забора под кустом акации и разгрызала стручок, глядя исподлобья неподступными глазами, а я везде искал ее, я хотел, чтобы она пожалела меня, познала мои страдания в борьбе с коварными врагами и, скорбная, пришла бы туда, где должна была увидеть меня в последний раз, проститься, поцеловать, заплакать от любви и жалости...

Я хотел предсмертно лежать спиной на камнях, головой на ее коленях, чувствовать ее залитые слезами губы, видеть ее глаза и лицо в слезах. О, какое это несказанное наслаждение было умирать на ее коленях и ощущать прикосновение ее пальцев, сокровенного тепла губ, ласковое дуновение шепчущего голоса: «Я люблю тебя...» И в знойном жару я тоже плакал от сладкого отчаяния, от преданности этой девочки нашей любви (которой никогда не было) и в то же время краем воспаленного сознания понимал, что все происходит в бреду, что у меня опять приступ...

Тогда в сером горячем тумане я вскидывался на кровати — чудилось: она, вернувшись с портфельчиком из школы, расширив глаза, смотрела, заглядывала со двора в окно, видела мои страдания, слышала бредовые слова о ней. На краткую минуту я различал окно сбоку кровати, пустое, с прозрачной тюлевой занавеской. Нет, никто не заглядывал в комнату («Где она? Где?»), а издали как-то неестественно, разделенно доносились смутные детские голоса, и солнечный свет неподвижно сиял на деревянной стене тамбура, белыми стрелами пронизывал наискось листву дворовых лип — и мир бреда до разрушительной тоски не совмещался с миром реальным, с его жарким днем, знойной неподвижностью, деревянной стеной тамбура и зеленой листвой. Этот реальный мир лежал в безжизненной тусклой пустоте, без движения, без мук, без любви, и непонятная сила тянула меня снова окунуться в бездну сатанинских малярийных картин, в иной, несуществующий век, в иные, резкие краски, иное бытие, которое казалось более ярким, действительным, счастливым, чем настоящее за этим пустым окном, где не было ни страданий, ни ее благословенных коленей, ни ее жалости.

И вновь с кипящей кровью в жилах погружался я в раскаленную пустыню, в красные пески Сахары, неохватимого, безмерного пространства, лишенного ощутимого времени, человеческого вчера и завтра. И бесконечные пески, уходящие буграми в никуда, гнали меня за неизвестные разуму пределы, жгли пятки, осыпались под ногами, я утопал в их зыбучей трясине, задыхаясь, не мог скрыться от своих преследователей. Затем сзади несколько человек хватали меня за плечи, выкручивали мне руки, грубо втискивали в железную клетку для зверей и везли по желтому пеклу пустыни целым караваном вер-

блюдов, на головах которых в такт плавным шагам мотались пушистые кисточки, как у цирковых лошадей.

Потом люди в черных паранджах вводили меня в какой-то восточный дворец, толкали кинжалами под лопатки, торопили подойти к золотому трону, покрытому яркоцветными коврами, на них возлежал некий всемогущий повелитель в шелковом халате, в белой чалме. Лицо у него имело вид таракана, усы шевелились, а маслянистые жестокие глаза смотрели вбок, где происходило что-то нечеловеческое, злобное, противоестественное. Там садистски казнили на ковре слабенькое худое тельце, очень знакомое мне, и, узнав ее, я в гневе бросался, безоружный, на помощь, подобно Дон-Кихоту. В ту же секунду пол разверзался под ногами, со скрежетом маховиков его раздвигал тайный механизм, образуя внизу освещенную электричеством пропасть, я падал, летел туда с гибельно охолонувшим сердцем, видя на дне страшную машину смерти, торчащую острейшими, направленными вверх пиками. И уже без всякой надежды на спасение, заранее чувствуя, как подрагивающие острия пик пронзят меня, я меркнущим сознанием пытался представить тот момент, когда она после моей гибели придет в голубятню на заднем дворе и, тихонько плача обо мне, грустно возьмет в руки маленькую умницу, черно-чистую голубку с хохолком, и будет поить ее изо рта, как это делал я раньше, показывая ей по воскресеньям своих голубей.

Почему в малярийном бреду мое мальчишеское сознание проходило через муки и любовь? И почему рисовало оно средневековые картины насилия, борьбы, страдания? Все это я не мог тогда вычитать из книг, ибо хорошо помню, что узкий круг моего чтения (когда читать замоскворецкому голубятнику?) охватывал в ту пору только один литературный жанр, наподобие «Красных дьяволят» или «Макара-следопыта».

Может быть, малярийный жар, болезненно возбуждающий воображение, раскрепощал во мне какие-то коды генов, что несли в себе отсветы давней памяти, осколочки прошлых событий и вместе с тем предвещали будущее: последнюю, в тысячу крат более кровавую войну, которую я прошел спустя несколько лет.

Война затмила все, но девочка моих мучительных видений (она училась в шестом классе вместе со мной) явилась вдруг однажды из забытого детского кошмара, я не увидел ее отчетливо, а ощутил рядом осенью сорок третьего года на неизвестной высоте (меж Житомиром

и Белой Церковью) после танковой атаки в окружении, не оставившей от нашей батареи ни одного орудия.

И снова мне представлялось, что я лежал на заднем дворе, на свалке кирпичей, а она держала мою голову на своих коленях.

Я очнулся, услышав собственный стон, и, с надеждой увидеть ее, открыл глаза... но рядом никого не было, никто не плакал вблизи, исчезла теплота ее коленей, ее слез. Свистел ветер в травах, черное осеннее небо неслось над высотой, кипело рваными тучами, будто задевало влажно огрузшими краями исковерканный щит орудия, ветер холодком шевелил мои волосы.

«Неужели она и задний двор приснились мне?» — подумал я, уже четче сознавая, что один лежу на высоте возле разбитого орудия, на кромке снарядной ниши, и что в последние секунды танковой атаки, когда горячим смерчем ударило в грудь и упала тьма, повторился незавершенный детский сон или давний малярийный бред. И поразило до горькой судороги в горле: зачем, зачем я вспомнил о ней? Или в прошлом был не болезненный сон, а детская игра в смерть? И, с ужасом поняв, что попрежнему люблю ее, конопатую девочку с заднего двора (а она, равнодушная ко мне, никогда не узнает, что через много лет, в окружении, после боя, на развороченной снарядами высоте, я хотел умереть на ее коленях), почувствовал такое одиночество вдали от дома, такой земляной холод и движение осеннего неба, такую жесткую землю под головой, что помню, как стал терять сознание, уже скатываясь в пустынную мокрую тьму с безнадежной мыслью увидеть ее плачущее склоненное лицо, как в той детской игре на свалке кирпичей...

В НЕКИЙ ЧАС

В бессонные часы ночи он не соглашался, не мог поверить этому, и сознание в отчаянии сопротивлялось, боролось, отталкивало настигающую неотвратимость скорого ухода из мира, отвергало то, что случится с ним, именно с ним, и так скоро... Не может быть! За что? В чем он провинился перед жизнью? Неужели пройдет четыре дня и его не будет? Его совсем не будет? И как, где он почувствует, что его не будет? Неужели через несколько дней ему не суждено проснуться, увидеть раннее солнце над крышами, пойти утром в ванную, тщательно,

долго бриться, привычно рассматривая свое лицо, или с наслаждением выпить рюмку водки перед обедом, или дышать мягким воздухом майского вечера на бульваре, уже поблескивающем сквозь листву зажженными фонарями? Да, он не сможет даже думать, что думает... Все одновременно потухнет, единым мигом оборвется, канет в пустоту, в ничто... Неужели, неужели исчезнут небо, воздух, солнце, шум улицы, гудки автомобилей, людские голоса, утренняя газета после завтрака, глаза жены, длинноногая и длиннорукая дочь, звонки телефонов? Что ж, постепенно прекратятся звонки — ведь с ним умрет его энергия, угаснет действие его живого имени, и он не нужен будет никому. Судьба пощадила его на войне молодым. Да, да, он спокойно дожил до той поры, когда живые вытесняют мертвых почти равнодушной скорбью, странным празднеством похорон, уважительной холодностью живых к мертвым, которых в мирные времена скорее перестают и любить, и ненавидеть. Он сам не раз испытывал слабый прощальный долг на собраниях — скорбно потупить глаза в минуту молчания, встать, чувствуя неловкость и языческую старомодность ритуала.

И в этом печальном безмолвии кто-нибудь из живых счастливцев будет фальшиво грустно смотреть на помятые, засиженные брюки впереди стоящего соседа, думая о неряшливости его, а кто-нибудь рядом будет украдкой скашивать потупленные глаза на стройные ноги женщины, заметной слишком седым пучком волос на затылке, который как бы не соответствует этим прямым ногам, и думать о ее преданной связи с покойным, немыслимо представляя их вместе в мгновения нежности. И вероятно, появятся мысли о тайнах его личной жизни, о его душевных слабостях, что знали только очень близкие семье покойного люди. Потом в некий час чей-то старчески скрипучий голос скажет формулу отвратительной скамеечной мудрости: «Смерть свою причину найдет. И болезнь свою причину найдет. Все на одной точке стоим». О, как он ненавидел при жизни эти пошлые мудрости бульварных философов!..

И, забираясь в предсмертные высоты тоски, где не было никакого спасения, он заплакал, жалея себя и первую свою женщину, навсегда оставшуюся в довоенной юности, черты лица которой он совсем забыл, но которую то ли в действительности, то ли в юном воображении любил с той непорочной чистотой и самоотречением, каких не испытывал позднее никогда.

НО ВСЕ-ТАКИ...

Наверное, где-то там, в бесконечности, есть свой список, и ежедневно некая рука с усталой небрежностью ставит крестик или галочку напротив какого-либо имени — и тот, кто носил это имя на грешной земле, покидает ее в срок намеченный.

В выборе этом почасту нет благоразумного, логического порядка и нет верховной справедливости (так нам кажется), и мы говорим о неисповедимых путях, о високосном роковом годе, прошедшем с косой по знакомым и близким нашим, по совсем молодым людям, а слова «инфаркт» и «рак» стали уже эмоционально равнозначны понятиям «война» и «смерть».

Раз мой приятель, вернувшись из больницы и идя со мной вечером из ресторана по теплой весенней улице, сказал:

— Если зажечь над окнами всех смертельно больных всего мира красные лампочки, нас потрясла бы эта страшная иллюминация на больной земле!..

Но все-таки... все-таки есть ли там, в запредельных списках, норма справедливости, не перепутываются ли эти списки кем-то с мстительной, пугающей людей злорадностью, не опахивает ли их черное, казнящее крыло, лукавя, обдавая вне очереди обреченные имена запахом жженой горечи?

Или, может быть, истина в сердцевине закона кажущегося равновесия? Это выше понимания разума человеческого. И здесь нет ответа.

ПЫЛЬ

Уже месяц была жара, воздух над училищным двором раскалился так, что ощущался всем телом сквозь потную гимнастерку,— сухая, нестерпимо банная духота скапливалась над пропеченным гравийным плацем. Иногда за окнами, замутняя сверкающие в солнечном зное тополя, вставала серая длинная стена — вдоль улицы ползла поднятая военными машинами пыль и долго переваливалась через заборы, не оседала.

Курсанты, загорелые до черноты, пропыленные (все время хрустело на зубах), ничего не ели, хотелось только пить — готовились к экзаменам в классе артиллерии и поминутно выбегали в умывальную, неутоленно глотали

теплую, пахнущую жестью воду из кранов. В классе же сгущалась горячая неподвижность дня; помкомвзвода лениво стучал мелом по доске, рисовал схемы огня, смятым носовым платком вытирая пот с красной шеи, темные пятна выступили под мышками, расплываясь полукружьями на выгоревшей гимнастерке, а мальчишеские лица курсантов блестели пòтом, казались отупело-сонными.

И это давнее ощущение знойного лета я испытал сейчас снова, когда по непонятной связи вспомнил вдруг незнакомую красивую женщину, которая стояла тогда возле проходной училища, разговаривала с веселым светловолосым офицером в белом кителе и, морщась, нежно улыбалась ему и загораживала его раскрытым летним зонтиком от накаленной пыли.

Этот молодой офицер командовал нашей батареей.

Через неделю мы были направлены под Сталинград, и я уже больше не видел его в живых.

Кто она была ему? Жена? Невеста? Сестра? И помнила ли она тот миг, когда хотела зонтиком защитить и его и себя от огненной пыли?..

ДВЕ МИНУТЫ ТРИДЦАТЬ СЕКУНД

Дождь лил по-осеннему, и, ожидая переправы на правый берег Десны, мы не вынесли этого всемирного потопа, промокнув до нитки, устроили себе Ноев ковчег — из досок снарядного ящика разожгли костер в овражке, рядом с дорогой, натянули меж ветвей брезент над огнем и расположились сушиться. А вокруг нашего орудия, стоявшего на обочине, вся иссеченная дождем тьма шевелилась, кишела людьми, грузовиками, повозками, дребезжащими кухнями, была наполнена голосами, командами, ржанием лошадей, хлюпаньем ног в грязи, завыванием буксующих колес, веселой руганью.

— Раз-два, взяли-и!..

— Кого взяли-то, едрена мышь? Куда толкаешь, еловая голова? Чем толкаешь — руками или... чем?

— Хоть ты ей хрена дай — ни с места! Газуй, говорят!

Изредка, врезаясь в эти звуки, далеко впереди стучали немецкие пулеметы, мины со звоном рассыпàлись в чаще на этом берегу, а мы, согреваясь возле костра, наслаждались порханием пламени, потрескиванием досок, как бы отъединенные от всего этого отсырелого, взбудо-

раженного мира вблизи переправы, и даже дремотно, блаженно слипались глаза.

Потом за брезентом, в шевелящейся тьме раздался голос: «Эй, братва!» — и снаружи чьи-то ноги тяжело заскользили по скату овражка, бесцеремонная рука рванула вверх брезент, и громоздкий солдат в колоколообразной плащ-палатке шагнул из мрака к костру, взглянул из-под мокрого капюшона блестящими нагловатыми глазами, распахнул плащ-палатку, подставляя ноги теплу.

— На курортах, братцы? Антиллегенты вы нежные! Дай-ка огоньком у вас разживусь. Хо-хо! Не жалко, а? Кресало мое намокло...

— Ладно болтать! Бери хоть полные карманы,— с ленивой суровостью ответил наш малоразговорчивый сержант, в то же время жестко оглядывая заляпанные грязью ботинки солдата, аккуратно накрученные на икры обмотки.— Пехота? Сразу видать. Горласт очень. Привык «ура» кричать, и на нас басишь!..

— Как говоришь? Пехота пыльная? — дерзко посмеиваясь, солдат достал из металлического трофейного портсигара немецкую сигаретку, окунул ее в рот и присел к огню, блаженно простер над дымом ладони.— А вы кто же? Легчики, поди? К чему это вы сушилку строили? Вшей уничтожаете как класс али как фашистов? Де-ело!..

Сержант нахмурился, властно перебил его:

— Чего разговорился, как на колхозном собрании?

— А ну-ка, ну-ка, который тут пожарче? — Солдат выхватил горящую дощечку из огня, прикурил, упоенно сощурясь, застонал, затянулся полной грудью.— Хор-рошо! — И захохотал, показывая многозубый рот.— Летчики, значит? Кофию и шаколад получили, костерок развели, перин только не хватает! Где перины-то?

— Эй ты, анекдотчик! — опять грубо оборвал его сержант.— Гривенник нашел? Не видишь, кто мы?

— Вроде пушкари,— отозвался солдат, блаженствуя, поводя плечами под шуршащей плащ-палаткой, и подмигнул сержанту.— А я, ей-бо, думал — летчики. Где, думаю, самолеты стоят, аэродрома вроде не видать... А курить хочу, как из пушки...

— Ну, ну, ты брось, брось веселиться! Вас, пехоты, не было, когда мы здесь первые... с немецкими танками... Знаешь, сколько от четырех орудий осталось?

— Сколько?

— Одно.

Мы все сидели на снарядных ящиках и молчали, вытянув ноги в дымящихся портянках к костру, сонно поглядывая на незнакомого пехотинца, неуемной веселостью раздражающего нас, на свои влажные, висевшие на сучьях шинели, от которых шел душный шерстяной пар, и в дурмане усталости не понимали необходимость этой перепалки, злую резкость нашего обычно молчаливого сержанта.

— Да ну? — Солдат в неестественном удивлении помотал головой, трескуче закашлялся и, задыхаясь, так подул на сигарету, что трассами полетели искры.— Впереди пехоты? — закричал он с хохотом.— Вот оно! А ты, сержант, говорил: пехота! Вы, сталыть, еще хуже пехоты! Мы-то смертники, а вы...

— Рота, приготовиться к движению! Сержант Пла-хо-ой! — послышался в гудящей, хлюпающей, промозглой, тьме непререкаемый командный голос.— Где Плахой? Ко мне сержанта!

Солдат медленно обвел нас взглядом, сразу меняясь в лице, вроде бы худея на глазах, обрастая черной щетиной по щекам, выговорил невнятную фразу, похожую на ругательство, швырнул докуренную до ногтей сигарету и, усмехнувшись, грузно сел прямо на землю, стал лихорадочно разматывать обмотки.

— Это тебя зовут? — сурово спросил наш сержант.— Это ты плохой?

Не отзываясь на жесткую ядовитость сержанта, солдат все разувался, протягивая время, мял, переворачивал, тщательно расправлял намокшие портянки, крепко, плотно пеленал ими ноги, натягивал ботинки, и вдруг мне показалось, что среди общего молчания около костра я услышал неудержимый костяной стук его зубов, словно он дрожал весь. Но тотчас звук этот прекратился, солдат быстро поднял голову, встал и в диком оскале беззвучного смеха показал свой многозубый рот.

— Это моя фамилия Плахой, а сам я хороший. Вот послушай! — Он превесело похлопал себя по груди, и глухо прозвучал под плащ-палаткой соединенный звон медалей.— За каждую атаку давали. Засеки в уме, сержант. Запальный шнур горит так: один сантиметр в секунду. Полтора метра — сколько прогорит? Две минуты тридцать секунд. Полтора метра — это пехотная атака, вскочить и упасть. Война, черт ей не рад!

Он говорил это с тем же оскалом сумасшедшего смеха, а наш сержант в упор смотрел на него с холодной

злобой, и необъяснима была эта накаляющаяся ярость его.

— Уйди, пехота! — сказал он крикливо, выкатив угрожающе глаза.— Уйди, не то я... Уйди! Зачем пришел?

Я ни разу не видел сержанта таким взбешенным, в нем будто сломалось что-то, выказывая нам незнакомую его слабость.

Они стояли друг против друга, почти одинакового роста, только наш командир орудия выглядел в гневе гибче, тоньше, острее в лице, а грузный пехотинец, заметный мощной покатой спиной, уже не смеясь, казался медведем, готовым встретить нападение.

— Эх, чудак... покурить у огонька я хотел,— спокойно и мертво проговорил он, и тут голос его дрогнул, а мне вторично почудился костяной стук зубов пехотинца.— Чую, ухлопает меня сегодня... так настроение с утра такое... Дружок мой убитый во сне меня позвал. На тот берег переправимся, атакнем фрицев — и конец мне. Миной убьет. А курить захотелось — страсть. Ты запомни мою фамилию, сержант. Больно запоминательная у меня фамилия. Сержант Плахой, двести седьмого полка, второй батальон, первая рота, командир второго отделения... Ну, спасибочки, хлопцы, за огонек, не поминайте лихом. Еще встретимся, на том или этом свете. А *там* все обязательно встретимся!..

И он улыбнулся нам насильственной улыбкой. Затем чересчур бодро достал вторую сигарету из металлического портсигара, прикурил от головешки, алчно вдохнул дым и, пряча сигарету под плащ-палатку, исчез в непробиваемой темноте, шумевшей дождем и командами.

— Вот дурындас грамотный,— сказал сержант и, несколько растерянно озираясь в ту сторону, где ночь поглотила пехотинца, присел на снарядный ящик, хмуро потер лоб.

Мы молчали.

На рассвете, когда форсировали Десну и после длительного боя закрепились на правом берегу, на плацдарме, наш сержант, потный, черный, расхристанный, молча кивнул нам и шатко пошел бродить по откосу, проступавшему в сереющем воздухе перед немецкими траншеями, возле которых передвигались с носилками солдаты похоронной команды.

Он вернулся часа через полтора, пьяно опустился на станину и так ударил по ней кулаком, что губы исказились болью.

— Дьявол ему, что ли, на ухо шепнул? — сказал он ожесточенно.— Откуда он знал?

Сержант Плахой, командир второго отделения, первой роты, второго батальона, двести седьмого полка, был убит осколком мины во время атаки — смерть настигла его, вероятно, в мгновения высчитанных им двух минут тридцати секунд с момента сигнала красной ракеты...

МУДРОСТЬ

Когда на передовую наконец прибыла кухня, вся степь, скованная к ночи морозом, опаленная толовой гарью, курилась поземкой, и в ледяной пустыне декабрьского неба высоко над орудием жестоким накалом горели звезды — от их студеного сверкания, от голода нас трясло ознобом.

Скорчившись, обдуваемые поземкой, мы лежали на огневой позиции, подмяв под голову тощие вещмешки, ни у кого не было сил подняться, когда увидели над бруствером, посредине черноты и звезд заиндевелую морду лошади, окутанную белым паром.

И тут из немецких траншей вползла в небо, покачалась огненным цветком на дымном стебле ракета, стала падать в степь, и мне показалось, что я увидел, как тени ресниц поползли по морде лошади. Вдали одно за другим ударили немецкие орудия. Первый снаряд летел, сопел, дышал, он издавал мычание в звездном холоде и разорвался с обвальным грохотом где-то позади нашей батареи, настигаемый следующими разрывами. Потом наступила тишина.

Кто-то сказал хриплым смешливым голосом:

— Смотри ты, покидал, покидал — и перестал.

— Куда бил-то сейчас фриц?

— Далеча.

— Ишь сволота, по тылам лупит. С тяжелых, немецкая кочерыжка, бьет. Как бы поваров не побил. А то хватит сдуру — и вся пшенка вдрызг!..

— А Кудрин перед гибелью сказал, что на том свете за нашего повара молиться будет. Очень ждали... Со вчерашней ночи...

— Это какому богу молиться он будет? Есть такой бог-то? Чей он?

— Братцы, без уважения вы... Вон он приехал, а вы без уважения! Всех поваров расстреливать надо — это

кто сказал? Гад какой-то сказал. А я пшенку пуще меду люблю! Понятно? Пшенку и суп-пюре гороховый.

— На хрена попу баян, золотые планки?

— Не-ет, попытка не пытка, а в этом деле — тем более. Где мой большой котелок? Ежели объемся, считайте: на таран пошел пузом. А повару — награда. Так приехал, значит? Неужто?

— А кто его не любит?

— Кого? Повара?

— Мед-то.

— Оглобля необразованная. Я тебе про мед, а ты мне про баб. Я тебе про баб, а ты мне про сенокос. Эй, повар, ты с какого света к нам приехал? Где тебя черти на свадьбе держали? Ты нас любишь или мы тебя? Конфеты привез? Или шоколад?

Самый молодой и неопытный из орудийного расчета, я слушал эти разговоры, неторопливо-издевательские, едкие, и не понимал, почему никто не вставал к кухне. Я злился на эту их, чудилось, фальшивую неторопливость, точно все до неподвижной лепи сыты были, в конце концов не выдержал, поднялся первым, покачиваясь на одеревенелых ногах, вышел к кухне, захватив подмороженными руками котелок, зазвеневший на морозе отвратительно, и подставил его под черпак безмолвного повара. Тот откинул взвизгнувшую железом крышку котла, обдавшего меня паром. И, на миг ощутив вожделенный толчок в горле, с судорогой в голодном желудке, я вдохнул горячий дух разваренного пшенного концентрата, окунул в котелок ложку и жадно начал глотать нечто ожигающее, крутое, немыслимо ароматное, как густой пахучий крем для пирожного, который делала мама перед Новым годом.

— Ты, малец, с этим делом никогда не спеши,— услышал я сзади чей-то внушительный голос.— На войне кто скоро ест, тот быстро помрет. Смерть жадных на жратву любит. Не слыхал такого?

В АГОНИИ

Лишь много лет спустя я узнал, что в те дни, когда война уже останавливалась на последней станции «Берлин», триста тысяч человек перемолол этот немецкий город в своей утробе и на ближних подступах к себе, уже корчась в агонии, распадаясь и разрушаясь.

НА РАССВЕТЕ ПОСЛЕ БОЯ

Всю жизнь память задавала мне загадки, неожиданно выхватывая, вплотную приближая часы и минуты из военного времени, будто оно готово быть со мной постоянно, лишь стоит позвать его из терпеливого ожидания.

Сегодня вдруг почувствовал запах земляной сырости, махорки, острую вонь стреляных гильз и увидел раннее летнее утро, легкий туман, плавающий за огневыми позициями, расплывчатые силуэты подбитых танков в лощине, макушки кустов, мокрые стены ровика, вблизи поблескивающие от росы орудия и два лица, заспанных, очерненных пороховой грязью, одно пожилое, хмурое, другое наивное, мальчишеское,— увидел эти два лица до того выпукло, что почудилось: не вчера ли мы расстались? И через тридцать пять лет дошли до меня их голоса, и не в бреду слуховой галлюцинации, а как если бы эти два голоса звучали сейчас в траншее, в нескольких шагах:

— Утянули, а? Вот фрицы, тудыть иху муху! Восемнадцать танков наша батарея подбила, а восемь осталось. Вон, считай... Десять, сталыть, утянули ночью. Тягач всю ночь в нейтралке гудел.

— Как же это? И мы — ничего?..

— «Как, как». Раскакался! Зацеплял тросом и тянул к себе.

— И наши не видели? Не слышали?

— Почему это не видели, не слышали? Видели и слышали. Я вот всю ночь мотор в лощине слыхал, когда ты дрых. И движение там было. Поэтому пошел, капитану доложил: никак, опять атаковать ночью или к утру готовятся. А капитан говорит: подбитые свои танки утягивают. Да пусть, говорит, все равно далеко не утащат, скоро вперед пойдем. Сталыть, двинем скоро, школьная твоя голова!

— Ах, прекрасно! Веселей будет! Надоело тут, в обороне. Ужасно надоело...

— То-то. Глуп ты еще. До несуразности. Наступление вести — не задом трясти. Весело на войне только дуракам бывает и таким гусарам, как ты...

Странно, в памяти осталась фамилия пожилого солдата, дошедшего со мной до Карпат, фамилия же молодого исчезла, как исчез он сам в первом бою наступления, зарытый в конце той самой лощины, откуда немцы ночью вытягивали свои подбитые танки...

Фамилия пожилого солдата была Тимофеев.

БЕССИЛИЕ

Он шел по Невскому проспекту в одиннадцатом часу утра, на теневой стороне было еще нежарко, солнечные стрелы скользили сквозь листву по зеркалам витрин, лиловые отливы прохлады таились в пустынных подъездах.

Он любил воскресный Невский в эту летнюю пору — перед полдневной духотой проспект был немноголюден, тих, солнечно пестр,— он смотрел на витрины, на праздные лица прохожих и невольно улыбался, щурился от избытка душевной чистоты, что испытывал всегда погожим утром.

Потом он обратил внимание: навстречу ему неторопливой походкой шел небольшого роста молодой человек в клетчатом пиджаке, покатые плечи раскачивались, твердый, жесткий взгляд был устремлен вперед. Молодой человек, казалось, никого не видел и видел всех сразу, гуляющих по Невскому, и одной лишь краткой усмешкой в глазах выделял из прохожих красивых женщин.

Они двигались навстречу, эти два молодых человека, глядя перед собой, а когда поравнялись, невысокий, в клетчатом пиджаке, не поворачивая головы, не меняя выражения глаз, еле заметным толчком плеча ударил в плечо другого, и тот, едва не падая от неожиданного удара, ощутил чужие мускулы, столь натренированные, неумолимые в своей самонадеянности, что, пораженный грубостью, вспыхнув гневом, выговорил, готовый к мщению:

— Извинения надо просить, черт подери!

А парень в клетчатом пиджаке спокойно уходил, по-прежнему слегка покачивая плечами, будто ничего не произошло несколько секунд назад. И стало ясно: толчок был не случаен, а страшная мощь в его мускулах, весь облик невозмутимо гуляющего по проспекту человека делали его неприступным, невинным, и можно было представить, как, уверенный в безнаказанности, он равнодушно поднял бы брови при виде возмущения оскорбленного его действием другого человека, как сказал бы бесцветным голосом: «Не понимаю, что вам от меня нужно?» — и тут же нанес бы этим вторичный удар исподтишка, играя роль жертвы, вынужденной защищаться.

Тот человек, которого задели плечом, был не робкого десятка, тоже обладал физической силой, но что-то похожее на внезапный страх перед чужой волей остановило его. Он, морщась, потирал ушибленное место, оглядывал-

ся на удаляющуюся квадратную спину, обтянутую спортивным пиджаком, и ненавидел и эту спину, и себя, и собственное унизительное бессилие, которому требовалось найти оправдание.

«За что он меня? Позавидовал модным белым брюкам или моей прическе? Доказал, что сильнее меня? Почему я оробел перед этой глупой отвратительной силой?»

В состоянии неудовлетворенного возмездия он не подумал, однако, что оба они, победивший и побежденный в коротком уличном бою первобытных самолюбий, предстали вдруг жалкими, мелкими, ничтожными особями мужского рода в этом солнечном мире июльского утра, с его влажноватым воздухом, витринами, летним взглядом встречных женщин...

КРАСОТА

Не есть ли красота отражение человеком природы, подобно познанию?

И я представил, что земля наша, этот сказочный цветущий сад Вселенной со всеми его закатами, восходами, росными утрами и звездными ночами, студеным холодом и жарким солнцем, со всем его светом, прохладной тенью, июльской радугой, летними и осенними туманами, дождями, белым снегом,— представил, что наша земля непоправимо осиротела. Что ж, вообразите: на ней нет более человека — и глухая пустота шуршит в каменных коридорах городов, в траве диких полей, и безмолвие не нарушается ни звуком голоса, ни смехом, ни криком боли.

В этом полном безлюдье, в ледяной тишине прекрасная земля наша сразу потеряла бы свой высочайший смысл быть кораблем, юдолью человека в мировом пространстве и вмиг утратилась, исчезла бы ее красота. Ибо нет человека — и красота не может отразиться в нем, в его сознании, и быть оцененной им. Для кого она? Для чего она?

Красота не может познать самое себя, как это может сделать изощренная мысль, утонченный разум. Красота в красоте и для красоты бессмысленна, нелепа, мертва, так же как, в сущности, и разум для разума — в этом поедающем самоуглублении нет свободной игры, притяжения и отталкивания, живого дыхания, поэтому оно обречено на гибель.

Красоте необходимо зеркало, нужен мудрый ценитель, добрый или восхищенный созерцатель, ведь ощущение красоты — это ощущение жизни, любви, надежды, мнимая вера в бессмертие, так как прекрасное вызывает у нас желание жить.

Красота связана с жизнью, жизнь — с любовью, любовь — с человеком. Как только прерываются эти связи, погибает вместе с человеком и красота в природе.

Книга, написанная последним художником на умершей земле, будь она исполнена гениальнейшей гармонии и правды, всего лишь бумажный хлам, мусор, потому что цель книги — не крик в пустоту, а отражение в душе другого человека, передача мыслей, переселение чувств.

Все музеи мира, собравшие всю красоту, все шедевры живописи, выглядели бы страшными раскрашенными сараями без присутствия человека в них.

Красота искусства без человека становится извращенно-безобразнейшей, то есть более невыносимой, чем безобразие естественное.

ИНСТИНКТ

Как я ненавижу лица злые, жадные, завистливые, для которых совершенно безразлична жизнь ближних своих и которые совершенно равнодушны ко всему, кроме хватательного и жевательного инстинкта. Иногда они кажутся мне двуногими аппаратами, перерабатывающими пищу, и невольно вспоминаются дождевые черви, пропускающие через себя землю.

Часами смотрю на красавцев лебедей в пруду городского парка, медлительных, ленивых, откормленных, вижу, как они поминутно едят, по-змеиному пригибая шеи к воде, размачивают в клювах брошенный им хлеб, щелкатят, выпрашивающе помахивают хвостами, готовые есть день и ночь, смотрю и думаю странное:

«Так неужели их жизнь, жизнь самой красоты и грации, состоит в том, чтобы насытить эту изящную по форме плоть?»

И тут красота их меркнет, грация кажется уже бесполезной, ложной, и все царство птиц, зверей начинает представляться только грызущим, охотящимся, выслеживающим, преследующим, поджидающим в засаде жертву для того, чтобы убить ее и произвести обмен веществ.

И с мучительной надеждой я успокаиваю, успокаиваю себя мыслью о несовершенстве мира, в котором высочайшая красота живет нераздельно с низменностью инстинктов и отвратительных убийств ради продолжения жизни.

В этом зерно безумных вопросов, на которые есть множество мудрых ответов и нет одного — главного.

ЗЕРКАЛО

Она не видела меня, спящего за ширмой, и я проснулся от легких шагов в комнате, от ее протяжного, ласкового голоса:

— Ми-илый!..

Она, нагая, стояла перед большим зеркалом, освещенная утренним солнцем, странно вглядываясь в свои глаза, в губы, улыбалась, хмурилась, разглядывала свои коротко подстриженные светлые волосы, трогала кончиками пальцев тонкую лебединую шею, маленькую грудь, как бы с замиранием следя за этими, чудилось, чужими прикосновениями, потом, опять улыбаясь, сказала сквозь стон: «милый» и закинула руки, вытянулась гибко, ладонями охватила затылок, я увидел и ее поднятую грудь, и темные островки подмышек...

С каким-то непонятным мне выражением запредельной любви и боли она закрыла глаза, тихонько приблизилась к зеркалу и раздвинула губы навстречу другим, раздвинутым, готовым к поцелую губам. Гладкая поверхность зеркала затуманилась от ее дыхания, а она все приближала приоткрытый рот для поцелуя с собою, через смеженные ресницы наблюдая эту близость в зеркале. И я услышал ее шепот:

— Неужели так? Неужели это так?.. Как страшно...

Она спрашивала себя, нет, она спрашивала кого-то другого, преображенного в своем зеркальном отражении, и вся доверялась, вся отдавалась его объятиям, убежденная, что никто не видит ее, обнаженную, бесстыдную богиню, прекрасную юной чистотой, растерянностью и перед отражением женского совершенства, и перед чем-то новым, неизбежным, что было связано с этим двойником в зеркале.

И тогда мальчишеская моя непорочность была потрясена впервые отверзшейся тайной женской незащищенности, этой любовной игры, еще не испытанной, но ожидае-

мой ею. В невинной близости она хотела увидеть, представить себя, и я, сгорая со стыда, почему-то испытывая к ее прелестному двойнику острую неприязнь, накрылся с головой одеялом, сжался в жаркой духоте, убитый страшной театральностью и пугающей силой наготы.

Я очнулся от изумленного вскрикивающего шепота:

— Ты не спишь? Ты разве не спишь?

И с моей головы резко сдернули одеяло. И, ослепленный близкой белизной ее груди, искаженным гневом лицом, ее огромными блестящими глазами, я понял, что она услышала меня, и, онемев, молчал, ибо готов был умереть тут же в позоре.

— Ты, значит, не спал, негодный мальчишка? Ты видел? — спросила она, наклоняясь надо мной, заглядывая темной жутью глаз мне в зрачки, а я чувствовал, что еще минута — и потеряю сознание от ее голоса, недавних поцелуев с зеркалом, этих объятий бесстыдства, нежного запаха молодого сена, исходившего от ее золотистых волос, низко свесившихся над моим лицом.— Ты видел меня в зеркале, противный? — повторила она гневным шепотом и подозрительно прищурилась, задрожала ресницами.— Так вот слушай, негодяй,— тебе все приснилось, все приснилось, все приснилось! Все, все приснилось!..

Она больно дернула меня за ухо и, прикусив губы, чтобы не разрыдаться, выбежала в другую комнату, а я, глотая застрявший комок обиды в горле, запомнил надолго, как опасно быть случайным свидетелем чужой тайны, не доверенной никому, кроме одного зеркала в тихой комнате.

А это огромное старинное трюмо, стоявшее меж двух окон, как бы освещенное прохладным воздухом сквозь зелень дворовых лип, имевшее поэтому особую серебристую глубину, чистоту отображения, всегда притягивало меня и одновременно отталкивало ожиданием страха. Оно несколько раз соприкасало мою душу в детстве с чужой тайной, заставляя какой-то мистической волей так властно подчиняться подсознательному любопытству, что я удивляюсь до сих пор: все, кто приезжал к отцу, в нашу маленькую квартирку на Якиманке, друзья и знакомые, сразу обращали на трюмо внимание, могли простаивать перед ним минутами. Но после того как я невзначай увидел свою дальнюю родственницу, жившую тогда у нас, перед зеркалом, было уже неприятно видеть даже мать, тщательно причесывающуюся по утрам возле трюмо, словно родное до каждой черточки лицо могло изме-

ниться в зеркале и открыть мне непривычное, нематеринское, унижающее ее.

Однако болезненную, отталкивающую неприязнь стал испытывать я к старинному трюмо, когда однажды приехал к нам из Свердловска давний друг отца, с которым в молодости они устанавливали Советскую власть на Урале. Друг отца работал на строительстве завода, приехал неожиданно, поздним вечером, без предупреждающего письма, без телеграммы. Был этот человек в кожаной кепке, в сапогах и плаще, пахнущих переполненным вагоном, далекими захолустными вокзалами, и внес он в квартиру вместе с едким запахом еще холодный сквознячок тревоги, заметной по нахмуренным бровям отца, по бледному лицу матери.

Закрыв дверь в смежную комнату, они проговорили всю ночь, пили водку, кричали не в голос, а шепотом; друг отца, как мне казалось, хрипло, неумело, как-то глухо и страшно плакал, вроде бы умоляя о помощи, повторяя имя отца: «Митя, Митя, пойми...» — и хорошо помню спокойно-казнящий возглас отца в краткой каменной тишине: «Нет, Степан, нет тебе оправдания...»

Уже на рассвете мать вошла в мою комнату усталая, медлительная и принялась стелить гостю на диване, то и дело растерянно оглядываясь на дверь, за которой не смолкали приглушенные голоса.

Я лежал тихонько, боясь пошевелиться, не в силах был заснуть, пребывая в липкой тоскливой полудреме, все сжималось во мне смутной болью. Я чувствовал, что в соседней комнате происходит нечто тревожное, опасное, связанное с нашей семьей, с отцом и матерью, и это гибельно-опасное, похожее на запоздалое предупреждение о смертельной беде, привез сегодня гость, старый отцовский товарищ, который время от времени глухо и хрипло плакал за дверью.

Сон скоро опрокинул меня, а когда я проснулся, было совсем светло в комнате и кто-то ходил за ширмой, стонал, ужасающе скрипел зубами, прерывисто мычал, как под мучительной пыткой. Это был друг отца; раздевшись до нижнего белья, босиком, он неуклюже, по-бычьи, из угла в угол метался по комнате, натыкаясь на стулья, тер двумя руками крупное грубое хмельное лицо, чудилось — хотел закричать, зарыдать, но только сиплые звериные звуки вырывались из его горла. Затем он взахлеб начал бормотать невнятные отрывистые фразы, словно бы

жертвенные суеверные заклинания, и мне стало страшно видеть это обезумелое отчаяние.

— Гос-поди!..— вдруг выговорил он так судорожно и отчетливо, что я вздрогнул от его вскрика мольбы.— Господи! — повторил он, останавливаясь перед трюмо, огромнотелый в исподней рубахе и кальсонах, и начал вглядываться в свое грубое, сморщенное жалким выражением заискиванья лицо, обмоченное слезами.— Я не виноват... Я не хотел... Митя, не хотел!..

Он стоял подле зеркала, охватив щеки, покачиваясь, подобно деревенской женщине в состоянии горя, и моргал, плакал с жалостью, с отвращением, будто бы самому себе изображая безысходную игру в горе, и было странно видеть противоестественное смешение искреннего отчаяния и попытку изобразить, увидеть в зеркале свое отчаяние. Что это было? Жалость к себе? Упоение сумасшествием раскаяния? Исход душевного грехопадения? Кто поймет до конца человека? Он при этом поворачивал лицо то вправо, то влево, он кривился, оскаливаясь, со стоном, со всхлипами выдавливал из глаз слезы, текущие по щекам, он задыхался, что-то горько, ненавистно шепча зеркалу.

Потом я увидел, как он рухнул на колени и, круглыми безумными глазами, отрекаясь от самого себя, мотая изуродованным в сладострастном покаянии лицом, глядя в зеркало на свой по-клоунски отраженный кающийся второй облик, выговорил умоляюще и сипло:

— Гос-споди, прости меня!.. Митя, прости меня, прости меня... или убей меня!.. Я подлец, подлец, подлец!

И, беззвучно зарыдав, дополз на коленях до дивана, упал на него грудью, долго бормотал в подушку страстные неразборчивые слова, после разом затих, засопел; бугор его широкой спины подымался и опускался под свистящий тяжкий сап.

Я не видел, как утром он исчез, поэтому не знаю, простился ли с ним отец или сам гость уехал, ни с кем не попрощавшись, избегая последних минут этой встречи, последних слов, недоговоренных ночью.

Детским чутьем я догадывался, что неожиданный тот гость предал старую дружбу отца, привез с собой таинственный колючий страх, сразу же заметно изменивший жизнь в нашей семье. Отец стал молчалив, замкнут, за ужином прислушивался к стуку дверей в парадном, и не раз ночью просыпался я от тихого разговора в другой

комнате, видел в раскрытую дверь белую фигуру отца и белую фигуру матери у окна, облитых лунным светом, они всматривались из-за отодвинутой занавески в синий летний сумрак двора. А там, мне казалось, звучали шаги по пустому асфальту, слегка хлопала дверца автомобиля, затем в ночном безмолвии одиноко начинал работать мотор, постепенно отдаляясь, затихая на улице. И тут отец торопливо чиркал спичкой, закуривал (зарево вспыхивало и гасло в другой комнате), а мать, с облегченным вздохом обняв его, целовала в подбородок, и молочный лунный свет на полу, и шорох в другой комнате, и мягкий успокаивающий шепот матери запомнились мне необыкновенно ясно.

Я ненавидел это зеркало, которое хранило в себе и знало слишком много, оголяя в странной игре человеческую душу, двойную ее подкладку, в нем было некое чудо скрытой второй жизни, оно пугало меня в юные годы своей беспощадностью, потому что я видел в нем не героическое лицо человека, которым хотел быть, а робкую улыбку, прыщики на лбу, длинную шею...

Это был мой двойник, возникающий в плоскостных пространствах, облик правды, ничем не прикрашенный, сама естественность,— и мальчишеское разочаровывающее познание собственной плоти угнетало меня невыносимой тоской по совершенству и красоте. Где был я и где не я? Кто с таким длительным вниманием рассматривал меня из глубины зеркала?

Мне до сих пор кажется, что зеркало знает о нас больше, чем мы о нем, что оно обладает тайной и жестокой силой правды и безжалостного напоминания о конечности всех дорог.

Когда утром вы замечаете на лице своего двойника бледность усталости, тусклую полуулыбку грустного опыта, новые морщинки вокруг глаз, не кажется ли вам, что все продолжительнее, все настойчивее, все печальнее звонят дальние колокола?

«КАК МНЕ ЖАЛЬ ТЕБЯ...»

Они лежали обнявшись, и она, потираясь кончиком носа о его нос, говорила шепотом:

— Как мне жаль тебя, как жаль!..

Он полувиновато улыбнулся, но ему неприятно было слышать эти ее ласковые слова, они унижали его мужское

достоинство, любовь к ней, единственной женщине, его жене, с которой душа в душу прожил двадцать пять лет. Они оба, к счастью, еще не остыв, не утратили прежней молодой нежности, где даже молчание, теплое прикосновение взгляда, улыбка выражали одно и то же прекрасное, вечное, подаренное человеку природой в счастливый час земли.

Никогда раньше она не произносила этих слов жалости, и он, не отвечая ей, подумал, что все счастливое, долго затянувшееся, прежнее завершилось в этот миг. Она, вероятно, разлюбила его, охладела, силясь заменить любовь жалостью, и вот оно, ледяное, старческое... Неужто наступила новая пора в их жизни, тихая, разумная, предзимняя, с холодком северного ветерка, с запахом увядания, с прохладным солнцем над пустотой полей?

Она сказала о своей жалости летним утром, едва они проснулись после того, как ночью, целуя, прижимаясь к нему, говорила совсем другое, страстное, стеснительное, полусумасшедшее, что на самом деле всегда сводило его с ума, и теперь он почувствовал с внезапной обидой нечто фальшивое в прошедшей ночи и нечто обреченное наконец самой правдой, выявленной этим утром, ее одной разрушительной фразой: «Как мне жаль тебя...»

Он повернул голову к окну, увидел пронизанные ранним солнцем янтарные складки не задернутой полностью шторы, нагромождения влажных городских крыш — и смотрел, боясь повернуться, боясь встретить ее взгляд.

— Почему... тебе жаль меня? — не отводя глаз от окна, насильно улыбаясь, спросил он и еле справился с сердцебиением, мешавшим сейчас говорить и дышать.

Она промолчала, только вздохнула.

И он повторил тихо:

— Почему?

— Ты не представляешь, как мне жаль тебя,— заговорила она шепотом.— Разве ты не думаешь, что уже совсем скоро нам придется расстаться друг с другом... и со всем этим миром?

Он понял и, скользнув сознанием мимо неизбежного, неумолимого, ждавшего их впереди, помолчал с облегчением, похожим на радостное безумие (нет, она лгала ему, и оставался запас надежды на неопределенный срок земной любви), сказал осторожно:

— Ты еще любишь меня?

— Наверно, это больше, чем «любишь». Я молю судьбу, чтобы мне не пережить тебя.

— И я думаю о том же,— сказал он хрипло, думая, однако, не о последнем мгновении смертного часа, а о том, чтобы она не погасила тлеющий огонек многолетнего тепла между ними, напоминавший им обоим молодость, веселый блеск глаз, озорство, ненасытность любви и ожидание еще всей непрожитой жизни.

— Наверное, тебе приснилось что-нибудь грустное? — спросил он, успокаивая и ее и себя.

Она выпростала руку из-под подушки, погладила его по голове, как ребенка, всматриваясь в его лицо, готовыми плакать и смеяться глазами.

БЫЛ ПОЛДЕНЬ

Наверное, было мне тогда года четыре, и моя мать, добрая красавица (такой она осталась у меня в памяти навсегда), повезла меня с младшей сестрой в Семиречье, край теплый.

Стоит закрыть глаза — и я вижу жаркое лето, еще не кошенную, напоенную степными ароматами траву, где в тени пирамидальных тополей на краю сада мы часами лежали на расстеленном одеяле, глядя на стебли цветов, по которым хлопотливо ползли муравьи к горячему небу и обратно спускались в травяные дебри. Вижу отяжеленные яблони, деревянное крыльцо, пыльные закаты над улицей и окрашенное розовым отсветом задумчивое лицо матери рядом со мной...

С удивительной полнотой ощущений выкатывает из детства изобильный июльский день. Сытым уютом, благополучием, радостью веяло тогда от заросшего кувшинками пруда, от крепких домов с резными ставнями, окруженных зеленью сверкающих на солнце садов, от сонного гудения пчел вокруг ульев, от амбаров, сияющих среди деревьев тесовыми крышами. Был полдень.

Осовелые в зное куры, разинув клювы, стонали, прятались в жидкой тени, неуклюжие гусак и гусыня, лениво переваливаясь, вели со двора к пруду своих большелапых гусят, одновременно, как по команде, помахивающих хвостами; лохматый пес, разморенный жарой, лежал под крыльцом и не залаял на гусака, угрожающе зашипевшего, а только повернул голову, тяжело дыша, и клацнул зубами, отгоняя надоевших мух.

Почему я помню вот такую деревню, какой нет уже?

СНЫ

МОРЯЧОК

Грузовая машина беззвучно въезжала под низкий туннельно-черный железный мост, врезанный в насыпь на окраине темного города: и слева вдоль насыпи бежал к этой машине с винтовкой за плечом морячок в черном бушлате, без отчетливо видимого лица, только рот открыт криком, а форма была новенькая, широкие клеши, блестящие металлические пуговицы: пулеметные ленты опоясывали грудь крест-накрест, и во всей фигуре, в движениях его была счастливая одержимость.

— Вставай! Ты спишь уже два часа!.. Вставай...

Его легонько потрясли за плечо, и он очнулся на мгновение, еще ничего не понимая. Он лежал, открыв глаза; вокруг — его комната, полки с книгами, день к вечеру, солнце перед закатом розово освещало девятиэтажный дом напротив. Жена стояла около тахты и трогала его за плечо:

— Вставай же! Тебе пора...

«Да, нужно встать, сейчас я встану,— подумал он.— Я устал и лег после обеда... Не заметил, как заснул... Но откуда тот морячок семнадцатого года в городе?.. Сел он или не сел в машину?»

Он теперь понимал, что ему снился сон, что это нереальность, которая сейчас же исчезнет из сознания, едва он стряхнет сонное оцепенение, встанет, но ему непреодолимо хотелось узнать, что будет с морячком,— и снова его окунуло в дремоту, в сладостное забытье, и все вернулось к нему: опять точно так же грузовая машина въезжала под мост, врезанный в насыпь, опять бежал к грузовику одержимый морячок в новом бушлате, опоясанный крест-накрест лентами...

— Вставай же, господи, ты не будешь спать ночь! Ты просил разбудить...

Он чувствовал: это голос жены, и там, где ее голос,— комната, за ней мягкое солнечное освещение на стене девятиэтажного дома, залитой ровным предзакатным огнем,— все это было рядом, поблизости, поэтому казалось раздражающе привычным, знакомым — и комната, и книги, и голос жены, и пылающие стекла в окнах соседнего дома.

Весь расслабленный сном, он сидел на тахте, открыв глаза, быстро говорил: «Сейчас, сейчас»,— но все с той

же силой его тянуло назад, в легкую и сладкую загадочность сна, в какое-то бестелесное движение, где морячок бежал к машине, а он должен был узнать, что будет дальше, и это ожидание приносило ему непроходящее удовольствие.

«Что это...— подумал он.— Я ощущаю этот сон и одновременно ощущаю комнату, и голос жены, и время перед вечером, но то, что во сне, дает мне какое-то непередаваемое наслаждение счастья, покоя, забвения, и не хочется просыпаться, и я думаю и понимаю, что это сон, что нужно вставать,— и не могу, не хочу очнуться. Что же мне приснилось: то время, в котором я никогда не жил?»

ФРАЗА

Видимо, потому, что пришлось отказаться от правки в верстке (перелив абзацев, вследствие этого возможное опоздание журнального номера), мне каждую ночь снится, будто я правлю и никак не могу выправить ее до конца.

Странное дело — передо мной до ясновидения четко появляется и исчезает одна и та же гибкая сложная фраза, с периодами, с деепричастными оборотами, однако с явным и неуловимым изъяном в построении, в мысли ее.

Эта фраза, отчетливо видимая мною на левой полосе верстки, мучительно повторяется в моем сонном сознании — и я правлю ее с беспокойством одержимости, переставляю слова, вычеркиваю, ищу синонимы, меняю знаки, но неточно, не достигая совершенства, не испытывая удовлетворения, и неисправленная фраза вновь возникает перед глазами, как механическое и повторяющееся наказание.

Я просыпаюсь в состоянии изнурительного бессилия и пытаюсь подробно и детально восстановить по памяти, воспроизвести эту фразу, долгую мою пытку.

Но — не могу ее вспомнить... Такой фразы, которая выпукло видна была во сне, нет в романе. Ее создало продолжающее работу мое неуспокоенное воображение, создало — и мучает меня в забытьи не первую ночь.

ЧАСЫ

— ...В пять проснулся, тихо в комнате, светло, луна против окошка светит, жена еще спит. Туда-сюда повертелся, снова лег — и тут снова такой сон непонятный к

голову полез... Ну, надоел, понимаешь ты, этот сон. Будто на работу я пришел, как и полагается, к семи часам, все нормально, а уже в цехе пощупал карманы, глядь — часы и деньги забыл в пальто. Пошел назад, а в раздевалке монтажники какие-то незнакомые. Смотрят на меня, понимаешь ты, и не узнают. И раздевалка вроде не наша. Уборщица и говорит: «Идем, покажу тебе раздевалку». И повела — через какие-то поля, леса. Ну, долго идем. Все незнакомое: лес темный, поля вечерние, ни души нигде. Потом нашли часы на дороге. Поднял я их и опять в грязь уронил. Жалею, циферблат вытираю. Потом назад идем. А навстречу — рабочий знакомый. Я ему: так и так, мол, часы искал. А он: ничего, в ночную смену пойдешь. Ну, до того, понимаешь ты, надоел этот сон, сам во сне чувствую, что надоел, а проснуться не могу. Вытираю циферблат, поднес часы к уху: идут. Во сне слышу, что идут. Надоел сон!

ОНА ПРИСНИЛАСЬ

Рассказ режиссера

Она приснилась мне в белом подвенечном платье, какие никто тогда не носил. Она стояла прямая, смертно-бледная, с опущенными глазами, тени ресниц были видны на щеках. Я чувствовал ее рядом с собой в глубине московского двора, а вокруг суетились, бегали испуганные люди, безголосо кричали, задирали головы к ночному небу — низко над крышами партиями шли, возникая из зарева, черные бревнообразные самолеты.

Я знал, что бомбоубежище в другом конце двора, метрах же в пяти справа, за тамбуром, была каменная лестница в подвальчик, там до войны держали дрова — дверь, обитая войлоком, темнота, запах плесенной сырости,— и я тянул ее за руку не к бомбоубежищу, но к этим чернеющим ступеням вниз, тянул не с мыслью спасения или чувством ужаса перед бомбежкой, а с таким неистовым молодым желанием обнимать, целовать ее в темноте подвальчика, скрывшись от людей, от их животного страха, неприятного и непонятного мне. Только одно я испытывал тогда — ощущать ее губы, ее грудь, крепко обтянутую скользкой шелковистой материей платья, я так вожделенно хотел быть с ней вдвоем, так хотел ее прохладной молчаливой близости, что сердце оглушающим колоколом ударяло в висках.

Где мы познакомились — не знаю, не помню...

За ее бледное лицо, неумело-робкое движение ее губ, когда она отвечала на мои поцелуи, я мог бы отдать жизнь — родниковый холодок ее рта не утолял меня, я был подобен изнеможенному зноем несчастному, который случайно жадно испробовал вкус ключевой воды — и не напился...

И четко я помню: в том сумеречном, освещенном заревом дворе, среди мечущихся людей, она стояла чистая, как январский ледок, вся скорбная, и почему-то не шла со мной в тайный подвальчик, где я представлял ее уже в объятиях и ощущал влагу ее губ, ее зубов, эту сжигающую муку неутоленной жажды.

Вот и все.

И еще помню, с каким горьким, раздирающим душу чувством одиноко проснулся я в своей неприютной постели холостяка и впервые за много лет чуть не закричал от тоски. В моей длительной и непростой биографии были женщины, которых я любил, наверное. Но кто была та?.. Чье лицо? Нет, я не помнил определенных черт лица, только что-то смутное, овальное, бледное...

Видимо, во сне это была тень женщины или идеал женщины, и лишь ее одну я должен был когда-то встретить в мире и полюбить, но не встретил, так, в общем-то, никчемно и пустовато прожив без нее целую жизнь.

Однако почему Москва, бомбежка, зарево? И почему она в немыслимо белом и длинном платье? Кто это мне может объяснить?

ПОСЛАНЕЦ

Хмельной после банкета, я бежал по улице провинциального городка с грязными одноэтажными домами, бежал, задыхаясь в отчаянии, чувствуя, что опаздываю на поезд: оставалось несколько минут до его отхода, а еще надо было собрать чемодан, уложить вещи (какие вещи, почему уложить?), взять у кого-то билет, уже купленный для меня...

А из ворот на улицу беззвучно выезжали покрытые рогожей, обляпанные грязью подводы, и возле ближней подворотни стоял спиной ко мне человек в нелепо широком черном плаще, напоминавшем сложенные на плечах крылья, и распоряжался отъездом подвод, жестами командовал возницам, мужичкам с острыми бедовыми глазами.

Я обрадовался несказанно, встретив этого широко-

спинного человека,— да, да, ведь у него должен быть мой билет на поезд, ведь прежде этот человек был хорошо знаком мне: когда-то вместе с ним ездили мы очень далеко за границу...

Я остановился посреди мостовой, переводя дыхание. Он повернулся, но, оказывается, лица у него не было, а было нечто такое, что сообщало ясно: действительно, у него билеты, он знает номер вагона и мое место в поезде.

Но кто он?

И не в силах вспомнить его знаменитое имя, я крикнул ему, что бегу за вещами в другой конец города, поэтому опаздываю на поезд (он ничего не ответил), и стал просить свой билет, умолять хотя бы сообщить номер вагона и место (ответа тоже не последовало), и, изумленный чудовищной его немотой, я опять бросился бежать по улице, по осенней грязи.

Не ведаю, где я укладывал чемодан — номер ли был это гостиницы, комната ли в частной квартире, помню лишь, как среди множества кучек скомканных на столе, на полу бумажек собирал разбросанные вещи, лихорадочно затискивал их в до отказа набитый чемодан. Он был переполнен, а я все время что-то забывал и отыскивал забытые мелочи в рассыпанных по комнате бумажных комках, в который раз открывая безобразно раздутый чемодан, одновременно с пьяным ужасом думая, что опоздал окончательно — остались секунды до отхода поезда. Но тупая сила заставляла меня суматошно искать, с хаотичным упрямством шарить в кучах бумажек, и вновь распаковывать чемодан, и вновь закрывать его, и вновь открывать.

Что я забывал? Какие вещи? В сознание врезалось одно.

Когда с чемоданом, неподъемно-чугунным и вроде бы невесомым, добежал я, вконец истерзанный, потный, запыхавшийся, до вокзала, перрон был совершенно пуст. Вокруг ни живой души. А поезд отходил, и все двери вагонов были намертво заперты. Тогда в растерянности я увидел единственного человека, который вдруг появился в красной фуражке и, раскрылив черные полы плаща, спрыгнул с платформы на освобожденные рельсы, где только что двигался поезд. Человек в плаще перешагнул через стрелку, потом обернулся и совсем уж равнодушно помахал свернутым флажком то ли мне, то ли кому-то невидимому за моей спиной, подтверждая конец отправки.

И здесь на вымершем перроне, пораженный безмолвием вокзала, я отчетливо вспомнил фамилию и профессию этого известного человека, с которым мы когда-то вместе ездили за границу. Так неужели именно он недавно стоял в подворотне спиной ко мне, неужели у него были мои билеты и он был назначен распоряжаться отъездом, а теперь, ступив на пустой путь, подавал знак оттуда, посланец времени?

Этого человека я знал в живых. Он умер лет десять назад.

И утром, спрашивая себя, почему он явился мне во сне, стараясь по порядку воспроизвести собственные замедленные действия в той необъяснимой нелепости спешки, я весь покрылся холодным потом от внезапной мысли, пронзившей меня.

Возможно, мой срок еще не настал и номер вагона, номер места еще неизвестен на конечной станции?..

СТАРЫЙ ГОРОД

Не могу вспомнить, почему мы стояли ночью на крыльце нашего старого дома и смотрели в пустой двор, лунный, зимний, по которому вроде бы должен был кто-то пройти, не то странный чужеземный человек, не то его тень, и исчезнуть в темном проеме заднего двора.

Кого мы ждали? Что ему нужно было в нашем дворе?

Я смутно видел лицо жены, ее худенькую фигурку, дрожащую от холода и страха, ее руки, умоляюще прижатые к груди, она как будто знала, кто должен был пройти через двор, кто должен быть этот зловещий незнакомец.

Потом я услышал ее испуганный голос: «Дверь! Ты закрыл дверь! Ты захлопнул ее! Мы пропали! Мы не войдем в дом!»

Нет, я не закрывал никакой двери, однако стук защелкнутого за спиной замка явственно донесся до меня.

И я робко оглянулся. Позади квадратом чернела массивная дверь нашего дома, захлопнутая непонятной силой, и мы были отрезаны от своей квартиры, от всего прежнего, от всей прошлой жизни. «Надо быстрей, немедленно взломать дверь! — соображал я.— Взломать сию минуту!» Но жена догадалась о моем намерении и крикнула в суеверном страхе: «Не ломай! Отожми ее как-нибудь, только не ломай!»

Почему она так боялась, что я взломаю дверь?

Совершенно необъяснимо, откуда взялась у меня сила, я боком отжал прогнувшуюся дверь, увидел за нею темную щель и канул в пространство.

С подушкой под мышкой, с полусвернутым одеялом, закинутым на плечо, в одном нижнем белье я шел по большой площади, заваленной сугробами, космато дымящейся светло-розовым снегом, который разбрасывали лопатами дворники из прорытых в сугробах траншей. Впереди возвышался невиданной красоты голубой храм, густо забеленный по выступам камня метелью. Мимо него, обдавая синей пылью, проезжали извозчики в сплошь завьюженных санях, а вокруг площади на возвышенности вырисовывались в огне утренней зари очертания низких белых дворцов, дальних церквей, пышно стоявших в инее деревьев. Везде было радостно, уютно, патриархально, и я чувствовал, что могу быть счастливым в этом старом русском городе, если бы не неудобство подушки, одеяла, которые я тащил зачем-то с собой, стыдясь нижнего белья, босых ног, оставляющих следы на теплом снегу...

И строй курсантов двигался навстречу в удивительно новых, только что выданных гимнастерках, лица молодые, веселые, словно бы я знаком был где-то со всеми много лет назад и потерял навеки... Я несказанно им обрадовался, а двое юных, неуловимо знакомых мальчиков (ведь они были моими друзьями!), бойко выйдя из строя, захотели помочь мне нести подушку и одеяло, засмеялись, показывая сахарные зубы, начали лепить снежки, готовые охотно поиграть со мной. Но я, подталкиваемый невнятной силой, вдруг повернулся и быстро пошел назад к едва темневшей в конце площади чугунной ограде, к воротам из этого города, к смутному спасению...

БЕЛЫЙ ГОРОД

Весь город плыл в тумане между небом и землей, проступая матово-серебристыми очертаниями куполов. Затем горячее солнце залило башни минаретов, крыши, радужные фонтаны, изобильные сады и реку, текущую между тополями. И все заиграло, засверкало, потеплело — жизнь заполнила шумные базары, многолюдные улицы, всюду зеленели на углах карагачи, всюду влюбленно стонали горлинки в листве, звучали спокойные голоса людей в белых одеждах, величественно поворачивали на длинных шеях маленькие головы верблюды, глядя вокруг зеркальными глазами, гибкие женщины, присев на корточки у

фонтанов, набирали в кувшины воду, смеялись дети, и всюду вершины тополей виднелись в знойной синеве.

Удивительно то, что в воображении я несколько раз видел, ощущал этот белый восточный город, его дома, его людской шум, прохладу от глиняных дувалов, ароматную терпкость винограда в садах, радостные крики детей, запахи простой жизни, объединенной под солнцем, без ненависти, без печали, и во всем этом было что-то родное, тысячелетнее, нерушимое. И хотелось остаться здесь навсегда, навечно слиться с этой благодатной землей отцов.

Но потом почему-то оказывался я на середине быстрой реки, поток буйно ревел, упорно нес меня мимо улиц и мечетей, мимо деревьев и мостков, устремлялся в раскрытые ворота, повисшие над водой, и навстречу кидалась в глаза бескрайняя, пышущая жаром пустыня, и охватывала тоска выжженного пространства, через которое мчала меня река, одинокого, изгнанного из сказочного города, родившего человечество.

ЛУЧИК

Я застонал оттого, что моя постель была освещена бледно-жемчужным светом и от ощущения безвыходной затерянности в беспредельности.

Лежал с закрытыми глазами, потолок и крыша разверзлись: надо мной была неизмеримая острая высота, напоминающая воронку, откуда из черного небесного холода опускался и шел к земле бесконечно прямой лучик, вкрадчивой ощупью находя и озаряя меня с ног до головы.

Что это был за луч? Какое значение имел он? Почему среди затерянной в России деревни и осенних ночных лесов он искал и нащупывал именно меня? Может быть, в этом лучике было великое напоминание о моей изначальной и конечной связи со Вселенной?

Не один год я помню разверстую бездну неба, загадочную опасность лучика, направляемого на меня неизвестной силой, разумом ли природы, неким ли мыслящим существом, обитающим в космосе, и мне было жутко потому, что я не понимал, зачем это все со мной происходит, зачем возник из мироздания ледяной лучик и что надо было ждать в моей судьбе этой ночью.

Еще помню, что слух мой был обострен, я слышал шум крови в висках и мерзкий крик ворон в саду, застывшем в сереющем небе вершинами берез.

У КАССЫ

В длинной очереди я подходил к железнодорожной кассе, а сзади теснили меня, наваливались, дышали в затылок. Потом возникло за стеклом у электрической лампочки белое узкое лицо с козлиной бородкой, оно, это лицо, что-то говорило мне, я же не мог разобрать ни слова, потому что оглох (наверно, сказывалась моя артиллерийская глухота после войны), и, весь неудобно искособочась под напором очереди, нагибался, приникал ухом к окошку кассы, но по-прежнему не слышал ничего.

В бессилии я кричал, ругался, негодовал, однако он ничего не понял из моих слов, а я не понял его. Затем сильным ударом в бок меня оттолкнули от кассы, и грубые суетливые спины темно задвигались, закачались, сомкнулись, стеной загородив кассира и свет из застекленного окошечка.

Этот сон, подобно продолжению, снился мне в разных вариантах, и утром я думал с надеждой: билет на поезд мне не дали, ибо рано еще уезжать...

ДВИЖЕНИЕ ЧУВСТВА

Я все чаще вижу ее...

Она мыла полы, одетая в холстинковое платье, какие носили в пору ее молодости, но была уже немолодой. Стояло весеннее утро, мокрые, отполированные водой доски весело поблескивали в уютной, освещенной солнцем комнате, пахнущей свежим воздухом, напоминавшей светлую нашу комнату в Ташкенте, где началось мое детство. И мне стало жаль ее, когда она плечом устало отбросила с лица русые волосы, и, охваченный любовью, я сказал тихо:

— Мама, можно тебе помочь?

А она выпрямилась, однако не обернулась, не взглянула на меня, сказала ласковым голосом:

— Разве это мужское дело, сынок? Ты когда-нибудь потом, потом поможешь мне...

И во сне, глотая слезы, я вспомнил, что однажды в те счастливые годы, оставшись один дома, решил помыть полы перед приходом матери, удивить своей заботой и любовью. Но, отодвигая комод, уронил и разбил ее подаренное отцом зеркало, и это вызвало у матери ужас, суеверный страх, поразивший меня. Я помню, как, торопливо целуя, она прижимала мою голову к груди и повторяла молитвенным шепотом:

— Хоть бы ничего не случилось, господи, не надо... сохрани их обоих...

Она продолжала любить отца, который ушел от нас и жил с другой женщиной.

Никто не может объяснить начало движения чувства и конец его.

ЗНАЧИТ, ТАК НАДО БЫЛО СУДЬБЕ

Я помню...

Моросило, намокшая дорога, крутая высота, по которой я шел, расплывалась в туманце, сырость прилипала к лицу, жгла глаза, и не сразу, внизу, под высотой, я разглядел деревянную скамеечку, и там сидела моя покойная мать, вся в черном, вся закутавшись в плотный оренбургский платок, совсем не видно было ее лица.

А она увидела меня, беспокойно закричала, замычала что-то в этот закрывавший губы платок, ее слов я не разобрал, не услыхал голоса, но и так понял, что она кричала: «Отец, отец, наш сын наверху, вон он идет, позови же его!»

И тогда из-под самой высоты показался отец, не очень отчетливо видимый мне, молча двинулся к матери черневшим силуэтом, а я, подхваченный жалостью, виной перед ними, горьким желанием помощи, сошел с дороги, приблизился к отвесному обрыву, стараясь получше разглядеть их обоих.

Глинистый край высоты был размыт дождем, будто намылен, я неудержимо покатился на каблуках, заскользил по скату к крутизне обрыва, к пропасти, широко дохнувшей из глубины ледяной тоской.

На высоте я был один, вокруг ни единой души, знал, что нет спасения, что вот сейчас мои ноги сорвутся в пустоту, повиснут на секунды над небытием и в страшном падении ударятся об острые камни на дне пропасти.

Тогда грудью я упал в мокрую глину, судорожно упираясь растопыренными пальцами в отполированную дождем жирную скользкость, изо всех сил пытаясь удержаться на кромке обрыва, остановить свое смертельное движение. Но я соскальзывал все неотвратимее, все быстрее, а мать внизу в диком ужасе кричала непонятное, мычала в платок, по-прежнему сидя на скамье.

И, задохнувшись от последнего прощания, уже расставаясь с жизнью, я заметил в следующую секунду вмятую в глину кучку длинных ржавых, неестественно загнутых на концах гвоздей (какими, наверное, распинали Христа), весь рванулся к ним, схватил двумя руками эти спасительные ржавые пики и стал вонзать их в гладкую масляную землю, останавливая роковое падение.

Значит, так надо было судьбе...

ОБМАН

Появилась перед моими глазами старая наша квартира в деревянном доме глубинного Замоскворечья, комната в сумерках, и она, уже седая, оплывшая, сидела за обеденным столом. И, полуобернувшись к нам, уперев одну руку в жирное бедро и нелепо жестикулируя другой, внушительно говорила о том, что решила обручиться с красивеньким студентом Петей (хорошо помню это имя), образованным, непьющим, на сорок лет моложе... А мы с женой слушали это сообщение покорно, согласно, но тошнотное чувство сдавливало мое сердце. Сразу не мог понять, почему так нехорошо, так душно было дышать... И неожиданно осознал: вот оно, случилось или случается сейчас что-то противоестественное, чего быть никак не может. Она мертва, она раньше времени ушла из жизни, устав от земного существования, и, стало быть, невозможен, немыслим этот брак с тихим красивеньким Петей — разве могут мертвые выдавать себя за живых?

Моя жена, бледная, худенькая, подобно девочке, полулежала на диване возле оконца, задернутого белой занавеской, восторженно глядя на ее нелепые жесты, на движения рук над обеденным столом, и тогда я ужаснулся: зачем она лжет моей жене, доказывая, что отлично себя чувствует, поэтому хочет любить Петю, в то время как ее, этой старой женщины, нет на свете? Ведь я хорошо помнил, как в загородном морге я помогал санитару, угрюмому, небритому, перекладывать покойную со стола в гроб, помню, какими ледяными, каменными были икры ее коротких ног.

Я бросился к жене, поднял ее с дивана, отвел в угол комнаты, вмиг осветившейся белым электричеством, стал говорить, что происходит нелепица, дьявольщина, сумасшествие.

И она, поняв меня, беззвучно рыдая, затряслась вся, обливаясь слезами, закидывая назад голову, и, рыдая, засовывала кончики длинных пальцев в рот, будто мерзли руки от страха, от понимания противоестественного, безумного...

БЕСПОМОЩНОСТЬ

Раскрылась дверь передо мной, я вошел в комнатку, забитую мрачными сумерками (комнатка эта была на Арбате, в том доме, которого нет уже), и от входной двери придвинулась, качаясь, ко мне маленькая, безобразно толстая женщина в светлеющем платье, с неприятно рыхлой грудью. И тут я почувствовал, как радостно раскрылись ее объятия и белое липкое тесто щек прикоснулось к моему лицу. Потом она стала говорить быстро, невнятно, но я знал, что она рассказывает о себе. Она пришла, не хочет жить там, измученная каким-то жестоким человеком, соскучившись по людям, прося защиты. Я ответил ей успокоительно, женщина в злобной обиде на меня бросилась животом на кровать, визгливо зарыдала, застучала ногами по краю постели, как избалованный ребенок, а ноги были толстые в икрах, даже на вид твердые. Она стала гнусаво, гневно и плаксиво вскрикивать, и, растерянный, я еле догадался о смысле: она не может жить с ним (с кем?), потому что он мучает ее. Я переглянулся с женой, замершей в углу, перепуганной, не в силах сообразить, что происходит, ибо этой женщины не видели ни разу в нашем доме. И почти в безумии я закричал жене, что мы оба виноваты, забыв о ней, несчастной, которой плохо было, оказывается, в жизни, а мы не знали этого, не смогли помочь, облегчить ей страдания. Чем облегчить? Как? Кому?

Это был сон в ночь перед раскаянием.

ПОГОНЯ

Мы шли по темному ночному проселку в молчаливых осенних полях, моя жена держала меня за руку, и я не видел ее во тьме, но чувствовал, как легонько ступали ее босые ноги в мягкой пыли.

Было так тихо, так сиротливо в непроницаемой ночи, что чудилось: остались мы одни на вымершей земле.

Когда позади возник шум мотора, я оглянулся и увидел очень далеко, впотьмах равнины, огни фар — одино-

кая грузовая машина двигалась по проселку, с сумасшедшей скоростью догоняла нас, через минуту желтые лезвия фар уперлись нам в спины, уродливо взметнулись наши громадные тени впереди на дороге, и мы в тот же миг едва успели отскочить за кювет. Машина с грохотом пронеслась мимо, огромная, тяжелая, черная, похожая на железное разъяренное чудовище. Мы ошеломленно смотрели ей вслед, переводя дыхание, не понимая, откуда и куда она бешено мчалась, куда спешила. И опять я услышал приближающийся вой накаленного мотора, уже в состоянии предгибельного отчаяния выглянул из травы, и то, что увидел, сказало мне — вот он, конец. Машина, подобно рассвирепевшему кабану, поворачивала в поле, вонзая вокруг себя клыки света, с дикой поспешностью развернулась и вновь беспощадно, озлобленно, хищно помчалась на нас, как если бы чуяла и знала, что мы еще живы.

С крайним усилием я сцепил пальцами хрупкую кисть своей жены и, не выпуская ее, пополз неизвестно куда, во тьму, оглушенный бешеным лязгом, грохотом, рычаньем этой ненавистной мощи. Я полз, считал секунды и проклинал себя за беспечность, за жалкую беспомощность — где мои родные противотанковые орудия, где хотя бы одна граната? — и обезоруженность испытывалась тем обреченнее, что в руке моей стиснута была влажная ладошка жены, единственной женщины, которую я любил.

Так и остался в моей памяти этот сон: чудовищно огромный грузовик в осенней ночи, и я и жена то ползем, то бежим по полю жизни, пытаясь спастись от какой-то злобно-неустанной, настигающей мстительной силы.

КТО ОН?

«Бойся этого человека»,— сказал чей-то голос.

И напротив купе я заметил у вагонного окна высокого человека в холодном, металлического отлива костюме, в серой шляпе, стоявшего в профиль сухим лицом, и что-то мерзкое прошло во мне сознанием опасности от кончиков пальцев до затылка. И я вдруг подумал, что завершение моей судьбы, конец всего — это он... Но кто он, этот человек или не человек с острым неподвижным лицом? Не знаю, куда я ехал и почему он стоял у закрытого, сплошь запыленного окна вагона, и откуда услышал я голос, и как почувствовал впервые после войны опасность.

Человек в металлического отлива костюме напоминал сразу двух моих друзей, один из которых давно умер, а второй, живой, веселый, добродушный, мнилось, любил меня искренне.

«Бойся этого человека...»

ВОЗЛЕ ДОРОГИ

Она сидела на бревнах, такая молодая, деревенская, светловолосая, что я сразу подумал, еще не узнав ее: «Это могло быть в двадцатых годах где-то в России».

Вокруг был чистейший песок, тень падала от каменного дома, единственного возле дороги, среди этого белого речного песка с островками травы, прохладных лопухов. И она, босоногая деревенская красавица, сидя на бревнах, напротив дома, жмурясь под жарким солнцем, игриво окликнула меня по имени, в то время как я, глядя издали на ее знакомое улыбающееся лицо, полузакрытое челкой почти белых волос, никак не мог вспомнить, кто же она, как ее звать, в каких отношениях были мы с ней... А когда, просыпаясь, вспомнил другое лицо, желтое, уже потустороннее, с кругло открытым ртом, стало страшно от сопоставления этих двух лиц одной женщины, которую я никогда не видел в жизни молодой, но увидел впервые во сне так отчетливо ясно, как будто радостно ждал встречи с ней в двадцатых годах на той песчаной дороге близ одинокого дома посреди нагретого полевого пространства.

2

СВЕТ В ОКНЕ

Январская метелица, скрип мерзлых тополей в переулке, верховой ветер гремел железом крыш, срывал снежную пыль с карнизов, нес ее вдоль побеленных заборов, над свежими сугробами, а оно, это единственное в ночи окно, светилось зеленым уютным пятном и, всегда одинаково яркое, теплое, занавешенное, притягивало к себе, вызывало томительное ощущение неразгаданной тайны.

Неизменно каждый вечер меня встречал в переулке этот приятно-домашний маячок в деревянном домике, этот загороженный занавеской огонек настольной лампы — и я представлял маленькую натопленную, пахнущую деревом комнату, полки, заставленные старыми книгами, по всем стенам, потертый коврик на полу перед диваном, письменный стол, стеклянный абажур лампы, распространяющий световой круг в полумраке, кого-то тихого, мило сутуловатого, в старческих добрых морщинах, кто одиноко жил там, окруженный благословенным раем книг, листал их ласкающими пальцами, ходил в тишине комнаты шаркающей походкой, думал, работал до глубокой ночи за письменным столом, ничего не требуя от мира, от суетных его удовольствий. Но кто же он был — ученый, писатель? Кто?

Раз прошлой весной (в темноте набухшей сыростью мартовской ночи пахло талым снегом, всюду капало, шуршало, тоненько звенели расколотые сосульки, фиолетовыми стеклышками отливали под месяцем незамерзшие лужицы на мостовой) я глядел на знакомое, таинственное, бессонное окно, на ту же, как всегда, зеленовато-теплую, освещенную изнутри занавеску, испытывая вдруг совсем уж необоримое чувство. Мне хотелось подойти, постучать в стекло, увидеть колыхание отодвинутой зана-

вески и родственное, в моем воображении, лицо, белое, иссеченное сеточкой морщин вокруг прищуренных глаз, увидеть стол, заваленный листами бумаги, внутренность комнатки, забитой книгами, старенький коврик на полу...

Мне хотелось сказать ему, что я, наверное, ошибся номером дома, никак не найду нужную мне квартиру по адресу,— примитивно солгать, чтобы хоть мельком заглянуть в пленительно-покойный этот воздух чистоплотного его жилья и работы в окружении книг, казалось, единственно верных его друзей.

Но я не решился и не постучал; позднее же не мог простить себе этого.

Нет, спустя два месяца в мире ничего не изменилось, а в тихоньком переулке была полная весна, прозрачный майский вечер синими тенями лежал на тротуаре, медленно темнело в глубине замоскворецких двориков; в свежей молодой зелени зажигались фонари над заборами, и мне было видно, как майский жук с тугим гудением потянул из сумерек, ударился о стекло фонарного колпака, упал на жесткую свою спину на тротуар, замер, потом задвигал ошеломленно лапками, пытаясь перевернуться. Тогда я помог ему носком ботинка, сказав зачем-то: «Что ж ты?..» Он пополз по тротуару к стене дома, к водосточной трубе (она была в трех шагах от окна), и тут только почувствовал я какое-то тяжкое неудобство, холодную пустоту, глянувшую на меня из густой синевы майских сумерек.

Окно в домике не горело. Оно было темным, как провал...

Что случилось?

Я дошел до конца переулка, постоял на углу минут двадцать, потом вернулся, еще надеясь увидеть привычный свет в окне. Но окно черно, сумрачно отблескивало стеклами, занавеска висела неподвижно, не теплилось на ней приятное зеленое зарево, как бывало по вечерам, и в один миг все стало мертвенно-мрачным, неприютным, и показалось — там, в невидимой этой комнатке, произошло несчастье.

С нарастающим ощущением беспокойства я опять дошел до угла, выкурил здесь две сигареты и, уже подсознательно торопясь, вновь вернулся в переулок. Я говорил себе, что сейчас или через несколько минут вспыхнет зеленый свет на занавеске и все в переулке станет обыденным, умиротворенным...

Свет в окне не зажегся.

А на следующий день в час ранних сумерек я почти бегом по дороге домой завернул в соседний переулок, и здесь неожиданное открытие поразило меня. Окно было распахнуто, занавеска отдернута, выказывая нутро комнаты, книжные полки, какую-то карту на стене,— это впервые увидел я, не раз представляя моего неизвестного друга за вечерней работой.

Пожилая женщина с мужским лицом и мужской прической стояла у письменного стола, курила, смотрела в пространство усталыми глазами.

Тотчас же она заметила меня, несколько раздраженно задернула занавеску — и прежним зеленым пятном засветилась настольная лампа. А я ощутил, как странная пустота шершавым холодком вползла в мою душу. И дом, и переулок, и свет в окне сразу представились мне ложными, чужими.

И я понял, что случилось несчастье, что мой воображаемый друг, тот седенький одинокий старичок с милой шаркающей походкой, книжник и философ, к которому при ежевечернем свете окна так тянуло меня, так влекло к искреннему душевному общению, не мог быть увиденной сейчас у письменного стола женщиной с нахмуренным мужским лицом. В первый момент узнанной правды я ощутил себя ограбленным собственным воображением, почувствовал острую скорбь утраты, как будто только что похоронил давнего друга, так явственно сознанием моим созданного, самого близкого, родственного по духу человека, которого никогда не знал, не видел, но который нужен был мне всю жизнь.

ВЕЧЕРОМ

Шел по улице в сторону площади Старого собора, мимо костела, где была служба. Там желто, тепло горели свечи, звучала органная музыка, настолько безгрешная, небесная, что вызывала в душе тихое чувство, неземное и вместе с тем земное очищение, ибо чувствовать, страдать и радоваться суждено человеку здесь и здесь мучиться неудовлетворенностью быстротечных желаний, стремясь в некое недосягаемое лоно любви, золотого умиротворения, что должно когда-то стать найденной сущностью человеческого скитания...

Я думал о последних, предсмертных словах Декарта и ходил по площади; накрапывал дождь. Он постепенно

усиливался, застучал по навесам, по окнам старых пивных, накуренных, неярко освещенных.

Отражались в лужах старинные восьмигранные фонари, запахли сыростью каменные арки, ведущие в глубь темных дворов, тускло чернели железные решетки на витринах закрытых магазинов, омывались дождем машины на площади.

Потом какая-то компания подгулявших людей выскочила из ресторанчика; один, крича, пьяно взвизгивая, вдруг выхватил металлическую урну из гнезда на столбе и швырнул ее в своих приятелей. Урна покатилась по мокрой брусчатке, рассыпая смятые коробки от сигарет, клочки газеты, огрызки яблок. Двое парней со злыми лицами кинулись к пьяному, а из открытого окна ресторана высунулась женская фигура, крикнула что-то хрипло, как бы предупреждая их.

Двое парней схватили пьяного под руки и повели его куда-то, уговаривая:

— Weg, weg!..[1]

Прохожие, стоя на автобусной остановке, смотрели на них с равнодушием, боязнью и любопытством. Пьяному было лет семнадцать. Его вели, у него подкашивались ноги, запрокидывалась голова, он плакал, скрипел зубами и стонал.

Когда, сделав круг по площади, я возвращался к озаренному внутри костелу, три девушки с зонтиками, смеясь, входили в притемненный подъезд; одна, закрывая и стряхивая зонтик перед парадным, повернула лицо, посмотрела на меня насмешливо-вопросительным взглядом.

Наверное, ее удивило то, чего я сам не мог видеть на своем лице, подходя к костелу, наполненному огоньками свечей и безгрешным великолепием — звуками органа.

АПРЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ

Ласковый, солнечный апрельский день шестьдесят третьего года, огромная, вся залитая светом квартира Яна, его кабинет с коллекцией фарфора XVII века, с ценнейшим набором курительных трубок времен Наполеона, старинными часами (были здесь даже личные часы Лихтенштейна), дорогими картинами старых голландских мастеров. Везде бросалась в глаза немецкая чистота, переизбыток достатка, утонченный вкус, и сам хозяин этой

---

[1] Прочь, прочь!.. *(нем.)*

квартиры был красив, приветлив, весел, доволен собой, жизнью, женой — она, тоже молодая, красивая, недавно родила ему дочь, которую назвали Камилой в честь героини нового и нашумевшего его фильма.

Мы сидели на открытой террасе с видом на всегда «златую» Прагу, на древние Градчаны, сидели, пригретые весной, овеянные верховым ветерком, и была тишина, солнце, особое настроение свободы, беспечности, ожидание радости, какое бывает только в мягком душистом воздухе апреля. Ян с удовольствием делал горько-сладкие коктейли, беря разнообразные бутылки со столика на колесиках, бросал в напиток ломтики лимона, мешал соломинками в бокалах, то и дело падал на спинку кресла со смехом, слушая мой рассказ о Житомире, который в сорок третьем году мы взяли с ходу после Киева, и тут же возле раскаленных пушек «обмыли» победу по причине обилия шампанского, оставленного немцами на своих продуктовых складах. Ян смеялся и восклицал:

— То есть фантастицне!

Так и остался в моей памяти этот жизненосный, по-весеннему обещающий счастье день, и солнце в большой уютной квартире, и пахучий ветерок на высоте террасы, и городская даль Праги в апрельском прозрачном воздухе, и главное — ощущение вечной радости, ощущение своего здоровья, успеха, легкости жить в этом прекраснейшем мире.

И когда теперь, в семидесятых годах, я приезжаю в Прагу, мне не хочется верить, что не будет уже того молодого весеннего дня, того ласкающего ветерка и той солнечной тишины, что не встречусь с Яном, не буду сидеть на открытой террасе его квартиры — не верю, что его нет в живых, и, не веря, каждый раз по приезде с непонятной надеждой думаю в гостинице: может быть, вот сейчас раздастся телефонный звонок и я услышу голос Яна, его смех из того далекого счастливого дня нашей молодости.

ОСЕНЬЮ

Свежим октябрьским вечером, наполненным ветром, шорохом листьев, запахами близких холодов, гулял по аллее совершенно один под остро блещущими в небе зигзагами созвездий; свет фонарей качался по забору, по осыпающимся листьям — и слева от меня сквозь этот непрерывный шелест где-то плыла отдаленная музыка, пел

женский голос, как показалось мне, об ушедших днях, об утраченном лете: играло радио или была включена радиола, видимо, в санатории.

Остановился с мгновенным ознобом от внезапных и неясных воспоминаний.

Долго смотрел в чащу деревьев, на отсветы фонарей, на странно и знакомо затененный забор, будто все это — и забор, и деревья, и музыка — перенеслось на много лет назад, куда-то туда, в юность — пору, навсегда ушедшую и полузабытую, которой словно бы никогда и не было. И запахло так же сладостно, то ли угольной паровозной гарью, то ли осенним двором с красноватыми окнами, где меня ждали. Где это было?

Да, ведь тогда была война, осень, окраина, заборы, редкие фонари, скрипящие на ветру, и я шел по хрустящим листьям мимо этих заборов на окраине, семнадцатилетний курсант пехотного училища, голодный, влюбленный, еще не знающий, что такое атака, не знающий, что такое война, но мечтающий совершать подвиги так, как может мечтать искренний мальчик в семнадцать лет, с чистой верой в свое бессмертие, славу, в восхищенные от любви и радости глаза той, которая терпеливо ждала меня вечерами за освещенными в маленьком актюбинском дворе окнами.

Но тогда я еще не знал, что такое смерть, и что такое любовь женщины, и что такое первые слезы.

Я ждал впереди целую жизнь. Я верил в бесконечность своей юности, и все было юным: и она, и я, и тусклые фонари на ветру, и окраина, и осень...

БЫКИ

Была война и неистовая жара в Казахстане. Раскаленное солнце висело над степью, жгло мне затылок, и сквозь молотообразные удары в висках я слышал сверлящий треск кузнечиков, позвякивание металлических заноз в деревянном ярме на шеях двух быков, запряженных в арбу. Быки, худые, изморенные зноем, не переставали жевать свою жвачку; в уголках их бездумных глаз черным роем шевелились мухи, а они, не моргая, стояли терпеливо и равнодушно, видимо привыкнув к той постоянной пытке.

Я работал в степи первый день, все время помня ядовитое выражение на крепких чугунно-загорелых лицах

скирдовщиков, встретивших меня в колхозной конторке насмешливыми взглядами. Был я в легких парусиновых туфлях, в белых расклешенных брюках с надраенной морской бляхой на ремне, эвакуированный городской мальчишка, фарсоватый по виду, совершенно непонятный этим выросшим в степи парням.

Морская бляха и расклешенные мною летние брюки отца, которые он носил еще в тридцатых годах, были знаками моей школьной мечты о флоте. Тогда слова «шхуна», «бригантина», «шкипер» и «марсель», вычитанные из книг, вызывали у меня священный трепет, мысли о дальних странствиях, тугом и ласковом ветре над солнечно-белыми парусами, о неведомых перламутрово сияющих лагунах в теплых морях, о чужих и незнакомых портовых городах, залитых огнями, с ночным запахом гниющих бананов на берегу, вблизи которого покачивались в низком южном небе созвездия фонарей на мачтах. В восьмом классе я наизусть выучил морскую терминологию, названия снастей парусного флота по разным старым учебникам, по сноскам в романах Джека Лондона. Я даже выменял у кого-то лоскут тельника и, пришив его к майке, ходил с расстегнутым воротником рубашки, чтобы виден был этот полосатый кусочек моря. При одном взгляде на него я ощущал запах далеких пространств.

В девятом классе с надеждой поступить в военно-морской клуб спал зимой с открытой форточкой, по утрам выжимал гантели, купил морскую бляху и ходил по-матросски — чуть враскачку, как бы приучая себя к ныряющей под ногами палубе.

В тот жаркий август сорок первого года, вернувшись после рытья окопов под Смоленском, я не застал в Москве родных и только по записке матери, оставленной управдому, нашел в долгих поисках семью, эвакуированную в Казахстан. И тут вдруг понял: все прежнее, детское уходило, исчезало, подобно тому, как кончается и сказка о Золотом дворце среди синего моря и доброй колдовской Жар-птице,— я был старший в семье и теперь знал, что мать и младшие сестры стали моей ответственностью.

— Ось яка гарна пряжка! — сказал в конторке бригадир скирдовщиков Бендрик, покатоплечий, весь похожий на железный клин острием вниз, и, захохотав, подергал пальцем бляху на моих брюках, едко спросил: — В Москве що— мода така?

Я молчал. Скирдовщики, молодые парни в грязных сатиновых рубахах с белыми заскорузлыми пятнами пота под мышками, разглядывали меня с усмешками, перемигивались сквозь дымки тютюнных самокруток и снисходительно цвикали на земляной пол — сплевывали через щелочки зубов.

Я понимал, что мой нездешний, городской вид несколько смешон, игрушечен для них, но это и задевало меня. И уже в степи, получив пару быков и арбу (после иронического распоряжения Бендрика: «Попробуй, як воняе бычий пот, носовую утирку и деколон в другой раз с собой бери, московский!»), я вел за налыгач быков к желтеющим бесконечными рядами копнам и думал, что умру в этой степи, но докажу им, на что способен.

Я стал накладывать копны на арбу с резкой ожесточенностью, втыкая вилы в сухую пшеницу, в ее шуршащие стеблями недра. Я пытался поддеть треть копны, чтобы завалить ее в два приема на арбу. Но пшеница скользила, распадалась, не удерживаясь на зубьях, сыпалась мне на голову, на потную шею, лезла за ворот прилипшей к спине тенниски. Горячая, пахнущая степью пыль засыпàла глаза, колюче набивалась в нос — и лицо, и все тело начинало нестерпимо зудеть. Стиснув зубы, я содрал с себя насквозь пропотевшую тенниску и, сознавая бессилие и отчаяние, с ужасом думал, что так к вечеру не нагружу ни одной арбы. Это отчаяние стало походить почти на удушье, когда я увидел через час потянувшиеся по степи к начатой скирде нагруженные арбы, смутно заметил или представил повернутые в мою сторону сморщенные лица скирдовщиков, не сказавших мне, однако, ни слова.

Я уже, как загнанный, кидал и кидал рассыпàвшиеся с вил пучки пшеницы в арбу, я задыхался от напряжения, от жаркого запаха пшеничной пыли. А солнце раздваивалось, расплывалось над моей головой, черные точки роились перед глазами, мутно звенело, ударяло в ушах, в затылке тупыми ударами деревянного молота. И мне на какую-то секунду показалось, что я, весь потный, страшный, со скрипящей пылью на зубах, весь накаленный солнцем, упаду сейчас возле арбы от солнечного удара, от этого степного пекла, от своих сумасшедших мускульных усилий, от горячего пота на веках, застилающего степь.

На миг, будто в малярийном бреду, почудилось — возникла около быков клинообразная фигура Бендрика,

ухмылка растягивала его рот, он сказал что-то, указав на копны, на мои вилы, потом, смеясь, попробовал вырвать их у меня из рук, но я с непонятной дикостью прохрипел: «Уходи!» — и отрицательно замотал головой, вонзая вилы в копну.

Больше никто ко мне не подходил. Я уже не знал, что происходит со мной: может, это был выплеск мальчишеского самолюбия, может, неистовость озлобления на собственное бессилие.

Нагружая арбу, я не заметил даже наступления полудня, самого невыносимого, жаркого времени, когда все, прокаленное до каждого колоска, замирает в степи, задушенное сверканием пекущего солнца, серебристым текучим маревом зноя. Мне показалось: перестали скрипеть арбы, перестали доноситься голоса из-за рядов копен, лишь обморочно звенел пульсирующий ток крови в висках.

Раз, оглянувшись, я словно бы чужим зрением увидел в отдалении сложенную на одну треть скирду, стоявшие подле нее арбы с полегшими на стерню быками, увидел под скирдой в жиденькой тени разворачивающих свои узелки с едой скирдовщиков — и отвернулся мгновенно: они смотрели в мою сторону, разбивая о крепкие локти куриные яйца, и переговаривались между собой.

Когда же, наверно через час, я наконец нагрузил арбу так, как нагружали они, эти выросшие в степи парни, ноги едва держали меня, я, пошатываясь, слышал только свое зашедшееся дыхание, стук сердца отдавался в ушах. Я точно оглох. Солнце, как в красном пожаре, дробилось черными кругами и искрами перед моими залитыми ядовитым потом глазами. Я дрожащими руками обтер размытую пыль с лица, подошел к быкам, по-прежнему с рабьей тупостью однообразно и глупо жующим в густом облаке мух и слепней, и, чувствуя пылающие мозоли на ладонях, взялся за мокрый от бычьей слюны налыгач, из последней силы потянул его.

Быки пошли, арба взвизгнула, заскрипела и тронулась, переваливаясь под тяжестью нагруженных копен. Я вел арбу к скирде, я старался ступать по стерне твердо — шел навстречу взглядам парней и ощущал их внимание на себе. Уже безобразно были изодраны стерней мои парусиновые туфли, и совсем стали серыми от пыли прилипшие к ногам расклешенные щегольские брюки. Брюк мне, однако, сейчас было не жалко, не жалко было и легких удобных туфель, которые я утром старательно почистил зубным порошком.

Я шел, всхлипывая в изнеможении, представлял, что думали обо мне скирдовщики, и испытывал такое унижение, какого не испытывал ни разу в жизни. В то время как каждый из них нагрузил по четыре арбы до полудня, я с великим трудом нагрузил одну — и выбился из сил вконец.

Они сидели под скирдой, грызли молча огурцы, наблюдали за мной со следящим вниманием людей, пришедших на казнь.

— Ну? — лениво спросил Бендрик, сощурясь, и с неприятным хохотком подмигнул парням: —Понял, чем белая булка пахнет, москвич? Чи нет? Сядь, огурца пожуй. Потом робить будем.

— Принимай! — сквозь зубы выговорил я, готовый уже на все, лишь бы только скорее, скорее уйти из-под унижающих меня взглядов, от этого насмешливого внимания, вроде раздевающего меня с ног до головы.

Я остановил быков около скирды и ожидал, кусая горькие губы. Бендрик не без удивления сплюнул, выругался, окинул меня дерзким светом синих степных глаз, затем неохотно влез по лесенке на скирду, крикнул оттуда:

— Подавай, ну?

Пытаясь не глядеть на парней, я с усилием взобрался на арбу, потоптался на пружинящих, хрустящих под ногами копнах и, поддев вилами, метнул Бендрику на скирду ворох пшеницы, обдавшей душной пылью.

В тот же момент арба дернулась, рванулась из-под меня, край скирды колючим жаром толкнул в бок, окорябало щеку и локоть, на секунду мелькнуло надо мной измененное судорогой лицо Бендрика. И тотчас вместе с копнами, еще не понимая, что случилось, я стал проваливаться, падать куда-то вниз. Копны пшеницы, валящиеся с арбы, смягчили удар о землю, я ощутил всем телом и руками иголки острой стерни под собой и, задыхаясь, вскочил, увидел свою арбу, притертую к изуродованной скирде, рассыпанные копны под ней, сметенные, срезанные столкновением с ее краем. Мои быки с неумолимой одержимостью все тянули арбу, прижимались к скирде, осыпанные пшеницей, мотали головами, терлись о нее, видимо так отгоняя слепней и мух, чесались мордами с тупым наслаждением, слюна свисала с их губ и тоже моталась тягучими волокнами.

И тогда, растерянный, весь в серой пыли, выбираясь из ворохов сваленной с арбы пшеницы, я почувствовал, что

сейчас заплачу с отчаяния. Все, что мог я сделать и наконец сделал адским напряжением, было в одно мгновение уничтожено быками — лежало теперь бесформенной горой на земле.

Я услышал смех, и в ту минуту он представился мне противоестественным, чудовищным надругательством надо мной. В каком-то беспамятстве защиты, с одним желанием не слышать этот смех я срывающимся голосом тонко крикнул им что-то и, смутно видя их лица, вскочил на арбу и стал вилами бить по костлявым задам быков, по-прежнему тершихся головами о скирду. Во мне толкалась, рвалась мысль: скорее уехать, скорее отдалиться от этой скирды, от этого чудовищного смеха, раздавившего меня окончательно.

Арба отдалялась от скирды, быки от ужасной, видимо, боли тяжко трусили по стерне мимо копен, а казалось, что они лениво и тупо шагали, непослушные мне. И тут с мстительной злостью слепого бешенства я откинул в арбу вилы, сорвал с себя ремень и начал полосовать морской пряжкой по жестким кострецам, уже плохо соображая, зачем я заставлял их бежать — делать то, что не было свойственно их природе.

У крайних копен быки стали, а я, крича что-то, все полосовал их ремнем, слыша костяной удар пряжки, но они стояли как вкопанные, тяжело сопя. И с ужасом я увидел кровяные подтеки на их задах. Тогда я посмотрел на ремень: морская пряжка была погнута. Я очнулся и, боясь, что в тот миг разорвется мое сердце, уронил ремень, спрыгнул с арбы, кинулся к быкам, загнанно поводившим боками, и, гладя исступленно их потные морды с огромными, налитыми кровью, покорными глазами, ощущая на руке их горячую слюну, шептал взахлеб, с сумасшедшей нежностью просящего прощения истязателя:

— Идиоты, идиоты!.. Что же вы наделали?

Быки с покорностью прерывистым жаром дышали мне в дрожащие пальцы, и я видел, как черные мухи облепливали их белые неморгающие ресницы, сосали крупные слезы, выступившие в уголках их глаз.

ТОСТ

— Я хотел сказать, дорогие друзья...

— Петя, у тебя нет никаких замечаний и предложений гостям?

— Я люблю эту природу. Мы с женой ходим по лесу и целуем каждое дерево... каждую березку... Пусть осень, опадают листья, но все равно будет весна. И пусть будет много весен. Надо охранять свое поле... поле прожитой жизни. Я каждое воскресенье уезжаю из каменного города, хожу по лесам, и я здоров как бык...

— Постучи о дерево! Постучи!

— ...Здоров как бык... Я хочу, чтобы все люди были здоровы, красивы, а не как мещане...

— Почему вы указываете рюмкой в мою сторону?

— Простите, это случайно, это жест...

— Петя, у тебя нет никаких других замечаний и советов гостям?

— ...Мы бегаем с женой каждое утро пять километров. Она задыхается, она кричит: «Я не могу!» — а я ей: «Ищи третью ноздрю».

— Это что же такое — второе дыхание?

— Третье. Потом звоню ей на работу: «Зинка, ну как?» Она: «Прекрасно себя чувствую». Я делаю ей массаж. Каждое утро. Она раньше потела...

— О чем ты, Петя? Перестань, пожалуйста.

— Она потела...

— Ну, начинаются подробности.

— Вы не смейтесь, я должен досказать...

— Петя, перестань, ты немножко пьян, ты говоришь лишнее, бог знает что!

— ...Космонавты увидели Землю с высоты и тогда поняли... Красота-то какая — Земля...

— Петя, Петя, сядь, пожалуйста! Ты льешь из рюмки себе на костюм!

— Я сяду, но звездное небо и наша Земля — это красота в красоте, эт-то...

— А от этой настойки на дубовой коре не дашь дуба?

— Завтра утром проснетесь и спросите себя: а пили ли? Голова светлая, настроение молодецкое... Я сам делаю эту настойку. Я с женой каждую травку!.. Вы перебили меня, я хотел сказать, что мы должны поклоняться Земле...

— Форточку! Окно откройте! Дышать нечем. Сандуны! Жарко!

— ...Звездное небо... Что такое счастье? Счастье — это ожидание счастья. Кто так сказал, не помню, но очень верно и жизненно сказано. Вы когда-нибудь видели ночное небо в августе? Зина, не дергай меня за рукав, они должны понять, что такое счастье жить...

— Трое англичан в смокингах сидят в роскошном ресторане в Гранд-отеле...

— Замолчите, это неприличный анекдот!

— Нет, вполне приличный. И в это время входит красивая женщина...

— Неприличный анекдот!

— А я говорю, совсем приличный! Женщина подходит к ним, садится за столик, берет из вазы яблоко...

— ...Вы опять перебили меня. Я хочу вам сказать, что ночное небо в августе — да, да, можно заплакать от счастья его видеть... Зина, не надо дергать... Вы слышали, как падают ночью созревшие яблоки в саду? Дайте, дайте договорить!..

РУССКИЕ ГОРОДКИ

Как грустно бывает в некоторых провинциальных городках России, когда-то зело знаменитых, где в битвах и славе решалась судьба русского народа, в городках с разрушенными белокаменными чудо-кремлями на холмах, монастырями и храмами, окруженными воздухом, тишиной, древним запахом бурьяна, летучим писком стрижей над торчащими в синеве куполами безъязыких колоколен (видны лишь в пролетах древние балки), в городках с сохранившимися кое-где старыми улочками, вдруг обдающими тихим теплом, покоем, который исходит от затененных вязами деревянных калиток, заросших смородиной двориков.

В этих городках еще бывают и воскресные базары, которые кипят, шумят до конца дня — прилавки, корзины, наполненные ягодами, платки на головах женщин, красные лица, жаркая духота, запахи огурцов, размякшей на солнце малины, укропа, назойливый звон ос, густо облепливающих стаканы с медом, а в стороне, позади прилавков бурлящая толкучка, где охватывает вас горьким ветерком торговой страсти и неблагополучия, где продают поношенные костюмы, кофточки, ботинки («милый человек, ты их искал, а они — вот!»), заржавленные дверные замки, амбарные ключи, «молнии», вырезанные из поношенной одежды, старые расчески, облупившиеся детские игрушки, дореволюционное издание «Мертвых душ» Гоголя, годовой комплект «Огонька», самодельные коврики («четыре рубля штука»), подержанные, с желтыми пятнами скатерти, кружевные вязаные дорожки, которые носят на руках бледные морщинистые старушки, а жир-

ные голуби, разомлевшие в зное, сидят на крышах ларьков, ходят посреди толпы, не взлетают, а, лениво переваливаясь, только отбегают из-под ног, возятся в пыли, чешутся, дерут лапами неопрятные перья.

Вот как запомнился мне воскресный базар в Серпухове.

— Па-акупай мороженое! Есть сочное, дальневосточное, на десять копеек штучка, на рубль кучка!

— Ить что вино делает, а? Ить что делает? На лбу по земле ходить, а мороженое продаеть! Умелец!

— Все начинается с бутылки и кончается бутылкой. Бе-еда-а мужицкая!

— Чумадан у него неподъемный, аж углы перекосились, а в нем — лепесины! А сам — с усиками такой, зубы скалит и цену свою хорошо понимает, копейки не упустит, ни-ни!..

— Батюшки, вот живут на югах, вот живут! Памидоры и лепесины возит — и деньги мешками в сберкассу сдает.

— Извините, я вас задела? Просто какое-то столпотворение! Нас прямо сжали в толкучке, ужасно долго стоим.

— Нет, ваша коленка так приятно давит, хе-хе! Хотите сигарету? Такие цены, что закуришь с ошеломления!

— Вот хорошая женщина не курит, а меня бы угостили. Да, цены хоть поперек, хоть вдоль, кури себе папироски!

— Гражданин! Пустите меня, я с ребенком!

— Это еще откуда гражданка? Мне не жалко вас пропустить, но почему всюду вы лезете со своими ребенками!

— Зачем толкаешь, пожалуйста?! Не видишь, на одной нога стою? Ты инвалид не уважаешь, значит, ты был тыловая крыса!

— А ты не пыжься, щеки не дуй, глаза не таращь! И не безобразничай, хоть и инвалид! Я тоже инвалид...

— Тут люди честные, а этот самозванец прется, черт его знает!

— Эй, чепчик в берете, людей не видишь? Ты интеллигента не изображай, спекулянт! Видели мы таких в белых тапочках!

— Боже, этот живет по принципу: если с соседями не ругаться, на голову сядут! Бедные соседи! Как огрубели люди!

— Что-о? В тапочках? Вас двоих, наверное, чересчур

жизнь баловала, да? Эт-то почему меня чепчиком оскорбляете? Так вот сейчас будет поставлена точка! Где милиционер?..

— Меня здесь обобрали, я так была возмущена, так взволнована, что пришла домой и... легла спать!

— Не покупайте, ни в коем случае! Здесь вы в лужу сядете и ботиком накроетесь!

— Ох и злая молодость была, ох и отрадная! Все б перетерпела, только бы нарядиться да погулять! А теперь и жакетик продаю... Молодость прошла, и жизнь я прожила!

— Вы, девушка, не особенно... Молодые люди умаслят, их только слушай. Вон как около вас крутятся да улыбки строят!

— Держите, мамаша! Рублик вам возвертаю, должок мой...

— Рублик! Что уж это, мои матушки! Выбросила десять рублев мухе под хвост! А он — рублик, пес волосатый!

— Деньги на рынке как вода уходят, мамаша.

— Невоз-мож-но! Тут такая толкучка, что даже стащить ничего нельзя!

— Смеетесь? Это как же нельзя?

— Каждое ваше движение контролируют несколько человек. Но рядом со мной стояла... мм... эдакая обольстительная женщина? Где она?

— Где сдача? Где сдача? Я за пять рублей кишки из носа потяну! А ну — сдачу!

— В лицо вам нахохочут, а не сдачу дадут. Жулик на жулике...

— Почем вишня?

— Три рубля.

— По рублю. Дорого, бабуся.

— Объешьси. Много купишь и объешьси.

— Ха-ха! Его подняли на смех и бросили на землю. Покончил жизнь самоубийством, объевшись вишни. Убит, бабуся!

— А вы не в курсе — кур проверяют на базаре? А то, может, она дохлую зажарила — и продает? А?

— Шоб мне до дому не дойти, если брешу! Шоб я дитятко свое не бачила!

— Синяя она у вас какая-то. Голенастая.

— Шо вы крутите, як оглоблей? Яка така голенастая?

— Так вот что у нее получилось... А этот самый подлец трех жен имеет, старшая график составляет, чтобы,

значит, у которой лишний день не перегулял. Бог знает что за нравы! Как мне надоело вникать в чужие переживания, господи! Кому мне рассказать о своих, дорогая моя?

— Нич-чего! Прокобелирует — и вернется, кобель глазастый, никуда не денется!

— Знаете, есть такие люди: их в дверь — вон, а они в форточку лезут. Представляете такого мужа? Мой — похож.

— Все мужчины бесчувственны, да! Бесчувственные эгоисты!

— А женщины, извиняюсь, жестоки, коварны! О, как еще коварны! И мстительны! Извиняюсь, я влез в ваш разговор, но я заявляю, феминизм — это невыносимо во всех отношениях, пож-жар в аду!

— Да что вы, гражданин? Мы вас не просили со своими нотациями...

— Извиняюсь, я курицу покупаю. Вот эту голенастую.

ЗВЕЗДА И ЗЕМЛЯ

Я проснулся глубокой ночью от неистового бега, грохота колес, от скрипа полок, от дребезжания полуоткрытой двери купе — над головой ходили пронзительные сквознячки.

В коридоре и купе было темно: я долго лежал с открытыми глазами, угадывая в потемках черный квадрат окна, за которым все было непроницаемо, по-ночному глухо, и невозможно было понять, степь или леса шли в этой бесконечной, тайной, непостижимой, как мрак, Вселенной.

Потом в заоконной бездне неба вспыхнула запредельным огнем, замерцала синяя одинокая звезда.

Поезд по-прежнему мчался, не сбавляя набранной скорости, затерянный в темных осенних пространствах, без земных огней, невидимый с немыслимой высоты этой звезды, горевшей в ледяных космических пустынях, отъединенных от Земли многомиллионными расстояниями.

В высокомерной своей недосягаемости звезда плыла рядом с вагоном, ярко, космато шевелила щупальцами лучей во мраке мироздания, проникая сквозь его холод, и я неотрывно смотрел на нее с чувством восторга и страха перед неразгаданностью каких-то существующих вне

разума законов, которые для чего-то беспощадно уплотняли вечность в миг и миг растягивали в вечность. «Значит, вечность — это жизнь, миг — это разрушение?..»

И мне стало не по себе оттого, что все бессильно перед этими законами: жизнь, любовь, искусство, сама Земля, этот обжитой уютный островок в беспредельном угрожающем океане неизвестности. Какое одиночество и какую опасность должна испытывать Земля, зная свою обреченность, свою гибель в энный день, уже записанный в последней и печальной главе мирового закона. Зачем, во имя чего должны сойтись, остановиться и, конечно, вновь начать движение стрелки вселенских часов? Может быть, в этой роковой несправедливости лежит закон строгой справедливости? Но опять же во имя чего? Видимо, ответы на это записаны в ту книгу великого обновления, которую никому и никогда не суждено прочитать. Как и человеку невозможно перехитрить, обмануть, обойти собственную судьбу, так невозможно изменить, задержать движение мирового времени, перевести назад стрелки часов с самоуверенной надеждой на то, что так продлится дыхание жизни.

И я представил нашу Землю, какой она может видеться с высоты этой равнодушной осенней звезды, маленькую, голубоватую пылинку, этот воздушный кораблик, мчащийся в толще фиолетового холода, звездного света, в метеоритных, сверкающих туманах, представил его хрупкость, его слабость, его ограниченные запасы воды и продовольствия — и ужаснулся при мысли о беспомощности его во Вселенной.

Если бы каждый из команды на этом кораблике осознал, что впереди смертельный риф и в столкновении с ним бесследно исчезнет, рассыплется в ничто прекрасная его плоть, состоящая из лесов, рек, океанов, дождей, закатов, зелени травы, красивейших городов, памятников, соборов, машин, книг, полотен живописцев, все то, что создано гениями человеческой мысли и человеческими руками, если бы каждый хотя на минуту задумался о скоротечном веке Земли, люди не расшатывали бы свой корабль с борта на борт, не пробивали бы дыры в его днище дьявольскими силами расщепленной природы, не полосовали бы ножами злобы и ненависти с одержимостью самоубийц надутые паруса, забрызгивая их собственной кровью.

Неужели никогда люди не поймут, что Земля должна быть их чистым, светлым белопарусным кораблем, путь которого, к сожалению, не бесконечен?

Но стоит ли думать об этом? Ведь человек редко задумывается о своей смерти, а задумываясь, успокаивает себя тем, что с ним это случится когда-нибудь потом, потом...

Потом — форма самозащиты, но в этом «потом» есть и оттенок странной и почти необъяснимой надежды: а может быть, и не случится именно со мной? Мысленно отодвигая смерть или с трудом веря в возможность смерти, люди часто утрачивают главное — смысл неповторимости жизни, и тут наступает безжалостное отчуждение Земли и человека. Тогда наша крошечная планета становится лишь средством для достижения современных удобств и удовольствий, перерастающих в жестокую и отвратительную патологию, подобную насилию детей над матерью.

Да, да, человек не только сотрясает, терзает и ранит плоть Земли разрывами снарядов и многотонных бомб с той поры, как начались войны, но он превращает свой дом в мусорный ящик, в грязную свалку использованных и уже ненужных предметов, в кладбище машин, транзисторов, бутылок, консервных банок. Человек душит, отравляет Землю химическими отбросами, как будто в неистовости алчного обогащения торопится убить и ее и себя.

Ведь Земля — это живое тело со своим дыханием, ритмом, пульсом кровообращения, и естественный ток крови в ней остановить — смертельно. Несомненно, люди понимают, вернее, чувствуют надвигающуюся опасность и в то же время уповают на туманное «потом», в котором может ничего и не случиться с наилучшим из миров.

Но все имеет начала и концы.

Мертвый синий свет одинокой звезды доходил до меня из запредельных высот, не согревая, холодя сентябрьскую черноту ночи знобящими ледяными лапами безжизненных лучей, и я почему-то вспомнил, что порой достигает нас через космические пространства запоздалый свет давно погасших звезд, как бы свет оправдания перед Вселенной за свою гибель.

«Пока не поздно,— думал я, вздрагивая от острых, пронизывающих сквозняков в купе, от этого тоскливо-химического горения бесприютной звезды, которая теперь казалась мне умершей, но когда-то живой, веселой и цве-

тущей планетой.— Надо что-то делать всем нам, пока не поздно!..»

Поезд, замедляя ход, все размереннее, все тише, успокоительнее постукивал на стрелках, донесся сквозь дребезжание купейной двери, ровное поскрипывание полок предупреждающий кого-то в ночи свисток локомотива. Затем мелькнули рассыпанные по густой тьме цепочкой дальние огни, мелькнул внезапно, ярко брызнул в вагон близкий фонарь над будочкой стрелочника, и начали надвигаться неяркие электрические лампочки закрытых пакгаузов.

Поезд сбавлял и сбавлял скорость — и спустя минуту навстречу поплыли над безлюдной платформой огромные освещенные окна большого вокзала с пустыми залами и тоже пустым и освещенным рестораном, и по купе светло задвигались полосы электричества, эти живые признаки человеческого тепла.

Я оделся, вышел из вагона. Уже на перроне невольно посмотрел в небо — звезды не было видно. За вокзалом по-осеннему шумели тополя, на путях звенел, шипел пар маневрового паровозика. Заспанная проводница, сладко позевывая, игриво сказала мне: ежели в ресторан я собрался середь ночи, то он закрыт до утра.

Услышав звук человеческого голоса, увидев улыбку молодой женщины, я вдохнул с освобождением ветреный запах овеянного поездами вокзала, паровозного пара, теплого мазута — весь этот уютный запах железной дороги, и, шагая по свету вокзальных окон на платформе, думал, усмехаясь: «Потом, потом?..»

И под властью защитительного и обманчивого отдаления мне стало легче.

НЕ МЕЧ, НО МИР

Как это ни чудовищно, но человек находится в состоянии смертельной вражды с природой. Вся созданная цивилизацией техника брошена им в бешеную атаку давно начатой войны, и порой самодовольному, жаждущему удовольствий человечеству кажется, что оно, подобно вселенскому полководцу, природу «подчинило», «покорило», «обуздало», «преобразовало», «повернуло на службу себе», «заставило работать» и «победило», не ожидая милостей, а беря у нее все.

Какая чванливая убежденность, какая неистребимая гордыня!

В дерзком упоении собственной силой человек забывает нередко, что он выиграл лишь несколько битв и не разумом гения, а вероломством, машинной жестокостью, забывает, что в длительной войне победа обманчива, а мудрая природа чересчур терпелива и многое прощает в великодушии своем, в великой снисходительности. Но в срок положенный приходит всему конец, терпение иссякает, великодушие кончается, снисходительность выглядит глупостью, и природа грозно поднимет неумолимо карающий насильников меч. И тогда зарвавшееся «общество сверхпотребления» пройдет в последний раз через казнящие муки возмездия и все-таки не искупит преступной вины перед природой, мировой матерью. С ненавистью к извращенной людской алчности, неистовые в гневном мщении бури, ураганы и смерчи пронесутся из конца в конец по всей земле, оставляя после себя мертвые пустыни и гигантские пожары, уничтожающие человеческое дыхание на планете.

Неужели нельзя жить с природой в состоянии прочного мира, познавая, а не порабощая ее насилием? Или неограниченное движение мировой цивилизации — это запрограммированное некой силой организованное самоубийство?

СОЛОВЕЙ

В сумраке комнаты различил паукообразную тень люстры, слабо посветлевший квадрат окна и подумал с безнадежностью: «Наверно, около четырех ночи».

Но было время апрельского рассвета. Из лабиринта улиц до моей комнаты донесся и стих отдаленный шум первого трамвая, и кто-то четко и кругло свистнул несколько раз под окном, словно бы пробовала голос какая-то птица.

Я поднял голову.

Близкое щелканье опять звучно раскололо тишину, перелилось полно, сочно серебристым водопадиком неподалеку от окна и уже не смолкало, оглушая неудержимым восторгом спящий квартал.

И на меня пахнуло холодком вечернего леса после зари, запоздало розовеющего вершинами, повеяло волной травянистой свежести, весеннего воздуха вместе со стоном лягушек в речной низине, женственной тонкостью белеющих над берегом берез, всем тем лесным, сельским,

пахучим, что было связано с весной, ожиданием лета и вот таким соловьиным восторгом, напоминавшим мне в детстве маленькую сказочную кузницу, где кем-то ковались сияющие золотые кольца и радостно, дерзко звенели, выкатываясь сквозь листву сумеречного леса на потемневшие поля.

«Неужто соловей? В Москве?»

Удивленный, я встал с постели, подошел к окну и с высоты шестого этажа увидел внизу фиолетовую оголенность еще не проснувшихся улиц, почти голые тополя, крыши сиротливых машин у обочин.

За нагромождением крыш в сереющем небе возвышалась вдали стеклянная скала новой гостиницы, и в ее американской вышине, на последних этажах воспаленно и мертво горело красным оком одинокое окно. В этом пустом свете под небесами было нечто больное, безумное, как безумным показалось мне и пение здесь соловья, и его выкованные любовью золотые кольца, подаренные им этому асфальту, этому бетону, пропитанному и пропахшему городской грязью, пылью, выхлопными газами. Вместе с машинной вонью и неуклюжие дома, людские убежища, придуманные, вероятно, злым гением отмщения, ядовитым насмешником, не имели ничего общего с тем, что было от века соловьиным домом: естественной весенней землей с ее лесами, запахами, холодками зорь, с веселым молодым дождиком, с ее теплой сыростью туманов, где всегда в апреле начиналось обновление, радость любви.

И мне хотелось успокоить себя тем, что здесь, на месте асфальта, некогда было лесное царство и генетический код привел певца сюда, в прошлое своих предков, в счастливый край навсегда ушедшего.

Я стоял у окна, слушал это неистовство соловья, и сжималось сердце, как будто он обманывал и меня и весну, изменив великому естеству вечного.

ОТЧАЯНИЕ

Мой друг инженер был свидетелем ужасной сцены — мальчик во дворе поймал за гаражом голубя и ножницами отрезал ему лапки. Голубь бился о землю, пытаясь взлететь, бился головой, крыльями, всем телом в беспомощности, оставляя на асфальте слабую ниточку крови, сизые перышки.

Мальчик наблюдал за птицей исподлобья, очень спокойно, внимательно, как человек, проводивший серьезный эксперимент. Инженер бросился к нему, вырвал из его рук ножницы, крикнул с гневом:

— Что ты наделал? За что же ты голубя?

И мальчик ответил испуганно и тихо:

— Хотел посмотреть — может он летать без ног?

— Где твои отец и мать? А ну покажи, где ты живешь?..

Он крепко схватил мальчика за плечо, и тот, ссутулясь, подрагивая бледными губами, готовый уже заплакать, повел его к дому. В квартире был один отец, в застиранной пижаме, одутловатый, плохо выбритый, скрипнул протезом, нетвердо подымаясь из-за стола на кухне. Он выслушал инженера и ударил кулаком по столу.

— Чего ты пришел? — крикнул он с отчаянием нетрезвого человека, падавшего в бездну.— Мальчишка у тебя, что ли, ноги отрезал?

ВЛАСТЬ

На многолюдной московской площади я видел, как молодая женщина молча со злобным лицом била твердо и крепко по голове своего маленького сына лет шести, а он, сотрясаясь, плакал беззвучно и бежал на шатких ножках по тротуару, догоняя в надежде защиты отца, который равнодушно катил впереди коляску.

Женщина была угловатой, с плоскими чертами, некрасив был и плачущий мальчик, рот его, наполненный непрожеванным печеньем, был судорожно искривлен безмолвным криком — он боялся громко плакать. И с жалостью, с болью, подумалось, почему все же почасту я видел, и не только у нас, красивенько наряженных, будто куклы, детей в красивеньких колясках и почему так озлоблены бывали лица молодых матерей, когда они наказывали их, почему так гневно дергали за уши, за руки, за волосы, едва их дети случайно останавливались, заглядевшись на прохожих, на витрины, на встречные коляски. Они, владельцы живых кукол, как бы имели полное право собственников делать все, что угодно, со своей непослушной вещью.

В этом взрыве злобы мне чудится больной оскал жалкой власти сильного человека над слабым.

ДИАЛОГ НА СКАМЕЙКЕ В ПАРКЕ

— Вы были замужем?

— Да, была.

— И давно? То есть... вы еще очень молоды.

— О, у меня уже сын пяти лет. Мы разошлись.

— Значит, вы его не любили?

— Если бы не любила! Но лучше некрасивая правда, чем красивая ложь. Я простила бы его, если бы он рассказал все честно. А он говорил неправду. Он оправдывался, он объяснял, что это случилось, в госпитале, что она врач и непохожа на меня, как небо на землю, что он любит одну меня. А я не смогла... простить. Я заставила его повернуться спиной и отвечать на вопросы. Я спрашивала, он отвечал. Самое ужасное было то, что он мучился и все-таки лгал, лгал. Потом он хотел взять сына... Он не женился... Он каждый год приезжает сюда посмотреть на сына...

— Он приезжает посмотреть не только на сына, поверьте мне!

— Бессмысленно. У меня все перегорело, остались одни уголечки.

ДИАЛОГ В ОЧЕРЕДИ

— Очень уж безобразно на этих станциях обслуживания — тоже очереди, полное шахермахерство, обман! Раз, представьте, приехала на одну эту станцию — у меня пиковое, просто невыносимо жуткое положение: полетел в моем «Москвиче» подшипник. «Умоляю вас,— говорю слесарю или механику, как их там — не знаю, в общем, молодой парень, а глаза подозрительно красные.— Мне необходимо заменить...» — «Нету».— «Сделайте, ради бога, что-нибудь, ездить по Москве без подшипника — представляете, что это такое? Я хорошо заплачу!» Тогда он отвечает: «Ладно, покумекаю». Прихожу через два часа. Волнуюсь, знаете, как на приеме у зубного врача. «Как?» — спрашиваю. «Будете ездить,— говорит,— сделал профилактику, заменил подшипник, все как полагается». Я даже чуть не зарыдала от радости: «Где же вы достали его, милый?» — «Ваш вон у той машины,— говорит и улыбается,— а подшипник той машины у вас». Нет, вы представляете, какое же это безобразие! Так и езжу до сих пор с чужим подшипником! Ужасно! Когда это кончится? Какие надо иметь нервы? Так жить просто невозможно!

— Дак ить как же нам, матушка, долго жить! Нервинный человек пошел, очень деловой. Раньше вон мебель стояла крепкая, деревянная, сто лет — и нет ей износу. А теперь что — занавески эти модные выгорают, каждый год меняй. Диван, мол, старый, царя гороха сродственник, дети-то говорят,— и шась его на свалку! Новый покупают. Сервант, вишь ты, у соседки, ну прямо завистью душу рвет. Покупай — не хуже, чем у людей. Деньги-то от чего отрываются? Опять же от еды. А пенсионеры-то, пенсионеры!.. Уйдет, матушка, на пенсию — габардиновое пальто шьет. Сто лет жить, что ли? Детям оставлять — мода пройдет. А то — часы на руку. Это что же, а? Часы... Я часы никогда не носила — рука у меня рабочая, некрасивая... Откуда людям-то здоровье иметь!

НЕПОНИМАНИЕ

— Степь? Это закаты, это рассветы, это тишина без конца и края... А полынь! Вы когда-нибудь вдыхали запах полыни? А летние или осенние ночи с миллионами километров звезд над головой! А на зорьке июльской, ежели еще по древнему обычаю верхом, когда от трав парным молоком пахнет, когда дорога звенит под копытами вашего друга-коня, тогда лучшего в мире нет, это уже божественное чувство. А теплый ветер в лицо, а тюльпаны-красавцы охорашиваются перед восходом: умылись, и росу стряхивают, и выпрямляются в траве, и кивают со всех сторон, и улыбаются вам и зорьке. Вы, кажется, не верите? А вы поверьте. Я прожил в степи половину своей жизни.

— Я помню другую степь — серую, мокрую, неуютную...

— Она такой не бывает, простите великодушно...

— Помню еще: в степи от лунного света стояли сизые сумерки, и как-то сразу похолодало к рассвету. Мне было скучно.

— Скучно? Простите. Я, видимо, не понял — о чем вы?..

НАПУТСТВИЕ

— Э, родная моя, я хочу думать, что мой муж верен мне, что он дорожит моей любовью, вот тогда она и есть, любовь, точнее, видимость чувства. В этой так называе-

мой любви, дорогая, всегда должна быть подтасовка. Я подтасовываю себя под другого человека. Только разумная подтасовка — опора его и моя. Стоит только мне прекратить игру, и все моментально остыло. Впрочем, нечему было остывать, страсти ведь не было, уничтожена лишь опора альянса. Нет, родная моя племянница, настоящей любви с луной, рыданиями, надушенными письмами в наше время не существует, это анахронизм, ископаемое чувство, которое надо показывать в исторических музеях. Почему ты хмуришься? Обиделась?

— Я знаю, тетя, вы страшно одиноки. Я где-то читала, что женщина с плохим мужем все равно одинока. Как я вас понимаю! Лучше уж жить одной...

— О нет! Он совсем не плох, мой муж. Он обыкновенен. Жить одной? Ах ты умничка моя! Ну вот, ты выйдешь теперь, слава богу, замуж за обеспеченного человека, поэтому желаю тебе в жизни счастья, удачи, легкого сна и легкой любви.

— Почему легкой, тетя?

— Я сказала: современной, современной.

САМЫЙ ПРИЯТНЫЙ ЗАПАХ

— О чем вы говорите так лирично? Какой там еще запах сирени? Где вы чувствуете, как вы говорите, тонкую свежесть и аромат, скажите, пожалуйста? Не испытываю ничего приятного от этого парфюмерного благоухания. Сантименты, одни сантименты...

— Почему же?

— Запах пыли из-под колес машины уезжающего начальства — вот самый приятный запах. Какое наслаждение вдыхать его! Не-ет, вам незнакомо такое чувство!..

БАНЯ

Посвящается Леониду Леонову

О, как нужны были бы эти русские бани, если бы можно было отмыть в них душу, да попарить ее, да постегать веничком!

К сожалению, баня — услада телу, оболочке грешной, желание понежиться в тепле, в мыльном сладострастии щекочущей пены, которая мягка, ласкова, точно дебелая купчиха из Замоскворечья.

И все-таки как величава гулкость голосов под ее каменными потолками, покрытыми мутными каплями испарений, как горячо, властно шипение жаркой перекрученной струи в кранах, как победен и мелодичен гром шаек и как естественно покрякивание, сопение, аханье, постанывание несуетливых людских теней среди благословенного банного тумана, в котором все уравнены оголенной человеческой плотью, от единой природы рожденной, где при встречах даже давние знакомые руки друг другу не пожимают.

А как бывают великолепно красны, добры и умиротворенны лица в прохладных и тихих предбанниках после мытья, как расслаблены в истоме чистоты тела завзятых любителей полкà, отдыхающих на лавках под чистыми холодноватыми простынями, как благоговейно вытираются, промокаются банщиками младенчески розовые спины и как размеренно, без усилия текут неторопливые разговоры о том о сем.

Замечено мною: в бане исчезает людское озлобление, стало быть, омывает она и душу.

РАЗГОВОРЧИВЫЙ

— Свободно такси? Только счетчик, счетчик, молодой человек, в полном — как у вас — порядочке? Знаете ли, понимаете ли, ха-ха!.. Н-да, морозец! Черт его дери, так морду и общипал, пока я вас дожидался. Поехали, что вы меня разглядываете? Мы с вами что — где вместе водку пили? Поехали, поехали! Только без жульничества, чтоб счетчик... а то знаем, ха-ха!.. Люблю я вас, таксистов, только жулики вы все, объегориваете пассажиров!

— То есть как жулики?

— Знаем, знаем, вам говоришь: до площади Ногина, а вы норовите на Неглинную завезти: и, мол, простите, ошибочка, и давай снова кругаля давать, барапочку крутить, счетчиком пощелкивать. Грабежом занимаетесь, ха-ха! Форменным образом!

— Вылезайте, гражданин, я пьяных не вожу!

— Я абсолютно трезв! Но я опытный человек, знаете ли, понимаете ли, уважаемый товарищ водитель, и меня на мякине не проведешь. Я жаловаться буду, ха-ха! Я вашу фамилию запишу! Счетчик, как у вас счетчик? Гирька там внутри не привешена, не тянет? А то, может, в два раза такса у вас набегает? А? Как? Я вас, такси-

стов, насквозь вижу! Того и гляди без руки в карман нахально залезете! А деньги как достаются? По́том, по́том! Вы за меня не волнуйтесь! Знаете ли, понимаете ли, я на счетчик гляжу — меня не обманешь, ха-ха!

«КАК Я БРОСИЛ КУРИТЬ»

— Курил я только «Прибой», после войны папиросы такой марки были. Утром в воскресенье прошу у жены червонец на папиросы. А в Одессе «Прибой» — исключительный дефицит, штаны запросто прокурить можно, потому что абсолютно с рук покупай... Ищу. «Прибоя» нет. Я иду на Вознесенскую, там инвалид торгует. У него тоже нет. Даже зло взяло! Захожу в пивную, и что-то меня ударило: брошу курить! «Ваня,— говорю,— налей сто граммов и кружку пива, курить бросаю». Вечером уже прихожу к жене и говорю: «Пропил я деньги». А она вроде и не удивилась моему положению. «Я так и знала, когда ты уходил, у тебя такое было лицо». Тут я от непонимания этого сел к столу и махру закурил. Да так, что хоть колун вешай!..

ЗАЩИТНИК СПРАВЕДЛИВОСТИ

— Н-да, месяц назад чертежницу Четунову несправедливо уволили, и наш Афоничев пребывал в благородном гневе, швырял папки, стучал ящиками стола, и его бас гремел на весь отдел: «Это так начальству не пройдет! Я пойду и выскажу ему всю правду о безобразии! Самодурство! Все выскажу, что думаю об этом нелепом сокращении штатов! Это нарушение законов!»

Наконец на все пуговицы застегнул пиджак, подтянул галстук, на лицо напустил угрожающее негодование и с выпяченной челюстью направился прямехонько по коридору к кабинету начальника отдела. Я пошел за ним, ужасаясь, что произойдет смертоубийство. Стучит в дверь и рычит львом: «Разрешите?» — «Разрешаю», — отзывается своим строгим тенорком наш начальник Федь Федич. Вошли, Афоничев топчется, сопит, как бык, и как будто от гнева не может выговорить ни слова. Какая-то неловкость получилась, Федь Федич ждет, подымает голову от бумаг и хмурится: «Что у вас?» — «Я удивлен увольнением Четуновой!» — заявляет Афоничев и почему-то ни к селу ни к городу начинает сморкаться и кашлять до пота и по-

багровения, похоже, гонконгский грипп сразу подхватил или простудился в кабинете.

Федь Федич настороженно так прищурился, вгляделся в Афоничева, в нашего борца, закурил сигаретку и ядовито очень произносит: «Я тоже удивлен». Тут, как говорится, наступило молчание, Афоничев только пот с лысины платком вытирает. «Ах, ну тогда другое дело»,— вдруг говорит наш защитник правды и выходит, неимоверно серьезный, вроде бы только что глубоко понял и осознал всю справедливость действия проницательного начальства.

«ЗАЧЕМ Я ТАК РАНО РОДИЛСЯ?»

— Это верно, женщины в наших краях очень красивые. Сами понимаете — юг, солнце, порода чувствуется и живут в чистоте.

До меня был тут директор совхоза, ходец по овинам несравненный, такие сейчас редко попадаются, красавец мужик: усы, сапоги мягкие, кавказская папаха и взгляд ястребиный, быстрый. Увидит какую-нибудь и аж побледнеет, порозовеет, глаза сначала хищными делаются, потом вроде теплым туманом подергиваются, так и обволакивают, так и опутывают какую-нибудь крепконогую.

Однажды, когда уже на пенсии был, зашел он летним вечерком на танцы в клуб наш посмотреть по-стариковски на современную молодежь. Сел в углу с секретарем сельсовета, дружком своим, закурил, кряхтит, смотрит, седой ус покручивает. А девчата-то у нас видели какие — походка как у королев, сами статные, юбочки коротенькие, глаза у всех как вода озерная, с ума, конечно, поневоле сойти можно...

Смотрел он, смотрел, да вдруг как заплачет навзрыд.

Секретарь сельсовета очень удивился, даже рот приоткрыл и — к нему: «Ты что, Степаныч? Причина какая?» А тот прямо-таки рыдает, даже слезы по щекам бегут, ровно горе какое неожиданное случилось. «Зачем я так рано родился? — говорит.— Девки-то какие! Яблоки, яблоки! Все бы эти яблоки на вкус перепробовал, да поздно. Зачем я так рано родился!»

После войны мужчин здесь не было, он хозяйство подымал, энергии мужик был необыкновенной и при всем этом ни одну мимо себя одинокую без внимания не пропускал, если обстоятельства позволяли. Ох, орел был, да и женщины его любили, очень любили!..

НЕРАВНАЯ ДОЛЯ

— Ты будешь хороший, да? Не будешь меня обижать? А то знаешь, как мне ее жалко!

— Кого?

— Себя.

— Я же люблю тебя, единственная моя женщина.

— И ты все время будешь меня любить? Если со мной что-нибудь случится, ты будешь меня помнить?

— С тобой ничего не случится.

— А если?

— Всю жизнь. Но с тобой ничего не случится.

— Знаешь, в любви тоже несправедливость. Она не поровну распределяет долю. В ней нет равных долей.

— Я не понимаю.

— Мне дана бóльшая доля, тебе меньшая. Ты меньше меня любишь.

— Экая арифметика странная!

— Нет, нет, вот что страшно — надоесть друг другу. Тебе смешно, а я часто думаю об этом. Если я тебе надоем, ты сразу уходи, не говоря ни слова.

ЛУННЫЙ СВЕТ

В часы бессонницы пришла странная фраза: «Лунный свет омывает не каждого».

Почему не каждого? Почему лунный свет? Эта фраза не уходила из моего сознания целую ночь и была наполнена прелестным тайным смыслом, мучительной значительностью непостижимого в своей глубине подтекста, и я был счастливо окутан ее синим воздухом, ее колдовским секретом, обещавшим мне нечто блаженное, райское, как женская нежность, потому что смысл фразы все-таки был связан с женщиной.

Утром же фраза показалась мне серой, тусклой, бессмысленной, но потом я записал ее — и вдруг огоньком прошел в душе отсвет ночного чувства вместе с каким-то апрельским молодым ветерком любви, какой не раз испытывал в давней юности. И я подумал, что сейчас открыл весь подтекст этой фразы, исполненной не радости, а скорби к тем многим на земле, кого не омыло в пору весны лунное сияние.

НАС БЫЛО МНОГО

...Сразу похолодало, поднялся ветер, сухо шуршал снег в чехлах орудий. Еще фосфорически тлела, не дотлевая, в недосягаемой, как прошлое, бесконечности рваная полоса кровяного заката, но и ее уже охватывала, душила темнота, заволакивало черным дымом, пеплом сгоревшего жилья; ветер нес, раздирал голоса команд вблизи темневших по бугру машин, орудий, лошадей, и казалось — там непрерывно происходило какое-то кругообразное завораживающее движение, удаляясь и удаляясь в тьму, к краю жизни, к угольно-красной щели заката, где обрывалось последнее...

Нас было много, и мы шли туда, молодые, веселые, не ощущая угрозы вечного одиночества.

Но какая безысходность одинокой песчинки охватывает меня, когда я думаю, сколько кануло нас в никуда, за той далекой щелью заката, которая в кошмарных снах представляется мне все чаще.

ТРОФЕИ

Над пакгаузами возле вокзала еще распространялось, не утихая, буйное пламя пожаров, которые, кипя, взрываясь, перекручиваясь, вздымались в небо, заполняя искрами, пеплом и дымом улицы западной окраины, где, потные, закопченные, шли пехотинцы, двигались в упряжках орудия, дышащие железным жаром, и гремели по булыжнику мостовых повозки боепитания и хозяйственных взводов. Эти повозки выскакивали из дыма горящих пакгаузов на привокзальную площадь, ездовые возбужденно, хмельно хохотали, показывая на ноги лошадей, по бабки измазанные в розоватой густой массе, похожей на повидло.

Чистенький, ясноглазый, весь в ремнях, с немецким тесаком и парабеллумом на боку, старшина интендантской службы, лихо гарцуя на коне, приблизился к артиллеристам, выходившим с лопатами из привокзального скверика, ерзая в седле, заискивающе засмеялся:

— Братцы, с трофеями? Пошастали небось по складам?

— Кому медали, а кому ни хрена не дали. Запоздал малость,— неохотно ответил обросший серой щетиной сержант.— Видишь, склады горят? А ты где был? В тылах кантовался?

— Ну, ну, братцы, поимейте совесть. А шнапс взяли?

— Что ж. Не продукт.

— А ром?

— И энтот имеем. Полны передки. Лошадей поили — отказываются.

— Угостите! Чего переглядываетесь? Вам с пехотой везет — все трофеи в складах достаются. Небось запаслись...

— Запас по морде не бьет. Конечно, везучие мы — четырех из семи мы тут в братской могиле сейчас похоронили.

— Угостите ромом, а? Бог делиться велел.

— Можем и поделиться. Рыжков, налей ему вон из той бутыли! Шнапец... Тебе сколько? Котелок выпьешь?

— Да ты не жалей, не жалей!

— Плесни ему, Рыжков.

По этому приказу беспредельно усталого сержанта кто-то тоже усталый до немоты щедро налил из бутылки в котелок прозрачной жидкости и подал старшине. Чистенький старшина заранее вожделенно крякнул, понюхал ухарски большой палец, предвкушая, взял двумя руками котелок и сделал несколько жадных глотков, после чего недоуменно заморгал, как бы прислушиваясь к самому себе, и вдруг брови его поползли на лоб, лицо злобно исказилось.

— Это что же, братцы? Водица? Смеетесь?

— Никак нет, старшина. Это через два часа разбирает. Ждать надо.

— Ну, глядите — заплачете, артиллеристы! Я в-вам не так просто... Я от начальника тыла дивизии!.. Я в-вам запомню!..

Старшина с остервенением швырнул котелок на землю, круто повернул коня от батареи, пришпорил его, исчез в дыму улицы, а обросший щетиной сержант сказал усмехаясь:

— Вот она, трофейная фитюлька. На чужой шее в рай! Этот на похороны не придет, а на все свадьбы успеет.

АТАКА

— Что такое атака, спрашиваешь? А ты вот послушай. Как раз перед нами шоссе Москва — Воронеж проходило, а мы за шоссе на Студенческой улице окопались,

Атаковать надо было так: через шоссе броском перескочить, дальше ложбину перебежать, за ней на гору взобраться, а на горе врытые немецкие самоходки и танки в упор бьют по шоссе, нам снизу их стволы видать. Ну а за горой кирпичный завод, который взять приказано. Там крепенько немцы сидят, кинжальным огнем шоссе простреливают, не то что головы, палец не высунешь — рубит насмерть. Но комбату это не причина, ему одно: взять завод — и точка, никаких рассуждений. Молоденького младшего лейтенанта нашего, москвича, как помню, в первую минуту убило, когда по сигналу атаки шоссе начали перебегать, и по этому случаю роту я на себя принял — больше некому. А атака в полный день была — солнце яркое, все вокруг почище, чем в бинокль видно. Как только мы через шоссе перескочили, самоходки в упор такой огонь стали бешеный давать, что день в ночь превратился — дым, разрывы, стоны, крики раненых. Понял: в лоб завод не возьмем, на самоходки дуроломом попрешь — всем братская могила. Самоходки долбят землю огнем, а я кричу: «За мной, братва, так-перетак! Влево давай! По ложбине, по оврагу, в обход горы, иначе всем похоронки!» И — как угадал в этом соображении. Повезло. Судьба улыбнулась. Вывел остаток роты в овраг слева от завода, а в овраге железный хлам какой-то, железный мусор, хрен знает что. Рвемся, без голосу орем чего-то, задыхаемся, бежим по железному хламу, как сквозь колючую проволоку, того и гляди глаза к дьяволам повыколем. А завод — вот он, на горе виден, метров сто пятьдесят. Уже как черти в аду хрипим, в гору почти на карачках лезем, обмундирование на нас о проволоку, о железо в клочья вкось и поперек разодрано,— и все-таки ворвались в завод с тылу, можно сказать. Помню: пылища в каком-то цехе, спереди немцы из пулеметов по атакующим нашим ребятам режут. Разом ударили мы по ним, вбежали в эту пылищу. Бегу, точно бы вконец обезумелый, строчу из автомата по пулеметчику, вижу вспышки в пыли, кричу что-то вроде «вперед» и вроде трехэтажного мата, сам не соображаю что. И тут накрыло темнотой меня, будто на голову крыша обвалилась... Очнулся в медсанбате, лежу и чувствую: никак живой, тело, руки, ноги при мне, на глазах — повязка. Хочу сдернуть ее, а мне говорят: погоди, мол, контузило тебя и глаза песком засыпало после снарядного разрыва, мол, не волнуйся. Волнуйся не волнуйся, месячишко поремонтировали — и опять «вперед»...

ЧУТЬЕ

— Не спрашивай, почему сегодня я пью. Вроде празднуем День Победы, правильно, а для меня — знаешь что? Можно сказать, похороны, понял, нет? Был у нас комбат Гуров, командир батареи семидесятишестимиллиметровых... героические были орудия, их «прощай, Родина» называли, потому что рядом с пехотой стояли, а то и впереди. В общем, братские могилы все наши были, если немецкая самоходка по названию «фердинанд» тихой сапой с фланга заходила и начинала гвоздить...

Так вот, командовал батареей капитан Гуров — совсем, можно сказать, юноша, фигурой вроде веточки, ладный такой, он даже материться не любил, за это ругачим большой втык давал, а смеялся хорошо, зубы белые, наши сестрички из медсанбата умирали по нему. А он только шутки шутил: «Красавицы-девочки, я вас всех люблю, но немецкие танки больше!» Так вот чутье у него было насчет немцев, не знаю, как назвать,— на колдовство это было похоже.

Можно сказать, черт в нем сидел насчет чутья. Или бог — как уж тут разобраться! Бывало, ночь — глаз коли, за нуждой пойдешь, так своего главного документа не увидишь, а орудия надо ставить на прямую наводку против танков. Приказ получен от начальства, и никуда не денешься, голосовать за и против не приходится. Комбат Гуров вел орудия на огневую позицию сам, всегда самолично, никому этого дела не доверял, потому что раз под Киевом один зеленый лейтенант наш по большой близорукости два своих орудия в расположение немцев впер, от пулемета погиб смертью храбрых, а от расчетов с гулькин нос осталось.

У Гурова талант был самый главный на войне — авось да небось терпеть не мог, дуриком стрелять не признавал, грудью на осколки, как бык слепой, не лез, воевал спокойно, вроде работу делал. И до самого конца войны ни разу не видел я, чтобы растерялся он, умом ошалел, в лице изменился, хотя в переделки попадали такие, что дьявола от страха затошнило бы, ежели б тот ад боя одним глазком увидел, а черти поносом бы изошли.

Так вот, ведет он ночью, бывало, самолично орудия на прямую наводку, и тут слышим — его команда: «Стой!» Видим, комбат Гуров обходит орудия и командирам взводов тихо, без напряжения горла объясняет: орудия, мол, через поле дальше не стоит вести, а надо повернуть от

перекрестка налево, метров двести проехать краем леса и потом — вперед. Кто-нибудь из командиров взводов попытается иногда умно сказать: «Через поле ведь ближе, товарищ капитан». А он: «Заминировано».— «Как вы можете знать, товарищ капитан, разве видно ночью?» А он: «Я чувствую, что поле заминировано». Сначала удивлялись мы, даже считали его комбатом с приветом, а он после всегда прав оказывался, и крепко зауважали мы его.

Однажды цельный день приказа ожидали из полка и не дождались, а он все ходил по огневой, хмурился и вдруг ни с того ни с сего скомандовал батарее немедленно сняться с опушки леса и зачем-то занять другую позицию в соседнем леске — на том же танкоопасном направлении. Засветло, помню, снялись мы всеми орудиями, только тылы и кухню на старом месте оставили. А через час на новые огневые наш старшина примчался на одной повозке, с разбитой кухней, с головы до ног в крови и рассказал: как только мы снялись, налетело на лесок с полсотни «юнкерсов» и разбомбили старые огневые вдрызг. Вот какое чутье у капитана было...

Дошли мы с комбатом Гуровым до Германии без глупых потерь. И я, как видишь, живой. За Зееловские высоты он Героя получил, а восьмого мая убило его пулей в грудь. Какая-то недобитая сволочь из окна стреляла, когда он в «виллисе» ехал. А мы вроде с ума сошли — развернули батарею и лупили по этому дому, пока одни головешки остались. Да разве воскресишь?.. Давай помянем моего комбата, умницу, офицера золотого. Давай встанем и чокаться не будем. Ты уж извини, сдержаться не могу. Для меня этот день — слезы. Нельзя его праздником считать. Не могу...

СТАРШИНА КОЧКИН

Лето, сорок второй год, пехотное училище в Актюбинске.

Помню, он ходил скользящей, почти танцующей походкой, опрятные его сапожки были зеркально начищены, гимнастерка расправлена ремнем, ровно натянута каждой складочкой, круглая загорелая шея тщательно, до морщинки вымыта, протерта цветочным одеколоном (этот запах мы чувствовали), и весь знойный день занятий старшина казался нам несокрушимым, пугая своей

неиссякаемой энергией, своим всевидящим оком. Издали завидев на плацу вялую фигуру курсанта, изморенного вконец солнечным пеклом, он начинал кисло морщиться, затем, решительным шагом выйдя навстречу, обращался с едкой насмешливостью:

— Почему не приветствуете старшего по званию?

— Не заметил, товарищ старшина, извините.

— Я вас заметил, а вы меня не заметили? Это что, ваша система? Тогда стойте и слушайте сюда! Поч-чему производите такое отвратительное впечатление? Смотреть на вас тошно. Поч-чему так безобразно ходите? Двигаться ястребом надо, с достоинством, яс-сно? А вы деталями пыль подымаете, как телега без одного колеса! Ремень-то на вас что изображает? Беременность или шлею под хвостом на старом мерине? — Старшина брезгливо дергал курсанта за ремень, и его рябоватое лицо делалось презрительным.— С-стыдно! Как фамилия? Что? Молчать! Такой разгильдяйской фамилии нет в моей роте! Уходите с глаз долой, видеть вас невозможно. Отставить! Кто так учил подносить кочергой руку к пилотке? Смотреть сюда!

И, мрачнея светлыми глазами, он с какой-то стальной удалью подносил огромный, как кувалда, кулак к виску и мгновенно разжимал его, выпрямляя пальцы у козырька, слегка подав грудь вперед.

— Яс-сно?

— Я стараюсь, товарищ старшина.

— За старание не в ту сторону два наряда вне очереди.

Помню его на училищном плацу в часы строевой подготовки.

— Чик-чик! Чик-чик! Тверже ножку, шире шаг! Печ-чатай, печ-чатай! Раз-два, раз-два!

Это командовал он, наш старшина, то отсекающе взмахивая рукой, пятясь перед строем, то изгибаясь и, подобно гимнасту, приседая, каждой черточкой бесстрастного лица нацеленный в бьющие по земле сапоги курсантов, а голос, острый, металлический, как бы отъединенный от его лица, насквозь прорезàл грохот плаца:

— Чик-чик! Раз-два! Чик-чик! Раз-два! Печ-чатай, печ-чатай! Р-рота-а!..— Команда взвивалась так поднебесно, звеняще высоко, что озноб всеобщего возбуждения колючими струйками пробегал по нашим мокрым спинам, ударяющие в землю ноги становились непобедимо чугунными.— Р-рота-а! — несколько выдержав, повторял стар-

шина до пределов невозможного поднятым фальцетом и в такт слитным ударам сапог, коротко, сильно отрубая, выдыхал всей грудью: — Чик! Чик! Чик! Чик! Р-р-рота-а!..— в третий раз жестко повторял Кочкин нараспев, и несущий вселенскую победу грохот сапог соединялся в единый отбивающий звук, сотрясая тополя, стекла училищных корпусов.— Р-рота-а-а! Стой! Плохо, отвратительно! Строевая воспитывает и объединяет дух, а не обучает балету! Яс-сно? Шэ-эгом а-арш! Чик-чик! Крепче ножку! Орлами глядеть! Выше подбородки! Печ-чатай!

Помню его и во время вечерней поверки за месяц до отправки училища на фронт, когда я вплотную столкнулся с его неподкупным пронизывающим светлым взором.

— Па-ачему опоздали в строй?

— Я был в туалете.

— Не спрашиваю, где вы были. Я вас спрашиваю: почему опоздали в строй?

— Я был...

— Пач-чему опоздали? Где причина? Па-ачему?

— Я же объяснил... но вы задаете вопросы и не даете отвечать...

— Ма-алчать! И запомните: я ваши принципы необъективных причин разрушу! Встаньте в строй и подумайте о том, как вы только что огорчили всю роту! Яс-сно? Как поворачиваетесь? Отставить! Кру-угом! Шэгэм арш! Так на чем мы остановились, товарищи курсанты? Кто там очищается на левом фланге? Смир-рно! Вольно! Слушать сюда! Так вот, сержанты должны отвечать за три вещи: дисциплина, внутренний распорядок, оружие. Учебу берут на себя командиры взводов. Это из-звестно. Что получилось сегодня? Сдали экзамены и разбрелись по училищу — кто, так сказать, в библиотеку, кто по грибы. Экономить, беречь время надо, товарищи будущие командиры. Яс-сно? Между тем Григурко плавал на топографии, как самовар. Пахомов ерунды напорол — ни в какой мешок не уложишь. Кулаков чушь тянул, как утопленника за ягодицы, а сам во взводе сидит в нижней рубахе, дисциплину расшатывает разгильдяйством. Каково оружие у него оказалось? Ржавый затвор. В канале ствола будто мухи пообедали. Сер-ржанты должны повер-рять оружие, а не осматривать! Все. Смир-рно! Вольно! Раз-з-зойдись!..

Мы тайно и зло смеялись над ним, ненавидя и боясь его ястребиного ока, его требовательной анекдотической дотошности, придирчивых нотаций, уставной скрупулезности.

Он был убит в студеном декабре того страшного года под Сталинградом, куда бросили нас, недоучившихся офицеров, где погибли многие мои сверстники юной поры.

Перед самыми немецкими траншеями он лежал на сверкающей солнечной белизне лицом вниз в расстегнутой телогрейке, без шапки, в хромовых, еще училищных сапогах, сраженный пулеметной очередью в упор, на затылке его месивом слиплись короткие волосы, всегда чистоплотная круглая шея была залита кровью. Возле его руки, вонзившейся пальцами в снег, тоже окровавленной, валялся старенький револьвер системы «наган», и я представил, как полчаса назад он бежал в атаку впереди других, которые теперь неестественными бугорками темнели в морозной степи, и не добежал трех метров до немецких окопов...

НАЧАЛО И ПЕРЕРЫВ

Иногда думаю, что в июле сорок первого года молодые немецкие солдаты были возбуждены тем, что началась в России не очень трудная, заманчивая война с великолепными заревами по ночам, заполненным мощным гудением «юнкерсов» среди множества теплых звезд, каких никто не замечал над фатерландом, с ежедневно выданными фельдфебелем сигаретами и шнапсом, с ожиданием удобных квартир в захваченных городах, товарищеских пиршеств, дозволенных развлечений с синеглазыми славянками, щедрых наград вермахта, праздничных подарков из рейха, что радуют дух воспоминаниями о доме, особенно приятными после упоения инстинктом всех завоевателей, распространяющих вокруг жестокую стихию огня.

А в это же время мы, молодые русские солдаты, жили недавним счастьем школьной свободы, мы не сомневались, что героические подвиги, мужественные поступки отпущены нам судьбой, возбужденно и радостно были убеждены в слабости обезумелой Германии, в своей недалекой победе (конечно, без потерь), которая вновь вернет и безмятежно продолжит зеленое солнечное лето, июльскую пору футбола, прерванных войной на короткий срок.

Для них война в России была началом разрушительных удовольствий, для нас — внезапным перерывом летних каникул.

Я хорошо знаю, что чистота, наивность и романтизм стоили миллионов жизней моему поколению в сорок первом и сорок втором годах!

В ОКРУЖЕНИИ

Рассказ лейтенанта

— Всю ночь песни и крики какие-то слышны были, аккордеон играл, вроде свадьба у немцев. Утром три фигуры появляются у них на бруствере: две женщины, а посередке офицер немецкий. В бинокль вижу: одна чернявая, грудастая, другая — беленькая, с косами, как девочка. И офицер бледный, но улыбается, а графин со шнапсом или самогоном в руке держит. Чернявая виляет бедрами, обняла беленькую, кричит таким звонким голосом: «Не стреляйте, нас послушайте. Мы под большевиками корочку хлеба только имели, а теперь при германцах живем хорошо, водку пьем и вам предлагаем!» И указывает на графин в руках офицера. Мой политрук шепчет: «Срежем фрица, а, лейтенант?» А у нас две снайперские винтовки, у меня в командирском окопе. «Нет,— говорю,— немца успеешь, никуда не уйдет. Баб-предательниц. Я левую, ты правую». А чернявая кричит: «Переходите к нам, мы вас в чине повысим, любить будем и командовать дадим!» Я взял в прицел ее. Вижу — смеется, а сама волнуется, тискает за плечо беленькую, а та прижалась к ней, ровно к защите. «Огонь по сволочам бабам!» — командую. Я черненькую снял. Так и повалилась. Политрук беленькую. Офицер повернулся и бежать. Я его возле самой траншеи настиг.

...Сто пятьдесят человек в моей роте было, двадцать пять пулеметов, шесть командиров и медик-лейтенант. Обратно к своим только один командир взвода вырвался и трое солдат, со мной — пять. В сорок четвертом под Яссами командовал я отдельной штрафной ротой. Помимо наших орудий, шесть батарей немецких. Раз попробовали у меня отобрать пушки немецкие, как по уставу лишние. Я говорю: «Не вы мне трофеи дали, я их в бою кровью отбил. И их же снарядами крошить зверей буду». В общем, что-то со мной случилось после непонятных тех баб. И тогда, в сорок первом, когда прорывались мы ночью, бежал я по разбитой дороге в лесу, за мной бойцов четверо, бегу, стреляю, плачу, а сам думаю:

«До нас, чертей, миллионы людей умирали. Не мы первые, не мы последние. Только кто ж те бабы? Силой иль пряником их немцы заставили? Или как? Может, не виноваты они?..»

ЖЕНСТВЕННОСТЬ

Мы ждали своих ребят из поиска.

Никогда не забуду ее тонкое лицо, склоненное над рацией, и тот блиндаж начальника штаба дивизиона, озаренный двумя керосиновыми лампами, бурно клокочущим пламенем из раскрытой дверцы железной печки: по блиндажу ходили теплые волны домашнего покоя, обжитого на короткий срок уюта. Вверху, над накатами,— звезды, тишина, вымерзшее пространство декабрьской ночи, ни одного выстрела, везде извечная успокоенность сонного человеческого часа. А здесь, под накатами, молча лежали мы на нарах, и, засыпая, сквозь дремотную паутинку я с мучительным наслаждением видел какое-то белое сияние вокруг ее по-детски коротко подстриженных золотистых волос.

Они, разведчики, вернулись на рассвете, когда все в блиндаже уже спали, обогретые печью, успокоенные затишьем,— разом звонко и резко заскрипел снег в траншее, раздался за дверью всполошенный оклик часового, послышались голоса, смех, хлопанье рукавицами.

Когда в блиндаж вместе с морозным паром весело ввалились, затопали валенками двое рослых разведчиков, с накаленно-багровыми лицами, с густо заиндевелыми бровями, обдав студеным холодом маскхалатов, когда ввели трех немцев-«языков» в зимних каскетках с меховыми наушниками, в седых от инея длинных шинелях, когда сонный блиндаж шумно заполнился топотом ног, шуршанием мерзлой одежды, дыханием людей, наших и пленных, одинаково прозябших в пространстве декабрьских полей, я вдруг увидел, как она, радистка Верочка, медленно, будто в оцепеняющем ужасе, встала возле своей рации, опираясь рукой на снарядный ящик, увидел, как один из пленных, высокий, красивый, оскалив в заискивающей улыбке молодые чистые зубы, поднял и опустил плечи, поежился, вроде бы желая погреться в тепле, и тогда Верочка странно дрогнула лицом, светлые волосы от резкого движения головы мотнулись над сдвинутыми бровями, и, бледнея, кусая губы, она шагнула к пленным,

как в обморочной замедленности расстегивая на боку маленькую кобуру трофейного «вальтера».

Потом немцы закричали заячьими голосами, и тот, высокий, инстинктивно защищаясь, суматошно откачнулся с широко разъятым предсмертным страхом ртом.

И тут же она, страдальчески прищурясь, выстрелила и, вся дрожа, запрокинув голову, упала на земляной пол блиндажа, стала кататься по земле, истерически вскрикивая, дергаясь, обеими руками охватив горло, точно в удушье.

До этой ночи мы все безуспешно добивались ее любви.

Тоненькая, синеглазая, она предстала в тот миг перед нами совсем в другом облике, беспощадно разрушающем прежнее — нечто слабое, загадочное в ней, что на войне так влечет всегда мужчину к женщине.

Пленного немца она ранила смертельно. Он умер в госпитале.

Но после того наша общая влюбленность мальчишек сменилась чувством презрительной жалости, и мне казалось, что немыслимо теперь представить, как можно (даже в воображении) целовать эту обманчиво непорочную Верочку, на наших глазах сделавшую то, что не положено природой женщине.

Никто не знал, что в сорок втором году в окружении под Харьковом она попала в плен, ее изнасиловали четверо немецких солдат, надругались над ней — и отпустили, унизительно подарив свободу.

Ненавистью и мщением она утверждала справедливость, а мы, в той священной войне убивавшие с чистой совестью, не могли простить ее за то, что выстрелом в немца она убила в себе наивную слабость, нежность, этот идеал женственности, который так нужен был нам тогда.

РЕСТАВРАТОР

— Ты говоришь, в жизни все склеишь? Не все, друг, не-ет! Был у меня знакомый, великий реставратор! Коля Лошадкин. Мог склеить и волосок курчавый на хвосте у черта, даже скорлупу голубиного яйца соединял, трещинки не обнаружишь — такие, брат, золотые руки, серебряная голова. А однажды приходит ко мне пьяный, шибко под булдой, можно сказать, приходит, прямо в пальто и галошах садится в кухне на табуретку, гляжу: а он чего-то шапкой лысину трет, а сам на пол слезу роняет.

«Что, Коля?» — спрашиваю и очень удивляюсь я его такой нетрезвости, потому что абсолютно непьющий он до неприличия. «Не все, товарищ мой сердечный, склеить можно,— отвечает Коля и хлюпает, хлюпает,— развелся я с женой, дубина я такая балбесовая...»

«ОБЛАКАТА БЫ МНЕ...»

— Как мне посоветуете облаката достать? Дочь мою младшую мотоциклист сшиб. Шла она с подругами из Шестова, вечер был, дождь, грязь, погода у нас слякотная... а тут на дороге мотоциклист выскочил, пьяный, сукин сын, потом я это узнал. Ночью уж подружка дочери Нюрка в стекла к нам затарабанила, разбудила криком: «Верку вашу до бессознания пьяница сбил, в больницу отправили, на грузовике!» Как так? Что такое? Я, не будь дураком, ночью еду на автобусе в Шестово, с ходу в милицию на сороковом километре, а как вошел в отделение, вижу — сидит он, злодей, перед лейтенантом, догадался, что это он, весь в глине, с ног до головы, и каска на полу, лет тридцать ему, а башка как будка, и глаза хмельные. Я говорю: «Сволочь портвейная, ты мою семнадцатилетнюю дочь Веру в больницу уложил!» — «Я,— говорит,— не видел, отец, а портвейну совсем не пил».— «А это мы установим экспертизой, гражданин, что вы пили,— говорит лейтенант и — ко мне: — Если что, судить его будут, успокойтесь, идите домой, вызовем». Я, не будь дураком, на следующий день поехал в больницу. Мыло ей взял, конфет, трусы, извините, и поехал. К ней пустили меня, к дочери, на десять минут, и десять минут она в потолок глядела и все плакала: «Голова очень болит, сотрясение у меня». Хорошая она дочка, тихая, руки были у нее ловкие. Третий месяц она лежит, а что с этим портвейнщиком, так вот что. После милиции приезжает он ко мне. Жена тоже дома находилась. Чай пили мы с женой, мы дружно, хорошо живем. «Давайте,— говорит,— обоюдно договоримся, по-мирному. Две тысячи я вам даю, а вы на меня в суд не подавайте». С женой посоветовались, ладно, думаем, может, это и правильно, если к вопросу не по-глупому подойти. Я, не будь дураком, и говорю: «Завтра вези деньги». И чаем напоили его...

Третий месяц идет. Обманул он нас, ни денег, ни в милицию не вызывают. А на дочери куртка была новая,

финская, ценой в сто шестьдесят рублей, брюки в сто двадцать рублей, они брюки ведь сейчас, девки, как парни, носят. Все порвало, изнахратило, когда он сшиб ее, пьяница, портвейнщик.

Что делать-то мне? Какой совет дадите? Ума не произведу, облаката бы мне достать, хорошего, хитрого...

ЖАЛОБА

— Не спорю я, мое время проходит... Сколько вокруг ходит разных красивых женщин, да не мои! Эх, жизнь не жизнь, а жизненка, тошно мне одному в тридцать восемь лет, а не получается по-настоящему, разборчивый я до горьких слез. И нету моей суженой, как в стихах раньше писали, нету моей рябинки, нету моей березки. Эх, встретить бы... чтоб как огнем обожгла, чтоб сон потерять, чтоб как молодому с вытаращенными глазами бегать, все об ней думать — так горячо душа хочет! Где она, моя любовь-то? Отвечаю вам — нету ее у меня. Женщин я очень уважаю, или, точнее сказать, боготворю, но и уважения к себе хочу, чтоб все промеж нами нормально, по-человечески... Ребеночков я тоже уважаю, ежели хорошая у тебя жена в доме. Ежели семья, то ребеночков родить надо, а не губы красить, юбки подрезать и хвостом крутить. А сейчас что бывает? Западная мансипация, черт бы ее... Чуть что не так — она фырк! И всякие журнальные слова: «Наша жизнь не удалась, ты, стало, эгоист, феодал, психологически несовместим, сексуально необразованный, не сошлись антагонистическими характерами!» И дверью — стук, чемодан в руки, ушла к другому. Во-от как любовь оборачивается. Боюсь я любви-то этой, больше заразы боюсь. Не верю я им...

ХАРАКТЕР

— Вы видели этого инженера из первого корпуса, который все время играет в теннис? Эдакий стройный красавец, все дамы в санатории от него без ума! Вы слышали, что он сегодня утром чуть не погиб? Нет, этот шторм — просто бедствие, наказание! Перед завтраком я пошла к морю освежиться воздухом. Если уж нельзя купаться, то хоть йодом немного подышать. На пляже, разумеется, никого, ветер невероятный, буквально с ног

валит, а волны — огромные, и так страшно бухают, ударяют в пирс, что весь берег дрожит... Ну кого в такую бурю загонишь в воду? Сумасшедшего? Идиота? И представьте — вижу: в огромных волнах какой-то несусветный чудак, безумец, то нырнет, то вынырнет, а глаза белые, сумасшедшие от страха, и кажется, что он кричит, захлебывается, зовет на помощь, но слов не слышно — ветер, море грохочет, сущий ад! А чудовищные волны его захлестывают, переворачивают, подымают и несут на пирс, на железные столбы, а он ничего не может сделать... Мне чуть дурно не стало — вообразила, как волны изо всей силы ударят его о железо и сломают, как соломинку. Но вдруг, представьте, выбегают два парня, что плавают на спасательной шлюпке, выбегают из своей будки на пирс, один кидает спасательный круг на длинной веревке, а другой прямо в джинсах, в рубашке бросается сверху в море, просто молодец, настоящий герой. Такой рыжий, светленький... да вы его видели! Наверно, минут двадцать они спасали утопающего. Когда его вытащили на берег, положили на песок, я сразу узнала в утопающем инженера. На него невозможно было смотреть. Он лежал на животе, его рвало водой, он стонал и, верите, шептал одно и то же: «Сегодня моя жена могла остаться вдовой». Да вот он, смотрите, легок на помине. Немыслимо! Уже оправился, слава богу! Нет, в нем что-то есть! Мужчина из девятнадцатого века. Будь я моложе... Видите, идет с ракеткой, и с ним какая-то новая!.. Немыслимо! Посмотрите, что за юбочка! Опять новая мода? То ли колокол, то ли абажур...

— Я все-таки сама спрошу у него. Здравствуйте, вернее — добрый вечер! Как вы себя чувствуете после кошмарного утреннего приключения? Мне рассказали, что вас едва спасли. Для чего же вы так рисковали? Это же чрезмерная смелость! Разве можно купаться в четырехбалльный шторм? Счастье, что эти два парня успели прийти на помощь и все обошлось. Действительно, ваша жена осталась бы...

— О чем вы говорите? Никто меня не спасал. Кто меня может спасать?

— Вы сегодня утром...

— Что сегодня утром? Простите, Леночка. Сядьте вот здесь, на скамеечку, подождите меня, я объяснюсь с дамой. Так я хотел вам сказать, что я имею первый разряд по плаванию, поэтому никто меня не спасал.

— Но вам кинули спасательный круг...

— Никто не кидал мне спасательный круг, ибо сам я доплыл до берега, оделся и пошел на завтрак.

— Вас не было на завтраке...

— О, какая наблюдательность! Действительно, я не был на завтраке, я был на теннисном корте.

— Но вас едва не убило... вас волной бросало на железные столбы пирса. И те двое парней со спасательной станции...

— Повторяю, у меня первый разряд по плаванию, и никаких парней!

— Но ведь шторм... и никто, ни один человек не решился купаться...

— Я плаваю в любую погоду.

— Какое счастье, что вы остались в живых! Ведь могло случиться...

— Со мной? Ничего не может. Благодарю за заботу. Леночка, прошу прощения, я освободился, пойдемте.

— Вы слышали, что он говорил? Я в дикой растерянности! Вы одно, он другое. Да не придумали ли вы всё?

— Я еще в своем уме, дорогуша. Все видела своими глазами! Но я понимаю, понимаю этого мужчину — он лгун, но у него есть характер. Представляю, как он может голову закружить... вот этой, в юбочке...

У ТАБАЧНОГО КИОСКА

— Здорово, дед, старый хрыч, жив? А я уж думал, что тебя давно на том свете бесы с фонарями ищут! Хо-хо!

— Заглохни, сосунок! Дам вот в пятак, четвереньки вспомнишь! Ну, привет... За «Примой» очередь занял?

— Точно. Где работаешь? А, дед? В такси, знать? Это твой мотор стоит? Как тачка бегает?

— Бегает себе. «Волга» все же.

— Рупь не разменяла?

— Рупь! Ишь ты, по-таксистски заболтал. Подделываешься, что ль?

— Ладно, ладно, дед, сто тысяч не разменяла?

— Твое дело какое? Ты ж убег из такси на персоналку. Загривок вон растолстел, как у борова здорового. Да оно ясно — ты, жлоб, работы боишься, а она — тебя. Я так о тебе соображаю.

— Во-во, дед! Точно, хо-хо! Мне деятели тоже говорят: «Ты трудностей боишься». А на кой мне эти трудности, скажи?

— Профе-ессор! Только трех стульев в комнате расставить не можешь!

— А что? У меня дома дети не плачут, жена к соседу не бегает. Ладно, окрысился, дед! «Примой» хочешь подымить? Не хочешь — как хочешь. Скажи лучше, сколько заколачиваешь? Тебе ведь заработать в месяц две сотни — дорожке плюнуть!

— Все мои.

— Здоровый скупердяй ты был, дед. Помню, три месяца трешник мне возвращал, а у меня — ни копья.

— Дураков жадных учить надо. Ты, хватало̀, когда иностранцев возил, с них валютой брал чаевые. Не помнишь, голубь?

— Хо-хо! С тобой, дед, говорить опасно — завалишь ты меня с политическими разговорами в кювет!

— А наша жизнь такая — все время на заднем сиденье тюрьму возишь. За жизнь пассажиров мы отвечаем, не так, что ли? А за внимание спасибо тебе в шляпу, сосунок!

СТРОГОСТЬ

— На каком основании развернулись?

— Товарищ начальник, как мне на Коломенское проехать? Совсем в грязи запутался...

— На каком, спрашиваю, основании развернулись?

— Товарищ капитан, заправиться я, за бензином, к колонке...

— Заблуждаетесь, я не капитан, а лейтенант. На каком основании, спрашиваю?

— Я за бензином, товарищ лейтенант...

— Предъявите права! А вы кто там, в кузове — грузчики? А вы чего смотрели? Знак видели? Видели. Товарищ заблуждается, а вы рты раскрыли!.. А вас я накажу, товарищ водитель, строго накажу! Нарушаете!

— Товарищ начальник, бывает, и людей сшибают...

— А эт-то уже преступление. Несерьезно. Такую несерьезность нагромоздил. Вот оштрафую — что будет? А? В кармане у тебя недочет. Минус. А государству плюс. Вот так, возьми квитанцию. Ну, живи, живи!

— Так куда до Семеновского переулка повернуть-то? На Коломенское мне...

— Не знаешь?
— Да разве в Москве все упомнишь? Голова у меня не министерская.
— Вы что — смешочки устраиваете, гражданин? Вы в трезвом виде? А ну, давайте, давайте, марш в кабину, а то без прав отправлю! Шуточки в другом месте производите! Несерьезно живете, товарищ водитель.

ЗНАКОМСТВО В ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ

— Вы откуда такой разбежались, чуть с ног не сбили!
— Я — парень, и все. А вы кто?
— Па-арень! Смех один, дай ему отчет, кто я!
— Девушка, у вас голова как зонт мокрая! Куда вы идете? К автобусу?
— Аж домой. А вам что?
— Простите... Мне? Разрешите с вами познакомиться?
— Смотрите, какой нашелся! Я не знакомлюсь с незнакомыми.
— А мы познакомимся и будем знакомы. Разрешите, а?
— Что разрешить?
— Проводить вас.
— Куда еще?
— Куда вы идете. Дождь ведь...
— Ох, есть же еще чудаки на свете!

ПОДРУГИ

Современный диалог

— Ты к нему неравнодушна, сразу видать.
— Ну, прямо!
— Вот и покраснела, как невеста.
— Кто? Я?
— Я, что ли?
— И не собиралась краснеть. Выдумала! Мне хоть бы хны. Он тоже не жених. А вообще — уезжает...
— Иди ты!
— Честно, уезжает.
— Брось, не дури! Он? Уезжает?
— Клянусь, ну!
— Вот т-те раз! Здрас-сте! Как уезжает?

— А вот так. В Москву. Чего, говорит, мне тут делать, хвосты коровам крутить? Общий, говорит, всем привет от меня. И тебе лично, говорит, салют!

РАССКАЗ БАЛЕРИНЫ

В двадцатых годах была знаменита, половину жизни прожила в Париже. Вот что она рассказала однажды, когда мы шли с ней мимо православного собора Александра Невского.

— Мне снилось, что меня отпевали в этой церкви, а гроб был возложен так высоко, будто висел неподвижно под самым куполом, и нарисованный лик спасителя, огромный, скорбный, был наклонен над самым моим лицом. Его темные страдающие глаза смотрели вниз, а оттуда, снизу, шло жаркое потрескиванье свечей, раздавался голос священника, и впереди знакомых и родных стоял в слезах мой опечаленный муж. И этот трепет горячих бликов, множество свечных огоньков поблизости от гроба, на алтаре, возле икон, в дальних углах храма окружали меня, веяло по лицу теплым райским дуновением, и церковный хор звуками ангельских голосов уносил мое тело в какую-то непостижимую благость, обещал вечное блаженство, которое было похоже на сладкую муку, на мгновения любви, и я, находясь вблизи с озаренным теплыми отсветами ликом спасителя, лежа в окружении мягко мерцающих свечей, в запахе тающего воска, таинственных благовоний, думала: «Как это прекрасно! Они плачут по мне, но не знают, как это прекрасно быть здесь, под куполом, за которым летняя ночь, звезды, лежать здесь наверху, слышать эти звуки прощания со мной».

Нет, я никогда не ощущала такого упоения красотой, покоем наслаждения, разлитого в звуках, запахе, свете моего прощального часа со всем миром, с моими друзьями, с моим мужем, ставшими маленькими, жалкими оттого, что они, живые, не знали подобного состояния.

Но сквозь это блаженство болью пробилась в сознание леденящая мысль: «Как я могу думать, сравнивать, чувствовать, если меня уже нет?» И в ужасе мне захотелось горько плакать от жалости ко всем, кого я оставила, особенно мужа, детей...

Я проснулась и долго лежала, глядя на ранние солнечные блики на потолке. Боже мой, ведь самое высокое блаженство — это открыть глаза вот так, как я сейчас,

солнечным, летним утром в своей комнате и с радостным удовлетворением подумать, ощутив утренний ветерок из окна, затопленного зеленью: «Какое счастье, что я жива!»

ТРОЕ

— Кто-то идет сюда?..

Он тоже услышал шаги, шорох одежды в соседней комнате, с испугом и растерянностью вскочил и обернулся.

В дверях стояла его больная жена, худая, высокая, до прозрачности истонченная, в накинутом на плечи халате, в шлепанцах на босу ногу. Огромные на бледном лице блестящие глаза смотрели изумленно-пристально, однако ни ожидаемого им презрения, ни гневного ужаса не было в ее взгляде, как если бы она уже знала все и устала сопротивляться неизбежному, что должно было случиться с ней скоро. Наконец спросила шепотом:

— Это... она звонила тебе каждый вечер?

И, не двигаясь в проеме двери, изучающе, почти спокойно, чуть усмехаясь, продолжала рассматривать издали чужую женщину, еще при жизни отбиравшую у нее мужа, а женщина тихонько поднялась со стула, дрожаще стиснув сумочку обеими руками, пытаясь неизвестно зачем улыбнуться ей с преодолением стыда и отчаяния.

«ПОЧЕМУ Я ПОЖАЛ ЕМУ РУКУ?»

Утром, бреясь перед зеркалом, с неожиданной неприязнью увидел бледность на лице, морщины под глазами, которые словно улыбались кому-то чересчур доброжелательно, и, кривясь, вспомнил, как вчера встретился в дверях лаборатории с молодым удачливым профессором, делающим необъяснимо быструю карьеру в науке. Карьера его не была определена особым умом или выдающимся талантом, однако он стремительно шел в гору, защитил кандидатскую, уже писал докторскую, поражая коллег-сверстников бойким продвижением и умением нравиться начальству.

Мы не любили друг друга, едва здоровались издали, наша нелюбовь была и в тот момент, когда столкнулись в дверях, но, увидев меня, он молниеносно заулыбался счастливой улыбкой, излучая энергию радости, горячего восхищения этой внезапностью встречи, и стиснул мне руку со словами:

— Очень, очень рад вас видеть, коллега! Только на днях прочитал вашу первоклассную статью об Антарктике и очень посожалел, что не работаем вместе над одной проблемой!

Я знал, что он лгал, ибо никакого дела ему не было до моей работы, и хотелось сухо ответить принятыми словами вежливости «благодарю», «спасибо», но я тоже заулыбался обрадованной улыбкой, затряс его руку так продолжительно, так долго, что показалось — его испуганные пальцы в какой-то миг попытались вывинтиться из моих пальцев, а я, тряся ему руку, говорил совсем осчастливленно:

— Я слышал, начали докторскую? Что ж, это великолепно, не упускаете время, мне весьма нравится ваша серьезность, профессор!

Я не знал, что со мной происходит, я говорил приятно-льстивые фразы, вроде бы под диктовку и чувствовал, что улыбаюсь сахарнейшей улыбкой, ощущаемой даже лицевыми мускулами.

И это ощущение собственной собачьей улыбки, долгое трясение его руки и звук своего голоса преследовали меня целый день — о, как потом я морщился, скрипел зубами, нигде не находил места, проклиная некоего второго человека внутри себя, кто в некоторых обстоятельствах бывал сильнее разума и воли.

Что это было? Самозащита? Благоразумие? Инстинкт раба? Молодой профессор не был ни талантливее, ни умнее меня, кроме того, занимал в институте положение, зависимое от исследований моей лаборатории, а она нисколько не зависела от его работы. Но почему с таким сладострастным упоением я тряс руку этому карьеристу и говорил приятные фальшивые слова?

Утром, во время бритья разглядывая свое лицо, вдруг испытал приступ бешенства против этого близкого и ненавистного человека в зеркале, способного притворяться, льстить, малодушничать, как будто надеялся прожить две жизни и у всех проходных дверей обезопасить весь путь земной.

СОСЕДИ

Два старичка пенсионера получили двухкомнатную квартиру в новом доме. Въехали в совпавший час, познакомились прямо на лестничной площадке, вполне доволь-

ные: родных и близких нет, вдвоем не так скучно будет доживать закатные дни.

И решили после расстановки мебели отпраздновать по-стариковски новоселье: в ближнем гастрономе купили бутылку красненького, минеральной воды, нехитрой закуски. Сели на кухне, еще пахнущей масляной краской, выпили по первой рюмке, по второй, пристальней вгляделись друг в друга, некоторое время помолчали онемело и вдруг оба заплакали.

Один был когда-то следователем, другой подследственным, затем осужденным на длительный срок.

ОСОБЫЕ ОЩУЩЕНИЯ

После пятидесяти лет, в пору грустных возвращений назад, мне все чаще представляется снег, сугробы возле заборов, гаснущий огненный закат над крышами Замоскворечья и тот вечерний безмолвный час, когда кое-где красновато зажигается свет за мерзлыми стеклами, когда к холоду ночи начинают топить печи, пахнет березовым дымком в синеющем январскими сумерками дворе, над которым уже ныряет в облаках белым перышком народившийся в новом году студеный месяц.

Наверное, эти особые ощущения были равны счастливой детской надежде.

ОСТАТЬСЯ БЫ НАВСЕГДА

Какое счастье веселых предновогодних утр с запахом натопленной голландки, горячих пирогов и радостного света окон, серебристо расписанных морозными джунглями, зигзагами наскальной живописи, таинственными иероглифами, сверкающими под декабрьским солнцем!

Там, в детском зимнем мире, он хотел бы остаться навсегда, остаться с тою же надеждой, верой в каждодневный праздник, которым тогда представлялась вся жизнь.

БЕЛАЯ НОЧЬ

— Нет ни звезд, ни луны, а светло и очень тихо. Пожалуйста, раскрывайте книгу и читайте — так все ясно. Не знаю почему, в такие ночи я не могу уснуть. Я часами шатаюсь по городу и смотрю, смотрю, совершенно ни

о чем не думая. И, как всегда, подолгу сижу на набережной. Далеко на реке белыми искорками вспыхивают весла, не слышно ни звука, а возле тротуара стоит одинокая машина, и там спит кто-то, накрыв лицо фуражкой. Уже несколько раз я видел белую ночь именно такой.

МУЗЕИ

По разным причинам в молодости я всегда скучал в исторических музеях, при всей их несхожести в разных странах мира похожих один на другой своим застывшим мраморным величием.

Но сейчас в холодных музейных залах я переживаю иное состояние. Мне кажется, что стою на пороге чуть-чуть приоткрытых дверей в глубину дальних и близких веков, где сознательно или невольно была потеряна общечеловеческая истина, объединяющая людей, то есть совершено неискупимое преступление перед ними.

ПЕРВОЕ ЧУВСТВО

Они были женаты больше трех лет, а она еще не утратила стыдливости первого прикосновения, и даже случайное его объятие, даже обычный родственный поцелуй на людях заставляли ее краснеть и опускать замирающие глаза.

ПРИЗНАК СТАРОСТИ

Известный художник сказал мне, будучи не в духе:

— Знаешь, по ночам я стал почему-то чувствовать тошнотную пустоту вокруг, какое-то гнетущее ощущение внутренней тесноты и... невозможности спасения.

Как он точно определил первый страх дохнувшей старости! И тогда я подумал еще о другом: старость — это запах тления, сухой едкости, какой бывает в хранилищах библиотек, где лежат древние, ценные, но забытые всеми книги.

ОДИНОЧЕСТВО

После смерти мужа ей снились одни и те же сны, внепредельные, как непроглядная тьма осенней ночи. Она просыпалась в мучительной тревоге, садилась на по-

стели, одна в пустынной тишине московской квартиры, где присутствовал только безнадежный стук часов, ощупью зажигала огонек лампы в изголовье, лицо ее вдруг искажалось рыданиями, и она шептала, сжимая руками щеки:

— Боже мой, неужели вся жизнь приснилась мне?..

ДАВНЕЕ ГАДАНИЕ

В молодости ей нагадали: она будет жить с мужем душа в душу, но долго не будет иметь детей, вскоре же после ее беременности муж умрет.

Она почувствовала признаки странного недомогания в сорок девять лет, мужу тогда было пятьдесят четыре. Ее подташнивало, появилась по утрам жажда, тянуло к солененькому. Она пошла к врачу; и тот подтвердил: да, несомненно, это беременность. И началось ужасное в ее жизни с мужем. Он часто говорил о будущем ребенке, она в страхе смотрела на радостное его лицо, вспоминая давнее гадание, и по ночам, когда муж засыпал, неутешно прощалась с ним.

ДРЕВНИЙ ЗВУК

Отовсюду исходил первобытный запах холода, и я видел глухую русскую зиму, занесенную метелью деревню в лесу, косо торчащие из сугробов изгороди, густо-фиолетовую ночь без единого огонька. Эта заваленная снегами дикая ночь угрожающе мрачно трещала на морозе деревьями, где искрами мелькали за изгородями, хищно вспыхивали зрачки волчьей стаи, горько пахло в лютой стуже остывшим дымом. А меж черных пик елей с ритуальной неистовостью горело, сияло, сверкало близкими звездами небо, объединяясь с землей в священном союзе, и огромное созвездие Лебедь так широко распростерло в полете свои алмазные крылья над лесами, косогорами, над завьюженными пространствами Руси, что хотелось упасть на колени перед этим величием мира, понимая ничтожество человеческой гордыни, хитроумно присвоившей себе чужое звание властелина природы...

Все это напомнил мне однообразный звук в моем саду, повторяющийся в ветреные сентябрьские ночи. Осеннее скрипучее пение издавала молодая береза, трущаяся о старую ель, и я часами слушал этот древний звук, пришедший из давних веков.

ЗОЛОТОЙ ЦВЕТ

Мы вошли в дом, художник огляделся и сказал:

— Знаешь, я хотел бы написать вот этот интерьер.

Я удивился и подумал: «А что, собственно, в этом интерьере необычного? Смешанная мебель: ни деревенская изба, ни городская квартира, что называется, с бору по сосенке. И непонятно, кто здесь обитает — сельский житель или горожанин. Словом, даже колорита нет этнографического, а духа не угадаешь вовсе».

Но художник продолжал:

— Посмотри, как разлит всюду золотой цвет!

Я еще раз посмотрел и ахнул: действительно, золотой цвет исходил от всего — от мебели, от пола, от стен. И это было истинное чудо! Он, художник, мгновенно увидел то, чего не увидел я.

ТО БЫЛА НЕПОВТОРИМАЯ ЭРА

Ностальгия — болезнь, которой болеют не все.

Русский человек в преклонную свою пору живет подчас не настоящим, как большинство людей на Западе, а, главным образом, прошлым, ибо это прошлое было таким изобильно богатым, неоскудевающим, щедрым, что в генах неизбывно осталась томительная его власть: первобытно могучих, населенных стадами рыб полноводных рек, текущих в девственных лесах, множества кишевших разнообразной дичью озер, чистейших родниковых бочажков, извивающихся в сочной траве, настолько густой, высокой, что утреннее солнце, гигантское, красное, выплывало из травяных дебрей, встряхиваясь, умываясь в обильной росе; и осталось колдовство таинственных нагромождений кучевых облаков в полуденном жарком небе, запаха вечернего дыма над поселениями, смешанного с теплом парного молока, последних всплесков весел на воде, вишневой, затихавшей к ночи...

То была неповторимая эра детства земли.

ЩЕНОК

Было теплое солнце, яркий субботний мартовский день сиял в Москве, везде таял почерневший снег, кое-где дымились парком сухие пролысины тротуаров, всюду

зеркально блестели лужи на мостовых, шло много прохожих, одетых уже по-весеннему. В машине стало жарко, тесно от солнца, блещущего на переднем стекле, на капоте, и у него тоже было легкое, свободное настроение: вот он сейчас выедет из Москвы на подсохшее в полях шоссе и через сорок минут будет в загородном доме отдыха среди двоих своих детей и жены, которых отвез на каникулы неделю назад.

После шумного, шелестящего шинами перекрестка свернул на тихую, параллельную проспекту дорожку, не торопясь поехал по солнечным лужам, объезжая расколотые дворниками глыбы желтого льда, мимо заляпанных грязью киосков с ослепительным сверканием витринных стекол, мимо идущих по тротуару людей в расстегнутых плащах.

Впереди на солнцепеке у обочины увидел поддомкраченную машину; человек, без пальто, без шапки, в сером пиджаке, возился подле колеса, отвинчивая ключом гайки, и он подумал с удовольствием: «Действительно, настоящая весна».

И лишь успел подумать это, заметил вывернувшегося левее поддомкраченной машины щенка: он выскочил из-под ног склоненного к колесу человека, темно-коричневый, с острой веселой мордой, и бросился играющими прыжками навстречу его машине.

Скорость была небольшой, он мгновенно нажал на тормоз, но все-таки не сумел сразу затормозить. Машину катило по льду, и в ту секунду щенок игриво залаял, затряс смешными ушами, мелькнул под радиатором, и затем послышались внизу какие-то удары, потом как будто машина проехала по чему-то твердому, ее, показалось, чуть подняло даже — и он, ужасаясь тому, что ощутил сейчас, наконец остановил машину.

Еще не отпуская тормоз, он оглянулся и с тем же ужасом увидел щенка уже возле человека в сером пиджаке — щенок, мотаясь всем телом, будто жалуясь, прося прощения, взвизгивал, искательно тыкался острой мордой в руки хозяина.

А он, весь в горячем поту, смотрел на человека в пиджаке, растерянно опустившегося перед щенком на корточки, и сознавал, что совершил нечто преступное, как убийство.

Он ясно чувствовал эти удары под машиной и понимал, что щенок в горячке еще двигается, как бы извиняясь за ошибку, тычется мордой в руки хозяина, лижет его пальцы, а человек в пиджаке еще не знает, как ощутимо и страшно минуту назад качнуло машину на чем-то твердом.

Потом человек в пиджаке взял щенка на руки и, все продолжая гладить его длинные уши, трепать его голову, испачканную мокрой грязью, повернул бледное лицо.

— Какой вы шофер, если не можете остановить машину? — с упреком сказал человек.— Это же глупый щенок...

А на тротуаре и вокруг человека с тихо поскуливающим щенком на его руках столпились люди, зло крича; кто-то постучал кулаком по капоту с тем знакомым выражением неприязни пешехода к водителю, какое всегда бывает во время уличных катастроф,— и он, жгуче презирая себя за инстинктивный толчок самозащиты, сдавленным голосом выговорил:

— А вы... зачем отпускаете его на дорогу?

Он плохо помнил, как выехал из Москвы на загородное шоссе, все мигом подсеклось, срезалось в нем, и было до тошноты мерзко, гадко на душе от этой защитительной своей фразы: «А вы зачем отпускаете его на дорогу?»

И, глядя на дорогу, он опять с поразительной ясностью представлял щенка с острой веселой мордой, когда тот, играя, смешно тряся ушами, бросился к машине, ощущал глухие удары под днищем, представив, как железо било его по голове, как в смертельном испуге заметался под колесами щенок, не понимая, что произошло, почему на его игру с этой чужой машиной ему ответили такой жестокой болью.

«Я убил его... Это же он в горячке выскочил потом к хозяину. Как он мотал головой, как тыкался мордой в его руки, как спасения искал!..» — думал он и мычал, стонал, морщась, уже не видя ни шоссе, ни талого снега, ни мокрых мартовских полей под высоким весенним солнцем.

Через час, приехав в дом отдыха, он не поцеловал жену, не поцеловал детей, точно потерял на это право, только долго и пристально смотрел на свою пятилетнюю дочь, взяв ее на руки, прижимая ее к себе.

ЧУЖАЯ СОБАКА

Рассказ дачника

— Чужая собака невыносимо выла по ночам вокруг нашей дачи, потом уводила мою легкомысленную Мэри на долгие свидания, после которых влюбленная дуреха возвращалась с виноватым видом, и заискивающе виляла хвостом.

И вот однажды, когда эта чужая собака появилась в сумерках, вышла из-за кустов на тропинку в конце сада, моя красавица вскочила на крыльце, торчмя вздернув уши, и изящно замелькала белыми лапами, направляясь к забору, где ждал ее повелитель. Я окриком попытался вернуть Мэри назад и, подняв валявшуюся в траве метлу, проговорил с угрозой: «Пошел вон, псина!»

Однако чужая собака легла близ забора и спокойно наблюдала оттуда, повернув волчью голову к Мэри, которая, услышав строгость в моем голосе, забралась под садовую скамейку и свернулась клубком, замерла там.

Да что такое? Почему возникло у этого собачьего ловеласа такое презрение к опасности, такая самоуверенность храбреца, пришедшего на свидание раньше срока? Во мне неожиданно заискрилось злобное чувство: проучить невоспитанного наглеца, чтоб ему неповадно было.

Сжимая метлу в руках, я подкрадывался за кустами все ближе и ближе к чужой собаке, а она будто ничего не замечала, только лениво покосилась на хруст веточки под моими ногами.

Я остановился, как на охоте, даже перестал дышать, словно перед нажатием на спуск, ожидая момент последнего броска и удара по ненавистной в своем невозмутимом спокойствии собачьей голове. Я заранее видел этот рассчитанный бросок из-за кустов, этот воспитывающий удар колючей метлой по голове собаки и заранее воображал ее взвизг, испуг, ее жалкое бегство с поджатым хвостом.

И, молниеносно бросаясь вперед, я воинственно взмахнул метлой, однако в поспешности запутался ногами в тугой сети кустов и упал, больно ударившись о землю. Чужая собака вопросительно оборотила ко мне голову, поднялась и неторопливо пошла в темень зарослей к забору.

Я вскочил в необузданном горячем азарте, с силой швырнул метлу ей вслед, но и тут, конечно, промахнулся,

очень досадуя, что удар не попал в голову наглой собаки, ненаказанной, непобежденной.

А Мэри не смотрела на меня. Она боялась поднять глаза, и что-то дрожало на том месте ее красивой морды, где должны быть брови. Да, да, она смеялась надо мной, все понимала, мягко упрекала меня и вместе прощала снисходительно мой немудрый отвратительный гнев против ее повелителя.

МОЙ ВЕСЕЛЫЙ СОСЕД

Ловкий, небольшого роста, похожий на мальчика, он стоял перед трюмо в вестибюле сибирской гостиницы, старательно причесываясь, громко разговаривал со мной и одновременно с веселым удовольствием, играя искристыми сливовыми глазами, разглядывал себя в зеркале.

— А! Ехал как! Сибирь люблю, геологов люблю! До Иркутска с полундрой в один вагон попал! Спирт пили! На полку выльешь, спичкой зажжешь — горит! Много пили! Все консервы, хлеб-акулу за двадцать четыре из чемодана вынул, кормил их! Всё вынул! Восемьдесят рублей было, пятнадцать осталось! Хорошо ехали! Потом полундре выходить нужно — как выходить? Как расставаться? Вино пили, хлеб один ели, как брат родной, прощались! Пожалуйста! Если мы не будем помогать друг другу, тогда что?

Потом вечером в номере, глядя, как я завязываю галстук, собираясь к ужину в ресторане, воскликнул:

— Эх, люди! Что говорили, послушаешь — дураком будешь! Говорили: мороз там, холод, это тебе не Ереван, зачем будешь на севере в сорочках ходить? Свитер надо, водолазки! Ни одной хорошей сорочки не взял. Десять штук в шкафу дома висит, одна другой лучше, цвет различный, а не взял, ничего не взял! Бурки взял! Зачем бурки, а? Скажи... Дураком будешь — людей послушаешь! Досада! Рыдать хочется!

И тут же, засмеявшись, нахмурился, с чрезмерной серьезностью спросил:

— Серпухов далеко от Москвы?

— Рядом.

— Там девушка у меня. Тамара. Переписываемся. В Ереване познакомились. Я еще молодой, мне двадцать будет. Скажи, рано мне жениться, а? Боюсь рано же-

ниться, потому что детей люблю. Много детей у меня будет! Десять! Так решил! И так бабушка говорила!

Наверное, люди, подобные моему соседу по номеру, своей открытой натурой, южной простотой помогают жить людям северным, излишне порой серьезным, и мне, тертому сибирскому волку, было легко с ним.

БОЛЬ

Ранним декабрьским вечером дремал с книгой на диване, светила в изголовье лампа, волнами обволакивало тепло, миротворно отсвечивали корешки книг на полках, а дверь была полуоткрыта, вливался в щель пригашенный свет из соседней комнаты, там что-то шила моя жена, я видел ее склоненную голову, гладко причесанные волосы, как часто видел зимой по вечерам.

Внезапная боль в боку вонзилась в меня глубоким разрывающим огнем, в тот миг, еще не осознав причину этой боли, я сразу ощутил присутствие неотвратимой беды, как если бы мгновенно все оборвалось в моей жизни и подступило совсем иное, переворачивающее вдруг смысл прежнего существования.

Боль не давала мне перевести дыхание, я боялся громко застонать, позвать жену, сказать ей о гибельной тоске, от которой не было спасения. С трудом сдерживая стон, я отбросил книгу, изменил положение на диване, обессиленно упираясь спиной в валик, но боль не утихала, остро расширялась, вгрызалась раскаленными клещами в тело, отчего хотелось кричать, и горячий обильный пот обливал меня.

Стараясь не глядеть на дверь в другую комнату, где сидела жена, я кусал до крови губы, смотрел в окно кабинета на голубые снежные крыши, безразличные, тихие в поздние сумерки, на засветившиеся окна в соседнем доме, где двигались силуэты людей, вспыхивали мертвенно-голубоватые экраны телевизоров, начиналась обычная вечерняя жизнь, которая была видна из моего окна и всегда интересна мне.

«Как все бессмысленно,— думал я.— И эти тени за окнами, и сумерки, и включенные телевизоры. Ничего нет, кроме моей нескончаемой муки! Неужели я жил для того, чтобы испытать вот эту боль? В чем я провинился? Перед кем?.. За что?»

И по сравнению с моей болью весь мир потускнел, утратил значимость, стал обесцененным, ненужным.

ПЕРЕД ЗЕРКАЛОМ

В Новый год она остановилась в фойе перед зеркалом и там, в отраженном блеске огней, люстр, нарядных женщин, показалась самой себе такой заурядной, некрасивой, простенькой, что испуганно оглянулась на него и, бледнея, проговорила быстро:

— Уйдем отсюда, скорее уйдем!..

Он понял, о чем она думала, поцеловал ее в висок, сказал ласковым голосом:

— Ты смотрела на себя глазами чужой зависти.

И она вдруг облегченно опустила руки, улыбнулась ему с покорной благодарностью:

— Спасибо, ты меня все-таки любишь.

ЖЕНЩИНА С ЗОНТИКОМ

Осенний дождь моросил водяной пылью, а она стояла под зонтиком возле темного газетного киоска, чуть отставив ногу, обтянутую черным сапожком, и ее лицо, неясное в тени, показалось мне усталым.

Подробно я не рассмотрел ее, потому что почувствовал зябкий холодок в груди («Господи, почему я ощутил этот холодок?») и повернул от колонн метро к табачному киоску, ярко, весело освещенному, купил пачку сигарет и, закуривая, снова прошел мимо женщины, стараясь украдкой разглядеть ее лицо.

Она мельком, безразлично скользнула по мне глазами, я заметил мягкую округлость бровей, тотчас подумал, что ей, вероятно, лет тридцать, что она, должно быть, свободна (разведена, ушла от мужа?) и терпеливо ждала сейчас кого-то под этим нудным московским дождичком.

А кого ждал я? Никого. Просто убегал на вечерние улицы из постылой оголенности своей холостяцкой квартиры, в которой множество умных книг и рукописей, но где давно выветрился запах уюта, духов и давно не слышно шелеста женской одежды. Я убегал к осенним фонарям, к шуму тополей, шороху листьев на мостовой, к движению толпы около метро, к чужим голосам. Я вольная птица, живу совершенно один. И счастлив до горьких слез. Я наслаждаюсь свободой, я упиваюсь ею. Мы расстались с женой четыре года назад после развода (этот развод непереносимо вспоминать), но до сих пор помню ее всю и иногда еще в ночном забытьи протягиваю руку туда, где привык чувствовать ее, теплую, сонную.

И в долгие предзимние вечера уже не один год меня до галлюцинаций пугает кладбищенская тишина, мудрое благополучие моей опустевшей квартиры. Нет, в ней нарочито празднично, счастливо горит свет, зажженный мною во всех комнатах, в ней мирно, тепло, однако отовсюду обдает холодом, сиротством, и скрип рассыхающихся стеллажей или одинокий звук капли, упавшей из крана в кухне, заставляет меня вздрагивать.

А телефон молчит, от него исходит почти физическая немота. Телефон молчит вечерами равнодушно и тупо. Редкие же деловые звонки по утрам раздражают меня. А я страстно хочу услышать однажды телефонный звонок, услышать в трубке ее долгожданный голос, которому готов простить все, лишь бы она назвала меня по имени, засмеялась, произнесла бы с той прежней ласковой интонацией, как в дни нашей близости: «Наивный дурачок ты мой милый»,— эти давние не забытые слова головокружительны до сих пор.

До сих пор не могу понять, отчего мы разошлись. Впрочем, она просто ушла от меня. Но только целыми часами, когда я добровольно мокну под дождем, хожу по площади вокруг станции метро, словно бы тоже упрямо ожидая кого-то (так давным-давно, в другой жизни я ждал ее из театра), то иногда мне чудится, что вот сейчас увижу ее в толпе выходящей из электрического сияния, из стеклянных, непрерывно распахивающихся дверей, сначала увижу знакомую шапочку, небрежно поднятый воротник плаща, ее сумочку на ремне через плечо, потом ее медлительную, казалось, порочную и одновременно детскую улыбку, предназначенную мне: «О, здравствуй, терпеливый рыцарь!»

Когда-то давно мой друг юности сказал, что сто женщин, встреченных на улице, не привлекают ни малейшего внимания, но вот сто первая неизъяснимой властью вынуждает оглянуться, проводить ее взглядом.

Никогда не сумел бы вразумительно объяснить, почему порой походка светловолосых женщин, узкая, трущаяся или спутанная, как у древневосточных девственниц (я историк и могу это представить), или нарочито волнистая поступь современных девушек, что-то доступно загадочное и вместе женственное в сквозном мимолетном взгляде, в прическе, в тугом пояске, в локоне волос, занесенном ветром на уголок губ, в особенной бледности лица, в робкой улыбке вины, в болезненной мягкости голоса — все это неизвестно почему вызывает у меня,

застенчивого человека, тайную ревность, горечь невозможного, нежную жалость. Сантименты, черт возьми!..

И не желая того и страдая всякий раз, я все же искал во встреченных на улице женщинах отсвет, черточку нашей общей жизни, хотя бы тусклый осколочек прошлого, частицу волнения ушедших счастливых лет, и это опять возвращало меня к неистовой мальчишеской влюбленности в свою жену, к тихой горечи воспоминаний. И тогда я, мефистофельски усмехаясь, спрашивал себя: может быть, она, озорная, дерзкая, оставила меня потому, что я, старомодный чудак, надоел ей наивной романтичной неразвращенностью?

Женщина с зонтиком, ожидавшая кого-то возле газетного киоска, совсем не была похожа на мою жену, тем более что в первую минуту у меня не хватило смелости как следует рассмотреть черты ее лица.

Не переставая моросил октябрьский дождичек, асфальт под фонарями мокро блестел жирными пятнами, вся площадь вблизи метро лоснилась черным стеклом, дуло промозглым сквознячком, и женщина чуть-чуть клонила вбок зонтик, загораживая лицо от ветра. Потом, поеживаясь, она осторожно подняла воротник пальто, а я хорошо заметил на ее кисти черную перчатку, которую мне почему-то захотелось поцеловать.

Этот жест ее был каким-то беззащитным, и мигом я вообразил, как она озябла на сыром воздухе, стоя здесь, по-видимому, более часа. И вместе с ней, замерзая, вздрагивая от волглой влажности, я испытывал уже беспокойство и нетерпение. Ведь должен был все-таки наступить тот момент, когда подземный поезд наконец примчит *его* на эту станцию, эскалатор вознесет на площадь и, легкомысленно запоздав, он подойдет к ней, озябшей, покорной, отогнет в сторону зонтик, заглянет с усмешкой в ее поднятые глаза. Я видел явственно, как затем она, еле прикоснувшись губами к его губам (в этом прикосновении было беглое напоминание близости), просунет руку в перчатке ему под локоть и они пойдут в промозглый сумрак вечера, исчезнут за углом, где изливает голый свет на отполированный дождем тротуар неоновая витрина ювелирного магазина.

Но женщина по-прежнему стояла у газетного киоска, ожидая, и ее лицо бледно проступало под зонтиком. Она рассеянно смотрела на освещенные двери метро, которые механически выпускали и выпускали прибывавшие на поездах толпы людей, среди которых *его* не было.

Кто она? Кого она любила?

Она так никого и не дождалась, и мне грустно было видеть ее ровно переступающие через лужи сапожки, ее покачивающийся над плечом зонтик, когда она в одиночестве медленно пошла прочь от метро. И со страхом подумал я, что завтра не увижу, не встречу ее, эту незнакомую женщину с милым усталым лицом.

Целый месяц я видел ее около метро ежевечерне, сдержанную, внешне спокойную, кого-то ждавшую подолгу в полумраке киоска, и однажды с оцепеняющей болью понял, что оба мы ожидаем того, кто никогда к нам не придет.

Неужели она должна была кого-то любить так же безнадежно, как суждено было любить мне? Есть ли спасательный круг для одиноких в толпе?

«НЕ НАДО ОСТАНАВЛИВАТЬ МАШИНУ!»

Рассказ моего друга

В воскресный июльский вечер возвращались с дачи, ехали по шоссе в цепочке машин, смотрели на дальние небоскребы Москвы. Вся окраина светилась жаркими угольями в стеклах новых домов; они вырастали по горизонту как бы прямоугольно-зловещими марсианскими памятниками в безмолвном геометрическом пространстве. И почему-то чудилось мне, что наша машина скоро въедет в некий город, залитый закатным светом на незнакомой таинственной планете.

Но внезапно что-то постороннее толкнулось в зрачки, и, еще не сообразив, что̀ раздражающе помешало мне сейчас, я повернул голову и тут увидел справа машину, отблескивающие вишневым лаком «Жигули», стоявшие на обочине вблизи молодой березовой посадки, нежно розовеющей тонкими стволами. Такой же теплый алый свет был внутри машины, за плотно закрытыми стеклами, и на спокойном лице водителя, положившего руку с сигаретой на руль, на его полных щеках, казавшихся еще более круглыми, сытыми от толстых усов. И я понял, что внезапно привлекло мое внимание к этой одинокой у обочины машине.

Там, в машине, били женщину. Я не разобрал четко лица людей, но я увидел, что мужчина стоял на коленях на переднем сиденье рядом с водителем и, повернувшись назад, резко наклоняясь, двумя руками, как кот

лапами, бил по лицу женщину, а она, тряся льняными волосами, пыталась сжаться в комок, беззвучно крича, откидываясь спиной и затылком на заднее сиденье. Она пыталась защититься даже поднятыми коленями, судорожно, дрожаще двигая ими перед собой, отчего задралась короткая юбка, а другая женщина, темноволосая, худая, вытянув свой острый профиль, злобно перекосив губы, сбоку толкала вниз, отгибала эти оголенные ее колени, помогая мужчине достать кулаками лицо избиваемой.

Я сцепил зубы и, не отдавая себе отчета в том, что сделаю или могу сделать в следующую секунду при виде этой изощренной расправы за стеклами автомобиля, повернул к обочине, где в облике машинного блага стояла эта современная камера пыток, и сейчас же услышал спокойно предупреждающий голос жены, сидевшей рядом:

— Я тебя прошу — не надо останавливать машину!

— Это невыносимо! Ты посмотри, что они делают с женщиной!

— Вижу. Но, может быть, она сама ужасно виновата.

Лицо жены, привыкшее к гриму, было бледно, как бывало обычно после спектакля, после умывания в артистической, и я впервые отчетливо увидел две незнакомо остренькие морщинки, не тронутые тоном, возле ее накрашенных губ, колечком захвативших сигарету.

Она не сказала больше ни слова. Она курила, выпуская дым к ветровому стеклу, и задумчиво сбивала пепел длинным розовым ноготком.

Я тоже молчал, изредка осторожно косясь на жену, ибо любил и ревновал ее без памяти, независимо от двадцати прожитых вместе лет, и, пораженный, убитый этими двумя остренькими морщинками у ее губ, неожиданной загадочной фразой, думал, что все-таки она предала меня с кем-то или предаст в некий черный день,— и было мне неприютно, как будто неподалеку усмехалась нам обоим одинокая старость.

НОЧНОЙ РАЗГОВОР

В конце спящего вагона было открыто окно, занавеска, подхваченная ветром, щелкала, стучала по стене, а он, сильно выпивший, стоял в коридоре на сквозняке, держал в одной руке куриную ножку, тер ею о пижаму, другой нелепо размахивал и кричал в лицо тусклому мо-

лодому человеку, покачивающемуся с каблуков на носки и уныло икающему:

— В-вы — молодежь, у вас энергии больше, у нас опыта! Ежели бы вместе соединить, не было бы з-заноз всяких! А то занозы в нашей жизни острые бывают! Она, заноза, организму до смерти повредить не может, а боль приносит! Верно или нет, спрашиваю?

— Дядь Петь, не влезай в дрязги, нервы береги, по науке — и... все! Ты ку... курочку покушай.

А тот, краснолицый, уже сердито суживая щелочки глаз, тыкал куриной ножкой молодому человеку в грудь, с горячей досадой доказывал крикливо:

— Ни жрать, ни есть я не хочу! Я тебе об чем толкую? О философии. А ты об чем мне! О пузе. Есть разница или нет разницы?

Они вошли в свое купе, стукнула дверь, приглушила голоса.

ДЕТСКАЯ ССОРА

Однажды я слышал, как две девочки лет шести кричали одна другой в ссоре:

— А у меня папа есть! Живой!

— А у тебя дедушка умерлый!

Какая все-таки была в детской ссоре наивная жестокость, суть которой в этом возрасте понять невозможно.

ВЗГЛЯД

Я видел это на пригородной танцплощадке. Веселый, горбоносый, гибкий, с фиолетовым отливом черных глаз, он пригласил ее танцевать с таким зверским жадным видом, что она испугалась даже, глянув на него жалким, растерянным взглядом некрасивой девушки, которая не ожидала к себе внимания.

— Что вы, что вы?

— Раз-решите? — повторил он настойчиво и показал крупные белые зубы деланной улыбкой.— Мне будет оч-чень приятно.

Она оглянулась по сторонам, как в поиске помощи, быстро вытерла платочком пальцы, сказала с запинкой:

— Наверно, у нас ничего не получится. Я плохо...

— Ничего. Пр-рошу. Как-нибудь.

Он танцевал бесстрастно, щегольски и, полный холодного высокомерия, не глядел на нее, она же топталась неумело, мотая юбкой, нацелив напряженные глаза ему

в галстук, и вдруг толчком вскинула голову — вокруг перестали танцевать, выходили из круга, послышался свист, за ними наблюдали, видимо, его приятели делали замечания с едкой насмешливостью, передразнивали ее движения, трясясь и корчась от смеха.

Ее партнер каменно изображал городского кавалера, а она все поняла, всю непростительную низость красавца партнера, но не оттолкнула его, не выбежала из круга, только сняла руку с его плеча и, ало краснея, постучала пальцем ему в грудь, как обычно стучат в дверь. Он, удивленный, склонился к ней, поднял брови, она снизу вверх медленно посмотрела ему в зрачки с непроницаемо-презрительным выражением опытной красивой женщины, уверенной в своей неотразимости, и ничего не сказала. Мне показалось, он переменился в лице, потом отпустил ее и в замешательстве чересчур вызывающе повел к колонне, где стояли ее подруги.

У нее были толстые губы, серые, большие, как бы погруженные в тень диковатые глаза. Да, она была бы некрасивой, если бы не темные длинные ресницы, почти желтые ржаные волосы и тот взгляд снизу вверх, преобразивший ее в красавицу и навсегда оставшийся в моей памяти.

ОГОНЕК

В лесу стояла огненная тишина осеннего заката.

Мне слышно было, как отрывались листья с осин и долго плавали в потемневшем воздухе.

Потом я шел низиной, уже вечерней, утонувшей впотьмах, а впереди на крутой насыпи неподвижно чернели товарные вагоны, в просветах меж колес колюче заблестели ранние звезды.

Когда я поднялся на высоту насыпи, на волю и ветер, сразу стало зябко от дохнувшего простора близкой ночи, от холодного меркнущего отблеска на красных стенах вагонов, от угасающих стекол в будочке стрелочника. Октябрьский закат тускнел, догорал очень далеко, внизу, на краю земли, где за розовым изгибом реки в котловине уходили к горизонту, терялись в тумане леса, а над ними громоздились каменноугольными глыбами тучи, нагруженные ненастными завтрашними дождями.

И вдруг в этой глубине сгущающейся тьмы вспыхнул огонек, всплыл в глуши лесов, испуская лучи, и повис теплой звездой, живой, завораживающей...

Здесь, на железнодорожной насыпи, все сильнее несло предзимним холодом, мертвящий отсвет заката наконец потух на стенах товарных вагонов (будто застывших навечно), ветер жутко насвистывал в телеграфных проводах, нагоняя тоску неизбежных осенних ночей, а огонек вдали головокружительно манил, притягивал, звал к себе, обещая домашний уют, любовь, славу, верных друзей и верное товарищество, о чем мечтал я когда-то, еще не дожив до «многих печалей», еще не достигнув срока утрат и разочарований.

И, вспоминая, вздрагивая, я поднял воротник плаща, прислонился плечом к недвижному вагону, стал опять вглядываться в продутую ветром темень, но нигде впереди огонька не было...

Или, быть может, померещился мне этот свет? С нетерпением, со страхом я ждал, когда он вновь вспыхнет живой каплей в глухих лесах. И, преодолевая сомнения, я страстно хотел, чтобы, как в молодости, он поманил меня любовью, надеждой, непреходящей верой в жизнь, которую никто и ничто не заменит. Вместе с тем я понимал, что переживаю свой грустный осенний сезон перед спокойной зимой, период отказа от придуманных идей, забот и ничтожного тщеславия.

Но в те минуты мне хотелось самообмана, хотелось, чтобы огонек загорелся в ночи, а он не загорался.

УСТАЛОСТЬ

Конец сентября в Болгарии. Солнце, свинцовое море и светлое небо. По ровной нити горизонта шли транспорты в Одессу и Батуми, как шли они и летом, а вокруг на опустевших пляжах пахло острым холодком осени, йодом водорослей, всюду валялся полузасыпанный песком курортный мусор: размокшие коробки сигарет, конфетные обертки, обрывки газет, консервные банки, деревянные брусья, прибитые волнами, разъеденные морской солью; возле сиротливых кабинок сложены в кучу железные остовы зонтиков и тентов, еще не так давно затенявших догоряча раскаленный песок, пестревший плавками мужчин, шапочками, купальными костюмами, панамами, противосолнечными очками женщин, надувными матрацами детей, визжавших, кричавших в воде, и вдоль берега было радужное сияние брызг.

А сейчас вода была почти обжигающе холодна и прозрачна. В ней покачивались, шевелились медузы,

Одна незаметно возникла вблизи меня, случайно я коснулся ее твердого и скользкого тела, неприятно замерз в воде и поплыл к пляжу, не закончив свое ежедневное купание, так нужное мне для восстановления сил.

Вылезая из воды, весь охваченный студеным воздухом, мельком увидел над дальними песками, высоко над берегом, над крышами отелей протянувшиеся в мою сторону две нити дымов, потом не сразу услышал очень знакомые, но слабые звуки, словно бы дошедшие небесным путем сквозь тьму лет... Я перестал растираться полотенцем, забыв о полезности процедуры, и стал смотреть вверх с жадностью. Это был косяк журавлей, летевший в поднебесье двумя расходящимися струями дыма. Я следил за стаей, обмирая от умиления, от неожиданно подступивших слез, которые были, разумеется, признаком нервной усталости.

Однако над морем косяк внезапно сбился, потерял стройность, изломался, то снижаясь, то взмывая в самую высь, и я почувствовал страх за этот опасный беспорядок, гибельную растерянность сбившихся с пути птиц. «Постройтесь в клин, это же ваше спасение»,— умоляюще повторял я, но птицы, конечно, не могли услышать меня, и разорванными кругами их сносило все ниже и ниже к морю.

Наконец в середине круга зовущими встревоженными криками вожаки прекратили это хаотичное вращение журавлей, выровняли, построили клин, навели порядок в обессиленной, видимо, очень долгим перелетом стае, и она, продолжая путь, растаяла двумя струями дыма над морем.

Я оделся и пошел в отель. Моя же городская усталость не проходила. В моем нервном переутомлении после четырех лет работы, то есть четырех лет жизни с придуманными мною и непридуманными людьми, никто не мог навести порядок, и теперь, думая о журавлях, о своей книге, я только мечтал о рюмке евсиноградской водки в баре, которая хоть бы на час согрела меня.

ТЕНЬ СМЫСЛА

Однажды после захода солнца я остановился на обочине дороги, глядя на вершину молоденькой березы, необыкновенно четко, узорчато обозначенной тонким стволом, тонкими ветвями на светлом майском небе, и пора-

зился этому — да, да, сейчас открылось мне царство вечной весны и суть этой березы и ее нежной листвы, которая едва слышно, по-детски лепетала, разговаривала с сиреневой чистотой своей небесной колыбели, а колыбель была ласковой, бессмертной, объемлющей мир и его законы: рождение, жизнь, любовь, целесообразность весны и вот такой молоденькой березы у обочины и меня, остановившегося на дороге в этом радостном и трагическом времени.

И чудилось неправдоподобное: я разговаривал с березой и небом, но не словами, а чувством нашей общности, пониманием, преданностью друг другу, что выразить звуком голоса невозможно.

На секунду я закрыл глаза, и кончилось мое общение с родной колыбелью, кончилось наслаждение, которому нет у людей названия.

Всего вернее, была это тень смысла всего сущего, намек на то, что он есть, великий смысл мирового единства, скрытый за семью печатями, одна из которых была сорвана в тот миг на дверях тайны.

Я верю, что в последниюю мою минуту милосердная сила сорвет все печати до одной, но... какой смысл откроется мне тогда за освобожденными дверями?

НА КРУГИ СВОЯ

Все было первозданно здесь — и запах овлажненной росой пыли, и навесы лопухов в кюветах проселков, наполовину засыпанных пухом одуванчиков, солнечная тишина полдня с треском кузнечиков в разморенных жарой травах, и гомон толстоносых грачей на закате, и чисто-снежное сияние кудрявых облаков в синем северном небе, и теплые утренние туманы над которыми плавал красный шар солнца,— все это было так просторно, вольно, и так овевали счастьем налитые светом зари лесные озера, так сладостен был крик петухов на влажноватом рассвете, так манила утренняя тень на траве под избами, что оба они испытывали какое-то сказочное начало вдруг повторившейся своей жизни, чудодейственное возвращение юной влюбленности в этот радостный мир.

Когда же они остановились в деревне на целый день и, испытывая детское наслаждение, выкупались в реке с нежным названием Камышинка, где вода, теплая, мягкая, прозрачная, ласкала тело и как сквозь толстое

стекло показывала на песчаном дне зыбкую игру солнечных бликов и серебристое брызганье мальков по донным камням, когда переоделись, полежали на лужайке и, свежие, бодрые, стали подыматься зеленым косогором в деревню по тропке, протоптанной вдоль зарослей малины, откуда тек запах нагретого за день сада, она сказала весело:

— Слава богу, это еще есть на свете. В Москве невозможно стало жить: шум, грохот, толчея, нечем дышать. Издерганные, раздраженные люди... Я хочу тебя поцеловать, милый. Спасибо за то, что ты привез меня сюда и показал свой детский рай.

— В последние годы мне Камышинка часто снилась. Я рад, что ты увидела такую воду хоть сейчас. Через двадцать лет после того, как мы поженились. Ты любила Сочи, Крым...

— Я хотела бы здесь каждое лето жить. Если бы ты раньше не был несчастным скупцом и открыл бы людям свой благословенный край, где нет ни химии, ни заводов. Как дышится, ты чувствуешь? Какая здесь ласковая вода. И сколько рыбы — озера и реки просто кишат ею.

— Кстати, нас ждет уха. Мой дядя — заядлый рыболов.

— Я тебе сказала в первый день: ты не удержишься и тоже будешь мило окать, как и все. И вот, пожалуйста: ры-бо-лов. Как хорошо ты округлил «о». Знаешь, почему у вас окают? Первое, что видит ребенок за порогом дома,— это озеро, «о» — в начале, «о» — в конце. Понимаешь — озеро?

— Ты, милая моя, выдумщица...

— Знаешь, лучше жизни не выдумаешь. Я ведь родилась на Урале, а это так похоже.

— Пойдем. Нас ждет уха.

— Пойдем, пойдем,— сказала она со смехом, подражая ему в оканье, вдруг проявившемся в его речи.

Потом в саду, под яблонями, их угощали ухой, сваренной умело на костре, в рыбацком ведерке; ели ее, обжигающе горячую, деревянными ложками, а уха, как и тысячи лет назад, пахла костром, рекой, осокой, земной благодатью, и на этот древний запах человеческой сытости залетали к столу, осторожно звенели над тарелками полосатые осы, затем явились две заспанные кошки, сладострастно мурлыча, принялись тереться об ноги под скамьями, то и дело мерцая оттуда намекающе прижмуренными глазами.

Напившись жаркого чаю с медом и пышками, такими белыми, вкусными, домашними, что они таяли во рту, мужчины с удовольствием покурили, после чего гости через заднюю садовую калитку спустились, счастливо усталые, к берегу. Здесь, в заливчике, посидели на полувытянутом из воды баркасе, оглядывая уже предзакатное небо с грядами перистых облаков, тихую реку с теми же облаками, тихую деревню, разбросанную на бугре, над луговой низиной. Там косо вытягивались тени от круглых копен сена, напоенных за день солнцем, пахнущих к вечеру особенно приторно, томительно. И тут она сказала серьезно:

— Не понимаю одного — почему даже в этой деревне так много пустых и забитых домов? Судя по всему, здесь никогда плохо не жили...

— Большинство мужиков не вернулось с войны. Бабы остались... Но кое-кто и сейчас за бесценок продает свои дома и уезжает поближе к городским удобствам. Кстати, рядом с домом дяди продается пятистенок— просят всего пятьсот рублей.

— Что такое пятистенок?

— Огромный домина с пристроенной кухней.

— И так дешево?

— Просто даром. Видишь, вон там, слева, дом с резными наличниками, за сосной?

— Слева? Да, да, вижу. Ведь это же целый дворец. И сад большой. И какие удивительные наличники, в самом деле!

— Такие наличники делают у нас сорок дён. Вернее, когда-то делали.

— Ты знаешь, я хочу сейчас же, немедленно посмотреть этот дом!

Минут через десять хозяйка пятистенного дома, старушка лет семидесяти, еще довольно бодрая, разговорчивая, весело как-то даже показала им чистенькие, обклеенные цветочными обоями комнаты с расстеленными половиками от порога до порога, с сохранившимися полатями, крепкими лавками, обширной русской печью, что выходила белыми своими боками на две комнаты и кухню, которая бросилась в глаза начищенным медным дореволюционным самоваром на покрытом клеенкой столе, роем густо жужжащих мух за желтыми занавесочками на низких окнах, заставленных геранью,— везде (несмотря на сухость дома) был плесенный запах старого дерева, какой издают выдвинутые ящики, открытое нутро древних

буфетов в антикварных магазинах. Высушенные пучки каких-то лекарственных травок, развешанных на стенах, не перебивали этот неистребимый запах, ибо дом как бы впитал в себя весь деревенский дух столетних устоев, человеческого тепла, простой еды, нехитрых особенностей трудовой жизни.

Ее поразила беленькая чистота и этот неприятный, въевшийся в воздух комнат запах чужого, не очень, видимо, опрятного в прошлом быта, где все когда-то было иным, до грубой ясности опрощенным, и с необъяснимым чувством жалости она посмотрела на старуху, когда та без сожаления, без вздоха попросила за дом «четыре с половиной сотельных окончательно», объяснив беспечальную причину такой продажи переездом к дочери в Ленинград: «мнучонка нянчить».

Торговаться было бы неприлично, бессовестно, старуха просто дарила свой дом, и оба, несколько смущенные, попросили ради серьезности дать им денек подумать — и вышли на улочку, в обдавший теплотой трав предвечерний воздух, еще золотисто-светлый после заката.

Они вновь безотчетно пошли к реке, а она, оглядываясь на дом, заросший садом, темно проступающий на горе среди красного неба, взволнованно говорила, что сама судьба помогает им жить здесь хотя бы месяц летом, в этом краю милого детства, что ни минуты нельзя сомневаться, надо завтра же утром заплатить половину денег или полностью за дом и сразу решать, как маломальски оборудовать его с относительными удобствами (привозной газ, маленькая газовая плита), кроме того — сломать полати, что нависают над столом и портят комнату, заменить обветшалую мебель, покрыть драночную крышу шифером; в общем, конечно, не так много хлопот и затрат, если сравнить с баснословной стоимостью дач под Москвой. Но уже следующим летом они могут приехать сюда, имея собственную крышу над головой, приехать в этот заповедный деревенский уголок, омолаживающий их души.

— Это чудо, так дешево купить возможность жить в русской Швейцарии,— говорила она по-прежнему взволнованно и улыбалась с нежностью, взяв его под руку.— Жить летом здесь в нашем возрасте — разве можно мечтать о каком-нибудь другом счастье? Только надо немножечко косметически подновить кое-что в доме. Ты знаешь, я привезла бы сюда старую тахту чешскую, и финские стулья с зеленой обивкой, и горку для посуды.

Они уже давно мешают нам в квартире, а здесь — прекрасно.

— А как с погребом? Ты видела, какой замечательный?

— Ну, это необязательно. Погреб — несколько неудобно, лед, солома, весной вòды, конечно. Холодильник непременно нужен. И водопровод... То есть холодная вода в кухне нужна. Как ты думаешь?

— Да, но отличный колодец возле дома. Я обещаю аккуратно носить тебе воду. По два ведра хрустальной колодезной. А будем умываться во дворе из железного рукомойника.

— Рукомойника с таким гремучим железным носиком? Великолепно, милый. Я тоже так считаю. И все-таки на кухне постоянно нужна вода, и можно сделать маленький водопроводик при помощи электронасоса. Мы с тобой видели его в хозяйственном магазине на Кутузовском.

— Хорошо, я согласен.

— Нет, нет, неужели за четыреста пятьдесят рублей она продаст нам этот чудесный дом? И неужели мы будем жить в нем летом?

И опять они говорили о немыслимой дешевизне дома, о том, как по своему вкусу оборудовать комнаты, сделать их уютнее, кухню удобнее, как привезти из Москвы лишнюю мебель и расставить ее здесь с учетом скромной дачи, а не городской квартиры, и воображение их рисовало тот радостный, облегчающий день, когда они войдут в отремонтированные комнаты с выкрашенными полами, покрытыми вьетнамскими плетеными ковриками, с новыми занавесками на промытых окнах, с удобным холодильником и фаянсовой раковиной на кухне, войдут в этот собственный теперь дом в шестистах километрах от Москвы, счастливо заменивший им дачу, в удачно подаренный судьбой дворец, какого, наверное, ни у кого из знакомых завистливых градолюбцев не было и быть не могло.

Он с улыбкой смотрел на лицо жены, слышал ее голос, слышал то, что говорил сам, и очень ясно, до ощущения умиленности, представлял этот обновленный ими и приведенный в порядок большой дом, видел себя, и жену, и гостей в закатных сумерках за столом вокруг горячего пахучего самовара.

«Что это мы?» — вдруг подумал он, еще отчетливо не поняв в ту минуту причины исподволь вползшей в сознание колючей тревоги.

И, взглянув на розово-нежные по реке отсветы начавшегося в небе летнего вечера, на алеющие облака в покойных заводях межзеркального отражения камышей, он сейчас почему-то не ощутил прежнего волнения от волшебной встречи с этой обретенной им детской первозданностью родных мест, как будто что-то притупилось в душе, неумолимо вытеснилось совсем иным, материально весомым, предметным, подобно властному проклятию лукавой силы, подменяющей радость красоты всего естественного фальшивыми купонами.

ЧУЖИЕ

Вечером он лежал на диване, устало курил.

Она подошла, тихо села возле, потом спросила:

— Скажи, в чем же смысл жизни?

Он, не подымая головы, удивленно посмотрел на нее, сказал с раздражением:

— О чем ты? Что за неожиданная философия?

— В любви,— проговорила она задумчиво.— Больше ничего нет. Остальное — ничтожно.

— Неужели так уж все в любви? — Он усмехнулся.— Не слишком ли однозначно?

— Ты имеешь в виду совсем не то. Я говорила о братской... о сестринской любви, которой, к сожалению, нет.

— Совсем уж какая-то поповщина, дорогой мой философ.

— Разве это смешно? А мне страшно! Я сегодня в метро вдруг увидела и поняла, что никому ни до кого нет никакого дела, что все мы чужие друг другу.

— Зачем же так категорично. А я?

— Прости, и ты тоже.

— Значит, ты не любишь меня?..

— В нашей жизни не хватает чего-то главного. Мы с тобой живем пять лет, но...

— Но?

— Ничего не хочу больше говорить. Лучше молчать.

— Что же, может быть, это лучше.

БЕГСТВО

Конец мая, теплая южная ночь, цикады. Луна, низкая, душная, повисла за тополями над морем, и оранжевый конус протянулся до самого берега, светился в кон-

це улочки, откуда согретыми волнами накатывал запах цветущей у заборов сирени.

— Вы чувствуете? — спросила она и остановилась, глаза блеснули выжидающе, весело.— Хотите, я вам рыб покажу? Они ночью не спят, как и мы...

— Не уверен,— сказал он.— Впрочем, что ж... посмотрим рыб.

Когда сквозь кусты по перечеркнутой пятнистыми тенями тропке они приблизились к водоему, там, в тихой ночной воде меж зарослей кувшинок, плавала луна, и лягушка, вспугнутая шагами, шлепнулась в листья водорослей, и тотчас луна закачалась, дробясь и сверкая.

— Ой,— вскрикнула она с притворным ужасом и схватила его за рукав.— Жаба!

— Может быть. А где же рыбы?

— А вон там! Не видите? Вон там их целое семейство, и большие, и маленькие. По крайней мере, я их утром видела.

— Да, да, в самом деле, и большие и маленькие.

Он хотел поцеловать ее, но она чуть отклонилась и, не отпуская, держа его руку книзу, улыбаясь, молча смотрела ему в лицо смеющимися глазами.

— Да, да, в самом деле, вы их видели утром. Конечно.

Он привлек ее к себе, с ласковой усмешкой сильно обнял, и вдруг близкое лицо ее стало серьезным, губы перестали улыбаться, слабо шевельнулись протяжным вздохом.

— При чем здесь рыба? Я не хочу...

Однако, самоуверенный, избалованный, он чувствовал: она ждала, чтобы он поцеловал ее, а это легкое сопротивление было лишь кокетливой попыткой разжечь его, продлить одурманивающие минуты перед сближением, которого они хотели оба.

Некоторое время стояли безмолвно, глядя в глаза друг другу, потом медленно пошли вдоль забора по мягкой теплой пыли, мимо темных хат с густыми навесами дикого винограда над двориками, с сухим и прохладным запахом садов, здесь, в сплошном треске цикад, выделялось горячее зудение комаров: она то и дело хлопала себя ладонью по голым локтям, по коленям, говорила, капризно смеясь:

— До чего они надоели! Почему они вас не кусают?

И он, ощущая какую-то радостную беспечность, опять обнял ее, и опять она слегка отстранилась, сказала попрежнему капризно:

— Не надо же. Мы испортим все.

— Почему?

— Мы можем случайно далеко зайти... Разве вы отрицаете детскую игру? Ну, например, пускать зеркалом зайчиков? Как это прекрасно и невинно. Правда? Я не люблю грубую игру. А вы?

— Игру? — переспросил он.— Ах, да, да, ясно. То есть не вполне...

— Тогда пойдемте по жердочке через пропасть. Хотите? Так лучше. Когда вы балансируете над пропастью, холодком замирает сердце. И страшно и чудесно. Согласны?

И они пошли по дороге, обдаваемые влажным, до обморока зябким запахом сирени, синевато белеющей над пыльными заборами в лунном свете, как туманные пятна в глубине фиолетового пространства Вселенной.

— Я обняла бы этот куст, как сестру обняла. Чувствуете запах? — проговорила она шепотом.— Эта луна просто чародейка! Так хорошо под луной, что даже страшно! Я сейчас буду молиться, как монашенка перед каким-нибудь святым явлением. Я стану на колени.

— Монашенка?— Он усмехнулся добродушно.— Слушайте, вы мне голову заморочили черт-те чем. Я как на карусели. Вы начали невероятную игру, и я сейчас запрошу пощады.

— А вы знаете, мы с вами были бы плохие он и она, если бы это, не дай бог, случилось.

— Почему плохие?

Она засмеялась:

— На нашу так называемую семейную жизнь уходило бы слишком много душевных сил. Но, в конце концов, это интересно, а не тихая заводь. Ужасно не люблю тихих мужчин и тихих девиц, ангелов во плоти!

— Поверьте, я ангел не очень тихий,— сказал он полушутливо и сзади за плечи повернул ее к себе, поцеловал осторожно в нежные края губ.— Вот видите, все время сатана где-то маячит за моей спиной,— сказал он и тоже засмеялся, решительнее отклоняя ей голову, целуя ее влажные скользкие зубы, плотно сжатые, как от боли.

Нетвердым движением она высвободилась и, вопросительно, исподлобья вглядываясь в него, двумя пальцами потрогала свой рот, проговорила:

— Разве так можно? Вы поцеловали меня как-то... странно.

— Ужасный разврат,— сказал он.

Они миновали улочку садов и теперь пошли по пыльной набережной, слева от обрыва, в темном коридоре душных тополей, а над морем, очень далеко за горизонтом время от времени зарницами вспыхивали беззвучные молнии, отблески отдаленной грозы, дул слабый теплый ветер, но вся эта красновато-сумеречная пустыня воды была плоской, неподвижной, мертвенной под одинокой луной в пустоте неба.

— Ах, какая тоска! — неожиданно грустно сказала она вполголоса.— Какая сладкая тоска в этой непонятной луне, в этих тополях, в том, как вы меня поцеловали...

— Простите, не понял. Почему именно тоска?

Она не ответила, и здесь, на набережной, они остановились в тени старого огромного тополя, пахнущего терпкой сухостью пыли, высушенной корой, и, уже сама, с зажмуренными глазами откидывая назад голову, подставляя приоткрытые губы, она сказала тихо:

— Я еще хочу...

Он понял и шутливо повторил ее недавнюю фразу:

— Мы идем с вами по жердочке через пропасть. К чему это приведет? Обломится жердочка — и мы ринемся в бездну, разобьемся о камни, сломаем себе шеи. Не так ли?

— Ну и пусть! — ответила она с почти обморочным вызовом.— В лунную ночь совершаются самые тяжкие преступления.

Он снова коснулся ее губ, чувствуя их молодую скользкую упругость, и в ответ они дрогнули под его губами, выдыхая еле слышно:

— Хочу преступления, хочу преступления, хочу...

И, дрожа коленями, исступленно и плотно прижимаясь к нему грудью, всем телом, закрыв глаза, страстно терлась щеками и подбородком о его умелый, ищущий рот, и раз, когда на миг он перестал касаться ее, она тихонько застонала, попросила шепотом:

— Еще, еще... Господи, какие у тебя хорошие губы. Еще...

Он длительно и жадно целовал ее, гладил ее спину и бедра со снисходительной нежностью баловня женщин.

Внезапно она вырвалась, оттолкнула его и резко, быстро пошла прочь по набережной, совершенно безлюд-

ной, зацокала каблуками, часто дробя лунную тишину ночи.

Он догнал ее, немного растерянный, окликнул:

— Подождите! Куда вы?

— Я не могу,— сказала она, задыхаясь.— Что вы со мной делаете?

— Да что случилось? Куда вы заспешили?

— Ничего не случилось. Просто пора уже сказать «до свидания».

— Сядем. Вот скамья. Сядем, пожалуйста.

— Мне хочется упасть на землю, а не сесть! — сказала она тоном насмешливого отчаяния, и лицо ее исказилось злой неприязнью к нему.— Вы измучили меня.

Он так решительно сдавил ее, так притиснул к себе, что у нее синевато блеснули стиснутые зубы, она выдохнула:

— Мне больно.

— Хорошая моя, вы рассердились?

— Я хочу, чтобы это было,— прошептала она ослабленно.— Или вы меня боитесь? Или себя?

— Перестаньте говорить глупости,— грубовато прервал он, все теснее обнимая ее, напряженную, покорную, и вместе с ней пьяно качнулся к деревянной скамье в тени тополя...

Потом они сидели на этой скамье, и она вздрагивающим голосом говорила:

— Милый, милый! Но почему так все получается? Я хочу, чтобы ты был сегодня, сейчас мой, а я твоей. Мой, понимаешь? Ведь это разные слова — «полюбить» и «влюбиться». Полюбить — это навсегда, на целую жизнь. Невыносимо скучно! А влюбиться — это как наваждение, как сон... на несколько дней, на одну ночь, на один час, и пусть будет как у нас, пусть так!..

И дышала на его руку, целовала в ладонь.

«Как это все бессмысленно и театрально,— думал он устало, испытывая брезгливую гадливость к своей невоздержанности.— Какие немыслимые пошлости мы говорим, какие несуразности делаем... Кому это нужно — ей, мне? Любовная игра от жары, от крымской лени, и я, обремененный семьей, родственниками, болезнями, изображаю сорокалетнего пресыщенного повесу, а она — женщину без условностей, обманывающую себя фразами о влюбленности. Прости меня, грешного, вот так, в игровом обмане, мы пытаемся бежать от самих себя».

БЕЗУМИЕ

Без устали я говорил ей несусветную игривую чепуху, а она, смеясь, отвечала шутливым тоном женщины, знавшей, что нравится мне.

— Если бы вы были добродетельны и пригласили бы меня на чашку чая, то я сидел бы смирно, смотрел бы на вас и думал: откуда вас бог послал?

— Это вы-то сидели бы смирно? От вашей смирности у меня уже губы болят. Что я буду завтра делать с опухшими губами?

— Завтра мы опять будем бродить с вами по Замоскворечью, если вы простите мне все грехи и дерзости.

— Я прощаю вас, конечно, хотя мы оба поглупели. Ничего не понимаю, совсем летняя ночь,— сказала она около крыльца, когда мы остановились.— Смотрите, как пусто и чисто везде. Это конец апреля. Вы чувствуете, чудак эдакий, что зима прошла?

— Я чувствую, что вы сейчас уйдете, а я останусь один как перст. Мне жутко.

— Боже, какой невыносимый романтик! «Один как перст!» Вы и так целую ночь таскали меня по Москве, как школьницу какую-нибудь. Я вместе с вами с ума сошла, а мне завтра... то есть сегодня на работу идти, студентов учить. Впрочем, не вы, а я тоже виновата, я просто грешница. Разошлась с мужем и веду развратный образ жизни. И это я, тридцатипятилетняя женщина, математик...

— Разрешите вас поцеловать, кандидат математических наук?

Я с трудом оторвался от нее, и она ушла, простучав сапожками по крыльцу.

Где-то на окраине Москвы зарождалось утро, раннее, апрельское, дальние поезда, прибывшие на рассвете, шипели, отдувались утомленно, и платформы, наверное, были мокры, холодны от росы, а на улицах еще стояла ночь в ослабленном бледном свете фонарей. Неужели прошла ночь?

Фонари гасли один за другим, и там, где недавно смутно проступали в замоскворецких двориках пятна деревьев, теперь уже можно было отличить небо от крыш. В белых сумерках улицы еще не звенели первые трамваи, все тонуло в предутренней тишине, лишь плескалась, звучно бормотала вода в стоке.

Потом мне было весело слушать звук своих шагов на сыроватых тротуарах, весело было думать об этой молодой женщине, легко ушедшей со мной с праздничной вечеринки, пробродившей со мной всю ночь, легко прощавшей мою глупость влюбленного. Я вспоминал ее смех, живую речь, ее опытные податливые губы и счастливо чувствовал в себе мальчишескую освобожденность от всяких условностей, как чувствовал это вместе с ней, бродя по городу.

В тихих оголенных липах над темными заборами таял в зеленеющем светлом небе сквозной серп месяца (ненужный сейчас), а чистая весенняя заря, разгораясь за крышами, стала заглядывать в окна сквозь задернутые занавеси — в сонное тепло комнат этой сразу ставшей милой мне улицы, где жила она, веселая незнакомая женщина, у которой был рот чувственной Шахерезады. (Господи, что со мной, какая в голову лезет пошлость!)

Почему так необратимо повлекло меня к этой женщине? Игра легкомыслия? Я засмеялся, помня вкус ее неутомимых губ, зная, что увижу ее завтра во что бы то ни стало.

И тут из-за угла, ослепив фарами, на всей скорости вырвался самосвал, он мчался прямо на меня, с грохотом трясся, подпрыгивал его железный кузов. Я едва успел отпрянуть к тротуару. До тошноты забилось сердце, когда, обдав ревом мотора, асфальтовым ветром, мимо мелькнула темная громада машины и словно бы искаженное рыданиями неясное лицо в кабине. И я увидел: красная горошина выброшенной шофером сигареты (как будто он выстрелил в меня) долго бежала за грузовиком, билась, отскакивала, летела по мостовой, рассыпалась мельчайшими искрами и погасла.

И я очнулся. Куда он несся в беспамятстве? Что гнало его по безлюдным улицам с такой бешеной скоростью? Я и он — двое в непроснувшемся городе... И хотя я пытался понять причину и следствие чуть ли не смертельной нашей встречи, разум, трезвея, убеждал, что было это безумие греха и безумие отчаяния, соединенные случайностью, которая и ткет простой и сложный узор жизни.

НАКАЗАНИЕ

И представлялось ему, что однажды он шел с ней по темному переулку, где постоянно был вечер, летний, тихий, фантастический вечер не на земле, а в глубинах

Вселенной, на неведомой, лишенной звуков и плоти планете.

Странно и тихо, совершенно неподвижно нависали ветви деревьев над когда-то знакомым переулком, где-то далеко сквозь темную листву горели безмолвные огни в окнах, за деревьями бесшумными тенями проезжали машины, лишенные света фар, точно проплывали изредка из ниоткуда в никуда, и неощутимо стороной возникали и таяли бестелесные тени прохожих. Все вокруг было безразлично, покойно, мертво... И тогда ему захотелось пойти к другу художнику, в его мастерскую, которая оставалась на земле неизменно приветливой, светлой, чтобы увидеть его солнечные пейзажи, радость жизни в них, утренний воздух, росу на траве, дождь в лесу, но она сказала сухо:

«Стоит ли? К чему это? Ты слишком чувствителен!»

А он, охлажденный ее сухим тоном, почувствовал приступ давящей покорности, и перехватило горло, когда он ответил шепотом, страшась недавнего желания:

«Хорошо. Не пойдем. Ты не сердись».

Только наедине с собою он изредка сознавал, что, безоглядно любя эту женщину, обречен на душевное одиночество ее непониманием, наказан любовью до конца дней своих, до этой вечерней планеты.

ДАЛЕКОЕ ЛЕТО

В тот благословенный день замоскворецкого лета, после грозового теплого дождя, обильно пролившегося над переулками, она, застигнутая где-то ливнем, худенькая, смуглая, в бесстыдно облепившем ее ситцевом платье, прошла мимо, с удовольствием ставя босые ноги на дымящийся асфальт, мотая в руке промокшими сандалиями. А он в компании сверстников сидел на перилах крыльца, с крыши которого то и дело шлепались в солнечные лужи последние капли, и с сочным треском грыз зеленые яблоки, сворованные в саду знаменитого «Великана», крошечного кинотеатра, расположенного за соседним забором.

— Эй ты, босая курица! — крикнул он без всякой причины грубо.— Ты откуда? В Канаве купалась?

— Привет, воришки,— ответила она весело.

И окатила его до того насмешливо засиявшим взглядом черных глаз, что он не нашел ответа и запустил ей вслед огрызком яблока.

Так она и запомнилась ему на всю жизнь — гибкая, в облепившем ее до коленей платье, с сияющими насмешкой глазами из-под слипшихся ресниц. Ему и ей было в то лето по двенадцать лет.

ПРЕДЕЛ И НАДЕЖДА

Я долго пытался найти слово, а оно было связано с чем-то грустным, прощальным, с каким-то роковым значением, завершающим некий смысл, некое состояние, движение, радость, любовь, целую жизнь.

Неужели это слово — «последнее»? Последний час? Последний вечер? Последний житель земли? Последняя любовь? Последняя страница?

В этом слове ощущается сухой ветреный осенний день, желтое поле по косогору, шум осин в насквозь продутом перелеске, шорох шевелящейся огненной листвы в обочине, дальняя на бугре полуразрушенная церквушка, пронзающая душу одинокостью среди пустых полей и холодных лучей солнца, предзимний крик галок над заросшими бурьяном куполами, холодная синяя темнота пруда за плотиной...

В этом слове прощание, утрата надежды, затихающие шаги, крик боли в ночи, обрыв следа в бездну неизвестного и такое безысходное одиночество человека, вдруг узнавшего последний свой неизбежный день, такая открытая тоска наедине с собой, со своей судьбой, что это одно только чувство последнего ощущения несравнимо со всеми муками неразделенной любви, желаниями неудовлетворенной славы, страданиями ревности и всеми другими страстями краткой человеческой жизни.

Но вместе с тем «последнее» — это предел, за которым неизбежность неведомого нам начала — новой земли, новой надежды.

В ЗАКАТНЫЙ ЧАС, СЕРЕДИНА АВГУСТА

Пройдет много лет, а деревья все так же будут тихо стоять на закате, впаянные каждым листочком в легкое золотистое небо, и будет доноситься далекий крик грачей в теплом воздухе, и так же будет стоять в траве игрушечная педальная машина, брошенная моим внуком, и так же будет лежать в конце аллеи под березами моя старая

умная собака с белыми кончиками ушей — все повторится в этом наилучшем из миров, только не со мной, а с кем-то другим, как повторялись уже несчетное количество раз красота предвечернего часа и неутоленность каждого момента нашей жизни, данной нам на такое краткое время, что кажется остановкой поезда на полустанке посреди бесконечной, омывающей теплом полевой тишины, треска кузнечиков, запаха нагретых цветов и трав...

ПРОМЕЖУТКИ

Ехали на аэродром по шоссе мимо осенних полей, желтеющих стерней, и где-то на окраине каменного городка, старого, с потемневшей черепицей, мелькнул удаляющийся указатель «Карловы Вары» — и странно: все, что было недавно карлововарским, весь оставшийся позади месяц, десятки прожитых дней, стало таким далеким, несуществующим, навсегда исчезающим, как будто позади ничего не было, а вот сейчас я временно, непрочно даже ненастояще еду по этим полям на аэродром, чтобы лететь наконец в Москву, домой, где ждут меня, где я любим и нужен и где есть мое родное место в огромном мире.

И каждый раз, возвращаясь на родину из-за границы или уезжая, я испытываю в поезде, в машине, в самолете некое скользящее мимо, нереальное состояние, которое надо прожить бегло, перетерпеть его, чтобы вернуться, достигнуть наконец прочного места и осмысленную цель моего движения — родную землю... Я бессилен перебороть это чувство, и мой разум считает часы и дни поездок легкомысленными промежутками жизни, а эти промежутки — интермедией между серьезными актами жизненной пьесы.

СТАРЫЙ РЫБАК

Мой отец, старый рыбак, в детстве моем голоштанном ни черта не давал мне учиться плавать. Был он неверующим, попов иногда крепко ругал в охотку, особенно когда выпивши, однако перед путиной вот что говорил: «Бог дал всем жизнь, а срок в точности не отсчитал, но каждому рыбаку по своему тайному расписанию существование ограничил, поэтому, ежели лодка тонет,

перекрестись и иди на дно вместе с ней, это твой срок пришел, бога не обманешь, на хитрость не возьмешь». Бывало, лежит на бережку, на солнышке подле сетей, шапку на лоб надвинет, тепло он любил, намерзся за жизнь на ветру и воде. Так вот — лежит и вроде дремлет, а мы, ребятишки, в воде полощемся, друг за дружкой сатанятами бегаем радостно, ягодицами сверкаем. Но как только кто по-собачьи в плаванье бросаться начинает, он тут как тут, за уши из воды мокрым щенком вытаскивает и по корме — леща, леща, аж из глаз огненные искры сыплются.

Да, неверующий был мой отец, в церкву ни разу не заглянул, а как худо стало, сразу чистое споднее надел, под образа лег и матери приказывает: зови, мол, попа, ежели он трезвый, на последнюю душевную беседу. Мать накидывает платок, вся в слезах бежит за попом, умоляет, с постели стаскивает чуть не в одних подштанниках, приводит его в избу. А отец сидит на лавке, пьет квас, крякает, дует в ковш, усы вытирает и говорит: «Давай, мать, поворачивай назад попа, оклемался я, еще поживу малость». Восемьдесят два года он прожил.

СЧАСТЬЕ

Муж бросил меня, и я осталась с тремя детьми, их воспитывали мои отец и мать, у которых было еще четверо — мои младшие братья и сестры.

Помню, однажды осенью, безнадежной ночью, когда лил дождь, стучало железо на крыше, мне не спалось. Я просто не могла заснуть от тоски, подступившей к сердцу, от мысли, что все мы, люди, несчастны, не знаем, что делаем, чего хотим, надеемся жить на земле вечно, а жить мне осталось совсем немного. И я вышла на кухню, чтобы покурить, успокоиться. А на кухне горел свет, и здесь я увидела его. Тогда он писал какую-то работу о Канте, работал по ночам и тоже вышел на кухню покурить. Стоял у окна, смотрел на дождь, на стекло в потеках, а когда услышал мои шаги, обернулся, и лицо его показалось таким бледным, старым, беспомощным, морщины такими усталыми, что я тут же подумала, что он скоро умрет, что он болен. Мне стало безумно жаль его, и я сказала, едва сдерживая слезы: «Вот, папа, мы с тобой оба не спим и оба мы с тобой несчастливы».— «Несчастливы? — повторил он удивленно и посмотрел на

меня, вроде бы ничего не понимая, заморгал своими добрыми глазами.— Что ты, милая! О чем ты?.. Все живы, здоровы, все в сборе в моем доме — вот я и счастлив!» Я всхлипнула, а он обнял меня, как маленькую. Чтоб были все вместе — ему больше ничего не нужно было, и он готов был ради этого работать день и ночь. А когда я уезжала к себе на квартиру, постылую, холодную, они, мать и отец, стояли на лестничной площадке, и плакали, и махали, и повторяли мне вслед: «Мы любим тебя, мы любим тебя...» Как много и мало нужно человеку для счастья, не правда ли?

ЖЕНСКИЕ ЛИЦА

Есть мужские лица, которые в сознании моем связаны с определенным настроением, одни исполнены властной силы, самоуверенности, спокойствия, иные напоминают о безволии, застенчивости, жалкой подавленности, есть и такие, что словно бы распространяют вокруг опасность тайного порока, коварной лести, бесстыдства. И мне почасту кажется, что я могу распознать не только святого, но и нечестивца,— и от этого угадывания становится не по себе.

Что же касается женских лиц, то некоторые из них рождают у меня особые состояния, подобные снам.

Впервые я почувствовал это в детстве, однажды увидев женщину, вошедшую в наш заросший липами московский дворик, обогретый июльским солнцем, где на крышах сараев ворковали голуби. Я увидел ее лицо, наклонившееся ко мне, серые, лучащиеся теплом глаза, нежно раздвинутые улыбкой губы, сеть тени от листвы на молодых светлых волосах — и в первое мгновенье онемело смотрел на нее. Она спрашивала о чем-то, а я молчал, завороженный ласковым теплом близких глаз, влажными, аккуратными зубами, плавным голосом этой незнакомой женщины, нежданно пришедшей в наш двор. Она появилась из неизвестности, почему-то представившейся мне тогда ни разу в жизни не виданной большой квартирой, книгами, зеркалами и ею самою, сидящей на диване среди красивых, изящно одетых людей в залитой ярким светом комнате, пахнущей духами, чистотой, счастьем. Но я не мог представить мужа ее.

— Скажи, пожалуйста, мальчик, как пройти к Степановым? — наконец дошел до меня смысл ее слов, и я,

заядлый голубятник, так и не сумев ничего выговорить, лишь угрюмо показал в сторону особняка, скрытого деревьями в конце сада.

Она взглянула удивленно, погладила меня по голове ласковыми пальцами и, узко ступая, пошла в глубь двора, тонкая, вся в белом.

И что ж — до сих пор серые лучистые глаза, белый цвет платья возвращают в моей памяти жаркое замоскворецкое утро и мое состояние дурмана, заколдованности вблизи той молодой прекрасной незнакомки.

Невозможно определить, по какой особой черте — по овалу женского лица, по медленному взгляду или незавершенной улыбке, цвету волос, прическе, походке,— почему возникает то чувство разгадки тайны, которое заставляет спрашивать себя: может быть, это притяжение — краеугольный камень всего сущего? Не в этом ли истина?

Так или иначе, не могу объяснить, почему при взгляде на черные брови женщины, на скромно опущенные ресницы встает передо мной среднеазиатский дворик в знойный полдень, окруженный глиняным дувалом, прохладное позванивание арыка, ковры под старым карагачем, приторный запах разрезанной дыни и легкое, влюбленное присутствие ее там, в этом дворике, виденном мною когда-то в старом Ташкенте на Конвойной улице...

Зеленая чистота, деревенская прозрачность глаз городской девушки в галантерейном магазине где-нибудь в Столешниковом, уже позабывшей горячий запах высохшего на солнце плетня, уносит меня разом в летний степной вечер, в угасающий закат за околицей, над которой плавает розоватая пыль, поднятая стадом, и я вижу в степи свежие копны, тепло обдающие духом молодого сена, вижу ее крепкие икры, ее бедра, ее откинутую голову в наивном платочке. С чем это связано?

Классически безупречные женские лица с нерушимым выражением самонадеянной красоты отталкивают меня неестественной законченностью, предполагаемым энергичным расчетом, заученной равнодушной страстью — и я воображаю серебристый зимний день, мороз, окна зашторенной спальни в сытой квартире, обставленной под павловский стиль, ледяную пустоту зеркал, нечто пушистое белое на полу, холодную пудру в перламутровой коробочке, флаконы духов на туалетном столике и холодок белой кожи, напоминающей отполированный мрамор статуи.

Соединение безмятежной веселости, вздернутого носа и большого чуткого рта, этих, казалось бы, признаков неиссякаемого жизнелюбия, вызывает у меня тревожное вйдение осеннего, сумрачного под дождем асфальта, опустевшей вешалки в узкой передней, где одиноко висит ее плащ, валяются сапожки, а она, неодетая, босая, стоит напротив двери, морщится, стонет, кусая губы, и в разрезе сорочки жалко видны покрывшиеся пупырышками озноба, вздрагивающие от рыданий груди ее...

Почему так, а не иначе? Ни разу в жизни я не видел эту женщину, рыдающую в передней.

С неутоленным любопытством люблю заглядывать в чужие купе, вдруг встречая ответный любопытный взгляд, задающий сразу тысячу вопросов,— и я узнаю в этой женщине свою натуру.

В жаркие часы московского июля праздная толпа (кто они, эти люди?) сплошным серо-белым потоком заполняет улицу Горького; ревут возле тротуаров автомобильные моторы, удушающе воняет выхлопными газами, везде зной, солнце, блеск, теснота, везде толпятся длинные очереди — в магазинах, за мороженым, за соком, перед автоматами с газированной водой, перед переполненными до горячей духоты кафе, а из-под арок дворов, где тоже кольцеобразно стоят очереди (за бананами), тянет сладковатой гнилью каких-то отбросов. Все шумно, адски накалено, напитано грязной пылью, забито людьми, все потно, разморенно, оглушено машинами — и мучительна мысль о смертельно больной цивилизации, о перенаселенности огромных городов, бессмысленности этого грохота, движения машин, растопленного солнцем асфальта, этих повсюду немыслимых в жару очередей, мерзких запахов, мусора на тротуарах, как в нью-йоркском метро... И в тот момент, когда начинаешь думать о конце мира, об апокалипсисе, в толпе словно бы рождается, как мираж, возникает женское лицо, веселое, милое, искрящееся глазами, улыбкой молодости, озорства, радости жизни, будто овеянное солнечным ветром. И тут я вижу южную синеву неба и сверкающую синь моря, неотличимую от ее глаз, сочинский оживленный пляж тридцатых годов (где я в те времена не бывал), ослепительную белизну санаториев между кипарисами и вместе со всем этим бархатный вечер на набережной, пары гуляющих в аллее, говор, звук шагов, огоньки папирос и ее загорелые плечи, ее ноги, кофейно-темные, подчеркнутые узкой белой юбкой, и чувствую тот удивительный запах какого-то крема,

духов и молодого женского тела, омытого морем, прогретого солнцем, изласканного свежим ветерком на пляже, запах, который можно ощутить только на юге по вечерам. И удивительно: я даже слышу ее смех, тон ее голоса, я чувствую физически ее движения, шаги, силу пальцев, сжимающих мою руку.

Я спрашиваю себя: почему так, а не иначе, почему одни лица связаны в воображении моем с ночью, телесной близостью, нежностью, другие с прохладным ясным утром, росой, холодком северных кучевых облаков, крепостью спелых яблок, лежащих на осенней террасе,— и то и другое влечет меня с одинаковой силой, как неразрывность плоти и духа, как сладость греха и сладость раскаяния.

Почему так, а не иначе работает мое сознание, рисуя картины по облику незнакомых женщин, с которыми я не обмолвился ни словом?

Мне не дано знать, где моя собственная память и где память исторических поколений, моих предков по женской и мужской линии, чья родственная частица в моей крови.

ОРС

Это был веселый, общительный пес по кличке Орс. Весь белый, с черными пятнами на морде, он умел улыбаться, показывать в улыбке зубы, игриво сиять чернильными глазами, припадая на передние лапы, сумасшедше мотая хвостом, умел и сердиться, драть задней ногой землю, напрягаясь стрункой, и с нарочитым лаем догонять заезжие машины, пылившие по приокской деревне, где мы с женой каждый год жили до поздней осени.

Целое лето мы встречались с ним по вечерам в садике тетки Серафимы, женщины строгой, малоразговорчивой, ждали с бидоном под яблонями, пока она подоит корову, а он, Орс, подбегал к нам из зарослей смородины, заранее улыбался, приветствовал дружелюбным помахиванием хвоста, обнюхивал бидон и ложился у наших ног, отгоняя мух угрожающим клацаньем зубов. Время от времени он хозяйственно настораживал то одно, то другое ухо в сторону сарая, откуда доносилось прерывистое позванивание молока о ведро, жевание коровы, сытое похрюкивание поросенка.

Раз он вышел из кустов несколько утомленный, с брезгливым достоинством положил к нашим ногам задушенную мышь и отошел, сел поодаль, нервно зевая, навер-

ное, после пережитого волнения охоты. Однако в нашу сторону он морды своей не поворачивал, только слушал внимательно, что мы говорим о нем,— уши его поочередно настороженно подрагивали. Он был честолюбив, он ждал похвалы, и я серьезно сказал жене, надеясь, что пес оценит мою признательность:

— Знаешь, у него широкая душа. Он поделился с нами добычей. Спасибо ему.

— Да, он милый, добрый, умный,— ответила жена и засмеялась, вдруг увидев, как Орс повернулся к нам, вытянул чемоданообразную морду и пополз на животе по траве, повизгивая, взглядывая снизу вверх преданными черными глазами.

И печально и горько вспомнился мне этот разговор и особенно слова жены в день поздней осени, когда мы перед отъездом в город пришли к тетке Серафиме за яблоками, а Орс не встретил нас, не выбежал из кустов, не улыбнулся дружески, укладываясь у наших ног.

— А где же Орс, Серафима Ивановна? — спросила жена, с ожиданием оглядывая сад, облетевшие кусты смородины.

— Собака-то?

— Ну конечно. Почему вашего Орса не видно?

— Собака-то? Это верно. Встречал он вас.

Серафима Ивановна по-мужски нахмурилась, махнула рукой, взяла у жены корзину, осуждающе заговорила басовитым голосом:

— А мы его в дальний путь отправили, Орса-то. Собака сторожить должна, лаять, а у нас нынешней ночью яблоню начисто обтрясли. Барвинку. Три-четыре рубли кило... Жулье-то цены знает. Лучшую обтрясли. Всю, догола. Так что сын Петя, правда сказать, выпимши был... Так что лопатой его насмерть поучил... Под забором там лежит.

— Зачем? — спросила жена шепотом.

Было холодно, дул ветер, шумел в яблонях, пахло дымом, сносимым из трубы в сад.

Через полчаса мы вернулись в дом, где снимали комнату; жена опустилась на лавку, стиснула руки на коленях, глядя в холодную бесприютность октябрьского вечера за окном, где отливали синевой стволы берез над черной Окой.

— И они его лопатой?..— проговорила она дрожащим шепотом.— И они его за то, что он был добрый и умный?..

БЕРЕЗА

— Давай спилим вот эту березу. Она сухая и мешает другим,— сказала жена.

Я увидел в синей высоте зеленые макушки берез, мнилось, счастливые, ласково лепечущие в теплой легкости предзакатного воздуха, а посередине их голые растопыренные сучья той березы, которую указывала жена. Ее сучья вообразились мне высохшей старческой рукой, застывшей меж молодых веселых головок, радующихся лету, небу, солнцу, своей гибкой стройности.

И я начал пилить эту отжившую березу, не испытывая той жалости, какая бывает всегда, когда прикасаешься к живому стволу, начал пилить с мыслью, что очищаю, освобождаю в саду пространство для расцветающей красоты. Однако пилу все время заедало, я дергал ее, отдыхал, начинал снова, измучился, был весь в поту и наконец с облегчением почувствовал, что разрез под пилой стал расширяться, увеличиваться — и береза затрещала, накренилась.

Тогда я сделал последнее усилие острыми зубьями. И вдруг как тяжко закряхтела, как мучительно застонала она в предсмертной боли, уже валясь, падая, судорожно цепляясь за вершины, за листву своих молодых сестер (а они словно отталкивали ее), и с пронзительным вскриком упала на траву, ломая сучья, прощально качая ветвями.

Мы с женой в молчании переглянулись.

— Ты слышал? — сказала растерянно жена и зажмурилась.— Как она не хотела умирать! Я никогда не знала, что деревья, погибая, стонут, как люди!

Я бросил пилу и пошел прочь, стиснув зубы, не оглядываясь на то место, где уже беззвучно лежала убитая мною береза и весело лепетали листвой в летнем небе ее молодые беспечные сестры.

ЗАНАВЕСКА

Был летний день, весь наполненный нежным запахом акаций, светом, радостью. Я вошел в номер гостиницы, еще не обжитый мною, чужой, пахнущий прогретым с утра паркетом. Стеклянная дверь на балкон была открыта, и я увидел освещенную солнцем тюлевую занавеску, она тихо

надувалась ветерком, шевелилась, напоминая о сквозняке, свежести воздуха, о том, что номер мой на восьмом этаже, высоко над черепичными крышами южного городка и не будет душно в жаркие дни на этой горной высоте.

Я подумал об этом, а занавеска продолжала едва заметно шевелиться, волноваться, и было что-то женственное, молодое в том, как плавали над балконом нежные прозрачные складки, вызывая в моей памяти нечто очень далекое, что было или могло быть только в наивном, еще не испорченном времени довоенных лет, когда еще чистой и застенчивой была природа, когда вкус воды, цвет полей, деревьев, краски заката и облаков были иными, когда в Москве иначе звенели трамваи на Зацепе и иначе горели огни па Тверской, когда были еще молоды отец, мать, мои братья, мои красавицы тетки. И я помню, как летним днем, перед обедом они шли по деревянным мостикам к Яузе в тени огромных разросшихся вязов, под нависшими ветвями которых мы с братом ловили вечером в водорослях пескарей; потом они, красавицы тетки, раздевались в кустах, стыдливо выходили на безлюдный берег, белея гибкими нагими телами, и с озорным смехом, визгом, аханьем бросались животами в воду, плыли к тому берегу.

Что это такое? Занавеска, река Яуза в Москве, мои тетки, которых уже нет на свете, нагие их тела со всеми признаками здоровья, молодости, любви, красоты?

Еще лет пятнадцать назад эта мимолетная игра воображения и памяти показалась бы мне милой бессмыслицей. Теперь же я никак не могу забыть плавное колыхание тюлевой занавески в тот солнечный день на юге.

ОРЕШНИК

В тот день читал дневники Толстого и с отуманенной головой вышел в сад, тихий, предвечерний, темнеющий, пошел по дорожке, сплошь усыпанной шуршащими листьями, потом остановился перед орешником, застывшим в холодной неподвижности сумерек, взглянул на небо. Там в еще светлой выси медленно плыли, нежно алели перья тонких облаков. А из осенней глубины сада, пустой, грустной, доносился звонкий голос моего шестилетнего внука, и где-то там ходила моя жена, я слышал ее шаги по листьям и слышал, как то и дело падали в траву с глухим стуком яблоки.

И вспомнил, что сегодня днем жена попросила вместе с ней оборвать орехи, мы гнули верхние ветви, и верхние эти ветви не совсем выпрямились, как бы ссутуленно наклонясь к земле, и я увидел два почти соединенных ореха, нетронутых, в зеленой короне, отчего-то нами не сорванных, забытых, и неизвестно почему подумал с тихим сожалением: «А все-таки скоро, скоро»...

Да, об этом неизбежном «скоро» знали и думали все, кого любил и чтил я, кто жил на земле в этой русской красоте сумерек, закатов, звездных ночей, рассветов, солнечного царства березовых перелесков, лесных ручьев, ветреного листопада и звонкого безмолвия осени. Они все знали, что приближается срок ухода из этого мира, что пройдет сколько-то весен и зим — и отсечет последнюю секунду сама неотвратимость. Но, зная это, они ходили, работали, разговаривали, смеялись, чего-то желали и что-то отвергали, лишь вдруг, на миг, на секунду сознавая, что осталась единственная капля, которая не утолит жажду... О, как чувствовал это Толстой, как наедине с собой думал о конце ежедневно, страшась Ее и призывая, веря и не веря в свое исчезновение, радуясь близкому уходу, в то же время надеясь на чудо, на спасение, только на перемену декораций... Да, Толстой был наделен сверхчувствами, неистово любил жизнь, и, доведенный самим собою вследствие неудержимых желаний до ненависти к красоте, он призывал на помощь силу духа, он жил под знаком ожидания и неизбежности. А как молча страдал в одиночестве больной Чехов, знавший о своей болезни все, как страдал с тайной улыбкой страха и вины, не веря в иной мир, считая отпущенные судьбою утра, и никто не видел его лицо, обнаженное людям в сокровенной мольбе бессмертию в осознанную минуту прощания...

Мне не раз пришлось видеть оголенные небу лица солдат, и они запомнились навсегда, похожие в смертную секунду одно на другое. Там, на пороге вечности, было то равенство, которое, казалось, объединяло все разъединенное человечество. А здесь различие в том, что кто-то был более спокоен, приближаясь к бездне небытия. Пушкин, в тридцать семь лет истерзанный жизнью, уже не дорожил ею так одержимо, как в юные годы. Старый Тургенев, страдая ужасно, не мог согласиться с концом роковой доли. Фет готовился, был покорен исходу...

Так умирали великие? И что — конец всему? Куда исчезла энергия таланта? Переход? Перемена декораций? Что же это — справедливость или несчастье?

Нет, здесь никого кривая не вывезет, известность, талант и «авось» не помогут, самые гуманные законы не защитят, ничего «не образуется».

Все они знали, что в роковой день раздастся стук в дверь, которая медленно разверзнется, зияя непроницаемой чернотой, войдет тихий сквозняк, леденящий душу, и на пороге встанет неумолимое, неотвратимое, что не услышит ни крик о помощи, ни мольбы, ни жалобы, закончив все одним бесповоротным, беззвучным приказом, приводящим приговор в исполнение: «Прощайся». И это будет не сон, не кошмар, не видение, не галлюцинация и не последняя сцена, написанная о смерти героя, а последняя строка из жизни автора. Ибо исчезнет свет — и счастливого пробуждения утром не будет. Да, они знали об этом, как знаю я, пишущий эти строки, как знали ушедшие из мира семьдесят миллиардов людей. Как могли жить они с этим осознанием конца? Что это — мужество или трусость? Или покорная глупость человечества, уравнивающая и великих и малых слабых людей?

Где-то за моей спиной глухо и весомо падали яблоки, где-то в аллее шиповника звенел голос моего внука, а над затихшим садом плыли и плыли на запад тонким пеплом угасающие облака.

Вдруг жена окликнула меня, но я молча повернулся и стал уходить от нее по тропинке в темнеющую глубину деревьев все дальше и дальше, оставляя ее, погружаясь в сырую ночь, дышащую в лицо холодной прелью никогда не росших в нашем саду папоротников. Так будет со мной или иначе?

Когда я очнулся, темнел орешник в сумерках и странно белели два соединенных, пока еще не сорванных ореха, обрамленных маленькими зелеными коронами, похожими на паруса корабликов в бесконечном земном океане. Сколько нам плыть?

Стоял сентябрь, был восьмой час вечера.

СЕВЕР, РЕКА МЕЗЕНЬ, РАЗГОВОР НА БЕРЕГУ

— И кидаешь и кидаешь блесну-то свою... Поймал что?

— Нет, бабушка, не везет.

— И хорошо.

— Почему хорошо?

— Семга рыба-то дурная, опасная. Прошлый год на Мезени в лодку она впрыгнула к Константину Викентьевицу-то. Впрыгнула вроде бревна, килограммов на двадцать, а Константин Викентьевиц обомлел от радости-то: без сети и живца рыбу поймал. У костра лежит, цаёк попивает, сахарок откусывает. Как не жизнь-то! Приимцивый был. Но через два месяца утонул он. Нашли его сегодняшний год — вода опала, а у берега два сапога вверх торчат, мальцонка увидел. Вытащили его, целенький весь, не пропал, вроде вцера утонул, но две руки как вроде рыба объела — как отрубленные... Семга-то, что впрыгнула в лодку, не проста была, не добра.

— Вообще рыбы мало, бабушка.

— На цё тебе?

— Что «на цё», не понял.

— Рыба-то? Сиди себе цаёцек пей, молоцко подливай. Рыбы нет, а вот щука есть. И малёк. Вон цайки на отмели, видишь? Мальком питаются.

— Чайки у вас как-то деклассировались, бабушка, рыбу почти не ловят, ходят на помойках в Архангельске. Или за теплоходом летят, ждут, когда из камбуза отходы в море выбросят. Попрошайки они стали, ленивцы. Что-то нарушилось...

— Ты наших цаек не тронь. Они умные, как медведи.

— И медведи попадаются разве?

— Как же не попадаться-то. Гуляют они у нас. Прошлый год он телеша задрал, унес, за ним кинулись люди-то, а он телеша мохом забросал в лесу-то, а сам ходу. Медведь, он цто семга, не простой, головой соображает...

НЕ ТОЛЬКО БРАТЬ...

— Мы живем в таком мире, где нет друзей! Нет их, нет, никому не верю, никому, все сволочи!

— Ты тоже сволочь.

— Кто-о? Я?

— Если все сволочи, значит, и ты... А ты забыл свою мать — она тоже сволочь?

— Замолчи! Это святая женщина!

— У тебя нет друзей? А ты сам способен быть другом, а?

— Да, да, я способен, я могу...

— Ой как сомневаюсь я. Это ведь не только брать, но и отдавать.

СЛУЧАЙНО ПОДСЛУШАННЫЙ РАЗГОВОР

— Глупо вдвойне.

— Да, но...

— Не «да» и не «но». Ты живешь иллюзорной жизнью. Где еще было так? В какой стране? Нигде и ни в одной.

— Ты слишком резок.

— Дело не в резкости, а в существе.

— Послушаешь умного человека — сам дураком станешь.

— Безудержный и неприличный ты человек!

О чем они говорили — о судьбах России или о ремонте в квартире?

ДОВОЕННОЕ

Закрыл глаза и увидел часть незнакомой комнаты с солнечным, залепленным снегом окном, угол довоенного комода, край свисающей кружевной дорожки, увидел серое платье с воротничком, подрагивание крупных загнутых ресниц, полуулыбку той, которой уже не было на белом свете, явственно услышал запах этого платья, шерстяной материи, и вместе почувствовал блаженно-нежный вкус полных губ с ликующим отчаянием юного, почти горького счастья. А где-то в другом углу комнаты стоял патефон и крутилась, обдавала нас ветерком нежности пластинка нашей юности, наивная пластинка с наивным названием «Брызги шампанского», которую она разбила однажды в приступе капризной ревности и осколки бросила мне под ноги со словами: «Возьми их на память от той, которую ты не любишь». И сколько же лет было мне? Семнадцать? И где крутилась эта патефонная пластинка? На квартире у кого-то из моих школьных друзей, тех друзей, которых не осталось в живых после Великой войны.

«Только это,— подумал я, задохнувшись от тоски по той прожитой жизни, по той довоенной комнате на Пятницкой, где позже я никогда не бывал.— Только то, прошлое, школьное, мнилось, забытое, с той юной любовью. С той мукой ожидания. Она со мной навсегда»...

БЕЗНАКАЗАННОСТЬ

В июле того незабвенного сорок первого года тяжело булькающий звук нагруженных немецких самолетов в ночном небе под Смоленском был звуком тупой угрозы и безнаказанности чужой силы и болью нашего бессилия.

ОПЯТЬ

И опять мне снилось Замоскворечье, этот земной рай моего детства.

Мне снилась комнатка, полная темным весенним сумраком, тесно заставленная старой мебелью, с тем милым запахом уюта от этих старых вещей, от комода, от дивана, от сундука, на котором я когда-то спал, и я видел старушку возле окна, выходящего на тихий задний дворик, старушку с добрым лицом моей бабушки, в черном платке, она смотрела на золотящийся над крышами сараев крест церкви в Вишняковском переулке, четко видимой куполами на апрельском закатном небе, и крестилась тихонько, чуть наклоняя голову, без слов кого-то умоляя пощадить нас, последних, еще оставшихся в живых, не верующих мальчишек, замоскворецких голубятников, воевавших где-то на подступах к чужому Берлину.

И еще видел я странное: сказочный храм, похожий на синий дворец (некий голос говорил мне, что он носит имя моего погибшего старшего брата), то ли строился, то ли восстанавливался за нашим двором, храм невероятной высоты и размеров, с белыми красавицами колоннами, уходящими в стеклянную легкость неба...

НАДЕЖДА

Только что приехав в санаторий, внезапно поссорились (жаркий номер, высокий этаж, нет телевизора), и, рассердившись, она лежала на бархатном диване, листала чешско-русский разговорник, а он в раздражении вышел на балкон, догоряча нагретый солнцем, откуда виден был весь игрушечный курортный городок с очертаниями гор вдали. Снизу шло мягкое тепло от земли, от подстриженной травы на английских газонах, от столетних платанов,

достигавших вершинами шестого этажа. И тут он увидел внизу, на асфальте, меж этих аккуратных газонов коляску с больным. Ее выкатила из подъезда санатория девушка в белых брюках, в розовой блузке, юная, тоненькая, выкатила на теневую сторону парка (тень падала от платанов), повесила свою сумочку на спинку коляски и стала помогать больному приподняться. Он медленно зашевелился в коляске, делая усилия, и можно было разглядеть, что он немолод, лыс, в очках, остатки седых волос неопрятно топорщились на затылке.

С неимоверным напряжением, с остановками, опираясь дрожащими руками на костыли, он все-таки поднялся с коляски и, видимо вконец обессилев, долго стоял, отдыхал, поддерживаемый девушкой, как бы весь обвиснув на костылях, углом оттопырив локти. Девушка наклонилась, сказала ему что-то, и он неуверенно сделал маленький шаг левой ногой, слегка подался вперед, подволок правую ногу и опять несколько минут отдыхал, наверное, справляясь с зашедшимся сердцем, набираясь сил, затем снова переставил левую ногу, осторожно передвинул костыли и подволок правую.

Сверкая на солнце лакированными спинами, подъезжали к стоянке неподалеку от санатория машины, хорошо одетые люди шли к подъезду следом за швейцарами, несущими чемоданы, косились в сторону человека на костылях — и девушку смущало это, она украдкой оглядывалась на приезжих, на балконы санатория, стесненно поправляла волосы, виновато улыбаясь. Кто была она? Медсестра? Жена его? Дочь?

А он, дрожа спиной и локтями, вроде бы ничего не видел вокруг, углубленный в самого себя. Он был весь в том немыслимом преодолении боли, безнадежности пространства, тех сантиметров земли, что казались бесконечными, многомиллионокилометровыми пространствами вселенной, на краю которой слабо брезжило обманчивое обещание...

— Что ты стоишь там? — сказала сердито жена, отбрасывая на тумбочку разговорник.— И что молчишь?

Не отвечая ей, он по-прежнему смотрел вниз на человека, волочащегося на костылях по асфальту, на красивую коляску с сумочкой, оставшуюся метрах в двух за его спиной, на тоненькую девушку в белых брюках, терпеливо продвигающуюся за больным,— смотрел на эту титаническую борьбу, на эти страдания, на эту

молчаливую муку и мольбу к надежде и думал, как многое в нашей жизни по сравнению с этим ничтожно, вздорно, постыдно.

— Как страшно,— услышал он вздрогнувший голос жены, вышедшей на балкон, и поразился ее взгляду, устремленному вниз, туда, где надежда шла рядом с безнадежностью.— Нет, нет,— сказала она поспешно и ткнулась лбом ему в плечо.— Нет, нет...

3

ПАРИЖ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

Утренний воскресный Париж тих, безлюден, улицы чисты, пустынны. Все еще спят за плотно закрытыми жалюзи, за розовеющими занавесями мансард, как спят и машины у обочин тротуаров, под платанами. В их сыроватой тени успокоенно поблескивают, не отражая будничную толпу, витрины закрытых магазинов, и за опущенными предохранительными решетками ювелиров, за зеркальным стеклом уютно дремлют драгоценные портсигары, золотые кольца, роскошные ожерелья, как-то потерявшие свою нужность в безмолвные часы человеческого покоя вместе вот с этими на ночь брошенными машинами возле темноватых подъездов домов.

В уже открытых уличных кафе все столики по-раннему сдвинуты, стулья перевернуты — посетители редки: Париж спит часов до одиннадцати.

Ближнее кафе, куда я зашел купить сигареты, еще не заполнено, лишь трое посетителей пьют кофе подле стойки.

В углу дремотно шуршит еле уловимая музыка, сам же хозяин, толстенький, добродушный, механическим ножом режет только что принесенные девушкой из соседней кондитерской длинные хрустящие булочки, подмигивает серьезному молодому человеку в цветной рубашке, с тонкими усиками на смуглом лице; хозяин говорит, намекающе улыбаясь:

— ...Ее оставил в постели? Выпьешь чашечку и опять к ней? Завидую тебе, Жан. Я уже старик для этой забавы. Мои воскресные утра — вот с булочками, и слава богу...

Высокая девушка, принесшая булочки, проворно моет бокалы и смеется, суженными глазами поглядывая

на хозяина, на молодого серьезного человека, говорит не без вызова низким голосом:

— Ты только не замучай ее, Жан. Я думаю, ты все делаешь очень серьезно. Ты очень деловой парень, Жан.

Молодой человек молча кладет деньги на столик и, не изменив выражения лица, выходит, засунув руки в карманы узких джинсов, обтягивающих его спортивный зад.

Я тоже выхожу из кафе и иду по утренним парижским улицам, радуясь тишине, пустоте их, и своей затерянности, и своему свободному одиночеству.

А в полдень Париж напоминал южный город знойной, почти летней духотой; на Больших Бульварах сочно зеленели платаны, было многолюдно, пестро, шумная толпа обтекала, окружала какую-то испанского вида женщину с резко подведенными глазами, гадающую по линиям ладони нагловлицему подростку, в этой же толпе смеялись, кричали, советовали, а возле огромных реклам кинотеатра «Парамоунт» продавали жареные каштаны, распространявшие с горячих листов железа манящий запах; на краю тротуара, не обращая ни на кого внимания, нежно целовались два лохматоволосых существа в длинных пальто и джинсах, а вокруг жаркое сверкание машин, гарь выхлопных газов, газетные киоски, так густо, плотно завешанные цветными обложками дешевых выпусков детективных романов, иллюстрированных журналов с роскошными телами и ликами манекенщиц, что в глубине киосков за этой завесой едва виден позевывающий от духоты продавец; в кинотеатре «Нептун» шел порнофильм «Моргана и нимфы»; на площади Клиши — другой фильм «Эротика Парижа», на плас Пигаль — кинотеатр ужасов: террор, Дракула, женщина-вамп; неподалеку маленький магазин «секс шоп», где в академической тишине молчаливые люди разных возрастов, не подымая глаз, неторопливо просматривают, внимательно листают книги, посвященные вариантам и вариациям любви; игральные бары с разными установками — от имитированных автомобильных гонок до снайперских винтовок, нацеленных в силуэты; здесь можно купить искусственный «вибратор» для больных женщин («самый эластичный, самый гигиеничный»), популярные пластинки и посмотреть через глазок фильм-стриптиз, опустив франк в автомат; рядом с барами дорогие витрины, кричащие модными сорочками, костюмами, элегантными галстуками, самодовольные ювелирные магазины, блистающие золотом и бриллиантами, как сама пресыщенность; вблизи этого богатства

непроспанные, накрашенные девочки выглядывают из подъездов с протяжным призывным «Алю-ю-у?»; вблизи подъездов молодые люди с курчавыми височками сутенеров вкрадчивой скороговоркой предлагают некие адреса; под тентами уличных кафе, за столиками, покрытыми красными и белыми скатертями, сидят и лениво, протяженно пьют аперитив, оранжад, кока-колу, минеральную воду, при этом с равнодушным любопытством глазеют на проходящую мимо толпу, что, в общем-то, так привычно для парижан, непонятно когда работающих, бывающих в семье, со своими детьми; пожилые дамы высокомерно гуляют с собачками, одетыми в яркие жилеты; шоколадные гибкие красавицы-мулатки особенно выделяются в толпе женственно-узкой раскачивающейся походкой; толкаясь на углах, тонконогие, высокие негры поглядывают на них вожделенно; группы седых некрасивых американок то и дело щелкают фотоаппаратами, выказывая смехом вставные зубы; легкий ветерок духов, сладковатый запах мустажа; а вот букинистические киоски на берегу Сены с самым немыслимым разнообразием выставленных здесь репродукций и книг на прилавках, постоянно окруженных парижскими библиофилами, и совсем рядом, как величие и бессмертие, уходят к небу готические башни Нотр-Дам — внутри звучат великолепием фуги Баха, идет воскресная месса, бледные, углубленные лица в торжественном полумраке собора, любовь, жизнь, смерть в блеске свечей, распятие, изображение белоснежного голубя, прохлада от вечного камня... А по соседству с Нотр-Дам, на Сите, под жарким апрельским солнцем, в тени зеленых платанов,— маленький птичий рынок, веселый, яркий, как-то по-детски шумный: легкомысленные желтые попугайчики в клетках, степенные косматолапые голуби с бирюзовыми глазами; тут же беспрестанно жуют, стремительно двигая носами, кролики; красные галльские петухи вдруг вскрикивают с яростным рыцарским вызовом при одном лишь мимолетном взгляде друг на друга; всюду детские лица, смех, сияющие глаза, везде солнечные просеки меж платанов, за которыми неподалеку уносится ввысь Нотр-Дам; радостный щебет птиц, воркование голубей, говор стариков продавцов, даже непримиримая воинственность петухов придают этому дню нечто мирное, весеннее, чистую неизбывность молодости, милую пестроту жизни многомиллионного города с его теплым светом, который до сладкой боли напоминает мне мое детство в заросших липами замоскворецких переулках, вовсе не-

похожих на Париж, с русской летней прелестью ласкового солнца в еще прохладных задних дворах, с возней голубей в нагульниках, пронизанных через щели золотыми солнечными нитями, с чириканьем воробьев в сараях, неповторимо приятно пахнущих березовыми дровами, жареной коноплей и перьями — запахами моего детства.

ВЕНЕЦИЯ

Мчались по прямому шоссе мимо беленьких бензоколонок, гигантских рекламных щитов, предлагающих самое вкусное пиво «Перони», особо комфортабельные фордовские машины для Европы, мимо сияющих, как радиальные золотые лучи, лимонно-желтых ракушек «Шелл», шестиногих драконов, изрыгающих из пасти красное пламя, этих символов высокооктанового бензина, проносились мимо гостеприимных придорожных ресторанов, словно бы отъединенных от городков, видневшихся справа и слева на холмах вокруг острокровельных средневековых замков, ярко залитых вдали солнцем; и нежно, по-весеннему сверкала трава, серебристо блестели в полях листья олив; а в зелени полей, подобно трубам дредноутов, дымили заводы, дым висел, растягивался туманцем над садами, светился в воздухе над ровной весенней долиной — и вскоре появилось чувство раздражения против нескончаемых этих современных заводских эскадр на благостно обетованной, обласканной когда-то богом древней земле.

Но это чувство прошло в Венеции, исчезло надолго — и любовная тихая радость, ощущение юности, ясного прощения всему не покидали меня, когда вечером, усталый, с приятно горящим от солнца, воды, морского воздуха лицом, глядя на огни в храмах, во дворцах, темневших из воды, я возвращался на переполненном пароходике к пристани, где на набережной находился мой отель.

Если бы люди не отчуждались, соблюдали высоту чувств, влюблены были в прекрасное и уважали художников, то Венеция стала бы городом поэтов, писателей, живописцев, актеров, центром кипящего искусства; здесь писались бы романы, поэмы, создавались драмы, выходили разного направления газеты и журналы, в маленьких ресторанчиках на набережных собирались бы литераторы, и за бокалом легкого мартини велись бы споры о

судьбах слова, о последнем романе Моравиа или Леонова, о пьесе Беккета или фресках Микеланджело.

Как хорошо, наверное, было бы пройтись утром по пустой, еще слегка влажноватой площади Святого Марка, где уже завтракают туристы в открытых кафе, с удовольствием шагать по ее брусчатнику, несколько устав от многодневной работы в какой-нибудь снятой мансарде, особенно грустной, уютной, безмолвной по вечерам, освещенной закатом, когда чуть розовеет вода в каналах, еще не зажигаются огни в домах и благовестная тишина стоит в светло тлеющем небе, на мостах и воде, спокойной попредвечернему, с бесшумным скольжением гондол меж старинных, заплесневелых стен, погруженных в сумеречно-лиловатую тень пустынных двориков, выходивших на каналы; каналы как улочки, в глубине которых, напоминая о жизни обыденной, по-мирному развешано белье, и окна домов распахнуты, впуская счастливый покой заката.

Мне казалось, что в эти часы неторопливо и радостно работалось бы здесь.

В солнечный весенний день Венеция блестит темнозеленой водой каналов, белизной далеких за пространством воды дворцов, набережные переполнены молодежью, праздными туристами — смех, крики, зазывающие голоса красавцев гондольеров в широкополых шляпах; на площади Святого Марка тучи голубей мелькают над храмом и Главным каналом, опускаются с шумным треском крыльев, снуют под ногами с такой безбоязненностью, что опасаешься наступить на этих полновластных здесь хозяев суши; заменяющие такси моторные лодки, потрескивая, идут в разные стороны по каналам, нагоняя волну, которая колышет мусор, обрывки газет, бутылки, апельсиновые корки, обмывает каменные морды львов возле подъездов; из-за поворота этих сказочно мощенных водой улочек, в каньоне домов громко раздается предупреждающий крик гондольера, и тотчас на повороте за мостиком, аркой нависшим над головой, щелкнет внезапно фотоаппарат, и смуглый — весь извинительная улыбка — парень, не без любезности снявший вас со встречной лодки, бросит в гондолу свернутую бумажку — свой адрес, на тот случай, если вы захотите взять фотографию, повсюду из открытых окон слышится смех, молодые голоса — и оттуда, улыбаясь, выглядывают приветливо юные лица (блестящие глаза, белые зубы, черные волосы), из окон машут вашей гондоле руками с выражением давних знакомых,

Город давно привык к чужестранцам и относится к ним с ласковым радушием; да, здесь все необычно, радушно: и узкие улочки в центре города, где идешь, точно по лабиринту, меж вывесок баров, витрин крохотных магазинов, чересчур оживленных, излишне ярких, цветистых даже, рассчитанных на любопытный глаз туриста; мосты через каналы, закоулочки, тихие площади. где как будто от века стоят храмы и памятники; и тут же детские коляски, толкаемые молодыми матерями, кажущимися в коротких юбочках чрезмерно длинноногими; возбужденные, потные мальчишки с криком, брызганьем, толкотней пьют прямо из фонтанчика посреди газона; и незаметная на углу афиша французского кинофильма «Женщины»; и стрижи в сумерках площади с писком садятся на карнизы храмов; и брусчатник, успокаивающий своей древней прочностью; и каналы, каналы, мутноватая зелень воды, запах сырости и плесени от стен, омываемых водой сотни лет,— все это наводит на мысль о людях с воображением мечтателей, когда-то построивших в морской лагуне сказочный город.

ГОРОД АРНХЕМ, 100 КМ ОТ АМСТЕРДАМА

К вечеру въехали в этот городок, сплошь в деревьях, провинциальный, осенний, засыпанный мокрыми листьями, и сразу же поразил яркий свет незашторенных окон — зажигались люстры, торшеры, бра в гостиных, и этим светом повсюду открытая глазу жизнь семейная, домашняя как бы вынесена была на улицу.

Еще в Амстердаме мне объяснили, что «открытые окна» возникли в конце первой мировой войны, когда стали строиться дома новой архитектуры.

Мы остановились в маленьком «Рейнотеле», таком милом, курортном, таком тихом, что было странно и приятно осеннее его безлюдье после многолюдного амстердамского аэропорта, после часовой езды по сверх меры бойкой автостраде.

Уже заполняя регистрационные листки в вестибюле отеля, устланном мягчайшим ковром, заглушавшим шаги, мы слышали отдельные голоса из ресторана, красновато освещенного настольными лампами, звуки пианино — кто-то негромко играл вальс из кинофильма «Доктор Живаго».

Потом портье, немолодой, воспитанно-вежливый, с улыбкой выхватил никелированные ключики, вставленные

в гнезда на стойке, и, продолжая улыбаться, взял наши чемоданы, повел к лестнице.

В номере он зажег свет — и здесь ослепили зимней белизной два конверта постели на двуспальной кровати с ночниками в изголовье; портье поставил чемоданы, показал, деликатно приоткрыв дверь, ванную, сияющую кафелем и зеркалами, нежно желтеющую мохнатым ковриком на полу.

С некоторым усилием я развернул тугой конверт-постель, и прохладная, будто хрустящая чистотой простыня, стерильный пододеяльник, пуховое лоно подушки поманили неодолимо...

Как показалось мне, проснулся я ночью от мычания коров. Где я нахожусь? Что такое? Занавеска на окне выделялась лиловым квадратом: наверное, забыл потушить бра в коридорчике и занавеска озарена из открытой двери передней. Но это были неяркие лучи ноябрьского утра.

Я отдернул занавеску. Внизу, омывая террасу летнего, закрытого, видимо, до начала сезона кафе (составленные под навес пластиковые столики блестели лужицами холодной росы), тек в долине Рейн, темно-свинцовый, с песчаными пляжами, по которым бродили взъерошенные ветром чайки. На том берегу, невидимые, мычали коровы; зеленели луга. Слева выступал на пасмурном небе устремленный в дождливые тучи костел, рядом мокро мерцала площадь, где не было ни души. Справа над террасой летнего кафе — огромные стекла полукругло висевшего над берегом ресторана, там, за стеклами, двигался причесанный мальчик-официант в черном костюме, расставлял приборы на столиках.

Потом завтракали в этом ресторане с видом на Рейн, на его луга; мы сидели здесь совершенно одни, и очень быстро в турецких кофейниках были принесены кофе, молоко в крошечных металлических сосудах с будто бы птичьими носиками, ягодный джем, пластинки масла в золотой обертке, свежая ветчина, ломтики белого и черного хлеба в целлофане.

Мы испытывали какое-то сытое умиротворение в этой успокаивающей утренней тишине ресторана, согретые горячим кофе, наслаждаясь сигаретами после завтрака, мысли были ленивые, скучные, как осенний дождь, который начал сеяться из низких туч, застилая серым туманцем и неприютные пляжи Рейна, и чаек, и костел посередине пустой площади...

Все-таки есть особая, красивенькая тоска в курортных европейских провинциях осенью.

В КУРОРТНОМ ГОРОДЕ

Праздная толпа текла по набережной, мимо витрин открытых магазинов, седые мужчины с благородными лицами патрициев, дамы со следами хищной красоты, нестеснительные старые немки с неаккуратными зубами, хорошо причесанные молодые люди в кремовых брюках, длинноволосые девицы в джинсах, обтягивающих толстые бедра, педантично выбритые актеры, бородатые журналисты в замшевых шортах, веселые девочки с тощими попками подростков, дорогие проститутки, нацеленные мощными бюстами в воображение состоятельных стариков в модных тирольских шляпах, и эти старики с водянистыми ищущими глазами — то была обычная беззаботная толпа курортного немецкого города, куда приезжала на воды, на отдых денежная публика, останавливалась в современных отелях, комфортабельных пансионах, тратила деньги, играла в рулетку, забавлялась любовью, а утром, перед обедом и вечером пила водичку, в воскресные сумерки слушала музыку на галерее, прогуливалась по дорожкам парка, пожевывая лечебные вафельки, пропитанные сладкой солью.

Эта вечерняя толпа светски шумела, наслаждаясь прохладой, смеялась, шла куда-то в своем нерушимом ничегонеделании, а я бездумно сидел на скамье под старыми каштанами, смотрел на ту сторону канала, где дома освещены мягким предзакатным солнцем, и все там было полетнему — открытые окна, двери балконов, легкие тюлевые занавески, стекла мансард, лепные карнизы, цветы на подоконниках,— все безмятежно, тихо, умиротворенно, как было и сто, двести, триста лет назад, в другое время, в другой век, неторопливый, добрый, да, да, все осталось так же по-курортному, только толпа на набережной, пестро плывущая мимо магазинов, ресторанов и баров, была, вероятно, одета несколько иначе, чопорнее.

Наверное, как в тот благословенный век, около моста в прозрачной воде шевелила против течения розовыми плавниками форель, иногда слепяще сверкала чешуей, играя в быстрых струях над каменным дном, и тогда брызгало из воды тяжелое серебро.

И непривычный для русского этот городок курортной скуки, нарядного безделья, музыки, отдыхающей толпы,

по-европейски шарообразно подстриженных каштанов, старинных вилл, затерянных в зелени за железными оградами, и мое вынужденное лечебное пребывание в чужой стране — весь этот успокоительный обман точно ласково требовал забыть недавнее, печальное, что мешало мне жить.

Я смотрел на другую сторону канала, но сейчас не видел ничего, кроме московского ненастного дня, сереющего в окнах дома скорби.

...Когда я вышел от патологоанатома, врача, делавшего вскрытие, и спустился по лестнице в мрачный коридор морга, там, у темной стены близ закрытой двери, я сразу увидел ее, боясь этого и не веря.

Она лежала на каталке, одетая в какое-то цветное платье своей молодости, свесив одну руку, по-девичьи красивая, тонкая, какой я помнил ее в моем детстве, с белыми легкими волосами, лежала одна, совершенно одна — моя бедная мать, навсегда отдаленная от меня таинством смерти, и только тут я понял, что самое страшное в прощании с земным — это ледяное одиночество морга, первая ночь в царстве молчания, без голосов и лиц близких.

...Потянуло ветром, зашумели каштаны, зашевелились тюлевые занавески в открытых окнах домов на той стороне набережной, и вверху, над черепичными крышами, над флюгерами и шпилями раскрылось перед закатом летнее небо с пронизанными солнцем чистыми облаками, напитанными нежной легкостью, любовью, будто родным дыханием моей матери, которой уже не было на земле.

ЩЕГОЛ

Щегол всю свою птичью жизнь поет одну и ту же песню — одного и того же содержания, однако каждое утро и на закате поет неистово, с одержимостью гения. И все же соловей — гений, щегол — талант, сорока — почти бездарность. Но, вернее: щегол талантлив только в прекрасную пору раннего летнего утра и всегда неповторимого конца дня, прощаясь на целую ночь с солнцем.

СЛАВА

Хрупкий талант всегда преувеличивает личную известность. Подлинный талант постоянно сомневается в своей

славе. Слава же гения рождает легенды, и это есть настоящая слава, равная бессмертию художника при его жизни.

— Как же «Тихий Дон»! Вот сила-то, вот правда-то! Вот мощь-то где! Да эта книга вроде одним человеком написана, а некоторые слова — ну прямо всеми русскими людьми подсказаны,— до того горькие места есть, когда смерть Натальи или Аксиньи читаешь... тут он рядом с Львом Толстым, только один дворянин, а другой — самородок из народа. Не знаю, верно, нет, а говорят: удил он рыбу однажды, там у себя, на Дону, поплавок нырк под воду, и опять — нырк, и леску кругами повело, удилище изогнулось. Ему кричат: «Дергай!» Не слышит. «Дергай!» Опять не слышит. Потом вдруг спохватился, бросил удочку, а сам оглядывается, как во сне, смотрит и никого не видит, взобрался на берег и — бегом бечь домой! Прибежал, заперся у себя и несколько дней не выходил. Вдохновение, значит, нашло. Верно это рассказывают, нет — не знаю, а такую книгу холодной душой написать нельзя.

ЗАВИСТНИК

Он завидовал всякому успеху своих коллег, в то время как сам жил беззаботно, вкусно ел, сладко пил, жил легко, денежно, писал пошло, однако имел популярность и сумасшедших поклонниц.

У него было все, кроме одного — отсутствовал природный дар. Этот главный недостаток он ловко подменял способностью скворца: имитировать услышанные звуки, осовременивать забытое, изменять или не закавычивать чужие цитаты. Сам же он был подвижником штампованной истины, то и дело разрушаемой коллегами с целью «выпендривания» (так он беззлобно острил в домашних компаниях, улыбаясь снисходительной улыбкой гения, знающего во всем толк).

Всякий новый талант приносил ему тоску собственных похорон, тайное страдание, скрытое внешним восторгом.

Обладая малыми способностями, он без особого труда выжал из них достаточное количество купюр, сытых развлечений, удобств, приятных вещей, окружавших его ежедневно. Он не раз ощущал наслаждения жизни, давшей ему незаслуженно много благ... но почему он так завидовал непрактичным рабам, каторжникам искусства?

ЗВЕЗДНЫЕ ЧАСЫ ДЕТСТВА

Вот начало этого настроения: «На западе прозрачным леденцом стояла меж стогов сена луна, и длинный хвост Большой Медведицы опустился к побелевшему востоку. Уже выпала роса. На речных заводях в блаженном упоении стонали лягушки...»

Когда я видел и чувствовал все это? Я представил тишину, околицу деревни, звуки летней ночи и в этой ночи увидел себя на берегу реки, босого, невыспавшегося, счастливого от ожидания рыбалки. На моем плече елозила, давила тяжесть влажного весла (всю ночь лежало в траве), другое весло нес мой брат, и мы спускались к заводи, где под откосом в еще сумрачной тени деревьев чуть-чуть покачивались лодки и ласковая волна мягко шлюпала у просмоленных днищ. Я ощущал босыми ногами сырость песка и видел, как вода возле камышей трепетала и переливалась в розовеющем свете зари.

И вот это раннее летнее утро до сих пор связано с иной радостью, как бы рожденной самой рекой, зарей, деревьями, холодным песком,— полуметровые язи с огненно-красными плавниками, сильные, упругие, рвались на леске перетяга, который мы поставили вечером, и боролись с нами, и выскальзывали из рук, эти круглоглазые красавцы темных речных глубин, покрытые рыцарским золотым панцирем. Они лежали потом на дне лодки, туго ударяя хвостами, и чувствовал я какой-то священный восторг при виде этой пойманной красоты и вдыхал в себя первозданный запах ила, запах обмытых омутной темью коряг, где недавно царствовали они, толстоспинные и самоуверенные властелины вод.

Щекотно-сладостное чувство ловца, охотника я переживал в детстве не однажды, и всякий раз счастливое ликование победы охватывало меня. Возможно, токи древних предков пульсировали в моей крови, напоминая о том первобытном времени, когда само существование рода человеческого зависело от удачной охоты.

И все же я испытывал наслаждение не от добытой ловом пищи, а от силы красоты, заключенной в той холодной упругой плоти красноперых язей, что уж никак не преобразовывались в моем детском сознании в нечто имеющее вкус, запах еды, необходимой человеку для продолжения жизни. А было восторженное удивление перед пойманными живыми золотыми слитками, сказочными знаками всего того летнего утреннего мира...

ЕДИНОЕ

Мир разноязычен, но все люди одинаково́ плачут и одинаково смеются.

СВОБОДА

Когда человек судорожно держится за жизнь, он находится в мучительном телесном рабстве. Когда же исчезает алчное насыщение жизнью, наступает свобода от страха смерти. И тогда человек свободен безгранично.

ЗАЧЕМ?

Как только возникает этот вопрос («зачем?»), жизнь становится невыносимой в своей ничтожной суете, ненужности придуманных кем-то обязанностей, в никчемности волнений, необязательных встреч, пустопорожних разговоров, лицемерных застолий, ложной веселости общений.

И, понимая это, преодолевая терпкую горечь от сознания бессмысленности этих движений, ненавидя себя, мы делаем тем не менее то, что не имеет никакого значения для истинного бытия. Чаще всего мы не жалеем впустую потерянных часов, дней и лет, утратив оценку разумных мгновений нашей жизни, заменив золото глиной.

«КАК БУДТО»

Этот диалог я слышал на экзамене в университете.

— Вы сказали «как будто»? Позвольте, позвольте... как будто вы мне отвечаете, как будто я вас слушаю и как будто ставлю вам двойку...

— Неужели, профессор, двойка?

— Не-ет. Это — как будто.

Не так ли и в литературе складываются отношения между писателем и критиком?

НАПИСАННОЕ

Когда-то увиденные мною в жизни сцены, а вследствие этого и возникшие ощущения мучительно «сидят» в моей памяти до той поры, пока с большими потерями точности и красок я не перенесу их на бумагу.

Но как только я освободился от этих засевших в памяти картин и определенного настроения, быстро наступает облегчение, хоть и не до конца удовлетворяющее. И после этого все, что действительно было в реальности, воспринимается мною лишь через написанное, через зафиксированное на бумаге,— и я уже не возвращаюсь больше к использованной памяти, несмотря на то, что отраженное на страницах книги явно не равно бывшему когда-то на самом деле. Удалось ли мне передать осенний Днепр в «Батальонах», или «воздух» возвращения в «Тишине», или сумасшествие боя в «Горячем снеге», но теперь я избавлен от некоторых ощущений, воспоминаний, связанных с этими событиями моего прошлого.

ДАЛЕКОЕ И БЛИЗКОЕ

Стою на тихой улочке Ялты, смотрю на осеннюю листву, нежно пожелтевшую, прощальную, обогретую сентябрьским солнцем, и покойно, благостно у меня на душе.

А под ногами упавшие на тротуар переспелые каштаны раскололись, колючий панцирь раздвинулся, обнажив отполированное ядро, и вдруг чувствую: такое же освещение, такой запах, такое теплое веяние горьковатого воздуха было уже когда-то в моих далеких ощущениях, все это приносит мне грустное наслаждение, как мечта о неясной радости, как воспоминание о незавершившейся любви юности.

В последние годы случайное повторение давних чувств, тончайших оттенков настроения, особенно в погожие осенние дни, почему-то подолгу не выпускает меня из обвораживающей власти.

Более всего удивительно, что подобное состояние я испытывал еще в раннем детстве, глядя на плывущий мимо белых фонарей снег, на синие лужи после грозы, на ворохи сухих листьев под обдутыми октябрьскими ветрами заборами или слыша стук ее коньков по деревянному настилу, когда она, стройно покачиваясь, с улыбкой выходила из раздевалки в своих серебристых «снегурочках» на вечерний лед оживленного катка...

ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ

Я благодарю судьбу за то, что она избрала меня не легким перышком, летящим по ветру моды, а каторжником в желанных кандалах призвания.

Какое наслаждение наблюдать, думать, чувствовать и ощущать волнение пришедшей мысли, какая мука ловить ритм фразы, испытывая порой отчаяние от неподатливости слов, диалога, целой сцены, от непостижимости красоты сущего, какая особая радость пронзает тебя от блеснувшего огонька поезда на дальних путях в дождливые сумерки, или при цветении старых каштанов в переулках южных городов, или при виде праздничной весенней толпы Арбата, при звуках музыки на бульварах, которую я слышал в детстве и помню до сих пор.

Ни с чем нельзя сравнить удовольствие видеть в потоке толпы выражение разных человеческих лиц, разнообразие и сходство фигур, походок, костюмов, причесок, жестов, изучать все это со стороны, впитывать в себя жадно, воспринимая каждое лицо человеческое либо с любовью, либо с неприязнью, и воображать чужую жизнь.

ТАЙНА

Что же это? Опять хочу убедить себя, что смысл искусства в вечной погоне за истиной и красотой? Но мы не можем знать, что̀ определяют в нашей судьбе правда и красота, если не раскрыли для себя сущность их. По-видимому, красота — это признак надежды, цель смысла жизни, ради чего всякий человек рождается на свет.

Если знаменитый греческий Парфенон — образец архитектуры, и мифический Иисус Христос — образец веры, то это символы и метафоры нравственной красоты; тогда, может быть, вся история — это один из множества предложенных случайностью вариантов в поиске главной правды — жестокой красоты.

Не для этого ли познания той и другой красоты дана человеку способность мыслить?

Да, да, познание через мышление к чувству и наоборот. Но в силах ли мы точно исследовать, как возникает мысль? И что такое мысль? Ах, да, движение материи. Ну а что такое движение материи? Как возникает оно? Где его механизм?

Нет, что-то бережет, скрывает и охраняет тайну сердцевины всех истин. Наверное, попытка проникнуть в эту

глубину — действие разрушения, дьявольский соблазн, искушение, что испытывает ребенок, ломая игрушку, добираясь до ее механизма. И не это ли искушение есть литература со всем ее бессилием познать тайну зарождения мысли? Истину или ложь рисует наше воображение? Именно воображение сильнее опыта, и именно оно неисчерпаемым любопытством своим пытается проникнуть в самый центр загадок и пугает и манит нас темной таинственностью нераскрытых поступков будущих литературных героев.

ЛЕС И ПРОЗА

Если в летнем благословенном лесу человек способен испытывать очарование сверкающей зелени, теплых ветерков на полянах, солнечных светотеней, то он не замечает корявых веток под ногами, гнилых пней, безобразного сушняка в чаще.

Все это не портит общего ощущения любви к сущему, и от радости ходить по земле охватывает его душу ветерок счастья, навеянного золотым днем истинной красоты бытия.

Так бывает и в мудрой прозе, которую следовало бы назвать добрым судьей, приведенным к присяге самой жизни.

СТЕПЬ

Иногда я пытаюсь вспомнить свои первые прикосновения к миру, вспомнить с надеждой, что это может возвратить меня в наивную пору счастливых удивлений и смутного восторга, вернуть то, что позднее, уже зрелым человеком, никогда не испытывал так чисто, так пронзительно.

С каких лет я помню себя? И где это было? На Урале, в Оренбургской степи?

Когда я спрашивал об этом отца и мать, они не могли точно восстановить в памяти подробности раннего моего детства.

Так или иначе, много лет спустя я понял, что пойманное и как бы остановленное сознанием мгновение самого высшего счастья — это чудотворное соприкосновение мига прошлого с настоящим, навсегда утраченного с сущей красотой вечного, детского со взрослым, подобно тому как соединяются радостные сны с явью. Однако, может быть,

первые ощущения — неясный толчок крови предков во мне, моих прапрадедов, голос крови, вернувший меня на сотни лет назад, во времена какого-то переселения, когда над степями носился по ночам дикий, разбойничий ветер, мотал, исхлестывал травы под сизым лунным светом, и скрип множества телег па пыльных дорогах перемешивался с неумолчной трескотней кузнечиков, заселивших своим сопровождающим звоном многоверстные пространства, днем выжигаемые злым солнцем до горячей сухости пахнущего лошадьми воздуха...

Но первое, что я помню,— это сырая свежесть раннего утра, обильные травы, тяжелые от росы, высокий берег реки, где мы остановились, видимо, после ночного переезда.

Я сижу в траве, укутанный во что-то пахуче-теплое, мягкое, наверное, в овчинный тулуп, сижу среди сгрудившихся тесной кучкой моих братьев и сестер (которых у меня никогда не было), а рядом с нами, тоже укутанная во что-то темное (ясно помню пуховый деревенский платок на ее голове), сидит моя бабушка или прабабушка, кроткая, тихая, домашняя. Она чуть наклонилась к нам своим телом, как бы согревая и защищая от предрассветного холода (это вижу, чувствую совершенно отчетливо),— и все мы смотрим как зачарованные на чудовищно огромный, малиновый, поднявшийся из травы на том берегу шар солнца, такой неправдоподобно близкий, такой искрящийся в глаза брызгами лучей, весь отраженный на середине розовой неподвижности воды, что все мы в счастливом безмолвии, в затаенной ритуальности ожидания сливаемся с его утренним теплом, уже ощутимым нами на овлажненном росой берегу безымянной степной реки.

И удивительно — как в кинематографе или во сне, я вижу высокий бугор, траву, реку, солнце над ней и нас на том бугре, всех, наклоненных слева направо, темную нашу кучку, укутанную на холодке рассвета тулупами, и бабушку или прабабушку, возвышающуюся над нами,— вижу это вроде со стороны, но не помню ни одного лица. Лишь белое, нечеткое, не лицо, а доброе пятно под деревенским платком ощущается мною, рождая чувство детской защищенности и невнятной умиленной любви к ней и к этой красоте открывшегося на берегу реки степного утра, неотрывного от неясного лица никогда позднее не встречавшейся мне бабушки или прабабушки...

Когда же я вспоминаю этот осколочек полуяви-полусна, то испытываю непередаваемо покойное, охватывающее

меня материнскими объятиями счастье, как будто впереди раскрылась вся доброта мира в тот миг поднявшегося прямо из травы солнца, встреченного нами где-то в пути, в длительном переезде куда-то. Куда?

Странно вдвойне: я помню освещение, запахи, время переездов и ожидание медленного приближения к невиданной обетованной земле, где все должно быть радостью.

И встает из уголков моей памяти серый, дождливый день, большой деревянный дом неподалеку от переправы через широкую реку, за которой на горе проступает какой-то расплывчатый в своих очертаниях город, с церквами и садами, что-то не совсем определенное, нечеткое по предметам, но все-таки большой город.

Я не вижу самого себя — в доме ли я или возле дома. Но представляю мокрую завалинку, резные наличники и истоптанную копытами дорогу — от дома к реке,— и чувствую лепет дождя, и знаю, что меня сейчас позовут, а вокруг в сыром воздухе теплый запах лошадей, сбруи, навоза, запах хлеба — эти удивительные запахи, вечные, как жизнь и движение, томительно беспокоящие меня до сих пор.

Но почему во мне, городском человеке, живет это? Все те же толчки крови степных предков? Уже будучи взрослым человеком, я однажды спросил у матери, когда был тот день, тот дождь, и переправа, и город за рекой; она ответила, что меня тогда и на белом свете не было. А вернее — это кажется так,— она не помнила того дня, как не помнил и отец одной ночи, которая навсегда осталась в моей памяти.

Окруженный темнотой, я лежал на арбе в душистом сене, таком пряном, медово-сладком, что кружилась голова и вместе кружилось над головой черное звездное небо, устрашающе далекое, огромно-бесконечное, какое бывает только в ночной степи, и перед моими глазами колюче шевелились, горели, мерцали, тайнодейственно перестраивались созвездия, и в высотах сияющим белым дымом тек, двумя потоками расходился Млечный Путь, что-то совершалось там, в темных небесных глубинах, пугающее, счастливое, непонятное...

А внизу наша арба медленно переваливалась по степной дороге, и я словно плыл между небом и землей с замирающим от восторга сердцем. Невысказанный восторг вызывало еще и то, что это разверстое надо мной черно-звездное пространство Вселенной и эта чернота летней

степи были туго заполнены металлическим звоном сверчков, неистовым, страстным, и казалось мне, что сверлило пронзительно и серебристо в ушах от царственного блеска распыляющегося Млечного Пути.

И лишь по-земному подо мной лениво покачивалась, поскрипывала и размеренно двигалась арба, пыль мягко хватала колеса, доносилось тихое влажное пофыркивание невидимых внизу лошадей, чувствовался запах сена и приятного конского пота. Эти привычные звуки и запахи возвращали меня на землю, в то же время я не мог оторваться от втягивающего своими необъяснимыми звездными таинствами неба, испытывая неизбывную радость перед непонятным сладостным миром.

«Я всех люблю,— думал я.— И все тоже любят меня. И так будет всю жизнь».

Потом рядом кашлянул отец, и я услышал его голос, заспанное покрякивание, ощутил запах его табака, одежды, знакомый и терпкий; отец, смутно чернея, сел на сене, поглядел по сторонам, на едва белеющую дорогу, осторожно взял винтовку и двинул затвором с легким железным стуком, вынул обойму и протер патроны рукавом. Затем он вполголоса сказал матери, что впереди станица и в ней пошаливают: три дня назад там убили кого-то. Я замер, закрыл глаза. Только через несколько лет я выразил словами тот миг нарушенного равновесия, спросив его, убил ли он сам когда-нибудь человека? И как это было? И страшно ли убивать? И зачем?

В двадцать один год, вернувшись с войны, я этого вопроса отцу уже не задавал.

Но и никогда потом в жизни не повторялось того единения, слиянности с небом, того немого восторга перед всем сущим, что испытал тогда в детстве.

ТАЛАНТ И СЛАВА

Бывает, что в литературе подолгу живут книги несуетливого писателя, однако нет у него ни громкого имени, ни славы.

Бывает, что есть слава и имя, но нет таланта в трудах знаменитости — солидная, так сказать, денежная купюра, не обеспеченная золотым запасом.

В период «массовой культуры» чрезвычайно редко встречается писатель счастливого соединения имени и таланта, таланта и славы, заслуженной книгами,

В ТАЙГЕ

На моторке переправились на правый берег Тунгуски. Здесь нас ждал эвенк Иосиф Васильев, маленького роста, крепенький, в зимней примятой шапке, в пиджаке поверх довольно заношенного свитера. Держа на ремне двух лаек, он стоял, раздвинув ноги в резиновых сапогах; защитного цвета аккуратные галифе, меховая шапка придавали ему нечто солдатское; широкоскулое молодое лицо спокойно от привычной внутренней сдержанности и вместе с тем дружелюбно. Ни искусственной приветливости, ни заученной улыбки, ни оттенка предупредительности или заискивания — ничего этого, фальшивого, что бывает в общении иных проводников, не было в облике Иосифа.

— Дластвуйте,— сказал он, докуривая неспешно.

Он пожал нам руки коротким сильным пожатием — кисть у него была тонкая, сухая, и, спросив нас, готовы ли мы, пошел вперед с собаками.

Мы двигались по протоптанной охотниками тропе, что подымалась в гору, в тайгу, вскоре начались болотца, заросшие травой; резиновые сапоги уходили во всасывающую топь, ноги вытягивать из этой жижи приходилось с трудом; ружье пружинисто цеплялось за нависшие над головой сучья, они трескуче ломались возле самого уха, до отказа набитый рюкзак все тяжелел и тяжелел на плечах, тропа уже была еле заметной и, меняя направление, извивами вела по тайге, которая колдовски втягивала нас в себя, серовато-желтая, влажная, буреломная под бледным октябрьским солнцем.

Потом я шел, весь в поту, сняв шапку, видел перед собой бугром покачивающийся рюкзак Сергея, он тоже снял шапку, голова его, мокрая, словно дымилась; а далеко впереди размеренно шагал Иосиф с собаками — мы не успевали за ним.

— Невский проспект,— выговорил с усмешкой Сергей,— имеет место...

К реке Светлой брели через бесконечную марь, никакой тропинки здесь не было, и меня шатало от усталости, бросало при каждом шаге из стороны в сторону, с кочки на кочку, будто выламывало ноги, и ждал я теперь лишь одного: поскорее, поскорее выйти из этой дикой, вымотавшей нас полутрясины.

Спустя час увидели Светлую. Она текла внизу, тихая, первозданно прозрачная; хорошо была видна мотающаяся зелень водорослей, белела между ними донная галька; мы

спустились, хватаясь за сучья, к воде, перешли ее вброд и, медленно выбравшись на откос другого берега, наконец сделали привал.

Сбросив рюкзаки, приставив ружья к деревьям, мы (я и Сергей) обессиленно присели на поваленную березу, проводник же наш постоял немного, с наслаждением выкурил папироску и отправился дальше поискать след зверя, ибо, по его наблюдениям (заходил Иосиф сюда несколько дней назад), где-то рядом должна быть «берлог» Амикана-дедушки. Эвенк углубился в тайгу вместе с собаками, а мы всё сидели, глядя на Светлую, текущую в желтых крутых берегах, среди первобытной тишины предсумеречного часа осенней тайги. Неужели я еще когда-нибудь увижу все это?

Вдруг впереди отдаленно треснул выстрел, секундное безмолвие — и тут же второй выстрел прокатился по тайге.

Мы встали, прислушались.

— Все, — сказал Сергей.— Конец медведю. Стреляли жаканами.

— Не может быть,— сказал я, не поверив.— Так быстро?

— А ты думал как? Первый выстрел из карабина дал Иосиф, когда зверь вылез. Вторым выстрелом добивал мишу.

— Медведя? Так быстро?

— Наткнулись. На берлогу.

— Это сохатый. В него, наверно, стрелял Иосиф. Я видел, когда к воде спускались, Иосиф показывал его следы и лежбище на берегу. Свежее лежбище. Трава еще не поднялась.

— Держу пари — медведя взял. Без нас,— сказал ревниво Сергей.

— Но почему он не приходит оттуда?

— Свежует. В течение получаса надо свежевать. Так что готовь костер, шашлык сейчас делать будем.

Иосиф вернулся, должно быть, минут через сорок, молча бросил к костру двух больших жирных уток, затем привязал своих лаек к молоденьким елям (лайки мгновенно положили морды на вытянутые лапы и затихли), так же молча присел на поваленную лесину подле костра, лицо его по-прежнему ничего не выражало, закурил крепкую папироску «Север»; казалось, он совершенно не чувствовал усталости, только черные височки, видимые из-под шапки, слиплись от пота.

— Где медведь? — спросил Сергей подозрительно.

— Медведь две недели назад тут ходил,— сказал Иосиф, покуривая.— След старый. Ушел отсюда. Две недели много времени, однако.

— И ты по этим кряквам стрелял? — удивился насмешливо Сергей.— Я же тебя прошу берлогу нам показать! На кой черт нам утки?

— Вот для супа утка хороший. Там впереди — озера. Много озер. Тайга. Большой марь,— ответил Иосиф.— Туда амика пошел. Жир нагуливать. О зиме миша думает.

— Ну и ну-у! — сказал Сергей.— Ладно. Порубаем этих уток на ужин и подумаем, как жить дальше.

Уже темнело. Пока варилась утятина, мы пили чай, закусывали копченой колбасой с хлебом и все поглядывали на вечереющую Светлую в узкой низине.

— Сохатина есть,— сказал Иосиф, вынимая из вещмешка маленькие коричнево-белые кусочки сушеного мяса.— Сохатиный жир тоже есть. Пробуй.

— А собак почему не кормите? — спросил я.

— На охоте, перед охотой нельзя.

Я пожевал сушеную сохатину, попробовал сохатиный жир — это было пресно, сытно, пахло дымом чума и ветреной тайгой, как тогда показалось мне. Потом хлебали жаркий бульон, ели вкуснейшее утиное мясо, горячее, душистое, жирное, какое, наверное, я не ел ни разу в жизни.

— Ночевать надо,— сказал Иосиф и взял топорик.— Дрова для костра готовлю. Пойду за лесинами.

Остроухие лайки, не подымая голов от лап, проводили его умными желтыми глазами, однако не встали, зная, видимо, что охота на сегодня закончилась. Они лишь хвостами чуть-чуть помотали хозяину, а Иосиф ходил вокруг костра не спеша, валил топором потрескивавший сушняк.

На ночь мы срубили несколько елей, приготовили лапник, толстым пружинящим слоем разложили его полукругом вблизи костра, который сейчас горел высоко, жарко, со всех сторон охватывая пламенем корневища поваленных нами лесин, и стали готовиться к ночлегу.

— Сапоги снимай, портянки и потники суши, шерстяные носки две пары надевай, хорошо будет,— сказал Иосиф.— И еще чай перед сном надо...

Потом мы лежали на лапнике около костра, вторично напившись горячего чаю, ноги сквозь две пары шерстяных носков чувствовали жар огня; черная тайга сжимала нас

тьмой непроглядной ночи. Я подложил под голову вещмешок, поудобнее упер его в ствол ели, поднял воротник куртки, сжался на боку, закрыл глаза, чувствуя, как горячо ногам от костра, как холодом дышит в щеку ночная земля, веет в спину студеным мраком из тайги. Продолжая пить чай, Иосиф разговаривал с Сергеем, и я слышал их голоса:

— Весь мир черт-те где, а тут тайга, огонь, костер!.. У тебя не бывало, Иосиф, чтоб в тайге ночевал без костра?

— Раз было. А так спички имеем. Ружье у нас есть, порох, патрон. Всегда огонь будет.

— Каким образом?

— Спичка нет, стрели в старый пень, который... как это... труха есть. Затлеет труха. Иногда труха березового гриба берем, сушим, с порохом мешаем. Вот тут в кармане зимой носим. Это как спичка.

— Ни разу не замерзал в тайге-то?

— Замерзал. Шестнадцать лет мне было. На оленях побежал в тайгу. Устал олень, я устал. Мороз — пятьдесят градусов. Остановка сделал. Костер хотел развести. А спички нет. Замерз совсем. Вокруг ели стал бегать. Бегал, бегал, а костер горит, большой костер, кажется мне, совсем рядом. Огонь, искры...

— Представлялось? Замерзал, значит, Иосиф? Ну, ну?

— Замерзал. Не замерз. Брат за мной поехал. След нашел. Собаки у него были. Нашел меня брат. Костер развел, спирт дал. Все хорошо.

Что же такое было тогда в моей душе? Было тихое согласие с самим собой — может быть, это и есть счастье?

О МЕДВЕДЕ

* * *

В прошлом году охотник наш Маплин осенью уже харийса (хариуса) на мушку около камня на перекате ловил. Не идет харийс, хоть плачь, хоть пляши! Возвращается по вечерку, задумался о том о сем. Подходит к первым домам, голову поднял, вперед поглядь — а из-за дров медведь встает, громадный, как черт темный. Встает, глаза — угольки, и на Маплина смотрит. Маплин к карабину дернулся, орет от неожиданности такой: «Ты что, трах-тарарах, ходишь тут?» Медведь от крику его

рванул боком за дрова, и из него, как из бочки! Этот Маплин знаменитый матерщинник у нас и горлодер. Горло — колокол, а тут в три силы заревел матушкой. А зверь неожиданного шуму боится. Медвежья болезнь называется, слышали? Не стрелил он его.

* * *

А то снег уже выпал, Тунгуска стала, а тут шатун появился. Шатун стороной людей не обходит. Жиру он осенью не набрал, в берлог не залез — ягоды мало было. И шатается. Иной раз много их в зиму бывает. Этот ночью в поселок пришел. По следам потом всю историю его выяснили. Подошел он сначала к магазину, долго кружил, вынюхивал, потом почему-то к квартире главного бухгалтера потопал, на крыльце долго лазил, мялся. Зачем к главному бухгалтеру — никак не понятно! Походил у бухгалтера, потоптался — и двинул посеред улицы к кинотеатру. А там сеанс последний кончился, народ из клуба повалил, кто-то песню затянул, разговор, смех. И зверь назад заворотил. Как раз в проулок. И за углом столкнулся нос к носу с директором промхоза. Тот увидел мишу, хотел «папа, мама» сказать, да говорить некогда было, жену в охапку — и деру к своему дому. Дверь еле успел захлопнуть на защелку — и за ружьем. А миша ревет на крыльце, дверь когтями полосует. Одно слово — шатун, злой он до крайности. Тут он его и взял, однако. Стрелил двумя жаканами.

* * *

Охотник в тайгу шел, жена его провожала на лошади. Простились они. Она назад поехала. А что дальше было — догадаться только можно. Видать, зверь в засаде сидел, а потом вышел ей поперек пути. Лошадь испугалась и понесла. А она упала с лошади. Женщина ведь. Заломал он ее. Потом кости ее нашли, а поверх их чулки ее лежали. Чулки он поверх костей положил. Жрет он человечину-то. А женщина скусней мужчины.

* * *

Вечером уже стадо гнали, туманец от реки, коровы мычат сытые, у ворот мордами трутся, а тут голодная медведица, здрасте-пожалуйста, забрела из тайги с семейством, значит, с медвежатами малыми — своими ре-

бятенками. Напала матушка па корову, стала драть, рев, мык, пыль каруселью на дороге, ровно два трактора сдуру на пьяный манер сцепились. На шум такой доярки выскочили, закричали, руками замахали, а матушка никак с коровой не справится, рвет ее, а не может задрать. Медвежата в кустах запаниковали, хором благим матом орут, за мамашку беспокоятся. Тогда медведица ноздрей на всю деревню фыркнула, вроде руганулась, бросила корову-то, напала на козу, разодрала ее и половину в тайгу унесла... ребятенков кормить. Никто не стрелил ее...

УТРО

Утро в детстве пахло голубиным пером, влетевшим со двора в окно и опустившимся на горячую от солнца подушку.

КАТЯ

На даче пятилетняя Катя, потрясенная, гордая собой, высвободила полупридушенного чижа из лап котенка, после же в кустах черной смородины она с обмазанными соком щеками, горячо рассказывая мне о проступке котенка, рассуждала так:

— И птица имеет защиту, и собака, только человека никто не может защитить! — И, подумав, добавила: — Вот лев разве...

Утром, войдя ко мне, она засмеялась:

— Я читала в журнале... об одном профессоре, очень смешно...

— В каком журнале? В «Мурзилке»?

— Нет, так, один журнал, не помню, как называется, дедушка его взял. В общем, журнал такой...

— И что же?

— Там профессора одного хвали-и-ли, хвалили, а потом наоборот стали хвалить.

— Как это «наоборот»?

— Он, правда, не профессор, а геолог. Грибы собирает.

— Геолог тоже может быть профессором. Только геолог не грибы собирает, а занимается полезными ископаемыми, которые находятся в земле.

— Я и говорю — полезные. Грибы собирает. Его хва-ли-и-ли, хвалили, а потом бухнули и так далее и так далее.

— Как это бухнули?

— Ну, не стали хвалить. В одном журнале читала. Смешно. Хвалили, хвалили, а потом бухнули, что плохой да плохой.

Она ушла, и теперь я засмеялся. По-видимому, она слышала наши разговоры о превратности критики и придумала эту историю с профессором.

Мы гуляли с ней в парке, она попросила:

— Папа, купи ребеночка.

— У меня денег не хватит. Это очень дорого. Потом нужно в очереди долго стоять. А у нас с мамой нет времени.

— Они где — в универмаге «Москва»? Они что — в колясочках лежат? Ах, какие хорошенькие, наверно!

Однако на следующий день решительно заявила:

— Я хочу с тобой честно поговорить. Они не покупаются, а рождаются.

— Катя, как звать врача, который тебя лечил?

— Тунгузы Керба-Кера... Бабаевич...

— Хороший он?

— Да. Только имя страшное.

— Почему?

— Очень забывательное.

— Папа, открой дверь громче!

— Наверное, ты хочешь сказать — шире?

— Ты непонимательно говоришь, папа.

— Ну хорошо, хорошо, я открыл дверь, пойдем.

— Папа, что ты около меня столпился? Как я могу идти? Что вы меня обтолпили? Ты и мама...

Сидел за столом над рукописью, правил, вычеркивал, вписывал, заменял слова — вся страница была изрисована.

Катя внимательно наблюдает за моей работой и осторожно грызет яблоко.

— Папа, что ты делаешь?

— Вычеркиваю слова.
— А хорошие?
— Вставляю.
— Значит, плохие слова бывают хорошими, а хорошие плохими? Да?
— Что-то в этом роде, пожалуй.
— А эти слова хорошие?
— Какие?
— Я тебе сейчас скажу. Вот. Слушай. «До, ре, ми, фа, соль, ля, си, едет кошка на такси, а за ней котятки, милые ребятки».
— Что это — стихи?
— Ага. А вот еще. Сережка из второго подъезда их любит. Вот слушай. «Едут новоселы, морды невеселы, кто-то у кого-то слямзил чемодан...»
— М-да, поэзия, знаешь ли...
— Мама сказала, что смешно. Только здесь «морды» и еще «слямзил» некрасивые слова. Давай напишем и вычеркнем.
— Вычеркнем? Ну, попробуем... Слово «морда» можно заменить... скажем, на лицо, на физиономию...
— Нет.
— Что «нет»?
— Ску-учно...
— Да, ты права. Не очень удачная замена. Есть, конечно, много грубоватых слов, которыми можно, но...
— А «слямзил»?
— Слямзил? Так, так... Давай вместе подумаем. Украл, утащил, своровал...
— Нет. Ску-учно. Вот еще— укра-ал...
— Да, да, ты права, пожалуй. Скучноватая замена! А что делать?
— Ты подумай, а я порисую. Можно?
И, говоря это, она уже взобралась ко мне на колени, устроилась за столом удобнее, касаясь теплыми светлыми волосами моего подбородка, и я, боясь пошевелиться, с умилением вдыхал их нежный птичий запах, слышал, как она тихонько дышала, грызла яблоко, наклоняла голову к листу бумаги, водя карандашом, и это были нечастые счастливые, переворачивающие душу минуты ее доверчивости, ее общения со мной, которых не было потом.

Оставшись одна, с превеликой старательностью и явным ожиданием похвалы изрисовала новые обои, вызвав

этим неудовольствие мамы, которая, увидев на стенах художества, воскликнула строго:

— Эт-то еще что такое!

— Это цветочки,— ответила Катя, скромно покусывая карандаш.

— А эт-то что такое?

— Это кошечка.

В час заката мы шли с ней по улице.

— Небо настоящее, оно не заканчивается,— рассказывала она.— На нем нет крыши, а то бы мы задохнулись. Оно легкое. Просто рукой можно потрогать — и там ничего нет. Это кажется, что оно красное. А под землей — корка. Потом черви, потом вода. А дождик, знаешь, как идет?

— Как?

— Понимаешь, тучи. А в них такие дырочки. Как сетка. Мелкие.

— Значит, как у лейки?

— Правильно. А снег, знаешь, как?

— Нет.

— Зимнее небо — старое. И дождик старый. Это— снежинки. Им тепло, и они тают. Вот и дождик.

Я долго думал об этом ее размышлении. Она внезапно спросила:

— Папа, как называется это... что вешается, падает и гремит? В ванной... Я видела у Сережки, когда руки мыла. Очень сильно упало...

— Корыто?

— Да, правильно.

ДВЕ ГРОЗЫ

Сначала погромыхивало над деревней на дальнем берегу, молния отвесно прорезàла там огромную тучу, вонзалась за горизонтом в землю, и чайки визжали перед дождем, дрались в камышах.

Потом сплошь потемнело над Волгой, черная рябь пробежала по плесам, запахло холодноватой свежестью, влажно потянуло густой прохладой, вдруг первые пульки дождя пробили спереди по воде, порывом хлестнули справа и слева от лодки — и обвальный ливень зашумел,

загудел, забушевал вокруг, и все мгновенно расплылось, исчезло в водянистом тумане.

Когда добрались до пристани, на мне нитки сухой не было, брюки и кеды облепили ноги мокрой тяжестью — до того ярый, неудержимо бешеный был этот ливень с ветром.

Под трассами струй, под пушечными раскатами грома мы по скользким настилам побежали к будке лодочника, и тут, в нескольких метрах от берега, нас с такой сатанинской силой настигло копьистое сверкание молнии над головой, с такой мстительной удалью ударил оглушительный разрыв грома, что явственно запахло в воздухе порохом, жженой серой (позднее мой спутник сказал, что он тоже почувствовал этот запах).

В счастливом убежище лодочника было еще двое захваченных дождем на Волге; один, голый до пояса, загорелый, выжимал снятую рубаху, перекручивая ее сильными руками, другой, посмеиваясь, возбужденно говорил о некоем мудреце, что без плаща остался рыбалить, махнув рукой на ливень, и что с десяток ершишек у него на кукане есть.

В будке, заставленной веслами, моторами, в этой темной тесноте пахло ржаным хлебом, даже овчиной, как в деревенской избе, ливень неистово сыпал, колотил по крыше, наваливался на оконце. А лодочник разговаривал с двумя своими знакомцами о вчерашней вечерней зарнице, которая по горизонту играла, дождь заманивала, об ершиках в ухе, особо разваристых, особо вкусных вместе со щукой, на что рыбак, выжимавший рубаху, заметил со знанием дела:

— Щука для тарелки, ершишко для пуза. Конечно, лаврушки не надо в уху. Лаврушка весь вкус отбивает натуральный. С лаврушкой и рыбу не раскушаешь.

— Уха-то хороша из окуня и, ясно-понятно, из судака иль из стерлядки — ешь, и прямо губы слипаются Судак — это, брат ты мой, белая рыба. А лещ — самая паршивая, промежду прочим, рыбешка!

Под неустанные набеги дождевых нахлестов по крыше и стенам я слушал эти приглушенные голоса, разговоры об ухе, удочках, бреднях, жерлицах и невольно вспоминал о далеком, безвозвратно ушедшем времени и в том времени вспоминал себя, каким был лет сорок назад, когда летний ливень весело загнал нас на Белой в избушку бакенщика, где так же было тепло, тесно, пахло кисловатой овчиной, и разговор был тот же — об ухе,

о полуторапудовых сомах, сонно греющихся в солнечных лучах на песчаном дне мелководья, о старых щуках длиною с весло, что неподвижно стоят на закате в заводях близ коряг и, мудрые, не идут на блесну, о прожорливых глупых окуньках и игривых жерехах, которые в резвости, золотясь в воздухе, на полметра выскакивают из воды на заходе солнца.

Дождь, река, промокшая одежда, тепло крыши над головой — почему все это повторилось с чувством почти одинаковым? Почему вновь я испытал детское ощущение человеческого доброго приюта в непогоду, под прочной крышей, ощущение бесхитростной людской близости? Лодочник оставил нас в своей будке «переждать обломенный проливень», отказался взять плату за переправу, оттолкнув с улыбкой мою руку: «За каку таку лодку деньги, ежели наскрозь вымокли вы!» — и от этой простоты участия чувство тихой надежды загорелось в моей душе, как в детстве на Белой у бакенщика. Тогда, в детстве, в пору начала жизни, это была неосознанная мальчишеская радость надежды на то, что открытая готовность помощи будет везде и всегда порукой чести и силы всех мужчин, объединенных, понимающих друг друга.

Но сейчас, когда во многом потеряна искренность человеческих отношений, этот отблеск детского умиления поразил меня. И, не однажды познавший лукавство друзей, я долго не мог понять, что произошло со мной в ту августовскую грозу под защитой крыши, гулко и длинно обстреливаемой очередями дождя из низкого дыма туч, в том получасовом необычном уюте, в окружении тысячелетнего избяного запаха, мужского разговора об ухе, плотного грозового шума, залпов грома, белого озарения молниями луж под оконцем, размытой глины...

Наверное, это были минуты возвращения в романтическую чистоту — мелькнувшая перед памятью тропинка назад, туда, где оставалась вера в людское товарищество, которое уже почасту отдает свое земное место горечи разочарования.

ОХОТНИК И РЫБАК

Лед сошел недавно, был холодный весенний день, моросил дождь, леса над рекой мокли в тумане. Сквозь серенькую пелену в желтеющих камышах я различил на

другой стороне лодку; человек, согнувшись, делал что-то в ней, и показалось, что это был знакомый по прошлогодней охоте старик бакенщик.

— Здравствуй, бабай! — крикнул я, обрадованный возможной переправе на тот берег, к озерам.— Перевези, пожалуйста, очень благодарен буду!

И неторопливо отозвался в камышах несильный дребезжащий голос:

— Сич-а-ас, маленько жерлица таскаем, прийдем!..

Минут через пять из дождевого туманца отчетливее выделился, завилял к этому берегу весь мокрый, ветхий ботик-долбленка; малого роста старик, сутулый, седобородый, в ватнике, в войлочной башкирской шапке, стоя на корме, огребался веслом, внимательно прищуривался на меня маленькими, умными, веселыми глазами; потом у самой косы, где я ждал, проворно кинул из лодки на песчаную отмель чалочную цепь, засмеялся:

— Садись, хе-хе... Охотник и рыбак один ведь брат. Сичас вода из лодки бросаем и на тот берег пойдем.

И он принялся консервной банкой вычерпывать воду со дна долбленки, сыро пахнущей рыбьей чешуей, влажным деревом, а я осторожно оттолкнул посудину, прошел несколько шагов по мелководью, чувствуя через резиновые сапоги еще зимний холод воды, и сел на нос ботика — тот едва не зачерпнул от моей тяжести, увеличенной теплой одеждой, уже намокшей под дождем, и грузом охотничьего снаряжения: двустволка, набитый зарядами патронташ, вещмешок с котелком, продуктами и всякой всячиной, необходимой для ночевок у костра на лесных озерах. Я сидел в этой легонькой, чуткой долбленке, боясь громко разговаривать, боясь резко шевельнуться невзначай, и держал ружье и вещмешок на коленях, пока неторопливый старик не догреб до противоположного берега.

— Ну, спасибо, бабай. Что стоит это?

— Ничего не надо. Закурить только дай.

— А денег?

— Не надо, хе-хе. Охотник и рыбак один ведь брат.

— Ну как — рыба есть?

— Ни щерта. Плохо идет. Холод.

— А на уху-то есть?

— На уху есть, чать. Охотник и рыбак один ведь брат...

Не эти ли минуты — звездные мгновения моей жизни?

КЛАРА

Рассказ художника

Посвящается дочери Кате

Моя профессия заставляет меня разъезжать по всей стране. Я люблю сходить ночью на маленьких лесных станциях, стоять на безлюдной платформе, слушать отдаленные вздохи уходящего паровоза. Леса спят, и эхо гулко катится по просекам, как в пустых коридорах.

Я люблю шагать по вечернему лесу и слушать его шорохи, сонные вскрики птиц, попискивание куликов на близких озерах, потом шагать по мягкой пыльной полевой дороге и видеть далекие огоньки на косогорах. Летом они кажутся теплыми, осенью мерцают и дрожат на ветру. Тогда Орион всю ночь горит в черных омутах глухих озер.

Обычно я поселяюсь на все лето до осени в деревне. Каждое утро встаю на заре и целый день брожу по полянам и лугам.

Я испытываю волнение, когда сумерки застают меня вдали от деревни, на покойных лесных озерах. Я вижу, как рождается ночь. Синий мягкий сумрак и туман ползут из неподвижной чащи деревьев на воду, и озера засыпают. На западе красноватый отблеск еще теплится, светится близ камышей, а с востока быстро надвигается темнота. И в притаившейся студеной воде уже плавают зеленые звезды. Становится сыро и очень тихо. Только иногда, мелькнув мимо угасающей над лесом поздней зари, со свистом и плеском на озеро садится стая диких уток.

Я люблю проснуться на сеновале, где обычно сплю, глубокой ночью, почти перед самым рассветом. Мне зябко. Я прислушиваюсь и чувствую — в тишине кричат сверчки, к заре похолодало, щели в крыше полны лунного света, и сквозь раскрытый чердак сильно тянет из сада росистой свежестью. Облитый луной, он словно стынет в синем дыму.

Без всего этого, мне кажется, я не могу жить и летом всегда работаю в деревне.

И вот однажды мне пришлось поехать не в деревню, а на юг, в санаторий, отдыхать, на знаменитый юг с его жарой, декоративными пальмами и душными бархаты-

ми ночами, где нет холодных лесных озер, в которых на закатах бьют хвостами пудовые щуки.

Здесь мне нравится и пленяет только море. Это удивительное зрелище. Утром оно лиловое, гладкое, как стекло, над ним подымается легкий парок; днем оно ослепительно нежное, синее; вечером быстро темнеет, на горизонте подолгу пылают огромные пожары и тают дымки пароходов, уходящих в этот огненный закат.

Однако мне было скучно на юге, не хватало тут северных лесов, и был я совсем одинок без них. И никак не работалось.

Раз, проспав восход, я встал в плохом настроении. Вся палата была залита горячим солнцем, слабый ветерок играл белой занавеской на балконе. Я долго валялся в постели и смотрел на мольберт: вчера начал писать вечернее море. Но этот этюд представился таким ужасающим, что я закурил и подумал сердито: «Надо уезжать, просто безобразие!»

Вдруг я услышал будто бы шелест крыльев, и почудилось: что-то черное взъерошенным комом упало за тюлевой занавеской балкона.

Я удивился и вышел на балкон. На перилах сидела нахохлившаяся ворона и одним глазом смело и внимательно поглядывала на меня. С какой целью она прилетела сюда, было неизвестно. Внизу зеленел санаторный парк, пальмы и кипарисы, за ними — море и пляж, усыпанный телами загорающих: везде был солнечный простор.

— Ты зачем? — сказал я, но ворона ничуть не испугалась моего голоса, взглянула любопытно другим глазом и, кивнув мне, произнесла, вроде знакомясь:

— Кла-ра!

Помолчав, я усмехнулся, подошел ближе, ворона продолжала сидеть на перилах; она опять нагнула голову, похоже было: церемонно кланялась.

— Ишь ты! — сказал я.— Поразительно...

— Кла-ра! — несколько уже недовольно повторила ворона и нетерпеливо тряхнула хвостом.

Я засмеялся, показал на дверь и пригласил ее:

— А ну заходи ко мне, если не боишься.

Не успел это сказать, как ворона спрыгнула с перил, отодвинула клювом занавеску и вошла в комнату, стуча по паркету когтями. Я был окончательно удивлен. Паркет оказался так гладко натерт, что ворона, спеша войти, неожиданно поскользнулась, но сейчас же подперлась

своим хвостом, как палкой, снова пробормотала с неудовольствием:

— Кла-ра!

Я мигом догадался, что надо делать: быстро взял в ванной мыльницу, сполоснул, поставил ее на пол, накрошил хлеба и налил туда молока.

Глядя на мои приготовления, ворона с нетерпением трясла хвостом, а раз довольно сердито стукнула клювом по мухе, которая села на пол рядом с мыльницей.

— Ну ешь! — весело сказал я и при этом отошел в сторону, чтобы она не стеснялась.

Ворона подошла к мыльнице и стала так мотать в клюве хлеб, что во все стороны полетели брызги молока.

— Как тебя звать? — спросил я.

— Кла-ра! — ответила ворона с полным клювом хлеба и посмотрела сбоку презрительно, точно говоря: «Будто не знаешь!»

— А, Клара! — обрадованно сказал я, но больше вопросов не задавал, сел на стул и начал наблюдать.

Кончив есть, Клара немного подумала, почесала ногой голову и вперевалку заходила по комнате. Она увидела зеркало, радостно каркнула и прошлась перед ним туда и назад, как женщина, которая рассматривает себя. Потом она заметила мой шлепанец возле тумбочки, подержала его в клюве и швырнула под кровать. После этого с хозяйственным видом она оттащила мыльницу к дверям балкона.

— Правильно, наводи порядок! — сказал я и засмеялся.

Клара покосилась в мою сторону и вдруг вспрыгнула мне на плечо. Я замер, ожидая, что будет дальше. Клара повозилась на плече, тихонько ущипнула мою шею и что-то зашептала на ухо.

— Не понимаю,— сказал я растерянно и почувствовал, как она принялась вытягивать за ремешок часы из моего кармана. Часы повисли, сверкая крышкой на солнце. Клара с восторгом каркнула и вытянула голову к часам, будто хотела послушать, и показалось: ее глаза блестели любопытством.

Только тогда я понял, чего хотела Клара. Я вспомнил рассказы о том, что вороны, как и сороки, любят блестящие предметы. Я сконфузился и спрятал часы в карман, чтобы не было обиды. А Клара вспрыгнула мне на голову, потопталась, начала клювом перебирать мои волосы

и, сделав какую-то прическу, довольная, спрыгнула на пол, подошла к мыльнице и оглянулась умоляюще.

— Кр-расота! — каркнула она.

Сомнений не было: она выклянчивала у меня мыльницу.

— Ну, Клара,— сказал я.— А как же я буду бриться?

Клара, наверное, обиделась и гордо заспешила, вышла на балкон.

Я в раздумье смотрел, как она летела над санаторным парком, и было непонятно, откуда здесь появилась эта ручная ворона. Никогда в жизни ручных ворон я не встречал. Они всегда казались мне сердитыми и угрюмыми птицами.

Перед завтраком я пошел на пляж, чтобы выкупаться в утреннем море. Лежал на теплом песке, слушал шелест волн, нежный звон гальки, которую катала возле берега зеленая морская вода, и думал, что у нас на севере Клара не стала бы такой ручной. Там было иное раздолье, огромные поля, там она гнездилась бы на осинах и березах в лесах.

Внезапно я услышал рядом с собой разговор. Один из загорающих на пляже говорил другому, чтобы тот не клал запонки и часы на видном месте, так как здесь, в санатории, объявилась какая-то ужасная ворона. Она все ворует, вчера у всех на глазах стащила у соседа по столовой булавку от галстука, которую он положил на подоконник.

— Здесь, говорят, дрессировщик в нашем санатории, слышали? — сказал он и назвал мою палату.

— Да он давно уехал,— сказал другой.

И я догадался: «Ах, вон оно что!»

А на следующее утро снова послышался шорох крыльев на балконе, и я, обрадованный, увидел, как, отодвинув занавеску, моя знакомая Клара процокала по паркету в комнату и, как вчера, здороваясь, вежливо наклонила голову, на всякий случай представилась вторично: «Клара!» — и разрешила себя погладить.

— Доброе утро! — сказал я приветливо.— Можете проходить и завтракать. Вам все готово, уважаемая.

Я действительно Клару ожидал и все приготовил. Пока она завтракала, я сел к мольберту и тут же набросал ее с особым удовольствием, потому что она была жительницей северных лесов, по которым скучала душа.

А Клара кончила есть, опять взобралась на мое плечо и, пощелкивая клювом, вкрадчиво зашептала что-то на

ухо: или благодарила, или, как давеча, выклянчивала мыльницу. Но тотчас заприметила рисунок, перебралась на стул против мольберта, в удивлении вытянула шею и то одним, то другим глазом принялась разглядывать. Затем перья ее взъерошились, она рассерженно стукнула крылом по мольберту и неистово затрясла хвостом.

— Брр-рак! — заругалась она.— Др-рянь! Вр-ранье!..

Я обиделся. Критика мне не понравилась.

— Почему? Нет, Клара, ты ничего не понимаешь!

— Др-рянь! — продолжала ругаться Клара.

Она спрыгнула на пол и с серьезным видом зашагала к мыльнице, на ходу восторженно восклицая: «Кр-расота!» — и, пятясь, поволокла мыльницу к балкону.

Я понял: Клара воспринимала искусство по-своему. И не стал с ней спорить, улыбнулся и сказал:

— Ну, Клара, ты права, и мыльница хороша, но все же ее оставь, я не могу ходить небритым.

Когда Клара улетела, я целый час сидел перед мольбертом, так и сяк смотрел на рисунок и, неудовлетворенный, чесал лоб и вздыхал: «Нет, надо скорее уезжать на север, надо уезжать!»

Наша дружба с Кларой продолжалась. Мы привязались друг к другу, и, если она запаздывала, не прилетала утром на завтрак, я скучал невыносимо.

Однажды вечером разразилась сильная буря. Огромные волны неслись на берег, с грохотом разбивались о скалы; казалось, стреляли орудия. Наш санаторий, расположенный на скале, дрожал от этих залпов. Лил дождь. Весь парк глухо шумел внизу. Над морем среди небесной тьмы скользили молнии. В санаторном корпусе то там, то тут звенели разбитые стекла.

Я стоял около закрытых дверей балкона, наблюдал за дико разбушевавшимся морем и с тревогой вспоминал о Кларе при каждой вспышке молнии, поеживаясь, представляя, как ей тяжело приходится сейчас. Только в одиннадцатом часу разобрал постель и неспокойно задремал под грохот моря.

Сквозь дремоту мне послышалось, может, почудилось невнятное постукивание в дверь балкона, и, мгновенно подняв голову, я прислушался. Сначала показалось, что это резкий дождь колотит по стеклам. Но стук повторился уже яснее, громкий, требовательный стук. Я вскочил, бросился к двери и торопливо открыл ее. Вместе с дождем и ветром в комнату, запутавшись в занавеске, ворвалась Клара, мокрая, взъерошенная, злая. Она выпута-

лась из занавески, оскользнулась на паркете и закричала: «Бур-ря!»

Я засмеялся от радости, стал гладить ее, намокшую, возбужденную, успокаивать, но она была чрезвычайно сердита; видно, промерзла на дожде и ветру и долго жаловалась и ворчала, ходя по углам. Наконец я лег, а Клара вскоре села на спинку кровати, в моих ногах, нахохлясь, закрыла глаза и ночью несколько раз вскрикивала спросонок при громе и блеске молний.

Утром я проснулся от какого-то шума в комнате. Оказывается, ко мне вошла палатная сестра, и с ней увязался санаторный котенок. Увидев его, Клара ревниво подскочила к нему и так долбанула клювом по голове, что котенок с визгливым мявом, прижав уши, выкатился за дверь, едва не сбив с ног сестру.

— Др-рянь! — ворчала Клара, явно не любившая кошек.— Ка-акая др-рянь!

Я пожурил ее за невежливое поведение, но Клара успокоилась лишь после того, как подошла к блестящей мыльнице и победно прокаркала: «Кр-асота!»

А через несколько дней я должен был уезжать. В тот день отъезда, как и всегда, Клара позавтракала, потом с заискиванием выпрашивала мыльницу, дружески пощипывая меня за ухо, а я грустно глядел на свои чемоданы — и возникла мысль, не взять ли Клару с собой, но неизвестно было, как все-таки довезу ее до Москвы. А Клара будто понимала, что я уезжаю, и была особенно нежна со мной: позавтракав, она не хотела улетать и, вроде бы желая сделать приятное, залезла мне на голову и тихо перебирала волосы. Я впервые взял Клару в руки — у нее часто стучало сердце,— посадил на стол перед собой.

— Прощай, Клара,— сказал я,— уезжаю...

— Гр-рустно! — сказала Клара.— Грустно!

И ласково пожала клювом мой палец.

— Поедешь со мной? — спросил я растроганно.— А? Поедешь на север?

Клара молчала.

Я вздохнул, взял свой чемодан, затем вспомнил, раскрыл его и достал мыльницу и старые запонки. Все это я оставил на балконе. Клара по-прежнему молчала. Она сидела подле упакованного мольберта и смотрела на меня черными умными глазами.

— Что ж,— сказал я,— ты понимаешь искусство односторонне... Возьми, это твое.

И начал спускаться по лестнице в вестибюль. Клара — следом за мной, прыгая по ступеням.

Около дверей вестибюля, жмурясь на солнце, зевал заспанный котенок, и Клара так злобно повернулась в его сторону, что котенок, не дозевав, в ужасе шарахнулся и как сумасшедший шмыгнул в кусты пыльных акаций.

Я последний раз погладил Клару и залез в автобус, а она села на пальму и, пристально вглядываясь оттуда, кивала мне.

— Прощай, Клара,— сказал я, помахал рукой и отвернулся.

Потом многие пассажиры говорили, что Клара до ворот санатория летела за автобусом и тоскливо кричала.

ЧАСТИЦА ОТ ИДЕАЛЬНОЙ ЖЕНЩИНЫ

Что есть женская красота? Правильные черты? Линии фигуры? Взгляд? Походка? Кто может ответить, что вызывает нашу любовь?

По крайней мере, я до сих пор испытываю некое счастливое чувство, вспоминая летнее утро в далекой поре отрочества, когда в первый раз увидел ее на дачной террасе, заросшей сиренью. Она сидела в соломенной качалке, задумчиво покусывая стебелек травы, и читала — прохладная тень пятнистой сеткой скользила по страницам, по ее молодым открытым коленям, и они особенно бросились мне в глаза, как только я взбежал из сада на террасу. До запаха травы помню это чудесное утро, посвистывание скворцов в зелени листвы, нежное поскрипывание качалки и вот эти обласканные солнцем и тенью круглые колени, на которых имела право лежать книга, прикасаясь к женскому телесному теплу. И помню, мысль о ласковом тепле ее ног тогда ожгла меня чувством какой-то порочной чистоты этой таинственной незнакомки, приехавшей к нам на дачу вместе со светловолосым молодым человеком.

А он, молодой человек, носил хорошо выглаженные чесучовые брюки, шелковую спортивную майку, и, не знаю почему, я сразу почувствовал горькую боль ревности к его физической силе, великолепной его походке, самоуверенной улыбке, показывающей чистоплотные зубы, а когда в тот же день, на закате, увидел, как он играл на дачной площадке в волейбол — мастерски пода-

вая мяч, пасовал, гасил, блокировал, высоко прыгал, изгибаясь большим натренированным телом, когда я увидел, как она, играя с ним возле сетки, шутливо смеясь, вытерла платочком пот с его лба, то ощутил вдруг уже не ревность, а нечто подобное непримиримой ненависти к нему.

В ту же ночь меня разбудил тихий свист. Так на даче вечерами мои загородные приятели подавали сигнал за садовым забором, вызывая из дома условленным этим звуком. Я спал на раскладушке в угловой комнате, тесной, жаркой, с закрытым окном, спасаясь в духоте от злых полчищ июльских комаров. Но, услышав сквозь сон призывное посвистывание, вскочил с постели, распахнул озаренную луной половинку окна и, предполагая ночную рыбалку на ближних озерах, дважды отозвался утиным кряканьем, что означало: «Слышу, сейчас выхожу для переговоров!» Однако не успел я закрыть окно, натянуть рубаху, как опять послышался вторичный сигнал — и вместе с теплой сыростью травы вполз в мою комнатку из лунного сада вкрадчивый звук шагов, похрустыванья веточек где-то вблизи дома. Все не совпадало с условным вызовом, и, удивленный, я осторожно вгляделся в обмытые синеватым воздухом заросли сирени, а там на миг зажегся и погас желтый свет ручного фонарика, и неожиданно дошел оттуда сдавленный веселый шепот:

— Эй, на мансарде, соня несчастный, не смейте спать в такую ночь. Немедленно спускайтесь в сад, я приказываю вам, слышите?

И тут я увидел ее: это она, оказывается, посвистывала в саду, ходила под яблонями и снизу озорно сигналила в окошечко мансарды ручным фонариком тому светловолосому волейбольному богу, что ослепил нас в сегодняшней игре своей мужественной красотой вылепленного торса и смелым сверканьем ровных зубов.

А дальше в эту ночь я стал невольным свидетелем того, что знать мне в пору моего отроческого возраста никак уж не нужно было, поэтому ночь эта запомнилась на всю жизнь. Тихонько отзываясь, он спустился к ней в накинутом на плечи пиджаке, в белых брюках, обнял ее; она же, удивленно, по-мальчишески присвистнув, обвила его шею руками, засмеялась, с закрытыми глазами подтянулась на цыпочках, а зажженный фонарик касался ветвей яблонь, насквозь просвечивал, пронизывал над его головой листву слепящей яркостью.

— Слушай,— сказала она, отрываясь от него и как-то шутливо, напряженно водя пальцем по его груди,— так ты не возьмешь меня замуж? Я ведь хорошая...

— Возьму, пожалуй,— ответил он с усмешкой.— Только не навсегда. Я бедный инженер со скромными возможностями. Что же я буду делать с тобой?

— Как что? Ты будешь меня любить, а я буду утром готовить тебе кофе... Ну а вечером читать тебе вслух героические романы. Это плохо для тебя?

— О, с милым и в шалаше рай? Но у меня и шалаша-то своего нет. Все — чужие. Так что ж я буду делать с тобой чужим, драгоценным сероглазым сувениром? Что? А?

— Ну, конечно, любить. Ведь я теперь кое-что знаю. Мой бывший муж говорил, что у меня есть частичка от идеальной женщины.

— Интересно, какая же это частичка?

— Не имею права тебе об этом говорить... Во-первых, было бы слишком, во-вторых, не хочу себя обезоруживать...

— А все-таки? Очень любопытно. Пожалуйста, а?

— Как это тебе сказать? Ну ладно, все равно... Он говорил, что идеальная женщина должна быть милой шалуньей... Достоинство, которого у меня абсолютно не было, когда мы оставались вдвоем. Я трусила, я не могла преодолеть чувства стыда. Я дрожала, как мышь. Ох, ужасно, ужасно быть этой шалуньей!..

— А со мной? Тоже ужасно?

— С тобой? Что с тобой? Как с тобой? Зачем с тобой? Сама не знаю, что с тобой...

— А ты попробуй быть шалуньей,— сказал он с ласковой небрежностью и бросил свой пиджак на траву под яблоню.— Ты сможешь? А?

Она свистнула пытающимися засмеяться губами, посветила ему в грудь фонариком, а он опустил ее руку вместе с фонариком книзу, и на минуту я увидел в световом луче белую расклешенную юбку, колени, увидел, как она опять привстала на цыпочки, вся потянувшись навстречу его губам,— и тут я едва не заплакал, едва не задохнулся от тоскливой ревности, от любви к ней, к ее голосу, смеху, к этому направленному в землю лучу фонарика, высветившему траву, пиджак, ее белую юбку и его белые брюки (это было модно в 30-х годах); затем я расслышал насмешливый ее шепот:

— Ты хочешь, чтобы я стала твоей женой прямо здесь, под яблонями?

— Разве дорогой сувенир или драгоценность может быть женой? В каком футляре с бархатом тебя хранить? И как любить тебя? Для этого надо быть ювелиром. Я не смогу.

Она дерзко посветила фонариком ему в лицо.

Он улыбнулся, блеснули зубы.

— Странно,— сказала она звонким, веселым голосом.— Я тебя, конечно, люблю, но... в той же мере и ненавижу!

— Милая, это достоевщина, два чувства в едином,— отозвался он просто и весело.— Ты сегодня целый день читала Федора Михайловича. Он портит настроение надолго.

— Я люблю рыцарские романы, а не Достоевского.

— Ради бога, не будем говорить об умном. Где же твое шаловство?

Он взял у нее фонарик, выключил свет, легонько отшвырнул фонарик в траву, затем с мягкой снисходительностью охватил ее талию, и снова я увидел, как она потянулась к нему, к его губам, но в лунном сумраке, мне казалось, я угадывал неясное болезненное выражение на ее лице, в изгибе ее бровей. Он целовал так долго, так неотрывно мучительно, что она застонала, отклонилась назад, а он стал расстегивать на ней кофточку, одновременно будто казня, истязая своим ртом нежную белизну ее полной обнажившейся груди, которую я впервые в жизни видел сейчас так бесстыдно. Горячие слезы неизъяснимого горя душили меня. Я рывком кинулся к постели, упал лицом вниз на подушку и, вытирая о подушку мокрые щеки, захлебнулся жаркими беспричинными рыданиями. Так сладостно, отрешенно, в неизбывном одиночестве, когда, мнилось, кончалось все, плакал я только в детстве.

Однако через некоторое время я вскочил с постели, испугавшись, что они услышат мой плач, и выглянул в окно, за которым воздух побелел к рассвету, бледно омертвив разжиженный сонный свет луны, сквозивший меж деревьями; и весь сад, яблони, дорожки в траве вокруг клумбы проступали в темно-серой неподвижной проявленности.

Я увидел ее в тот момент, когда она медленно и пьяно подошла к забору, сплошь заросшему старой буйной сиренью, постояла там, поправляя волосы, потом наклони-

ла куст и сорвала веточку. Куст упруго выпрямился, обдал ее холодным дождем росы, и она, подняв лицо, страдальчески изогнув шею, начала трясти, как в дурмане, ветви сирени, словно умываясь этим дождем, свежестью влаги, смывая с лица, с прикушенных губ липкую паутину. А он стоял под яблонями в накинутом на плечи пиджаке, вертел в руках незажженный фонарик, неопределенно усмехался и молчал.

Утром они уехали, и никогда позже я не встречал их. Когда я вернулся с войны, кто-то из семейных знакомых сообщил однажды, что она умерла в эвакуации.

Но до сих пор помню ощущение несправедливой обиды, горькой безнадежности, как если бы она, эта юная озорная женщина непоправимо обманула меня в чем-то особо тайном, святом, совсем не подозревая, что не он, самонадеянный белобрючный циник, а я мог бы полюбить ее больше жизни, жалеть, защищать, оберегать от грубости. Такое оголенное ощущение неразделенности любви, пожалуй, щадит человека взрослого. Была ли она красива? А разве мы знаем истинность и сущность красоты? После ее отъезда я жил как в тумане, испытывая адскую муку ревности, которая не находит никакого выхода в первой любви: в тот год мне исполнилось двенадцать.

Теперь жизнь моя прожита, ее уже давно нет на белом свете, а время омыло прошлое многими водами. И теперь в полном сиянии женственности и белой безгрешной чистоты я вижу то дачное летнее утро и ее, мою первую любовь, она сидела в соломенной качалке, задумчиво покусывая стебелек травы, и читала; пятнистая тень лежала на раскрытой книге, на ее коленях...

В ОСЕННИЕ НОЧИ

Время уже тронуло память — потускнели детали, полузабыты лица погибших, не так остро ощутимы в воспоминаниях запахи развороченных снарядами окопов, уже не сдавливает горло ядовито-луковая вонь стреляных гильз, ты не пригибаешься инстинктивно на улице при отдаленном звуке отбойного молотка, напоминающем бой крупнокалиберного пулемета, при вспышках праздничных ракет над крышами домов не рвется из горла невольный крик: «Ложись!», уже привычно не выискиваешь взглядом место на углу, возле аптеки или универмага (место для огневой позиции с широким сектором обстре-

ла); а случайно услышанный в сумерках крик ребенка не вызывает в памяти черные контуры разбитых деревень, печную гарь дымящихся развалин, обугленные сады, плач в темноте.

Долгожданный мир (мы шли к нему четыре года) прочно вошел в сознание — мир с блеском утреннего солнца на мостовых, с шелестом переполненных по вечерам троллейбусов и уютной на рассвете возней голубей на карнизах.

И все же в темные осенние ночи под глухо булькающий звук где-то по небесным этажам летающего самолета иногда снятся неспокойные сны, и ты, вскакивая в потемках, прислушиваясь в тишине к удаляющемуся шороху промчавшегося мимо окон позднего такси, поражаешься безмолвию и мучительно вспоминаешь сон, и все вдруг приближенно и отчетливо возникает перед глазами, как будто было вчера.

Махровые зарева, горящие на полнеба, железный скрежет шестиствольного миномета, битое стекло на багровых мостовых, дома, как великаны с развороченной грудью, падающие на площадях... Город одичало пуст, безлюден, мертво и сине стоит огромная луна над зловещими развалинами, над черными провалами траншей. И где-то в этом мертвом пространстве — не в домах, не в окопах, а где-то между небом и землей — одинокий крик человека, одинокий призывающий голос боли...

Сон это или реальность?

Нет, мне не хотелось бы видеть подобные сны и не хотелось бы, чтобы нечто похожее снилось последующим поколениям.

Однако в мире еще существует грозное оружие, могущее стереть с лика земли целые государства. Расстояния океанов, территориальные пространства преодолеваются в мгновения — наша планета может содрогнуться, закипеть всеуничтожающим пламенем грибовидных пожаров от одного нажатия кнопки. Если это случится, то самые страшные сны будут сниться на других планетах как неизбывное сожаление о гибели самого ценного феномена на Земле — человека...

ПРОШЛОЕ

Порой, воссоздавая прошлое, мы уверены, что пишем свою историю, на самом же деле осмысливаем, пытаемся осмыслить минувшее в современной действительности, ко-

торая является главным душеприказчиком и судьей. Прошлое ушло и стало прожитым и пережитым, то есть частью духовного и жизненного опыта. Настоящее — вещественно, предметно, материально, и вместе с тем оно еще не закреплено памятью для сохранения, оно постоянно перед глазами и останавливает на себе мимолетное внимание: удивит, обрадует, встревожит, оставляя надежду увидеть все это завтра, послезавтра, через несколько дней...

Прошлое нельзя вернуть, оно может лишь повториться в воображении — и, только отдаляясь и отдаляясь назад, отдельные куски жизни восстанавливаются иногда разительно ярко в памяти. И тогда овевает нас ветерком молодой радости или пронизывает сквознячком скорби. Не одним литературным героям снятся залитые июньским солнцем пчелиные ульи в благодатно теплом саду под Тамбовом, либо тени меж нагретых яблонь, белые и горячие проселки Украины в тот воскресный день за несколько часов до первых выстрелов сорок первого года, либо синие снега Сибири, либо прохладная каменная стена, увитая плющом, освещенная утренним солнцем, пахнущим весенним счастьем Победы.

Поднимаясь по ступеням своих лет, человек накапливает ощущения неповторимости прожитого им, а соединение былого с современностью и словно бы повторное обретение ушедшего силой чувственной памяти рождает художественное познание окружающего мира и себя в нем.

Если возможно согласиться, что роман — это вымысел, то надо обязательно уточнить: вымысел, вылепленный памятью из самой действительности.

ПОВТОРЕНИЕ

Пройдя бóльшую часть жизненного пути, мы обретаем терпкое чувство невозместимости прожитого и нередко в памяти своей пытаемся повторить ощущения былой молодости. Так или иначе — подлинным нам часто представляется то, что утрачено в нашей жизни, где были ожидание, начало радости и где осталось несбывшееся...

Отсюда особенность настроения многих шедевров литературы — к примеру, «Темные аллеи» Бунина, поздние рассказы Чехова, некоторые тургеневские повести, поэзия

Лермонтова, Блока, Есенина или такие вещи, как «Средь шумного бала...», «Позарастали стежки-дорожки...», «Утро туманное...»...

То, что промелькнуло в детстве и юности, теряет в зрелые годы резкость несовершенной реальности, и остается невозвратимое время чистоты — это жаркий полдень в молодой зелени сада, солнечность летних лугов, звездные поля августовского неба, запах южного загара на ее щеке,— и мнится, что розовое счастье утренней зари заглядывало сквозь листву акаций и в ваши окна.

Прошлое видится большинству людей более прочным, чем настоящее, и, по всей вероятности, это защитная реакция перед грохочущим современным миром, в котором исчезает естественное.

Почему вызывают интерес исторические романы? Вероятно, потому, что они вновь чувствами литературных героев проходят дорогой повторения во времени, утекшем в океан вечности, пытаясь подсознательно либо намеренно сохранить в наших душах прошлые человеческие ценности.

Пожалуй, все серьезные писатели, даже при трагическом восприятии действительности, обладали великой силой нравственного здоровья.

ПЕРВЫЕ

Он отличался от своих соплеменников молчаливой мечтательностью, любовью к уединению.

Иногда его не брали на охоту, тогда он оставался с женщинами в пещерах и обуглившейся палкой чертил узоры на каменных стенах, на поверхности тыквенных сосудов. Неизвестно почему он замечал повсюду — в небе и на земле — прекрасные линии, цвета и извивы, как наблюдал их в живом огне костра, где из хаоса пламени рождались красные птицы, мелькали перед его околдованными глазами таинственные, зловещие, радостные лики, образы добрых и кровожадных животных, конусы и спирали чудесных и пугающих конструкций невиданных строений.

Склонность наблюдать и даже видеть вокруг художественные подробности свойственна многим людям, способность творить — единицам. Может быть, реальная подробность, соединенная с ужасом и мечтой, создавала первых художников.

МГНОВЕНИЕ МГНОВЕНИЯ

Что же руководит миром и всеми нами? Может быть, это раскаленная бездна звезды в центре Вселенной или ослепительная чернота, поглощающая в утробе своей расплавленные тела созвездий и целые галактики? Может быть, именно эта наивысшая власть дает законы мировому движению, определяет все начала и концы, жизнь и смерть, вращение Земли, рождение и гибель человечества, подобно тому, как земная природа создает в лесах муравейники и предопределяет их последнюю секунду, уже в самое рождение вкладывая срок конечный?

Немыслимо представить бескрайнее пространство Вселенной: огнедышащие ураганы, протуберанцы солнечных кипений, испепеляющих все в страшном гигантском вихре, вспышки взрывающихся звезд, ливни огненной карусели, и где-то в глуби таинственной тьмы, на каком-то пересечении космических осей координат летит, вращается слабая пылинка — Земля, которой наивысшая сила великого мироустройства сообщила определенную энергию, задачу и время существования согласно общим законам вселенского механизма.

Невозможно согласиться, что в ее рождении уже заложен последний миг завершения, что смерть — нерасторжимая тень жизни, неразлучный ее спутник в солнечные дни радости, любви, молодости, успеха, и чем ближе к закату, тем длиннее и заметнее роковая тень.

Вечность — это бесконечное время, и вместе с тем нет времени у вечности.

Если долголетие Земли — лишь мгновение микроскопической крупицы мировой энергии, то жизнь человека — мгновение наикратчайшего мгновения.

26 января 1976 года в северном полушарии неба взорвалась звезда размером с наше Солнце, и загадочный гигантский взрыв продлился всего сорок минут, выплеснув в пространство такое количество энергии, которой хватило бы Земле и нам, грешным, на миллиард лет. Никому не известно, с чем был связан этот взрыв — со смертью или рождением новой звезды, или, может быть, агония стала рождением, или, может быть, было непостижимое высвобождение ядерной энергии, гибель звезды, ее превращение в черную дыру, необычайной плотности небесное тело, которому в предназначенный миг тоже суждено взорваться и умереть, смертью своей образуя совсем уж загадочную белую дыру.

Кто точно ответит, каким законам, каким силам Вселенной подчинена стихия и эволюция, периоды жизни и час смерти, рычаги превращения жизни в смерть и смерти в жизнь?

Едва ли мы сможем объяснить, почему человеку дан срок не девятьсот лет, а семьдесят (по Библии), почему так молниеносна, быстротечна молодость и почему так длительна старость. Мы не можем найти ответа и на то, что подчас добро и зло невозможно отъединить, как причину от следствия. Как это ни горько, однако не стоит и переоценивать понимание человеком своего места на Земле — большинству людей не дано познать цель бытия, смысл собственной жизни. Ведь нужно прожить весь данный тебе срок, чтобы иметь основания сказать, правильно ли ты жил. Как иначе осмыслить это? Умозрительным построением возможностей и назидательных предопределений?

Но человек не хочет согласиться с тем, что он просто мизерная крупица пылинки-Земли, невидимая с космических высот, и, не познав себя, дерзостно уверен, что может постичь тайны, законы мироздания и, конечно, подчинить их повседневной пользе.

Знает ли человек, что он обречен?.. Беспокойная эта мысль лишь изредка мелькает в его сознании, он отстраняет ее, он защищается, успокаивается надеждой — нет, роковое, неизбежное не случится завтра, еще есть время, еще есть десять лет, пять лет, два года, год, несколько месяцев...

Он не хочет расставаться с жизнью, хотя она у большинства людей состоит не из великих страданий и великих радостей, а из запаха рабочего пота и простеньких плотских удовольствий. При всем этом многие люди отделены друг от друга бездонными провалами, и только тоненькие жердочки любви и искусства, то и дело ломающиеся, соединяют их иногда.

И все же сознание человека, наделенного трезвым умом и воображением, вмещает и всю Вселенную, ледяную жуть ее звездных совершающихся таинств, и личную трагедию закономерной случайности рождения на свет и краткосрочности жизни. Но и это почему-то не вызывает отчаяния, не придает его поступкам бессмысленной тщетности, подобно тому как не прекращают неутомимой деятельности и мудрые муравьи, озабоченные, видимо, одной полезной необходимостью ее. Человеку мнится, что он обладает наивысшей властью на Земле, и

поэтому он убежден, что бессмертен. Он не задумывается надолго о том, что лето сменяется осенью, молодость — старостью и даже ярчайшие звезды гаснут. В его убежденности — пружины движения, энергии, действия, страстей. В его гордыне — легкомыслие зрителя, уверенного, что занимательный фильм жизни будет длиться непрерывно.

Не преисполнено ли гордыни и искусство в самонадеянном желании познать мгновения мгновений бытия, в надежде передать человеку чужой опыт разума и опыт чувства и таким образом остаться бессмертным?

Но без этого убеждения нет идеи человека и нет искусства.

ПРОВОДНИКИ

— Возможно ли открыть новую художественную истину в современном мире?

— Было бы самонадеянностью ответить положительно на этот вопрос, ибо все чаще и чаще мы убеждаемся в том, что главные открытия в чувствах и мыслях уже были сделаны великими гениями предшествующих эпох. Если, к примеру, Делакруа вдохновлялся Рубенсом, этим Гомером живописи, а Стендаль — сухим стилем кодекса Наполеона, а Эдуард Манэ просто заимствовал композицию Рафаэля, Гойи, Веласкеса, если русская литература испытывала влияние французской и английской, а мировая литература подверглась влиянию русской, все же, вместе взятые, они долго поклонялись греческому искусству, шедеврам античности. Если это так, если в истоках сразу же возникли непревзойденные художественные образцы, то не были ли Софокл, Гомер, Босх, Микеланджело, Гёте, Толстой избранниками, проводниками мирового идеала? Не им ли, исключительным титанам, выпала задача в родовых муках передать людям мятежные чувства и мысли, попытаться помочь им открыть свою душу и смысл бытия? Так или иначе человечество не познало себя до конца и ждет новых, божественных талантов, которые приоткроют еще часть красоты, доброты и безобразия мира. Добавлю, что все гении — созидатели, борцы, проповедники, мученики истины. Не несут ли они в себе отражение могучей силы и мозга Вселенной?

— А кто мы, не титаны, а смертные? Муравьи? Микробы какие-нибудь? Пустые сосуды? В ваших рассужде-

ниях, профессор, есть странная вера в некие высшие силы избранных. Что это? Оттенок идеализма?

— Не опасайтесь, доцент, это вера в человеческий разум. Нельзя завидовать таланту и гению, как нельзя завидовать солнцу. Н-да! Человечеству Моцарты, Моцарты нужны, дорогой мой Сальери!

ВОПРОСЫ

Кто же такой писатель в современном мире? Бесстрастный протоколист? Фантазер? Изощренный остроумец? Или это создатель «порнопроекций на плоскости», вызывающих восторги слабоумия, которые являют великолепные образцы раскрепощенной пошлости? Да может ли писатель сказать что-либо вообще человеку индустриальной эры? И что должна делать литература в век жестокосердия: учить людей кусаться или протягивать руку помощи друг другу? Способна ли она, литература, взять на себя ответственность за судьбу человека и человеческой нравственности или мы, вспомнив томас-манновский «фаустизм», решимся сказать, что, приобретя сытое благополучие, удобства комфорта, человек отдает взамен энергию своего духа и хочет видеть реальность в рамке развлекающих символов и наркотических снов?

Неужели развитие цивилизации все подчиняет товарной выгоде, деньгам, и неужели боги мертвы, вера исчезла, все идеалы — покойники, человеколюбие — абсурд? Пожалуй, никто из западных художников не сомневается, что урбанистическое общество с его техникой и вещами, культом секса, насилия, древнеримской вседозволенностью потребляет не только предметный комфорт, но и людей, их души. Исчезает главное, поэтому жизнь малоутешительная картина, ибо она безрадостный конвейер, а люди — лишь заменяемые детали скучнейшего механизма, смазанные маслами равнодушия и всеобщего эгоизма. Неужели литература станет отрицать, что жизнь не бессмысленна, если безмерное человеческое мужество лежит в одной брачной постели с конформистской подлостью?

Не в 50-х ли годах начали разрушаться старые ценности, устои этики, не тогда ли стали появляться зловещие признаки усталого равнодушия и сердитого несогласия, в 60-е годы уже перераставшие в злой нигилизм, в выплески жестокости, эпидемию убийств, в свою очередь

рождавших в 70-х годах союз сюрреалистических ужасов и кошмарных фантазий.

Кто виноват? Технологическая цивилизация?

Может быть, поэтому движение литературы и шло от критики действительности, изображения трагедии личности до исследования глубин отчуждения, от черного юмора и порнографии до немыслимо бесстыдной славы литературных жрецов пороков.

А что же реализм? «Новые критики» и «новые гении» устраивали ему похороны по первому разряду, говорить о реализме было совсем уж неприлично, его осмеивали,— этот реалистический роман, этот эстетический анахронизм был наказан, жил в ссылке. Какой в наше время реализм и какой человек? Это что — старомодный поцелуй с первоосновами бытия? Возвращение в «примитивную» сферу психологизма, живого характера, образного мышления? Не освобождение ли бессознательного создает новую психологическую модель личности? Разве не известно, что сюрреализм подтверждает иллюзорность людского существования: человек живет действительной жизнью лишь во сне, а его сны — это бодрствование?

Западные художники утверждают с горечью или же с бесстрастностью, что парадный портрет буржуазного мира чрезвычайно полинял. Нам же не без оснований кажется, что он подмочен мировыми дождями, его черты потускнели, покрылись пушком плесени и пятнами затеков, подозрительно похожими на багровые следы крови.

Где же идеи человеколюбия, свободы, правды?

Где вера в возрождение «планетарного человека», гомо героикуса? Неужели реальность «цивилизации сверхпотребления» подсказывает литературе жалких, нивелированных ею людей с нивелированным миропониманием в современном сверхгосударстве, где отчаяние живет в обнимку с позитивистским скептицизмом? Может ли быть распят Иисус Христос за все грехи земные сейчас, когда люди уже сами распяли себя на древе бездумности, самонадеянности и буйствующей плоти?

Это что — постмодернизм? Или реализм? В чем же тогда смысл идеи человека? Где же хранители спасительной от разврата духа мудрости, защитники и поборники «вечных идеалов»? И есть ли они в этом мире?

Они есть. В современном искусстве заряд нравственного «насилия» и «истязания» (да, нравственного истязания, по Толстому и Достоевскому) является массовидным средством воздействия, которое ведет к очищению

человека. При всем бездонном жизнелюбии только трагическое мироощущение художника может потрясти и обновить душу, эта остановленная им секунда жизни между прошлым и будущим; между минувшим и наступающим, еще не потерявшим надежду на спасение.

И прекрасное и безобразное одинаково заразительны. Литература — это монолог о человеке, а не об «одинокой толпе», о человеческой душе, которая постоянно стремится к общению. Правда — всегда живая материя. Ложь всегда мертва, как бы ни была она энергична, действенна.

Сила и призвание художника — в служении людям. Но для этого надобно сойти с борта гибельного неверия на континент человечности и найти в огромном мире себя, как Он и Она случайно или закономерно находят друг друга. След человека, «космического зверя», теряется не в тумане галактик, а в исходном добром разуме, в любви к женщине, а значит — к детям, к красоте сущего, к матери-природе.

Слово «жил» для каждого художника должно означать «любил», несмотря на то, что мы, писатели XX века, жили в век героизма и расчета и не гуляли, как кошка Киплинга, сами по себе. Мы хотели быть в искренних отношениях с правдой истории, в силу личного опыта и убеждений отвергая формулу об абсолютной автономности творчества, так сказать, независимого от революционных процессов.

Да, литература отстаивает в человеке человечное и возвышает его над смертью.

Во всяком большом художнике лишь толика правды своего народа, в великом гении — правда общечеловеческая.

Творчество — не лучшая ли это часть нашей жизни?

Что больше объединяет людей — любовь или искусство? Не синонимы ли это?

ПОЭЗИЯ

Во всяком поэте погасла бы сама поэзия, если бы он не был убежден, что даже от одного хорошего человека мир становится лучше. Не здесь ли следует искать ключ к воротам загадочного сада словесности, издавна поражающего людей красотой своих плодов?

Что ж, поэзия — это изначальный феномен, она родилась под южным солнцем, и до сих пор слово

художника является солнценосным, ибо несет энергию света, лучи добра, которое строит мосты от понятия «я» к понятию «мы», от понятия «мы» к понятию «я», объединяя острова чувств в континенты ожидания и надежды.

В поэзии все зависит от формы выражения, эта форма может исказить слово, сделать его фальшивым или сообщить через него истину.

При любви к парадоксам можно, конечно, обрадоваться алогичной формуле: «Слова, выразившие мысль, мертвы». Но все-таки, видя эти пустые вагоны, высадившие пассажиров на станции назначения, мне хотелось бы сказать, что слово — это своего рода Ноев ковчег, спасающий мысль для ее нового рождения, для продолжения жизни всего искусства. Мир, отраженный, растворенный и вторично рожденный в слове, становится вещным и вечным, так как в слово впечатана человеческая память, несущая прошлое мира, всю историю его — состоявшуюся и несостоявшуюся — мгновения настоящей действительности, тоже через срок определенный уходящие в прошлое, чтобы стать историей.

Поэзии более всего противопоказана одномерность, она сутью самой отрицает слова, наполненные лишь ветром, поэзия — это не зеркальное отражение и не буквальное воспроизведение, а ярчайшая метафора действительности, не имеющая ничего общего с репортажем факта из очереди повседневных происшествий.

Настоящее — это закрепленные сознанием моменты правды, которую можно измерить и оценить по разным этажам ощущений. И в этом поэзия утверждает великий закон человеческого существования, веру в то, что ни история народов, ни история их чувств не исчезнут в никуда.

Порой нам кажется, что настоящее подобно вокзальным впечатлениям — неостановимый в своей заданности ритм будней, мелькание лиц, обрывки разговоров, вращающаяся карусель суток, дней, конвейер месяцев и лет — почасту внимание только скользит по этому движению, и способен ли обремененный заботами человек многое оценить, почувствовать, осмыслить?

Литература, в первую очередь поэзия, обладает способностью на время как бы остановить конвейер быстротечной реальности и вглядеться в детали его, которые и есть неповторимые подробности жизни,— и тогда вы внезапно увидите мировой покой звездного неба над электри-

ческим сиянием улиц, услышите влажный верховой февральский шум в проводах, почувствуете осевший предвесенний снежок под деревьями бульвара и одинокую женщину на стоянке такси, придерживающую на ветру полу плащика...

Восстановление уходящего или ушедшего, повторное обретение его силой чувственной и мудрой памяти в союзе с воображением рождает художественное познание и нашего бытия, и нашего бурного быта.

Как известно, понятие «художник» происходит от древнерусского слова «худое», имевшего прежде значение чудесности, колдовства, волшебства. Какие бы социальные земные проблемы ни впитывала в себя поэзия, она всегда должна быть или радостью, или болью прикосновения к жизни, к тайне прекрасного.

ГЕРОЙ ИЗ ПОВЕСТИ

Иногда утром на улицах я всматриваюсь в лица людей: в их глазах еще нет отпечатка треволнений дня, нет следов усталости, прожитых и пережитых будней — утром лица кажутся мне открытыми.

Случайно услышанная фраза; беглый взгляд пожилой женщины, брошенный на свое отражение в зеркальном стекле витрины, ее стеснительный жест, чтобы поправить прическу; сосредоточенное или рассеянное выражение лица остановившегося на троллейбусной остановке мужчины моих лет (кто он, мой сверстник?); живое проявление молодости в улыбке незнакомого и немолодого человека — все это с постоянным узнаванием «тайны» заставляет меня работой воображения угадывать разные варианты судеб, то есть разные стечения обстоятельств, что обычно называют судьбой каждого, представлять чужую жизнь, вчерашнюю или настоящую.

...Я встретился с ним после телефонного звонка — звонил журналист А. Шварц. Он сказал мне, что на Московском комбинате железобетонных конструкций работает капитан запаса Владимир Павлович Ластовский, и настойчиво спросил меня, знакомо ли мне имя — Ластовский чрезвычайно напоминает одного из героев моей повести «Батальоны просят огня».

Я ответил, что имя это совершенно незнакомо мне, и в то же время, уже повесив трубку, усомнился в категоричности своего ответа, ибо за давностью лет стираются

в памяти фамилии, остаются — и то тускнеют, к сожалению,— лишь образы тех, с кем на фронтовых перекрестках встречался не раз.

И я понял, что не могу не увидеть человека, одного из персонажей повести, который написан был как образ без прототипа, образ, что ли, собирательный, по отдельным черточкам соединенный в единый характер. Затем, увидевшись с бывшим капитаном Ластовским, вдруг поразился не только схожести, но удивительной одинаковости ситуаций, в каких жил, боролся и выстоял мой литературный герой на своем плацдарме — в дни форсирования Днепра.

Капитан Ластовский (ныне он слесарь-механик по ремонту тепловозов, отец двоих детей) приехал ко мне днем, и мы просидели с ним до глубокого вечера в том состоянии внутреннего возбуждения, какое бывает, когда встречаются однополчане, хотя воевали мы с ним в разных дивизиях и не знали друг друга на фронте.

Он сидел напротив меня за столом, еще по-молодому телесно крепкий, серебристо тронутый сединой, с большими, какими-то добрыми руками (на которые я почему-то все время смотрел), не без достоинства сдержанный, лишь изредка нечаянная улыбка делала его крупное лицо несколько даже задорно-детским, и рассказывал о давних и жестоких боях на Днепре, рассказывал с той свежестью впечатлений, как будто вот сейчас вернулся с плацдарма, с набухшей водой и кровью повязкой на раненой руке, похоронивший сто тридцать три человека из своей роты, но выстоявший до последнего патрона на той песчаной отмели проклятого «пятачка», которую можно было измерить шагами: триста пятьдесят — в глубину, триста — в ширину.

В сорок третьем был он младшим лейтенантом, командовал ротой, и в конце октября ему приказано было первому из 21-го полка 180-й дивизии форсировать Днепр между Вышгородом и Киевом, в районе сильной трехярусной по крутому берегу обороны немцев, захватить крохотный плацдарм — песчаную отмель, поросшую кустарником,— держаться на нем сколько хватит человеческих сил — так нужно было дивизии.

Их было сто сорок человек. И в туманную холодную ночь эта усиленная рота бесшумно на лодках переплыла полукилометровую ширь воды, окопалась в кустарнике без боя, почти без потерь, правда, одну лодку все-таки снесло течением во время переправы, прибило к

берегу левее отмели, и близкие крики на немецком языке, пулеметные очереди, торопливые взлеты ракет объяснили ее судьбу. На помощь прийти было невозможно.

От окопавшейся роты до немецкой обороны было менее сорока метров: даже ручные гранаты, брошенные с высокого берега, достигали ячеек наших солдат. На рассвете немцы обнаружили позиции, а к утру связь с берегом была прервана. Связисты, посланные на линию, не вернулись. Первая немецкая атака началась на заре. И это было только начало. Неистовые атаки не прекращались ни днем, ни ночью. Семь долгих дней и ночей кромешного ада. В короткие минуты затишья им кричали из немецких окопов — всем было отчетливо слышно: «Сдавайтесь! Вы безумцы! Сзади Днепр, впереди — смерть, а мы пощадим вас! Вы будете пить водку, любить женщин!»

Они отвечали огнем. И хоронили убитых. Подкрепление, посланное на третью ночь дивизией, было отрезано.

— На шестую ночь,— ровным голосом говорил Ластовский, затягиваясь сигаретой,— сижу в окопе, голова мутная, днем осколком мины ранило, как раз в правую руку. В ушах звенит. Всеми силами стараюсь не заснуть, наблюдаю... В левой руке парабеллум держу, в моем пистолете патроны кончились, а этот у убитого на бруствере фашистского офицера взял, глаза рукавом разлепляю, все думаю: как бы на правом фланге мои ребятки не заснули — там уже почти никого не осталось... Вдруг, как во сне, слышу: там, на правом фланге,— выстрелы, трассы, крики... Потом — ракета. Схватил одной рукой ручной пулемет, бегу со всех ног туда. И поверите — в первый раз не по себе стало, мороз по коже: немцы прямо в рост бегают вдоль наших окопов и в упор солдат расстреливают из автоматов. Или боевое охранение сняли, или заснули наши... Сон был тогда смертью. Упал с пулеметом на бруствер, выпустил весь диск по этим, над окопами бегающим, а у самого аж горло засаднило. Потом все стихло. Иду по окопам, считаю убитых — осталось нас не больше десятка, а из офицеров — я да один командир взвода. Иду и, как в бреду, говорю: «У нас еще, ребята, три пулемета и запас лент остались, назад пути нам нет, а отмель наша. Не спать. Только не спать, ребята. Не такое выдерживали». И тут вижу: в окопчике один солдат сидит, пожилой уже дядька, смотрит на меня, а сам вроде без звука плачет, слезы так и капают, прямо бегут из глаз. Присел к нему.

«Чего,— спрашиваю,— ревешь, честно отвечай».— «Пропали, видно, мы здесь,— говорит.— Всем конец».— «Не мы,— говорю,— первые умираем, не мы последние. До нас люди умирали и будут умирать. Если умрем — считай, что смерть эта обыкновенная».— «А дети?» — спрашивает. «У всех дети,— опять говорю,— у него, у тебя, у всех».— «Да, у всех»,— соглашается. «Кончай,— говорю,— это дело. Все мы тут одинаковые».

Ну, в последний день свирепых три атаки было. Помню, у меня в окопе пятьдесят «лимонок» оставалось и две гранаты «эргэдэ», одна, правда, помятая была, на эту не надеялся — все «лимонки» по фрицам пошвырял, а одну «эргэдэ» оставил при себе.

А ночь последняя была такая: то луна, то облачко, холодный туманец по кустам. Опять иду по обороне. Нигде ни выстрела, только раненые немцы кричат, стонут за бруствером, а у нас и раненых нет: прямые попадания в упор, так что одни убитые. И пулеметы все поковерканы уже. Просто металлолом. Всю роту сосчитал, как говорится, по головам: семь человек со мной. И что еще? А я хорошо знаю: ни одного целого пулемета, ни одного патрона в парабеллуме, а только граната «эргэдэ». Все смотрят на меня. Молчат. И я ну прямо чуть на ногах держусь. Солдаты мои едва живые, все в бородах, дышат с хрипом, исхудалые, но глаза живут еще, смотрят словно внутрь меня, словно спрашивают: «А как дальше будет, лейтенант?» Такое чувство: ближе их никого нет и не будет. Ни мать, ни отец...

Выждал немного, говорю: «Вот граната у меня одна. Мы свое сделали. Все атаки отбили. А сейчас атака — встанем вкруг меня, головами поближе, и я чеку дерну, чтоб, значит, всем сразу... Если кто сомневается — его дело. А сейчас — всем шинели снять».

Ничего не спрашивают, снимают шинели, и сам я шинель снял; потом говорю разведчику казаху Азимову: «А ну, поползи метра три от отмели». Тот перелез через бруствер, пополз в сторону воды. Луна из-за облачка как раз выглянула, и больно ясно его нижняя рубаха на песке белым выделяется. Но немцы не стреляют. Зову его назад и приказываю всем мокрым песком, грязью нижние рубахи замазать. Потом спрашиваю, все ли на воде держаться могут. Оказалось — все. «Так вот,— говорю,— мой приказ: на тот берег переправляемся. По песку ползем так: в середке Азимов с гранатой, все по бокам — ежели немцы возле воды будут окружать, даю

сигнал: «Азимов, чеку дергай! За мной!» И поползли. А ползти почти триста метров. Как не заметили нас — до сих пор не знаю. И до сих пор не знаю, как доплыли все. Меня уже без сознания на том берегу вытащили. Вот и история вся. А мне журналист Александр Ефимович Шварц, с нашего комбината парень, сказал, что вы о подобном книжку написали.

— Да, очень похоже,— ответил я, вновь поражаясь сложнейшим и трагическим ситуациям на безымянных днепровских плацдармах, таких многочисленных тогда.

— Вы орден Красного Знамени за Днепр получили? — мысленно обращаясь к плацдарму-отмели, спросил я, глядя на планочки под лацканом его пиджака, где заметил ленточку одного ордена.

— Нет,— махнул крупной рукой Ластовский.— Три дня только и отдохнули мои ребята. А потом — наступление от Вышгорода на Киев. Мне опять роту дали. Ну, наступление, сами знаете: вперед и вперед, тут не до наградных. Этот орден за Яссы...

— А ведь за Днепр вам самую высокую награду дать надо было,— сказал я, с новой силой вспомнив плацдармы, на которых приходилось мне бывать, и зная, что значит первым форсировать Днепр и продержаться на крохотном плацдарме семь суток отрезанным от своих...

Мы простились с Ластовским так, как будто вместе просидели на плацдарме семь суток и будто это действительно был мой герой. Он ушел, несколько смущенно извинившись за беспокойство, за отнятое время, а я готов был сидеть с ним хоть до утра.

...И порой, вглядываясь в лица прохожих на улице, пытаясь угадать их прошлое и настоящее, я вспоминаю встречу с Ластовским, сдержанное выражение его сильного, открытого лица, ясное, с твердой добринкой, нескользающее выражение глаз и думаю: все-таки лица человеческие многое говорят.

МОЕ ПОКОЛЕНИЕ

Когда прошли равнины Польши и приблизились к границе Чехословакии, полузабытый довоенный зеленый мир юности все чаще стал сниться нам в глухие осенние ночи под мрачный скрип сосен, под стук пулеметных очередей на высотах.

Просыпаясь в сыром от росы окопе, засыпанном опавшими листьями, я чувствовал, как рассветным холодом несло от сумрачных вершин Карпат, как холодела под туманом земля, исчерненная воронками. И, глядя на спящих возле орудий солдат, с усилием вспоминал сон: в траве горячо трещали кузнечики, парная июльская духота стояла в окутанном паутиной ельнике, ветер из-под пронизанной солнцем тучи тянул по вершинам шелестящих берез, потом с громом и легкими молниями обрушивалась лавина короткого дождя; затем — на сочно зазеленевшей поляне намокшая волейбольная сетка, в воздухе свежесть летнего ливня, за изгородями отяжелевшие влагой ветви и синий дымок самоваров на даче под Москвой.

И как бы несовместимо с этим другой сон — крупный снег, медленно падающий вокруг белых фонарей около заборов в тихих переулках Замоскворечья, мохнатый снег на воротнике у нее, имя которой я забыл, белеет на бровях, на ресницах, я вижу внимательно поднятое замершее лицо; в руках у нас обоих коньки. Мы вернулись с катка. Мы стоим на углу, и я знаю: через несколько минут надо расстаться.

Эти несвязные видения были непроходящей и болезненной тоской по России. И это чувство, как отблеск, возникало в самые отчаянные, самые опасные минуты боя, когда мы глохли от разрывов снарядов, режущего визга осколков, автоматных очередей, когда ничего не существовало, кроме железного гула, скрежета ползущих на орудия немецких танков, раскаленных до фиолетового свечения стволов, черных от пороховой гари, потных лиц солдат, ссутуленной спины наводчика, приникшего к резиновому наглазнику панорамы, осиплых команд, темного дыма горящей травы вблизи огневой.

Удаляясь, уходя из дома, мы упорно и трудно шли к нему. Чем ближе была Германия, тем ближе был дом: так мы возвращались в свою оборванную войной юность.

Нам было тогда по двадцать лет и по сорок одновременно.

Мы мечтали вернуться в тот солнечный довоенный мир, где солнце казалось нам праздничным солнцем, встающим над землей каждый день по своей непреложной закономерности; трава была травой, предназначенной для того, чтобы расти, быть зеленой; фонари — для

того, чтобы освещать сухой апрельский тротуар, вечернюю толпу гуляющих, в которой идешь и ты, восемнадцатилетний, загорелый, сильный. Все ливни весело проходили над твоей головой, и ты был озорно рад блеску молний и пушечным раскатам грома; все улыбки в том времени предназначались тебе, все смерти и слезы были чужими... Весь мир, прозрачно-лучезарный, лежал у твоих ног ранним голубым апрелем, обогревая добротой, радостью, ожиданием любви,— там, позади, не было ожесточенной непримиримости, везде была разлита зеленовато-светлая акварель в воздухе; и не было жестких черных красок.

За долгие четыре года войны, чувствуя близ своего плеча огненное дыхание смерти, молча проходя мимо свежих бугорков с надписями химическим карандашом на дощечках, мы не утратили в себе прежний мир юности, но мы повзрослели на двадцать лет и, мнилось, прожили их так подробно, так насыщенно, что этих лет хватило бы на жизнь двум поколениям.

Мы узнали, что мир и прочен, и зыбок. Мы узнали, что солнце может не взойти утром, потому что его блеск, его тепло способна уничтожить бомбежка, когда горизонт тонет в черно-багровой завесе дыма. Порой мы ненавидели солнце — оно обещало летную погоду и, значит, косяки пикирующих на траншеи «юнкерсов». Мы узнали, что солнце может ласково согревать не только летом, но и в жесточайшие январские морозы, вместе с тем равнодушно и беспощадно обнажать своим светом во всех деталях недавнюю картину боя, развороченные прямыми попаданиями орудия, тела убитых, которых ты минуту назад называл по имени.

Мы узнавали мир вместе с человеческим мужеством и страданиями.

Кто из нас мог сказать раньше, что зеленая трава может стать фиолетовой, потом аспидно-черной и закручиваться спиралью, вянуть от разрывов танковых снарядов? Кто мог представить, что когда-нибудь увидит на белых женственных ромашках, этих символах любви, капли крови своего друга, убитого автоматной очередью?

Мы входили в разрушенные, безлюдные города, дико зияющие черными пустотами окон, провалами подъездов; поваленные фонари с разбитыми стеклами не освещали толпы гуляющих на израненных воронками тротуарах, не было слышно смеха, не звучала музыка, не загорались

веселые огоньки папирос под обугленно-черными тополями мертвых парков.

В Польше мы увидели гигантский лагерь уничтожения — Освенцим, этот фашистский комбинат смерти, день и ночь работавший с дьявольской пунктуальностью, окрест него весь воздух пахнул жирным запахом человеческого пепла.

Мы узнали, что такое фашизм во всей его человеконенавистнической наготе. За четыре года войны мое поколение познало многое, но наше внутреннее зрение воспринимало лишь две краски: солнечно-белую и маслянокерную. Середины не было. Радужные цвета спектра отсутствовали.

Мы стреляли по траурно-черным танкам и бронетранспортерам, по черным крестам самолетов, по черной свастике, по средневеково-черным готическим городам, превращенным в крепости.

Война была жестокой и грубой школой, мы сидели не за партами, не в аудиториях, а в мерзлых окопах, и перед нами были не конспекты, а бронебойные снаряды и пулеметные гашетки. Мы еще не обладали жизненным опытом и вследствие этого не знали простых, элементарных вещей, которые приходят к человеку в будничной, мирной жизни. Мы не знали, в какой руке держать вилку, и забывали обыденные нормы поведения, мы скрывали нежность и доброту. Слова «книги», «настольная лампа», «благодарю вас», «простите, пожалуйста», «покой», «усталость» звучали для нас на незнакомом и несбыточном языке.

Но наш душевный опыт был переполнен до предела, мы могли плакать не от горя, а от ненависти и могли по-детски радоваться весеннему косяку журавлей, как никогда не радовались — ни до войны, ни после войны. Помню, в предгорьях Карпат первые треугольники журавлей возникли в небе, протянулись в белых, как прозрачный дым, весенних разводах облаков над нашими окопами — и мы зачарованно смотрели на их медленное движение, угадывая их путь в Россию. Мы смотрели на них до тех пор, пока гитлеровцы из своих окопов не открыли автоматный огонь по этим косякам, трассирующие пули расстроили журавлиные цепочки, и мы в гневе открыли огонь по фашистским окопам.

Неиссякаемое чувство ненависти в наших душах было тем ожесточеннее, чем чище, яснее, ранимее было ощу-

щение зеленого, юного и солнечного мира великих ожиданий.

Наше поколение — те, что остались в живых,— вернулось с войны, сумев сохранить, пронести в себе через огонь этот чистый, лучезарный мир, веру и надежду. Но мы стали непримиримее к несправедливости, добрее к добру, наша совесть стала вторым сердцем. Ведь эта совесть была оплачена большой кровью.

Война уже стала историей. Но так ли это?

Для меня ясно одно: главные участники истории — это Люди и Время. Не забывать Время — это значит не забывать Людей, не забывать Людей — это значит не забывать Время. Быть историчным — это быть современным. Количество дивизий, участвовавших в том или ином сражении, со скрупулезной точностью подсчитывают историки. Но они не смогут подслушать разговор в окопе перед танковой атакой, увидеть страдание и слезы в глазах восемнадцатилетней девушки-санинструктора, умирающей в полутьме полуразрушенного блиндажа, вокруг которого гудят прорвавшиеся немецкие танки, ощутить треск пулеметной очереди, убивающей жизнь.

В нашей крови пульсируют токи тех людей, что жили в Истории. Они не знали и не могли знать то, что знаем мы, но они чувствовали то, что уже не чувствуем мы. При ежесекундном взгляде в лицо смерти все обострено, все сконцентрировано в человеческой душе.

И вот этот фокус чувств чрезвычайно интересен мне.

СТАЛИНГРАД

В аккуратном чистеньком номере мюнхенской гостиницы мне не спалось. Синеватый сумрак декабрьской ночи просачивался сквозь густо залепленное снегом окно, вкрадчиво-дремотно пощелкивало в тишине электрическое отопление, а мне казалось чудовищным, невероятным, что я нахожусь в немецком, страшном своей славой городе, откуда началось все: война, кровь, концлагеря, газовые камеры.

Я вдруг отчетливо вспомнил утренний разговор с мюнхенским издателем, включил настольный свет и начал просматривать газеты. И мне бросился в глаза крупный заголовок «Сталинград», а под ним несколько фо-

тографий: суровая сосредоточенность на лицах немецких солдат за пулеметом в развалинах города, танковая атака в снежной степи, высокий, молодцеватый автоматчик, расставив ноги в сапогах-раструбах, хозяином стоит на берегу Волги.

В статье выделялись давно знакомые имена и названия: Паулюс, Манштейн, Гитлер, группа армий «Дон», 6-я полевая армия.

И лишь тогда я понял, почему издатель попросил меня просмотреть эту газету.

Утром во время встречи с ним, узнав, что я интересуюсь материалами второй мировой войны, издатель развернул передо мной газету, сказал: «Хотел бы, чтобы вы встретились с фельдмаршалом Манштейном. Да, он жив, ему восемьдесят лет... Но думаю, что он побоится разговора с вами. Солдатские газеты много пишут о нем в хвалебном тоне. Называют его стратегом и даже не побежденным на поле боя. Задайте ему несколько вопросов, чтобы старый пруссак понял, что он участник преступления. А впрочем, сейчас...»

Издатель довольно решительно подошел к телефону и через справочную узнал номер фельдмаршала. Я хорошо слышал последующий разговор. Старческий голос в трубке надолго замолчал, как только издатель сказал, что господину фельдмаршалу хочет задать несколько вопросов русский писатель, занятый изучением материалов второй мировой войны, в том числе, конечно, и Сталинградской операции.

Длилась томительная пауза, потом старческий голос не без удивления переспросил: «Русский писатель? О Сталинграде? — И опять после паузы, с пунктуальностью военного: — Какие именно изучает он вопросы?» Затем, после осторожного молчания: «Пусть изложит письменно вопросы». Затем, после длительной паузы: «Я все сказал в своей книге «Потерянные победы». О себе и о Паулюсе». И наконец: «Нет, нет, я никак не могу встретиться, я простужен, господин издатель. У меня болит горло. Я плохо себя чувствую».

— Я так и думал,— сказал издатель, положив трубку.— У этих вояк всегда болит горло, когда надо серьезно отвечать.

В сущности, я не очень хотел этой встречи с восьмидесятилетним гитлеровским фельдмаршалом, ибо испытывал к нему то же, что испытывал двадцать пять лет

назад, когда стрелял по его танкам в незабытые дни 1942 года.

Но я понимал, почему фельдмаршал этот, «не побежденный на поле боя», опасался вопросов о Сталинградской операции...

Нет, я никогда не забуду те жестокие холода под Сталинградом: все сверкало, все скрипело, все металлически звенело от мороза — снег под валенками, под колесами орудий, толсто заиндевевшие ремни и портупеи на шинелях.

Наши лица в обмерзших подшлемниках почернели от сухих метелей, от ледяных ветров, беспрестанно дующих по степи. Мы своим дыханием пытались согреть примерзавшие к оружию руки, но это не помогало. Потом мы научились согревать руки о горячие стреляные гильзы. Мы стреляли по танкам и так согревались в бою и хотели боя, потому что лежать в снегу в мелком выдолбленном окопе возле прокаленного холодом орудия было невыносимо. Но в те жестоко морозные дни мы ощущали в себе нечто новое, чего не было в первый год войны.

Шел декабрь второго года войны. Двухсоттысячная 6-я армия фельдмаршала Паулюса была сжата в тесном кольце тремя нашими фронтами вокруг превращенного в развалины Сталинграда. Кольцо это сдавливалось, туго сужалось, но армия Паулюса сопротивлялась с тупым неистовством обреченных на гибель. Она еще держалась в развалинах города. Она еще была на берегах Волги. А мы уже ощущали знаки победы в горящих танках, в ночных пожарах за немецкой передовой, даже в ищущем гудении транспортных «юнкерсов», сбрасывающих контейнеры с боеприпасами и продовольствием в тылах 6-й армии. Наша пехота в звездные декабрьские ночи короткого затишья чувствовала в студеном воздухе запах пепла. И это тоже был запах ожидаемой победы — в немецких штабах жгли бумаги, бросали в печи корпусные и дивизионные печати, наградные листы, копии донесений, плавились в огне Железные и Рыцарские кресты, которые потеряли свою ценность.

Иногда мы слышали крики, одиночные выстрелы в близких окопах — это свершался суд над обезумевшими от боев солдатами, пытавшимися бежать куда-то из смертельного «котла».

Никто из нас в те дни не видел немецких медпунктов, пропахших гниющими бинтами и потом, трехъярусных нар, забитых обмороженными и ранеными. Никто из нас,

кроме разведчиков, не видел окоченевших трупов немцев на дорогах в окружении каменных от морозов трупов лошадей, искромсанных финками голодных солдат 6-й армии.

Тогда мы не знали всего этого. Но если бы и знали, то не испытали бы жалости. Мы стискивали кольцо с одним желанием уничтожения. И это было справедливо, как возмездие. Жестокость врага рождает ненависть, и она неистребимо жила в нас, как память о сорок первом годе, о Смоленске, о Москве, о том надменном воинственном веселье викингов «третьего рейха», когда они подходили к Сталинграду в дыму непрерывных бомбежек, в поднятых танками завесах пыли, с пилотками за ремнем, с засученными по локоть рукавами на загорелых руках — завоеватели, дошедшие до Волги, с наслаждением после боя пьющие русское молоко в захваченных станицах, в двух тысячах километров от Берлина.

В ликующей Германии звучали фанфары. Гремели марши по радио. Впервые в истории немецкий солдат вот-вот почерпнет своей плоской алюминиевой кружкой волжскую воду и с чувством победителя плеснет ею на потную шею. Немецкие танки, войдя в прорыв на юге, прошли за лето сотни километров, ворвались в Сталинград, на его улицы. Эти танки были накалены русским солнцем, русская пыль толстым слоем покрывала крупповскую броню. И этот горячий запах русской пыли, запах выжженных приволжских степей сильнее порционного рома опьянял солдат и наркотически опьянял Берлин, на весь мир шумевший победными речами. В рейхсканцелярии ежедневно устраивались роскошные приемы, на которых высшие чины рейха и генералы с самоуверенными выбритыми лицами, внушительно сверкая орденами на парадных мундирах, жали друг другу руки между глотками шампанского, а женщины, обольстительно улыбаясь, блистали драгоценностями, награбленными в павшей Европе и на завоеванных территориях «жизненного пространства». Весь мир затаил дыхание: казалось, еще шаг немецкой армии — и Россия падет. В те же опьяненные близкой победой месяцы хромающий, сухощавый человек с сильными надбровными дугами — рейхсминистр Геббельс, как бы забыв о великих «идеалах немецкого народа», о которых он так наигранно-страстно любил говорить, уже нестеснительно заявил на весь мир, что цель войны — «набить себе брюхо», все дело в нефти, пшенице, угле, руде.

В те месяцы молниеносно повышались генеральские и офицерские звания «героям летнего наступления», «беспримерным воинам», танкистам и летчикам вручались Рыцарские и Железные кресты. В перевозбужденном Берлине ждали день падения Сталинграда, мнилось — победоносная армия рейха заканчивает войну на берегах Волги.

И быстрое окружение 6-й армии Паулюса в почти захваченном, казалось бы, почти завоеванном Сталинграде представилось сначала в Берлине невозможностью, мифом, результатом ошеломляющей таинственности неожиданно возникшего русского военного потенциала и тайной славянского характера.

Но это не было ни мифом, ни таинственностью. До предела сжатая пружина стала разжиматься с неудержимой разрушительной силой. Война вошла в новую свою фазу.

Проклиная дни отступлений, мы тогда, конечно, не могли со всей очевидностью предполагать, что наше успешное наступление в ноябре, в декабре, наши атаки, удары бронебойных снарядов по танкам в окруженной группировке — все это было началом конца этой многокровной войны, битвой в глубине России на уничтожение.

Но мы чувствовали нечто новое, долго ожидаемое, наконец с ощущением собственной силы начатое,— и, видимо, ощущение это было предзнаменованием Победы А впереди еще были неисчислимые километры наступления, бои, потери, и мы трезво представляли этот тяжелейший путь сражений в сталинградских степях.

Окруженная группировка Паулюса получала одну за другой радиограммы Гитлера с приказом держаться до последнего солдата. Он, Гитлер, понимал, что потерять Сталинград — значит потерять инициативу, навсегда уйти с берегов Волги, то есть из самых глубин России. Он обещал интенсивное снабжение с воздуха и мощную помощь четырьмя танковыми дивизиями из района Котельникова.

И в декабре командующий группой армий «Дон» фельдмаршал Эрих фон Манштейн получил приказ начать операцию деблокирования, прорыва с юга к окруженным войскам. Эта операция могла решить многое, если не все.

Только позже я понял, что весь исход битвы на Волге, вся каннская операция трех наших фронтов, может быть, даже сроки окончания всей войны во многом зависели

от успеха или неуспеха начатого в декабре Манштейном деблокирования. Танковые дивизии были тараном, нацеленным с юга на Сталинград.

Я хорошо помню неистовые бомбежки, когда небо чернотой соединялось с землей, и эти песочного цвета стада танков в снежной степи, ползущие на наши батареи. Я помню раскаленные стволы орудий, непрерывный гром выстрелов, скрежет, лязг гусениц, распахнутые телогрейки солдат, мелькающие со снарядами руки заряжающих, черный от копоти пот на лицах наводчиков, черно-белые смерчи разрывов.

В нескольких километрах ударная армия Манштейна — танки генерал-полковника Гота — прорвала нашу оборону, приблизилась к окруженной группировке Паулюса на шестьдесят километров, и немецкие танковые экипажи уже видели багровое зарево над Сталинградом. Манштейн радировал Паулюсу: «Мы придем! Держитесь! Победа близка!»

Но фельдмаршал Манштейн не выручил Паулюса. Остатки танковых дивизий, видевших ночью зарево на горизонте, откатывались к Котельникову. Наши армии все теснее сжимали в кольцо напрасно ожидающую помощи окруженную группировку под Сталинградом.

И одновременно часть войск, сдержав танковый натиск, начала активное наступление на юге.

Тогда и Гитлер, и Манштейн, точно улавливающий каждое желание фюрера, пришли к единому выводу: окруженную двухсоттысячную армию следует принести в жертву — погибнуть без капитуляции, стрелять до последнего патрона. Среди солдат и офицеров распространялся неписаный свыше приказ — кончать жизнь самоубийством. Фельдмаршал Манштейн, которому непосредственно подчинена была окруженная армия, прекратил сношения со штабом Паулюса, перестал отвечать на его радиограммы. Потом холодно и расчетливо фельдмаршал прекратил снабжение с воздуха, прекратил вывоз раненых, хотя в то же время из окружения вывозились «имеющие ценность специалисты», необходимые для продолжения войны. Остальные обрекались на гибель. Армия была как бы списана.

Утром 31 января пришла последняя радиограмма из ставки Гитлера с пышным текстом о производстве Паулюса в генерал-фельдмаршалы. Это было скрытое приглашение к самоубийству. Паулюс все понял, но нашел другой выход — плен.

В этот же день была отправлена Гитлеру радиограмма чрезвычайно короткого содержания: «У дверей русский...»

Наш генерал с переводчиком стояли у двери штаба в подвалах разбитого универмага.

Так закончилась эта невиданная в истории войн битва. Это поражение целой немецкой армии было символическим могильным крестом, замаячившим над ореолом непобедимости фашистской Германии.

...Вот почему у фельдмаршала заболело горло, когда издатель позвонил ему по телефону и заговорил о Сталинграде и русском писателе.

ПАМЯТЬ

Человеческая память несет в себе огромную энергию. Память прочно сохраняет то, чего уже нет, что прошло и было. Время старательно и ревниво формирует и отшлифовывает наш опыт.

Бывает так: ты душевно спокоен, в весенних сумерках идешь по улицам, читая мокрые афиши, ощущая влажный пахучий ветер апреля; зыбко блестит асфальт на мостовой, отражая вечереющее небо и освещенные, как зеленые аквариумы, троллейбусы; движутся толпы на тротуарах, мимо витрин магазинов — мир, будни, смех, тот особый нестеснительный смех людей, когда в их жизни умиротворение, тишина, покой. Это стоит обычный, ясный вечер весны в Замоскворечье, и сиреневые пролеты улиц начинают зажигаться светом в окнах, вспыхивают рекламы кинотеатров, в переулках шуршат велосипедные шины и прыгают по асфальту желтые мячики света; а от перронов уставших за день вокзалов уходят поезда в затянутую дымкой даль с мигающими фонарями стрелок.

И вдруг прощальные гудки паровозов, и вечерние облака, багрово подсвеченные снизу закатом, и запах нефти и шпал, и дымы по горизонту, и купы деревьев за вокзальными зданиями, черным вырезанные по красному,— все это словно было вчера.

Но как давно это было...

Мохнатые зарева широко прорезают тьму на горизонте, багровый отблеск дрожит на проселочных дорогах, в зрачках солдат, шагающих по обочине... Зарево ближе; разваливаются, трещат, нутром выворачиваются в пламени дома, дымом затянуты сады, остро, горячо пышет

в лицо жаром, и всюду этот огонь смерти: на брусчатке уже забытых по названию городов, на осколках витрин, на пряжке ремня безобразно раздутого трупа немецкого солдата, лежащего на площади, со странно подвернутой под голову рукой, с красным от пожара стеклом часов на запястье... Город горит, он пуст.

Мы входим в этот пылающий город. На нас дымятся влажные плащ-палатки, дымятся холки лошадей. Мы прикрываем их попонами. Мы идем вперед.

Потом выкатываем орудия на прямую наводку. Немецкие танки, мрачно блестя в зареве броней, как облитые кровью, медленно отходят за посадку, на шоссе, поджигают окраины. Нам видно, как зажигательные трассы впиваются в крыши деревянных домов и занимаются огнем стропила.

Мы идем на запад от Сталинграда по снежным степям, металлически скрипящим под ногами дорогам, пестро-черным от воронок, проходим по земле Украины, где помидоры имеют привкус пороховой гари, а яблоки запеклись на обуглившихся ветвях. В темные, осенние, ветреные ночи мы форсируем Днепр, эту реку, озаренную ракетами, по которой плывут трупы, касаясь наших плотов. И между боями, во время короткого отдыха, на «пятачках» правобережных плацдармов лежим, греясь на нежарком солнце, смотрим, как в желто-золотистых лесах Левобережья встают дымы разрывов, разрушая первозданный покой осени, и листья вместе с осколками летят в густо-синюю воду. Мы думаем: хорошо, если бы в эту воду шлепались поплавки удочек. После лежим на краю окопов, черные, закопченные толовой гарью, в пропотевших гимнастерках, и видим, как косяк «юнкерсов» с тугим гулом разворачивается над переправой.

Мы идем через Польшу; весь горизонт в пожарах; с карпатских высот улицы городов кажутся нам огненными реками, площади — пылающими озерами.

Если горе имеет свой запах, то война пахнет огнем, пеплом и смертью.

Война — это горький пот и кровь, это после каждого боя уменьшающиеся списки у полкового писаря, это последний сухарь во взводе, разделенный на четырех оставшихся в живых, это котелок ржавой болотной воды и последняя цигарка, которую жадно докуривает, обжигая пальцы, наводчик, глядя на ползущие танки.

Война — это письма, которых ждут и боятся получать; и это особая обнаженная любовь к добру и особая жгучая ненависть к злу и смерти; погибшие молодые жизни, непрожитые биографии, несбывшиеся надежды, ненаписанные книги, несовершившиеся открытия, невесты, не ставшие женами.

Иногда я вижу, как дети играют в войну; в их понимании война — отвага, романтика и подвиги. У детей нет той памяти-опыта, что есть у взрослых.

В войну мое поколение научилось любить и верить, ненавидеть и отрицать, смеяться и плакать. Мы научились ценить то, что в силу привычки теряет цену в мирные дни, что становится обыденным: случайно увиденная на улице улыбка женщины, парной майский дождик в сумерках, дрожащий отблеск фонарей в лужах, смех ребенка, впервые сказанное слово «жена» и самостоятельное решение.

Мы научились ненавидеть фальшь, трусость, ложь, ускользающий взгляд подлеца, разговаривающего с вами с приятной улыбкой, равнодушие, от которого один шаг до предательства.

Наша память — это душевный и жизненный опыт, оплаченный дорогой ценой.

Вот почему, когда по случайным ассоциациям — то ли скрежет трамвая на поворотах, напоминающий свист тяжелого снаряда, то ли похожая на пульсирующий огонь пулемета вспышка автогена в каркасе строящегося дома — память возвращает нас к дням войны, мы начинаем больше ценить тишину, спокойный блеск солнца, прозрачность воздуха.

КНИГА

Можно ли без ощущения трагической утраты представить современный мир, лишенный печатного знака?

На мой взгляд, эта утрата была бы более невосполнимой, чем исчезновение в нашей жизни электрического света, ибо потерян был бы важнейший механизм в передаче и научных знаний, и накопленных всеми эпохами чувств, а человеческий разум погрузился бы в пучину темноты и нравственного застоя. Мир стал бы удручающе обеднен, прервались бы нити от одного человека к другому, и, надо полагать, наступило бы время невежества, подозрительности и отчуждения.

В самом деле, что значит в жизни человека книга?

Подобно разговорному языку, книга не только средство общения людей, не только источник информации, но самое главное — это инструмент проникновения в окружающую действительность, взгляд человека на самого себя как на разумную частицу природы.

Вместе с тем книга — это и констатация вех истории, и одновременно верная память человечества даже в том случае, если в ней рассказано не о мировых катаклизмах, решающих судьбу народов, а о проказах молодых людей эпохи Ренессанса, о похождениях рыцаря Печального Образа Дон-Кихота Ламанческого, о судьбе чиновника Башмачкина или о страданиях бедного станционного смотрителя, о смерти Ивана Ильича, о маленькой беспомощной Мисюсь или о несбывшихся удовольствиях господина из Сан-Франциско на живописных берегах Капри.

Что знали бы мы о быте, нравах, умонастроении и характерах людей давно и не так давно ушедших эпох, если бы это прошлое не было сохранено в печатном знаке, способном волшебно восстановить биографию человечества во всех ее сложностях, поисках, заблуждениях, открытиях и попытках найти и утвердить смысл бытия. Будущее рождается не только из непосредственного настоящего, оно рождается и из прошлого, ведь наше современное сознание и наше отношение к настоящему — это результат всего опыта миллионов живших до нас, предельно сжатая и трансформированная сумма их чувств.

Не будь возможности разумом и эмоциями пройти по дальним и ближним дорогам истории, скажем, по трагическому пути Спартака, по задымленной равнине Бородинского поля, по пропитанным кровью полям сорок первого года, мы оглядывались бы назад, будто в туман и пустоту, утратив начала, а стало быть, и концы, ибо ничего нет и ничего не может быть без великих точек отсчета.

Книга — это душеприказчик, безупречный хранитель духовных ценностей всех веков и всех народов и это негаснущий источник света, посланный к нам еще из детства человечества, это сигнал и предупреждение, боль и страдание, смех и радость, жизнеутверждение и надежда, это символ превосходства силы духовной над силой материальной, что является высшим достижением сознания.

Книга — это познание развития мысли, философских течений, национально-исторических условий общества, породивших на разных этапах веру в добро, разум, просветительство, революционную борьбу под знаменами свободы и справедливости социальных отношений.

Многое, неизмеримо многое может объяснить, открыть и подчинить наука, мыслящая категориями понятий, создающая вещи, системы и формулы, но по своей сути она все-таки не способна исследовать чувства людей, творить образы людей во времени, что делает в силу предназначенной ей судьбы литература.

Они близки, наука и искусство, они познают даже близкие сферы — возможности человека в этом мире,— и вместе с тем инструмент познания различен, и, конечно же, «Одиссею» Гомера, русскую одиссею Льва Толстого «Война и мир» или наши современные одиссеи «Тихий Дон» Михаила Шолохова, «Хождение по мукам» Алексея Толстого немыслимо заключить в формулу, подобно тому как это можно сделать в науке, после открытия какого-либо закона Вселенной.

Искусство — это историческая энциклопедия человеческих ощущений, противоречивых страстей, желаний, взлетов и падения духа, самоотверженности и мужества, поражений и побед.

Человек, раскрывающий книгу, всматривается во вторую жизнь, как в глубинную сферу зеркала, ища собственного героя, ответы на собственные мысли, невольно примеряя, скажем, чужую судьбу и чужое мужество к личным чертам характера, сожалея, сомневаясь, досадуя, смеясь, плача, сочувствуя и соучаствуя,— и здесь начинается воздействие книги. Все это и есть «заражение чувствами», по выражению Льва Толстого.

В судьбе множества людей печатное слово сыграло неповторимую роль, и величайшего сожаления достоин тот, кто не побывал в плену серьезной книги,— тем самым он укоротил дни своей жизни, отринув вторую действительность, второй опыт, наконец.

Я с удовольствием могу сказать, что наша страна самая читающая. Не однажды в Париже мне приходилось видеть знаменитую набережную Сены со знаменитыми лавочками букинистов, окруженных молчаливыми библиофилами, трепетно ласкающими пальцами страницы книг — так ласкают только детей. Глядя на них, я вспоминал и дальние поселки в Сибири, на Нижней Тунгуске, и но-

вый промышленный центр Тольятти, где жадность и любовь к книге поражали меня необыкновенно.

Всякая книга — результат писательских усилий, а духовные ценности неоднородны. Мы должны бояться девальвации читательского вкуса, предлагая и выдавая ему вещь непервосортной пробы за жемчужину изящной словесности. Есть книги, подчас возведенные по разным стечениям обстоятельств в высокий ранг безупречности, книги, увенчанные лаврами, но не выдерживающие строгой проверки правдой, этим неподкупным и безотказным мерилом художественности. И есть книги скромные, то есть не возведенные в чины, однако предельно искренние, чистые, мудрые, насквозь пронизанные благородной силой.

Заботясь о вкусе читателя, мы, а не время, должны делать выбор и отбор, ибо время хоть и справедливый судья, но судья нескорый. Мы должны думать о выборе книги еще и потому, что уравнение малохудожественной читательской беллетристики и произведений эстетического достоинства смещает критерии истинные и в конце концов подтачивает веру в полновесное слово.

ЯСНАЯ ПОЛЯНА

Здесь, в этом доме, все было просто, скромно, здесь не было «графской» роскоши, обеспеченной знатным дворянским титулом; вещи, оставленные большой этой семьей, портреты на стенах, написанные Репиным, Ге, Крамским, книги в шкафах, его письменный стол, две свечи, погашенные им в ту осеннюю ночь перед уходом после того, как он, в страдании приняв решение, написал записку прощания, его кресло, на котором сидел, диван, на котором он, гениальнейший из гениев и мученик из мучеников, родился, образок, спасший его в Крымскую кампанию, обычные современные гантели в спальне и там же старинный умывальник — все вдруг нарисовало мне великое присутствие, довольно крепкую фигуру, походку несколько старческую, но мягкую, острый взгляд из-под бровей бога, его кряхтенье, узловатые, еще крепкие пальцы, когда он гасил свечи в последний раз, приподымаясь над столом в своем кабинете. Я только не мог представить интонацию и звук его голоса (который должен быть обязательно негромким), хотя мог вообразить смысл фраз, произносимых им, и выражение глаз при этом. Странно было то, что во

всех комнатах я чувствовал стойкий дух плоти, какой раньше встречал в опустевших или покинутых деревенских домах, теплый запах ушедшего времени, когда-то жившей тут большой семьи, ее одежды, ее вещей, сладковатый уютный запах его в общем-то неуютной старости, и этот воздух поселился в доме навечно, как мысли, чувства, утверждения и отрицания, поиски великого человека, прошедшего через все муки познания бытия и искусства.

И я вспомнил некоторые страницы мудрых дневников его.

«...Нынче читал еще мечтания какого-то американца о том, как хорошо будут устроены улицы и дороги и т. п. в 2000 году, и мысли нет у этих диких ученых о том, в чем прогресс. И намека нет. А говорят, что уничтожится война только потому, что она мешает материальному прогрессу».

И рядом в этой записи фраза:

«...Я им стал говорить, что я жду и мечтаю, и не только мечтаю, но и стараюсь, о другом единственно важном прогрессе — не электричества и летанья по воздуху, а о прогрессе братства, единения, любви... жизнь только в том и состоит...» (25 апреля 1895 года).

И он, несравненный художник, был против искусства как господской эгоистичной забавы, баловства, ничего не имеющего общего с жизнью.

«Главная цель искусства, если есть искусство и есть у него цель, та, чтобы проявить, высказать правду о душе человека, высказать такие тайны, которые нельзя высказать простым словом. От этого и искусство. Искусство есть микроскоп, который наводит художник на тайны своей души и показывает эти общие всем тайны людям» (17 мая 1896 года).

«Идеал есть целомудрие, а не наслаждение» (1 января 1898 года).

«Назначение разума служить людям. В том весь ужас, что его употребляют на служение себе» (24 августа 1898 года).

«Совесть есть память общества, усвояемая отдельным лицом» (2 октября 1899 года).

«Совесть и есть не что иное, как совпадение своего разума с высшим» (12 июля 1900 года).

«Маленькие и большие таланты, от Пушкина и Гоголя, работают: «Ах, не ладно, как бы лучше». Нонешние: «Э! не стоит, и так сойдет» (4 февраля 1909 года).

«...Какое удивительное сумасшествие: убивать людей для их блага!» (26 октября 1908 года).

«Вчера до 12 часов играл в карты. Совестно, гадко. Но подумал: люди скажут: «Хорош учитель, играет в винт три часа кряду». И по-настоящему подумал: это-то и нужно. В этом-то настоящее, нужное для доброй жизни смирение. А то генерал должен держаться, как генерал, посланник — как посланник, а учитель — как учитель. Неправда. Человек должен держаться как человек» (15 ноября 1908 года).

«...Мне в руки дан рупор, и я обязан владеть им, пользоваться им» (12 января 1909 года).

Смысл всей его жизни был в увеличении любви человека к человеку.

1971—1984

СОДЕРЖАНИЕ

РАССКАЗЫ

МГНОВЕНИЯ
Миниатюры

1

2

3

Бондарев Ю. В.

Б81 Собрание сочинений. В 6-ти т. Т. 5. Выбор: Роман; Рассказы; Мгновения: Миниатюры. — М.: Худож. лит., 1986. — 623 с.

В том входят широко известный, отмеченный Государственной премией роман «Выбор», посвященный насущным и острым проблемам современности, теме «выбора», в самом глубоком смысле этого слова, человеком своего места в жизни и своей «линии» поведения относительно самого себя и окружающих; ряд ранних рассказов Бондарева (конец 40-х — середина 50-х годов); завершается том циклом лирико-философских миниатюр «Мгновения», над которыми писатель работает с начала 70-х годов по сей день.

Б $\frac{4702010200\text{-}035}{028(01)\text{-}86}$ подписное

ББК 84Р7
Р2

ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ БОНДАРЕВ

Собрание сочинений
в шести томах

ТОМ ПЯТЫЙ

Редактор В. Борисова

Художественный редактор
Е. Ененко

Технический редактор
Л. Ковнацкая

Корректоры
О. Стародубцева и М. Чупрова

ИБ № 4188

Сдано в набор 12.04.85. Подписано в печать 25.11.85. А 14150. Формат 84×108 1/32. Бумага типографская № 1. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Усл. печ. л. 32,76. Усл. кр.-отт. 32,76. Уч.-изд. л. 35,37. Тираж 100 000 экз. Изд. № Ш-1763. Заказ № 568.
Цена 2 р. 70 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19.

Ленинградская типография № 2 головное предприятие ордена Трудового Красного Знамени Ленинградского объединения «Техническая книга» им. Евгении Соколовой Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 198052, г. Ленинград, Л-52, Измайловский проспект, 29

